

Светлана ГИМТ

ТЕНЬ

МАЧЕЖИ



Annotation

Реализм, мелодрама с психологическо-детективной линией.

В больницу маленького подмосковного городка попадает мальчик, сбежавший из дома. Татьяна — врач, у которой нет детей — хочет усыновить его.

В то же время у московского чиновника рождается внебрачный ребенок. Но Сергей любит жену и не хочет ранить её — ведь судьба Анюты и без того непроста.

Как переплетутся истории этих героев, как сложатся судьбы детей? Сумеет ли Татьяна разгадать тайну Пандоры — своего самого страшного кошмара? Найдет ли в себе силы противостоять коварству мужа, обрести новую любовь и стать мамой? Все ответы есть в книге. Этот роман о выборе, взрослении, любви, и о том, как поступки родителей влияют на судьбы детей.

Светлана ГИМТ

Тень мачехи

Рука, качающая колыбель, правит миром.

Часть 1. Найдёныш

1

Перед закрытой дверью детского отделения Татьяна остановилась, держа в руках холодный глянцевый лист с приговором.

«Почему — я? Уже в пятый раз — я?!?» Будто стоит на ней невидимое клеймо проклятой. Несправедливо! Больно... И голова, как чужая. Странное ощущение — словно подменили жизнь, отняв главное.

«Не смей реветь! — приказала она себе. — Ты не кошка, у которой утопили котят. Ты врач-педиатр, и сейчас ты пойдешь на обход, и будешь лечить детей, чужих детей — и только попробуй разрыдаться!»

Демидова вздернула голову; платиновые серьги с крупными бриллиантами блеснули надменным холодом. Заправила за ухо русую прядь ассиметричного каре, откинула со лба челку. В серых глазах мелькнула сталь упрямства. Но губы дрогнули; курносое, по-детски круглое, лицо исказилось от подступающей истерики.

Хирургическая маска несвежим комком валялась в кармане. Торопливо вытащив ее негнущимися пальцами, Татьяна скрыла часть лица. Вдохнула, отгоняя слёзы — раз, другой, третий... В висках зазвенело, напряжение в теле стало почти невыносимым. И голова — её расколото болью, как орех. Татьяна из последних сил потянула на себя массивную, глазированную потеками грязно-бежевой краски, дверь. И растерянно отшатнулась: пациенты в коридоре, мраморный пол, голубые стены — всё привычное, безопасное — исказилось, перерождаясь.

Стены хищно заблестели, вздыбились, превращаясь в текучий пластик. Коридор дрогнул, сузился. Окно в конце зажглось болотным огнем — и она осознала, что это кабина поезда, нацеленного убить. Набирая скорость, он покатился на Таню — с лязгом, грохотом, разгоняя по полу гулкую, свирепеющую дрожь. Ветер вырвал бумагу из рук, глумливо шепнул: «Ппан-доо-раа», пациенты синхронно повернули головы, и она увидела: это куклы. Женщина-марионетка с младенцем-пупсом шаркает негнущимися ногами. Бабушка-матрешка с прямым пробором в нарисованных волосах прёт вразвалку, скребя пол подолом. Девочка-Мальвина пересекает коридор, мерно тарахтя и уставив на Татьяну ядовито-синие стеклянные глаза.

Она закричала и налегла на дверь, с грохотом захлопнула массивную деревянную створку. Но ветер Пандоры выбил её изнутри. Задыхаясь от ужаса, Таня грохнула дверью снова, снова... А коридор сужался, пластик тёк, поезд гнал, подминая, давя кукол. Но к Тане ковыляла приземистая, плотная, с поднятыми руками и раззявленным ртом, марионетка — санитарка Катя Петровна.

— Татявгения! Той, мачу ка, ише когоряд! — вопила она.

Татьяна пятилась, онемев. «Ппан-дооо-рааа», — снова выдохнул ветер, а Катя Петровна деревянно шагала к ней: раз-два, раз-два. И когда она вцепилась пальцами в Танины плечи, немота прошла. Таня завизжала, отдирая от себя холодные пластиковые клешни:

— Уйдиии, кукла! Убьюуу!

Уже оседая, ухватилась за санитаркин халат — материя треснула, разрываясь...

И — никого.

Безветрие...

Безмолвие...

Время замерло темной каплей...

А потом запах нашатыря обжег ноздри, и сквозь дрогнувшие веки прорвался свет.

Татьяна увидела над собой лицо Кати Петровны — живое, доброе, с тревогой и любопытством в глазах. Спину и ноги холодит пол — вновь затвердевший, надежный. Стены поднимаются ровной, равнодушной твердью. Болит затылок — видимо, ударились при падении. За открытой дверью педиатрии белеет напуганное лицо бабушки, прижимающей к себе синеглазую внучку.

— Татьяна Евгеньевна, матушка, вы что? Ох, напугали, — твердила Катя Петровна.

— Вот, доктор, вы обронули... — бабушка робко выступила из-за двери, нагнулась и вложила в руку Татьяны белый глянцевый листок. Она непонимающе глянула на черно-серый снимок в углу и напечатанный рядом диагноз. Воспоминания, вспыхнув, обожгли: это листок с результатом УЗИ, её приговором.

Пальцы судорожно смяли проклятый лист. И Татьяна, не выдержав, разрыдалась.

Ее нерожденный ребенок мертв.

О Пандоре узнали другие.

И неизвестно, что хуже.

Инессу Львовну Вяземскую, главврача педиатрии — дородную, молодящуюся, с высокой «бабеттой» из крашенных пергидролом волос — сотрудники не то, чтобы побаивались... Просто выучили уже: попадись в неурочный час — получишь по полной за своё и не своё. Но если Инесса в настроении, можно и отпуск летом выбить, и премию побольше выцыганить.

Катя Петровна столкнулась с ней утром, когда разносила больным завтрак. Инессаглянула милостиво, почти с улыбкой.

Сейчас половина четвертого, заведующая еще должна быть у себя.

«Схожу, — решила санитарка, шлепая тапками к начальственной двери. — Страсть-то какая, господи! Схожу, а то разозлится потом, что не известили. Может, отгулы даст на майские — огорода-то двадцать соток».

Заведующая сидела за широким столом, положив навьюченные золотыми перстнями пальцы на клавиши компьютера. Спросила дружелюбно:

— Да, Тихонова, что у вас?

Катя Петровна бочком протиснулась в дверь, запихивая в карман влажные резиновые перчатки. Примостилась на краешке стула:

— Ой, беда, Инесса Львовна... Демидова-то наша того... Головой двинулась.

Вяземская удивленно выпрямилась. Санитарка заерзала, угодливо улыбнулась. Взгляд начальницы стал напряженным, брови сурово сдвинулись.

— Что вы несете? — холодно осведомилась она.

— Да я сама видала, — затараторила Катя Петровна, двигаясь ближе, — стоит она за дверью в отделение, лицо идилом, глаза бешеные, и бац этой дверью, бац — аж стены дрожат! Больных перепугала! Я ее кличу — не слышит, только дверью бухает, туды-сюды! Я уж пошла к ней, успокоить. Зову ее: «Татьяна Евгеньевна, стой, матушка! Тише, кому говорят!» А она, знаете... — голос санитарки упал до шепота, — кааак закричит на меня! Кукла, кричит, уйди, кукла! Не узнала меня, болезная... Отбиваться стала, халат мне порвала. А потом в обморок — хлобысь! Ну, я за нашатырем... А мамашки смотрят, детки ревут — ну да не приведи Господь такое увидеть! Страх ведь! Ладно, хоть я рядом оказалась, а так бы...

— Где она? — мрачно перебила Инесса Львовна.

— Так убёгла! Как в себя пришла — так и убёгла, листок этот свой схватила...

— Какой листок?

— Ну, УЗИ у нее было в руках, да выпало, когда она дверью-то шибала! С гинекологии УЗИ. Ох, опять, наверное, Татьяна Евгеньевна наша ребеночка потеряла...

— Вы зачем ее отпустили? — взъярилась заведующая. — Надо было сразу меня звать! Человек в таком состоянии, мало ли что! Вы же медик, должны понимать!

— А я что? Удержу ее, что ли? — Катя Петровна обиженно поджала губы. — Она итак мне халат порвала, списывать теперь!

Ноздри Инессы зло задрожали.

— Тихонова, это же ваша коллега! А вы о халате думаете, — пристыдила она санитарку. И бросила скупое: — Благодарю. Свободны.

Каким-то чудом Таня добралась до спасительных рук Яны, до ее умиротворяющего баса — крепкого, как потребляемый ею со студенчества, «Беломор». Из последних сил добрела до гинекологии, которая была на пятом, на три этажа выше ее детского. Расположенного, вдобавок, в пристрое к зданию больницы.

Яна Костромина, которую в институте за мужественную внешность, прямоту, горячность и непримиримое с реальностью чувство справедливости называли Яна-Дартаньяна, была лучшей школьной подругой Тани. Наверное, из-за этого они и в медицинский вместе поступили. Сейчас Яна Борисовна выросла из заурядной середнячки в лучшего дамского доктора их маленького подмосковного городка. Недавно список ее регалий — ординатура в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии, аспирантура в том же МОНИИАГе, недавняя защита докторской — пополнился званием заведующей. Но в свободное от заведования время Янка продолжала вести жизнь обычного дежуранта, потому что надо было кормить двоих детей и обеспечивать пожилую маму. Всё же Татьяне повезло, что именно сегодня ее лучшая институтская подруга осталась на смене. О результатах УЗИ Яна знала — сама делала его. А о Пандоре Таня никогда ей не рассказывала.

Похоже, Янка решила, что сейчас подруга расстроилась из-за потери ребенка. И, едва увидев, в каком состоянии Таня, без разговоров потащила ее в процедурку.

Телефон заверещал в кармане, как разбуженная цикада, и Татьяна невольно дёрнулась. Пустая ампула, стоявшая на металлическом столике, упала на бок, покатилась, позвякивая, оставляя на своем пути мокрую очередь глянцевитых капель.

— Сидим спокойно! — скомандовала Янка, не поднимая глаз. Ее пальцы чуть шевельнулись, и тонкая струйка крови зазмеилась в прозрачной утробе шприца, смешиваясь с лекарством. Успокоительное подействовало на Таню мгновенно: тревожность схлопнулась, душевная боль резко замолчала, будто в её воющую пасть вогнали просмоленный кляп. Теперь серые глаза Татьяны смотрели осоловело. И если бы не так сильно жгло кожу, она бы заснула прямо здесь, в процедурке гинекологического отделения. Пандора всегда высасывала силы досуха.

Борясь с сонливостью, Татьяна подняла голову выше. Склонившись над ее простертой рукой, Яна медленно вводила лекарство в вену. Присмотрелась, пощупала указательным пальцем вспухшую кожу вокруг иглы.

— Дует? Не терпи, говори! — потребовала она.

— Нет, я в порядке, — помотала головой Таня.

— В порядке она!.. — возмущенно сказала Яна. — Сама блее мела, давление, как у трупа, трясется вся — а в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо?

Телефон вновь задвигался в кармане, заверещал, как недовольное насекомое.

— Перезвонишь! — рявкнула Янка в ответ на несмелое движение подруги.

— Ну, Ян, а вдруг что важное? — несмело предположила Таня. Ее мутило, появившийся на языке химический привкус стал явственнее. Он ширился и все больше отдавал сладковатой резиной, словно в рот засунули воздушный шарик. — Я же на смене, должна отвечать на звонки... Может, что-то с пациентами...

— Никуда твои пациенты не убегут и не уползут, за ними мамы смотрят, —

раздраженно отсекла Яна. — Сначала вваливаешься сюда, чуть живая, просишь поставить успокоительное. А чуть захорошело — сразу в бой, да, подруга?

Спорить не было смысла — в их разговорах за громкоголосой великаншей Янкой всегда оставалось последнее слово. Вот только потом Татьяна всё равно поступала так, как считала нужным, и они обе это знали.

За окном процедуры подвывала январская метель, и было темно, как в туче. Таня глянула на запястье — там, в белом круге циферблата, прямой линией замерли стрелки, отвернувшиеся друг от друга, как обиженные любовники. Пятнадцать пятьдесят. До конца смены еще четыре часа. И нужно как-то продержаться. Ведь неизвестно, когда снова сдадут нервы, на время взнузданные диазепамом — и безумие Пандоры снова вывернет ее мир наизнанку.

«Нужно позвонить Купченко, пусть сменит меня как можно быстрее», — решила она.

Витька Купченко был их институтским товарищем. Когда наступила пора интернатуры, именно Витёк убедил Татьяну выбрать детские — нешуточно-быстрые, требующие особого внимания к рассыпавшимся бисеринкам симптомов — болезни. Взвалив на себя почетное ярмо клинического педиатра, она увлеклась работой с детьми, почуяла призвание, как, едва войдя в подъезд, чуют еле уловимый запах маминого борща. И это призвание, вполне перекликалось с ее давней мечтой — мечтой об идеальном материнстве.

Бесконечно листая справочники, слушая лекции в интернете и выезжая для повышения квалификации то в Московский НИИ педиатрии, то на семинары и конференции МОНИКИ Татьяна всё пыталась понять, как сделать лечение маленьких пациентов таким же простым и быстрым, как в их детских книжках.

Она часто видела у больных детей признаки тревожности, симптомы зарождающихся неврозов. Знала, что психический дисбаланс проявляется через болезни тела. Но не понимала, что с этим знанием делать. И такая вот врачебная немощь побудила ее пойти на второе высшее — за дипломом детского психолога.

Все три года Таниной заочной, но очень старательной, учебы Купченко прикрывал ее на работе во время сессий. Благодаря ему главврач Инесса Львовна смотрела сквозь пальцы сначала на отсутствие интерна, потом на отъезды врача. Тем более, что в результате отделение получило специалиста с двойной квалификацией, что давало заведующей повод для гордости, а Купченко — чувство сопричастности. Вот так и повелось, что Витька всегда шел ей навстречу, если дело касалось внеурочных дежурств. А если уж у Татьяны случалась беда...

Душевная боль снова зашевелилась внутри, растопырила острые колени — они впились под ребра, мимоходом ткнув сердце. Пульс зачастил, вдох раскололся на трое — ставший колючим воздух словно спускался в легкие по ступенькам. Внизу живота ползал страх, шевелился там, где еще недавно жил, рос, проходил свои стадии Танин ребенок. Что она только не делала, чтобы сохранить эту беременность! Всё тщетно. Уже в пятый раз.

«Мое тело — гроб, в нем — мертвец». Сперва мысль была отстраненной, будто всплывшая фраза из детской страшилки. Но потом обрела четкость, стала выпуклой, черной, страшной. И Таню едва не вывернуло. «Нужно убрать ЭТО! — волна паники выхолодила душу. — Как можно быстрее... Из-за него вернулась Пандора».

— Янка, ты можешь меня сегодня взять на чистку? — взмолилась она. Слово «чистка» было жестким, равнодушным, бесчеловечным. И звучало, как кощунство. Но Татьяна знала — иного выбора нет.

Подруга хлестнула черными глазами из-под вороной, кукольно-ровной, до бровей, челки. Вытащила из вены иглу, придавив выступившую бордовую каплю мокрым ватным шариком. Пахнуло спиртом.

— Ну вот, зажди, — она послушно перехватила шарик, и Яна выпрямилась во весь свой великанский рост. — Ты же знаешь, у нас плановые манипуляции по утрам проводятся... Если делать сейчас, мне придется тебя как экстренную пациентку проводить, что при замершей беременности в общем-то неправильно.

Татьяна лишь кивнула, заторможено глядя перед собой. В стекле медицинского шкафа, поверх таившихся в глубине биксов, пачек лекарств и одноразовых шприцев, почти прозрачным привидением отражалось ее лицо. Странно было смотреть вглубь него. Там, в шкафчике, хозяйничал ловкий, почти невыносимый для нее сейчас порядок — много лет Таня безуспешно пыталась навести такой в своей жизни. Не вышло. Да и могло ли выйти?

Она отвернулась, прячась от самой себя. Процедура. Голубой кафель на высоких стенах, столы на колесиках, подставившие спины под кюветки и баночки с шовным материалом, синяя ширма, скрывающая гинекологическое кресло — все холодило, внушало отвращение. Но от мысли, что именно здесь ей помогут, стало немного легче.

— Эй, ты чего? — Яна тронула ее за плечо, потянулась, пытаясь поймать взгляд подруги. — Что за срочность? Боли появились? Кровит?...

— Ничего такого нет, — Тане отчего-то стало душно и она стянула маску с лица. — Янка, прости. Если надо до завтра дотерпеть, то конечно... Но я с ума схожу от того, что он у меня в животе — мертвый! Ты не представляешь, как мне страшно...

— Да успокойся ты, придумаем что-нибудь, — Яна посмотрела изумленно.

«Как на сумасшедшую смотрит, — тоскливо подумала Татьяна. — Скоро все будут так смотреть. Все узнают о приступе, к гадалке не ходи: Кате Петровне только попади на язык — разнесет по всей больнице. Мать про таких говорит «вода в жопе не держится». Ох, кстати, мать... Не дай Бог еще она узнает... Торжества будет — через край».

Инесса Львовна еще раз набрала на сотовом номер Татьяны. Вот где ее носит?! Длинные гудки звучали раздражающе ровно. Вяземская дала отбой и, подойдя к окну, растерянно поправила подставку белой орхидеи.

Инесса считала Татьяну своей лучшей сотрудницей, присматривалась к ней — лет через десять нужно будет решать, кого поставить на заведование вместо себя. Прилежная и ответственная, Демидова была хорошим кандидатом. А тут такое! «Нет, ну наверняка ничего серьезного, — успокоила себя Вяземская, — басни Кати Петровны тоже надвое делить нужно, то еще помело... Хотя на пустом месте даже она такое бы не придумала».

Заведующая вышла в коридор, направилась к палате, крайней от двери в педиатрию. Там лежала их постоянная пациентка — четырехлетняя девочка с бронхиальной астмой. Бабуля Ангелина Васильевна, патронировавшая ее, была не в меру любопытна и знала все новости отделения. «Выспрошу всё у нее, а если информация подтвердится, попрошу пока не обсуждать это ни с кем. Не нужны нам ни паника среди пациентов, ни пятно на репутации отделения», — размышляла заведующая.

Негромко постучав, она приоткрыла дверь палаты. Ангелина Васильевна сидела в кресле, распускала полосатый свитер, ловко привязывая обрывки шерстяных ниток — каждую к клубку своего цвета. Завидев Инессу Львовну, прижала палец к губам: только-только уложила внучку. Скользя взглядом по согнутой детской спинке, круглящейся под махровой простыней, заведующая поманила бабулю в коридор.

— Посоветоваться с вами хочу, Ангелина Васильевна, — дипломатично сказала она. И старая сплетница важно кивнула, поплыла к кабинету вслед за Вяземской.

Поговорили они быстро — пяти минут не прошло, как бабуля отправилась восвояси. «Болтать она, конечно, будет, с этим ничего не сделать, — думала Инесса, снова набирая номер Демидовой. — Ведь видела и слышала то же, что и санитарка... Надо же, сцепилась с Тихоновой! И обморок этот — прямо на работе...»

— Да, Инесса Львовна, извините, не могла раньше ответить. — Голос Демидовой был приглушенным. — Я в гинекологию к Яне отошла.

— Татьяна Евгеньевна, что произошло? — заведующая старалась говорить спокойно. — Мне сказали, у вас... ммм... был стресс?

— Простите, я перенервничала. У меня опять замершая беременность, — тускло ответила Татьяна. — Мне Костромина уже поставила успокоительное. И госпитализирует сегодня.

Заведующая помолчала. А что тут скажешь? Сама прошла через подобное когда-то, так и не смогла забеременеть... И муж ушел. Тяжело всё это.

— Ох, Таня, — вздохнула заведующая. Она редко обращалась к сотрудникам на «ты», блюла начальственную дистанцию. Но сейчас они говорили, как две женщины, объединенные общим горем. — Сочувствую тебе. Но до работы всё равно допустить не могу, войди в мое положение.

— Я понимаю, — перебила Демидова. — Купченко меня подменит.

Ее голос звучал сухо, но Инесса Львовна уловила в нем нотки обиды.

— Ладно. Выздоровливай, — сказала она.

«Татьяне не мешает нервы подлечить, — подумала Вяземская. — Но сама она за

помощью не обратится. Как большинство врачей, сапожник без сапог: других лечит, а своё здоровье по боку».

Поискав в записной книжке, она набрала номер Федора Сергеевича Лемешева — психиатра, с которым была знакома по работе уже лет двадцать. Дозвонилась быстро, после вежливых расшаркиваний кратко описала суть дела.

— Ничем не могу, Инесса, — с сожалением сказал Федор Сергеевич. — Я же в Польску сейчас, у дочери. Как полгода назад на пенсию вышел — так сразу сюда. Помогаю с садом и внуками.

— Тогда посоветуйте кого-нибудь, — попросила Вяземская.

— Есть там у вас один парень, Игорь Новицкий. Опыта у него маловато, конечно, но хотя бы теорию знает неплохо, другие по сравнению с ним недоучки... Не больно-то охотно идут сейчас в нашу профессию, — пожаловался Лемешев. — А кто идет, больше на наркологию упор делает — на ней хоть заработать можно. Психиатрия им так, по боку...

Новицкому тоже удалось дозвониться с первого раза.

— Скоро буду, — пообещал он, выслушав просьбу Инессы Львовны.

— Мне уже бежать пора, но я вас прошу — отзовнитесь по результату. И, пожалуйста... Будьте с ней по деликатнее. Она наша коллега, все-таки. Давайте проявим участие.

Завершив разговор, Вяземская почувствовала удовлетворение. Ее отделение будет работать без сбоев. И сотрудники тоже. Просто некоторым нужно помогать — вот как Татьяне.

Лепесток белой орхидеи оторвался, спланировал на подоконник. И, глядя на него, Инесса Львовна вдруг засомневалась: а не перегнула ли она, пригласив психиатра?

— Львовна звонила? — спросила Яна, сделав круглые глаза. — Потеряла тебя, да?

— Ну... — Таня замялась. Рассказать о приступе? И о том, что такие у нее — с детства?

Ох, нет... Пусть Янка и лучшая подруга, но нет. Никому и никогда.

— Чего? Говори! — потребовала Костромина.

— Да она не ругалась! Посочувствовала только.

Яна отвернула край медицинских перчаток, деловито глянула на часы.

— Так, я часа через полтора освобожусь. В принципе, мы можем сделать выскабливание сегодня, — вслух размышляла она. — У тебя срок пограничный, 10 недель, сойдет как показание для экстренного вмешательства. Приврать придется, конечно, но... Я сейчас медсестрам и анестезиологу скажу, чтобы готовились.

Господи, как хорошо, что у нее есть Янка! Таня с облегчением прикрыла глаза, сжала руки, унимая накатившую дрожь. Скоро, скоро всё закончится. И ее постыдная тайна, которую она столько лет умудрялась прятать даже от лучшей подруги, снова уйдет в глубинные пласты сознания и заляжет там, сложив оружие. Можно будет продолжать жизнь обычного человека. Она не потеряет работу, друзей, семью. И когда она всё-таки родит ребенка, ее не лишат материнских прав. Потому что никто не будет знать о том, что Татьяна Евгеньевна Демидова, уважаемый детский врач, добропорядочная жена и любящая мать, страдает от непонятного психического расстройства.

— И я еще Купченко позвоню, пусть оторвется от мамочки и летит сюда на крыльях любви, — деловито добавила Яна. И, чуть подумав, уточнила: — Нет, не летит — топает. Или катится, потому что с его пирожковой диетой летать проблематично.

— Янка, вы же с Тamarочкой на пару его раскармливаете — возразила Таня. — И меня, кстати, тоже. А позвоню я ему сама. Витька, конечно, и тебе не отказал бы. Но почему ты должна за меня просить?

Витька Купченко учился вместе с ними в институте, и в студенческие времена был попеременно влюблен то в Таню, то в Яну, над чем они беззлобно смеялись до сих пор. Суетливый обаятельный толстячок — низенький, смуглый и кареглазый — он напоминал Лосяша из «Смешариков». Витька жил с мамой, которая заворачивала его в вязаные жилеты и кофты собственного производства, совала в его сумку контейнеры с полезной пищей, и до третьего курса навевывалась в мед — узнать, как дела у сыночки.

А сыночка был прирожденным педиатром, и в будущем вполне мог стать вторым Филатовым. Еще учась в институте, он прослыл грозой окрестных декретниц, и дважды попадал в милицию за стремление нравоучать. Завидев мамашу с коляской, Витька непременно шел за ней, ревниво наблюдая, не слишком ли сильно она укачивает дитя, не облизывает ли соску перед тем, как сунуть бутылочку ребенку. И, чуть что, делал замечания. А еще он мог точно сказать, из-за чего плачет грудничок: жарко ему, голодно, или мучает зуд в деснах. Впрочем, не все ценили способности Купченко: многие мамы из тех, что он встречал на улицах, не понимали своего счастья и бежали от бесконечных Витькиных наставлений, роняя памперсы и погремушки. Но он все время находил новых жертв.

Таня подозревала, что он с удовольствием переселился бы в отделение, потому что здесь его некому было обвязывать жилетами и откармливать пресным пюре из нажористой паровой брокколи, или не менее вкусной вареной моркови.

Сегодня он должен был выйти в ночную смену, поэтому он наверняка бодр, трезв и ничем не занят.

Татьяна выудила из кармана смартфон, погладила его пальцем, снимая блокировку. На экране горел пропущенный вызов из приемного покоя. Она тут же перезвонила:

— Девочки, это Демидова. Искали меня?

— Да, Татьяна Евгеньевна. Тут мальчика привезли, посмотрите?

— Конечно! Уже спускаюсь.

Работа. Хорошо, что у нее есть эта работа. Таня цеплялась за нее со смешанным чувством страха и обожания, и не знала, чего боится больше — навредить или потерять. Она вращалась во врачевание, оплетала свое отделение, как вьюн. И между своими короткими беременностями работала, как одержимая, проникала во все свободные квадратики сменных графиков — несмотря на то, что совершенно не нуждалась в деньгах. Несмотря на недовольство Макса, беспокойные ночные смены, нервных мамашек и жалость к больным детям. Работа выматывала, но позволяла помогать. Это отвлекало от невеселых размышлений о собственной жизни.

Вот и сейчас мысль о том, что ее ждет больной, заставила Татьяну собраться, привести себя в порядок. Она поправила волосы, застегнула пуговицы халата. Сразу стало тесно: он жал в груди и еле сходил на талии, хотя размер был пятьдесят вторым. Татьяна расправила воротник, выровняла бейдж, приколотый к груди. Придирчиво оглядела туфли. Взяла со столика картонную упаковку с перчатками, вытащила одну пару. Натянула на руки: новые, шершавые от талька, надевались они легко.

«Теперь я снова врач, а не пациент, — упрямо подумала она. — И буду оставаться врачом, пока это возможно».

Янка с осуждением смотрела на нее, уперев руки в бока. Таня сказала примирительно:

— Слушай, ну я же пока на смене!

Демонстративно набрала номер Купченко и, глядя на подругу, попробовала соорудить смешную рожицу. Получился грустный клоун. И она снова натянула хирургическую маску на лицо.

Согнувшись над зеленым сукном, Макс прищурил глаз, примерился. Глянцевито блестящий белый шар лежал на столе, как яйцо Кощеево. Если попасть, если заставить двинуться к левой лузе и прыгнуть в нее, можно получить превращенное в десять тысяч долларов полцарства.

Осторожно поводя кием, Максим старался расслабить мышцы, успокоиться. Дышал глубоко и равнодушно, чувствуя, как смиряются мышцы, как, становясь ее продолжением, врастает в руку бильярдный кий. Выдохнув в последний раз, Максим толкнул его резко и сильно, посылая вперед, как разящее насмерть копьё. Гладкая деревяшка заскользила меж пальцев, но в нагрудном кармане шевельнулось, подпрыгнуло, музыкально взвыло. Рука испугалась, дернулась — и деревянное острие, щедро натёртое мелом, скользнуло на пару миллиметров вправо. Бильярдный шар метнулся по зелени поля, треснул лбом о деревянный бортик, отскочил, послушно меняя траекторию, покатился было — и затяжелел, наливаясь ленивой скукой, нехотя вздрагивая под резкую дробь пасодобля, сыпавшуюся из телефона. Дотолкал себя до лузы — и глумливо замер на ее краю.

— Ч-чёрт, черт! — Макс сжал кулаки до белизны в костяшках, разъяренно мотнул головой. Телефон вибрировал, щекоча кожу сквозь нарочито грубую ткань дорогой рубашки, требовательно гремел, вызывал на корриду.

Эта мелодия стояла только на одном номере.

— Да чтоб тебя!.. — он длинно, со вкусом выматерился, изливая вскипевшую в жилах ярость. Убил бы сейчас Таньку — так взбесила! Бильярдный шар застыл буквально в миллиметре от лузы.

Десять. Тысяч. Долларов.

— Ч-чёрт, черт!!!

Партия была не закончена, он вёл 8:6. Играть договорились до десятки, и фора у Макса еще была. Но от мысли, что, может быть, именно ему придется платить сегодня, Демидов разозлился еще больше.

Он поймал косой взгляд Олега Василенко: тот усмехался, видимо, ждал, что партнер окончательно потеряет контроль над собой, а тогда и проигрыш неминуем. Радовался, гад.

«Рано радуешься», — Макс сжал челюсти.

Отвернувшись от Василенко, он дернул трубку из кармана. Ну да, Танька — рингтон с корридой он поставил на номер жены специально, как символ их семейной житухи. Надоевшей, скандал на скандале, которую он терпел только ради доступа к Танькиным деньгам. Он и женился-то ради денег, грех было упускать такую возможность. А Максим Демидов был не из тех, кто клювом щелкает. Да и вообще — он десять Танек бы стерпел, чтобы вернуть Алёну.

Ее он любил, с Алёной все было бы по-другому... Нет, положила руку на сердце, Макс признал бы, что и с Танюхой всё изначально складывалось не так плохо. Эта толстуха, без сомнения, была ему симпатична. Грудь у нее — роскошная, Макс всегда считал, что вот такая полнота любой бабе к лицу. И поговорить с ней бывало интересно, и хозяйственная она: готовит вкусно, убирает, заботится... А с другой стороны — упертая, как ослица. Командирша, всё под каблук его загнать пытается. Ну и лохушка наивная, с принципами — Максим всегда таких презирал.

Телефон продолжал звонить.

Макс глубоко вдохнул и шумно выпустил воздух через нос, пытаясь успокоиться. Отвечать не хотелось. «Знать бы, зачем звонит... — Макс прищурился, быстро глянул на часы и решил: — если попросит забрать с работы, скажу, что совещание затягивается. Она поверит. Каждый раз верит».

Нет, в другой день он бы поехал к ней, изобразил бы заботливого мужа. Но сегодня ему требовалось время, чтобы выиграть партию с Василенко — пока тот настроен кутить. Демидов мазнул пальцем по экрану смартфона.

— Да! — рявкнул он. — Таньк, срочное что-то? Я на совещании.

Он поставил кий в стойку, указал свободной рукой на прижатый к уху телефон — пусть Василенко видит, что он отвлекся по делу, а не слился, боясь проиграть. Пошел вокруг стола, по-обезьяньи сутуля спину. Из-за этой сутулости его непропорционально длинные, загорелые руки свисали почти до колен. Вот почему самарские друзья прозвали его Кингом. Да, это было производным от «Кинг-Конга». А не от «короля», как он врал Алёне.

В бильярдной было невозможно разговаривать: орала музыка, стучали шары. Девки, которых приводили с собой игроки, отмечали каждое попадание в лузу громким визгом. Обогнув длинный плац бильярдного стола, Макс двинулся в направлении коридора. Провел ладонью по высокому смуглому лбу с залысинами, по темным, коротко стриженным волосам. Расстегнул еще одну пуговицу белой рубашки. На шее жёлто блеснула широкая золотая цепь — подарок Алены, память об их 90-х. Заметив, что джинсы испачканы мелом, Макс раздраженно стряхнул его с ноги.

— Ты не теряй меня, я буду в больнице. Ложусь в гинекологию, — голос Тани был тусклым. Она помолчала, будто собираясь с силами. — Макс, прости. Ребенка не будет. У меня опять замершая беременность.

Максим раздраженно закатил глаза. Дети, дети... Далась ей эти дети!

Музыка в зале стала тягуче-гнусавой, будто у синтезатора заложило нос. «Надо заказать еще виски, — думал Макс. — Василенко чаще проигрывает, когда выпьет. И пожрать бы не мешало, вон как с кухни жареным мясом тянет. Надо признать, Василенко в бильярде мастер... Но в покере я его сделаю! Может, предложить за бутылочкой партейку? И не сорвется тогда десяточка бакинских».

— Макс, что ты молчишь? — голос жены стал обиженно-требовательным.

«Да понял я, ложишься в больницу, чего еще надо?» — раздражение нарастало, но он постарался говорить спокойно:

— Ну а что тут скажешь. Плохо, конечно.

Она всхлипнула.

— Таньк, не реви, — угрюмо попросил он. И не удержался, кольнул: — я ж тебя отговаривал, но ты сделала по-своему.

В трубке вмиг вскипела тишина. Такая, будто в него летела бомба.

— Значит, ты считаешь, что это я во всем виновата?

Слова зазвучали отчетливо, с ноткой угрозы. Макс скривился, поднял сжатый кулак, и с досадой треснул им по воображаемой стене. «Ну, всё, сейчас заведется. Уже завелась», — он запустил пятерню в волосы, почесал макушку. Перед глазами мелькнуло воспоминание: Испания, коррида, победивший *toro** трусит по арене, угрожающе наклонив голову. А на песке валяется сбитый с ног тореадор, который мог бы отрезать оба его уха и хвост — будь он половчее и поосмотрительнее**. «Не надо ее злить, — решил Макс, — а то опять начнет

о разводе. А если развестись сейчас, о возвращении в Самару можно забыть — я не для того терпел столько лет, чтобы явиться к Алёне нищевродам».

И он сказал печально, с легкой обидой

— Танюш, я ж не то имел в виду...

— Угу.

— Я ж боюсь за тебя, — напирал он. — Думаешь, легко мне? Просто вида не подаю.

Она еще помолчала, вздохнула с тоской.

— Правда?

— Конечно! — Демидов облегченно выдохнул. И спросил, стараясь, чтобы голос звучал

участливо:

— Ты как сама-то? Как чувствуешь себя?

— Да как... Хреново.

— Мне приехать? — спросил он, и тут же осёкся: «Бля, нахрена предложил? Вдруг согласится?»

Но она снова выпустила жало:

— Зачем? Когда надо было, ты мне не помог.

«Твою дивизию! Сука злопамятная! — взбесился Демидов. — Ну да, не пошел я сдавать эти чертовы анализы — и что теперь, всю жизнь меня клевать будешь? Да! Я ненавижу! Все эти уколы, шприцы, баночки — не-на-ви-жу! А конура эта, для сдачи спермы: метр на метр, стульчик и журнальчик! Позор, унижение, нормальный мужик не стерпит! Это так сложно понять? И ведь я не скрывал. Сказал по чесноку: нужен ребенок — о кей, но разбирайся сама со своими докторицами. Или признай уже, что не можешь родить, и живи спокойно. Нет, она всё пыжится и пыжится, а потом с ней вот такое, и виноват, конечно ж, муж!». И сказал, одним сжатием челюстей прожевав злобу:

— Таньк, я ж волновался за тебя. Поэтому и не хотел, чтоб ты рисковала. Знаю, детей хочешь. Но, блин, не любой же ценой! Я ж не железный, переживаю.

Она молчала.

— Танюш, ты ж знаешь, люблю я тебя.

«Бля, да что ж она молчит-то?»

— Таньк, я мужик, мне эти ваши женские шгуки в жизни не понять. Понимаю, ты ими занята. А только все равно не могу, когда ты ко мне так, будто меня нет! Если о себе не думаешь, подумай хоть обо мне. Если с тобой что случится, как мне жить-то?... Я ж, если буду знать, что не уберег — с моста кинусь!

Пауза была долгой, но он выдержал ее — хотел, чтобы Танька прочувствовала вину. И сработало.

— Ладно, извини. Я просто на нервах, — нехотя сказала она. — Сегодня не стоит приезжать, потому что тебя не пустят. Поздно очень.

«Один-один. А потому что Максим Владиславович всегда умел баб забалтывать», — Демидов довольно прищурился, провел языком по губам. Ощущение было то же, что и в покере после удачной раздачи — практически выиграл, но вида подавать нельзя. Да, покер и бильярд — эти игры аристократов — научили Макса многому. Он был уверен: профессиональных игроков зря считают изгоями — не стоит забывать, как остр их ум, как верна алгебра и геометрия цинизма, с помощью которой они просчитывают ситуацию.

— ...список эсэмэской скину, — говорила Танька.

— Что? — переспросил он. — Извини, тут отвлекают.

— Вещи, говорю, завтра привези мне, пожалуйста. Список скину.

— Хорошо, жду. Позвоню, как буду собираться.

Он нажал на кнопку отбоя. Задумался, перебирая в уме детали разговора. Вроде бы, все в порядке. Она ему верит. И не злится на него больше.

Это радовало, потому что при разводе ему бы ничего не обломилось. Их семейный бизнес — самую крупную в городе аптечную сеть — Танька создала задолго до их свадьбы. И дом тоже купила до. Его «вольво»?... Попробуй еще, отсуди. Но больше всего Максим жалел, что жена, которой тёща его любимая — чтоб она трижды провалилась! — вечно нашептывала, что делать, так и не согласилась внести изменения в устав своего ООО, чтобы дать ему доступ ко всем деньгам и имуществу... Но ничего, умные люди придумали массу схем для директора, который хочет отжать себе деньги фирмы. И он, Максим Владиславович Демидов, на попе ровно не сидел — как мог, выводил капиталы. Благо, на дворе кризис, и затраты можно списать на него.

Вот только нужно, чтобы Танька и дальше была при нем. Пока они женаты, Макс по-прежнему мог вести привычную жизнь и готовить свое возвращение в Самару. Оставаться гендиректором крупнейшей аптечной сети города. Встречаться с солидными людьми, быть вхожим в их круг. Делать ставки на равных. Он успел бы отыграться, закрыть долги и заначить денег. А потом и свалить можно — он ведь поклялся Алёне, что вернется за ней королём.

Все остальное было не важно. То, что Танька никак не может родить, Максима не волновало. Он вообще считал это бабской блажью. Да и ему ребенок был не нужен. Даже от Алёны, наверное...

Демидов не понимал детей, и потому относился к ним настороженно. Младенцы казались ему некой разновидностью домашних зверушек, которые имели странный вид: то ли обезьянка, то ли кукла. Комки соплей и какашек, которые только и делают, что спят и орут. А потом они вырастают и начинают плевать на родителей.

«Вообще, не мешало бы ускориться, надоело всё до чертиков, — думал он, шагая обратно в бильярдный зал. — Вдруг Танюха начнет догонять, что я ей мозг пудрю и бабло налево сливаю? Хотя маловато его пока, того бабла... У Алёны аппетиты нехилые. Эх, забрать бы всё! Но такое возможно, если только Танюху того... Пока у нас детей нет, я единственный её наследник».

Эта мысль — темная, гнилая — давно подтачивала его изнутри, и Макс пугался ее так же сильно, как желал допустить и обдумать в деталях. Но убийство... это даже для него было слишком. И ему казалось, что если начать думать о нем всерьез, остановиться уже не получится. А последствия такого дела могли быть слишком непредсказуемы.

«Нет, мокруху затевать надо, когда реальный край приходит. Придумаю что-то другое. Только побыстрее надо, пока Танька ничего не прочухала. Но что придумать-то? Здесь ведь тонко надо, виртуозно...»

* toro (исп.) — бык.

**Если тореадор побеждает на корриде, ему достаются уши и хвост быка — именно они считаются главным призом и символом победы.

Лучше бы она спустилась на лифте.

До приемника было всего пять лестничных пролетов, но после укола успокоительного Таня преодолевала их медленно и осторожно, как похмельный альпинист — опасную скалу. Немного кружилась голова, да и в ногах была вата, держали плохо.

Впрочем, к первому этажу слабость отступила. Таня открыла дверь приемного отделения, пошла по длинному полутемному коридору, меж кафельных стен бирюзового цвета. Со старых агитационных плакатов смотрели счастливые семьи и энцефалитные клещи.

Как всегда, в приемнике было шумно, пахло йодом, дезинфекцией и табаком. В пластиковых креслах терпеливо ждали больные, сопровождающие толпились рядом, заглядывали в кабинет первичного осмотра. Его дверь была открыта, и две медсестры работали, не поднимая голов — одна заполняла историю, вторая мерила давление у грузной пожилой женщины в теплом платке и песцовой шапке. Неся в опущенной руке звенящий пробирками чемоданчик, прошлепала тапочками лаборантка. Высокий пожилой хирург в голубом медицинском костюме — благообразный, как миссионер — зашел в четвертую смотровую, задернув за собой плотную зеленую штору. Таня только и успела, что мельком увидеть стоящую там каталку и ноги лежащего на ней человека, обутые в большие, подбитые потертой черной резиной, валенки.

Первая и вторая смотровые были пусты. В третьей лежал старик, очень бледный и одышливо-полный. Женщина средних лет сжимала его руку.

— Девочки, где мой? — спросила Татьяна у медсестер.

— В четвертую пройдите, пожалуйста. Там Алексей Вячеславович уже.

Интересно, с чем привезли мальчишку, если его смотрит хирург?

Она вошла в белый дверной проем, под яркий свет большой прямоугольной лампы, и увидела, как колыхнулась штора. Из-под нее, как из-под ширмы кукольного театра, показались тупые черные носы старых валенок, спущенных на пол с приглушенным стуком. Тяжелый бас хирурга за плотной зеленой тканью был монотонно-успокаивающим:

— Здесь больно? А здесь?...

Ответом был только надсадный кашель.

Таня отвела край шторы. Спина хирурга, обтянутая голубой тканью униформы, была согнута над облезлой каталкой: он ощупывал ноги худого белобрысого мальчишки, который беспокойно тянул голову, следя за движениями его рук.

На кушетке, стоявшей у стены, грудой валялись обноски. Старомодная куртка-Аляска черного цвета, воротник которой сваялся плотными комками, лыжные штаны, прожженные в нескольких местах, мохеровый шарф в клеточку, кроличья шапка-ушанка — оказывается, кто-то еще носит такие. От вещей ощутимо несло дымной кислятиной. Татьяна не сразу осознала, что это одежда мальчика — только увидев на нем старый свитер с орлом «Монтана» (надо же, их ведь носили лет двадцать назад!), она почувствовала острый укол жалости. Что же у него за родители, если ничего другого для сына не нашли?

Мальчишка стрельнул в нее взглядом, в глазах почему-то метнулся испуг. Таня спустила с лица медицинскую маску, улыбнулась как можно приветливее. Она всегда старалась расположить к себе детей. Тем более, что этот парнишка явно был ее пациентом: с таким

кашлем она его домой не отпустит.

На вид ему было лет восемь. Соломенные волосы, слежавшиеся под влажным теплом зимней шапки, прилипли ко лбу нелепыми завитками. В серых глазах, испуганно смотревших из-под белесых бровей, Татьяна заметила рыбий блеск — тот, что всегда сопровождает лихорадку. Заострившийся нос, обметанные губы с сухими блямбами заед, впавшие щёки. Тонкая шея, предельно выступающие дуги ключиц. Таня нахмурилась: мальчишку явно недокармливали.

Хирург выпрямился:

— Ну что, поздравляю, переломов нет, но вот колено вывихнуто. Мы его вправим. Живот не болит?

— У меня только нога и голова, я ей ударился, когда с горы летел, — пожаловался мальчишка.

— Не бережешь ты себя, летун, — Алексей Вячеславович покачал головой.

— Это случайно получилось... — промямлил мальчик.

— Все-таки я гляну твой живот, на всякий пожарный случай. Снимай-ка свитер, заодно и ребра пересчитаем: вдруг какое потерял? — подмигнул хирург.

Парень отреагировал странно: напрягся и отпрянул, будто в страхе. Замотал головой, вцепился руками в край одежды.

— Ты боишься меня, что ли? — удивился хирург. — Или стесняешься? Не нужно. Я тебя не обижу, вот и Татьяна Евгеньевна подтвердит. Правда, Татьяна Евгеньевна? Я же не страшный?

— Нет, конечно, — улыбнулась она и попыталась приободрить мальчика. — Алексей Вячеславович у нас добрый, тебе повезло, что к нему попал. Снимай свитерок, не бойся. Сначала тебя дядя хирург посмотрит, а потом я послушаю, что у тебя за кашель такой разухабистый. Хорошо?

Парнишка напряженно сглотнул. Но через мгновение приподнялся, чуть скривившись от боли, потащил свитер вверх. Кисти рук были костистыми, как птичьи лапки. Мальчик боднул головой, выныривая из вязаной горловины, освободил плечи из рукавов. И ссутулился, исподлобья глядя на Таню. А она тихо охнула: бледная кожа мальчишки была исполосована вздувшимися красно-фиолетовыми линиями.

— Эт-то что такое? — медленно, неожиданно хрипло, крикнул хирург.

— Я упал, — быстро ответил мальчик.

Как показалось Тане, слишком быстро.

Алексей Вячеславович наклонился, пригляделся к синякам — а потом перевел взгляд на Татьяну. В его потемневших глазах зрело сомнение, оттененное горечью догадки. Таня подошла ближе, впиалась глазами в грудь мальчишки. Багровые полосы перекрещивались, ложились поверх друг друга, и на конце каждой наливался почти ровный прямоугольник со звездчатой чернотой по центру. Было в них что-то... Что-то знакомое... Она наклонилась ниже, пытаясь вспомнить — и вдруг ее щеки зажгло, словно изнутри к ним поднялись тысячи крохотных игл. По телу ознобом прошла дрожь, вздыбила волоски на коже. Татьяна зашла мальчишке за спину и, едва взглянув, запечатала рот ладонью: на выступавших тонкими гребнями ребрах и вдоль позвоночника, будто собранного из острых кулачков, багровели те же следы. И она вспомнила...

... Маленькая Таня что-то натворила тогда, и отец решил выпороть ее. Сказал спокойно, почти буднично: «Раздевайся и ложись на диван». Оставшись в одних трусиках,

она легла, уставившись в стену — на широкую, кривую трещину, нахально расколовшую слой известки. Диванная обивка была жесткой, и чувствовать ее грубость голым телом было бесконечно страшно — казалось, будто жестким и грубым стал весь окружающий ее мир. Даже воздух царапал, дотрагиваясь ледяными пальцами сквозняка, колко просачиваясь внутрь сквозь сведенное спазмом горло.

Время превратилось в ком расплавленного стекла: угрожающе мерцало, лениво меняя форму, тяжело перетекало из минуты в минуту, обжигало пониманием, что оно — конечно. Что вот еще немного, и послышится медленная поступь отца, мерзко зевнет пряжка солдатского ремня, открываясь с коротким лязгом.

Можно было сто раз сойти с ума в ожидании этой пытки.

Он вошел молча. Вытащил из брюк ремень. Скосив глаза, оцепенев от ужаса, Таня смотрела на отца и до последнего верила, что он передумает. Но мужчина сложил ремень вдвое, примерился и схватил ее за ноги, легко окольцевав своей широкой ладонью обе ее лодыжки. Ремень в поднятой руке вздыбился петлей. Отец высоко поднял девочку над диваном; подвешенная вниз головой, Таня не могла сопротивляться, только зажмурила глаза. Ярко, как в телевизоре, возникла картинка: мертвая туша на скотобойне. Висящая на крюке, с содранной кожей. Кровь на полу. Холод. Смерть.

Первый удар плюнул болью, взрывлив кожу, как червь. Таня зарыдала, извиваясь, завизжала, моля перестать. Второй удар, третий, еще, еще — они взрывались, расшвыривая по телу зазубренные осколки боли. Таня подавилась криком. Он переполнял ее, но уже не мог вырваться наружу — горло заткнул спазм. Тишина обрушилась, надавила — и просыпалась, как песок. «Панддооорааа», — колыхнувшись, шепнул воздух, и кольцо отцовских пальцев на ее ногах стало мертво-пластиковым. Стены дрогнули, изогнулись, диван заблестел, превращаясь в пластиковый куб. И отец тоже стал ненастоящим, пластмассовым, неживым, как механический человек, которого завели большим ключом, и теперь он поднимает и опускает, поднимает и опускает, поднимает и опускает руку.

Таня обмякла, повисла полумертвой кошкой, еще секунду назад визжавшей до царапин в горле. А кукла-отец, всё так же молча, тщательно и вдумчиво охаживал ее ремнем со всех сторон — по ногам, ягодицам, спине, животу и груди... Широко замахивался, опускал ремень с ровным, монотонным свистом. Крутил своего ребенка, будто выбирая, где еще осталось живое, чувствительное место. С видимым аппетитом терзал маленькое тело дочери.

Молча, без эмоций, он доделал запланированное и спокойно, с чувством выполненного долга, ушел на кухню. А она доползла до своей комнаты, легла в кровать и много часов не могла уснуть, потому что обожженная ударами кожа звериным воплем отзывалась на каждый вздох. И долго потом на ее бёдрах и ягодицах темнели длинные, болезненные метки родительской ярости. А на их концах горели звездочки в прямоугольных оправках — следы от тяжелой металлической пряжки толстокожего солдатского ремня.

«Чтоб вы горели в аду, гребаные воспитатели!».

Она обошла мальчишку, встала, глядя на него сверху. Сложила руки на груди, тяжело вздохнула. Он поднял голову — несмело, будто был в чем-то виноват. Взгляды зацепились друг за друга: ее — понимающий, но жесткий, и его — опасно настороженный.

— Тебя избили. Мать или отец, — сказала Таня, и это были не вопросы.

Мальчик отвел глаза. Ссутулился еще больше, замотал головой:

— Нет, тётя. Я сам упал.

В его голосе звучало упрямство, злое упрямство взрослого человека, принявшего окончательное решение. Но сквозь него пробивался страх, и он был очень хорошо знаком, слишком понятен Тане. Таким страхом наливается жизнь ребенка, когда о том, что происходит дома, никому нельзя говорить. И это значит, что спасения нет, и не будет. А попросишь защиты, расскажешь, что с тобой делают — тогда молись, малолетний ублюдок.

Татьяна глубоко вдохнула и крепко зажмурилась, запрокинув голову. Что, что тут сделаешь? Парень будет все отрицать. Она тоже была такой когда-то...

«А пусть! Пусть отрицает! — разозлилась она. — Но я не позволю, чтобы мальчишка и дальше жил так, будто его некому защитить. Я позабочусь, чтобы те, по чьей вине он «упал», ответили за каждый синяк, за каждую царапину!»

— Давай-ка съездим на УЗИ, дружок, — хирург нарушил затянувшуюся тишину. В его голосе явственно слышалась тревога.

Мальчишка испуганно замотал головой, натянул свитер. Белесые бровки сошлись жалобным домиком. Таня поспешила его успокоить:

— Это не больно, может, немножечко щекотно! Доктор тебя по животу погладит специальной штучкой, и мы по телевизору посмотрим, все ли хорошо в твоем животе.

— Прямо по телевизору? — недоверчиво, но с видимым интересом переспросил найденьш.

— Ну да. И ты тоже сможешь посмотреть, — улыбнулась Татьяна. — А пока мы ждем медсестричку, которая отвезет тебя в кабинет УЗИ, давай поболтаем. С Алексеем Вячеславовичем вы, наверное, уже познакомились. А теперь мне скажи — как тебя зовут?

— Я ударился головой и ничего не помню, — ответил мальчик.

Быстро. Слишком быстро, поняла Таня.

— Маша, Алексей Вячеславович мальчику УЗИ и рентген назначил, готовьтесь ехать, — дежурная медсестра понимающе кивнула, глядя на Татьяну. В кабинете первичного осмотра тихо играло радио — «Юмор ФМ» — и доносившиеся из него взрывы хохота сейчас показались ей крайне неуместными.

— Слушайте, ну вы бы хоть волну сменили! — Татьяна показала взглядом на радиоприемник. — Не на отдыхе, девочки! И по отношению к больным некорректно.

Это прозвучало грубовато. «Нервы ни к черту, уже на сотрудников срываюсь, — сокрушенно подумала она и приказала себе: — Соберись уже, доработай смену нормально!»

— Когда повезете мальчика на рентген, снимок легких сделайте для меня, пожалуйста, — Татьяна попыталась говорить мягче. — Не нравится мне его кашель. Потом к нам его поднимайте, в педиатрию. Температура у него сколько?

— Тридцать девять почти.

— Спасибо, — вздохнула она и пояснила, словно извиняясь, — историю хирург заполняет, мне пока не посмотреть.

— А он беспризорник, Татьяна Евгеньевна? — с участливым любопытством спросила медсестра. — Одет так плохо, и худой — кожа да кости.

— Да не похоже... — покачала головой Таня. Следы побоев явно были «родительскими». Был бы беспризорником, кому бы дал избить себя ремнем, да по голому телу?

— Татьяна Евгеньевна, к вам пришли! — окликнула ее вторая медсестра, заглянув из коридора. За ее спиной маячил мужчина лет тридцати — представительный, в темно-синем шерстяном пальто и меховой шапке-формовке. На полном, гладко выбритом лице поблескивали очки в стильной оправе.

— Слушаю вас, — Демидова вышла в коридор, мельком глянула на очередь возле кабинета первичного осмотра — та стала еще длиннее, но детей и подростков в ней не было.

— Добрый день, меня зовут Игорь Анатольевич, я по просьбе Инессы Львовны.

Татьяна напряглась. Предчувствие беды, почти утихшее, когда она вернулась к работе, снова подняло змеиную голову, тихо зашипело, вывалив раздвоенный язык: "Не с-суетис-с-сь... С-соберис-с-сь... Пус-сть с-скаж-ж-жет, ч-ч-что он хоч-ч-чет...". Мысли заметались в лихорадке: «Кто он? Зачем Инесса его прислала?»

— Пойдемте, — коротко кивнула она и поспешно отвернулась, пошла в сторону комнаты дежурантов. Но, сообразив, что там может быть кто-то из коллег, свернула раньше — во врачебную раздевалку, где в середине рабочего дня наверняка было пусто.

— Располагайтесь, — распахнув перед гостем дверь, она мотнула головой в сторону узкого диванчика. Сама вошла следом, села в кресло, с трудом заставив себя посмотреть в глаза гостю. Он расстегнул пальто, снял шапку, обнажив короткий белесый ежик.

— Я психиатр, — сказал мужчина, вроде бы добродушно, но Таня видела — он исподтишка следит за ее реакцией. Внутренне она была готова к чему-то подобному, но ее все равно потрянуло, ладони стали противно-холодными, воглыми.

— И что вы хотите, психиатр? — спросила она, пряча за нагловатой усмешкой свой страх.

— Да просто поговорить, — улыбнулся он, откинувшись на спинку дивана и кладя ногу

на ногу. И вдруг спросил: — Инесса Львовна, наверное, очень хороший руководитель? Мало кого заботит психологическое состояние подчиненных. А она переживает за вас, говорит, вы работаете много. Слишком много.

— Я люблю свою работу. И, по-моему, это вполне естественно, — огрызнулась Татьяна.

— К сожалению, слишком большая любовь к профессии часто приводит к переутомлению, — развел руками психиатр. — Мне сказали, у вас сегодня случилось некое расстройство, обморок. Может быть, вы расскажете мне об этом подробнее? Согласитесь, такие вещи просто так не случаются, должна быть причина.

— Я в порядке, — отрезала Татьяна. — Это случайность. Отдохну — приду в норму.

— Да бро-осьте! — протянул Игорь Анатольевич, глядя на нее поверх очков. — Вам ли, как врачу, не знать, что случайностей не бывает? И, пожалуйста, не смотрите на меня волком, я ведь помочь хочу.

«Помочь». Татьяна вдруг почувствовала, насколько сильно устала. Таскать в себе эту постыдную тайну, жить с ней, опасаясь, что когда-нибудь о Пандоре узнают окружающие. Постоянно искать ответ, что за болезнь вызывает эти приступы. А ведь они случались не раз и не два — значит, какой-то недуг гнездится в Таниной душе, прорастает в сознание метастазами. И Инесса, в общем-то, сделала правильно, что сдала ее психиатру.

«Может, рассказать ему все? — мучительно думала Татьяна. — Признаться, наконец — и будь что будет? Может быть, он действительно вылечит меня. А без лечения... Это уже стало опасным. Уже привело к тому, что я набросилась на сотрудницу, хотя раньше во время приступов могла лишь стоять истуканом, даже кричать не могла. А сегодня... И ведь меня не оправдывает даже то, что всё случилось из-за гибели моего ребенка».

В том, что именно это известие вызвало приступ, она не сомневалась. Всегда, как только Танин крест утяжелялся смертями, предательством, безвозвратными потерями, еще и Пандора наваливалась на нее, как крушащийся мир танк. По какой-то подлой, мерзкой, гнусной причине она приходила в самые сложные жизненные моменты. Будто бы специально дожидалась таких, и являлась — чтобы добить. И это странное, лишь частично описанное в научной литературе, безумие за секунду превращало окружающее Таню пространство в подобие кукольного дома. А людей — в холодных пластиковых уродов, в разглаженных лицах и вылупленных глазах которых стило равнодушное, чужое, не настоящее.

И каждый раз из этого потустороннего тяжелым, бесстрастным, испепеляющим потоком изливался протяжный шепот: «Пандоораа».

Почему звучало именно это слово? Татьяна точно знала: дело было не в шкатулке или прочитанном в детстве мифе. Совсем о другом все эти сказки. А ее личная, неизвестная никому, Пандора — непоправимо реальна.

Пластиковые приступы бывали секундными. Или растягивались на долгие минуты — вмещавшие в себя вечность, противную и тошнотворную, как перебродившая патока. Она немела в эти моменты. Даже в детстве не плакала... хотя нет, один раз ее истерика была громкой и убедительной — настолько, что мать, наконец, обратила на Таню внимание, избив ее сложенным в трубку журналом «Нева». С тех пор Пандора сама затыкала ей рот, даже воздух превращая в некое подобие толстеного — от потолка до пола — оргстекла, которое невозможно вдохнуть. И Таня могла разве что потрясенно молчать, или отключаться, еще в падении утрачивая сознание. А когда ее приводили в чувство — взбадривая холодом, нашатырем, пощечинами — Пандоры уже не было, а ужас был, и

оставался надолго.

«Но в этот раз, впервые за все время, я смогла двигаться и кричать. Значит, болезнь прогрессирует, — с тоской думала Таня. — И если раньше я могла вообще не комментировать свои выпадения из реальности — ведь они оставались незаметными — а обмороки объяснять обычным переутомлением, как мне быть сейчас? Все видели, как я раз за разом хлопала дверью и не могла остановиться. Слышали, что кричала санитарке: «Кукла!». Бедная Катя Петровна, я ведь чуть не подралась с ней... А потом потеряла сознание. Естественно, что после такого они пригласили психиатра. Может быть, все-таки сдать? Ведь неизвестно, к чему Пандора приведет в итоге — к шизофрении, маниакально-депрессивному психозу? И дай мне Бог не убить кого-нибудь во время следующего приступа...».

Мужчина нарушил затянувшееся молчание:

— Инесса Львовна попросила побеседовать с вами еще и потому, что считает: сами вы к специалисту не пойдете.

Татьяна посмотрела на него в упор.

— Ну, раньше не было повода, — ответила она. — А сейчас... Зачем куда-то идти? Вы же здесь. И я согласилась с вами поговорить.

— Вот и замечательно! Рад, что вы признали наличие проблем.

— Признала, куда ж деваться, — тяжело вздохнула она. И, будто заставляя себя прыгнуть с обрыва в неизвестную глубину — где то ли выплывешь, то ли преломаешься вся — выдавила, сгорая от стыда. — У меня не первый раз такое...

«Сейчас я ему все расскажу, сейчас, сейчас... Нужно просто набраться смелости. И нечего тут стыдиться, болезней вообще стыдиться нельзя, надо лечить...» Но язык будто примерз, и грудь словно льдом сковало — ни одного слова не выдохнуть. А под этим льдом синим пламенем билось предчувствие, измученно шептало ей: «Не говори, не говори, не говори...»

Психиатр смотрел на нее, кивая, и в глазах его мелькнул нехороший огонек самодовольной уверенности — не зря, мол, приехал, не ошибся адресом. Взгляд стал покровительственным, оттененным легким презрением. Будто с душевной болезнью Таня — человек второго сорта. Даже не человек — субъект для изучения. Ей стало неуютно под этим взглядом, будто ее вытолкнули за черту, за границу полноценности.

— Если приступ случился не впервые, давайте сделаем так: я устрою вас на недельку-другую к себе в стационар, и мы проведем полное обследование, — сказал Игорь Анатольевич, поправляя очки. — А там посмотрим.

«Он предлагает мне лечь в психушку», — с ужасом осознала Татьяна. Она почему-то не ожидала этого. Ей казалось — они просто поговорят, он выслушает, скажет, на что похожа Пандора с профессиональной точки зрения. Может быть, посоветует лекарства... Но упечь ее в психушку?! После которой может полететь к черту все — работа, здоровье, отношения с близкими?!

— Вы с ума сошли! — гневно выдохнула она. По отношению к психиатру это прозвучало издевательски, и он скривил губу, недовольно прищурился. Бросил свысока:

— Не надо нервничать, Татьяна. Не усугубляйте ситуацию.

Он может госпитализировать ее силой, вдруг поняла она. Психиатрам это позволено. Липкий страх пополз по коже слизняком, уголок рта дернулся, словно его потянули за рыболовный крючок. Таня сцепила пальцы, сжала руки так, будто хотела переплавить их в

крепкий, закрывающий от чужих, замок. А психиатр смотрел на нее, изучал, как муху-дрозофилу. И под этим его взглядом Таня вдруг расслабилась, вдохнула полной грудью. В ней поднялась особая сила — крепкая смесь страха, упорства и своенравия — долгие годы помогавшая скрывать от других Пандору и врать в глаза каждому, кто хоть что-то подозревал. Хитрость высунула острую, огненно-рыжую морду, зубасто хохотнула, и азартно ринулась запутывать следы:

— Вы не поняли, — медленно проговорила Татьяна, невесело улыбнувшись и добавив в голос небольшую горчинку, как раз, чтобы показать, что она по-прежнему обеспокоена своим состоянием. — Я и раньше падала в обморок от переутомления. И в институте во время сессий, и когда училась на втором высшем, одновременно работая. Знаете, просто сил на все не хватало, не спала толком, забывала поесть. Вот и сегодня тоже — понервничала на голодный желудок, и, видимо, сахар в крови упал... Вот вам и обморок.

— А приступ?

— Какой приступ? — изогнула бровь Татьяна.

— Инесса Львовна сказала мне, что вы кричали, хлопали дверью, набросились на санитарку, — занервничал психиатр. — Это так?

— Об этом я ничего не помню, — развела руками Таня.

— Но сотрудники и больные сказали, что это так, — Игорь Анатольевич оставался непреклонным. — А если такой приступ закончился обмороком, после которого наступила кратковременная амнезия — ситуативная потеря памяти — обязательно нужно обследоваться! Ведь такие симптомы могут говорить о скрытой эпилепсии!

Татьяна чуть не рассмеялась в голос. «Так вот какова ваша версия! Ну, удачи, Игорь Анатольевич!» — мстительно подумала она.

...Один из приступов случился у нее на втором курсе медицинского, до этого их не было года три. Мать в тот день устроила ей скандал, обвинив в краже денег. Татьяна их не брала, она вообще ни разу в жизни ничего не украла — и оттого материны слова казались во сто крат обиднее. Таня что-то говорила, оправдываясь, но мать орала громче, наскაკивала на дочь, как разозлившаяся болонка, а потом вкатила Тане такую пощечину, что у той в глазах потемнело. А когда пелена спала, перед Татьяной прыгала и визжала, задрав к ее горлу негнущиеся пластиковые руки, отвратительная до дурноты кукла. И ледяной ветер, грохоча о пластмассовые стены, оглушительно выл: «Ппан-доо-ораа».

Когда Татьяна пришла в себя, она так и лежала в коридоре — на том самом месте, где стояла, выслушивая материнские оскорбления. Нога и рука затекли, плечо болело — по всем признакам, она пролежала в обмороке не меньше часа. Тяжело поднявшись, Таня попыталась дойти до своей комнаты и увидела мать — та сидела за кухонным столом и спокойно читала дамский журнал, сплевывая кожурки от семечек в бело-рыжую пиалу.

Деньги вместе с кошельком нашлись в тот же день, под разорвавшейся подкладкой материнской сумки.

Но после этого приступа Таня поняла, что Пандора не осталась в прошлом. Что она и дальше будет загаживать её жизнь. Вот тогда Татьяна впервые задумалась — а не лучше ли перевестись в другой вуз? Правильно ли посвящать свою жизнь медицине, зная, что имеешь расстройство психики?

Но медицина была детской мечтой. И Татьяна изо всех сил принялась искать разгадку Пандоры.

Бесконечно штудировав учебник психиатрии, как бы невзначай задавая вопросы

преподавателям, наблюдая симптомы МДП и шизофрении «вживую», во время учебной практики, она снискала себе славу въедливой отличницы — но ответа на свой главный вопрос не нашла. По симптоматике и особенностям течения Пандора не подходила ни под одно из известных психиатрических или неврологических заболеваний.

Был момент, когда Татьяна склонялась к диагнозу «эпилепсия». Чувство страха, онемение, зрительные и слуховые галлюцинации — все это было симптомами этого заболевания и признаками Пандоры. Схваченная, пойманная, застигнутая — так переводится «эпилептио» с греческого. А Пандора ловила и хватала Таню, когда хотела.

Раньше Татьяна думала, что приступы эпилепсии — которую раньше метко называли «падучая болезнь» — всегда сопровождаются судорогами, пеной изо рта и прочими устрашающими симптомами. Но оказалось, что встречаются и скрытые формы болезни, а также бессудорожные абсансы-приступы. Но при любой разновидности эпилепсии возникает чрезмерная электрическая активность в определенных зонах мозга. И ее можно увидеть на электроэнцефалографии. Татьяна еще в то время, под предлогом частых головных болей, получила направление на ЭЭГ, а потом прошла еще несколько обследований. Всё чисто.

Но она понимала, почему Игорь Анатольевич заподозрил именно «падучую болезнь». Таня, по сути, выдала сегодня классический приступ: с галлюцинациями, двигательным автоматизмом — ведь, хлопая дверью, она не могла остановиться — обмороком и амнезией. И пусть последней не было, но об этом психиатр не знал. Так что можно спокойно поставить ему «отлично» за знание теории и с легкой душой сдаться на его милость: пусть обследует — все равно ничего не найдет.

— Насколько я знаю, для проведения ЭЭГ и томографии не обязательно ложиться в стационар, — сказала Татьяна. И улыбнулась как можно слаще. — Я от обследования не отказываюсь, понимаю, что вы мне добра желаете. Но давайте проведем его амбулаторно. Или в то время, пока я буду находиться в гинекологическом отделении — мне придется лечь туда сегодня.

— По какой причине? — спросил Игорь Анатольевич.

— У меня замершая беременность. Нужно удалять погибший плод. Я узнала сегодня, и уверена, что именно из-за этого случился обморок, — опустив глаза, ответила Татьяна.

— Сочувствую, — сказал он абсолютно равнодушным голосом. — Хорошо, я согласен. В свете открывшихся фактов действительно нет смысла ложиться ко мне в стационар.

«Поверил!.. — думала Татьяна, закрывая за гостем дверь. Но на смену облегчению тут же пришло мучительное чувство страха. — Вот только это временная отсрочка. Пандора вернется, и с этим нужно что-то делать. Когда Яна меня выпишет, я уеду в другой город, или вообще в другую страну — и там пройду обследование анонимно».

В комнате дежурантов никого не было. Татьяна закрыла за собой дверь и привалилась к ней спиной — ноги всё еще мелко дрожали от страха, словно по венам ходила ртуть. Только сейчас она поняла, как тяжело далась ей беседа с психиатром. Нужно отдохнуть, пока есть время. Все равно от Янки пока никаких известий, а найденьша еще не привезли с УЗИ и рентгена. Нужно сказать о нем Купченко, пусть позаботится, ведь ее не будет рядом. Надо назначить антибиотики, обработать синяки мазью. Покормить парня, как следует.

И сдать его родителей полицейским, мстительно подумала Таня. Выйти в приемник, отыскать папашу — любителя распускать руки. Медсестры говорили, что он сам привез сына. Так вот, она найдет, что ему сказать! И самолично, с огромным удовольствием вызовет полицию.

Голова кружится, надо лечь.

Нетвердо ступая, она прошла вглубь комнаты. Старый диван, впитавший рваные сны дежурных врачей, подхватил рухнувшую без сил Таню, подставил ей поскрипывающее плечо — поплачь, внучка, я все пойму. Но слез не было, и она замерла в тоскливой, плотной тишине.

Луна светила ярко, как в страшном мультике.

Под такой луной она провела немало ночей — напуганная, побитая, разлетевшаяся в куски от гнева собственных родителей. Сколько этих лун выпало на долю мальчишки? Он так остро напомнил Тане о её детстве, как будто они поделили одно несчастье на двоих — несмотря на разницу в четверть века. Как будто он и был ею, девятилетней — той, которую отец поднимал за ноги и драл тяжелым солдатским ремнем. Сейчас она, взрослая женщина, могла защитить парнишку. Перехватить руку его отца, встать между этим мальчиком и его родителями-идиотами, привлечь закон и сделать так, чтобы они боялись даже приближаться к сыну. И она это сделает. Не только ради мальчика, но и ради себя самой. Чтобы хотя бы так остановить СВОЕГО отца и защитить, наконец, ту маленькую напуганную девочку, которая до сих пор в ней жила.

«Меня драли — и ничего, человеком вырос», — сказал как-то ее папа. Ее родной, любимый папа, который мог из-за любого пустяка превратиться в чудовище. И который на похоронах отца — Таниного деда, уверенного, что без ремня сына было не вырастить — вместо трогательной эпитафии произнес всего три слова: «Заройте его быстрее».

Почему, пройдя через подобное, зная, как это больно и унижительно, её папа всё же избивал дочку? А мать?... Ее-то в детстве никто никогда пальцем не трогал. А вот она от души лупила Таню скакалкой, плечиками для одежды, или мокрой тряпкой.

Почему, ну почему многие думают, что бить детей — допустимо, как будто бы это всего лишь воспитание? Будто бы те вырастут и всё забудут: оскорбления, побои, синяки... Не забывается такое. Даже если очень хочешь забыть. Можно попытаться простить, но порой и это не получается. Она-то знает. Она пробовала много раз.

«Если у меня будет ребенок, я никогда с ним так не поступлю», — в тысячный раз подумала Татьяна. «Я — никогда» было ее мантрой, дававшей уверенность в том, что хотя бы для своих детей она сможет изменить мир к лучшему.

Но у нее нет ребенка.

Ее малыши умирают, так и не родившись.

Лунный свет подобрался к носкам ее туфель, и Таня подтянула ноги к себе, задрала на диван, согнув колени.

Она порядком устала от этих бесплодных попыток выносить ребенка. «Почему Бог не дает мне мальчика? — думала она, чувствуя, как подступают слезы. — Ведь я любила бы его больше жизни... Ведь я бы десять человек могла воспитать — меня бы на всех хватило!»

А что, если усыновить ребенка из приюта? Она думала об этом не в первый раз. Но эти мысли всегда приводили ее в смятение. Она и Макс что, придут в детдом, посмотрят на детишек, выберут себе кого-то, как щенка в зоомагазине, а остальным скажут — спасибо, вы нам не понравились? Вот ты, мальчик. Да-да, ты — никому не нужен. И ты, девочка, тоже. Потому что у тебя цвет глаз не такой, и стишки ты читаешь как-то без души. Ты, ты и ты — вы все хуже того, кого мы выбрали. И нечего рыдать, это жизнь.

Им что, придется поступить вот так?

Стыд поднялся изнутри, надавал жарких пощечин. Таня прикрыла глаза, измученно вздохнула.

Будь ее воля, она бы забрала всех. Это же дети, каждому нужен дом.

«Забрать бы себе сегодняшнего найденыша, — неожиданно подумала она. — Отогреть, откормить. Любить, как родного. Я смогла бы. Точно бы смогла».

В дверь дежурки громко затарабанил какой-то дятел. Таня вздрогнула, вскочила, оправляя халат. Кого там принесло, будь он трижды неладен?!

Все еще злясь, она включила свет и рывком распахнула дверь. Мужчина, который стоял на пороге, был ростом с Шакила О Нила, и выглядел, как бомж.

Старая вязаная шапка, надвинутая по самые брови. Распахнутая телогрейка, ватные штаны. Видавший виды пуловер, из-под расстегнутой молнии которого выглядывает мятый воротник полинялой рубашки. Странный запах: смесь дыма, алкоголя и рвоты. Широкие брови, нос с горбинкой, щеки, густо наперченные пробивающейся щетиной. И янтарно-карие, как у кота, глаза — взгляд иронично-пытливый, с прищуром.

— Чем могу?... — холодно осведомилась Татьяна, невольно отступая вглубь комнаты.

— Скажите, вы сейчас мальчика осматривали? Не подскажите, что с ним?

Таня нахмурилась. Так вот кто это. Заботливый папаша пришел спросить о сыне.

— А чего вы без ремня? — с вызовом спросила она, вскидывая голову.

Бомж молчал, глядя на нее сверху.

— Да вы не стесняйтесь, заходите! — задохнувшись от злости, она схватила за край его телогрейки, дернула на себя. Мужчина неловко шагнул вперед, в глазах мелькнуло недоумение.

— Заходите-заходите, — голосом радушной хозяйки протянула она. — Расскажите мне, каково это — бить ребенка. Приятно, наверное, он ведь сдачи не даст?... Расскажите, в подробностях! А я вам расскажу, как буду звонить в полицию. Пусть нас там проинформируют, по какой статье уголовного кодекса судят за истязание ребенка.

— По сто семнадцатой, — машинально ответил верзила. — Но я не понимаю...

— Ой, как хорошо, вы и сам всё знаете! — всплеснула руками Таня. — Видимо, уже привлекались? Опыт есть?

Ее голос стал высоким, почти до истерики, мысли заворачивались в смерч. Он — здесь. Надо что-то делать. Но он здоровый, как лось. И он бьет своего маленького сына. Это несправедливо, это невозможно как несправедливо!!! Она дрожала от бессильного бешенства. Нужно выйти в коридор, позвать охранника, пусть этого урода задержат! Пусть делают, что хотят, но не подпускают его к мальчику!

Но бомж перегораживал выход. Таня набрала воздуха, чтобы закричать. И отстраненно отметила, что удерживает краем сознания холодную неживую мысль: не помогает, братцы, ваш диазепам, всё, кердык, сейчас начнется...

На лице мужчины появилось странное выражение. Он гулко кашлянул в кулак, тяжело вздохнул.

— *A posse ad esse non valet consequential**, — задумчиво изрек он, и Таня сначала захлопнула рот, а потом открыла его в удивлении. Говорящий по-латыни бомж прошелся по ней взглядом и сказал:

— Да, по сто семнадцатой. Но не привлекался, а привлекал. Я юрист. И этот мальчик — не мой сын, я нашел его случайно.

Повисла неловкая пауза.

Таня почувствовала, как краснеют мочки ушей, растерянно надвинула на лицо медицинскую маску. Но ей же сказали... И потом, минуточку! Что за юрист в такой одежде

и с амбрэ, от которого воротит?

— Я вас не убедил, — констатировал незнакомец.

— Нет! — взвизгнула она. И скомандовала, едва сдерживая ярость. — Наклонитесь!

Ниже! Еще ниже!

Мужчина удивленно склонил голову. Таня привстала на цыпочки, оттянула верхнюю часть его рубашки. И застыла — изнанка воротника была чистой, под ним белел ярлычок с вышитой надписью «Eton».

Бомж в брендовой чистой рубашке? Нет, такого не может быть. Да и запаха немытого тела она даже в такой близости не почувствовала — наоборот, от волос незнакомца шел чуть слышимый земляничный аромат. За время работы в больнице Татьяна повидала достаточно маргиналов, этот мужик явно не из их числа.

— Ну и что вы там увидели? Заключение психиатра: здоров, мол, пациент, детей не бьет? — выпрямляясь, иронично спросил мужчина.

Она смущенно отпрянула.

— Так, ничего... Извините...

— Ладно, у вас есть право мне не доверять, — вздохнул незнакомец, распрямляясь. — Поэтому давайте сначала. Я, понимаете ли, с самого утра был на рыбалке. Зимняя рыбалка, хоть и в палатке — но на морозе, поэтому и одет так. Это еще дедовская экипировка, вот, ношу в память о нем... Обычно я выгляжу по-другому. Обычно я в бобрах.

Татьяна закивала, не зная, куда деть глаза. Хорошо, что на ней маска и он не видит ее пламенеющих щек.

— Так вот, когда темнеть стало, я поехал домой. Смотрю — на обочине мальчик лежит. Я думал, его машина сбила, остановился, подобрал. Он был замерзший, аж губы побелели. Сам идти не мог, что-то с ногой — говорит, неудачно с горы съехал на лыжах, они сломались, и нога вот... Ну, я его в салон, печку врубил на полную. У меня в бардачке фляжка с коньяком валялась, так я растер ему руки и лицо. Чая налил, сушки дал. Только мальчика вырвало, уж не знаю, почему. Вы, наверное, уже почувствовали запах. Извините. Обычно я...

— Да-да, пахните по-другому. Я поняла. Не извиняйтесь, для медиков это привычное дело, — пожала плечами Таня.

Мужчина сочувственно хмыкнул:

— Знаю, что у вас непростая работа. Так вот, еще по поводу мальчика: я спрашивал, где его родители, как вообще он возле той дороги оказался — ничего не говорит. Поймите, это далеко, более ста километров отсюда. Там глушь, сплошные поля вокруг... А больше мне о нем ничего не известно.

— Простите меня, — попросила Таня, смягчившись. — Я на вас набросилась из-за того, что мне сказали, будто мальчика привез его отец. Понимаете, парень сильно избит. И я на сто процентов уверена, что его били ремнем. Жестоко били. И это делал кто-то из родителей.

Незнакомец помрачнел, задумался.

— М-да, история... — наконец, проговорил он. — Но опасности для жизни нет?

— Думаю, нет. Но сейчас его обследуют, и можно будет поставить точный диагноз. В любом случае, мальчик пока останется у нас.

— Вы вот что... — мужчина порылся в кармане, выудил смятый, перепачканный носовой платок, начатую пачку сигарет, коричневое портмоне. Пахло рыбой, табаком,

кожей. Портмоне раскрылось с глухим щелчком, загорелые пальцы незнакомца скользнули вглубь, и он протянул Тане черную карточку с золотым обрезом. — Позвоните мне, пожалуйста, когда устроите мальчика. Скажете, какая палата, я его навещу. Все-таки мой... найдёныш.

Она кивнула, принимая визитку. Дорогая бумага. Сверху монограмма в русском стиле, чуть ниже золотистые буквы, сплетенные в надпись: «Юрий Борисович Залесский, адвокат по уголовному праву». Адрес, два телефонных номера.

— А вы молодец, — неожиданно похвалил Залесский. — Такая маленькая — и так смело бросились защищать пациента.

Таня открыла рот: это она-то маленькая, с ее пятьдесят вторым размером?

— До встречи. Обещаю выглядеть прилично, — попрощался Залесский и вышел, аккуратно прикрыв дверь.

— Пойдите! — крикнула Татьяна, высовываясь в коридор. Он обернулся, дождался, пока она подойдет ближе.

— Скажите, пожалуйста, мальчик совсем ничего не говорил вам о себе?

— Нет, — покачал головой Залесский. — Он даже имени своего не назвал. Заявил, что ударился головой и теперь ничего не помнит. Но, знаете... Я попытаюсь выяснить, кто он и почему оказался на той дороге.

* *A posse ad esse non valet consequential* (лат) — По возможности не следует заключать о действительном.

Ступени казались бесконечными. Новицкий поднимался, одышливо зависая на каждом лестничном пролете — переживал, когда чуть тише станет надсадное буханье сердца, выровняется дыхание, которое сквозь звон в ушах звучало глухо, нездорово. Мышцы бедер болели, и Новицкий в который раз думал: «Надо сгонять вес, да и мышцы нагружать почаще. Превратился в бурдюк с жиром, стыдоба!»

Вяземская жила в девятиэтажке, на седьмом, и, приглашая его к себе, не сочла нужным предупредить, что лифт сломан. Психиатр, вообще-то, предлагал ей встретиться на нейтральной территории — где-нибудь в кафе, в парке, раз уж ей не терпелось узнать о его разговоре с Татьяной именно сегодня. Но Инесса Львовна сказала извиняющимся тоном: «Знаете, жду электрика, розетка искрит. Никакой возможности выбраться, приезжайте вы ко мне. У меня здесь и чай, и штрудель».

Прозвучало заманчиво, да и с точки зрения карьеры было бы полезно свести близкое знакомство с заведующим. «Неважно, что Вяземская возглавляет педиатрию, — думал он, мужественно преодолевая последние ступеньки, — к руководству медсанчасти она вхожа. Сегодня я ей пошел навстречу, завтра она мне — обычная практика, услуга за услугу».

Перед дверью Инессы Львовны психиатр протер запотевшие очки. Голова под шапкой вспотела, и он снял формовку, на ощупь привел в порядок волосы. Помахал лапами расстегнутого пальто, чтобы немного остудиться. Еле слышно пахло одеколоном. Но его можжевельный аромат мгновенно сдался властному, горячему, яблочно-коричному, запаху, который вырвался навстречу, как только Вяземская открыла дверь.

— Добро пожаловать. Рада личному знакомству! — церемонно сказала она, протягивая руку. В синем домашнем платье и элегантно сабо на высокой танкетке, с желтой пластиковой лейкой в руках, Инесса Львовна показалась Новицкому похожей на домохозяйку из рекламы. На это впечатление играл и до блеска вымытый пол, и ощущение прозрачной свежести, исходящее от бежевых стен, звездчатых светильников и полочек, принаряженных безделушками. Даже зеркало в прихожей выглядело празднично-умытым.

— Пальто можно сюда, — Вяземская указала в сторону вешалки. Игорь послушно выпутался из рукавов, и, взяв пальто за шкурку, неловко взгромоздил его на крюк. Шапку пристроил на краю одной из полочек. Выступив из ботинок, аккуратно составил их в углу. Инесса Львовна скользнула по нему благосклонным взглядом. И сделала приглашающий жест: — В гостиную, пожалуйста.

От этого движения лейка в ее руках клюнула носом и выпустила хулиганистую струйку прямо на ногу гостю. По левой брючине Новицкого поползло мокрое пятно.

— О, как неудобно, простите! — Вяземская охнула, метнулась в ванную за полотенцем. Замахала рукой в ответ на его сконфуженное мычание, присела, промокая его штанину толстой махровой тканью: — Нет-нет, я виновата — мне и исправлять! Не беспокойтесь, полотенце чистое!

Сомневаться в этом ему бы и в голову не пришло.

Глядя сверху на склоненную голову, на нежно-розовую шею и по-женски сильные, округлые плечи, Новицкий неожиданно ощутил горячую тяжесть в паху. Торопливо и неловко переступил с ноги на ногу, стараясь думать о другом. Инесса Львовна подняла голову, глянула вопросительно, и еще раз извинилась, посчитав это его движение признаком

раздраженности, а не стыдливой неловкости. «Сколько ей — сорок пять, пятьдесят? — подумал Игорь Анатольевич. — Интересная женщина». Ему всегда нравились возрастные дамы — солидные, знающие себе цену, добившиеся в жизни определенных высот.

— А электрик, я так понимаю, до сих пор не пришел? — спросил он, проходя за Инессой в гостиную. — Знаете, их ведь можно ждать до морковкина заговения.

— Ой, и не говорите, — женщина сокрушено покачала головой, — так ведь если придет, то непонятно как работу сделает. Я ведь второй раз уже вызываю!

— Муж сильно занят, наверное? — сочувственно и как бы невзначай ввернул Новицкий.

— Да что вы, я уже не замужем, — она рассмеялась, но не забыла сделать акцент на слове «уже». Будто хотела показать, что семья у нее была когда-то, но теперь нет — и это к лучшему.

— Сочувствую вашему бывшему мужу, такую хозяйку упустил.

— Ну, каждому — своё, — ответила она, довольно блеснув глазами. Внимание молодого мужчины польстило ей, и Вяземская удовлетворенно отметила про себя: «Могу еще очаровать, очень даже могу!».

Усадив гостя за обеденный стол, она отодвинула в сторону вазу с искусственными хризантемами, и упорхнула на кухню. Новицкий и комнату как следует оглядеть не успел, как перед ним возникли две элегантные бело-синие чайные пары, и румяный, чуть припорошенный сахарной пудрой, штрудель, выложенный на гжельское блюдо. Аристократически-высокий чайник с тонким носиком и сахарницу ему в пару Инесса Львовна внесла на отдельном подносе. Водрузила его на тонконогий десертный столик — кованный, с круглой малахитовой столешницей. Игорь Анатольевич уселся поудобнее, принял из рук хозяйки кусок штруделя — из его разгоряченного нутра выглядывали полупрозрачные, истомившиеся в сладком соку, яблочные дольки. Вдохнул аромат крепкого чая с мелиссой и смородиной, который разливала по чашкам Инесса. Руки у нее были ухоженные, нежные даже с виду.

— Ну что, Игорь, удалось вам встретиться с Татьяной? — спросила Вяземская, звякнув чайной ложечкой о блюде.

Психиатр торопливо прожевал кусок штруделя, промокнул губы салфеткой:

— Да, Инесса Львовна. Как я и предполагал изначально, вы были правы — ваша сотрудница действительно нуждается в помощи.

Инесса нахмурилась:

— Что-то серьезное?

— Ну, психиатрия — наука тонкая, — уклончиво ответил Новицкий. — Многие заболевания имеют схожую симптоматику. Но! Проявления одной и той же болезни очень индивидуальны. С ходу поставить точный диагноз нельзя. Да и не нужно, я считаю — а нужно проводить обследование. Я предложил его вашей подчиненной.

— А Татьяна что, согласилась?

— Да. Я умею быть убедительным, — хмыкнул психиатр, сделав акцент на этом, звучавшем почти в каждой фразе, «я». — Так что я назначу ей ЭЭГ, КТ, понаблюдаю. Лучше, конечно, это было бы сделать в стационаре...

По лицу Вяземской пробежала тень. Завотделения напряженно рассмеялась:

— Ну что вы, я уверена, там моим сотрудникам делать нечего!

«Еще не хватало, чтобы о моем отделении пошла дурная слава, — подумала она. — Врач-педиатр лежит в психушке! Город маленький, такое разнесется мгновенно...»

— Я не буду с вами спорить, — миролюбиво ответил психиатр. — Но я подозреваю эпилепсию. Она первая на очереди.

— А вторая? — помолчав, спросила Инесса Львовна. От слова «эпилепсия» ее коробило. Даже будучи врачом, она боялась всех этих странных болезней, которые превращали людей в непредсказуемые, подчас опасные, существа.

— Вторая — Великая симулянтка, — развел руками Новицкий. — Именно так в наших кругах называют истерию.

— Надо же, никогда не слышала, — Вяземская удивленно вскинула брови. — Но зачем Татьяне симулировать психическое расстройство?

— О, я имел в виду другое! — улыбнулся Новицкий, глянув свысока, как профессор на первокурсницу. — Я расскажу вам о Великой симулянтке. Такое название истерии дали не потому, что больные что-то симулируют. А из-за того, что она, как хамелеон, мимикрирует под другие заболевания. Симптомы истерии можно спутать с проявлениями неврозов, эпилепсии, маниакально-депрессивного психоза и даже раздвоения личности — довольно редкого и опасного психического расстройства. Истерия, кстати говоря, больше характерна для женщин — даже ее название пошло от греческого «матка»... Кстати, по поводу приступа истерии есть хорошее выражение: «Истерика требует зрителя». Истерический припадок, как правило, возникает на людях, и может прекратиться мгновенно, если оставить женщину одну — играть-то ей в этом случае не перед кем. И вызывает его, как правило, сильный стресс. Татьяна рассказала мне о своем несчастье, да и вы говорили о переутомлении. Так что все сходится. И если эпилепсия не подтвердится, я назначу ей успокоительные и курс оздоровительных процедур — и ваша сотрудница снова станет в строй. Но склонность к подобным приступам останется, это особенность характера.

— Не замечала за ней такого... А если это все-таки эпилепсия? — допытывалась Вяземская.

— Тогда вам придется попрощаться, — вздохнул психиатр. — С этим диагнозом я запрещаю ей работать врачом.

Инесса Львовна опустила глаза, задумалась. Нетронутый кусок штруделя стыл на ее тарелке. Идеальный функционер, она всегда старалась сделать работу своего отделения безупречной, а его репутацию — по медицински-белоснежной, почти стерильной. А теперь неожиданная Танина болезнь может грозить скандалом... и даже разбирательством в верхах. Стоп. Неожиданная?

— Скажите, такое психическое расстройство, как эпилепсия, является врожденным, или оно могло возникнуть только сегодня? На фоне всех этих стрессов, длительной работы без выходных? — уточнила Вяземская.

— Я уверен, что если бы оно было врожденным, давно проявилось бы, — покачал головой психиатр. — Скорее всего, речь идет о приобретенной эпилепсии — или все-таки об истерическом неврозе. Последний, кстати, вполне поддается лечению и не является препятствием для работы в медучреждениях. Эпилепсия тоже лечится, но если я ее выявлю, Татьяне придется сменить профессию.

Инесса облегченно вздохнула. Демидову, конечно, жалко, но если диагноз будет неутешительным, придется списать ее с корабля. А наверх доложить, что вовремя выявили — и тут же приняли меры. В конце концов, это действительно так. «Хорошо, что я сориентировалась так быстро, — похвалила себя заведующая. — Обращение к психиатру было самым правильным шагом в этой ситуации».

— А скажите, Игорь Анатольевич, вам нравится ваша работа? — спросила она, расслаблено вытягиваясь в кресле и кладя ногу на ногу. Теперь, когда с делами покончено, можно просто поболтать с приятным мужчиной — пусть и молодым, от этого еще интереснее.

Новицкий отодвинул в сторону пустую тарелку, вытер губы и пальцы салфеткой, и начал вещать. Инесса, сама того не зная, выбрала самую благодарную тему: он мог часами говорить о психиатрии, истории изучения различных заболеваний, интересных случаях — львиная доля которых, впрочем, была описана в академической литературе. Инесса слушала его заинтересовано, с приятной улыбкой. И лишь часа через два, когда за окном окончательно стемнело, и Новицкий собрался домой, спохватилась:

— Ох, а электрик-то так и не пришел!

— Если позволите, я могу... — несмело предложил Игорь Анатольевич. — Завтра возьму инструмент и приеду.

— Я была бы вам очень признательна! — с готовностью ответила Вяземская — будто только того и ждала.

Спускаться было легче, чем подниматься — еще и из-за того, что вечер, проведенный с Инессой, оставил весьма приятное впечатление. Эта женщина понравилась ему — она красива, умна, хозяйственна, да и карьеристка не хуже него. В случае чего они смогут понять друг друга. «Как все удачно складывается», — подумал Новицкий и самодовольно заулыбался, перепрыгивая со ступеньки на ступеньку.

В гинекологическом отделении было время ужина. Плотный запах больничной еды — рисовая каша, маслянистый кружок жареной колбасы, чай и хлеб — будто прилип к обшарпанным стенам, влился в проемы окон, спрятался в занавесках и под кушетками. От его удушающего хлебосольства почему-то накатило бессилие, и Таня подумала: скорее бы всё кончилось, и хоть бы всё обошлось.

Плакат о вреде абортов специально повесили напротив процедуры — чтобы женщины, приходившие сюда с известной целью, еще раз задумались о правильности своего выбора. Сейчас он казался Татьяне злой насмешкой, его хотелось содрать о стены — но она лишь отвела глаза, уткнулась взглядом в рукав цветастого больничного халата. Жаль, что она оставила в палате часы. Сколько еще ждать?

Вынула мобильник, чтобы глянуть время — и вспомнила, что так и не отправила Максэску со списком вещей. Наверное, потому, что ей сейчас нужны не продукты или шмотки, а искреннее сочувствие и поддержка. Но требовать их от Макса — все равно, что ждать парохода в чистом поле, она же это понимала. Это ты хотела ребенка, каждый раз говорил он. Я тебя предупреждал. Многие люди спокойно обходятся без детей.

Мимо нее проплыли две беременных. Одна с трудом тащила живот размером с рюкзак туриста. Другая, в модной обтягивающей пижаме, гордо выпячивала спину, чтобы баскетбольный мяч под грудью казался как можно больше. Они оцупали Татьяну взглядами, видимо, пытаясь понять, является ли ее полнота следствием беременности. «Дуры», — подумала она, но пожелала им удачных родов. Таня всегда мысленно проговаривала это пожелание при виде беременных — ей почему-то казалось, что дети в их животах от этого станут более здоровыми, и не будут бояться появиться на свет.

Дверь процедуры сухо щелкнула язычком замка, из щели высунулась голова Яны. Медицинская шапочка, маска — полная боеготовность.

— Заходи, — позвала она.

Татьяна вздрогнула — ну, вот и всё.

Прошла в процедуру, скинула халат. Пожилой анестезиолог бросил на нее сочувственный взгляд. Пять беременностей — и пять неудач. Она попыталась улыбнуться, но лишь скривила лицо и почувствовала, что слезы снова близко. Одернула себя со всей строгостью, на которую была сейчас способна: нечего реветь, и не смей думать о плохом. «Все равно у меня будет ребенок. Родной, приемный — какая разница. Будет, и всё».

Перед глазами снова встал тот мальчик. Как он там?...

Встав на подножку, Таня неловко забралась на гинекологическое кресло, легла, положив ноги на железные подпорки. Под тонкую ночнушку сразу пробрался холод, зашарил по телу, провел по плечам, груди, животу. Анестезиолог затянул жгут на ее руке и ввел иглу в вену. Яна встала напротив, пожилая медсестра помогала ей надеть стерильные перчатки.

— Не волнуемся и считаем до десяти, с конца! — бодро сказал анестезиолог.

— Десять, — прошептала она. И на счете семь ее сознание нырнуло в глубокий темный водоворот.

Часть 2. Виктория

1

Сжиматься и выталкивать, сжиматься и выталкивать — ее тело сейчас было способно только на это.

— *Respire! Respire!** — скомандовал врач, и Наталья послушно вдохнула. Скорее бы это кончилось.

Кардиомонитор прерывисто пищал, острые зубцы на темно-синем экране медленно ползли друг за другом, изгибаясь, как ленивая гусеница. Белый потолок и синие стены, металлический штатив с капельницей по левую руку и светло-зеленая простыня, наброшенная на ее согнутые, воздетые к небу колени — вот все, что она могла видеть сквозь полусомкнутые от слабости веки.

Нижняя часть тела была ватной, неуправляемой, действующей сама по себе. Там, под тонкой плотью надутого, как барабан, живота, вздыбливались и опадали мышцы. Каждая потуга проходила по телу мощной волной, но анестезия приглушала вспышки боли — лишь испарина вновь и вновь выступала на лице и ладонях роженицы, да высохший язык лип к сладковатому нёбу и обметанным, искусанным губам. Сила, вызывавшая потуги, подчинила ее тело особому ритму, но этот танец живота выматывал и почти лишал разума.

Наталья провела рукой по голове: короткие волосы цвета меди были мокрыми от пота. Выступая на лбу, он попадал в глаза — модный татуаж на месте выбритых бровей не останавливал капли. Она вытерла их, щурясь, в глуповатом взгляде блекло-голубых глаз колюче мелькнула злоба, тонкие губы капризно искривились. Медсестра была начеку — тут же подскочила, успокаивающе курлякая по-французски, прошла по лбу роженицы ароматизированной салфеткой. Приторная вонь ириса — цветка, который теперь Наталья готова была возненавидеть — на мгновение заглушила запах дезинфицирующих средств.

— *Respire! Respire!* — снова и снова бубнил доктор.

— Да сколько ж можно! — заорала она в ответ. — Вколите мне уже что-нибудь, и пусть этот ребенок, наконец, вылезет из меня! *Plus vite! Plus vite!*** Тупые, долбаные негры!

Вокруг нее засуетились, раскатисто мурлыча, успокаивая. Французская речь раньше казалась ей красивой. И года три назад Наталья даже собиралась брать уроки. Сейчас это грассирующее мурлыканье казалось издевательством. Медсестра приблизилась, вновь поднося к ее лицу салфетку с отвратительным цветочным запахом. Наталья гневно ударила женщину по руке:

— Иди ты со своей вонючкой! Ненавижу вас всех!

В глазах медицинской сестры мелькнула обида, но скуластое бронзовое лицо тут же стало бесстрастным.

— *C'est pour votre bien****, — сухо проговорила она.

— Бьен, бьен! Достали уже, лягушатники!

Наталья откинула голову на подушку и уставилась в потолок, сжимая кулаки от злости. Все случилось совсем не так, как она задумывала. Роды начались на три недели раньше и застали ее на Сейшелах, хотя билет в Израиль уже лежал в паспорте. Она собиралась рожать в Рамат-Гане, в клинике Хаима Шибя, где наблюдалась всю беременность. Сергей оплатил

полный курс родовспоможения еще восемь месяцев назад. Теперь деньги пропадут, да и шут с ними. Это не ее проблемы.

Черт бы побрал Джеймса-Альбера, черного жиголо с его крепким задом и горячими пальцами, между которыми он катал ее соски — осторожно, медленно, как мягкую пряжу... От этой ласки из розовых тугих бутонов выступали горячие капли молока. Он медленно слизывал их, или давал масляно растекаться под подушечками его пальцев, затекать под ладони, омывать ее груди этим густым, липким — а потом он смочил в нем красный strapon и ввел в нее, шепча «Ma Dairy Queen»***** Ощущение сладостной наполненности вытеснило другие чувства, мерные движения почти погрузили ее в транс. Она все еще плыла в нем, когда Джеймс-Альберт медленно вынул strapon и вторгся сам, крепко придавив ее живот, возвышавшийся гладким куполом, увенчанным горошиной пупка. Его движения стали сильнее, дыхание сделалось шумным и резким, он почти зарычал, подходя к финалу — и вдруг резко отстранился, удивленно воскликнув «Merde!»***** И она поняла, что лежит в теплой луже — воды отошли. Так некстати.

— *Respire! Respire!*

Тело снова напряглось, сжимая и выталкивая. Теперь мышцы живота каменели и расслаблялись почти непрерывно. Доктор отдавал сестре короткие приказы, ощупывал живот роженицы. А она сильнее стискивала зубы, выдавливая из себя воздух короткими, сильными толчками. «Это как секс наоборот», — говорила о родах Ольга, подруга Натальи. — «Тоже толчки, но не в тебя — а из тебя. Тоже вся взмокнешь и орать будешь — но от боли, а не от удовольствия». Слава медицине, боли почти не было — впрочем, и удовольствия тоже.

— *Encore un peu! Très bon**...* — удовлетворенно сказал врач. Наталья ощутила, как чудовищно напрягся низ живота, как почти свело плечи и шею. Окаменевшие мышцы рванули голову вперед, подбородок уперся в грудь, а ребра резко опустились в выдохе — наверное, самом сильном в ее жизни. И тут же что-то исторглось из нее, по уставшему телу разлилась непривычная легкость — а из-за простыни, покрывающей ноги, донесся шлепок и мяукающее хныканье младенца.

— *Nathalie, vous avez une belle petite fille******, — удовлетворенно пробасил врач, поднимая выше красное, зажмурившееся существо, похожее на кабачок из-за облепившей его зеленой пеленки.

Наталья равнодушно глянула на дочь и откинула голову. Ей было все равно, какого цвета глаза у новорожденного существа, на кого оно похоже, прекрасное ли оно, ужасное... Главное — что беременность и роды позади, больше никаких токсикозов, отечных ног и живота, лезущего на нос.

— Телефон, *donnez-moi le téléphone!* — потребовала она, облизнув пересохшие губы. Голос был хриплым от обезвоживания, казалось, рот набит бумажными салфетками. — О, черт, как будет вода... Дайте мне воды! *Eau, eau!******

Медсестра торопливо выскользнула из родильной палаты и вернулась с мобильником Натальи, держа в другой руке высокий пластиковый стакан с торчащей из него изогнутой трубкой. Осторожно поднесла ее ко рту родильницы, и Наталья присосалась к питью, торопясь и жадничая.

— *No-no-no... Trop! On ne saurait!****** — испуганно запротестовала медсестра, отводя стакан в сторону. Трубка выскользнула из губ родильницы. Она зло нахмурилась, собираясь закатить скандал. Но сестра быстро сунула ей в руку мобильник и поспешила

ретируются. «Разберусь с ними позже», — мстительно подумала Наталья и откинула крышку телефона. Номер Сергея был забит в экстренные вызовы, и она нажала на единицу. Гудок был прерывистым, в нем слышались шорохи, потрескивание, потом возникла пауза — будто абонент поднял трубку. Она попыталась прислушаться, но другое ухо раздражал скулеж ребенка, и она прижала к голове подушку. Еще два гудка, и трубку, наконец, сняли.

— Наташа, извини, на совещании. Что-то случилось? Ты где? Что там за шум?

Голос Сергея был взволнованным, и вдобавок ко злости она ощутила удовлетворение. Не здороваясь, сказала торжествующе:

— Слышишь? Это орет твоя дочь. Поздравляю, папаша!

И, насладившись паузой, добавила:

— Я выполнила свою часть договора. Теперь ты выполняй свою!

* *Respire!* (фр.) — Дыши!

** *Plus vite!* (фр.) — Поскорее!

*** *C'est pour votre bien.* (фр.) — Это для вашей пользы.

**** *Ma Dairy Queen* (фр.) — моя молочная королева

***** *Merde* (фр.) — дерьмо

***** *Encore un peu! Très bon...* (фр.) — Еще немного! Хорошо...

***** *Nathalie, vous avez une belle petite fille!* (фр.) — У вас прекрасная девочка!

***** *Donnez-moi le téléphone* (фр.) — дайте мне телефон.

***** *Eau* (фр.) — вода.

***** *No-no-no... Trop! On ne saurait* — Слишком много! Нельзя.

В просторном салоне межконтинентального лайнера было метрвенно-тихо. «Скрестили яхту с лимузином», — снова подумал Волегов, бросая взгляд на иллюминаторы непривычной формы и на свод потолка, украшенный дизайнерски-хитрым переплетением светящихся полос. Впрочем, сходство эксклюзивного аэробуса с не менее эксклюзивными средствами для транспортировки породистых людей на этом не заканчивалось.

Элитарность ощущалась во всем: и в противоестественной для самолета свободе, с которой здесь были расставлены массивные, обтянутые бордовой кожей диваны и кресла, и в нарочито-грубой одежде стен, облаченных в эко-ткань цвета экры. И в вызывающе-беспыльной чистоте, делавшей деревянные столы с многослойной полировкой холодными и скользкими на вид. Казалось, что даже воздух здесь приготовлен из самых дорогих ингредиентов, по уникальному рецепту, но — сохранен в жестяной консервной банке, в виде неудобоваримого концентрата. Запах тубероз, стоявших на круглом резном столе в высокой стеклянной вазе, не скрашивал, а еще больше сгущал духоту герметичного помещения. Этот приторный, тяжелый аромат — будто гигантский красный апельсин, полный темного меда — обжег горло Волегова, и его снова бросило в жар.

Спина мгновенно намокла. Остро двинув плечами, будто освобождаясь от пут, Сергей быстро стянул темно-синий пиджак из шерсти викуны — двести с лишним spessore*, как сказал продавец, «не помнется, даже если по нему каток проедет». Тога для спесивого патриция, носить которую обязывает положение крупного чиновника — но, честное слово, Сергей гораздо комфортнее чувствовал бы себя в плебейском хлопке. Он поднял пиджак выше и встревоженно ткнулся носом в перекресток тонких швов под рукавом. Нет, слава Богу! Ткань едва пахла кедровой корой и перцем — а вот запаха пота не чувствовалось вообще.

Гипергидроз — чрезмерная потливость — был только следствием, а не причиной. Врожденный сбой терморегуляции, странный дефект, объяснить который не могли ни врачи, ни тесты, ни анализы, был виноват в том, что Сергей всегда чувствовал себя наполненным жидкой лавой — горячо, всегда горячо, даже если вокруг минус тридцать. Это мешало жить, и будь он послабее духом, давно бы сломался, сбежал от людей в профессию поднимателя пингвинов.

Из-за этого внутреннего уродства Волегов часто ощущал себя циркачом, способным делать необычные вещи: расслабленно сидеть в трусах на открытом зимой балконе, падать в сугроб не после, а до бани (и никакой парилки — иначе, казалось, не миновать извержения). А еще — ездить по командировкам, как девчонка, с горой сильно беременных чемоданов. Потому что за день приходилось переодеваться минимум трижды. И мыться, мыться, мыться...

Зимой было легче, особенно когда он купил коттедж — хотя поначалу соседей шокировал лыжник в майке-безрукавке и шортах для серфинга. Но он никого не стеснялся, и он любил спорт, любил ощущение силы, вид тугих мышц под кожей. Да и руководить своим телом — что может быть упоительнее?

Он глянул на часы, обнимавшие запястье. Вылет через сорок минут, если верить стюардессе, встречавшей его на входе. Вполне можно успеть. Нужно успеть, он не жилец без душа.

Волегов расстегнул кожаный ремешок своих Vacheron Constantin. Часы выглядели очень

просто, но стоили целое состояние. Впрочем, он берег их не из-за дороговизны — это был подарок Анюты на десятую годовщину их свадьбы. Сергей осторожно пристроил их на столе, но, подумав, что во время взлета часы могут соскользнуть с лакированной поверхности, переложил их в портфель. Вытащил ноги из тупоносых лоферов, сработанных из тонкой замши. С трудом стянул со стоп волглые хэбэшные носки: надо же, и они почти не пахнут — а он бы почуял вонь, едва сняв ботинки. Бросил в кресло пиджак — тот неловко переломился в талии, выставив трубы рукавов и острую маковку воротника. К нему в объятия отправилась влажная рубашка. Сверху, недовольно цокнув ремнем, легли брюки. Труссы он снял уже в душе и застыл под солоноватыми струйками — даже простую воду здесь минерализовали, ничего не жалея для здоровья топ-менеджеров Минтранса. Закрыв глаза, Сергей попытался расслабиться, дышать ровнее. И только когда кончики пальцев стали неметь, понял, что температура воды близка к арктической. Удивительно, но он почувствовал еле заметный дискомфорт — и это стало еще одним звеном в цепочке удивительных событий, которую плел вокруг него этот день.

Семнадцатое января. День, когда он, наконец, стал отцом.

М-да...

Странно и стыдно... Он сам разговаривал с Натальей, он своими ушами слышал крик ребенка. Но ничего не чувствовал. Ничего. Ни радости, ни удивления, ни удовлетворения от своего отцовства. Перемен как будто не случилось, мир вокруг был обычным — всё те же заботы, люди, планы. Все тот же мелкий дождь за иллюминатором. Все та же птичья жизнь — вроде летаешь повсюду, с континента на континент, а свободы как в клетке... Но где-то, за двумя океанами, сегодня открыл глаза его ребенок. Его родная дочь.

Это будто не с ним, но это случилось.

Сергей надеялся, что осознание все-таки придет, пусть позже. Когда он впервые возьмет ребенка на руки, или когда услышит его голос. Или когда заглянет в лицо малышки, пытаясь угадать свои черты. Он перестанет быть бесчувственным, словно осиновое бревно — и тогда прекратит себя винить. Но до этого момента — почти полдня.

Кстати, как эту дуру Наталью занесло на острова? Вечно творит, что хочет. А ведь он пытался ее вразумить, но разумные аргументы всегда отскакивали от ее головы, как горох от стенки. «Я беременная, не больная!» — огрызалась она, когда Сергей требовал отложить путешествие в тропики, которое любовница планировала совершить на девятом месяце беременности. Раздумывала, куда лететь: на Тенерифе или в Бразилию. «Хоть на солнышке погреться, а то после родов только и буду, что возиться с ребенком, долго не увижу океан», — хныкала она, капризно кривя губы. — «В Израиле январь — самый мерзкий месяц, дожди и холодно. Даже малышке в животе будет неудобно. Вот и представь, как мне на свежем воздухе. А гулять-то надо». Неделю назад он перевел ей на карту очередную часть денег, и Наталья, похоже, тут же отчалила в теплые края. Сам же он улетел по министерским делам в Австрию, потом в Италию, а сегодняшней звонок любовницы вообще застал его в Онтарио. Ничего толком не объяснила, бросила трубку... Поняв, что ее настроение далеко от благодушного, да и не желая лишней раз беспокоить — наверное, устала после родов, спит — он позвонил доктору Езвику Гершону в клинику Шибя и спросил, как прошли роды и хорошо ли чувствуют себя мать и ребенок. Доктор Гершон ответил, что те же вопросы хочет задать Сергею, потому что роды прошли мимо него, а мать и ребенок, возможно, чувствуют теперь, что им стыдно. Разозлившись, Сергей все-таки набрал номер Натальи.

— Мы на Маэ, — сонно сказала та. — Прости, что не предупредила. Просто все так

быстро случилось...

— Как дочка?

— Хорошо.

— Ну расскажи: рост, вес... На кого похожа?

— Не знаю я ничего. Они тут по-французски болбочут, не понимаю ни бельмеса. А похожа она на тебя. У нее твоя лысина.

Сергей машинально поднес руку к голове, ощупал затылок, чуть шершавый от пробивающихся волосков, и, опомнившись, рассмеялся.

Сейчас, вспоминая этот разговор с Натальей, он все-таки начал верить: отец, я теперь отец. Пусть даже он купил этого ребенка у судьбы — главное, что сделка удалась.

Он выключил душ и принялся растирать тело полотенцем из грубой льняной ткани. Глянул в зеркало — не пора ли бриться? Полноватые щеки и круглый, с ямочкой, подбородок были гладкими, без пробивающейся растительности. «Лицо-яйцо», — всплыл в памяти образ из детской книжки, и Сергей добродушно усмехнулся. Да, он такой — постаревший Шалтай-Болтай. Высокий лоб, прочерченный морщинами, распростерся на всю голову. Темные, не по-мужски тонкие, брови. Длинный нос с горбинкой, чуть искривленный и чуть расплющенный — боксерское прошлое в карман не спрячешь. Полные губы, верхняя чуть вздернута. Кожа грубая, в широких порах. Носогубные складки будто прочерчены острым лезвием. Карие глаза ввалились, кожа вокруг в паутинке морщин. Веки набрякли от бесконечной смены часовых поясов. Он улыбнулся своему отражению, вспомнив старый анекдот: «Где деньги? В мешках. А где мешки? Под глазами!» Что ж, возраст, образ жизни... И многолетнее, непрекращающееся чувство вины.

Пол под его ногами чуть ощутимо дрогнул — значит, самолет тронулся с места. Повезло, что в этот раз ему дали столь мощную машину, способную за раз облететь полмира. И пилот опытный, редкий: с голубиным инстинктом курса, выносливостью альбатроса и бесстрастностью филина. Еще с автобусного завода, где канадские партнеры демонстрировали ему новые модели городского транспорта, который Волегов должен был закупить для столичных улиц, он дважды звонил пилоту. Предупреждал о смене курса: сначала Израиль вместо Москвы, потом вместо Израиля — Сейшелы...

Ох, надо бы глотнуть коньяка и на боковую — лететь еще долго.

Белая кровать в спальном отсеке была круглой, как гигантский пуфик. На потолке — зеркало. И стены отделаны красным — хотя наверняка это какой-нибудь «американский розовый», судя по уровню пошлости. Видимо, чиновник, по заказу которого был выполнен дизайн, собирался использовать спальню самолета отнюдь не для спокойного сна. Волегов сдернул легкое атласное покрывало с одной половины кровати — оно соскользнуло с шорохом и улеглось блестящими складками. Он завалился рядом с ним голышом, даже трусов не надевая — жарко, хотя белый атлас чуть охлаждал бедро. Зеркало на потолке было беспощадным к его возрасту и жирку на фигуре — даже преувеличило и то и другое, будто старая злая сплетница. Сергей с отвращением повернулся на бок. Взгляд уперся в трюмо — по-барочному кривоногое, раззолоченное, щедро расписанное пастушками. Волегов с отвращением закрыл глаза, не желая видеть эту псевдо-роскошную безвкусицу. Он не привык к такому — да и не желал привыкать. В его доме, отделанном по классическим канонам, не было китчевых вещиц или кричащих красок. Анюта имела безупречный вкус и пыталась привить его мужу.

Сергей помнил, как много внимания его жена уделяла подбору красок, тканей, мебели.

Как советовалась с ним по поводу деталей планировки, выбора интерьерного стиля. Как тщательно отбирала для их коттеджа антикварную мебель, посуду, картины... «Дьявол в деталях», — не уставала повторять она. — «Одна ошибка — и гармония разрушится».

Между лопатками заныло, будто кто-то вкручивал в спину тупой холодный бур. Одна ошибка...

Прости, Анюта. Решение принято. Ребенок уже родился.

Волегов перевернулся на бок, наклонил голову, выгибая спину. Боль чуть стихла. Когда самолет сядет, нужно позвонить домой, предупредить жену о задержке.

М-да, раньше он ей не врал... Если только по мелочам, чтобы не волновалась за него. Врал, что пообедал вовремя. Что зимние ботинки переживут еще один сезон. Что на работе дали премию — ну не говорить же, в самом деле, что деньги на подарок к ее Дню рождения он выиграл в спарринге. А потом, когда подался бизнес, врал уже про другое — но тоже чтобы защитить ее.

Анюта... Его тоненькая девочка — ясноглазая, улыбчивая, родная. Его маленький недокормыш. Птичка-колибри, питавшаяся нектаром искусства. Озорной ребенок, который так часто восхищал его своим умением превращаться в мудрую женщину.

Он встретил ее на Дне рождения Дениски-чертежника — и первый же миг этой встречи впечатлил его, как откровение. Вот тогда Сергей всей шкурой прочувствовал, какой он — настоящий поворот судьбы, который принимаешь всем нутром, безоговорочно, сразу, и уже заранее знаешь, к чему всё это приведет. Будто вспоминаешь одну из заповедей, которую поклялся соблюдать еще до прихода в этот мир, вызубрил, впитал в кровь — да с тем и родился. А в тот миг, когда оказываешься на этом повороте, так ясно понимаешь — несмотря на истинно человеческую заносчивость, самоуверенность и гордыню — что все-таки не сам ты выбираешь путь, что есть сила, которая ведет тебя. И смиряешься, чувствуя себя ничтожеством, но благодаришь незримого поводыря за это чувство. Потому что с ним — нет, с Ним — спокойнее, чем без Него.

Вот так и Сергея привело к Анюте.

И уже тогда — в то, первое мгновение — Волегов понял, что это будет любовь, что она навсегда... и что пройти придется через страшное. Но последнему, тоскливому и горькому ощущению он тогда не поверил.

«А надо было верить», — зло сказал он себе. Самолет трянуло, и в другой момент Сергей объяснил бы это попаданием в турбулентность. Но сейчас, когда он думал об Анюте и её беде, в которой никогда не переставал винить себя — потому что не уследил, не защитил, не уберечь! — эта опасная для жизни тряска показалась ему знаком. Тем более, что Небо было так близко...

«Надо было сразу уйти, и тогда у нее все было бы хорошо, — подумал Сергей. — Она была бы счастлива... А мне бы этого хватило».

Но тогда он еще был тупым бесчувственным болваном, который просто шел на День рождения к другу, жившему в соседнем корпусе общаги. Сергею пришлось открывать дверь ногой — по-хорошему не достучался, а руки были заняты звенящими клеенчатыми сумками. В замызганной общаговской комнате царил бедлам, шло по-гусарски разгульное пьянство, и воздух был сизым от никотинового кумара. Он раскрыл рот, чтобы отmaterить хозяина, да так и замер, увидев это — под грязной трехрожковой люстрой, в которой горела только одна лампочка, рос и стремился к свету дивный цветок на тонком стебле.

Балерина стояла на одной ножке, на самом кончике пуанта. Плавный изгиб спины,

грациозно откинута головка, изящные руки, поднятые в танце. Вторая ножка отведена назад — носочек вверх, почти в одну линию с голенью, спеленутую бледно-розовыми лентами. Девушка, будто зависшая в невесомости, сложив свое тело в нежный и сильный бутон, заморозила его. И до сих пор он отчетливо помнил почти геометрическую красоту ее развернутых лопаток, плоского живота, вытянутой шеи. Игру теней, трепещущих в полукружьи подмышек, в яремной впадинке, под коленями и между грудей. И нежные завитки волос под круглым по-детски затылком- грифельные штрихи на тоненькой шее.

Он заплодировал вместе со всеми, когда она распрямилась и присела в реверансе. Обтягивающий черный костюм — лосины выше колена, топ с широким вырезом и короткая юбка на завязках — делал ее болезненно-тонкой. И эту кажущуюся хрупкость отчаянно хотелось оберегать. Ей кричали: «Браво! Бис!» и Анюта рассмеялась от удовольствия, но тут же застеснялась всеобщего внимания и скромно отошла в угол. Села на продавленный Денискин диван, наклонилась развязать пуанты, сняла сеточку, державшую волосы. Блестящие темные волны потекли по ее плечам, рассыпаясь вокруг лица. И по контрасту с ними тонкая ее кожа приобрела оттенок алебаstra. Аккуратный носик, плавные излучины бровей, широкий смешливый рот с крупными, как у кролика, зубами. И глаза — переспелые вишни, бархатная мягкость взгляда, светлое, спокойное тепло. Эти глаза примагнитили его, швырнули в боль — вдруг не заметят, скользнут по нему равнодушно? И возродили, когда их взгляды встретились и сплелись.

Потом она, конечно, кокетничала, говоря: «Ты меня не отпустил». Ну да, он ходил за ней весь вечер. Как стрелка компаса тянулся к ее югу. Нависал скалой, ревниво охраняя от остальных мужчин. Потому что понимал: вот он — поворот, и вот судьба, и вот любовь. Только с ее судьбой — сходится ли всё это?

И он стал ее тенью, томился рядом, пытаясь угадать. А когда Анюта собралась исчезнуть, Сергей пошел с ней. Провожал пешком, потом на трамвае, через весь Питер, до общежития балетного училища, которое закрывалось ровно в девять. «У нас режим, все строго», — рассказывала Анюта. — «Девочки рано ложатся, а если кто задерживается, коменда из принципа не пустит — хоть на улице ночуй. Вылететь из училища за такие вещи в два счета можно. А еще завтра выпускной концерт, выспаться нужно. Если хочешь, приходи».

И он пришел — с букетом бархатцев, которые нарвал в парке, потому что денег не было вообще. Потыкался в закрытые двери театра: до начала балета было полтора часа и зрителей еще не пускали. Сел на ступени, как пёс, ждущий свою хозяйку. А потом не выдержал, пробрался через служебный вход, пряча букет под курткой. Бессовестно наврал вахтеру: «Я новый помощник осветителя, мне куда?» Рыскал по коридорам, открывая все двери подряд: склад, костюмерная, гримерка... Не то, не то... А потом прокатилась по воздуху музыка, и он взял след, пошел на вибрацию струнных и на зов духовых, проник за кулисы, позвериному чуя терпкий, будоражащий запах — лак для волос, пудра и пот. Был перерыв в генеральном прогоне и балерины отдыхали, сбившись в стайки за декорациями. Почти близнецы в белых пачках, с загримированными лицами и забранными под лебяжьи перья волосами — одинаковые фигурки из сахарной глазури. А Сергей, почти скуля от отчаяния, все искал свою Анюту, бродя между участниц кордебалета, как в метели... И только когда она окликнула его, увидел, что в закутке между стеной и декорациями, прячась в тканевых складках, стоит черный лакированный трельяж. А за ним — прямая спина в перекрестье белоснежных лямок, гордо поднятая головка, увенчанная блестящей диадемой, точеные руки

и плечи, вынырнувшие из пены газа и кружева — сидит его Одетта. Королева лебедей.

И вот тогда он полюбил ее снова.

Сколько их еще было — не счесть! Этих ситуаций, когда он видел ее по-новому. Этих любовей, которые рождались в нем одна за другой и продолжали жить, дополняя друг друга. И эта многомерность, многоплановость одной маленькой женщины открыла ему, что в мире все-таки существует загадка, которую мужчина готов желать до предела веков.

Они поженились через три месяца, которые прошли для них, как три века — так много было узнано, понято и решено за это время. Сергей невольно улыбнулся, вспомнив их свадьбу. И понял, что боль в спине прошла — будто согретая теплом воспоминаний. Он перевернулся на живот, отбросил подушку. Расстрелять бы тех, кто придумал сделать ее круглой и твердой, как позапрошлогодний каравай. Анюта бы такую не заказала. Она была практичной хозяйкой, и, едва глянув на картинку, умела определить, удобна ли вещь в использовании.

Интересно, хоть кому-нибудь удалось выспаться на этой кровати?

Сергей закрыл глаза, снова пытаясь уснуть. Поерзал, снова натянул покрывало на голову. Надо подумать о чем-то хорошем... К примеру, вернуться на собственную свадьбу. Где жених-бесприданник шел под венец практически с голым задом, и это не фигура речи. Ведь денег у них, двух вчерашних студентов, было в обрез. На кольца, шампанское и торт — надо же отпраздновать. А платье, костюм?... Появляться в ЗАГСе, одетыми повседневно и скучно, не хотелось. Это День рождения их семьи, и он должен быть особенным.

И с задачей справились — легко, шутя. Анюта решила надеть в ЗАГС балетную пачку. «А что, на ежедневные репетиции я в ней не хожу», — говорила невеста, поглаживая белоснежные кружева. — «Висит, красивая, ждет своего часа. А я прохаживаюсь вокруг, облизываюсь: когда же можно будет ее надеть? И, вуаля, она станет моим свадебным платьем!» Для Сергея Анюта придумала неожиданный, но вполне логичный вариант. «Нарядим тебя принцем Зигфридом! Да, пусть они, наконец, поженятся! А то мне всегда было обидно, что у этой сказки такой печальный конец», — рассуждала она. Представив себя в обтягивающем, Сергей сначала пришел в ужас: «Там же колготки!» Анюта напустила на себя оскорбленный вид и строго сказала: «Не колготки, а трико!» А потом расхохоталась, не выдержав растерянного взгляда жениха. И ему тоже стало смешно, мелькнула озорная мысль: а было бы интересно...

И это случилось: июль, жара, а в ЗАГС Красногвардейского района вошла компания молодых людей, одетых совершенно не по погоде — в длинные осенние пальто и плащи. В гостевом зале они скинули эти балахоны, и остались в театральных костюмах. Одетта и Зигфрид собрались пожениться, нагло поправ законы жанра. Квазимодо и Рапунцель, костюмы которых были взяты в ТЮЗе по знакомству, стали свидетелями. И неизвестно, смог ли бы кто-то еще выполнить эту почетную обязанность лучше них. Пострадавший от кутежей Дениска-чертежник, наряженный горбуном, очень натурально приволакивал ногу и щурил подбитый глаз. По полу за маленькой Светкой-Рапунцель, лучшей Анютиной подругой, волочилось метра полтора пшеничной косы, похожей на толстый сноп камыша. Все улыбались до ушей и были счастливы. Со стороны других брачующихся неслышно доносился довольный гогот.

Регистраторша только руками всплеснула.

На память о том летнем дне 1995 года осталось несколько фотографий. Перед глазами Сергея вдруг проявилась одна из карточек, и он очень ярко вспомнил тот момент — будто

очутился там снова. Это перед самым обменом кольцами — они с Анютой стоят рядом, слушая напыщенную речь служительницы Гименея. Красивая пара: он молодой, высокий, плечистый, еще не успевший обменять волосы на деньги, и она — маленькая царевна-лебедь, ноги в пуантах, ступни в первой позиции...

— А теперь, согласно законам Российской Федерации, объявляю вам, что завтра в Ленинградской области ожидается ясная, теплая погода, — сказала вдруг регистраторша. — В связи с этим у меня замечание: женщина, ваш гусь линяет.

ЗАГСослужительница деловито подошла к Анюте и стала отряхивать ее пачку от перьев. В воздух поднялся белый пух.

Несколько шокированный, Сергей хотел возмутиться, спросить, когда уже они получат свои кольца — но из его горла вырвалось только слабое шипение. Регистраторша тут же повернулась и обличающе вперила в него палец:

— Я предупреждала, что с животными нельзя! Женщина, это ваша животная?

Сергей оглянулся, не понимая, о чем говорит регистраторша. И вдруг увидел, что превратился в большого белого гуся. Анюта подхватила его под мышку, смеясь, приподнялась на пуантах и упорхнула в раскрытые двери зала регистрации. Сзади донеслось:

— ...карается на срок от трех килограммов восьмисот граммов, или температурой воздуха метр двадцать! Здесь вам не лебедь, господа крестьяне! Здесь вам государственный свадебный заповедник!

Сергей резко дернулся, сел на постели, соображая, где находится. Чушь какая приснилась... Глянул на часы, устало зевнул. Пора собираться, через сорок минут приземление. Деловых встреч на Сейшелах не будет, а, значит, нужно надеть футболку и шорты. И не забыть про мазь!

Трап подали быстро. Стоя на потрескавшемся бетоне аэропорта, чувствуя, как ноздри щекочет сладковатый бриз острова Маэ, он набрал номер жены. За десять тысяч километров от него, в подмосковном доме, зазвонил Анютин серебристый Vertu. Оторвавшись от экрана компьютера, на котором была открыта вёрстка альбома об истории Мариинского театра, жена взяла трубку и тепло улыбнулась:

— Любимый, ты уже прилетел? Ну вот... А я соскучилась. Да, все нормально. Работаю. Через неделю альбом в печать сдаем, а еще кучу фоток надо отретушировать и тексты дописать. Да, как всегда, занята по горло. Ладно, уговорил — подожду тебя еще денек. Но потом всё, замки меняю... — она рассмеялась. Прислушалась, улыбаясь. — Нет, все в порядке. Отлично себя чувствую. И ничего не нужно привозить, просто возвращайся скорее.

Анюта положила трубку и задумчиво глянула на монитор. Так, что она хотела сделать? ... А, уточнить, как пишется по-итальянски фамилия Альберта Кавоса, первого архитектора Мариинского театра. Нужно посмотреть в энциклопедии по истории архитектуры, а она где-то в стопке книг на полке у противоположной стены. Анюта развернулась спиной к компьютерному столу. И, нажав на маленький черный рычажок, направила к нужной полке свое инвалидное кресло.

*spessore (итал) — густота, плотность

С ловкостью, достойной змеи, темнокожий водитель такси лавировал среди разномастных машин, велосипедов и воловьих упряжек, ползущих по улицам Виктории. Волегов пообещал ему сто долларов, если тот быстро довезет его до столичной больницы. Теперь креол выжимал из своего драндулета остатки молодости, и машина рвалась вперед, брэнча, как ящик сантехника.

Сергей сидел сзади, чувствуя, как в спину сквозь матерчатую ткань сиденья, тычется тупоногая железяка — будто дуло пистолета тогда, в молодости, на «стрелке» за пивзавод. Он поерзал, пытаясь отделаться от этого чувства, опустил стекло, и улица моментально проникла в салон машины, бурля, как вода. Рынок, захвативший тротуары, выплескивал тысячи звуков: крики зазывал, торгующих ракушками, яркой тканью и лобастыми, пухлощековыми фигурками грис (волшебных существ, способных принести удачу), тяжелый скрип гончарных кругов, фривольное перестукивание барабанов и легкомысленное брэнчание гитар. Уличные музыканты сидели прямо на тротуаре из песчаника, метрах в трех друг от друга, будто на выставке. И с каждым — словно еще один инструмент — была темнокожая танцовщица, завороченная быстрым ритмом африканской мелодии-соукоус: в особом транс, со взглядом в никуда, улыбкой без адреса. Это был странный танец: спина почти неподвижна, а живот, ягодицы и бедра движутся, будто сами по себе. Особая пульсация жизни, вторящая топоту пробковых сабо.

От уличных жаровень несло дымом, острыми приправами, сладковатым запахом морских существ, завернутых в листья и брошенных на угли. Дорога разбавляла его бензиновым духом и кислой вонью больших животных, обреченно тащивших телеги по влажной жаре. На разгоряченную кожу волов садились москиты и тут же гибли под равнодушными шлепками хвостов. А Сергей с удивлением понял, что пока не привлек ни одного кровососа. И это было странно, ведь обычно на запах его пота слетались стада насекомых — как толпы бездомных на благотворительный обед.

Водитель дал вправо — резко, будто испугавшись акулы. Волегова швырнуло на дверцу, а потом вперед, потому что машина неожиданно заглохла.

— *Désolé, c'est un frein,** — сокрушенно запричитал креол, махая руками перед лицом Сергея. Розовые ладошки, контрастирующие с почти черной кожей водителя, и почти детский испуг в его глазах почему-то вызвали у Волегова желание сбежать — от жалости, вдруг осознал он. Это было странно — жалеть кого-то, пусть даже бедняка с островов, способного за капитал в сто долларов загнать коня и передавить всю округу. Но день вообще изобилдовал странностями.

Отчаявшийся креол, что-то неразборчиво грассируя, терзал ключ зажигания. Но запыленный драндулет блаженно замер в тени большой широколистной пальмы, как перегревшийся на солнце бегемот. Волегов достал из кармана шорт смятые купюры, отделил зеленую сотенную, хотел отдать водителю, но включились принципы: сотню этот таксист не заслужил. Хотел было встать в позу, потребовать десятку сдачи. Но кто его знает, есть ли у этого островитянина десятка, а вот городская больница уже виднелась дальше по улице, метрах в трехстах от заартачившейся машины — Волегов определил это по белым фургонам «скорых». Его будто уколело сзади, сразу в тысячу мест: «Там дочка, уже близко, очень близко!» И он, ткнув водителя меж лопаток, все-таки швырнул смятую сотенную через плечо

обернувшегося креола. Взял с сиденья купленного в аэропорту плюшевого кота и букет диковинных цветов, и выскочил, не дослушав извиняющееся «merci bien**».

Солнце сразу вгрызлось в его безволосую макушку, облило беспощадным жаром. Волегов почувствовал, как всё вскипает под кожей, превращается в горячий мясной бульон, выступающий через поры. Майка мгновенно намочла, резинка шорт стала жесткой, заерзала по животу, на носу выступили большие капли, и Сергей привычно смахнул их рукой. Достал из кармана сложенную бейсболку, нацепил ее. Надо будет купить салфетки. И газету — сойдет, чтобы немного разогнать воздух у лица.

Перед входом в больницу стоял хвастливо-белый кабриолет «Lamborghini», растопыривший крылья дверей, как взлетающий жук. Из его кожаных недр доносились звуки радио. Волегов взбежал по широким каменным ступеням и открыл стеклянную дверь в прохладный холл, где тихо шелестели кондиционеры, и почему-то пахло сдобой. Сквозняк обнял его, дал отдышаться, защекотал под пропотевшей одеждой — ласково, будто кошачья лапа. Сергей вдохнул и принялся, незаметно склоняя голову к подмышке. Аллилуйя! Потом не воняет, лишь горячая перечная нотка ощущается в смолистом кедровом запахе.

Возле ресепшена, из-за которого виднелась склоненная голова медсестры в синей форменной шапочке, была небольшая очередь. Старик-креол одетый лишь в красные шорты и грязный гипс, укутавший его ногу от колена до пятки, почти лежал животом на стойке. Костыли в его правой руке отплясывали дробь на мраморном полу, но медсестра, которой старик пытался что-то втолковать, будто не замечала ни его, ни производимого им шума. Рядом стояла пара молодых людей — юноша, который держался за щеку со скорбным видом приговоренного, и его равнодушная спутница — судя по внешнему виду, дочь богатых родителей. Опершись на стойку спиной и локтями, она катала во рту жвачку и разглядывала холл; на ее изящные запястья были нанизаны золотые браслеты — штук двадцать, не меньше. Последней стояла высокая беременная мулатка в армейских штанах и коротком черном топе. Ее руки поддерживали круглый живот, черный и блестящий — казалось, что женщина-солдат прижимает к себе пушечное ядро.

Медсестра говорила по телефону: то по-французски, то на щелкающем местном. Положив трубку, она, наконец, повернулась к старику и медленно, с монотонностью опытной чинуши, заговорила с ним по-креольски. Перестав стучать костылями, дед недоверчиво выслушал ее, фыркнул и развернулся, намереваясь отойти от стойки. Его маленькие, как у обезьяны, глазки, блестящие холодом и злостью под сводами голых надбровных дуг, задержались на Волегове. Креол ощупал его взглядом, будто что-то искал, и, не найдя, испугался. Вскинул костыль, направляя его на Сергея, как винтовку, и хрипло зарычал:

— Dandotia!

Волегов отпрянул, растеряно шагнул назад. Что это, черт подери, значит?

А старик вытащил из-под края гипса грязную тряпицу, взмахнул ей перед лицом, и в воздух поднялось серое облако — какое-то вещество, растертое почти в пыль.

— Dandotia! Dandotia! — вопил креол, быстро пятясь. Откуда-то выскочил охранник, схватил его, гортанно ругаясь, потащил к двери. Один костыль выпал из руки старика и загрохотал по полу. Беременная мулатка глянула на Волегова расширенными от ужаса глазами, и кинулась прочь, крепче обняв пушечное ядро живота. Девушка со жвачкой схватила под локоть своего спутника, потянула его от стойки — равнодушие в ее взгляде сменилось опаской. Пространство перед ресепшен опустело, Сергей не знал, что и подумать.

— Извините, мсье, он не в себе, — сказала медсестра по-английски. Сергей обернулся, спросил:

— Что значит это «дандотиа»?

— О, не обращайтесь внимания! Старые суеверия, — отмахнулась она. В ее голосе мелькнула тень страха.

— И все-таки? — Волегов не любил непонятных ситуаций, и умел быть настойчивым.

— Так местные называют мертвецов, зомби, выполняющих волю колдуна, — смущенно ответила она. — Всё это фольклор, сейшельский фольклор, не более.

Сергей кивнул. Ситуация была столь же неприятной, сколь глупой. Даже медсестра с ее «не более» была напугана, и успокаивала больше себя, чем его. Черт бы побрал эти островные суеверия!

— Скажите, как мне найти палату русской роженицы, Натальи Куницыной? — сухо спросил он, не желая больше обсуждать креольских зомби. — Утром она родила девочку. Я — отец.

Медсестра сказала ему номер палаты, объяснила, как к ней пройти, и выдала пару голубых сетчатых бахил. Сергей зашагал к лечебному корпусу, предвкушая встречу с дочерью. Но, поднимаясь на третий этаж по узким ступеням, покрытым дорожкой из зеленого ковролина, он вдруг подумал с нервным смешком: «И кто тот колдун, чья воля меня подчинила?...»

*Désolé, c'est un frein — Извините, заглохло.

**merci bien — большое спасибо

Наталья полулежала в кровати, глядя в экран смартфона. Она взмахнула рукой, Сергей подошел и поцеловал Наталью в щеку — чисто по-дружески, как было принято между ними в последнее время. Она довольно улыбнулась, глянув на букет — и покосилась на игрушку со странным выражением на лице.

— Это — вместо шубы? — уточнила она, ткнув пальцем в плюшевый кошачий бок.

Волегов не ответил на колкость любовницы, как не ответил бы попрошайке или вымогателю — реагировать на такое было ниже его достоинства. В конце концов, они давно обсудили условия сделки, и пережевывать это еще раз Сергей не видел смысла. Он лишь пожал плечами и, чувствуя непривычную робость, медленно направился в обход кровати, к маленькой пластиковой люльке, стоявшей возле окна. Наклонился над ней и застыл, забыв обо всем.

Перед ним был человек. Осязаемый, видимый, реальный — и не важно, что маленький — человек, которого он создал. Плоть от плоти его. Мечта от мечты. Раскрывшаяся тайна, что так долго зрела в лоне женщины из оброненного им семени. Его продолжение. Награда. Бессмертие. Это было потрясение — до самых основ, до сбоя в сердце. Мир плеснул огнем, вздыбился радугой — и провалился водоворотом, втянув в небытие то прошлое, в котором еще не было этой малышки.

Еще беспомощная, слабая, но уже заявившая о себе криком, дыханием, пульсацией сердца, девочка спала. Лежала, вольно раскинувшись — ручки в миниатюрных варежках, легкий комбинезончик из мягкого трикотажа, пухленькие ножки с крохотными, как кукурузинки, пальчиками. Личико с яблочным румянцем, едва заметные бровки, полукружья ресниц, кнопка сопящего носа, капризно изогнутый рот. Ее совершенство было абсолютным. Как и ее владычество.

Волегов смотрел на ребенка и чувствовал — любовь набухает внутри, сочится сквозь дух и пропитывает каждый атом. Погружает в себя с головой. Делает его переполненным, бездонным сосудом — черпая из которого, можно обойтись без всего остального. То, что раньше казалось важным — цифры на счету, карьера, власть — проиграло и потускло. Он мгновенно прирос к дочке, и неизмеримая сила отцовской любви накрепко проникла в его будущее, создав неразрывную связь поколений. Пуповину, которую он не хотел, да и не смог бы обрезать.

Сергей потянулся губами к выпуклому лобику, который малышка забавно морщила во сне. Но замер, боясь разбудить дитя. Как редкий аромат, вдохнул младенческий запах — свежий хлеб, парное молоко, мёд и карамель.

Любовь снова накатила волной. Вышла из берегов. И вернулась в свой океан.

Но схлынувший прилив обнажил мертвых рыб и ядовитую тину. Страх ударил фальшивой нотой, разбив симфонию. Его дочь... Она так мала! Эта безволосая головка, крохотные ручки и ножки, розовые пяточки и маленькое тельце чересчур беззащитны. А вокруг — сложный мир, в котором так непросто выжить.

Тени возможных несчастий слетелись к нему, как сонм чудовищ с картины Гойи. Он напрягся, разгоняя их — не думай о плохом! Но все уже случилось. В него проник и навсегда поселился древний аспид. Он будет жалить каждый раз, когда девочка заплачет, упадет, заболит... Жалить, впрыскивая разъедающий яд тревоги, без которой не бывает истинной

родительской любви.

Нужно сделать все, чтобы с малышкой не случилось беды. Он уже допустил ошибку с Анютой, и платит за это всю жизнь — хотя никто не требует с него платы. Но дочка... Он будет беречь ее. Как зверь, стерегущий потомство — бдительный, настороженный, готовый защищать до последнего толчка сердца...

— Только не трогай ее, я еле уложила, — раздалось из-за спины. Он вздрогнул и обернулся — совсем забыл, что в палате еще и Наталья. Наваждение спало, но призрак страха не ушел — просто залег на дне души.

— Да, конечно, — прошептал он, пятясь от люльки. — Я ее не потревожу.

Перевел взгляд на женщину, когда-то бывшую его любовницей, а несколько часов назад родившую ему дочь. Присел на кровать рядом с ней, благодарно сжал ее руку.

— Спасибо...

Наталья хитро сощурила глаза:

— Маловато «спасибо» за такой подарок.

— Я сделаю все, что обещал. Когда вернемся в Москву, деньги будут у тебя. Вы ни в чем не будете нуждаться. Лучшие условия, лучшие продукты, игрушки, врачи... Если хочешь, можно снять дом.

Наталья замотала головой:

— Меня вполне устраивает эта квартира. Не парься.

Сергей молчал, пытаясь понять, отчего в его душе поднялась беспокойная муть. Что-то не нравилось ему, как зверю, которого гладят против шерсти — ведь всё же гладят, не бьют... Но что конкретно? Нужно проанализировать, разложить по полочкам — и он поймет.

Итак, первая часть плана, до сих пор казавшаяся самой трудной, была выполнена. Его дочь появилась на свет, она жива и здорова, а ее мать при ней. Теперь ребенок будет расти, делать первые шаги, учиться говорить — окруженный заботой Натальи, родной матери на окладе элитной няни. А он, на правах отца, собирался общаться с ребенком и обеспечивать свою дочь.

Казалось, всё должно пойти гладко, по накатанной — как у других знакомых Волегова, у которых появлялись бастарды. Но теперь он начал понимать, что не так уж это просто: заставить жизнь плясать под свою дудку, будто заказываешь музыку тапёру. Взять, к примеру, Наташку — после судьбы она самое слабое звено в его плане. Ненадежный партнер, если говорить языком бизнеса. Она же родила ему дочь только ради денег. Понять можно: как еще женщине с посредственной внешностью и мировоззрением паразита получить пожизненное материальное обеспечение? Только прилепившись к кому-то, в данном случае — к богатому мужику. Но для материнства мало быть расчетливой. Ребенку нужна любовь, тепло, душевная щедрость, готовность прийти на помощь — а есть ли всё это у Натальи?

Конечно, эти вопросы всплывали в его сознании и раньше, но не казались столь значительными, как сейчас. Но он привык решать проблемы по мере их возникновения. И если окажется, что Наталья плохая мать, он примет меры.

— Ты уже думала, как назовешь девочку? — спросил Сергей.

— Решай сам.

— Может быть, Виктория? В честь места ее рождения.

— Ладно хоть не Эсмеральда в честь местной черепахи, — скривилась Наталья.

— Вообще-то местная Эсмеральда — самец, — хохотнул Сергей.

— Фу на тебя, — Наталья кокетливо, с деланной обидой, стукнула кулачком по его плечу. — Важное обсуждаем, а тебе лишь бы ржать конем!

— Я свое мнение высказал. Мне кажется, Виктория вообще хорошее имя. Вика. Викулька... Можно по-разному называть.

— Ну, все ясно, папаша. Уже любишь ее так, что и я не нужна. Или нужна?...

За окном протяжно зашептал ветер. Гигантское банановое дерево, росшее возле больничной стены, пришлось по стеклу листьями — как уборщица тряпкой. И тут же на утомленную жарой землю рухнул тропический дождь. Мгновение — и Сергей оказался у окна, прикрыл створку, радуясь возможности заполнить возникшую паузу. Озабоченно глянул на дочку: не разбудил ли ее проклятый дождь? Но малышка по-прежнему спала, так же славно и безмятежно.

Крадучись, как осторожный зверь, он вернулся к кровати и снова присел рядом с Натальей.

— Значит, решено: назовем ее Викторией, — сказал он.

— Сергеевной? И в графе «отец» — твоя фамилия? А не боишься, что Анечка твою узнает? — невинно округлив глаза, уточнила Наталья. Издевка в ее голосе была еле различимой, но Волегов понял, что она снова злится. Отрезал, еле сдерживаясь:

— Она не должна знать. Не должна — и точка. Ты поняла меня?

Наталья почувствовала, что балансирует на грани. И вдруг подумала о канатоходцах, которые иногда падают. Конечно, дико хочется, чтобы он бросил свою инвалидку. Но если он поймет, что она собралась добиваться именно этого, то Волегов передумает и просто отберет ребенка. А вместе с ними исчезнут и деньги.

— Как будто я просто так спрашиваю... — забормотала она. — Мне в ЗАГСе скажут — заполните графу отец! Мне же нужно что-то отвечать...

— Пусть ставят прочерк.

И сказал уже мягче, стараясь донести.

— Включи логику. Если меня вписать в свидетельство о рождении, то сведения о ребенке должны внести и в мой паспорт. И как в этом случае я смогу скрыть, что у меня есть внебрачная дочь?

— Но ты от нее не откажешься? Я не хочу быть одна...

— Мы это сто раз обсуждали! Более того, я сам просил тебя не делать аборт.

Наталья вздернула подбородок, зашипела:

— Не побоялся, чтобы ребенок родился, а записи в паспорте боишься? Вот все вы, мужики, так: «Да зачем нам этот штамп, у нас же любовь!»

— Я никогда не говорил тебе о любви. Ты помнишь, как у нас было, — отрезал Сергей.

А было банально, подумал он. Склеил девчонку с заправки — эка невидаль! Одну из тех горемык, что приехали в столицу за ломтем райского пирога — их, глупо веривших в сказку о Золушке, больных жадностью и паразитизмом, был легион. Сергей не уважал подобные стремления. И это одна из главных причин, по которым он не мог относиться к таким девочкам иначе, чем к организмам, чья роль — давать секс. Как коровы дают молоко, а черви — гумус.

До той поры, когда Анюта оказалась в инвалидном кресле, он не был таким циником. Наверное, потому, что жил иначе — не смотрел на других женщин, занимался любимой работой, не считал мир жестоким. А эти девочки... Ему пришлось пользоваться их услугами.

Животное начало никуда не деть. Нет, он пытался — почти что год. Но не выдержал, проиграл войну с собственной плотью.

Тем не менее, Волегов следовал железному правилу: с одной девушкой — только одна ночь. Оно было неким оправданием его изменам, потому что давало иллюзию верности — принципам и любимой женщине, которую он ставил выше остальных.

С Наташкой тоже была только одна ночь. Но... много дней продолжения.

Сначала все катилось по колее. Рыжеволосая кассирша в окне заправки: тело по стандарту — две руки, две ноги. Лицо так себе, но не урод. Она сама написала на обороте скидочной карты свой номер. Она была готова без прелюдий. Что ж, в очередной голодный день Сергей позвонил ей. Пригласил на подмосковную базу отдыха, где по традиции снял апартаменты на сутки. Утром отвез обратно, и, прощаясь, вручил пухлый конверт: «Купи себе что-нибудь на память». Она, конечно, звонила и писала сообщения — как и другие. Но телефон для свиданий он хранил в министерском кабинете, в ящике стола. На беззвучном режиме.

Сергей сменил маршрут, и почти забыл имя кассирши с заправки. Но примерно через месяц после их свидания она выследила его у дверей министерства и сообщила, что беременна. Конечно, он ей не поверил. Напомнил, что той ночью был одет как джентльмен — а она ответила, что, видимо, его резиновый «фрак» порвался. Сошлись на том, что через пару месяцев сделают анализ ДНК из амниотической жидкости. А потом поговорят — если, конечно, отцовство Сергея будет доказано.

Он не верил ей до последней минуты. До того момента, как взял бланк с результатами из рук врача. Когда прочел: «Иванов Иван Иванович является отцом ребенка с точностью 99,9 %». Иван Иванычем, конечно, был он.

Вот тогда-то и пришлось сделать выбор.

Впрочем, что говорить о выборе, если судьба уже все решила за него. Иметь ребенка от любимой женщины Волегов не мог. А так — хоть от нелюбимой, не любящей его, но способной выносить и родить. И он решился, назначил цену и огласил условия. Их отношения — чисто партнерские, без какой-либо близости. А оплата — пять миллионов рублей до рождения, и пять после. Плюс пожизненное обеспечение. Волегов понимал, что она не устоит.

Теперь ему придется прятаться, врать, вести двойную жизнь — но ради ребенка он мог пойти и не на такое. Если бы еще Наташка смирилась со своим положением и перестала выносить ему мозг...

Из люльки послышалось басовитое кряхтение. Сергей тут же забыл о Наташкином брюзжании: похоже, девочка проснулась! Подошел к малышке осторожно, чтобы не испугать. Круглые глазенки были распахнуты, смотрели куда-то вверх — бессмысленно, будто продолжая видеть сон. Алые губки вдруг пошевелились, беззубый ротик открылся и Вика зевнула — широко, от души.

— Ох, как мы умеем! — новоявленный отец развел руки в искреннем восхищении.

— Дай мне ее, — он и не заметил, как к люльке подошла Наталья. — Пока не расплакалась, нужно покормить.

Она взяла ребенка на руки, поддерживая его головку. Лупоглазое счастье рассержено засопело, недовольно засучило ножками. Лицо младенца скривилось, рот открылся и трубный рев наполнил палату — водопад звуков, в котором недовольство смешивалось с требованием. Наталья села в плетеное кресло, стоявшее у окна, и, устроив дочку на сгибе

локтя, выпростала из-под халата налитую, исчерченную синими венами, грудь. Темно-коричневый сосок мгновенно вытянулся, затвердел, выжал из себя молочную каплю. Ребенок перестал плакать, повернул головку, будто отыскивая, принюхиваясь — и, широко раскрыв рот, едва ли не полностью втянул в себя сосок. Разрумянившиеся щеки задвигались, нос громко засопел — младенец поглощал еду с аппетитом, достойным шахтера, вернувшегося с двенадцатичасовой смены. А когда Наталья пошевелилась, желая устроиться поудобнее, девочка недовольно сдвинула бровки и легонько стукнула ручкой по материнской груди. «Ого, да она с характером! Моя порода, такая не пропадет», — мелькнуло в голове Сергея, и он счастливо улыбнулся.

Дочка насытилась быстро, и тут же снова уснула. Наталья прикрыла грудь и осторожно переложила малышку в люльку. Волегов стоял рядом, любовался дочерью. Наталья глянула на него искоса: гордый такой, довольный...

«Никуда ты не денешься, — подумала она. — Ребенок не сможет без меня, ты без неё — вот тебе и капкан, в котором застрянет твое сердце. Захочешь выбраться — попробуй, отгрызи».

Ничего, пройдет время — и он всё сделает, как нужно ей.

А она умеет долго сидеть в засаде.

Воздушная дорога в Москву была спокойной — не подвела ни погода, ни лайнер. Готовясь покинуть самолет, Сергей думал: вот ведь забавная штука эта его работа — теперь он чаще высыпался в небе, чем на земле.

Водитель ждал его на стоянке — лениво курил в открытое окно казенного BMW, черного и блестящего, как начищенный армейский сапог.

— Домой? — спросил он, поздоровавшись.

— Сначала в министерство. Оттуда я сам.

Водитель коротко кивнул и сосредоточился на дороге.

Сергей поглядывал на часы — запас времени есть, можно не волноваться. Но когда они подъехали к центру, беспокойство снова зашевелило в нем тараканьими усами. Конечно, вечером пятницы улицы были забиты особенно плотно. Машины изнывали в пробках, вынужденные сдерживать своих лошадей. Теснились, отвоевывая сантиметры — наверное, сверху это казалось соревнованием улиток. За два квартала от нужного здания Волегов не вытерпел и вышел из авто. На встречи с такими людьми, как Слотвицкий, лучше не опаздывать. Да и проветриться не помешает — Сергею опять было жарко, он чувствовал, как шея под узким воротничком рубашки становится влажной. Не хватало еще прийти на встречу потным, как загнанный конь.

Справа от него лежала Театральная площадь. Здесь, вспугивая голубей, гуляли подростки. Пенсионеры сидели на лавочках. А Сергей когда-то сделал предложение Анюте. Понесло же его тогда в фонтан, словно пьяного десантника! Он стоял, мокрый до нитки, держа в зубах веточку белой хризантемы — будто только что достал ее из-под воды. Анюта смеялась и кричала ему: «Хватит, вылезай, мне теперь тебя сушить!», а потом прыгнула к нему, чтобы быть рядом, пусть в мокром холоде, и с риском попасть в милицию, но рядом... И он в который раз понял: да, это — моя женщина! А потом, опустившись на колени и протянув ей цветок, попросил: «Стань моей женой!» Она целовала его в мокрые щеки, тащила вверх, но он стоял по пояс в воде и тряс головой: пока не согласишься, не встану, и пусть я простою здесь все лето и осень, пусть потом придет зима и превратит меня в ледяную скульптуру — мне будет все равно, если ты не согласишься.

Да, молодость... Сейчас бы он не полез, очертя голову — ни на клумбу за цветами, ни в фонтан. Старый стал, неповоротливый, солидный? Может быть. Но куда из его души ушла романтика? И откуда взялся столь густопсовый цинизм? Он использовал Наташку, купив ее тело, как инкубатор. Обманывает Анюту. И считает, что это — правильно. Потому, что в итоге всем хорошо: ребенок живет, Наталья при деньгах, он стал отцом, а для его жены ничего не изменилось, потому что она не знает — так что в этом плохого? Он сумел все устроить как можно лучше, и, в общем-то, молодец.

Откуда же эта тоска, которой не было еще минуту назад?

Стоп. Если бы не способность воспринимать мир отдельно от чувств, жертвовать пешками ради большой цели, жил бы сейчас совсем по-другому, напомнил он себе. Хрен бы ему, а бизнес. Кукиш, а не пост в министерстве и жизнь патриция. И не торопился бы он сейчас на встречу, которая будет еще одной ступенькой к Олимпу. Все идет по большому жизненному плану. Даже лучше.

Эти мысли вернули ему решительность. Он зашагал быстрее, и в считанные минуты добрался до «утюга» на Рождественке. Здание Минтранса до революции было доходным домом. И, по сути, оставалось таковым для некоторых чиновников. Хотя борьба с коррупцией, показательно развернутая в стране, начала мешать. Впрочем, денег Волегову и без того хватало, так что рисковать карьерой ради мнимой прибыли он не желал. Всегда умел быть осторожным и не зарываться, шкурой чувствовал опасность. Но сейчас, перед встречей с политологом Слотвицким, тревоги не было — лишь легкий азарт, как у зверя, почуявшего добычу, но не слишком голодного. Интересно, что ему предложит этот круглобокий, низенький, вечно улыбающийся хищник: стать помощником одного из депутатов или вложиться в какой-нибудь партийный проект типа потемкинской деревни? Ладно, нечего гадать. Скоро узнаю.

По министерским коридорам растеклась тишина — рабочий день окончен, как-никак. Но приемная Волегова была открыта. Нина Васильевна, пожилая секретарша, сидела за компьютером, обложившись папками и бумажками.

— Квартальную отчетность подбиваю, — вздохнула она в ответ на его недоуменный взгляд. И покачала головой, глядя по-матерински заботливо. — Сергей Ольгердович, какой у вас вид уставший! Кофе сделать?

— Да, пожалуйста, — тепло улыбнулся он. — Замотался я, Ниночка Васильевна. В какой стране? Который час? Утро, вечер? Все перепуталось! Начинаю завидовать перелетным птицам: два раза в год путешествуют, всегда в тепле, и всё по собственной воле.

— Зато я здесь сижу пингвином и летаю только в мечтах, — грузная секретарша потешно замахала кистями рук, словно короткими крылышками.

— А я говорил: возьмите отпуск, а то будет, как в прошлый раз, «упала- очнулась- кардиология», — напомнил Сергей. — И не загорайтесь от меня бумажками, вас не спасет, даже если спрячетесь под стол. Вы же знаете, я человек меркантильный и эгоистически заинтересованный в вашем здоровье. Потому что если вы заболете и мне опять дадут в помощницы эту Лидочку... Рухнет наш Минтранс, Нина Васильевна! Рухнет А оно нам надо?

— Не надо! — в тон ему ответствовала секретарша, патетически вздернув голову.

— Так значит, дожаривайте-допаривайте свой отчет и несите мне заявление, а я его подпишу. И не переживайте, не пропаду, потому что в последующие две недели у меня то Канада, то Испания, то Владивосток с Челябинском. Так что пусть Лидочка сидит здесь, пока меня нет, — подмигнул Сергей. — Золотое правило: если шанс появился — им нужно пользоваться.

Секретарша расхохоталась, представив, как Волегов — солидный человек, госслужащий высокого полета — бежит, роняя чемоданы, от глуповатой вертихвостки Лидочки. Мстительно улыбнулась: от нее так никто не бежал, без нее было не справиться, да и куда молодым гадючкам против умудренной жизнью кобры...

Сергей открыл свою дверь и вошел в кабинет, отделанный панелями из мореного дуба с темно-зелеными кожаными вставками.

Сев за стол, нажал на кнопку пульта — и кондиционер запыхтел, нагоняя прохладу. Компьютер включать не стал, а взял кубик Рубика — эта, любимая с детства, забава всегда помогала привести голову в рабочее состояние. Повернул боковые грани.

Интерком зашипел:

— Сергей Ольгердович, к вам Игорь Игоревич Слотвицкий.

— Жду.

В дверном проеме показался низенький смуглый брюнет, лучащийся дорогостоящей улыбкой — поговаривали, что собственные зубы политолога были выбиты в 90-е по приказу облапошенного им клиента. Впрочем, с тех пор многое изменилось, да так, что Слотвицкому дали прозвище Горе Горович. Считалось — и вполне справедливо — что если он возглавил штаб политического противника, бодаться уже нет смысла, только горя хапнешь.

Наклонившись по куриному, Слотвицкий прикрыл за собой дверь, и покатился навстречу Сергею, семена толстыми ножками. Тот вышел из-за стола, широко улыбнулся, потряс пухлую руку крепыша:

— Игорь Игоревич, здравствуйте! Рад, рад дорогому гостю!

— Здравствуйте, очень приятно, очень! А я-то, я-то как рад! Не часто так встречают в министерских кабинетах, — притворно заскромничал хитрюга Слотвицкий.

Нина Васильевна материализовалась рядом, бесшумно расставила на столе содержимое принесенного с собой подноса: две чашки кофе, молочник, сахарницу, и бутылочку рижского бальзама. «Зачет!» — удовлетворенно улыбнулся ей Волегов. Надо же, Слотвицкий в последний раз был у него года три назад, а секретарша все еще помнила, какую добавку к кофе предпочитает столь редкий гость. Когда она растворилась в воздухе, мужчины немного поговорили на общие темы — как здоровье, как семья, дожди надоели, льют и льют, и это в январе, совсем с ума сошла небесная канцелярия... Сергей слушал, поддакивал и ждал, когда Горе Горович сделает первый ход.

— В партии нашей досадная брешь образовалась, — пожаловался Слотвицкий. — Орлят молодых много, но что за ними? Пока лишь амбиции, реальных достижений нет. А грифы наши подустали, шутка ли — по тридцать лет в политике, еще с допартийных времен... Да и на своих местах они, делом заняты. Нам бы ястреба, да чтобы борзый, фактурный, умный — и в то же время уважающий старших товарищей. Веришь ли — по всей Москве кандидатуру ищем.

— Верю, Игорь Игоревич, — вздохнул Сергей. — Кадровый вопрос — самый сложный.

— Так вот, говорю я им: а Волегов? Прекрасный же кандидат! Биография идеальная, поднялся с самых низов, честный чиновник, семьянин примерный, спортсмен! Никаких скандалов в прессе, известен народу только с положительной стороны — если вообще известен. Чистый лист, так сказать, и сделанный из очень хорошей бумаги. А они мне: действительно, прекрасный человек, срочно к нам в партию! Если испытательный срок пройдет, то примем, отчего же не принять, такие нам нужны. А через годик выборы в Заксобрание, и нам свой кандидат понадобится. Который все правильно сделает, народ за собой потянет.

— Спасибо, так лестно — аж смутили меня, — поддержал игру Сергей. — А партии вашей я давний сторонник, голосую сердцем, так сказать. Только есть ли смысл куда-то народ тянуть? Понятно же, кого в итоге выберут.

— Дорогой мой Сергей Ольгердович! — Слотвицкий, будто растрогавшись, приложил ладони к груди. — Как же я все-таки рад, что не ошибся в вас! Вы же всё прекрасно понимаете, это даже удивительно, учитывая отсутствие политического опыта. Действительно, мы знаем, кого выберут. И это человек достойный, согласитесь! Но не все, к сожалению, это понимают. И лезет всякая шушера во власть, и страшно подумать, что будет, если пролезет. Так вот чтобы не пролезла, нужны мы с вами. Наша задача — показать людям, которым по какой-то причине не нравится будущий мэр, что за шушеру тоже

голосовать не стоит! А можно проголосовать, к примеру, за Волегова. Прекрасный же человек!

«...И пароход», — мысленно добавил Сергей. Слушая излияния Слотвицкого, он в нужных местах показывал свою реакцию — кивал, вздыхал, разводил руками. А сам напряженно думал. Предложение сделано, это ясно. Второго такого не будет. Если согласиться, вступить в партию, стать техническим кандидатом и, согласно сценарию, проиграть эти выборы — его выдвинут на следующие. И уже не в качестве «технаря». Партии нужны свои люди во власти. А если учесть, что следующие выборы — в Московскую областную думу, то... Можно сорвать джекпот. Нужно соглашаться, и немедленно.

Только вот насчет примерного семьянина Горе Гореви́ч ошибается. Теперь это уже не так. С другой стороны, кто узнает о Вике? До выборов еще много времени, и особого интереса к его персоне никто не будет испытывать как минимум полгода.

— ...не перестает быть важным! — продолжал вещать Слотвицкий. — Ведь партия — это своего рода кузница кадров. И, конечно, фильтр, который обязан отсеивать всякие нечистоты, представляя избирателям только достойнейших из достойных! Помогать власти, формируя ее — вот наша миссия. И мы лучше миллионов избирателей понимаем, какой кандидат достоин поддержки, а какому просто необходимо обеспечить провал. Люди сами в этом не разберутся. Люди верят рекламе, обещаниям, показухе. Людей можно купить. Запудрить им мозги. И что? Жизнь в городе после этого станет лучше? Нет! Не станет. Поэтому мы обязаны вмешаться. Согласны со мной, Сергей Ольгердович?

— Безусловно! — ответил Волегов. — Более того, я уверен, что смогу принести пользу, и готов много работать для этого.

Действительно, если стать политиком, можно кое-что изменить в городе для его блага. Сергей не питал иллюзий — понятно, что придется делать то, что скажут. Но если он в итоге пройдет в городскую думу, то можно и к высоким целям устремиться. Что-то сделать для улучшения жизни москвичей. Ну и своей параллельно — он же не бессеребренник.

— Я рад, что мы друг друга поняли, — осклабился Горе Гореви́ч. — Вы можете прямо сейчас заполнить анкету и заявление на вступление в сторонники. У меня все бланки с собой. А через полгодика мы вас примем в члены партии, и можно будет двигаться дальше.

Сергей вышел из дверей министерства довольно поздно. Заводя свой серебристый «Лэндкрузер», подумал: жаль, так и не выбрал время позвонить жене. Анята, наверное, уже спит. Завернуть в ресторан, поужинать?

Нет. Он устал. И отчего-то пустота в душе... Ему безмерно захотелось домой. Хороший ужин не так важен, найдется же хоть что-то в холодильнике. Главное — увидеть жену, убедиться, что с ней все в порядке.

Обогнув Лубянку, Волегов погнал машину по Новой площади, через весь Китай-город. Свет уличных фонарей заливал улицу желтым, дробился в стылых каплях такого неуместного зимой дождя, изумлялся черноте уродливых сугробов, оплывавших на обочине. Широкое полотно дороги было бесснежным, устланным лужами — будто кто-то разбил на небе огромное зеркало и сбросил вниз его осколки. Это казалось красивым, но Волегов подумал, что на самом деле асфальт — грязный, а дорогу хорошо бы включить в план ремонта. В понедельник нужно зайти к Тищенко по этому поводу, пусть пошевелит своей задницей.

«Да, Волегов имеет вес, и в Министерстве это знают», — удовлетворенно хмыкнул Сергей и вывернул руль, объезжая еле ползущую «копейку». Так же он управлял и своей жизнью — уверенно, властно, не допуская просчетов и легко обгоняя тех, кто шел в том же потоке, но был слабее, медлительнее, неповоротливее его. А ведь каких-то двадцать лет назад он лишь мечтал о том, что переедет в столицу из родного поселка, который можно было пройти от края до края за сорок минут беззаботной прогулки. Если, конечно, не вляпаешься в коровью лепёху, и не свалишься в скользкую глинистую грязь, которой вместо асфальта было устлано большинство улиц.

Никто не знал тогда, что Серёга Волегов будет работать в самом сердце Москвы, и почти ежедневно проезжать через её, такую древнюю, юность. Смотреть на улицы, мощенные брусчаткой, креститься на золотые луковицы храмовых куполов, робеть перед строгой красотой старинных зданий из красного кирпича, не упокоившийся дух которых следил за ним сквозь высокие окна. А ведь это были его любимые места, очаровавшие его еще в ту пору, когда Сергей впервые приехал в Москву... Память мгновенно отозвалась, наложив пожелтевший слайд на панораму зимней улицы, и Волегов увидел лето последнего года 80-х — пыльную жару под странно темным, низким небом — полем боя, на которое сползались войска налитых злостью туч, готовящихся к грозе, как к войне.

Он вышел из поезда воскресным вечером, так уж получилось с билетами. Сергей купил на вокзале карту, добрался до Китай-города на метро и пошел в политехнический музей — давно о нем слышал, да и деваться больше было некуда. Ведь подать документы в приемную комиссию Московского института инженеров транспорта, и получить место в общежитии на время экзаменов можно было только завтра. Глядя на нарядных, уверенных в себе москвичей — а в их число он записывал всех, кто шел по улицам быстро, но спокойно, без интереса и ошалелости, не озираясь по сторонам, как впервые попавший в Город средневековый крестьянин — Волегов отчаянно стеснялся своей синей рубашки из дешевого хлопка, лоснящихся на швах брюк, и особенно старых кед. Он бы дорого дал тогда за то, чтобы показать москвичам, что он свой, равный. Хотел быть таким же, как они, сблизиться... но и скрыть кое-что хотел: мысли хищника, которого привела к ним не любовь, но жадность. Он будто повторял втайне путь Наполеона, желая обобрать этот город, подмять его — но

понимал, насколько высок и остр пик его амбиций, и в глубине души боялся сам себя. Это болезненное ощущение, в котором кажущаяся недостижимость мечты срослась с маниакальной уверенностью в собственном могуществе, походило на лихорадку. И раскалывало его надвое: он был и бедняком в старых кедах, втайне сошедшим с ума — и уверенным в себе богачом, владевшим самым главным: неисчерпаемой силой духа, острым умом и почти нечеловеческим чутьем. Он точно знал, что покорит Москву, и покорит навсегда. Но она в это не верила, и могла в любой момент посмеяться над ним — брезгливо и с удивлением, как смеялась бы высокородная принцесса над вонючим, задравшим грязный нос, свинопасом.

Впрочем, он уже догадывался тогда, что даже самая несмелая мечта когда-нибудь становится реальностью, если живет между огнем упрямства и холодом целеустремленности в душе человека, которому некуда отступить.

Так вот, он шел в знаменитый Политех, в цитадель ожившей истории науки и техники, а город провожал его взглядом. Волегов удивлялся ширине улиц, замысловатой архитектуре фасадов, непривычной для провинциала чистоте и особой, почти мистической энергетике столицы. Чем больше проникала внутрь него московская свобода и бесшабашность, тем сильнее он чувствовал требовательность и равнодушную отчужденность этого города. И все жарче становилось его желание обжиться здесь, подняться, занять высокий пост, кабинет и квартиру в одном из этих старинных зданий — и чтобы Кремль из окна, не меньше.

Ну а пока он был здесь пришлым, голодранцем, уместившим все свое имущество на левом плеч, в тощей сумке. В ней он привез в столицу свой стыд и гордость. В этой самодельной торбе из дерматина, продранный угол которой был заклеен синей изолентой, лежала штопаная пара белья, спортивный костюм, ставший заметно коротким еще два года назад, вафельное полотенце с завернутыми в него мыльницей, помазком и бритвой, коробочка с тальком и пакет с хлопчатобумажными подмышниками — тогда он не мог позволить себе дезодорант, поэтому пользовался лишь ими. А на дне сумки, обернутый в полиэтилен, лежал красный диплом и почетная грамота ЦК ВЛКСМ, выданная школьному комсору Сергею Волегову за добросовестный труд... а еще за то, о чем сейчас, двадцать лет спустя, вспоминать не хотелось.

Досадливо поморщившись, Сергей вынырнул из прошлого, в новую Москву, давно покорившуюся ему и уже слегка надоевшую — так надоедает любовница, не сумевшая превратиться в близкого человека. Пошире открыл окно — кондиционер барахлил, поэтому в салоне было душно и жарко, и Волегов чувствовал струйки пота, выступившего на теле и катящегося по желобку позвоночника. Вытащил из подлокотника пачку салфеток, извлек одну. Промокнул лоб, шею. И свернул на Москворецкую набережную.

На перекрестке был небольшой затор: серая «Волга» и вызывающе-красный «Лексус» слились нос-в-нос, а перед ними, закинув корму на соседнюю полосу, осел на лопнувшее переднее колесо желтый пассажирский автобус. Волегов сбросил скорость, объезжая неудачливую тройцу по широкой дуге. И увидел за автобусом низенького инспектора ДПС с планшетом в руках. Рядом стояли двое мужчин и высокая, до неестественности худая женщина лет пятидесяти. Ее темная норковая шубка была расстегнута, светлые волнистые волосы посеребрила дождевая пыль, холеное лицо исказила маска страдания. Тонкие ноги в легких и светлых, не по погоде, туфлях были широко расставлены, острый подбородок упрямо вздернут, брови мученически сведены. Подол бежевого винтажного платья из полупрозрачной ткани прилип к коленям. В плетеном колье, лежащем на ключицах

блестящей паутиной, ярко вздрагивали белые бриллианты — в такт крику своей хозяйки.

Судя по всему, это была владелица «Лексуса». И она орала на мужиков так, что даже проезжавший мимо Волегов расслышал ее слова: «...за свой счет отремонтировать не буду, и советую вам забыть, что у меня вообще счет есть, не ваше это собачье дело!» Голос был глубоким, зычным, более подходящим к образу базарной торговки, нежели к романтическому имиджу декадентствующей музы. И этот контраст внешнего и внутреннего напомнил Сергею его мать. Та тоже хотела казаться измученной и утонченной, носить меха и драгоценности... Может, и кажется, и носит теперь. Но во времена его детства она лишь вырезала из журналов фотографии таких вот атмосферных дамочек, да скандалила с отцом — тем же трубным, визгливым голосом. Ругалась всегда из-за денег, называла мужа сшибалой, мостырником и паупером голозадым. Он огрызался: «Знала, что за учителя шла, а не за генсека!» Иногда Сергей думал, что, может быть, именно из-за этих скандалов отец распробовал «беленькую» и начал все чаще проводить с ней вечера, а потом и встречать утро.

Мать много требовала от него, требовала не по рангу — а сама работать не желала, ссылаясь на двух часто болеющих детей. Лишь числилась библиотекарем, чтобы не попасть под статью о тунеядстве. А на работу ходила ее мама, по шесть дней в неделю чихала там от бумажной пыли, только и успевая менять носовые платки — белые флаги проигранной войны с аллергией. Каждый месяц она приносила зарплату своей любимой, но кажущейся такой несчастной, дочери. И та брала, всю, до копейки — нигде не ёкало.

А вот Сергей со старшим братом Дениской работали с самого детства. То горбатились на соседском огороде, то скотину пасли, а, став постарше, вычищали совхозные коровники. «Да, трудиться я всегда умел, в этом не откажешь», — подумал Волегов, съезжая на Чурскую эстакаду по Автозаводскому мосту. Он был все ближе к третьему транспортному кольцу, недалеко от которого стоял элитный коттеджный поселок, где ждал его дом и жена.

Что бы сказала мать, узнав, каких высот он достиг? Деньги, пост в министерстве, а в перспективе и депутатский статус — что еще может сделать мужчину достойным любви? Если бы она знала, что нужно просто подождать, а не бежать за богатым влиятельным мужиком, бросив собственную семью — остановилась бы?

Вряд ли, в который раз осадил себя Сергей. Трезво надо смотреть на вещи. Мать потому и сбежала, что хотела стать обеспеченной немедленно, не тратя годы на ожидание. Да и безоговорочно верить в то, что твой ребенок доберется до верхушки муравейника, не каждая сможет.

...— Она из-за тебя нас бросила, ты ее не слушался! — Дениска, старший брат, тыкал в него пальцем. В хитрых глазах плясали черти, и маленький Сережа не мог понять: они на него кричат, или брат? Было жутко обидно и в то же время страшно до тошноты — а может, действительно из-за него?

— Нет, ты врешь, ты врешь! Не из-за меня, не из-за меня! — ревел он.

— А еще ты чашку ее разбил! И вообще ты противный, ноешь все время, то комары накусают, то в школе побьют, кому понравится? Плакса, плакса, три копейки вакса, — издевался брат...

Ну и где ты сейчас, брат Денис? Наверное, у магазина — сшибаешь мелочь, да ищешь друзей, чтобы на пару похмелиться? Все еще живешь в зареченской квартире, оставшейся от отца — в той, где вы вместе спивались, пока он не умер?

А мать? Лет пятнадцать назад Сергей — уже начавший богатеть, поднявшийся по

карьерной лестнице и параллельно создавший несколько собственных коммерческих предприятий — хотел найти ее. Показать, каким он стал. Доказать, что она зря его бросила. А потом случилось несчастье с Анютой, и ему стало не до того. Он начал еще больше работать, еще больше добиваться и достигать, но уже ради жены, чтобы поставить ее на ноги. Операции стоили дорого, и он сбросил в пропасть медицинского бессилия горы денег — вот только всё впустую. Он не прекратил бы попыток и до сих пор. Но они с Анютой прошли всё, что можно. Лучших специалистов. Все виды лечения. «Ничем не можем помочь», — в итоге сказали врачи. — «Но медицина развивается. Возможно, в будущем...» И они ждали. А умело вложенные деньги уже зарабатывали сами себя, но Сергей не мог остановиться. Намечал новые вершины и лез на них с упорством Сизифа. Вот только, в отличие от него, сумел вкатить на каждую собственный камень — и не просто поставить, но и изваять из него памятник своему эго. А оно, питаясь лишь победами, разрасталось все больше — и становилось все тяжелее из-за того, что мать не видела, не могла оценить, и сказать: «Верю! Хватит!».

Материнский след терялся где-то в 90-х. Последний раз ее видели в Питере, в образе великосветской дамы: норка, бриллианты, сигарета в длинном мундштуке. Картинная галерея, где регулярно появлялась мать, закрылась — застрелили владельца. Подруга матери, на которую вышел человек Сергея, отозвалась о ней нелюбезно. И говорила, что хотя они и дружили некоторое время, посещали ту самую галерею, где мать приценивалась к работам классиков, но общего у них было мало. Поэтому так и не помирились после ссоры. К тому же, бизнесмен, к которому прибилась мать, то ли уехал за границу, сменив имя, то ли вообще покинул этот мир. Поэтому выйти на него тоже не представлялось возможным.

Сейчас, в век интернета, да еще и с его возможностями, Волегов смог бы, наверное, ее найти. И он попробует еще раз. Но не сейчас. И вообще, стоит подождать пару лет, завершить начатое. Стать видным политиком. А тогда, возможно, она раскается и придет к нему сама. Этого хотелось больше. Хотелось покаяния. Признания ошибок. Платы за детство, порванное надвое, как семейное фото.

Держа в одной руке противень с нежной белковой массой, Анюта быстро открыла дверцу духовки и сунула будущий кулинарный шедевр в пышущее жаром нутро. Получится и на этот раз ее Павлова, обязательно получится! Темный локон выскользнул из-под мягко окольцовывающей волосы резинки, упал на щеку, и Аня машинально вскинула руку, чтобы заправить его за ухо. Локоть ударил по ручке металлического ковшика, стоявшего на плите, и тот, глухо звякнув, перевернулся, выплеснув бело-желтый язык закипающей молочно-масляной смеси. Густая, душистая, исходящая горячим паром, она слетела на колени хозяйки — и разлилась по темной ткани домашних брючек неровным пятном, таившим смертельную опасность. Глаза Анюты расширились от ужаса, она схватила тряпку, быстрыми движениями рук принялась сгонять пятно с колен. Ее затрясло, сердце бухнуло, скакнуло неровно. А ноги не чувствовали ничего — ни боли от жгучей, как жидкий огонь, молочно-масляной лавы, ни лихорадочно счищавших её рук.

Анюта погнала инвалидное кресло в ванную — по счастью, та ждала рядом с кухней, всегда держа дверь распахнутой: мало ли что понадобится хозяйке. Уцепившись за поручни, подтянула свое тело, переместила его на сиденье джакузи и включила холодную воду, не снимая одежды. Цапнула с подставки лейку душа, направила его на ноги. Бело-желтые хлопья соскользнули с колен, завертелись у ступней в нервном танце, пропитывая воздух ванилью. Но Анюта все водила и водила душем над коленями, хотя знала — все бесполезно, ожоги будут серьезными, будто и без них ей было мало...

По телу побежал холод — кровь поднималась от замороженных ледяным душем ног. Не хватало еще простыть из-за этого! Анюта выключила воду, стянула с себя брючки, трусики, футболку, подол который тоже намок и лип к животу холодным блином. Бросила мокрый ком в корзину для белья. Красные пятна на бедрах вспухли — наверняка будут волдыри, нужно смазать «Бепантеном». Ее массажист часто пользовался этой мазью для того, чтобы поддерживать кожу клиентки в норме, хотя сама Анюта не видела в этом особой необходимости — ведь для инвалида-колясочника двигалась она очень много. Тем не менее, слава богам, «Бепантен» в доме был, но до него еще надо добраться.

Она накинула на покрытые мурашками плечи мягкое махровое полотенце, чуть посидела, отогреваясь. В открытую дверь ванной вползал сквозняк, щекотал ее спину. Анюта вытерла грудь и живот, осторожно промокнула холодные капли на воспаленной ожогами коже. Изогнувшись, повесила полотенце на место. И, крепко взявшись за поручни, рывком перебрала обнаженное тело в кресло. Развернула его, выехала в широкий коридор и направилась к лифту: нужно подняться на второй этаж, в гигиеническую комнату, где — вот же ирония судьбы! — у прежних хозяев дома была тренажерная.

Сережа перестроил этот дом специально под ее нужды: расширил дверные проемы, снес перегородки, поставил пандусы, переоборудовал санузел, заказал специальную мебель на кухню — хотя и был против того, чтобы Анюта готовила. Установил лифт, с помощью которого она могла подниматься на второй этаж. «Да, если бы не муж, моя жизнь была бы гораздо труднее. Хотя кто его знает, оказалась бы я в коляске, если бы не поехала с ним тогда?...» — подумала она и тут же одернула себя: нельзя, нельзя допускать такие мысли! Они — пройденный этап, да и Волегов не виноват в ее беде, уж это Анюта знала точно.

...В ту зиму 1999 года он впервые опробовал горные лыжи — поехал с компанией партнеров по бизнесу в Словению, на Роглу, и там заболел этим спортом, хватив адреналина от крутизны и стремительности снежных трасс. Вернувшись, взахлеб рассказывал жене об этой холодной, управляемой скорости, был пьян ей, и становился будто сильней и моложе, когда снова и снова говорил о своей поездке. Конечно же, он хотел ее повторить, и, конечно же, Анюта согласилась поехать с ним. Но отправиться в Словению не получилось — Сергей, выстраивая новый бизнес, наводил мосты с уральскими партнерами, и они пригласили его на гору недалеко от Челябинска.

В то время в России этот вид элитного отдыха только входил в моду у бизнесменов, и был довольно дорогим. Полный комплект горнолыжной амуниции, лучшие модели которой доставляли из-за границы, мог позволить себе только обеспеченный человек. Козырнуть этим перед партнерами зачастую было не только хорошим тоном, но и залогом успешного сотрудничества — марка лыж или сноуборда, ботинок, костюма, шлема и прочего наглядно демонстрировала уровень благосостояния того, кто предлагал сделку. Поэтому их часто заключали на отдыхе, среди морозного величия горных вершин. Но владельцы российских горнолыжных баз обустроивали свои орлиные гнезда, заботясь, в первую очередь, о комфорте в кемпингах и наполненности баров — тогда как безопасность трасс была отдана на попечение судьбе. Впрочем, Волегов, будучи новичком среди горнолыжников, об этом даже не задумывался.

Они приехали на базу утром, и сразу отправились на гору. Сергей учил Анюту в «лягушатнике» — на небольшом склоне, где и трамплинов-то не было, просто ровный, довольно пологий спуск с двухсот метров. Успешно скатившись с него раз двадцать, она подумала, что хорошо бы взять другую высоту. Но время подошло к полудню, и вся компания отправилась обедать. Быстро насытившись овощным салатом и кусочком индейки, приготовленной на пару — балетная диета была жесткой — Анюта заскучала от малопонятных ей разговоров о новых стройматериалах, достоинства которых расхваливали будущие партнеры Сергея. Ей не терпелось опять оказаться на склоне. И не потому, что ей так уж понравилось кататься — в глубине души она понимала, что никогда не полюбит горы. Но туда звал азарт. Дурацкий азарт жены, стремящейся быть идеальной.

Ей хотелось быть царевной в глазах своего мужа — женщиной, которая может всё и способна блистать в любых обстоятельствах. Тогда она думала, что быть рядом, разделяя его увлечения — обязанность хорошей жены, и старалась честно исполнять этот, добровольно возложенный на себя, долг. Боялась, что разница интересов сломает их брак. Не понимала, что два человека, как два государства, могут существовать рядом, не сливаясь в одно — а обогащая друг друга своей разницей.

И она отправилась на гору, чтобы потренироваться, пока Сергей не видит, а потом предстать перед ним во всей красоте новоприобретенного мастерства. Подъемник в считанные минуты вознес ее на вершину трассы, по которой утром катался ее муж со своими приятелями. Анюта сошла с сиденья, глянула вниз — ничего, она справится. Глубоко вдохнув, согнула колени. Многолетняя привычка балетных обуздывать страх помогла ей оттолкнуться, лыжи заскользили, набирая скорость — все стремительнее и стремительнее, вперед, вперед... Наклоняя корпус и колени, она легко вошла в первый поворот, понеслась к другому, вывернула на прямую и приготовилась к своему первому прыжку с трамплина. Лыжи скользнули вверх, и пустота, распахнувшая пасть под ногами, пронзила ее ужасом. А накатанный снег уже летел ей навстречу, и казался слишком плотным, слишком скользким

для удачного приземления, и ее дернуло вбок, будто тело пыталась уйти от этого столкновения — и поволокло в сторону от трассы, неся с бешеной скоростью на обочину, к деревьям, прямо на окаменевший от мороза толстый сосновый ствол. И впечатало в него — плечом, спиной, затылком... Анята услышала, как хрустнули кости, как содрогнулась от удара едва не выскочившая душа, и она полетела внутрь самой себя, теряя сознание...

Сергей судился потом с этой базой, бросался на нее, атаковал, рвал, разъяренный от злости и отчаяния, и всё-таки сломал ей хребет и перегрыз её горло. Владельца посадили, очень быстро и очень надолго, присудив огромную компенсацию, что вынудило его продать базу. Сергей позаботился о том, чтобы ее новый хозяин первым делом поставил сетки на обочинах трассы. Но Анята... Она так и лежала в гипсовых оковах, стойко переносила операцию за операцией, улыбалась, когда муж был рядом, и плакала, когда оставалась одна ночами — зная, что в это же время и он не спит, потому что мечется в бессилии, безмолвно воеет от горя, и прокликает себя...

Сейчас эти воспоминания уже не вызывали той боли, Анята смирилась со своим положением, привыкла к этой коляске — ведь человек привыкает ко всему, даже к плену. Ёжась от прохлады, она заехала в лифт и поднялась на этаж выше. Так, сперва в гигиеничку, за мазью. Подрулила к кушетке, на которой ей каждый день делали массаж, потянулась к тумбочке за почти пустым тюбиком «Бепантена», ухватила его за помятый хвост. Но мазь выскользнула из рук, и, шлифанув по ламинату, заскочила под тумбочку.

Что ж такое, сегодня всё валится из рук...

Анята сжала губы, взяла с тумбочки закрытую картонную упаковку — благо, ее массажист был хомяком по натуре, и всегда закупался про запас. Распечатала бело-голубую пачку, вытащила полный тюбик и щедро размазала жирную субстанцию по красным пятнам, покрывавшим бедра, и мелким пузырькам, уже наливавшимся желтизной. Теперь нужно одеться. Накинула короткий красный халатик, который обычно использовала после массажа. Покрытые мазью ноги он не скрывал, да и не надо было закутывать их сейчас — или надо? В любом случае Серёжка заметит, опять начнутся разговоры о том, что Аняте нужна помощь. А она ей не нужна. Повредит только.

Глянула в зеркало над раковиной — так и думала, тушь размазалась и легла под глазами некрасивыми пятнами. Лучше смыть макияж сейчас, все равно ночь на дворе. А когда придет муж, непонятно.

Она включила воду, склонилась над раковиной — и вдруг поняла, что именно отсутствие Сергея почему-то не дает ей покоя с самого утра. Как будто происходит что-то важное, переворачивающее его жизнь — а она не в курсе. Это предчувствие было столь острым и столь тревожащим, что наделало в распорядке ее дня множество мелких болезненных дыр — общаясь с людьми, занимаясь работой и своим здоровьем, хлопоча по дому, она без конца возвращалась мыслями к Сергею, и удивлялась им, отгоняла их, потому что точно знала: ничего плохого не произошло. Так что тогда? Что-то хорошее? Нет, скорее странное, новое для них. Но что?...

Именно из-за этого ощущения всё и валилось сегодня из рук. И день оказался скомканным, будто состоящим из отдельных отрезков пряжи, которые не получилось связать в одно красивое и прочное. И это вызывало досаду.

Анята тщательно вымыла лицо. Интересно, как долго она провозилась из-за этих ожогов? Нужно возвращаться на кухню, а то Павлова подгорит. Вот, кстати, очередная странность — этот торт она готовила исключительно по праздникам, так почему же сегодня

ей взбрело в голову соорудить эту башню из беже, крема и свежих ягод, которые в январе имели не слишком-то натуральный вкус? Может, и здесь она невольно следовала предчувствию, и в жизни Сергея всё-таки случилось что-то хорошее, но он не сообщает ей, приберегая сюрприз?... Что ж, в таком случае, беспокоиться не о чем.

Выехав из гигиенической комнаты, она глянула на табло электронных часов, висевших в коридоре. Двадцать минут двенадцатого. Значит, за беже в духовке можно не волноваться.

Она спустилась на лифте и уже въезжала на кухню, когда услышала, как в замке поворачивается ключ. Остановилась вполборота к нему, улыбнулась, радуясь возвращению мужа. Он вошел, неся на плечах шерстяной куртки мелкие капли дождя — как бриллиантовую мантию. Карие глаза смягчились, глянули на нее с любовью. А потом в них мелькнуло что-то еще, какая-то странная смесь вины и страха, и Сергей моргнул, отводя взгляд — а потом поднял на нее новый, будто закрыв часть своей души. В этом взгляде по-прежнему была любовь и радость, но возникла и мгла — словно облако клубилось над ямой.

— Привет, Совёнок, — нежно сказал он. — А я думал, спишь. Так устал, голодный... Думаю, приду в темный дом, засяду один, в холодильнике... А тут ты. Такая радость.

Скинув ботинки, он подошел ближе — обнять, зарыться лицом в ее волосы, проложить цепочку следов-поцелуев через щеку к шее и вниз, к трогательной ямочке над ключицей. И увидел, что ее ноги почти обнажены, и расплылось по нежной коже пугающе красное, воспаленное, болезненное даже на вид. Он рассердился, затряс её плечи, и потащил из кармана телефон, причитая и ругаясь одновременно. Звонил в скорую, то умоляя, то крича на бестолковую дежурную, а потом грохнулся на колени рядом с Анютиным креслом и начал дуть ей на ноги — неловко и осторожно, как взрослый дует на рану ребенка, не зная, чем еще помочь. Горестно качал головой, а она гладила его по волосам и уговаривала, едва не плача.

— Так получилось... Мне не больно... Это заживет...

Как странно у них бывает — что-то ранит её, а боль достается ему. Как будто он может вынести больше.

«Скорая» приехала быстро, высокий молодой доктор осмотрел Анюту, а неразговорчивая медсестра ловко наложила на ее ожоги стерильные повязки. Сергей почти всё время был рядом — лишь раз метнулся на звук кухонного таймера, чтобы выключить духовку. Потом взял жену на руки, отнес на мягкую оттоманку, стоявшую на кухне, и взялся за разграбление холодильника. Стоял спиной, жадно шаря внутри него, выгребая какие-то банки, кастрюльки, и ворча, как большая собака. Теперь, когда медики ушли, волноваться было не за что — благо, ожоги оказались неглубокими. К тому же, Анюте стало много спокойнее от того, что муж вернулся с работы. Она глянула на белесые пятна, забрызгавшие черную поверхность плиты и покрывавшие пол рядом с опрокинувшимся ковшиком. Желания убираться не было, да и домработница все равно придет раньше, чем они встанут. Анюта блаженно откинула голову на подушку, расслабилась. Но вспомнила взгляд Сергея, утаивавший что-то, и спросила:

— Любимый, у тебя все хорошо?

Его спина еле заметно напряглась. Он обернулся, глянул так же ласково и так же непонятно — словно через мглу. И ответил, широко улыбнувшись:

— Мне сегодня в партию вступить предложили!

Он заговорил о своей встрече с Горе Горевицем. Анюта помнила колобка-пиарщика, как-то он ужинал у них в доме. Что ж, если муж решил пойти во власть, она не будет

останавливать его — знает, как для Сергея важна любая карьера, пусть и политическая. В бизнесе он сумел добиться многого, в Министерстве — тоже, и если чувствует, что пора расширять горизонты, значит, так тому и быть.

— Я рада за тебя, — сказала она. — Ты молодец. Они поэтому к тебе пришли.

— Думаешь? — он изогнул бровь и засунул в рот огромную ложку мясного салата.

— Ну, я не думаю, что они любят тебя так же, как я, — засмеялась Анюта. — Но всё же понимают, что ты дорогого стоишь. Чувствуют твою силу. Поэтому и набежали — вожака почуяли.

— Вот умеешь ты фигуры по клеточкам расставить, — одобрительно хмыкнул муж. — Какое счастье, что моя жена не дура!

И опять — словно тень на его лице мелькнула. Будто его беспокоит что-то, связанное с ней.

— А чего там в духовке, это можно сожрать? — хищно спросил он, подмигнув.

— Нет уж! — запротестовала Анюта. — Там Павлова твоя любимая, и остывать она будет до завтра. Так что заводи будильник на пораньше, может, и успею доделать, пока ты опять не исчезнешь.

— Совенок, ну я же по делам, — протянул он с притворной обидой, и, скорчив смешную рожицу, стал так похожим на провинившегося щенка, что Анюта расхохоталась.

После ужина он унес ее в спальню, уложил на кровать, укрыл, заботливо подоткнув одеяло под ноги — нельзя, чтобы они мерзли, ведь сама Анюта этого не почувствует, а переохладиться может. Рухнул рядом, едва стацив с себя одежду. Поцеловал жену, провел рукой по ее волосам, сладко заурчал ей в ухо.

Анюта лежала в темноте, перебирая в уме подробности дня. Скривилась, вспомнив, что забыла отправить запрос в типографию, а ведь это нужно было сделать еще вчера. Но накануне так сильно изменилась погода, сперва метель и минус десять, потом резко до нуля и в дождь... Такие перемены всегда сбивали ее с привычного ритма, потому что тело начинало ныть. Вот и вчера почти весь день ей пришлось провести в постели, и глотать обезболивающие. А скоро нужно сдавать в печать альбом, да и разработка хореографической постановки для ее балетной труппы не желает ждать. Нужно продумать вариант с офисной интерпретацией «Болеро» Равеля. Она представила, как это будет выглядеть на сцене. Два ряда столов — как парты в школе. Артисты-колясочники синхронно раскрывают бумажные папки, опускают на бумагу печати, шлепают дыроколами, перекладывают папки на другую сторону столов и берут в руки новые. Так и кочует бумага — от одного края стола на другой. А потом — и на соседние столы, в бесконечном бюрократическом круговороте. И к музыке Равеля, дополняя звук ударных, примешиваются звонкие шлепки печатей, клацанье дыроколов, буханье объемистых папок, летящих на деревянные поверхности столов. Сцена красная, ноги артистов в черном — белые только столы, бумаги, лица, тела и руки. Как у Плисецкой в ее «Болеро». Интересно, что сказала бы Мери Верди*, увидев такое?

Пример Мери вдохновлял Анюту с тех пор, как она решила забыть о своей инвалидности и вести полноценную жизнь. Да, она в коляске, и что? Голова-то на месте. И сила воли — дай Бог каждому, среди балетных других людей нет. Поэтому создала свою труппу. Поэтому до отказа забила свой день большими и мелкими делами. Отказалась пребывать в домашнем заточении и стала не только выезжать на люди, но и выступать на сцене. Да, в коляске. Но это временно — она точно знала.

Сергей услышал, как изменилось дыхание жены — стало спокойнее и глубже. Уснула.

Он почувствовал, как тело расслабляется от облегчения. Всё хорошо. Она не знает о ребенке. А он тревожился, потому что как-то странно звучали сегодня ее вопросы, и сложным для понимания был взгляд — будто догадывается о чем-то, хочет спросить, но ждет его признания. Показалось. И слава Богу! Что ж, нужно приложить все силы для того, чтобы она и дальше ничего не знала.

* Мери Верди — создатель балетной труппы, в которой заняты танцоры с ограниченными возможностями. Сама Мери не может ходить из-за травмы спинного мозга, но это не мешает ей заниматься балетом.

Часть 3. Перекресток

1

Холодно и очень тихо. Похоже, она лежит на каталке в приемном покое — абсолютно голая, под тонкой простыней: будто ее готовили к какой-то серьезной операции, а теперь просто забыли в подсобке. Татьяна с трудом разлепила веки, провела ватным языком по иссохшим, занозистым губам — и вдруг вспомнила слепящую белым хирургическую лампу, неудобный залом спинки гинекологического кресла, Яну, натягивающую перчатки... Сейчас всё было не так, значит, Таню уже перевезли в палату. Слева дырой в подлунный мир зиял прозрачный квадрат окна. Рядом угловато темнела тумбочка. По левой руке змеилась и уходила вверх трубка капельницы — почему-то непрозрачная, черная, как деготь. Татьяна пошевелила этой рукой — привязана. Попыталась приподняться, и тяжелый кусок холода скользнул с ее живота на кровать. Пузырь со льдом. У нее что, было кровотечение?...

Она вспомнила, что выплыла из наркоза еще в процедурке, но сознание было спутанным, и Таня не до конца понимала, что с ней происходит. В ушах будто звенела злая комариная толпа, открыть глаза было почти невозможно — свет лампы хлестал по ним немилосердно, словно кнут. Ее тошнило, железистый привкус во рту почему-то был оливкового цвета — она не столько ощущала, сколько видела его внутренним взглядом. Яна прикрикнула на медсестру, грохнула инструментами о железный таз. Анестезиолог пророкотал что-то, пальцами раскрыл Татьяне правое веко — она дернула головой, застонав от света, от грубости чужих рук. А потом вкус во рту стал приторно-лакричным, и она снова провалилась в беспамятство.

Сейчас все это всплывало смутно, будто воспоминания разрезали на паззлы и раскидали по разным уголкам сознания. Жутко хотелось пить. Осторожно, чтобы игла капельницы не вышла из вены, Таня потянулась свободной рукой к тумбочке, на которой специально оставляла бутылку воды, и истерично, с надрывом, захихикала — а в первый раз она не поставила для себя питье и мучилась потом, теперь же у нее, потерявшей уже пятого ребенка, есть опыт...

Дверной проем раскрылся, бросив на пол прямоугольник света с тенью в форме длинного креста. Это стояла Янка: ноги вместе, одна рука держит дверь, вторая — косяк. Несколько мгновений ее лицо было напряженно-невидящим, как у любого человека, беспомощно вглядывающегося в темноту. Татьяна помахала свободной рукой, привлекая её внимание.

— Жива, старушка? — обрадовалась Яна. В голосе явственно звучало облегчение.

— Куда я денусь, — проскрипела Таня.

В горло будто сухого песка насыпали. Она все-таки нащупала бутылку, жадно глотнула, облившись. Апельсиновый вкус резче обычного отдавал синтетикой — но вода немного освежила. Хотя бы так. Таня утерла рот и блаженно откинулась на подушку.

— Как чувствуешь себя? Дай-ка, — Яна присела рядом, взялась за ее запястье, сосредоточилась, считая пульс. — Напугала ты нас, конечно.

— А что такое? — напряглась Таня.

— Закровила на операции. Я думала, не остановим, придется и вправду по экстренной

тебя везти.

— Но... Из-за чего?

— У тебя давление сильно подскочило. Анестезиолог сказал, верхнее было под двести. А сама знаешь, выскабливание штука такая: всё наугад делаем. Видимо, сосуд покрупнее порвали — вот и кровь фонтаном. Пришлось гемостатики вводить. Видишь, кровь перелили. Кстати, капельницу можно снимать.

Она ловко отклеила лейкопластырь и вынула иглу из Таниной вены. Развязала бинт, фиксирующий ее руку в нужном положении — без него игла могла случайно выйти из вены, когда Таня задвигалась, отходя от наркоза.

— Давай еще сдадим биохимию завтра, проверим тромбоциты. И свертываемость. Согласна?

— Если считаешь нужным... — растерянно сказала Татьяна.

— Считаю. И ещё. Я, знаешь ли, поговорить с тобой хочу. Сейчас как врач, а не как подруга.

Плохой поворот. Янка редко бывает такой серьезной. Но ведь, вроде бы, всё в порядке...

— У тебя не всё в порядке, — словно прочитав Танины мысли, сказала она. — Я думаю, тебе надо с этим кончать. С этими попытками.

— Почему? — Таня слышала свой голос, будто издалека. Спокойный, холодный голос. Отвратительно равнодушный. Так не может говорить порядочная, желающая стать матерью, женщина, которой сейчас запретят иметь детей.

— Пойми, в твоём организме что-то идет не так. Ты не виновата! — Яна вскинула ладонь, подвинулась ближе. — Это чистая биология. Или генетика. Или иммунология, в конце концов. Что конкретно, тебе никто не скажет. Нет, можно, конечно, сдать еще гору анализов. Но только сама посуди: медицина пока не знает, отчего перестает развиваться плод в теле женщины. Замершая беременность — это такой диагноз, знаешь ли... Он теперь очень часто встречается. И если бы мы только знали, что с этим делать, как предотвратить! Но мы не знаем. Утешает одно, и я тебе уже об этом говорила: скорее всего, это определенный механизм эволюции. Которая отбраковывает больных детей еще до их рождения. Может, это и жестоко звучит, и да простит меня Господь, но кому хорошо, когда в семье рождается больной ребенок? Малышу, которому предстоит всю жизнь мучиться? Или его родителям, которым придется полностью изменить жизненный уклад, и страдать вместе с ребенком — часто не только от жалости, но и от бессилия?

Таня нервно сглотнула. Черт бы побрал эту сухость в горле, нужно еще воды. Она потянулась к бутылке, отхлебнула апельсиновой отравы. Кажется, теперь она навсегда возненавидит апельсины.

— Но я ходила к генетикам, сдавала кровь, — подумав, возразила она. — Еще после первого раза.

— Да, только твой Макс не ходил, — зло обрезала Яна. — Ему вообще все это не интересно. Он вот, к примеру, знает, что ты сейчас здесь?

— Да. Но он на переговорах...

— «На переговорах», — передразнила Янка. Таня давно не видела, чтобы она так злилась. — Конечно, это же так важно! Подумаешь, жена в больницу попала! Подумаешь, ребенка потеряли!

— Ян, он спрашивал, нужно ли приехать. Я сама сказала, что не нужно.

— Ну конечно! Ты сказала — а он взял и послушал, в кои-то веки! Обычно всё бывает

наоборот, но ты об этом не подумала, да, подруга? А здесь вон как удобно получилось: жена сама сказала, что не нужно. Да нормальный мужик приехал бы, примчался, несмотря на любые запреты!

Татьяна хотела возразить, пыталась подыскать аргументы — но их не было. Да, хороший муж не оставил бы жену в такой ситуации. Но у нее нет хорошего мужа, только такой. Она прикрыла глаза; слабость делала ее ватной, не способной придушить тревогу, которая включилась от Янкиных слов и теперь вгрызалась внутрь с жадностью бензопилы.

Недовольно бормоча, Яна поправила ей подушку, подоткнула одеяло. Задрезжала штативом капельницы. Таня думала, что она сейчас уйдет из палаты, но та вдруг спросила:

— Зачем тебе вообще этот упырь? Нашла бы нормального мужика, давно бы родила, может.

А вот это было обидно. Найди мужика! Как будто они в ряд стояли — иди, да выбирай. С Таниной-то внешностью и задницей, как у императорского тяжеловоза. Спасибо, в свое время она намучилась от одиночества и больше его не хотела. Макс — хоть какой-то выход. В конце концов, не бьет, не изменяет, деньги зарабатывает. С виду они вполне благополучная семья. Бывает гораздо хуже.

— Яна, мы не будем сейчас обсуждать моего мужа, — предостерегающе сказала она.

— Ну не разводишься с ним, а роди от другого! — выпалила Янка.

Таня в ужасе распахнула глаза и уставилась на подругу так, будто та прямо сейчас перекидывалась в оборотня. Представила себе, как выходит из роддома с празднично перевязанным кульком. Нагло улыбаясь, передает мужу ребенка... похожего на Купченко, к примеру. А через годик идет за вторым, потом за третьим... Как в анекдоте: «Всех семерых Василиям назовем, а различать будем по отчествам».

— Ты в своем уме вообще, тётя доктор? — возмутилась она.

— А что? — холодно ответила подруга. — Это жизнь. Все равно ребенок нужнее тебе, чем Макс. Да он и не заметит, наверное, с его-то внимательностью к собственной семье.

— Яна, всё!

— Да я просто волнуюсь за тебя! — заорала она. — Неужели, непонятно? Я не хочу после твоей очередной неудачной попытки разговаривать не с тобой, а с фотографией на могильном камне! Ты, Танечка, умная-умная, но когда чего-то личного касается — такая изумительная дура! Я просто диву даюсь! Вот что ты дальше делать будешь? Опять пролечишься, а потом забеременеешь от Макса? А вдруг это снова закончится так же, как сейчас? Это не шутки, дорогая, это становится просто опасным для жизни!

Ее голос напряженно звенел в тишине одиночной палаты. Лунный свет охлаждал воздух, и Танины руки замерзли, будто вместо крови по венам тек холодный кисель. Низ живота нудно ныл, налитый медленно разъедающей тяжестью. Пошарив под одеялом, она вытащила пузырь со льдом и положила на край кровати. Подняла на Яну измученный взгляд.

— Я понимаю, Ян. Я же сама врач. Но еще я женщина, и хочу стать матерью. Это единственное, чего я хочу, пойми! Поэтому... Прости, но я буду пробовать еще.

Яна вздохнула.

— Знаешь, на чем основана лотерея? — неожиданно спросила она. — На том, что человек покупает и покупает билеты, говоря себе: я столько раз пробовал, должно же мне повезти! Или: мне не хватило всего одного хода, в следующий раз я смогу! И люди пробуют, пробуют, пробуют... Тратят деньги, тратят... А потом выигрывают — сто рублей. Ну, или тысячу. Мама моя однажды чайник выиграла. Чайник, понимаешь? А ты хочешь сорвать

джек-пот!

— Но кому-то же везет, — несмело возразила Татьяна.

— У тебя нет стольких попыток. И одно дело — тратить деньги, другое — жизнь.

Январское солнце близоруко всматривалось в окно палаты через туманную завьюженную стынь. Кто-то там шел сейчас, в этой метели, пригибаясь и матеря капризную зиму этого года, которая еще вчера растеплелась почти до нуля, а сегодня обиженно стянула лужи льдом, выхолила воздух. Выла, морозила, заставляла прохожих прятать носы в поднятые воротники, ощущать, как злые снежные крупинки царапают щеки. Но Таня с удовольствием променяла бы свою комфортную одноместную палату в гинекологии на эту заметенную пургой дорогу.

Она сидела, пододвинув стул к широкому подоконнику. Раскрытая пасть черной кожаной косметички-несессера с торчавшими из нее тюбиками, кисточками и флакончиками словно говорила ей: хватит ныть, примирение в красоте. Займись собой, это тебя успокоит.

«Вряд ли, — горько усмехнулась Таня. — Но попробовать надо».

Что случилось — то случилось. Ребенка больше нет. Теперь нужно быть осторожнее: пролечиться, не торопясь, отвести на это минимум год. И еще — заставить Макса сдать анализы. «Если понадобится, я ему сердце вырежу и отдам на экспертизу», — неожиданно подумала Татьяна. И осознала вдруг, что бесконечно, мучительно зла на своего мужа.

«Зачем тебе этот упырь?», — спросила вчера Янка.

Упырь.

Что-то холодом плеснуло в желудке, превратившемся в бурдюк с длинным горлом — и волна тошноты поднялась изнутри, согнув Таню почти до колен. Она прикрыла ладошкой рот, остановила позыв рвоты, но противный кислый вкус запекся в глотке. Закашлялась, отхлебнула чая, оставшегося от больничного завтрака. Хороша жена, которую тошнит при мыслях о муже.

Странно, но еще полдня назад она даже не думала, насколько он виноват в том, что произошло с их пятью не рожденными детьми. И дело даже не в дефективном гене, носителем которого предположительно мог быть Макс. Дело в самом отношении к ее желанию иметь ребенка. Он так же отнесся бы к ее желанию купить плед. Или не купить плед. Если хочешь — вперед, но сама думай о цвете, материале и размере. И сама решай, где ты его возьмешь, и не слишком ли дорогой будет цена. И не мельтеши, я занят. Мне некогда заниматься ерундой.

Плед. Ребенок. Для нее они были из разных вселенных, для него — понятия одного порядка.

Она почувствовала, как печаль оборачивается злостью. Выходит, Макс вообще не понимает, что для его жены значит материнство? Что это не просто возможность удовлетворить инстинкт или поставить галочку: мол, следующий пункт жизненного плана выполнен. А желание вырастить малыша в любви, стать идеальной — мудрой, понимающей и принимающей — матерью. Чтобы все было не так, как в семье ее родителей.

«Но у этого ребенка не будет отца, — внезапно осознала Таня. — Невозможно просто дать младенца в руки взрослому человеку и приказать: люби. Помни, ты должен быть идеальным отцом. И съешь сырники, они в сковородке, отцовство требует сил».

Мысли о муже были как шаги по тонкому льду, под которым темнела какая-то чуждая, пугающая глубина — темная сторона ее супружества, бездна, в которую она не заглядывала

раньше. Но она шла, и лёд под ее ногами трещал и лопался, а она всё пыталась разглядеть правду под его мутной поверхностью. Теперь все прожитое Таня видела по-другому: сухость Макса больше не казалась следствием занятости, нервозность — результатом рабочих проблем, отсутствие дома — желанием обеспечить семью. Фундамент их жизни оказался тонким и не способным поддержать, щупальцами трещин тянулись под ногами ссоры, и риск провалиться в полынью возрастал с каждым днем. Вот только Таня как-то смогла убедить себя, что у них все в порядке, что муж любит ее — но сейчас она отчетливо увидела, что доказательств этому нет, как нет вообще ничего, что по-хорошему связывало бы их друг с другом.

Что держит вместе ее и Макса, зачем им вообще семья? У них настолько разные ценности... Его возбуждают деньги — а ей нужнее любовь. Он тусовщик — а она по вечерам ходит только на работу. Он любит «блеснуть чешуей» — а ей стыдно бравировать своей обеспеченностью. Секс? С тех пор, как она решила завести ребенка, их близость превратилась в медицинскую процедуру. Наперед известно всё: чувства, даты, позы...

А еще... Незадолго до свадьбы она рассказала Максиму о Пандоре. Об этих приступах сводящих Татьяну с ума... Или свидетельствующих о том, что она уже безумна? Тане казалось, что он должен знать, что так будет честнее. Но Максим сказал: «Что бы с тобой ни происходило, я буду любить тебя». И тогда она ему поверила. Но потом, когда приступ повторился — кажется, после того, как мать попыталась сравнить их с Максом, доказывая факт его измены какими-то глупыми фотографиями — муж чуть не сдал Таню в психушку. Позже выяснилось, что девушка на фото — менеджер компании-поставщика, и встреча была сугубо деловой. И Татьяна перестала переживать о том, что Макс ей не изменяет. Но с тех пор она зареклась рассказывать мужу о своих приступах. Которые, к счастью, случались все реже.

Беда их брака в том, что доверие между ними стало показным. Искренность ушла, не стало совместных целей. И путь, по которому собирались пройти двое, закончился развилкой. Каждый пошел по своей дороге, и не хотел возвращаться.

Вздыхнув, Таня сцепила пальцы — будто протянула руку самой себе: поддержать, показать, что кто-то рядом... Ее обручальное кольцо из платины больно надавило на основание пальца. И вновь это кольцо показалось Тане нелепым и жалким, как кусок серого уставшего металла. Она не в первый раз смотрела на него со смесью грусти и негодования. Решиться и снять? Навсегда?

«Что ты гоняешь эти мысли, ведешь бесконечный внутренний монолог о своих проблемах? Будто прилипла языком к замороженной железной двери, которую хочешь открыть!» — Татьяна взъелась на себя, чувствуя, что подобралась к краю. — «Сколько раз ты хотела поговорить с ним, когда он тебя обижал? И всё спускала на тормозах: его невнимательность, увиливание, пьянки... Но тема родительства слишком важна для тебя, чтобы надеяться на лучшее, не зная правды. Поговори с ним — спокойно, но твердо. И пусть он, наконец, признается, нужен ли ему ребенок. Нужна ли ты, в конце концов. А теперь перестань ныть и займись, наконец, своей физиономией!»

Это подстегнуло, и токсичный поток остановился, будто налетев на плотину. Таня вытащила тюбик тонального крема, нанесла на щеки, нос и лоб сливочно-желтые мазки. Принялась растирать их, легко касаясь кончиками пальцев. Крем тонко пах клевером, освежал лицо. Что ж, новая французская марка, продукцию которой Макс закупил для продажи в аптеках, была неплохой. Ее муж постоянно расширял ассортимент. Скоро мы

начнем торговать лыжами и велотренажерами, невесело усмехнулась Таня. А что, они тоже нужны для укрепления здоровья.

Глянула в зеркало, пересекавшее откинутую крышку несессера широкой бездонной полосой. Цвет кожи идеально выровнен, лицо выглядит естественно-свежим. Настроение поднялось на полградуса и Таня уцепилось за это, едва заметное, шевеление: значит, нужно продолжать. Она порылась в недрах косметички: где-то был карандаш для бровей. Подчеркнула соболиные изгибы. Потом нанесла тени для век, присмотрелась — слишком ярко. Растушевала кисточкой — мягкие прикосновения успокаивали, неприятные мысли стали отходить на задний план. Немного туши на ресницы, и глаза стали глубже, выразительнее. А вот помаде сегодня — нет, всё же не то настроение.

Татьяна расчесала волосы, брызнула на шею туалетной водой — холодные капли взбодрили, как крохотный душ, тягучий аромат Ultraviolet от уважаемого ею Paco Rabanne окутал ее запахом достоинства, ореолом загадки. Женщина. Она — женщина, и этого не отменить. А коль это так, у нее когда-нибудь обязательно будет ребенок... И, если понадобится, новый муж.

Она сняла бесформенную ночнушку, надела цветастый халат — такие в гинекологии выдавали бездомным или поступившим по экстренной (что ж, очень к месту — она тоже чувствовала себя странницей, потерявшей семью и дом). Нужно спуститься в педиатрию: ей хотелось поговорить с Витькой по поводу вчерашнего мальчика, а, может, и навестить этого скрытного пациента. Вдруг удастся разговорить его. Без этого не получится защитить ребенка от человека, который настолько искусно владеет ремнем, что хочется на этом же ремне его и повесить.

Она выпрямила спину и вышла в коридор. Возле двери отделения висело большое зеркало. Таня окинула себя взглядом: лицо и прическа в порядке, а вот тело, утонувшее в больничном халате, выглядело, как клумба, которую утыкал цветами безумный садовник. Стоит сказать Максусу, чтобы привез ей нормальную одежду.

«Ты поговоришь с ним сегодня. И не начинай трястись от страха, — велела она себе. — Помни, что самое страшное ты уже пережила».

Снегоход радостно взрыкивал, бросался снежной пылью — как давно не гулявший зверь, обезумевший от простора. Залесский крепче взялся за широко расставленные рога руля: под снегом, засыпавшим поле, могли скрываться рытвины или пни, а, значит, в седле нужно держаться прочно. Не по-зимнему яркое утреннее солнце слепило глаза, и он опустил со лба горнолыжные очки с затемненными стеклами, резко крутанул ручку газа и выехал на холодную равнину. Он уже увидел, где прополз мальчишка. Широкий извилистый след, пересекавший белую пустошь, казался тропой, испещренной норами странных животных. Похоже, парнишка полз, проваливаясь в снег локтями и здоровым коленом, волоча больную ногу. Залесский поморщился, представив, что пришлось вытерпеть найдёнышу. С другой стороны, если бы не снег, трудно было бы определить его маршрут.

Юра пришпорил снегоход, и тот заскользил вдоль следов, взрезая лыжами запорошенную даль. Стена леса, темневшая на горизонте, приближалась с каждой минутой. Залесский глянул на спидометр: позади уже три километра, а ведь мальчишка прополз их с вывихнутым коленом. Сколько времени на это ушло? Не удивительно, что он заработал такой кашель.

У кромки леса следы взбирались на холм, заснеженный горб которого был усеян небольшими сосенками. Выпростав лапы из-под льдистого фирна, они стояли застывшими стражами, по-дикобразьи щетинясь зелеными иглами. Снегоход скользнул между ними и, клюнув носом, заурчал, выкарабкиваясь из рыхлости сугроба. Юрий чуть сдал назад и заглушил мотор: дальше стена деревьев уплотнялась, громоздкий снегоход мог не пролезть сквозь нее, так что придется идти пешком. Но чутье подсказывало, что осталось недолго.

Вчера вечером Залесский всё думал о своем найденыше. Та симпатичная женщина в больнице сказала, что мальчишка сильно избит. И это его враньё о потере памяти... Видать, сериалов насмотрелся и решил, что сможет всех обмануть. Узнать бы, кто он — тогда и родителей разыскать раз плюнуть, чтобы посмотреть, что там за семья. Хотя, что там смотреть? Когда он после окончания университета стажировался в милиции, то не раз бывал на комиссиях в ПДН, помогал в обследовании неблагополучных семей. Каждый раз одинаковая история: пьющие родители, запущенный дом, пустой холодильник. И дети мал мала меньше — одетые в тряпье, голодные, забитые.

Вряд ли мальчишка сбежал из дома налегке. Наверняка у него с собой что-то было: одежда, еда, вода. Может, любимая игрушка — ведь обычно дети думают, что уходят навсегда, и берут с собой хотя бы часть своих вещей. Да и парень не маленький, понимал, что может понадобится в дороге. Вполне возможно, что он даже документы с собой прихватил.

Поразмыслив об этом, Залесский решил прямо с утра поехать на то место, где подобрал найденыша. Если мальчик сказал правду и действительно сломал лыжи, скатываясь с горы, нужно поискать его вещи — среди них может найтись подсказка.

И вот сейчас он, похоже, оказался у той самой злополучной горы. След петлял между деревьев, и Залесский пошел по нему, проваливаясь в глубокий снег. Задрвав на лоб горнолыжные очки, он разглядывал снежное покрывало, пытаясь угадать место катастрофы. И вскоре заметил торчащий из снега обломок, похожий на вытянутую бадминтонную ракетку, сплетенную из светло-коричневых прутьев. Верхний ее край был неестественно

согнут, и на месте слома торчали острые древесные зубья.

«Так вот оно что! Не лыжи у тебя были, а снегоступы», — подумал Юрий. Оглянулся, ища второй. Где-то наверху встревожено застрекотала птица.

Пара к снегоступу нашла быстро — лежала у подножия кряжистой сосны, среди ушастых заячьих следов. А рядом валялась выгнутая ветка, концы которой были связаны толстой леской. И только подняв ее, Юрий понял, что держит в руках самодельный лук. Неужели мальчишка гонялся с ним за зайцем? Это же глупо! Но так по-детски...

Больше ничего не было. Широкие следы снегоступов поднимались к вершине холма, и Залесский, скрипя снегом и потев в своем утепленном лыжном костюме, полез выше. Хорошо, что надел не ботинки — сейчас бы уже набрал ими снега — а дедовские унты, которым сносу нет. Наконец, он взобрался на холм и присвистнул — чуть поодаль стояла небольшая рубленая изба. Хлопнул себя по лбу: и как он сразу не понял, что бывшая заимка лесника совсем рядом! Вот что значит пойти куда-то кружным путем. Но как мальчишка оказался здесь, ведь отсюда до города больше ста километров?

Юрий направился к двери дома и, чуть пригнувшись, вошел в низкую дверь. Пахло вымороженной затхлостью, и немного — дымом. Слабый свет пыльной взвесью стоял возле маленького окошка, над широким некрашеным столом, сделанным из грубо обработанных досок. На нем, среди грязных тарелок, кульков, склянок с солью и сахаром, стояла в жестяной кружке оплывшая грязно-белая свеча. Залесский достал из куртки зажигалку, поднес к фитилю. Огляделся.

В глубине комнаты белела печь, в ее закопченном зеве ютились две облезлых кастрюли. Перешагнув через гору хвороста, лежавшую у печи, Юрий поочередно приподнял крышки: одну кастрюлю до половины заполнял лёд, на дне другой была смерзшаяся перловка.

С печной лежанки свисало старое стеганое одеяло, в прорехах которого серела сбившаяся комьями вата. Залесский выше поднял свечу и заметил в углу грязный спортивный рюкзак. Потянул за лямку: ну, иди сюда, дружок, открывай свои тайны.

Расстегнув обе молнии, он вывалил содержимое рюкзака на стол. Начатая пачка спичек, мешок сухарей из порезанных вдоль кусков черного и белого хлеба — так его обычно нарезают в столовых. Кусок мыла, складной нож. Головка чеснока, кусок ваты, флакончик йода. Веревка. Длинная жестяная коробка с грузилами, крючками и мотком рыболовной лески. А парень-то подготовился...

Залесский погрузил руку в рюкзак, пошарил в глубине. Под пальцами зашуршало. Он вытащил бумажный сверток, распеленал. В нем лежали монеты, примерно сто рублей мелочью. Они были завернуты в широко разлинованные тетрадные листы, исписанные детским почерком. Юрий разгладил их и удовлетворенно хмыкнул.

На одном из листков было написано: «Кантрольная работа по русскому языку ученика 4 «б» класса школы № 29 Павла Фирзина». Под ней шло несколько разбитых строчками упражнений — слова с подчеркнутыми кривулями букв и предложения, разобранные на подлежащее-сказуемое. Под текстом контрольной, испещренным красными следами беспощадной учительской ручки, надменно выгибалась шею оценка «2».

Собрав вещи мальчика в рюкзак, Залесский вышел на крыльцо. С удовольствием выдохнул из легких спертый воздух нежилой избы. Вытащив из кармана сигареты, закурил, обдумывая, что делать дальше.

Можно наведаться в школу. Можно — сразу в полицию, пусть там разбираются. Интересно, этот мальчишка вообще-то в розыске? Или его родственники ждут, что парень

вернется сам?

Над головой метнулась тень, и громадная ворона села на ветку сосны, стряхнув на Залесского облако снега. Закаркала дурниной, будто крича: «Грррабят! Дерржи маррродерра!» Будто в ответ на ее крик налетел ветер, с треском проскакал по замороженным ветвям, качнув кудлатые макушки сосен. Небо темнело на глазах, воздух пропитался холодом, впился в щеки Залесского тонкими ледяными иглами. Похоже, вот-вот начнется метель.

В кармане зажужжало, в лесную тишь звонко посыпались ноты «Турецкого марша». Юрий вытащил телефон, глянул на дисплей — звонил кто-то незнакомый. Чуть сдвинув лыжную шапочку, поднес трубку к уху.

— Здравствуйте, это Татьяна Демидова, врач. Мы вчера в приемном отделении познакомились.

Юрий улыбнулся, вспомнив, как эта милостивая женщина накинулась на него с угрозами.

— Я понял, кто вы. Здравствуйте. Как наш пациент?

— Колено вправили, кашель лечим, откармливаем. Вы просили вам позвонить, сказать, в какой он палате. Мы в триста шестую его положили.

— Спасибо, я его навещу. Татьяна, скажите, а можно будет и с вами встретиться?

Пауза в трубке была слишком долгой, и Залесский понял двусмысленность своего вопроса.

— Я имел в виду, поговорить с вами можно будет? Кажется, я узнал, кто этот мальчишка. Он ведь еще не признался?

— Нет, — ответила Таня. — Но я с ним и не разговаривала еще. Дело в том, что я, в некотором смысле, не на работе. Но территориально я в больнице, вы наберите мой номер, когда приедете. Я спущусь в педиатрию.

— Хорошо, после обеда буду.

«Надо заехать домой, переодеться», — подумал Залесский. Он ведь обещал ей, что при следующей встрече будет выглядеть прилично. Интересно, она замужем?

«Эй, ты и себе обещал, что больше никаких женщин», — предостерегающе шепнул внутренний голос.

Залесский затушил сигарету, выбросил окурок щелчком.

Действительно, обещал.

Купченко сидел за своим столом в ординаторской педиатрии, двумя руками держа перед собой сложносочиненный бутерброд гигантских размеров. Он был так похож на хомяка, собирающегося набить щеки, что Танина грусть мигом улетучилась.

— Питаешься? — подмигнула она.

— Я заслужил! — воинственно вскинулся Витька. — Мне не дают медаль за стахановский труд, но Тamarочка компенсирует это по приемлемому курсу: одно дежурство — один килограмм еды. Вот смотри!

Выпыхтев из-за стола, стоявшего слишком близко к стене, Купченко просеменил по-женски маленькими ступнями к пеленальному столику, возле которого стояли весы для новорожденных. Ловко вскинув руку, вытянул из кармана огромный носовой платок. Взмахнув им, как фокусник, покрыл весы белой тканью и любовно уложил поверх бутерброд.

— Кило восемьдесят! — гордо произнес он. — Еще и с премией! Моя женщина меня точно любит.

— Когда ты уже женишься на своей Тamarочке? — улыбнулась Таня.

— Ты же знаешь, через два года. Когда она закончит вуз.

Таня действительно знала подробности этой истории. Медсестра Тамара, сделавшая из легкомысленного влюбчивого Витьки остепенившегося любящего мужчину, вела партизанскую войну против матримониальных предубеждений его мамы. Будучи представлена пожилой даме четыре года назад, Тома была отвергнута. Не найдя, к чему придраться (уму и красоте сыночкиной невесты могла бы позавидовать сама Елена Троянская, которой не мешало бы еще и скромности у Тома поучиться) Витькина мама заявила, что женитьба на медсестре — мезальянс. Тамара проглотила это, но сделала ответный ход конем: поступила в институт на заочное, выбрав профессию то ли менеджера, то ли экономиста. И на все заверения жениха, считавшего, что всего этого не нужно, а мама смирится, отвечала с достоинством: вот получу диплом о высшем образовании — тогда поговорим. И о маме, и о свадьбе.

А пока Тamarочка наслаждалась тем, что мстительно опустошала над мусорным ведром контейнеры с «детским питанием», принесенные Витькой из дома. Чревоугодник Купченко не мог устоять перед Томиными бутербродами, пирогами и борщами. И летел в помойку несоленый салат-щетка — этим полезным блюдом мама, вечно сидящая на диетах, щедро делилась с сыночкой. Стекал в раковину бледный овощной супчик, в котором одинокой слезой плавала капелька растительного масла. А постному ризотто с диетическими паровыми тефтельками вяло радовались больничные коты.

Еще Тамара зарабатывала очки, стирая и гладя Витькины халаты. Сидела на сайтах турбаз и отелей-здравниц, расположенных недалеко от города — и так организовывала их с Купченко семейный досуг. А в сезон самоотверженно ходила с суженым по грибы. Этой святой женщине было ничего не страшно. И, глядя на нее, весь коллектив педиатрического отделения желал ей скорейшего узаконивания отношений с любимым: уж она-то это заслужила. Да и биологические часы не идут назад. Но еще два года...

— Купченко, тебе же будет тридцать восемь! — укоризненно сказала Таня. — Из тебя начнет сыпаться песок.

— Тamarочка будет подметать, — махнул рукой Витька. — Мы уже договорились.

Вернувшись за стол, он с урчанием впился зубами в бутерброд — а это означало, что на ближайšie пятнадцать минут он выпадет из врачебной вселенной. Татьяна подошла к своему шкафчику, открыла тонкую железную дверцу. Белый халат скучал на вешалке. Женщина сунула руку в его карман, нащупала твердый прямоугольник. Вытащила визитку Залесского: обещала же позвонить... И шлепнула себя по лбу — телефон-то остался в палате!

— Сейчас вернусь, — предупредила она Витьку, и закрыла за собой дверь ординаторской. Но вновь заглянула в нее, вспомнив:

— Слушай, а мальчик в какой палате?

— Двести шестая, — ответил Купченко. — Там пока никого, вот мы и положили, чтобы попривык без соседей. Он людей дичится, зашуганный. Так лучше будет.

Таня кивнула, пошла к себе.

В коридоре детского отделения, как всегда, стоял тарарам. Мамы носили на руках орущих младенцев, водили за ручку малышей постарше, дошколята с визгом гонялись друг за другом, дети постарше сидели, уткнувшись в смартфоны. Из палаты в палату курсировала дежурная медсестра с подносом, на котором в разноцветных пластиковых крышечках лежали таблетки. Таня пошла по коридору, который вчера так сильно напугал ее — а сейчас стоял монументально, такой обыкновенный и родной. Миновала светящийся желтым аквариум сестринского поста — несмотря на утро, внутри были включены лампы. И невольно замедлила шаг: выдвинувшись из своего кабинета, как мрачный танк, прямо на нее пёрла Инесса Львовна. Заведующая педиатрией явно была не в духе, озабочена чем-то, но улыбнулась сквозь усталость:

— Демидова, здравствуйте! Как чувствуете себя?

— Спасибо, уже лучше, — сухо ответила Татьяна.

Вяземская чуть вздернула бровь, во взгляде мелькнуло недоумение.

— У вас всё в порядке? — спросила она. И заметила: — Настроение, вижу, не очень.

— Инесса Львовна, зачем вы пригласили ко мне психиатра? — не сдержалась Таня. — Хоть бы предупредили! А то так, за спиной... без моего согласия...

Она понимала, что зря затеяла этот разговор сейчас, когда Вяземская и без того была на взводе. Но промолчать? На это не хватило сил — да и не до дипломатии ей бывало, когда кто-то столь бесцеремонно лез в ее личную жизнь. Только матери это спускала, да и то потому, что Елене Степановне было невозможно что-либо объяснить.

Вяземская смерила ее удивленным взглядом, и враз налилась обидой:

— Вообще-то ради вас старалась! — с укором сказала она. — Если я узнаю, что у кого-то из сотрудников проблемы, то всегда помогаю их решить, не замечали?

— А какие проблемы? — пошла в атаку Татьяна. — У меня все в порядке, я просто перенервничала. А вы сразу вызвали психиатра! Как будто я невесть что выкинула и меня нужно изолировать!

— Ну, знаете! — Вяземская возмущенно покачала головой. — Вы врач, с людьми работаете. И я должна быть уверена, что могу вас к этой работе допускать. Ваша, с позволения сказать, истерика многих пациентов напугала, между прочим! Я обязана была принять меры!

— Да, согласна, нервы не выдержали и со стороны это, наверное, смотрелось ужасно, — умерила пыл Татьяна. — Но ведь я сразу попросила Костромину поставить мне

успокоительное, и нормально доработала смену! Я вас прошу на будущее: без моего ведома не приглашайте ко мне каких-либо врачей!

— А я вас прошу на будущее помнить, с кем разговариваете! — надменно проговорила Инесса Львовна. — Если бы знала, что вы окажетесь такой неблагодарной, Татьяна Евгеньевна, то не стала бы обзванивать знакомых и просить их об услуге. Я, вообще-то, думала, что вы мне спасибо скажете. Кстати, не только за то, что я нашла для вас хорошего специалиста. А еще за то, что не сообщила о вашем приступе вышестоящему руководству. Хотя вообще-то такие вещи расцениваются как из ряда вон выходящие и являются причиной для разбирательства. Сами подумайте, что будет, если каждый врач начнет биться в истерике при пациентах, пугая их до полусмерти? Смогут они такому врачу доверять свое здоровье? Нет! А у нас педиатрия, у нас дети! Двойная ответственность! И вы хотите, чтобы я сидела, сложа руки? Нет, дорогая моя, этого не будет! Я вообще рекомендую вам обследоваться по полной программе — и в дальнейшем выполнять все предписания Игоря Анатольевича. Он сообщил мне, что назначит вам ЭЭГ и, при необходимости, курс лекарств. Не будете обследоваться и лечиться — я составлю докладную и отстраню вас от работы.

Вяземская вздернула голову, давая понять, что разговор окончен, и величаво поплыла дальше. «Отстраню от работы!» — эти слова прозвучали для Тани, как выстрел. Пусть и предупредительный, но, если она ослушается, следующий будет в упор.

«Вот зачем я?... — ругала себя Таня. — Видела же, что она не в духе — но нет, полезла качать права! Теперь она специально будет следить за тем, как проходит обследование. Потребуется у Новицкого результаты... Он, конечно, не найдет ничего, я уверена. Но если Пандора снова явится? Инесса же не докажешь, что это не психиатрическое заболевание, а такая вот необычная реакция на сильный стресс. После этого разговора Вяземская уже не будет ни в чем разбираться — все ведь знают, как она трясется за репутацию отделения и за свое кресло! Ей проще одним врачом пожертвовать, чем докапываться до истины. Нужно извиниться перед ней. Тем более, что я действительно не совсем права».

Татьяна обернулась, ища заведующую взглядом. Но та, по-видимому, завернула в одну из палат. Решив отыскать ее позже, Демидова двинулась к выходу из отделения. Ноги стали тяжелыми, ей не хватало воздуха и расхотелось видеть людей. Но пришлось улыбаться пациентам, отвечать на приветствия медперсонала, ловить на себе брошенные украдкой сочувствующие взгляды. «Не надо было приходить сюда — по крайней мере, сейчас, — поняла Татьяна. — Видимо, от всех этих переживаний у меня нервы расшатались сильнее, чем я думала. Просто не хотела это признавать, вот и набросилась на Вяземскую. А Инесса права, мне нужна помощь, и лекарства стоило бы попить. Ну, назначит мне Новицкий антидепрессанты какие-нибудь — и что, кто-то умер от них? Нет, конечно. А вдруг это поможет усмирить Пандору? Ох, я бы все отдала, лишь бы эти приступы прекратились...»

С тяжелым сердцем Татьяна поднялась в свою палату, взяла с тумбочки телефон. Позвонила Залесскому. И почти бегом вернулась в педиатрию — хотелось найти Вяземскую и поскорее увидеть найденыша, поговорить с ним. Кто-то же должен защитить парнишку.

Кабинет заведующей был заперт, и Демидова направилась в ординаторскую. Здесь Вяземской тоже не было, только Витка сметал ладонью крошки со стола. Половина недоеденного бутерброда лежала на столе, завернутая в прозрачный пакет. Набрав целую горсть крошек, Купченко двинулся к раковине, тщательно помыл руки и ополоснул рот. Повернулся к Тане, энергично утираясь полотенцем.

— Ну, рассказывай, — велел он.

— Да нормально всё, Вить, — помрачнела она, поняв, что он спрашивает про ее самочувствие. Села в кресло, закинув ногу на ногу. — Давай не будем это обсуждать. Лучше ты расскажи — про вчерашнего мальчика. Ты же его смотрел? Он у нас вообще?

— У нас, конечно. Алексей ему гипс на колено наложил, хотел к себе забрать, но я не отдал. У пацана бронхит, колем уже антибиотики.

— Я так и думала, — вздохнула Татьяна. — Кашель у него страшный. Боялась, как бы не пневмония вообще. Я ж его даже толком посмотреть не успела, Янка позвала... ну, ты понимаешь.

— Не переживай, я все сделал, — отмахнулся Купченко. — Теперь бы еще узнать, кто он, и как дошел до жизни такой. Думаю, мальчишка из дома сбежал. Ты видела, он весь избит?

— Конечно, видела. Набросилась из-за этого на мужика, который его нашел и в больницу привез. Думала, это папаша, которому надо руки укоротить.

Витька хихикнул. Он знал боевую натуру Тани. Сказал, пожимая плечами:

— Медсестры в полицию сообщили, те приезжали с утра. Но толку-то, он ведь и им наврал, что ничего не помнит.

— Вить, а вдруг действительно...

— Да ладно тебе! — Купченко часто понимал ее с полуслова. — Ну, сама посуди: сотрясения нет, откуда амнезия? Сказал, что головой треснулся — а у самого ни шишки, ни синячка, не говоря уже о неврологических симптомах. Просто парень домой возвращаться не хочет, вот и притворяется. А кто б на его месте захотел туда, где бьют и не кормят? Ты заметила, какой он худой? Двадцать девять килограммов при росте метр сорок! Как из Бухенвальда, честное слово! Искать надо родителей и лишать прав к чертовой матери!

— Надеюсь, у него есть нормальные родственники. Если его в детдом — будет ли там лучше?

— По крайней мере, безопаснее будет.

— Я попробую с ним поговорить, — сказала Таня, поднимаясь.

— Подожди, пойдем вместе. Мне все равно на обход надо.

В палате на две койки, одна из которых была заправлена и сияла белым парусом поставленной треугольником подушки, кисло пахло йодом и витаминками. На желтой лакированной тумбочке, стоявшей возле кровати найденьша, коричневела хвостатая гора яблочных огрызков. Когда Таня с Витькой вошли в палату, мальчик дожевывал последнее яблоко. Хрустел им, как мышонок, а сам разглядывал что-то в толстой синей книжке с толстым, сияющим от благодушия, моряком на обложке. «Приключения капитана Врунгеля». Таня тоже когда-то любила эту книгу.

— Здравствуйте, — робко сказал парнишка и, смутившись, отложил «Приключения» в сторону.

— Привет-привет, боец! — ответил Купченко. — Молодец, пятерка за вежливость!

Таня тоже поздоровалась и села на соседнюю кровать — наблюдала, как Витька осматривает найденьша.

— Ты знаешь, со мной такая же беда приключилась, — сказал Купченко, проникновенно глядя в глаза мальчишке. — Я тоже память потерял.

Таня едва сдержалась, чтобы не прыснуть. Она стояла у подоконника, смотрела, как Витька берет парнишку за руку, считает пульс. Да, у ее коллеги был особенный подход к маленьким пациентам. Но что он придумал на сей раз?

— Честно-честно, всё, как у тебя, — продолжал Витька. — Тётя Таня не даст соврать!

Мальчик перевел на нее недоверчивый взгляд, несмело улыбнулся. Больничная пижама была ему велика, отчего исхудалые запястья мальчишки, выглядывающие из подвернутых рукавов, казались тонкими, как ветки. Тонкая шея, торчащая из широкого ворота, была разрисована темно-желтыми клеточками: усердные медсестры расстарались, сделали найденьшу йодную сетку.

— А если вы ничего не помните, откуда знаете, как надо меня лечить? — хитро прищурился мальчик.

— Так я и не знаю! — развел руками Купченко. — И тебя не знаю, как лечить, и других детей. А у нас совсем маленькие здесь есть, им помочь нужно. И как мне быть?

Мальчик поджал нижнюю губу. Его бровки сдвинулись, глаза стали круглыми, виноватыми.

— Вот думаю, может я от тебя заразился? — почесал в затылке Витька. — Что-то мне подсказывает: вот когда ты всё вспомнишь, тогда и ко мне сразу память вернется! Я тебя очень прошу, пожалуйста, вспомни. Ты нас всех спасешь.

Найденьш упрямо помотал головой, опустил глаза.

— Ну ладно, я пойду, — бодро сказал Купченко. — А ты, если память вернется, расскажи всё тете Тане. Она у нас добрая, ей можно доверять.

Когда за Витькой закрылась дверь, Татьяна пересела на его место. Спросила у мальчишки:

— Тебе, наверное, здесь скучно?

— Не знаю. Я еще не понял, — смущенно ответил тот.

— А ты меня узнал? Я вчера в приемном покое подходила, когда хирург тебя осматривал.

В голубых глазах мальчишки мелькнуло удивление.

— Я думал, вы чья-то мама.

Ну да, она же в этом больничном халате, здесь много пациентов в таких ходят. А может, это к лучшему — вдруг домашний вид поможет ей добиться от парнишки откровенности? Ведь при взгляде на белый халат многие робеют, а она хочет, чтобы найденыш ей доверился.

— Просто когда тебя положили сюда, мне тоже пришлось лечь в больницу, только на другой этаж. У меня живот заболел.

Не объяснять же ребенку, что с ней на самом деле случилось.

— А сейчас уже не болит?

— Нет, но спасибо, что спросил, — улыбнулась Таня. — Как твое колено? Говорят, тебе гипс наложили?

— Да! — просиял мальчишка, откинул одеяло и гордо постучал костяшками пальцев по гипсовой лангете. — Я теперь бриллиантовая нога! Кино такое есть.

— Да, я смотрела, — хохотнула Татьяна. Мальчишка казался таким открытым, простодушным.

— А еще у меня бронхит, — добавил он, будто это было что-то геройское. — Говорят, недели две лечить будут.

— Ничего, вылечим мы тебя. Придется укольчики потерпеть, но без них никак. Но ты же смелый парень, правда?

Мальчик кивнул нарочито бодро, но Таня видела, что ему не по себе.

— Послушай, — мягко сказала она, расцепляя руки и чуть наклоняясь в его сторону. Поза доверия. В институте их учили, что собеседник подсознательно считывает этот сигнал и становится более откровенным. — Вчера я сразу догадалась, что тебя лупили ремнем. Потому что со мной родители поступали точно так же.

Во взгляде найденыша смешались стыд и удивление, но отвечать он не торопился. Что ж, по крайней мере, он больше не говорит, что упал.

— Не знаю, что произошло в вашей семье. Но взрослые не имеют права так обращаться с детьми. И я очень хорошо понимаю, почему ты ушел из дома.

Ага, он снова промолчал. Всё-таки она угадала.

— Вот ты говоришь, что не помнишь, кто ты и откуда, — осторожно продолжала Таня. — Теперь смотри, что будет дальше. Первый вариант: после больницы тебя отправят в детдом. Придумают новое имя и фамилию, запишут, как беспризорника.

— Я не хочу в детдом, — запротестовал мальчик. — Мне рассказывали... Ну, в общем, там очень плохо.

— Не знаю, насколько там плохо, но точно знаю, что мы не сможем держать тебя здесь всю жизнь. Больница — это не приют, и нам просто не разрешат тебя оставить. Но есть второй вариант: ты вспомнишь, как тебя зовут, где живет твоя семья. И органы опеки будут с ней разбираться. Может, и получится твоих родителей убедить, чтобы больше тебя не били. Или отправить тебя к каким-нибудь родственникам, которые будут к тебе добрее. А, может, тебе найдут других маму и папу, хороших людей, которые будут о тебе заботиться. Ты, пожалуйста, подумай об этом. А я пока принесу обед, тебе и себе. Чувствуешь, как пахнет?

На самом деле, пахло не пойми чем — как на коммунальной кухне. Но что взять с больничной еды. Таня поднялась с кровати и направилась к двери. Надо дать ребенку собраться с мыслями. Мальчик явно не глуп, остается надеяться, что он выберет второй вариант и признается. А она продолжит делать вид, что поверила в эту историю с беспомощностью.

Татьяна дошла до буфета, возле которого уже стояла небольшая очередь: крупнотелая мамаша в толстом махровом халате, с зареванным до багровости дошколенком, сухонькая бабулька в спортивном костюме, держащая за руку долгоногую глазастую внучку, и парочка первоклашек в бело-розовом — обряженных, как на пижамную вечеринку. Все поглядывали на распахнутую дверь кухни, откуда пожилая санитарка Катя Петровна выносила тарелки с жиденьким рыжим борщом и сероватым картофельным пюре, сбоку от которого притулилась рыбная котлета. Ставила их на двухэтажную тележку, чтобы развозить по палатам — лежачих пациентов и мамочек с грудничками кормили именно там.

— Татьяна Евгеньевна, не стесняйтесь, возьмите порцию, — радушно предложила она. Но Тане показалось, что за этим радушием скрыто что-то еще — то ли неловкость, то ли страх. Удивлено взглянула в сторону санитарки, но та опустила глаза, будто специально старалась не смотреть на Татьяну. «Она ж меня во время приступа успокоить пыталась, а я... — огорчилась та. — Я же ведь не извинилась! Неудобно-то как... Совсем из головы вылетело...»

А Катя Петровна снова предлагала ей порцию:

— У нас все равно двое выписались, не пропадать же! — суетилась она, пытаясь всучить Татьяне поднос с тарелками. Но глаза по-прежнему прятала.

— Благодарю, — ответила Таня, принимая поднос. — Давайте я их одну отнесу в двести шестую.

— Это беспмятному, что ль? Потом за добавкой приходите, мальчонка тощей, как месяц не емши, — вздохнула Катя Петровна. И, положив на отдельную тарелку несколько ломтей хлеба, втиснула ее на поднос.

— Я подойду к вам после обеда? — несмело спросила Татьяна.

Санитарка засуетилась еще больше, зашныряла глазами.

— Да мне мыть надо... Потом, может...

«Точно ведь разговаривать со мной не хочет», — поняла Таня. И попросила грустно:

— Катя Петровна, вы уж меня простите за тот случай! Перенервничала я, Бог знает что казаться стало — вот и не узнала вас, когда вы подошли! Не сердитесь на меня, пожалуйста.

Санитарка молча кивнула, и в ее взгляде, как показалось Татьяне, мелькнуло облегчение.

Когда она внесла добычу в палату, найденьш оживленно заерзал, повеселел, вцепился взглядом в исходящие паром тарелки. Татьяна поставила их на тумбочку, разместив так, чтобы ему было удобнее дотянуться, и пошла за своим обедом.

— Щас компота налью! — засуетилась санитарка, схватила приземистый железный чайник с буквами «П.О» на боку и пошлепала за Таней, запричитала, увидев мальчишку: «Да что ж ты макаронистый-то такой, в чем душа держится, нат-ко тебе», — и на его тумбочке появились две «Коровки» в заюзанных фантиках.

— Завтра тебе блинков принесу, на нашем молочке, деревенском, — пообещала она и Таня вспомнила, что та живет в пригороде, держит огород и скотину. А в больнице подрабатывает, чтобы помочь внучке-студентке.

Мальчишка, торопливо набивший рот, заукал в ответ, захлюпал, всасывая горячий борщ, и за пару минут опустошил тарелку. Таня нехотя черпала ложкой в своей, будто надеясь найти среди капусты и картошки миниатюрную бутылку с письмом, которое рассказало бы, наконец, историю мальчика. А он продолжал уничтожать пищу с аппетитом промышленного пылесоса: выскреб бочком гнутой алюминиевой вилки остатки пюре,

собрал котлетные крошки, а потом вытер обе тарелки кусками хлеба, которые тут же забросил в рот.

— Хочешь мое второе? — предложила Таня.

— Не знаю... Вы, наверное, тоже есть хотите, — застеснялся найденыш.

— Я не голодная. И потом, смотри, какой у меня запас!

Она дурашливо похлопала себя по круглящемуся животу, приложила руки к щекам, надув их для комичности. Мальчишка глянул на нее с удивлением, а потом рассмеялся — роняя крошки изо рта, ненароком показав маленькую розовую пасть, перепачканную налипшим хлебом.

Танину порцию он уплеп так быстро, что она еле подавила порыв сходить за добавкой. Но не стоит перекармливать ребенка. В конце концов, за те три-четыре недели, которые найденыш проведет в отделении, она поможет ему отъестся. О том, что будет с ним дальше, даже думать было страшно.

«Может, действительно забрать его себе? — размышляла она. — Оформить документы по-быстрому, усыновить... Да, он будет знать, что я не его родная мама. Ну и что? Это можно пережить. Зато не в детдоме, не у пьющих-бьющих родственников. Жалко мальчишку. Никакому ребенку не пожелаешь такой жизни, как у него».

Но если она решится на это, понадобится справка от психиатра — Таня знала, что она обязательна в пакете документов на усыновление. Черт, ну почему Пандора снова ворвалась в ее мир после нескольких лет затишья? И почему она проявляется так, что проще всего отнести её к области психиатрии — именно той, где правильный диагноз поставить сложнее всего? А ведь далеко не все врачи добросовестны, некоторым проще перестраховаться и вклеить в медкарту слово, которое переломает всю жизнь пациента — чем взять на себя труд разобраться в ситуации... «Вдруг со мной случится именно это?» — подумала она, снова ощущая, как ужас вползает под кожу, движется под ней колючим перекасти-полем...

Но она обязана показаться врачу, чтобы получить ту справку. Иначе парнишку могут отправить в детдом, а потом в другую семью. А еще надо всё-таки разузнать про его родителей и ситуацию, из-за которой он чуть не замерз на обочине дороги. Тогда будет понятнее, как действовать дальше.

— Сейчас к тебе медсестра придет, сделает укол, — сказала Татьяна. — Потом постарайся поспать. А я к тебе часика через два загляну, хочешь? Можем с тобой поиграть, — предложила Таня. В своем столе, который стоял в ординаторской, она еще со времен обучения на факультете психологии держала цветные карандаши, специальные карточки для тестирования и несколько игрушек. Всё это помогало расположить к себе детей, сделать их более разговорчивыми. И понять, что происходит с психикой ребенка.

— Поиграем? Давайте, — просиял парнишка. — А во что?

— Сегодня будем рисовать. А завтра сочиним сказку, потом устроим спектакль. Будем каждый день чем-нибудь интересным заниматься. Ты готов?

— Да! — завопил он, но тут же зашелся в кашле. Татьяна подошла, погладила мальчика по спине. Пощупала лоб: температуры нет.

— А вы точно вернетесь? — хрипло спросил мальчишка.

— Да, мой хороший.

Надо сегодня же привести к нему Макса, познакомить их. В конце концов, все мужчины мечтают о сыновьях.

Максим стоял у холодильника, заглядывал в ворчащее белое нутро: где-то была начатая бутылка томатного сока, сейчас бы почку продал за нее. Голова болела адски, до кровавых колец перед глазами. Но морозный воздух, чуть разбавленный ароматами масла и зеленого лука, исходившими от неприкрытой миски с капустным салатом, слегка притуплял эту боль. Максим поймал себя на желании погрузить лицо в эту холодную овощную массу — тогда и прийти в себя будет легче.

Босые ноги мерзли: видимо, вчера он спяну поставил отопление на минимум. Хорошо, что Таньки нет дома — снова бы разоралась. Макс мельком глянул вниз и охнул: джинсы ниже колен были темно-серыми от засохшей грязи и стояли колом, по белой еще вчера рубашке растеклись пятна грязи и крови, а сама она, разодранная почти до пупа, годилась разве что для бомжатника. Правая сторона груди мерзко ныла — там наливались багровым неровные пятна кровоподтеков. Похоже, его били. Но кто??? И почему? Вчерашняя ночь разлетелась в клочья. Если бы можно было собрать их по закуткам памяти и сшить воедино дрожащими от похмелья и злости руками!

Он помнил лишь то, что все-таки проиграл Василенко. Бутылка «Red Label», которую Максим заказал в надежде подпоить соперника, рванула шальной гранатой — и оружие обратилось против него самого. Теперь Макса мучило похмелье, тело будто крупным наждаком изнутри натерли... Но хуже всего был стыд. Проиграл, проиграл... Но как?!! Ведь всё было продумано до мелочей! Где, где он ошибся??? Макс сдвинул брови, пытаясь сосредоточиться. Но похмелью и без того было тесно — оно вновь взорвалось в мозгу, и Макс расслабил кожу на лбу, шипя сквозь зубы. А потом и вовсе ткнулся лбом в холодную сталь дверцы морозильника.

Настроение было гаже некуда. Он попытался вспомнить что-то еще, но всплыли лишь обрывки. Чьи-то зеленые рожи, склонившиеся над сукном бильярдных столов. Меловые цифры на черной грифельной доске — о, ч-черт, как же много крестов напротив его имени... Вспомнилось лицо Василенко — сначала ухмыляющееся, гадкое, раздражающее одним своим видом, а потом — обиженное, злое, с рассеченной в кровь бровью. «Кием я его, что ли? Точно, кием», — уныло подумал Макс и крутанул пластиковую крышку сока так, будто башку Василенко отвинчивал. Не нужно было заказывать виски в этой чертовой забегаловке, зарекался ведь уже, знал, что пальню продают... Понадеялся на закаленную печень да на то, что Василенко тощ и мелок, вдвое против Макса... Не рассчитал.

Он поднес к обметанным губам стеклянное горлышко, запрокинул голову. От резкого движения качнуло, будто пол под ногами превратился в палубу, и Макс схватился за гладкую ручку холодильника. Солёный томатный холод скользнул внутрь, обволакивая спекшееся горло и полный огня желудок. Стало легче, ощутимо легче — но лишь на пару секунд, а потом новый приступ стыда накрыл с головой, будто душное ватное одеяло. Вспомнился бугай-охранник, который волок Макса по коридору — за шиворот, как лоха. Вроде бы, это было закрытое заведение для любителей покера, куда он и Василенко отправились после бильярдной — буйнить в таких местах было не принято. Вспомнился обидный тычок в спину, падение с обледеневшей лестницы, и мерзкий хруст, с которым его ботинок — остроносый и тонкокожий Amadeo Testoni, дорогой и стильный не по-рангу, но от этого еще более любимый — проломил ледяную корку возле серой гранитной ступеньки.

Вспомнилось, как вода хлынула под тонкую обувную кожу, холодом обожгла ступню, и этот холод в миг взобрался выше и швырнул его затуманенный мозг в отчетливую ясность. Макс будто увидел себя со стороны — пьяного, пытающегося подняться из подстывшей январской грязи, упираясь голыми ладонями в острую ледяную кромку, скользя ботинками, падая, падая, падая... Где-то наверху хищно клацнула дверь, и тут же комком шлепнулось рядом, в грязь, его кашемировое пальто. Скользнуло, выпростав рукава — будто кто-то пнул большую дохлую ворону, и она плюхнулась, куда пришлось, раскинув длинные бесполезные крылья.

Он, кажется, поднялся по той лестнице и колотил в дверь, но его снова вышвырнули. Потом он ехал — наверное, в такси. Лежал на заднем сидении, впав в полузабытье — в памяти мелькнула цепочка фонарей, слившаяся в прерывистую линию гало, рассеявшуюся по низкому черному небу. Очнулся от того, что таксист трясет его за плечо, увидел длинные зубы забора — оцинкованная сталь белела на лице ночи, отражая свет фар. Как-то выбрался, как-то вошел в дом, рухнул на диван в гостиной, сняв только вымокшие ботинки и носки...

А потом ему приснилась эта сука Алена.

Будто она сидит в учительской, за огромным столом, едва не прогибающим спину от многоэтажных залежей бумажных папок. Заполняет какой-то журнал, а Макс стоит напротив — пристыженный, как провинившийся школяр. И Алена говорит, глядя на него с плохо скрываемой брезгливостью: «Знаешь же, не по Сеньке шапка, куда ж ты со свиным рылом в калашный ряд?» И пишет в журнале его фамилию, ставит напротив латинское «s. nob». И со злорадным удовольствием поясняет: «Это сокращенное от *sine nobilitas*, значит — без происхождения. Я тебе когда-то говорила». А буквы вдруг вырастают, поднимаются со страницы в воздух — и стаей коршунов пикируют на его руку. Теперь это татуировка, на всю тыльную поверхность левой кисти. Теперь каждый сможет увидеть её, и каждый поймет, что Макс — просто сноб, не более. Каждый фыркнет и отвернет лицо... Он попытался стряхнуть буквы, стереть их — и проснулся, схватившись за левую руку, все еще слыша ехидный Аленин смех.

Она действительно когда-то говорила ему об этом *sine nobilitas* — что аббревиатурой *s.nob* в списках студентов Итона помечали тех, кто не имел благородного происхождения и не мог считаться аристократом по крови. А еще снобами называли сапожников, и этот факт особенно коробил Макса — ведь его мать полжизни проработала в обувном цеху. Но Алена только смеялась и продолжала называть его снобом. Дочь интеллигентных родителей — мама музейный работник, папа конструктор водных судов — она знала много подобных штучек, которые вгоняли в ступор его, почти деревенского парнягу. Училась на юридическом, зубрила право и латынь, и умела выдать что-нибудь умное с таким интеллигентным видом, что никто бы не заподозрил эту образованную пай-девочку в тяге к чему-то низменному, грязному, порочному. Поэтому Макс, не разобравшись в ней сразу, жутко робел в ее присутствии — пока не узнал Алену получше. А узнав, понял, что у него все-таки есть шанс. Шанс сделать своей эту падкую на деньги, беспринципную, двуличную тварь, танцевавшую стриптиз в «Бэзиле» и готовую раздвинуть ноги по щелчку тугого кошелька. Вот кем она оказалась, а вовсе не невинной девицей, воспитанной на Тургеневе, Моцарте и Рафаэле.

Впрочем, если бы он не был так туп и слеп в их первую встречу, раскусил бы ее гораздо быстрее.

Потом Максим много раз спрашивал себя, могла ли его жизнь пойти по-другому, если бы он сразу знал, что у этой красотки есть секреты, о которых не принято болтать в

приличном обществе? Смог бы он пройти мимо, если бы заранее понял, что эта девушка всухую испортит ему жизнь? Но там, на Самарской набережной, Макс об этом не думал. Он вообще не мог тогда думать, замороженный картинкой, в которой время навсегда застыло в солнечных лучах — словно в залитом эпоксидной смолой стеклянном кубе, способном навек сохранить неистовое бурление лета-1993.

Родившись и выросши под Куйбышевом, и часто бывая здесь, он давно привык к этим декорациям: к жидкому пламени разлившегося по Волге солнца, к плотной зелени густо растущих деревьев, сквозь которую с трудом просачивалась приправленная лазурью роскошь купеческого неба. К длинному и широкому, как взлетная полоса, языку набережной, где каждый вечер гуляли туристы и местные — а еще аферисты, каталы и проститутки. К запаху арбузов и водорослей, пряного мангального дыма, вяленой рыбы. К шансону и попсе, доносившимся из прибрежных ресторанчиков. К людскому гомону, крикам чаек и треску лодочных моторов. К желтой песчаной кайме с раскиданными по ней яркими пятнами пляжных зонтиков. Всё было родным, из детства. Но новое, незнакомое время, уже наступило. Его приметамы стали массивные золотые распятия и желто-блестящие прямоугольники ладанок на обнаженных мужских торсах (иные на этой ярмарке тщеславия таскали на груди целые иконостасы). Бритые затылки и красные пиджаки, полы которых скрывали вороную сталь «стволов». Пухлые барсетки, золотые печатки и цепи на мужских руках. А еще длинные ряды коммерческих ларьков с паленым «Амаретто» и настоящими «Сникерсами». И уличный базар, устроенный на лавках и натянутых на палки веревках, где, словно выстиранное белье, полоскались на ветру модные тряпки и блестящие гирлянды упаковок с питьевыми концентратами. И надписи на иностранных языках, которые были теперь повсюду. Теперь друзья Макса пили баночное пиво, курили «Лакки страйк», а по улицам города тарахтели леворукие «Тойоты» и длинные приземистые «Мерседесы» с квадратными мордами. Всего три года он провел в армии — а жизнь изменилась круто и навсегда. И стало модно показывать, что у тебя есть деньги, и спекулировать всем, что под руку попадет: от жевательных конфет «Мамба» — до заводов и пароходов.

Макс дурел от этих перемен. Впрочем, кто хочешь одуреет, пробултыхавшись тысячу дней на проржавевшем ролкере*, видя только бесконечные мили морской воды, портовые молы, да военную технику, которую перевозили в другие страны под видом комбайнов и машин «скорой помощи». Морская армия бывшей Страны советов все так же выполняла гуманитарную миссию, участники которой хорошо платили за причиняемое им добро. И деньги по-прежнему шли мимо солдатской кассы. Как и мимо Макса.

Теперь он был на гражданке, бесцельно шел по Набережной Самары, одетый в парусиновые шорты да майку с верблюдом и надписью «Кэмэл». Барсетка в правой руке, бутылка «Будвайзера» в левой. Просто гулял, осматривался, удивлялся переменам и немного завидовал — живут же люди!

Девушка стояла у парапета: алые лаковые туфли на шпильках, длинные ноги, гладкие и смуглые, как отполированный янтарь, и медовые, с искрой, волосы, опускавшиеся ниже попы гладким блестящим потоком. Из-за этих волос, полностью скрывавших ее спину и ягодицы, казалось, что на теле девушки нет ни единого лоскута ткани. Обнаженная — среди толпы. Дразнящее, возбуждающее видение ошпарило его своей откровенностью, и он не сразу осознал, что такого даже в этой новой, шокирующей, потерявшей стыд, жизни случиться не могло.

Он подошел и встал рядом, делая вид, что тоже смотрит на Волгу — но ощупывал

взглядом только гибкий профиль ее тела. Конечно же, она оказалась одетой, если это можно было так назвать. Белый нейлоновый топ без лямок открывал впалый живот с аккуратной виноградинкой пупка. Коротко обрезанные джинсовые шорты натянулись на выступающих тазовых косточках, вдоль которых стекали, подрагивая, манящие теплые тени. Максим смутился, отвел глаза. Но потом снова поймал себя на том, что рассматривает ее всю: от острых носов красных туфель — до золотистого сияния медовых волос, нимбом стоявшего над ее макушкой.

Девушка скользнула по нему взглядом, Макс поймал его, робко улыбнулся и предложил:

— Жарко. Может, коктейль?

В ее шальных, с мечтательной поволокой, глазах мелькнул смешливый интерес. Серые жемчужины радужки, в кои небесный ювелир вплавил черные агаты широких зрачков, окутывала прозрачность — словно пласт стоячей воды, под которой, на самом дне, покоится жидкое серебро. Глядя в эту спокойную заводь, можно было лишиться покоя.

— Не баночный коктейль, — торопливо добавил он. — Настоящий, в ресторане.

Короткая челка над удивленно взвившимися дугами бровей чуть колыхнулась.

— У тебя денег-то хватит, герой?

У него были деньги: что-то осталось от армейского довольствия, небольшую сумму к дембелю подарили родители. Макс повел ее в один из ближайших ресторанов, стоящих на берегу, и там, укрытые от солнца красным тентом, они просидели до вечера. Алена сказала, что учится на юрфаке, а в свободное время подрабатывает анимацией. Пила мартини, элегантно покачивала в руке треугольный широкий бокал, поглаживая его тоненькую ножку чуткими пальцами. И серебряная цепочка на ее изящном запястье — стайка дельфинов, ныряющих друг за другом — казалась необыкновенно живой.

Мартини Алена заедала фаршированными оливками — брала их пальцами из высокой стеклянной вазочки, клала между зубов, как белочка орехи, и резко сжимала челюсти, чтобы сок потек сразу во все стороны. А потом смачно втягивала его в себя, слизывала с губ. Таскала с его тарелки луковые кольца и креветки в панировке, потом спросила фисташек, и все клевала, клевала, как птичка, и наклевала в итоге почти на всё, что было в его кошельке. А разговоры вела — с ума сойти, все о литературе: о каком-то Эдуарде, варившем борщ на балконе и жравшем его на жаре**, а потом вдруг о египетском боге Ра и ОМОНе, с которым этот бог за каким-то хером летал в космос***. Макс ничего не понимал, лишь кивал и мычал, где это казалось уместным, а в паузах вставлял свое: об океанской рыбалке, о портовых порядках Камеруна, о прапорщике Кукушкине, по пьяни обгоревшем на солнце. И эти его байки, перед которыми зачарованно застывала Максина родня, вдруг начинали казаться ему грубыми, не интересными и чересчур приземленными. Он стеснялся их, стеснялся вылетавшего невзначай матерка, но Алена смеялась и вела себя так, будто и он говорит с ней чуть ли не по-французски, и — о чем-то возвышенном, умном, интеллигентном. Это ободряло его, манило к Алене еще больше, но все же он чувствовал разницу между ними. Стремясь уменьшить ее, он тягал себя за уши к ее уровню, и сдуру даже намекнул о своей принадлежности к неким гостайнам, к секретным бумагам, которые пришлось подписать перед дембелем — что, кстати, было правдой... Соврал, что на гражданке его ждали друзья, готовили для него какое-то прибыльное дело, которое на этой же гостайне было завязано. В глубине Алениных глаз мелькнул хищный интерес, что-то животное, жадное, близкое ему. И вот тогда он в первый раз ощутил непререкаемую остроту желаний иметь власть над этой женщиной. Ту власть, которая — он понял это своим

сволочным нутром, потому что они с Аленой были похожи — дается только через деньги.

В то время он еще не знал, что первая любовь почти всегда заканчивается первым предательством.

Не понимал, что, предав, эта сука привяжет его к себе еще сильнее.

И не представлял, что в течение долгих лет, напрочь выброшенный из ее жизни, будет снова и снова искать путь обратно. К той, которую когда-то поклялся сделать своей — какой бы ни была цена за это.

Макс захлопнул холодильник и поплелся в гостиную, прижимая к груди полупустую бутылку с томатным соком. Плюхнулся на диван, задрал ноги на журнальный столик. Нужно где-то взять деньги, чтобы отдать долг Василенко. Снять со счета? Сумма не маленькая, Танька сразу заметит. А если не она, то эта крыса Елена Степановна — его небожаемая теща, злобная тварь на тонких ножках. От нее хрен что скроешь. Нет, лучше рискнуть и взять-таки у Василенко партию фуфлыжных лекарств — на такую сделку Олежек пойдет. Но если Танька узнает... Хотя как? Она на складе-то уже два года не была, а бумаги еще дольше не проверяла — подмахивает, не глядя. Надо решаться. С момента, когда на них завели дело по подозрению в контрафакте — который Макс, как чувствовал, вывез перед самой выемкой — уже три года прошло. Вполне себе можно рискнуть.

Максим вытащил телефон из кармана джинсов, набрал номер Василенко. Тот ответил почти сразу:

— Сначала извинишься, а потом должок вернешь, или наоборот? — зло спросил тот, даже не поздоровавшись.

— Извини, дружище, — ответил Макс. — Перебрал вчера, а с пьяного какой спрос?

— Ладно, — помолчав, ответил Олег. И обидно заржал, — всё же радуется, что я тебя на бильярде разделал, как цыпленка табака! Где мои денежки?

— Будут тебе денежки. Заеду, переговорим.

— Мне купюрами покрупней, а то складывать некуда, — продолжал издеваться Василенко. Макс резко сжал кулак, и тут же снова накатила похмельная боль — в голову будто выстрелили. Он сделал глоток сока и сказал, стараясь быть спокойным:

— Сказал же — заеду, переговорить надо. Говорят, твой телефон менты слушают.

Василенко поперхнулся. Так тебе, сучонок, не будешь нос задирать. Насладившись паузой, Максим добавил:

— Через час, в «Самурае». И шавок своих подальше посади, нечего им мужские разговоры слушать.

*ролкер — грузовое судно

**роман Э. Лимонова «Это я, Эдичка»

***роман В. Пелевина «Омон Ра»

— После этого мальчонки даже мыть ничего не надо, вона как вылизал, — покачала головой Катя Петровна, возившаяся возле раковины. Таня поставила туда пустую посуду и взяла широкий пластиковый поднос — чтобы мальчишке было удобнее рисовать. Вернувшись в палату, устроила его на коленях найденьша, подложив подушку: хоть у него и гипс на ноге, но лишнее давление ни к чему. Сама устроилась рядом с его тумбочкой — по ней кусочками радуги были рассыпаны карандаши. Положила перед мальчиком стопку бумаги.

— Что мне рисовать? — спросил он.

— Что хочешь. И я что-нибудь изобразить попробую. Только не смейся, я сто лет не рисовала, — попросила Таня. — Давай на скорость, кто быстрее!

Глаза найденьша загорелись — дети любят играть, соревноваться, так что если хочешь сблизиться с ребенком или узнать о нем больше, это самая лучшая тактика. Татьяна выбрала синий карандаш и склонилась над листом, делая вид, что сосредоточена на рисунке. Линии побежали по бумаге, очертили контур цветка. Колокольчик, еще один. Букет этих цветов можно рисовать долго, пусть мальчик думает, что она занята и не обращает на него внимания.

Он тоже схватил карандаш, зашуршал грифелем по бумаге. Дети нетерпеливы, Татьяне не придется ждать долго. Но нужно дать найденьшу возможность нарисовать две-три картинки, прежде чем подвести его к первому тесту.

— Готово! Я первый! — с гордостью воскликнул мальчик.

— Ого, какой ты быстрый, я так не могу, — вздохнула Таня. — Покажешь, что у тебя?

Он снова закашлялся и поднял лист. Пузатый, щедро покрашенный черным, самолет с угольными пропеллерами на тупом носу и крыльях летел справа налево. Черный — цвет подавленности, тревоги. Правая часть рисунка — будущее, левая — прошлое. Судя по всему, в будущем мальчишка себя не видит. И вокруг самолета — пустота: ни облаков вокруг, ни деревьев или домов снизу. Нет солнца. Плохо всё это. Но, в общем, ожидаемо — в его-то состоянии.

— Классно! — подбодрила она мальчонку. — Теперь рисуй что-нибудь еще, а я свой букет попробую закончить.

Теперь мальчишка изобразил несколько маленьких танков, которые стреляли друг в друга. К черному цвету присоединился коричневый.

— А самолет твой к ним летел, на помощь?

— Конечно! — воскликнул он, и глянул на нее, как на маленькую, мол, это же сразу должно быть ясно. — Там ведь война, он везет бомбы и будет сбрасывать их на врагов!

— У тебя здорово получается рисовать военную технику, — улыбнулась Татьяна. — А теперь что-нибудь мирное нарисуем, у нас же в стране мир. Давай как будто ты знаменитый художник, а я заказываю у тебя картину?

— Ну, я же не так хорошо рисую, — смутился мальчик.

— Все у тебя прекрасно получается, я считаю. И потом, мы же играем. Так что нарисуй картинку, где будет дом, дерево и человек. Может, не один человек, а несколько, но дом и дерево обязательно. Ты их рисуй, как хочешь, но не забывай, что тут много разных карандашей. Не забывай их использовать, так ведь красивее будет.

Парнишка кивнул, вперил взгляд в чистоту листа и задумался, сунув в рот кончик карандаша. Таня вернула голубой на место, взяла зеленый: пока она прорисовывает свой колокольчиковый букет, мальчик может изобразить больше деталей.

Минуты шли, она неторопливо выводила узор лиственных прожилок, затачивала остроту стеблей и заломы травин, искоса поглядывая на мальчика. Тот явно увлекся рисунком. Сопел, как деловитый ёжик, нетерпеливо швырял карандаши, выбирая цвета, то проводил линии с яростным размахом, то сосредоточенно обрисовывал мелочи. Иногда слюнил палец и принимался тереть бумагу с таким рвением, что Таня начала опасаться, не испортит ли он рисунок, так и не закончив его. Но примерно через полчаса найденыш с гордостью протянул ей заполненный цветными пятнами лист.

— Молодец, рисунок просто супер! — похвалила она. Но на самом деле причин для радости не было.

Дом, дерево, человек — стандартный тест, но рисунок был очень нестандартным. Посредине — что-то вроде огромного холма, четко разделившего лист на две половины. В холме зияла замалеванная черным нора с неровными, почти зазубренными краями. Слева, в отдалении, стоял небольшой дом. Нет, даже не стоял, а парил, лишенный какой-либо опоры. Он был грязно-синим и выглядел развалюхой: скособочившийся, с покосившейся крышей, один скат которой свисал гораздо ниже другого. Крыльцо вело в глухую стену: двери у дома не было. Но мальчик нарисовал два окна, щедро покрашенных коричневым, поверх которого крест-накрест шли толстые черные линии — Таня даже не сразу сообразила, что это решетки. Контуры стен и проемы окон были неровными, чувствовалось, что рука мальчишки дрожала, нажим грифеля в нескольких местах был столь сильным, что почти порвал бумагу. Кое-где виднелись потертости, будто найденыш что-то стирал и рисовал заново.

За холмом, поблизости от дома, мальчик поместил дерево. В этом возрасте дети часто рисуют растения с корнями, не придавая значения тому, что в жизни их не видно сквозь землю. Но у этого дерева корней не было, как не было и листьев. Да и вообще оно выглядело устрашающе: антрацитово-черное, будто обугленное, а на стволе толстенная, детально прорисованная кора. Нервные зигзаги сухих ветвей поднимались к небу почти вертикально — не дерево, а ведьмина метла. В стволе виднелось дупло, на краю которого мальчик изобразил непропорционально большую коричневую птицу.

Небо получилось густо-сиреневым, серые клубки облаков засеяли его густо, как перед грозой. Грязно-зеленая трава клочками росла на коричневой почве.

И дом, и дерево стояли на левой стороне рисунка. Здесь же был нарисован мальчик: маленький, тонорукий и тонконогий, в желтых футболке и штанах, полностью скрывающих обувь. Его голова напоминала шарик на ниточке — настолько тощей была шея малыша. Короткие прямые волосы желтого цвета, глаза лишь намечены скупыми линиями, будто закрыты. Ни рта, ни носа. В поднятой руке — то ли палка, то ли бита... а может, удочка?... Потому что в опущенной руке — хорошо прорисованная рыба с раздвоенным хвостом и множеством чешуек.

Ну а рядом с мальчиком стояло чудовище. Громадный мужчина в черной одежде будто вылез из норы и теперь нападал на мальчика, грозя ему высоко поднятыми руками. Круглая голова, почти упершаяся в небо, сидела прямо на теле — шеи не было. Черные волосы стояли дыбом, глаза были выкачены, а из раскрытого рта выглядывали острые зубы. Острый нос загибался кверху, а вот ушей не было вообще.

На рисунке была и третья фигура, женская. Она единственная стояла на правой

половине листа: красный треугольник платья начинался от самой земли, овальные рукава скрывали кисти рук, лицо на тонкой шее было почти красивым: черты симметричные, ровные, но ярко-синие глаза выглядели печальными, алые губы сложились в неулыбчивую подковку. Длинные светлые волосы струились по плечам, прическа была пышной, как облачко. Но если мальчик и чудовище смотрели друг на друга, то женщина будто не видела их. Она вообще была какой-то отстраненной, но мальчик потратил на нее больше времени, чем на что-либо еще: об этом говорили и кропотливо прорисованные узоры на платье, и рядок желтых пуговиц, и длинные, спускающиеся почти до пояса, синие бусы — того же цвета, что и глаза женщины.

Рассматривая всё это, Таня не могла отделаться от чувства, что сама находится там, внутри картинки: будто запрятанная в тело нарисованного мальчика, и в то же время — невидимая для участников действия, пробирающаяся за холмом, чтобы неожиданно возникнуть между мальчиком и чудовищем и защитить ребенка.

Она вспомнила слова преподавателя психологии: «Детям, перенесшим насилие, обязательно нужно выговориться — так же, как и взрослым. Но зачастую ребенку трудно на это решиться, ведь он считает виноватым себя, испытывает стыд, боится мести обидчика. Если ребенок замалчивает проблему, дайте высказать ее через рисунок».

Похоже, он действительно высказался, вылил толику своей боли на бумагу: и теперь сидел вялый, опустошенный, глядя на Таню осоловелыми глазами. Побледневшее личико осунулось, плечи поникли, но тонкие пальцы терзали край больничного одеяла — мальчик немного нервничал, ожидая ее вердикта.

— Ты полностью справился с заданием и теперь тебе положен приз! — бодро объявила Татьяна, лихорадочно соображая, чем наградить мальчишку. Прием сработал: он отвлекся от переживаний, глаза снова ожили, зажглись интересом.

— А какой приз? — ерзая от любопытства, спросил найденыш. Больничная койка протестующе заскрипела.

— Торт! — брякнула она.

«Боже, где я сейчас возьму торт?» — с ужасом подумала Таня, но слово уже вылетело, сладкое обещание призрачно заколыхалось в воздухе и полностью завладело умом мальчишки. По его лицу растеклась самая широкая из улыбок, и он почти запрыгал в кровати.

— Ура! Торт! Обожаю торты! А какой он, тетя Таня? Шоколадный? Или с кокосинками? Я шоколадный очень люблю, но если его нет, то можно любой, я все торты люблю, мне мама на День рождения покупала...

Он осекся, крепко сжав губы — и неловко сник, поняв, что проговорился. Тени растерянности и стыда скользнули по его лицу, взгляд сделался измученным, горьким.

— Это хорошо, что мама о тебе так заботится, — мягко сказала Таня. — А торт ты можешь любой заказать, ты же его заслужил. Если хочешь шоколадный, будет шоколадный.

Найденыш молча кивнул, глядя в сторону. Татьяна пересела на его кровать, держа рисунок в руках, повернула его так, чтобы мальчик мог видеть, и сказала, указывая на женскую фигурку:

— Красивая у тебя мама. Она правда такие бусы носит? Да не стесняйся, я поняла, что ты свою семью нарисовал. И давно уже знаю, что ты понарошку ничего не помнишь. Потому что боишься. Так бывает, многие дети так делают. Ты ни в чем не виноват, и тебя никто не будет ругать. Ну, не плачь, мой хороший...

Она потянулась к нему, погладила по голове. Мальчик не поднимал на нее глаз, его ресницы были почти сомкнуты, и Таня осторожно провела по ним подушечками пальцев, чувствуя влажный жар слез. Разгладила морщинку, неровной трещинкой залёгшую меж светлых бровок, приложила ладонь ко лбу мальчишки — от переживаний и температура могла подскочить. Но кожа мальчика была прохладной, значит, всё в порядке. Он шмыгнув носом, нервно дернул плечом и несмело попросил:

— Тетя Таня, вы только не говорите никому, что я все помню. А то мне придется домой вернуться, а он грозился, что в подпол посадит...

«В подпол, значит. А чего не на цепь? Не в будку собачью?» — она чувствовала, как вскипает злость. Наверное, стоит позвонить в полицию и поинтересоваться, как идут поиски родителей мальчика. И на всякий случай сделать копию медицинского освидетельствования, ведь Купченко по всем правилам зафиксировал наличие побоев.

Татьяна притянула мальчика к себе, и тот уткнулся носом в ее плечо, засопел сильнее.

— Не скажу, — пообещала она. — Но ты пойми, вечно скрываться не получится. И никто тебя в подпол не посадит. И пальцем тебя больше никто не тронет! Уж об этом я позабочусь, можешь мне поверить. Давай-ка мы с тобой, дружочек, сделаем вот что: ты сейчас успокоишься и выбросишь все плохое из головы. Полежишь тут, может, поспишь немного. А я пока по делам схожу и за тортом. Вернусь — будем пить чай, и ты мне все расскажешь. Договорились?

— Да.

— Вот и замечательно. И не бойся никого, я смогу тебя защитить. Верить мне? — она легко погладила мальчика по щеке, пальцем приподняла его подбородок. Голубые глаза глянули на нее с робкой надеждой.

— Да, — доверчиво сказал ребенок.

— Не скучай, я вернусь сразу же, как смогу. И можно я возьму твои рисунки? Они мне очень понравились. Повешу на стенку у себя дома.

— Конечно, берите! — просветлел лицом мальчишка. — А я вам потом еще нарисую!

Таня взяла листки, тяжело поднялась, только сейчас поняв, как ломит затекшие плечи. Глянула за окно: хозяйка-метель превратила воздух в манную кашу, щедро залепила ей подоконник — казалось, что это сугробы выросли до третьего этажа, словно где-то усердно варил волшебный горшочек.

— Тётя Таня, — несмело позвал ребенок.

Она обернулась:

— Что, мой хороший?

— Меня Паша зовут. И мне десять лет.

— Приятно познакомиться, Паша, — улыбнулась Татьяна. — Будем с тобой дружить.

«Может быть, даже жить с тобой вместе будем», — подумала она, закрывая за собой дверь.

Залесский отогревал ноги в гостиной родового гнезда, попивая кофе у камина и рассеянно зарываясь пальцами в пушистую шерсть кота Тимошки, лежавшего на коленях тяжелым широким бубликом — горячим, словно только что из печи. В доме было тихо, лишь слабо потрескивали угли, да деликатно позвякивала посудой экономка Алла Петровна, занятая приготовлением обеда.

Мягкое тепло медленно прокрадывалось под одежду Юрия, расслабляло тело, смягчало острые черты его лица. Сидел бы так и сидел, чувствуя спиной упругую поверхность кресла, а коленями — живую кошачью тяжесть. Ведь даже его четвероногие — все дома, никто не рвется на улицу, морозить носы и лапы. И Залесский бы внял инстинктам своих зверей, и тоже остался бы в тепле, да только мальчишку нужно было выручать...

После того, как Юрий нашел его вещи, сразу готов был отправиться в больницу с известиями — но попал в переделку. Снегоход закапризничал аккурат среди поля, да еще и буран, выметший из города все тепло, добрался-таки туда, где по мальчишечьим следам ходил Залесский. Он минут сорок заводил строптивую машину, скакал вокруг нее, чувствуя, как леденеют уши. Победил, но продрог. И хотя по возвращении домой сразу принял горячий душ, и отхватил от Аллы Петровны не менее горячих упреков, засевший внутри холод только сейчас отпустил его.

— Юра, обед готов! — крикнула ему экономка, как маленькому.

— Иду, Алла Петровна! — ответил тот. И шутливо добавил, — Накрывай на шестерых!

Залесский поставил пустую, крепко пахнущую «Арабикой», кружку на полированный столик красного дерева, осторожно поднялся, придерживая Тимошку у груди. Тот изогнулся, просыпаясь, смешно вытянул лапы с широко расставленными пальчиками. Из холла послышалось цоканье, и в комнату вошли дворяне — высокий широкогрудый Грей, в облике которого явственно проступала кавказская порода, и поджарый, с приплюснутым задом, Бим, смесь сеттера и борзой. Грей застыл, глядя на хозяина, лохматый хвост плавно заходил из стороны в сторону. Бим, скосив на Залесского виноватый взгляд, боком подкрался к кожаному дивану и запрыгал перед ним, облаивая кучу разноцветных подушек. Оттуда послышалось шипение, гибкая кошачья лапа расплосовала воздух перед любопытным собачьим носом, и одноглазый кот Микрик — коричнево-пушистый, крупный, как песец — лениво поднялся, запрыгнул на диванную спинку. Прошел по ней, как по струночке, осторожно переставляя лапы. И осел плотной круглящейся копной рядом с черно-белой гладкошерстной подружкой Мусей — кошкой, которую последней подбросили в дом Залесского. Бим вскочил на диван передними лапами, метелка хвоста завертелась пропеллером, длинный язык вывалился из приоткрытой пасти. Кошки хором зашипели сверху.

— Бим, не балуй! — погрозил пальцем Юрий, и пес послушно спустил лапы на паркет, засеменял под ласковую руку хозяина. Тимоша приоткрыл глаза, пошевелился, меняя позу — и, вытянув лапы вверх, обнял Залесского за шею. Тот рассмеялся: ну надо же, как ребенок! Кот прижался крепче, замурчал трактором.

Залесский прошел в столовую и сел за старинный овальный стол, сработанный из вишневого дерева. Алла Петровна уже положила на один его конец длинную тканевую дорожку, заменяющую скатерть, поставила сверху прибор. Юрий спустил кота на пол и тот

сел у ног, чинно уложив хвост вокруг жеманистых лапок. Собаки, сопровождавшие хозяина, улеглись поодаль.

Экономка внесла широкий посеребренный поднос, на котором исходила ароматным паром прозрачно-желтая налимья уха. Рядом с ней, в особой корзинке, разлеглись ломти ноздреватого домашнего хлеба — с промасленной, чуть посахаренной корочкой, как любил Залесский. Натюрморт дополняла пиала, наполненная густой сметаной, посыпанной смесью рубленой зелени, соли и чеснока. Алла Петровна поставила поднос на стол, и Юрий, подсунув пальцы под края тарелки с ухой, потянул ее вверх.

— А сама?... — спросил он.

— Да я поела уже, — отмахнулась экономка. — Тебя ж пока дождешься! Вроде в отпуске, а целыми днями дома нет!

— Петровна, милая, ну я же большой мальчик, — улыбаясь, ответил Залесский. Зачерпнул ухи, поднес ложку к носу и с шумом втянул в себя аромат свежего рыбного бульона, кореньев, черного перца, лаврушки и Бог знает чего еще, но чего-то восхитительного. Подул, осторожно попробовал. Да, Алле Петровне нужно кулинарную школу открывать, а не с ним, взрослым дяденькой, возиться. Он взял мягкий хлебный ломоть, поболтал в пиале ложкой, и принялся густо намазывать на хлеб душистую сметанную смесь — он никогда не добавлял ее в первое, но любил такие бутерброды вприкуску.

Экономка снова сходила на кухню, принесла длинный лоток с кошачьим кормом, который в этот раз был щедро перемешан с рыбными потрохами. Тимоша мгновенно оказался возле него, Микрик и Муся появились с секундным опозданием. Позже и собаки получили свою долю еды — гречневую кашу с тушенкой, насыпанную в две алюминиевые миски.

— Дал же господь нахлебников, и не откажешься, — вздохнула экономка, глядя, с какой жадностью зверье поглощает корм. — И ведь ели уже с утра!

— Зима, — философски ответил Залесский.

Он глянул на часы, стоящие рядом с буфетом. Павел Буре, 1899 год, с боем и календарем. Дед говорил Юрию, что именно в тот год фирма Буре стала официальным поставщиком Российского Императорского Двора. Из-за чего особо гордился этими часами.

Сейчас они показывали половину третьего. Кажется, городская больница открыта для посетителей до семи вечера. Что ж, если день сложился так, что ему пришлось вернуться домой, он успеет больше узнать о мальчишке перед тем, как встретиться с Татьяной.

Залесский принялся поедать уху. От горячей, щедро наперченной пищи по его телу прошел жар, лицо покраснелось, будто в парной. Не успел он увидеть дно тарелки, как экономка уже принесла второе. Антрекот толщиной в два пальца — сочный, остро пахнущий, клетчатый от гриля, припудренный красной паприкой и присыпанный мелко нарезанным зеленым лучком. Поджаристый, блестящий от масла, картофель, нарезанный длинными широкими ломтиками, на которых запеклись шкварки и кусочки лука. Свежие овощи в сметане — нежные листья салата, порванные крупными кусками, половинки черри, огуречные дольки, руккола и укроп. И красный маринованный лук на отдельной тарелочке — самое то к мясу.

Алла Петровна чинно расставила все это рядом с Юрием и забрала у него суповую тарелку, в которой осталась пара капель ухи да налимий остов, воинственно топорщивший кости. Отнесла ее на кухню вместе с подносом, вернулась и тоже села за стол. Муся тут же

запрыгнула ей на колени. Почесывая кошку за ухом, экономка спросила:

— К ужину ждать тебя, Юра?

— А что на ужин? — хитро улыбнулся тот, терзая антрекот ножом и вилкой.

— Пирог могу испечь. Рыбу ж куда-то девать нужно.

Она замолчала, будто не решаясь сказать о чем-то важном. Залесский глянул на нее искоса, выждал полминуты и спросил:

— О чем думаешь?

— Да вот погода эта... — начала экономка. — Так меняется — с ума сойти. Зима в этом году сумасшедшая, то буран, то капель. А мне уж шестьдесят семь, Юрочка.

Не понимая, как возраст связан с погодой, Залесский насторожился, но счел за благо промолчать. Экономка обязательно продолжит разговор, коль уж начала.

— Здоровье меня всё чаще подводит. Вот ты на рыбалку уехал — а у меня давление как скакнет, верхнее за двести было. И голова тяжелая, кружится, ходить тяжело...

— О, кстати! Петровна! Как же я забыл? — вскричал он, вскакивая. Быстрыми шагами добрался до кабинета, вынул из ящика дубового стола бордовый конверт с витиеватой надписью, вернулся в столовую и протянул его экономке.

— Ты помнишь, я Екатерине Львовне Мамонтовой помогал по наследственному делу?

— Это у которой брат хотел отцовский дом к рукам прибрать? Помню, конечно, эту мадаму. Всё девочку из себя строила, а сама тетка теткой. И взбалмошная, не приведи Господь.

— Ну да, нервная немного, но ее можно понять. Так вот, у нее есть дом отдыха. Стоит в лесу, на речке — тишина, воздух свежий. Всякие оздоровительные процедуры, спа, омолаживание, что там еще бывает... Лечение всех мыслимых и немыслимых болезней... В общем, она мне двухнедельную путевку подарила, там два места. Поезжай, поправь здоровье. Марь Палну свою прихвати. Там всё оплачено.

— Да как же так? — Алла Петровна всплеснула руками. — А тебя я на кого оставляю?...

— Что ж я, младенец? — пробасил Залесский с деланной обидой.

— Но как же... А кормить тебя кто будет? Обстирывать, обглаживать, дом в порядке содержать?

— Справлюсь как-нибудь! — ответил он с ноткой возмущения в голосе.

— Нет уж, Юра. Я давно с тобой поговорить хочу. Тебе тридцать восемь уже, не мальчик. Жениться тебе пора.

— Петроооовнаааа... — застонал он, приложив руку ко лбу. — Ну не начинай! Давно ведь уже решили.

— Что решили? Ну что решили? — завелась экономка. — Нет уж, Юрочка, ты не прячься, ты мне в глаза посмотри. Кто тебе еще правду скажет, как не я! Пока ты маленьким был, я да бабушка за тобой ходили. Мария Николаевна преставилась — так одна я у тебя осталась из близких женщин. А дальше что? Ведь и я не вечная. Ты, Юра, парень умный, не весь в деда своего: работать умеешь, семью обеспечить можешь — а в быту как дитя. Ты хоть знаешь, как стиральная машина включается? Где пылесос лежит? Как мясо выбирать нужно? Ты картошку-то сварить не сумеешь, если один останешься!

Залесский молчал, смущенно понутив голову. В последний раз Алла Петровна заводила этот разговор года полтора назад. Тогда поводом послужила свадьба его друга, и Юрий смог отбиться сравнительно легко — просто сказал, что не хочет жениться по принципу «все побежали — и я побежал». Якобы ждет свою, единственную. Экономка вроде бы поверила и

прекратила воспитывать в Юре будущего семьянина, и он выдохнул — впрочем, зная, что эта тема еще всплывет. Алла Петровна действительно была рядом с ним с пеленок, и относилась к нему как к сыну — могла и похвалить, и пожурить. Но вот так, резко, она разговаривала с ним нечасто — только когда речь действительно шла о чем-то важном для нее. И Юрий каждый раз чувствовал себя ребенком, которого отчитывают, и в то же время понимал — она права. Вот и сейчас, насчет его бытовой беспомощности, тоже не преувеличивала. Он ничего не умеет, это была правда. Но и не повод стремглав бежать на поиски жены.

— Петровна, я всё понимаю, поэтому и хочу, чтобы ты позаботилась о своем здоровье. Ладно — обеды, ладно — порядок в доме. Эти вопросы в наше время легко решить, одним звонком. Мне важнее, чтобы ты была со мной рядом. Ну, как я без тебя, если что? — ответил он.

— Ты тему-то не переводил! — сердито сказала Алла Петровна, вставая и забирая у него тарелку из-под антрекота. — Чай будешь? С ватрушками.

— Спасибо, некуда, — он откинулся на стуле и погладил себя по животу.

— А я вернусь сейчас. Договорим, — грозно предупредила экономка.

Она удалилась на кухню, а Залесский заерзал на стуле. «Надо бежать!» — понял он. И, словно услышав его мысли, спасительно вздрогнули часы Буре, басовито пробили три раза. Юрий вскочил, крикнул в открытую дверь кухни:

— Прости, Петровна, мне срочно нужно позвонить! — и позорно сбежал в кабинет, заперся там, чувствуя себя мальчишкой, улизнувшим от справедливого наказания.

Жениться он не собирался, и решение это принял давно — ему тогда едва исполнилось двадцать три года. И, казалось бы, можно было передумать — за столько-то лет! — найти в себе силы влюбиться заново, отпустить фантом юноши, так несправедливо преданного и так переживающего это предательство, перестать защищать его... Но нанесенная ему в то время рана была слишком глубокой и болезненной, а боль от нее — чрезмерной, не по возрасту.

...Геля — точнее, Ангелина Сергеевна — была женой профессора Евгения Федоровича Славина, доктора филологических наук, который возглавлял кафедру русского языка в местном пединституте. Этот старый гриб, с искривленной годами спиной и редкими волосешками на бугристом черепе, женился в восьмой раз, причем день свадьбы совпал с днем его юбилея — молодому стукнуло семьдесят. Геле же едва исполнилось тридцать восемь, и у нее в запасе было достаточно времени для того, чтобы спокойно дожидаться того, за чем шла — мужниного наследства. Вот только возникла пара маленьких проблем: новобрачная не мечтала о спокойной жизни и жутко не любила ждать.

Юрин дед, генерал-майор Василий Александрович Залесский, уже лет двадцать приятельствовал со Славиним — сошлись когда-то на страсти к охотничьему делу, да так и выезжали каждый год вместе, по несколько раз за сезон. И когда внуку понадобился репетитор, дед, конечно же, составил протекцию. Уговорились, что Юра будет приходить на квартиру Славина трижды в неделю. Он пришел раз, другой, третий, и всегда заставал Славина в одиночестве. Представить, что он женат, студент не мог — да и не думал о таких вещах. Он вообще ни о чем не думал кроме как о предстоящей пересдаче тройки по предмету «Русский язык и культура речи». Эта тройка позорным пятном синела в зачетке отличника еще с первого курса, и помешала бы будущему юристу обзавестись красным дипломом. А выпускные экзамены были на носу. И Юра честно ходил к профессору — не из-за страха перед дедом, и не потому, что репетиторство было оплачено.

В четвертый раз дверь ему открыла Геля — роскошная, загорелая после морского

отдыха, переполненная той женской силой, которая примагничивает самцовую суть мужчин даже вопреки их желанию. Славин еще не вернулся домой, и Геля предложила Залесскому дожидаться того в гостиной. И сама пришла туда с двумя чашками кофе, расселась-разлеглась напротив, повернувшись на бок, подперев голову рукой и вытянув полные, соблазнительно-округлые ноги на всю длину бежевой софы. Подол шелкового халата — цвет незрелой вишни, в тон помаде — соскальзывал с ее колен каждый раз, когда она чуть изменяла позу. И тень, оживавшая в ложбинке груди в такт каждому Гелиному вздоху, была всеильно глубока.

Юра не хотел кофе, не хотел сидеть здесь смущенным истуканом, как не хотел, чтобы его взгляд снова и снова падал в эту тень и скользил дальше, по ласковым изгибам женского тела. А ее пыливый взгляд видел всё, и губы лукаво изгибались, и лицо добрело в удовольствии. Ведь, возвращалась она с юга будто в тюрьму, добровольную, но все же очень тесную и холодную, как их со Славиним супружеская постель. А тут оказался молоденький мальчик, да еще и красавчик, да еще и брюнет, да еще и рослый — всё, как она любила.

В тот раз Юре не пришлось долго выдерживать пытку — вернулся Славин, затарахтел в прихожей, как старый сверчок, ругая запоздалую весну с ее слякотью, которую поневоле приходилось тащить в квартиру. Геля равнодушно поднялась, проплыла мимо Залесского навстречу мужу, и больше Юра в тот день ее не видел. Но когда пришел в другой раз, поймал себя на том, что думает о ней — и разочарован тем, что Гели нет в доме.

А через некоторое время Слотвицкий нежданно-негаданно слёг в больницу. Залесскому сообщил об этом дед, и, вроде бы, идти на квартиру к профессору не было смысла... но Юра пошел. Когда Геля открыла дверь, сделал вид, что ничего не знает. А она и рада была такому случаю — ведь теперь им никто не смог бы помешать.

И опять сидели они в гостиной, она в чем-то открывавшем тело больше дозволенного приличиями, и он, чувствующий, что его руки и ноги отчего-то стали слишком неловкими, локти — острыми, а ступни — несоразмерно большими. Геля расспрашивала его об учебе, усугубляя тем самым разницу в их возрасте, которой Юра так стеснялся. А после включила музыку — испанскую, тягучую и завораживающую, как опиумный дым — и позвала Залесского танцевать. И он пошел, потому что не мог не пойти.

Так и начались их встречи. Сперва были силками расставленные домашние вечера с шампанским дюрсо и наполненными икрой тарталетками, дурманящие разум приманки глубоких декольте, в глубине которых неспешно таяли на жаркой коже маслянисто-ветреные капли духов, вобравших в себя молекулы велеречиво-сладкого сандала, стыдливо-свежей изнанки древесной коры, дерзко-кислого гибискуса, и бризово-морской — той самой, родившей Афродиту — пены. Потом, когда она вволю насытилась его робостью и захотела его смелости, их свидания переместились в спальню.

Юре казалось, что она действительно любит его — как и говорила. Лишь много позже он понял, что на самом деле любила она себя. Точнее, свою ускользающую молодость, свою притягательность и сексуальность, своё умение завоевать мужчину, сделав это так, будто он добился ее. И кто знает, когда бы она наигралась, если бы не вмешался Залесский-старший...

Воспоминания больно резанули даже сейчас, когда от деда остались только фотографии, висевшие на стенах их некогда гостеприимного дома. Одна такая стояла на столе в кабинете Юрия — но сейчас бравый генерал не подбадривал внука своей улыбкой, а напоминал о былой глупости и предостерегал от будущей.

— Не сердись, дед, — тихо попросил Залесский.

В комнату несмело вошел Тимоша — знал ведь, что хозяину нельзя мешать во время работы, но будто чувствовал, что тому взгрустнулось. Обошел стол, за которым сидел Залесский, уставился снизу. Юрий взял его на руки, прижал к груди. Этот кот был самым чувствительным и плаксивым, чаще других лез на колени хозяину, но за это его и любил Юрий. «Собрал беспризорников со всей округи», — вспомнились ему слова Петровны. Да, он действительно взял двух собак и трех кошек просто потому, что у них не было дома. А на самом деле хотел быть нужным кому-то не как грамотный юрист со связями, а как человек... Может быть, как отец.

Будут ли у него свои дети? Вряд ли. Для этого нужна женщина, а ему мало кто нравился. Но даже те, кто чем-то трогал его сердце, когда он забывал его прикрывать, в итоге натыкались на пуленепробиваемую броню и отступали. И хорошо, потому что это позволяло избежать боли. А именно болью была для него любовь.

Но, тем не менее, одна женщина ждет сейчас от него известий. Залесский взял в руки смартфон, поискал в номерах. Звонить решил Игорю Литвинцеву, заместителю начальника городского отдела образования. Юрий помог тому когда-то справиться с потоком чернухи, который обрушила на Литвинцева одна из местных газетенок. Писали, что он вор, что закупает мебель и технику для школы через подставную фирму. Залесский не только привлек газету к суду, но и выиграл его, добился опровержения чернушных статей.

Литвинцев снял трубку сразу, обрадовался, что может чем-то отплатить за помощь Залесского.

— Игорь, ты мог бы узнать для меня кое-что об учащемся Павле Фирзине? — спросил Залесский. — Школа двадцать девять, четвертый бэ.

— Без проблем, а что именно? — с готовностью отозвался Литвинцев.

— Мне нужно знать, где живет этот мальчишка, кто его родители, благополучная ли семья. Вообще любые подробности. Но я тебя попрошу без лишней шумихи. У меня есть подозрение, что мальчишку избивают родители — но вот конкретное доказательство против них нет. Вот, собираю. Потому-то адрес и нужен.

Литвинцев пообещал перезвонить через пять минут. Юрий согнал с коленей Тимошу, поднялся из-за стола и сделал несколько махов руками, разминая затекшие плечи. Хотел было пройтись до кухни — после острых блюд, съеденных в обед, очень хотелось пить — но телефон вдруг ожил, заерзал по столу, требовательно жужжа. Залесский взглянул на экран и удивился — ему снова звонила Татьяна. Он быстро взял трубку.

— Юрий Борисович, еще раз здравствуйте. Не помешала? — смущенно спросила она.

— Нет, я свободен. Через полчаса собираюсь к вам.

— А у меня просьба. Вы не могли бы заехать по пути в магазин и купить шоколадный торт? — голос был таким виноватым, что даже на расстоянии чувствовалось, что она краснеет.

— Торт? Да еще шоколадный? — хмыкнул он. — У вас в больнице новая программа лечения?

— Это не для меня, для мальчика, — заторопилась она. — Понимаете, я ему пообещала, и потом только сообразила, что самой мне до магазина не добраться. А кого еще попросить, не знаю...

«Странно, у нее что, нет родственников или друзей? — подумал Залесский. — Вроде не похожа она на социофоба».

— Я вам деньги отдам! — горячо поклялась Татьяна.

— Да не переживайте вы так! — ответил Юрий. — Привезу, конечно. Можете на меня положиться. И денег мне не нужно, все-таки мальчишка в какой-то мере мой крестник.

— Ой, мне неудобно... — начала Татьяна, но Залесский перебил ее.

— Только давайте без этого чувства ложной вины. Пропустим момент, когда вы будете оправдываться и стесняться, хорошо? — предложил он, и сам удивился, насколько ласково прозвучал его обычно сухой голос. — Я скоро приеду и наберу вас, будете на связи?

— Конечно!

— Чудненько. А то вдруг без вас меня к мальчику не пустят. Придется самому с тортом расправляться, а я сладкое, знаете ли, как-то не очень...

Не успел он повесить трубку, как раздался новый звонок. Литвинцев. Ну надо же, быстро он.

— Юра, я все узнал. Там ситуация не самая простая. Мальчик этот не из лучших учеников, с двойки на тройку едва переползает. Школу часто прогуливает. Нелюдимый очень, классный руководитель не может с ним общий язык найти. Но при этом парень не хулиган, никогда ни в чем криминальном замечен не был — то есть не ворует, драк не устраивает. Живет с мамой, больше родственников нет. Она работает в ларьке, продавщицей, а мальчишка в продленке круглогодично. Числятся в малообеспеченных, поэтому мальчик льготное питание в школе получает. Живут они... — Игорь назвал адрес. — Это старые бараки на окраине города. Честно сказать, я думал, их расселили давно. Они ж на ладан дышат, даже жаль мальчишку — ребенку не место в таких условиях.

Залесский быстро записал адрес в настольном календаре, поблагодарил Литвинцева и повесил трубку. «Поехать туда, поговорить с соседями? Нет, время к четырем, все еще на работе, — размышлял адвокат. — Лучше навестись к ним вечером, а сейчас в магазин, за тортом. Представляю, как его ждет этот мальчишка».

Он вышел из кабинета и направился в гардеробную. Нужно использовать шанс на реабилитацию в глазах этой хорошенькой докторши, принявшей его за бомжа в первую встречу. Залесский приложил руку к щеке — хорошо, что вспомнил, нужно побриться.

Он торопливо вошел в гостиную и замер — экономка сидела в кресле, как в засаде, ждала его, глядя пристально, с хитрецей. Он поднял руки, как солдат, сдающийся на милость победителя:

— Петровна, ну помилуй, ну некогда мне сейчас!

— Что тебе некогда? Ну, что тебе некогда? Ты, между прочим, обещал мне разговор продолжить! — ответила она, вскакивая с места и перегораживая ему путь. Глядя на нее с высоты своих ста девяноста восемь, Залесский невольно рассмеялся: он же может взять сейчас эту маленькую женщину и переставить ее на другое место, как подъемный кран. Однако Алле Петровне его смех пришелся не по душе.

— Нет, ты мне ответь, есть ли у меня надежда? — требовательно спросила она.

— Надежда всегда есть, Петровна! — оптимистично отвечивал он. — Тебя какая конкретно интересует?

— Хочу знать, успею ли твоих детей понянчить, — заявила экономка, складывая руки на груди и сводя к переносице сердитые брови.

— Вот ты хватила, дорогая моя! — всплеснул руками Залесский. — Я же сам их себе не рожу! А жениться мне не на ком... Пока...

— Ты, Юра, сам себя в бобыли записал! — бросила в сердцах экономка. — Вот всыпали

бы тебе дед и бабушка, царствие им небесное! А у меня рука не поднимается!

«Я никогда не перестану быть для нее ребенком», — подумал Залесский, скрываясь за дверь ванной. И от этой мысли на его душе будто кошки разлеглись, замурчали...

Днем в «Самурае» — самом престижном ресторане города — и до ремонта бывало мало посетителей. А сейчас в зале вообще не было ни одного клиента. Ведь сюда пускали только тех, кто мог рассчитаться платиновой картой, а далеко не все городские тузы уже слышали о том, что «Самурай» снова принимает гостей — вечеринка в честь официального открытия должна была состояться в конце недели.

Сперва Максим занял столик у окна, но затем решил, что отдельная кабинка лучше подойдет для частного разговора. Он молча поднялся, перешел в правую часть зала — туда, где за стеной из толстого матового стекла, располагались вип-места. Критически осмотрел решетчатую перегородку, забранную таким же стеклом — она служила раздвижной дверью. Вошел внутрь, закрылся и удовлетворенно качнул головой: музыку как топором обрубил, а, значит, звукоизоляция здесь на уровне. Можно будет спокойно разговаривать с Василенко о любых, законных и незаконных, делах.

Он снова открыл дверь — пусть официанты не говорят в случае своих же косяков, что его не было видно. «Кадровый вопрос», «человеческий фактор» — Максу было бы всё равно, если бы сегодня его не обслужили рысью. Расстегнув пиджак и подтянув брючины так, чтобы ткань не вытянулась на коленях, он сел лицом к ресторанной двери — по привычке, приобретенной еще в девяностые. Молодой официант в белом кимоно и широких черных шароварах тут же принес ему меню. Максим попытался раскрыть красную кожаную папку с вытесненным на ней изображением японской хижины, но едва не выронил ее из неловких, трясущихся от похмелья, рук. Ругнулся сквозь зубы, с подозрением глянул в невозмутимое лицо официанта. Реально косоглазый, как япошка. И спокойный, сволочь. Какого черта он здесь стоит?

— Я приглашу, — мрачно сказал Макс. Официант церемонно поклонился и вышел из кабинки.

Как обычно, в ресторане «Самурай» цены были величиной с Фудзияму — и не только на традиционные блюда японской кухни. Кроме разнообразных суши, якитори, мисо-супов, такояки и удона с добавками в меню присутствовали и русские кушанья. Но даже обычная «селедочка под водочку» — пара порезанных кругами картофелин, колечки маринованного лука и несколько маленьких кусочков филе сельди, слишком соленых даже на вкус Макса — стоила здесь чуть меньше тысячи рублей.

Есть не хотелось совершенно. Похмелье еще не отпустило, еще каталось внутри колючим грязным шаром, поднимало в голове Макса тошнотворную муть. Кривясь, он гаркнул в раскрытую дверь кабинки, срывая злость:

— Я что, до завтра ждать должен?

Служака в японской одежде был недалеко, наблюдал за гостем, ожидая знака или взгляда, и такого отношения не заслужил — но Максу было плевать. Глянув на официанта с презрением, он велел принести солянку и бутылку «Будвайзера».

— Сразу жалобную книгу захвати, если мне придется ждать дольше десяти минут, усек? — угрожающе присовокупил Макс. — И молитесь там всей кухней, если солянка будет холодной...

Пиво ему принесли уже через минуту — холодное, едко пахнущее солодом, в высокой глиняной кружке, над которой высился белоснежный пенный холм. Макс коротко дунул а

пену, отхлебнул с наслаждением. Чуть горчащий холодок с едва заметной грейпфрутовой ноткой потек по жилам, расслабляя тело, гася похмельный жар.

— Уэээхх, хорошо! — крикнул от удовольствия Макс и залпом заглотил остатки пива. Показал официанту два пальца — мол, повтори. Вяло подумал: «Ну и что, что за рулем? Ничего они мне не сделают...» С начальником ГИБДД он тоже играл в покер, и тот до сих пор не отдал свой долг. Конечно, пятьсот баксов не те деньги, ради которых нужно устраивать разборки, но... Карточный долг — святое, это знает каждый порядочный игрок.

В ожидании заказа Максим откинулся на спинку черного кожаного диванчика, оглядел помещение. Не сказать, что после ремонта, которым так хвастался владелец ресторана Арцыбашев, здесь стало намного лучше. Некогда красные стены теперь были отделаны вагонкой, и Максиму казалось, что зал превратился в огромную парилку. Японские гравюры на рисовой бумаге, повешенные в простенках между окнами, выглядели так просто, что он посчитал их дешевым убожеством. Да и воняло здесь... «Кого тут мордой ткнуть в жаровню? Пусть лучше горелым мясом пахнет, чем этой ароматической мерзостью! — подумал он, чувствуя, что голова снова каменеет, становится тяжелой, как булыжник. — И музыку включили занудную, тягучую — под такую поминки устраивать, а не веселиться!»

«Не надоело веселиться-то, Королевич? — насмешливо сказала Алена внутри его головы. — Вчера ты вообще отлично оттянулся: теперь торчишь какому-то ничтожеству десятку баксов, а мог бы их при себе оставить. Как отдавать-то будешь, лошок? Уверен, что этот перец на твои условия согласится?»

Макс сжал кулаки и мысленно выругался. Настроение стало еще гаже. «А, с другой стороны, что толку злиться? Если бы Алена действительно сказала это, оказалась бы права, что уж тут... — признал он. — Но мне просто не повезло! Может же человеку не повезти? Не так звезды встали вчера, вот и все. Я еще отыграюсь! Да и предложение, которое выкачу Василенко, может быть зачтено в счет долга. Был бы сегодня фарт».

Официант принес еще одну кружку пива и почти сразу после этого подал солянку. Едва заставив себя проглотить первую ложку горячей жидкости, остро пахнувшей томатом, копченостями и солеными огурцами, Макс ощутил, как теплеет внутри, как сдается боль, и в голове проясняется. Аппетит вдруг проснулся, и, жадно поедая солянку, Максим подумал, не заказать ли чего-нибудь еще — шашлык, к примеру. «Есть он, интересно, в новом меню?... Не может же быть, чтобы самураи брезговали жареным мясом?»

Олег Василенко вошел в кабинку неожиданно, грубо вклинившись в гастрономические фантазии Макса.

— Раньше на Руси были особые супы — «похмелки», — насмешливо проинформировал Олег, задвигая дверь и усаживаясь напротив. — Все алкаши ими спасались вместо рассола. Смотрю на тебя и убеждаюсь: не утратили мы традиции.

Максим набычился и прошелся взглядом по лицу Василенко, специально задержавшись на полоске лейкопластыря, пересекавшей его левую бровь. И ехидно ответил:

— Раньше на Руси и кулачные бои в почете были. Теперь уж не так. Достойного противника не найти.

Острое лицо Василенко помрачнело, взгляд грязно-голубых глаз стал жестким. Кисти его рук — сухие и желтоватые, как куриные лапы — нервно задвигались, заскребли по красной скатерти. Пухлый рот обидчиво округлился — увидев такое, Алена непременно засмеялась бы и, напустив на себя ученый вид, сказала бы что-нибудь, вроде: «Gallina anus, что по латыни означает курья жопа». Он щипнул себя за бородку-эспаньолку — такую же

реденькую и рыжеватую, как волосы на черепе, и холодно спросил:

— Так что насчет денег? Принес?

— Могу принести в любой момент, — беззаботно ответил Макс, скребанув ложкой по дну тарелки. — А могу и не принести.

Василенко глянул с удивлением. Достал из кармана пиджака портсигар, обтянутый крокодиловой кожей, вытащил тонкую черную сигаретку. Макс посмотрел на него с легкой завистью, но одернул себя: уже три месяца, как бросил, нечего теперь начинать.

— А что, карточные долги теперь принято не отдавать? — холодно спросил Олег, выпустив из носа струйки белого дыма.

— Сказал — отдам, значит, отдам, — зарычал Макс. — Ты меня не первый день знаешь. Я своему слову хозяин.

— Я, наверное, пойду. Зря приехал. Ни денег здесь, ни извинений... — проговорил Василенко, вставая. Он смотрел поверх Максовой головы. «Вот гнида! Будто нет меня!» — разозлился Макс, но понял, что лучше придержать коней. В конце концов, Василенко был троюродным племянником заместителя мэра. Хотя и седьмая вода на киселе, а всё родственник — может, удастся через него поближе к власти имущим подобраться, тендер какой-нибудь хапнуть... И потом, извиниться действительно было за что.

— Олежа, брат, не мельтеши, — попросил Макс. — Садись, разговор есть. Но, прежде всего, извини за вчерашнее. Пьяный был, сам понимаешь...

В глазах Василенко мелькнуло удовлетворение. Он снова опустился на диван, положил руки на столешницу, переплетя узловатые пальцы. И вдруг улыбнулся задорно, по-мальчишески.

— Да я тебя тоже неплохо приложил! — сказал он. — Ребра-то целы?

И пояснил, заметив удивленный взгляд Макса:

— Ты не смотри, что я в два раза легче тебя. Я как тот клоп — большее всех кусаю. У меня шестой дан в карате, так что...

— Буду знать, — уважительно хмыкнул Макс, отставляя тарелку в сторону.

— Итак?... — Василенко выдержал многозначительную паузу. — Ты меня пригласил сюда явно не для того, чтобы я полюбовался новым интерьером? Который, кстати, стал еще менее японским, и еще более сермяжным. Солянка, я смотрю, из меню не исчезла? Щи и холодец тоже наверняка там...

— Не знаю, не проверял... — буркнул Макс. — Так вот, насчет денег. Не хочу я тебе нал отдавать.

— Вот те раз, — удивился Василенко. — А говорил: «долг чести», «я слову хозяин»!.. И к чему было всё это кривлянье?

— Ну, ты же на прошлой неделе сам ко мне подкатывал. Хотел, чтобы я твой товар покупал для своих аптек... — начал Максим, внимательно глядя в лицо Олега. С виду тот остался бесстрастным, но интерес, блеснувший в его глазах, показал Макс: он на ход впереди Василенко, он ведет эту партию и сдает карты. А это значит, что можно пойти с козырей.

— Вот я и подумал, — продолжал Макс. — Наш договор — ну, скажем, на год — вполне себе стоит этих десяти тысяч долларов. Я, конечно, мог бы тебе их отдать, для меня это не деньги. Но дружба ведь дороже, правда?

Василенко пожевал губами, подумал, будто подсчитывая что-то в уме. И сказал, вминая окурок в пепельницу:

— Есть предложение поинтереснее.

Он замолчал, потому что в кабинку, постучавшись, вошел официант. Олег покачал головой, показывая, что меню ему не нужно, и попросил принести кофе. Глядя вслед удаляющемуся «самураю», продолжил:

— Хочешь, чтобы у тебя продажи выросли? В два, в три раза...

— А что не в пятьдесят? — хохотнул Макс. — Окстись, братан, на дворе кризис!

— Ну, бактерии и вирусы про это не слышали, — улыбнулся Василенко. — Люди всегда лекарства покупают, кризис — не кризис, умирать никто не хочет.

— Некоторые дебилы подорожником лечатся, — угрюмо буркнул Максим. — Но продолжай.

— Знаешь, друг мой, есть в нашем городе один хороший человек. Но бизнес у него не совсем легальный.

А ему, как любому из нас, хочется жить хорошо. Вот купил он недавно дом. Я бы не сказал, что дворец, но... В общем, купил и купил, жил бы себе дальше спокойно. Но вот незадача — шепнули ему, что кое-кто интересоваться начал, откуда деньги. Ведь и до покупки дома он не на улице жил, так скажем. А бизнес у него маленький совсем, да ты знаешь, кондитерская на углу Красноармейской и Ленина...

Макс, готовившийся выдать очередную колкость, прикусил язык. Да, он действительно знал, кому принадлежит эта кондитерская. Индивидуальному предпринимателю, который приходился Олегу Василенко троюродным братом, а заместителю главы города — родным сыном. То, что кондитерская была всего лишь ширмой для темных делишек семейства Василенко, среди которых числились и подпольные казино, и наркотики, было известно на уровне слухов. Ну а сейчас, значит, кто-то сложил два и два: эти слухи и жизнь не по средствам. Это означало, что за семейство взялись. Либо Коростелевы — конкурирующий клан, либо кто-то из правоохранительных органов. Интересный поворот.

— Жалко хорошего человека, — осторожно сказал Макс. — Но я при чем?

— Да вот захотелось мне благотворительностью заняться, — ответил Василенко, закидывая в рот подушечку «Орбита». — Какой смысл жить только для себя? Поэтому я подумал: наверное, надо заключить с этой кондитерской договор, пусть поставляют мне булочки да пирожные, а я уж буду ими бездомных кормить, в детдома отправлять, в больницы... Малообеспеченным семьям подарки делать. По всей Московской области. А деньги заработаю. Будешь у меня лекарства покупать, вот и заработаю. Если, конечно, контракт подпишем миллионов на двенадцать — для начала.

Макс хватанул ртом воздух. «Двенадцать миллионов! Да это половина оборотного капитала Танькиной сети аптек! И потом, с чего Василенко взял, что я возьму у него паленых препаратов на такие деньги? Мне хватило и одного уголовного дела, благо тогда его закрыли, почти не начав, но подсуетиться-то пришлось, заплатить, кому следует... И я говорил Олегу, что если и буду брать у него контрафакт, то понемногу — чтобы не залететь снова. А теперь это предложение... Лажа какая-то. Хотя Василенко не дурак, фигню предлагать не будет. Что же ему на самом деле нужно?»

Максим попытался прощупать почву:

— Твоему толченому мелу и ключевой воде в ампулах — три копейки цена, — произнес он с легким презрением. — Даже если я весь запас у тебя скуплю, останутся голодными твои сироты.

— Цены-то выросли, — пожал плечами Василенко. — К примеру, актовегин в ампулах

ты у меня в последний раз по сто тридцать рублей брал. А сейчас он тысячу триста стоит.

Макс чуть не поперхнулся от злости. Нет, карточный долг — это святое, конечно, но ободрать себя как липку он не даст.

— То есть ты хочешь, чтобы я, рискуя своим бизнесом, взял у тебя паленых лекарств по безбашенной цене? И не на сумму долга, а на гораздо большую? И при этом был счастлив, как идиот?

— Я так и знал, что с первого раза ты не поймешь, — довольно щурясь, вздохнул Василенко.

И проговорил, понизив голос и наклоняясь ближе — так, что Макс почувствовал его дыхание.

— Тебе не придется ничего продавать, и даже закупать у меня ничего не придется. Зачем нам эта возня с коробками и логистикой? Ты просто заключишь со мной договор на поставку, а оплатишь его теми деньгами, которые тебе будут приносить от хорошего человека в виде налички. Только по документам это будет выглядеть так, словно ты выложил на витрину дорогостой, а народ тут же побежал их покупать. Теперь понятно?

Да, куда уж яснее. Василенко предлагал ему превратить аптечную сеть в большую, эффективно работающую прачечную. И отмывать в ней семейные деньги — нал от продажи наркотиков и доходы игорного бизнеса.

Опасное занятие. Очень опасное. Если он на это пойдет, то окажется на крючке у семейства Василенко. С другой стороны, это преступление по сговору, и с использованием служебного положения, и размер особо крупный. По закону крупняком считается отмывание шести миллионов и больше, а речь идет о двенадцати. Значит, и срок за это светит не маленький. Но с третьей стороны...

— Можно? — Макс показал взглядом на портсигар Олега. Черт с ним, от одной сигареты ничего не будет.

— Бери, — разрешил тот.

В их кабинку снова вошел официант, принес чашку кофе и сахарницу. Максим закурил, отрешенно наблюдая, как он выставляет на стол заказ Василенко. Предложение приятеля было рискованым, но... Если взглянуть с другой стороны, оно давало возможность быстро заработать. Тогда он сможет, наконец, уехать в Самару и устроиться там, как король. А главное — вернуть Алёну. Здесь же, если что-то пойдет не так, можно свалить вину на Таньку. В конце концов, она сама не пожелала сделать его вторым учредителем сети аптек! Держала все это время на должности гендиректора, а он, по сути, был вынужден делать работу обычного менеджера. И большая часть денежек шла не ему в карман, а на хотелки Танькиной семейки — полоумной мамыши, папаши-тюфяка, да и самой Таньке, выбросившей кучу бабла на гинекологов. Которые, кстати, так и не помогли ей родить.

Смартфон в его кармане выдал барабанную дробь и сказал голосом Шуры Каретного: «Эсэмэсочка, в рот ее чих-пых!» Максим вытащил его, открыл сообщение и непонимающе уставился в текст: «Пижама синяя, ноутбук, виноград, и купи несколько игрушек для мальчика 10 лет». Взглянул на имя отправителя. Точно, Танюха же просила привезти ей в больницу вещи! Только при чем здесь игрушки?... И откуда вдруг взялся пацан, ради которого он должен раскошелиться?

Макс поднял взгляд на Василенко. Тот помешивал ложечкой в чашке кофе, смотрел спокойно, но — с видом сонного кота, следящего за доверчивым домашним хомяком. Отвечать ему сейчас Макс не собирался, над таким предложением дважды подумать надо.

Нет, все-таки и от Танюхи иногда бывает польза.

Максим сделал озабоченное лицо и начал подниматься из-за стола:

— У меня жена в больницу попала, — скорбно сказал он, доставая кошелек и швыряя на стол пятитысячную. Да, это в два раза больше, чем стоил его заказ, но пусть Василенко видит, что нужды в деньгах Максим Демидов не испытывает. — Ты извини, потом переговорим.

— А я и не тороплю, — вкрадчиво ответил Василенко. — Понимаю, дело серьезное, тебе все обдумать надо. Так что подожду... до завтра.

Таня увидела ее, едва войдя в двери гинекологии.

Мать вышагивала по широкому, кремово-белому коридору, как генерал по плацу. Спина прямая, будто тело запаяно в латы. Голова вздернута так гордо, будто над ней развевается плюмаж — символ триумфа, знак власти. Огромный белый халат, накинутый на ее плечи, показался Тане плащом Понтия Пилата.

«Дернул же меня черт вернуться в свою палату именно сейчас!» — она чуть не застонала. Но бежать было поздно — родительница ее уже заметила. А ведь Таня до последнего надеялась, что мать не придет.

Она поплелась навстречу, изобретая оправдания. В том, что сейчас начнется обстрел из крупнокалиберного, не было никаких сомнений.

— Где ты ходишь? — зашипела мать, подходя к ней.

— Извини, я не знала, что ты приедешь, — виновато выдавила Таня. — Мам, а откуда...

— Муженек мне твой сказал, что ты здесь, а так бы и не узнала! — перебила та. — Ты скрываешься от меня, что ли?

Мать даже сейчас подозревала ее в чем-то плохом. Даже больничные стены и то, что случилось с дочерью, не сбивали ее с курса. Мать, как линкор, всегда пёрла напрямую и атаковала без предупреждения, считая, что планы противника известны ей лучше его самого. В роли супостатов побывали все, кто, как казалось матери, замышлял что-то против нее. Танин отец, Танин муж, но чаще всего — и дольше всего — сама Таня.

— Мам, не начинай. Зачем мне это? — оправдывалась она, как бы невзначай оттесняя мать к своей палате. Еще не хватало, чтобы свидетелями их семейной распри стали другие пациенты.

— Не знаю, — Елена Степановна скривила губы. — Но из-за чего-то ведь ты не сказала, что лежишь здесь. Почему я узнаю это не от родной дочери, а от этой похмельной свиньи, от которой за версту разит какой-то сивушной мерзостью?

«Замечательно. Значит, Макс вчера горе заливал? Или, может, праздновал?...» Настроение испортилось еще больше, и Таня почувствовала, как на душу лег тяжелый черный валун.

— Мама, пойдём в палату, поговорим там, — взмолилась она.

Отбивая дробь острыми, как клювы, каблуками, стук которых не заглушали даже надетые поверх сапог бахилы, мать вошла в открытую Таней дверь. Со спины она казалась много моложе своих лет — стройность, нетипичная для шестидесяти лет, наводила морок. Ее каре цвета красного дерева было уложено настолько безукоризненно, что казалось париком. Обернувшись к Татьяне, мать недовольно изогнула губы — поторапливайся, мол, ты итак заставила меня ждать. Сланцево-серые, с оливковым отливом, глаза, подведенные по моде 80-х, блестели в сердитом прищуре. Брови отличались такой стремительностью в изгибе, и были столь продуманно-тонкими, будто их писал китайский каллиграфист. Чуть вздернутый кончик носа едва заметно раздваивался. Подростком Татьяна прочла, что это признак эгоизма и жестокосердия — и удовлетворение от прочитанного чувствовала очень долго.

Лицо матери всегда было надменным. «Смотрите, какая цаца выплыла — ни дать, ни взять жена какой-нибудь шишки из администрации», — посмеивались за ее спиной соседки,

открыто недолюбливавшие Елену Степановну, но с удовольствием приглядывавшие за маленькой Таней, когда она гуляла во дворе. Они-то знали, что большую часть жизни мать проработала швейей. Сначала в центральном городском ателье, а когда его закрыли, принимала заказы на дому. Шила она прекрасно, а потому клиенты шли и шли — впрочем, некоторым мать отказывала, даже не объясняя причин. Как правило, это были женщины из «простых».

Будучи подростком, Таня думала, что родительница научилась высокомерию у своих клиенток: важных дам из собеса, спесивых теток-снабженок, чванливых сотрудниц жилфонда — увешанных золотом, наманикюренных, с модным перманентом... Но, повзрослев, поняла — всё это было врожденным. И заносчивость, которая вставала между матерью и другими людьми невидимым бруствером, нужным ей для удержания дистанции. И некая барственность в речах и жестах — такая, будто все вокруг были ей должны, но долги не отдавали... И претенциозность в выборе туалетов, даже если речь шла об обычном походе в магазин за молоком-хлебом. Может быть, мать потому и шить научилась, что хотела всегда быть одетой по последней моде, будто ей было доступно больше, чем другим? Странно, что модной была только ее одежда — макияж и прическа не менялись никогда, сколько Таня себя помнила.

И не менее странно, что при таком характере она выбрала в мужья деревенского парня, молчаливого и бесхребетного. Может быть, из-за того, что в посёлке Ляпуново, куда мать попала по институтскому распределению, не за кого больше было выходить? Годы-то молодые, и женились в то время рано, вот мать его и ухватила. Правда, отец уже тогда был с образованием: получил специальность "инженер сельского хозяйства". Но если в родном посёлке, вокруг которого располагалось несколько совхозов, он был нарасхват, то в подмолсковном городке, в котором они сейчас жили, и где родилась когда-то Елена Степановна, ему удалось устроиться лишь на местные очистные сооружения. И Татьяна иногда думала, что эта работа для него хуже каторги.

А ещё одно достоинство отца заключалась в том, что он был красив — может, потому мать за него и вышла. У отца те же русые, чуть выющиеся волосы, что и у Тани. Темно-серые, с шалой искрой, глаза. Прямой нос с тонкими, чувствительными ноздрями. И полные, четко вылепленные губы. Кряжистостью Таня тоже пошла в него, а вот ростом — в мать, и получила маленькой и толстенькой; ох, сколько же раз она ругала за это свою генетику! Но отцу шло быть плотным, крепким, сильным даже с виду. Сейчас он подбирался к шестидесяти, но по-прежнему притягивал женские взгляды. А мать будто молодела рядом с его высокой фигурой. Становилась миниатюрнее, стройнее и женственнее, когда шла, едва доставая до мужниного плеча, опираясь на его крепкую руку. Со стороны могло показаться, что глава семьи — это он. Что эти милые люди идут по жизни, как семья в рекламе — наслаждаясь обоюдным счастьем. Но отец, если был под хмельком, шутил, что на прогулку его вывел тюремщик. Что вляпался он в пожизненное, да, но и в тюрьме люди живут.

— Мам, ты чай будешь? — спросила Татьяна, пряча рисунки Павлика в прикроватную тумбочку. — Если да, я схожу к дежурному за кипятком. Просто у меня тут нет ничего...

— Не суетись!.. — мать подняла ладонь, останавливая Таню. Огляделась по-хозяйски и величественно опустила на стул.

— Ты просто так пришла? А то мне еще нужно лечащему врачу на глаза попасться...

— Конечно, нужно. Не все же бродить по своим делам. Здоровье, Таня, превыше всего. А ты этого совершенно не понимаешь!

Таня искоса глянула на нее, пытаясь оценить, злится она, или просто выплескивает раздражение.

— Я в педиатрию спускалась, — попыталась объяснить она, усаживаясь на свою кровать. — Нам вчера мальчика привезли, хотела узнать, что с ним...

— Какие мальчики, Таня? О чем ты вообще думаешь? — мать всплеснула руками и возвела очи горе. — Ты же сама в больнице, забудь о работе! Нужно думать о себе, больше думать о себе, когда ты, наконец, это уяснишь?

На ее выступающих ключицах светлело короткое ожерелье из речного жемчуга — тускло блестящего, неровного, зато натурального, как говорила мать. Татьяна терпеть не могла это украшение — ей казалось, что оно сделано из молочных зубов.

Мать сложила на коленях холеные руки, выжидающе посмотрела на Таню.

— Ну, рассказывай, — велела она.

— О чем? — Таня села на кровать, вцепилась в одеяло пальцами.

— Дурочку не строй из себя! — гневно фыркнула мать. — Почему сюда положили? Правду говори! Не из-за подозрения на онкологию?

— Мама, что ты такое говоришь! — возмутилась Таня.

— А что? Это сейчас сплошь и рядом, и если рано найдут — это даже хорошо, есть шанс вылечиться. Никто не застрахован, Таня! Вот недавно по телевизору говорили...

И она стала длинно рассказывать, что конкретно говорили по телевизору, и что за случай был у какой-то женщины, и какими способами ее лечили... Голос у матери — когда она не орала в гневе и не цедила слова в презрении — был красивый, альтовый. Это позволяло вытерпеть любую чушь в ее исполнении, если не вслушиваться в смысл.

— Таня! Я с кем разговариваю?... — голос пустил петуха, став неприятно требовательным. — Так почему тебя сюда положили? Ты что, опять была беременна?

Таня нехотя кивнула. Говорить не хотелось, а об этом — тем более.

— А этот, значит, пьет... — удовлетворенно заметила мать. И привычно перешла к обвинениям: — А мне, значит, ты даже не соизволила сообщить.

«Да, потому что после третьей моей замершей беременности ты заявила, что меня так Бог наказывает!» — обида царапнула, дотянулась даже из воспоминаний. А мать продолжила, едва не торжествуя:

— А я говорила: не надо тебе больше беременеть! Но ты же у нас себе на уме!

— Мама, это мое дело.

— Ну, если хочешь себя угробить — пожалуйста, — поджала губы мать. — Я давно поняла, что с тобой разговаривать бесполезно. А, между прочим, в делах твоих полнейший бардак! Скоро февраль, я путевки на Кубу присмотрела, ты помнишь, едем вдвоем с тетей Люсей. Мы с тобой договаривались насчет денег. Я пришла за ними сегодня, а в офисе только бухгалтер и менеджер. У муженька твоего нерабочее утро почему-то! И трубку он не брал. Я поехала по аптекам, проверять, все ли в порядке. Кстати, провизорша эта новая... Юля, кажется? Представляешь, спит у кассы! Вот так вот легла, голову на руки положила — и спит!

Мать подняла перед собой скрещенные руки, будто ученик за партой, и уперлась в ладони лбом, показывая, как именно спала Юля. Татьяна вздохнула. Она ни разу эту Юлю не видела, да и с аптеками разбираться не хотела, пусть у Макса об этом голова болит.

Но Елена Степановна продолжала, всё больше распаяясь: о том, какой бардак на складе, какую пыль на полках она нашла, как неблагоприятно со стороны Тани было

доверить бизнес Максиму... Та слушала со смесью раздражения и вины. Ведь мать совала свой нос в аптечный бизнес не потому, что хотела помочь. И даже не от скуки. Ей просто нравилось чувствовать свою власть. Ведь мать хозяйки — это, в какой-то мере, даже рангом выше, чем сама хозяйка.

С другой стороны, родительница была права — Татьяна тоже должна уделять время аптечной сети, а не радоваться, что ей больше не нужно возиться с этим бизнесом. Но она давно перегорела, поняв, что, добившись многого — по сути, ничего не добилась. Ведь по большому счету Татьяна создавала эту сеть для того, чтобы доказать родителям свою состоятельность. Не вышло. И, если бы не муж, Таня давно продала бы свои аптеки к чертям и вздохнула спокойнее. А Макс, кажется, доставляет удовольствие этот, неожиданно приобретенный вместе с женой, бизнес. Тем лучше, ведь для Татьяны аптечная сеть — законченный проект. Красивая, но тронутая гнилью иллюзия.

Таня начала продавать лекарства еще на первом курсе меда. Точнее, доставать их. Как-то один из врачей посетовал, что тяжелого больного — практически парализованного инсультника, за которым ухаживала Таня-практикантка — можно было бы поставить на ноги, имея нужное лекарство. Но производили его только за рубежом. Таня позвонила бывшей соседке, которая в середине 90-х перебралась в Италию, и попросила прислать пачку ампул. «Танюшка, мысли шире. Если отправить один препарат, он станет золотым, — вздохнула та. — Еще и документы для таможни заполнять, это ж убиться можно! Давай, набирай еще заказов. Отправлю все, возьму десять процентов за хлопоты. Ты себя тоже не забывай, зарабатывай. И выбрось из головы idiotские мысли, что наживаешься на чужом горе! Не у нас — так в другом месте, но люди лекарства закажут».

Так начался ее бизнес, который сначала был больше похож на дружескую помощь. Ведь препараты поступали в срок, были качественными и даже с накруткой стоили меньше, чем у конкурентов. Ну и вообще... Только ленивый в те времена не пытался создать свое дело.

«Другая бы использовала шанс выбиться в люди, а из тебя торгаш — как из толкна хата... Так и будешь всю жизнь копейки считать...» — разглагольствовала мать, и Татьяна решила снять помещение под аптеку. Взяла кредит под залог квартиры, полученной в наследство от бабушки с дедушкой. Через ту же итальянскую знакомую закупила партию лекарств. Старую гэдэровскую стенку и обеденный из бабушкиной квартиры приспособила под витрины и прилавки. Очень многое приходилось делать самой: Таня даже вывеску нарисовала, в то время негде было ее заказать. Ходила по городу, клеила рекламу на подъезды, договаривалась с чиновниками. Но понимала: в одиночку ей это не потянуть. Потому, что была слишком боязливой, слишком совестливой для того, чтобы жить бизнесом, а не играть в него.

Помощники нашлись быстро: заработать хотелось всем. Днем за аптекой надзирала Янкина мама. По вечерам — кто-то из Таниных подруг, но чаще всего, конечно, ей помогала Яна. И очень скоро Таня предложила ей развивать этот бизнес вместе. «Я — аптекарша? — развеселилась та. — Ну а что, хоть на квартиру заработаю. И подругу в беде не брошу. Ты, Тань, уже зеленая вся, нельзя по двое суток не спать. Я в доле».

В день, когда они отдали кредит за первую аптеку, Татьяна сделала себе подарок: купила серьги — крупные, но изящные, из платины с бриллиантами. Это был символ ее успеха и в то же время — награда за всё. Серьги и сейчас были на ней.

В те годы было хоть и трудно, но азартно, интересным казался каждый день. Она добивалась цели, и ощущение собственной никчемности прошло, а родители перестали

привычно говорить ей: «Госспыдя, ну что ты в этом понимаешь!». Казалось, что они, наконец, начали ею гордиться. И признавать, что их дочь — умная, успешная, способная, а не безмозглая рохля, за которую нужно всё решать.

Это чувство вдохновляло, и они с Яной открыли еще две аптеки, наняли провизоров, расширили ассортимент. Но Янка на последнем курсе института вышла замуж за хирурга Глеба Рижского, а потом, стремительно забеременев, решила полностью посвятить себя семье. «Глеб прав — мне нельзя столько работать. Ну и потом, купи-продай все-таки не мое, — призналась она Тане. — И фармацевтика не моё. Извини, Танюх...»

Татьяна выкупила ее долю и честно выплатила дивиденды, которых с лихвой хватило и на приобретение квартиры, и на дорогостоящий ремонт. Янка в долгу не осталась — перед тем, как уйти из бизнеса, нашла отличного менеджера Ирину, и обучила ее своей работе. Так что у Тани и после ухода подруги было, на кого опереться.

Она уже закончила интернатуру и работала в педиатрии, но дело требовало контроля, ведь она все еще расширяла свою сеть. Ирина предложила Тане взять еще одну помощницу, которая заведовала бы закупками. И они нашли такую, но Татьяна не смогла дать себе больше времени на отдых. Потому что просто не понимала, где еще себя применить.

Впрочем, у ее трудоголизма была и обратная сторона — вместе с ростом сети выросли и доходы. Тане нравилось, что теперь она легко может позволить себе дорогие вещи, брендовую одежду, заграничные путешествия, уютный дом — все, чего была лишена в детстве. Но больше всего ее грело то, что она могла обеспечивать такую же жизнь родителям.

Всё разбилось, когда она услышала, как мать говорит подруге: «Повезло, что ее наша бывшая соседка в бизнес взяла и всему научила — своим умом Танька никогда бы не дошла до этих аптек. Вот как важно заводить нужные контакты: когда мы жили в коммуналке, я всю семью этой соседки обшивала. Видимо, она до сих пор мне благодарна, раз взяла Таньку в долю».

Мать всегда жила в собственной реальности.

А отец... Ему было удобно существовать в ее тени, но на людях делать вид, что в семье за ним остается последнее слово. Марионетка всегда на стороне манипулятора; а мать всегда знала, за какую веревочку дернуть.

Впрочем, она крепко держала в руках и Танины веревочки.

«Ну, я всегда подозревала, что ты глупая! Неужели сложно учиться на отлично? Я же училась!» И Таня до глубокой ночи корпела над учебниками, боялась идти домой, получив даже тройку. А потом нашла среди семейных бумаг материн школьный аттестат, в котором не было ни одной пятерки. «И зачем я на ткань для платья потратилась, знала же, что ты за собой следить не умеешь... В шестнадцать лет такое пузо отрастила! В следующий раз юбку на резинке тебе сошью, как в деревнях носят!» И Таня голодала, худея, доводя себя до предобморочного состояния — но генетика брала верх, и она поправлялась снова. «Сомневаюсь, что ты поступишь в мед... Признайся хоть себе самой, что это не твой уровень». И Таня зубрила биологию и вгрызалась в химию, потому что боялась — мать окажется права.

Она так ждала, что все это прекратится, когда она станет взрослой! Чуда не случилось. Мать по-прежнему с лету ставила ей оценки и уверенно дергала за ее веревочки. «Вообще неплохая идея посвятить свою жизнь работе, замуж тебе все равно не выйти. Все-таки жаль, что внешностью ты пошла не в меня», — сказала она, попивая шампанское на открытии

восьмой Таниной аптеки. «Ты где его вообще подобрала?... Потасканный какой-то. Попивает, вижу. С другой стороны, для тебя и это принц», — сказала мать, сидя в кресле лучшего городского ресторана, где дочь знакомила родителей с Максом.

Всё оставалось таким же, как в детстве — что бы Таня ни делала, каких бы успехов ни достигала. Уродливые пупсы не вырастают в красивых кукол.

Только после первой замершей беременности мать удивила ее. «Ты была бы хорошей мамой, гораздо лучше, чем я. Почему на тебя это свалилось?...» — сказала она, стоя у кровати, на которую Таню положили после выскабливания. Властный обычно голос звучал растерянно.

Но сейчас было не так.

— ...и он только к обеду явился, представляешь степень наглости? Морда опухшая, помятая, а запах!.. Я ему объясняю насчет ситуации с персоналом, а Максимушка твой смотрит, как debil. А потом эта безмозглая инфузория посмела отказать мне в деньгах. Мне! Да где бы он был, если бы не наша семья? В какой канаве сейчас бы валялся? Мы его подобрали, человеком сделали — а теперь он заявляет, что не может выдернуть такую сумму из бизнеса? Из нашего бизнеса, Таня!

Это прозвучало так, будто мать своими руками месила бетон и заливала фундамент каждой аптеки.

— Мама, извини, у меня совсем нет времени, — Таня почувствовала, как наполняется зудящим раздражением. — Аптекама занимается Максим, ты же знаешь.

— Ой, толку от него...

— Если тебе нужны деньги на поездку, возьми мою карту, там должно хватить, — устало сказала Татьяна, потянувшись за сумочкой.

— Ты так говоришь, будто я только из-за этого пришла, — мать поджала подкрашенные темно-алым губы. Помада чуть оплыла, и тонкими штрихами лежала в морщинках над верхней губой.

— Я же все-таки женщина, и прекрасно понимаю, что с тобой происходит, — продолжила она, принимая платиновую карту из Таниных рук. Ее голос вдруг смягчился. — Думаешь, мне не жалко видеть тебя здесь? Знать, что ты раз за разом пытаешься забеременеть, а толку ноль? Вот если бы ты меня послушала раньше... Я ведь говорила, дети — совсем не то, что кажется. И не каждому они нужны. Ты что думаешь, ребенок сделает твою жизнь лучше?

— Я уверена в этом! — Танин ответ прозвучал резко.

Мать фыркнула:

— Вздор! Подумай хотя бы раз головой, а не другим местом! Зачем тебе ребенок? У тебя нет на этот счет никаких обязательств! Многие женщин живут без детей, и это нормально. Если судьба не дает тебе ребенка, значит, так и надо. Смирись. Ты — законченный трудоголик, твой успех не в материнстве. Я считаю, тебе нужно уйти с этой работы и вплотную заняться аптеками, это у тебя получается. А Максима твоего...

— Я почти решила насчет Макса. Я думаю развестись, — слова слетели с Таниных губ невольно, и она даже испугалась, что произнесла это.

Елена Степановна вздернула подбородок, глянула на Таню удивленно. На миг во взгляде мелькнуло сочувствие, но затем его сменил привычный холод.

— Наконец-то мозги на место встали, — удовлетворенно сказала она. Как всегда, мать даже не поняла, насколько оскорбительно прозвучали ее слова. Татьяна вдруг почувствовала,

насколько устала от колкостей матери, от ее вопиющей неделикатности и от уверенности, что ей позволено всё.

— Знаешь, мама, — проговорила она, закипая. — Мозги у меня всегда были на месте. Может быть, у единственной в нашей семье.

Мать невозмутимо поправила прическу.

— И, тем не менее, глупостей ты наделала...

— Но это мои глупости! — вконец разозлилась Татьяна. — Это моя жизнь, моя работа, мой муж, и позволь мне самой решать, что с этим делать. Захочу развестись — разведусь, вот только хватит ставить оценки моим поступкам! И еще, чтобы ты знала — я собираюсь усыновить ребенка. Просто информирую, советы мне не нужны!

Мать вскинулась, ожерелье из зубов-жемчужин нехорошо блеснуло.

— Какого еще ребенка? — взвизгнула она. — Ты дурь-то свою побереги для мужа, его будешь пугать! Мы говорили с тобой об этом, и ты знаешь мое мнение: нет, нет, и еще раз нет!

— Хватит! Я уже не маленькая девочка, которая просит тебя завести котенка! Это моя жизнь!

— Но ты хочешь меня опозорить! Меня, и всю нашу семью! Вздумала притащить какого-то засранца, от которого наверняка родители-алкаши отказались. Что я людям должна буду сказать? Вот, внучок у меня появился с неизвестной наследственностью. Прячьте подальше ножи и деньги!

— Не смей так говорить! — закричала Таня.

Мать вскочила со стула, сделала шаг к Татьяне и вдруг резко ударила ее по губам тыльной стороной ладони. Таня задохнулась от неожиданности, прижала руку ко рту. Губы набухали болезненным жаром, он растекался под ладонью, с каждой секундой становясь все сильнее. Слюна во рту изменилась, окрасилась солоноватой кровавой ноткой. Мать торжествующе смотрела сверху:

— А ты не смей на меня орать, — сказала она со спокойной силой. — Думаешь, выросла, так не заткну тебя?

Таня опустила руку, поднялась ей навстречу, уперлась взглядом в глаза родительницы — холодные, презирающие, злые. И отчеканила:

— Я усыновлю ребенка, нравится тебе это, или нет.

Мать скривила рот, рванула с плеч белый халат и, смяв его комом, швырнула Тане в лицо.

— Ты непроходимая идиотка! Если ты это сделаешь, можешь забыть, что у тебя есть родители!

Глядя, как она поворачивается спиной, и, не оглядываясь, идет к двери, Татьяна ощутила знакомую с детства пустоту. И, как всегда, ей захотелось побежать за матерью, остановить, попросить прощения... Но она не тронулась с места. Жажда справедливости и желание помочь ребенку было сильнее внушаемой ей вины.

И когда мать хлопнула дверью, Татьяна не чувствовала себя побежденной.

Янка настороженно заглянула в палату, и только потом вошла, шурша двумя объемистыми пакетами.

— Что-то Степановна злая, как фурия, — полувопросительно сказала она, ставя пакеты на стол. В одном из них весело звякнуло. — Я ей «здрасьте», а она мимо пролетела! Поругались, что ли?

— Привет, — Таня улыбнулась через силу. Все-таки хорошо, что подруга пришла, хоть и не вовремя. — А ты почему так рано? У тебя же ночная смена сегодня.

— Да я забежала на полчаса, пока мои в кино! Ты же здесь, наверное, оголодала. Вот, гранатового сока тебе принесла, — сообщила Янка, вытаскивая из целлофановой утробы высокую граненую бутылку, наполненную темно-бордовой жидкостью. От шевеления из потревоженного пакета вылетело облачко запахов — сдобно-поджаристый пирожковый, свежий огуречный и копчено-перченый, колбасный. Таня невольно сглотнула слюну.

— И анализы твои хотела глянуть, но их еще не принесли, представляешь? — продолжила Яна и глянула на часы. — Четыре уже. Пойду-ка я, всыплю лаборанткам! Просто безобразие, обленились до предела!

— Не надо, я хорошо себя чувствую.

— Вижу, — с сарказмом сказала Яна. — Графиня бледная, но держится с достоинством. Мне-то не ври!

Янка подошла, присмотрелась внимательнее. Взгляд ее стал жестче, подозрительнее.

— А что с губой?

Таня отвернулась, прикрывая рот. Ей захотелось расплакаться, как маленькой... «Это просто гормоны, — убеждала она себя. — Я сейчас полна ими, как губка. Ведь организм еще не понял, что беременности больше нет».

— Э-э, подруга, отмолчаться не получится! — Яна нахмурилась, черные глаза налились злостью. — Это Макс тебя, что ли?!

Таня молчала, только крепче прижимала ладонь к зудящим от жара губам. И чувствовала, что слезы все ближе, что вот еще немного — и прорвутся, хлынут так, что не остановить. А Яна, чуть склонившись, заглянула снизу ей в глаза и спросила, будто сама не веря в свою догадку:

— Это что... мать тебя?

Ее голос — сначала приглушенный, на грани шепота — мгновенно набрал силу:

— За что? Господи, Таньча, ты-то, я надеюсь, дала ей по щам?!?

— Я сказала, что хочу усыновить ребенка. Она разозлилась из-за этого, — Таня все-таки всхлипнула и вытерла глаза рукой. Опустилась на тонко скрипнувшую кровать, вцепилась пальцами в мягкий край матраса, пытаясь успокоиться. Но слезы не останавливались, набухали в уголках глаз, разъедали душу соленой тяжестью.

Яна села возле, взяла подругу за плечи, развернула к себе. И, глядя в ее враз покрасневшее, такое несчастное лицо, зло отчеканила:

— А вот это — вообще. Не ее. Собачье. Дело.

Таня вскинула на нее взгляд, в котором благодарность перемежалась с болью. Как много раз Янка выручала ее! Как часто была свидетельницей ее слез, той, что помогала осушить их... Лучше нее никто не знал, как тяжело Тане приходилось в детстве, как много

усилий она прикладывала для того, чтобы родители признали ее равной себе, достойной уважения и любви. Как она билась, боролась за эту любовь — но та ускользала мелкой рыбкой... может быть, потому, что действительно была мелка?

— Ян, почему она так со мной? — слезы уже текли, не сдерживаемые ничем, и слова тоже рвались потоком. — Я всего лишь сказала о том, чего хочу. Понимаешь, для меня это важно! Я не могу родить сама, но хочу стать матерью. Что плохого в усыновлении? Что плохого в том, что у меня есть свои желания, которые не устраивают ее — но я же имею право жить своей жизнью! Она же мама моя, но совсем не понимает меня, а я — её... Что ей нужно, какой она хочет меня видеть? Не понимаю! Я под забором не валяюсь, не пью, не нарушаю закон — ей не приходится меня стыдиться. Наоборот — пытаюсь состояться: два образования, аптеки эти чертовы, работа — это же столько сил, столько труда, Янка!.. Меня люди уважают... Меня все уважают, кроме родной матери! Другие люди понимают, чужие мне по крови, а эта — нет! Что за пропасть такая между нами? Я не вижу, как ее перейти! Даже дна у этой пропасти не вижу, понимаешь? Мне кажется, она бездонная, бесконечная! Мне кажется, куда бы я ни пошла, эта пропасть всегда будет передо мной, и я всегда буду пытаться ее перепрыгнуть... Всё время! Будто у меня цель жизни такая — убедить мать, что я хорошая, сделать так, чтобы она меня полюбила. Чтобы она хоть раз сказала: «Дочка, прости меня, прости — я поняла, как плохо тебе делала!» Но вместо этого она продолжает вытирать об меня ноги, рядит меня в какое-то чучело, способное лишь на поступки кретина... Вот мой потолок в ее глазах!

Яна обняла Таню за плечи, прижала к себе, тихонько покачивала — будто баюкала. И молчала, давая выговориться. Ждала, пока поток иссякнет. Как всегда.

— Ты знаешь, я тут подумала, — всхлипывала Таня. — Вот даже если бы эта пропасть каким-то чудом исчезла — а я-то нужна матери на ее стороне, на том берегу? Неа, не нужна! И какого хрена тогда я делаю? Мне уже давно выбрать нужно, с кем я — с собой, или с ней? Но меня как будто что-то держит, как будто какая-то пуповина, которой я привязана...

— Она и держит тебя за эту пуповину, — вздохнула Яна. — Она за нее дергает. Она, понимаешь, сама ее создала своим вот таким поведением. Степановна ж манипуляторша, и прекрасно понимает: если ты будешь знать, что она относится к тебе, как к достойному человеку, то всё. Ее значимость уменьшатся в твоих глазах. Ты перестанешь вот так вот бегать и каждый свой шаг показывать ей. «Мам, смотри, как я хорошо шагнула! Mam, смотри, как я красиво и правильно иду!»

Таня смотрела на нее молча, только всхлипывала. Яна убрала с мокрых щек подруги налипшие волосы, сказала участливо:

— Ты удивительный человек, Танька. Взрослая, умная женщина, так много всего в жизни добилась! Сама! И специалист востребованный, и деньги умеешь зарабатывать, и с людьми легко договариваешься... Но когда дело касается родительского одобрения, ты как подросток какой-то, вот честное слово! Даже недоподросток! Потому что подростки-то как раз бунтуют, личность свою отстаивают, свое право на отдельную жизнь. А у тебя, когда дело твоей жизни касается — а не бизнеса, работы, того, в чем родители нифига не понимают — собственного мнения нет. Ты все время оглядываешься — а что мама скажет? Да ничего она тебе хорошего не скажет, никогда! Специально!

— Но почему?

Выражение в глазах Яны сменилось. Она поднялась, шагнула к окну палаты, встала, глядя на заснеженные ветви деревьев.

— Помнишь, ты как-то спросила ее, почему они с отцом никогда тебя не хвалят? А она сказала: «Чтобы ты не возгордилась...» Тань, твоя мать делает это с тобой специально. И будет делать всегда.

Яна всегда была резковатой, и терпеть не могла Елену Степановну — впрочем, это было взаимно. Но сейчас Таня почувствовала, что слова подруги полны не эмоциями — правдой. Принять ее?... Но она же чудовищна! Внутри поднялся протест — словно душа шевельнулась. Таня попыталась возразить:

— Янка, нет. Если бы у меня в характере было нос задирать, я бы давно задрала! Мне, если разобраться, много чем можно гордиться.

Яна крутанулась на каблуках, покачала головой, глядя на нее сверху вниз:

— Танюш, да пойми ты, — сказала она со вздохом. — Ведь Степановна проговорила чисто по Фрейду. Ты можешь стать хоть королевой Англии — но она по-прежнему будет вести себя так, будто ты полный ноль. Намеренно не признавая твоих достижений, она не просто не дает тебе «возгордиться» — тьфу, и слово-то какое мерзкое подобрала! Она понимает, что ты будешь лезть вон из кожи, лишь бы заслужить ее одобрение. И денег дашь, и на курорт отправишь — а она тебя за это мордой в грязь, чтобы ты ей в следующий раз и денег побольше, и курорт получше. Прости, но я смотреть не могу, как ты ищачишь, а Степановна сидит на троне и рученьки свои белые кремиком мажет.

Татьяна не нашлась что ответить. Она посмотрела мимо Яны, в окно — метель улеглась, но небо по-прежнему было тоскливо-серым, давящим. «Все равно мать когда-нибудь поймет, что я заслуживаю уважения, — мысль была упрямой, как в детстве, но тут же окрасилась печалью. — Вот только когда? И с чего вдруг? Я сама тупиковый путь выбрала. Ведь стараться быть хорошей дочерью — не значит стать ей».

Таня вытерла глаза, провела руками по волосам, отбрасывая их с лица. Спросила грустно:

— Ян, что делать-то? Она ведь мама моя.

— Ну, мамы разные бывают, — хмыкнула Янка. — И дети, кстати, тоже. Посмотрела бы я на Степановну, если бы ты не была такой пай-девочкой, а пошла вразнос. Может, это... О! Ввались к ней домой пьяная, для разнообразия! И по коврам ее — в грязных ботинках, а? Или где-нибудь во дворе упади с песнями и матюгами, чтобы все соседи видели и слышали!

— Ф-фу, Костромина!

— А что? Ох, я бы посмотрела на ее физиономию! — продолжала веселиться подруга. — Представляю, как она визжит: «Позор! Позор!» И волосья ее идеальные растрепаны с перепугу!

Таня поневоле улыбнулась. Янкины пантомимы всегда помогали сменить угол зрения, посмотреть на любую ситуацию с другой, комичной стороны. Танина тоска просветлела, растаяла, но обида на мать волком смотрела из темного угла души.

— Ну что, полегче стало? — Яна села рядом, на кровать. Повернулась к подруге, сказала, враз посерьезнев: — Если хочешь знать, что делать, мое мнение таково: хватит цацкаться со Степановной! Прекращай к ней подлизываться, ты же видишь, она не ценит. Прекращай финансировать ее хотелки. Обидится — да и ладно. Проклянет — переживешь. Я бы на твоём месте вообще перестала с ней общаться, раз она только и умеет, что нервы трепать.

— Ну не могу же я мать бросить... — уныло сказала Таня.

— Никто никого не бросает, просто двум взрослым людям не по пути. Так бывает, сама

знаешь. И пусть на этот счет твоя совесть будет спокойна. Она так с тобой поступает, что ты имеешь полнейшее право с ней не общаться. Если, не дай бог, заболит — поможешь, состарится — будешь опекать сама или наймешь сиделку. Но пока она в добром здравии и полна сил настолько, что спокойно поднимает руку на дочь, не пойти ли ей, а?...

Татьяна вдруг успокоилась. Слезы окончательно высохли, будто боль, питавшая этот источник, исчезла без следа. Может быть, потому, что предложенный Янкой выход был хоть и не самым лучшим с точки зрения морали, но зато реальным, правильным?

— И вообще — живи своим умом, не оглядывайся на мать, — продолжала подруга. — Хочешь взять ребенка — бери, и никого не спрашивай.

— Я и не собиралась, — мотнула головой Таня. — Просто знаешь, что обидно? Я так хотела всегда, чтобы у моих детей была бабушка. Добрая, заботливая, от которой тепло, как от русской печки. Которая любила бы их просто за то, что они дети и нуждаются в любви. А мать... Она же заранее ненавидит моего ребенка! Для нее приемный — как прокаженный. Как с тавром на лбу — «третий сорт». И получается, что из-за этого ее дурацкого предубеждения я должна всю жизнь прожить без детей, если своих родить не смогу? То есть я не буду счастлива, и ребенок, которому я могла бы стать хорошей мамой, будет расти в детдоме или у таких вот родителей, как Пашины — которые бьют, не кормят... Как минимум две судьбы будут поломаны — зато моя мать будет блаженствовать! Как так, Яна? У меня в голове это не укладывается!

— Ну, подруга, ты выбирай уже, — вздернула бровь Яна.

— Да выбрала! — с вызовом ответила Таня. — Усыновлю ребенка и буду растить его без бабушки. Если нужно — то и без мужа. Всё, надоело! Стараюсь для них, как лучше хочу — а им, получается, вообще плевать на меня и мою жизнь! Янка, как я устала, Боже мой, как же я устала...

Обессиленная, она облокотилась на спинку больничной кровати, вздрогнула от прикосновения к холодному металлу. И тут же пискнул телефон. Таня неохотно вынула его из кармана — ну кто там еще? Ей совершенно не хотелось общаться с кем-то кроме лучшей подруги.

Сообщение, белевшее на экране, было от Залесского. «Буду через 10 минут, встречайте в приемном», — писал он. «Ох, ничего себе... А мне еще нужно умыться — от этих слез, наверное, вся тушь размазалась, — спохватилась Таня, но тут же сникла, — хотя какая ему разница, как я выгляжу. У нас же чисто деловой разговор будет».

— Ладно, проехали, — сказала она Янке, с трудом вставая с кровати. Тело было невероятно тяжелым, будто одетым в водолазный скафандр. — Ты можешь спуститься со мной в приемник? Я жду одного человека.

— Макса? — нахмурилась Яна. — Тоже с удовольствием бы с ним побеседовала о состоянии твоего здоровья.

— Нет, адвоката.

— Божечки, зачем тебе адвокат? — ужаснулась лучшая подруга.

— Незачем, — поспешила успокоить подругу Таня. — Просто это он нашел мальчика, которого я хочу усыновить.

— Слушай, да! Расскажи мне хоть, что за пацан! — оживилась Янка. — Хороший?

— Яна! — одернула подругу Таня. — Что значит — хороший? Он просто ребенок.

— Ну, не цепляйся к словам! Симпатичный хоть? Умненький?

— Ты о чем вообще? Достаточно того, что ему нужна помощь, — отрезала Татьяна. Но

тут же смягчилась, — Хороший, конечно. Видела бы ты его!

— Познакомь хоть, — хмыкнула Яна. — И взвесь все за и против. А вообще может у него родственники нормальные найдутся, заберут мальчишку себе. С чего ты решила, что тебе его отдадут?

— Об этом я и хочу поговорить с Залесским, — призналась Таня.

Янка все-таки устроила разнос лаборанткам. Стоя возле сестринского поста и слушая, как она отчитывает их по телефону, Таня чувствовала, как успокаивается. «Что-то я совсем духом пала, — подумала она. — Слабая, сама себя защитить не могу... Спасибо, хоть Янка поддерживает. Но все равно, нужно как-то брать себя в руки. А то так и буду чувствовать себя ежом без колючек».

— Пойдем, — Янка мотнула головой в сторону двери. И добавила удовлетворенно, — все в порядке с твоей кровушкой, эти лентяйки мне по телефону цифры продиктовали. Но и гонца с бумажками уже отправили к нам! Если хочешь, попозже сама посмотри. Да, и я своих предупредила, что сама буду тебя вести как пациентку. Так что вечером, как приду на смену, сразу на осмотр!

— Хорошо, — покорила Таня. — Ян, спасибо тебе.

— Ну вот еще! — фыркнула та. — Шевелись давай, нехорошо заставлять себя ждать. Тем более, если встреча с адвокатом.

Лифт полз медленно, останавливаясь на каждом этаже — собирал загостившихся посетителей, выпускал пациентов. Янка нетерпеливо приплясывала, как разгоряченная кобылка. «Ты смотри, не теряйся, если адвокат этот нормальным мужиком окажется», — шептала она Тане.

Залесского в приемном не было. Они встали возле поста охранника — тот находился недалеко от входной двери. Сам охранник сидел тут же, за обшарпанным, серо-желтым деревянным столом. От стоявшего перед ним пластикового стаканчика поднимался сладкий кофейный пар, и Тане до жути захотелось горячего напитка — может, после него она перестанет чувствовать себя квашней? Она подумала взять его в стоящем здесь же автомате, но засомневалась: как-то неудобно, Залесский придет, а они с Янкой кофе тут распивают... Или наоборот — взять сразу третью чашку, угостить его? Все-таки человек бросил свои дела, согласился приехать...

— Смотри-ка, ты ведь свой обновить хотела... — Яна, кивнув на экран телевизора, укрепленного на стене. Там показывали рекламу смартфона.

— Хотела, да только выбрать не могу. Поди в них, разберись...

— Да, каждый новый смартфон теперь рекламируют, как новую книгу Коэльо, — саркастично произнесла Яна. — "Теперь еще умнее, и еще тоньше!"

Таня улыбнулась, от нечего делать глядя в экран. Из-за спины пахло хорошим мужским парфюмом — жгучий имбирь, цитрус, амбра — с примешанным к ним легким запахом табака. И в ту же секунду раздался уверенный бас:

— Добрый день!

Подруги разом обернулись. На них смотрел высокий статный мужчина в распахнутой черной дубленке тонкой выделки, из-под которой виднелся темно-серый двубортный костюм с широким вырезом, и накрахмаленная горловина иссиня-белой рубашки. Узел шелкового галстука цвета малины был шире и свободнее, чем нужно, но эта нарочитая небрежность придавала его владельцу особый шарм. Начищенные ботинки глянцево поблескивали. Мужчина был идеально выбрит, темно-каштановые волосы аккуратно причесаны. Залесский выглядел так, будто собрался, по меньшей мере, на прием в Кремль. Он держался очень прямо, осанисто — и все же не кукольно-сковано, как бывает при

подобных перевоплощениях. И если бы не торт его в руке, Таня не сразу бы узнала вчерашнего «бомжа», которого чуть не побила по недоразумению.

— Дамы! — учтиво поклонился он. В янтарно-карих глазах плеснуло довольство — адвокат явно наслаждался произведенным впечатлением. «Один — один, — подумала Таня. — А я-то еще за шиворот ему лазила... Теперь моя очередь извиняться за свой внешний вид». Рядом с этим франтом она еще острее ощутила убогость казенного халата, в который пришлось обрядиться. Но Залесский смотрел на нее без тени превосходства, а наоборот — спокойно и с симпатией.

— Здравствуйте, Юрий Борисович, — собравшись с духом, сказала она. — Это моя подруга, Яна Леонидовна Костромина. Тоже врачом у нас работает. Правда, сейчас не на смене, вот, зашла меня навестить...

Залесский коротко кивнул, окинул Янку взглядом. Она протянула руку:

— Очень рада! Вы могли бы сдать дубленку в гардероб? А мы с Таней здесь подождем.

— Конечно, — с готовностью согласился Юрий. — Только, пожалуйста, я оставлю вам гостинцы для мальчика. А вы пока посмотрите, всё ли из этого ему можно — я, понимаете ли, вообще не знаю, чем кормят детей...

Он вручил Тане торт и пухлобокий пакет — судя по его размеру, там лежал небольшой мамонт. С одобрением глянув в удаляющуюся спину Залесского, она заглянула внутрь: груши-яблоки, ванночка с творожным сыром, колбаса в нарезке, банка красной икры, круглые кунжутные булочки, двухлитровый тетрапак с соком. Сверху лежала пицца устрашающих размеров, бутыль колы и несколько больших чупа-чупсов. Таня протянула было руку, чтобы изъять газировку и конфеты как потенциально вредные для Павликова желудка, но Янка толкнула ее локтем в бок.

— Ты чего? — Таня едва не выронила пакет.

— Слууушай, какой мужииик!.. — восхищенно выдохнула Яна. — Вот от кого рожать-то надо! И не фыркай на меня, я бы задумалась на твоём месте...

— Тьфу ты! — рассердилась Татьяна. — Разреши напомнить, что я замужем. Не знаю, надолго ли — но замужем. А этого человека я вчера впервые увидела, и отнюдь не при романтических обстоятельствах.

— Зато он не окольцован, и детей нет, сам сказал. И смотрит на тебя...

— Нормально он на меня смотрит. Обычно. Не выдумывай. И хвати об этом, он возвращается уже.

Яна открыла было рот — ее не так-то просто было заставить замолчать, когда ей что-то в голову втемяшивалось. Но Танин взгляд, полный укоризны, остановил поток матримониальных аргументов.

— Ну что, контрафакт все-таки обнаружен? — спросил, подходя, Залесский. — Запомню, что конфеты и газировку пацану не приносить.

«Значит, намеревается прийти еще», — подумала Таня, и это понимание расположило ее к Залесскому еще больше. Они будто стали на одну сторону — сторону равнодушия к чужому ребенку. И от этого вмиг прошел и стыд, и ершистость.

— Позвольте? — адвокат забрал из ее рук торт и пакет с продуктами. — Я кое-что узнал о мальчике, можем мы сейчас это обсудить?

— Конечно! — заторопилась Таня. — Здесь? Или, если хотите, у Яны в кабинете.

— Да, собственно, можно и здесь — информации не так много. Мальчика зовут Павел Фирзин, он учится в двадцать девятой школе, живет с мамой. Семья малообеспеченная, мама

работает продавцом, проживают они в старом бараке — знаете эти постройки пятидесятих годов в районе Машзавода? Адрес у меня есть, намереваюсь съездить туда сегодня, узнать побольше. Судя по всему, мальчишка из дома сбежал...

Увлечшись его рассказом о поездке на охотничью заимку и найденных там вещах, Татьяна не замечала, что Янка исподволь поглядывает на нее и на Залесского, не вмешиваясь в беседу — будто наблюдая.

— Вы извините, — вдруг сказала она. — Я же забыла совсем — мне нужно детей из кинотеатра встретить. Побегу, а с мальчиком позже познакомлюсь. Вдруг это мой будущий крестник, — улыбнулась она.

Залесский вскинул бровь, недоумевающе глянул на Таню. Она поспешила перевести тему:

— Спасибо, что занимаетесь этим делом. Без вашей помощи оно продвигалось бы медленнее. Я пока что смогла вытянуть из найденьша только его имя.

— Интересно, как вам удалось? — удивился Залесский. — Вчера мне показалось, что он решил молчать, как партизан в тылу врага.

Они пошли к лифту. В нем никого не было, и Таня, чуть поколебавшись, все-таки нажала на кнопку пятого — в ее палате они смогут поговорить спокойно.

— У меня к вам несколько личных вопросов, — решительно сказала она. — Как к юристу. Консультация нужна, если хотите. Срочная. Оплату готова вам на карту хоть сейчас перевести, только скажите, сколько...

— Дорого. Очень. Вам придется взять микрокредит, — перебил ее Залесский. И пояснил, видя ее растерянность, — Я, конечно, шучу. Но ваше желание оплачивать каждый мой шаг кажется мне забавным. Вот только я не на работе, и если смогу ответить на ваши вопросы сейчас, то сделаю это бесплатно. Если потребуется более трудозатратная помощь, ознакомлю вас с преискурантом. Пойдет?

— Да. Извините, — щеки Татьяны налились румянцем.

Он давно не видел женщин, которые краснели бы так легко.

— Вы сказали, мальчик живет со своей матерью. И вот я хотела спросить... Понимаете, он ведь избит... За такое родительских прав должны лишать... — Таня поняла, что ее решительность, которая еще минуту назад была столь сильной, испарилась почти без остатка. И теперь она чувствовала себя глупой мямлей, а Залесский смотрел на нее с непроницаемым видом.

Дверь ее палаты была закрыта плотно, и разговору никто не мог помешать, и никто не сбивал ее с мыслей, но Татьяна всё не могла подобрать слова. «А вдруг я поступаю неправильно?» — вместе с сомнением мысль принесла и отчаяние — будто в тупик завела. «Что делать? Может быть, пока не говорить с ним об усыновлении, обдумать все еще раз? Но время идет, завтра же в больницу могут прийти представители опеки... И что с Павликом будет дальше? Если его решат изъять из семьи, то куда — в детдом? Не место ему там, как и моей трусости сейчас — не место...»

Залесский сидел напротив нее, за небольшим квадратным столом, на котором Янка оставила принесенные из магазина пакеты с провизией. «Сейчас подумает, что это я много ем», — ужаснулась Таня, окончательно сникла и спросила виновато:

— Может, сперва чаю? Тут пирожки есть, Яна принесла...

Залесский отрицательно мотнул головой, в янтарных глазах мелькнула жалость.

— Не надо меня стесняться, — мягко сказал он. — Юристу, как врачу, стоит рассказать только правду. Я правильно понял: вы хотите, чтобы этого ребенка изолировали от родителей?

— Мне хочется ему помочь. Ведь он сбежал из дома зимой, в мороз — на такое ведь можно решиться только если край приходит! Если бы не вы, мальчик вообще мог погибнуть. А случилось всё это, скорее всего, из-за жестокости его родителей! — Татьяна вновь почувствовала, как сильно злится от одного только воспоминания о следах ремня на худеньком теле ребенка. — Мой коллега Виктор Купченко, который принимал Пашу в наше отделение, подтверждает, что тот избит. Об этом сообщили в полицию, те обещали найти родителей ребенка. Но теперь-то вы выяснили, кто он, где живет, так что нет необходимости кого-то искать! Как представитель учреждения здравоохранения, я имею право обратиться в органы опеки и в суд для того, чтобы привлечь родителей Паши к ответственности и лишить их прав.

— Но вас что-то останавливает, — констатировал Залесский.

— Я никогда еще не участвовала в подобных процессах, — призналась Таня. — Как все это происходит? Нам в институте рассказывали только лишь про возможное участие педагога-психолога в делах такого рода...

— Сейчас не понял. Вы же, вроде бы, врач-педиатр? — нахмурил брови адвокат.

— У меня два образования, — пояснила Таня, сцепляя пальцы в замок, чтобы унять противную дрожь в руках. «Успокойся, — попросила она себя. — Он нормальный человек, а что к словам цепляется — так это особенность профессии. Юрист и в этом тоже как врач — не должен упускать мелочей». Этот аргумент подействовал, и Татьяна заговорила смелее:

— Так вот, я хотела спросить — если я подам такое заявление, мальчика сразу же заберут у родителей?

— Ну, если эта семья состоит на учете в органах опеки, если до этого момента были официально зафиксированы какие-то проблемы, велась работа с законными представителями мальчика, а они, допустим, выпивают, не обеспечивают сына — то да, ребенка могут изъять, — ответил Залесский. — Но и то — до выяснения обстоятельств. Просто так лишать родительских прав никто никого не будет.

— Но ведь следы ремня...

— Послушайте, — терпеливо сказал адвокат, — мы же ничего не знаем о том, что произошло. Мальчишка скрытничает. А это значит, что он либо надеется подольше не возвращаться домой, играя в потерю памяти, либо кого-то прикрывает — к примеру, мать. Он же знает, что врачи видели синяки, и не хочет, чтобы кто-то начал с этим разбираться, вызывать родителей... Да и я не уверен, что его именно мама избилла. Профессиональная интуиция, если хотите. И потом, ремень, да еще до синяков на теле — это, извините, скорее мужской почерк.

— Тут, знаете, еще одна странность есть, — Татьяна торопливо встала, метнулась к тумбочке, в которой лежали рисунки Павлика.

Залесский заинтересованно повернулся за ней, протянул руку, принимая раскрашенные листки. Таня встала рядом, взволнованно заговорила, тыча пальцем в детали рисунка:

— Вот смотрите, я попросила Пашу нарисовать дом, дерево и человека. Это стандартный психологический тест для детей. Видите, мальчик себя очень маленьким изобразил — это говорит о том, что у него очень низкая самооценка, и своей значимости для семьи он не чувствует. Скорее, ощущает себя там лишним, и это может быть одной из причин его побега из дома. Обратите внимание, что на рисунке у ребенка глаза закрыты, он будто не хочет чего-то видеть, боится. И рта у него нет, а это признак того, что мальчику не дают выразить собственное мнение. Дальше: рядом с мальчиком огромный человек, и он отделяет его от матери. Она изображена в стороне, и очень безучастной — смотрит перед собой, не на сына, будто не хочет замечать, что происходит между ним и отцом, или будто не вмешивается в их отношения, никак себя не проявляет.

Залесский присмотрелся внимательнее. Рисунок вызывал странные чувства — вроде обычная детская мазня, но веяло от неё совсем не детской тревогой и безысходностью.

— При этом мать в красивой одежде, и смотрите, как детально Паша ее нарисовал, — продолжала Татьяна. — А когда деталей много, это признак того, что ребенок много думает об этом персонаже своего рисунка. Длинные волосы у матери указывают на то, что она важна для мальчика, но за руки они не держатся — похоже, в жизни контакт у них плохой. А вот этот монстр между ними: смотрите, он же изображен человеком, но какая у него пасть: зубы огромные, большой рот — все это источники агрессии, угрозы. И ведь именно этот человек нападает на мальчика, видите, как у него кулаки подняты? Так что я тоже думаю, это не мать Пашу бьет. Это отец или отчим. А, может, дед. Но вот что странно: видите, позади этого монстра как будто нора, или вход в пещеру? А дом мальчика стоит отдельно... Такое ощущение, что этот монстр — человек пришлый, не член семьи. Но я могу ошибаться. И обратите еще внимание на то, какие цвета мальчик выбирает — много коричневого, синего, грязно-зеленого. Это подавленность, депрессивное состояние...

Татьяна наклонилась еще ниже, прядь ее волос соскользнула вниз. Залесский машинально поднял руку, по-свойски заправил этот невесомый шелк ей за ухо. Как проделывал такое сотни раз со спело-ржаными локонами, которые выбивались из-под бабушкиного гребня — длинного, но редкозубого, вечно прощелкивавшего лившиеся из-под

него мягкие волны. Или с прямыми прядями Петровны, жесткими и усталыми от хны — во времена, когда они еще не отрасли настолько, чтобы запереть их в тугую дулю, мостящуюся на самом затылке.

Таня вдруг замолчала, палец застыл на бумаге. Вся она превратилась в склоненную статую — и казалась бы соляным столпом, если бы не поистине свекольный румянец, миглом захлестнувший щеку и кончик носа. Глядя на это зарево, Залесский сообразил, что сделал — и, к ужасу своему, понял, что тоже начинает краснеть.

— Извините! — отпрянул он, не зная, куда девать нашкодившую руку.

Взрыв к вискам, Танины пальцы зарылись в волосы, пытаясь зачесать их назад, скрутить вместе — ту же, ту же!.. «Он так просто до меня дотронулся — даже не спросил, можно ли... Конечно, такой красавчик! Привык, наверное, что женщины ему все позволяют... — Но на смену ее безмолвному возмущению мгновенно пришел стыд: — да и я хороша, свесила свои лохмы чуть не ему в лицо...»

— Это вы извините, — пролепетала Татьяна, не глядя на Юрия. И понесла уже совершеннейшую чушь, — я стараюсь следить за собой, вы не думайте... просто в больнице для этого условий нет... совсем нет возможности сделать нормальную прическу...

— Перестаньте, вы прекрасно выглядите! Даже в этом чудовищном халате, — ляпнул Залесский прежде, чем до него дошла вся двусмысленность комплимента. Он попытался спастись, начал молотить, частя и сбиваясь, что насчет халата он совсем не то имел в виду, халаты эти вообще к людям отношения не имеют, а уж к ее красоте и подавно, но вот кто их шьет, эти халаты — тем руки бы оторвать... И что совсем не хотел ее смутить, слушать очень интересно, и надо же, сколько всего можно узнать по рисунку... И что волосы ее — то, чем гордиться можно, и сама она очень симпатичная женщина, и в любой одежде такой останется...

— Не надо, — тихо попросила Таня. И глянула исподлобья, будто пойманная птица, зажата в кулаке, которая уже не собирается клеваться и пищать — смирилась с судьбой, сникла. И взгляд этот был — уявь бездонная, в которой тускнел удрученный, приниженный, безропотный стыд за нелюбимую, недооцененную себя. «Думает, что она некрасива, — понял Залесский. — Наступил, неуклюжее животное, на больное... А потом и сплясал на нем, толстокожий гаер...» Ему безумно захотелось разубедить ее, доказать, что вот такая она — домашняя, без косметики и скованного лаком вавилоня на голове — дай Бог каждому мужчине. И не всем же быть модно-костлявыми, без заметных выпуклостей там, где задерживается самцовый взгляд! И он даже открыл рот, чтобы сказать что-то такое, но тут перед глазами встала Геля — с ярко намазанным ртом, напудренная, искусственно-тонкобровая — ненависть его и бывшая любовь. Такая другая по сравнению с Таней, не способная выдержать этого сравнения. Ненстоящая и ненужная, как бумажный, ядовито-яркий зонтик в стакане коктейля — мнимая красота, которую не терпится выкинуть.

А Таня была из той же категории женщин, что и мягкая, любящая, надежная и нужная, как хлеб, бабушка Юры. Что и Петровна. А еще те, что с первого дня, как бы ни приходилось трудно в жизни, оставались женами Юриных немногочисленных друзей. Оплот очага, семейная опора. Такие не предают, такие — ценят. И любовь для них — не возня на простынях, не владение семейным портмоне, не наслаждение мужским покорством. Что-то большее, и совершенно другое.

«Мне бы встретить тогда, в юности, такую — и дед наверняка прожил бы дольше. Да и сам я был бы теперь устроен, а не чурался брака, как принявший постриг монах». И

Залесский так остро ощутил толщину невидимой стены, стоявшей между ним, бобылем по доброй воле, и Таней, словно созданной для житья дружного, кучного, семейного, что ему захотелось раззнакомиться с ней, удрать в привычное свое одиночество. И там справиться с этой, внезапно нахлынувшей, тоской.

— Юрий Борисович, давайте, всё-таки, чаю, — вздохнула Таня, и на этот раз он затряс головой, как кивок на зимней удочке. «А всё от того, что с разговора о деле сбился, — ругал он себя, провожая взглядом выходящую из палаты Таню, — она к тебе, как к юристу, а ты комплиментами сыплешь, словно герой-любовник из плохого водевиля. Вот вернется — и сразу о мальчишке ей, в законах ты на порядок лучше разбираешься, чем в тонкостях общения с женщинами».

И он действительно начал говорить о ребенке, как только она вернулась с двумя казенными чашками, где в горячей, жадно впитывающей их аромат и вкус, воде бестолково сутились черные чайники.

— Не дело, конечно, что мальчик избит — да я бы сам того «воспитателя» ремнем отутюжил, чтобы у него руки чесаться перестали! — но пока мы не уверены, что его били родители, гарантии изъятия нет никакой. Еще узнаю сегодня же, случилось ли раньше что-то, из-за чего семью могли признать неблагополучной. Проверю, велась ли с родителями Паши какая-то профилактическая работа. Поговорю с его матерью — может быть, она и не так виновата, как вам, Татьяна, кажется...

— Но она же не ищет сына, верно? — жестко спросила Таня. — Если бы искала, обратилась бы в полицию. Он ведь несовершеннолетний, а, насколько я знаю, таких должны брать в розыск сразу, не дожидаясь, пока с момента пропажи пройдет трое суток. Зная, что у нас в больнице находится подходящий под приметы мальчик, полиция сразу направила бы ее сюда.

— Да, вы правы. И если окажется, что матери на него плевать, я сам помогу вам инициировать судебный процесс. Конечно, вряд ли Паше будет так уж хорошо в детдоме...

— Какой детдом, вы что? — ахнула Татьяна, со стуком поставив чашку на стол. — Пусть он пока у нас побудет, подлечится, а за это время нужно с ситуацией разобраться. И если все-таки семья у него проблемная, я Пашу заберу. Можно ведь усыновить ребенка сразу же после того, как его родителей прав лишили?

«Усыновить. Ничего себе поворот!» — И память Залесского услужливо вытолкнула слова Таниной подруги: «мой будущий крестник».

— Подождите, подождите... — он забарабанил пальцами по столу. — Вы серьезно? Вы же только вчера его впервые увидели.

— И что? Мне спокойно смотреть на его синяки? Я сама в детстве прошла через такое, и была бы счастлива, если бы меня кто-то забрал от моих родителей! — выпалила Таня.

— Успокойтесь, импульсивность в таких делах не лучший советчик! — предостерег адвокат. — И не факт, что этот мальчик чувствует то же самое, что ощущали вы в детстве. Да и вам нужно не три, а тридцать три раза все обдумать. Приемный ребенок, да еще и не в младенческом возрасте — это не так просто. Скажите, у вас есть свои дети?

По тому, как она вспыхнула, как поникла плечами, как заметался ее взгляд — отчаянно, словно мотылек у лампы — Залесский понял, что опять сморозил какую-то жестокую глупость. Но Татьяна быстро взяла себя в руки и ответила с разоружающей честностью:

— Нет, и вряд ли будут. Из-за этого я здесь и лежу. Но не думайте, что я хочу забрать Пашу только потому, что не могу родить сама.

— Господь с вами, я не об этом! — адвокат поднял руки, будто сдаваясь. — Я спросил, потому что хотел понять, есть ли у вас опыт воспитания ребенка. А-а, неважно... Просто хочу предостеречь: не привязывайтесь к этому мальчику, вдруг с усыновлением ничего не выйдет? Потому что если суд не найдет достаточных оснований для лишения, то родителей могут лишь временно ограничить в правах. А это значит, что ребенку либо назначат опекуна, скорее всего, кого-то из родственников. Либо заберут во временное место пребывания — скорее всего, в детдом. И у его родителей будет полгода для того, чтобы исправиться, загладить свою вину и наладить контакт с сыном. Если они это сделают, ребенок будет возвращен им, и ни о каком усыновлении речи быть не может.

— Ну да, а пройдет еще какое-то время, и они снова начнут его бить. Законы у нас — просто блеск! — съязвила Таня.

— На всех не угодишь, — пожал плечами Залесский. — Вообще система несовершенна, это факт. Я сталкивался с этим, когда работал в милиции — тогда она еще так называлась. Знаете, придет, бывало, женщина, умоляет: сын из дома убежал, найдите. И мы ищем. Раз, другой, двенадцатый. Уже и в детскую комнату милиции сообщили, и профилактических бесед массу провели — а он все бегаёт. Спросите, почему? Не бьют родители, кормят, одевают-обувают — а ему просто дома не нравится, вот и вся причина. Свободы хочет, семейные порядки не устраивают, характер так проявляет, в конце концов... А на цепь ведь ребенка не посадишь! Но семью на учет ставят. Получается, из-за того, что родителям на ребенка не наплевать было, беспокоились за него, вот милицию и вызывали.

Или наоборот. Живет семья, родители — забулдыги, работают где-нибудь за копейки, существуют непонятно на что, но дети вроде как при них. И даже в школу ходят, учатся худо-бедно. А после школы бутылки собирают, потому что дома не еда, а закуска, и то вся посчитана. Или по рынку шатаются в надежде, что кто-нибудь накормит. И не жалуется, не рассказывают никому, что дома творится. И вроде как формального повода для того, чтобы семью эту на учет взяли, просто нет.

Он повертел в руках пустую чашку, отставил ее в сторону. Таня смотрела на него в упор, и выражение ее лица было почти страдальческим. «Ведь всю дорогу её расстраиваю, как специально... — с огорчением подумал Юрий и смущено пригладил волосы. — А ведь она хорошее дело затеяла! Если с этим мальчишкой не получится, все равно чью-то детскую жизнь изменит. Видно, что решительная».

— Это, конечно, крайности я вам озвучил, — он заерзал, лихорадочно соображая, как настроить ее на правильный лад — чтобы не витала в облаках, а знала, как всё происходит на самом деле. — Но зато теперь вы понимаете, что в семейных делах не все так просто, как кажется. Сейчас-то уж ситуация поменялась. Во всех школах психологи, некоторые педагоги по домам учеников ходят, смотрят, в каких условиях дети живут. Если что-то подозрительное видят, могут сообщить в социальные службы. Но для этого нужно неравнодушным человеком быть, и не для галочки ходить по этим квартирам. И еще не бояться, что тебе родители ребенка мстить начнут. Ведь маргиналы что угодно выкинуть могут, им терять-то нечего...

— А может, все-таки попробуем поговорить с Пашей? — несмело спросила Татьяна. — Так хочется, чтобы он сам рассказал правду... Мне он, вроде бы, начал доверять. И вам наверняка благодарен, вы же его спасли. Поговорите по-мужски, а? Может быть, вы будете для него более убедительным, чем я?

— Давайте попробуем, — сказал адвокат, вставая. — И не забудьте торт. Возможно, он

сойдет и в качестве взятки.

«А мальчишка-то — кремень, — думал Залесский, вырвав с больничной стоянки. — Так и не рассказал ничего о том, кто его избил. И о семье молчит. А хитрый какой: мне, мол, тетя Таня говорила, что в детдом меня не заберут, пока в больнице лежу, а за это время, наверное, память вернется. Наивно это, и так по-детски...».

Звонок сотового прервал течение его мыслей. Юрий глянул на дорогу: чисто, только далеко впереди желтеет корма автобуса. Достал телефон, прижал к уху, ведя машину одной рукой. Звонил Андрей Кузьменко, напарник по адвокатской практике:

— Здорово, дружище! Ну, ты как, наотдыхался уже? Всю рыбу из окрестных озер выловил? — в голосе Кузьменко сквозила доброжелательная усмешка. — Тут Биктимиров рвет и мечет, тебя требует!

Инель Фаритович Биктимиров был одним из клиентов фирмы, владельцем ювелирной мастерской, который давно и безуспешно пытался отвоевать у брата авторское право на дизайн некоторых драгоценностей. Глупое занятие, если учесть, что особых дизайнерских изысков для этих побрякушек никем из братьев придумано не было: вполне себе стандартные вещицы. Впрочем, Залесский давно понял, что Биктимиров просто стремился подсолить жизнь брату, таская того по судам.

— Я, конечно, соболезную тебе всей душой, — продолжал Кузьменко, — но у него в понедельник очередной суд, и этот затейник хочет, чтобы ты на нем присутствовал.

— Скучотища, — делано зевнул Залесский. — Но если хочет, буду. Я же все равно в понедельник из отпуска планировал выходить.

— Даже не знаю, порадоваться за тебя, или посочувствовать! Ну, ждём!

«Пока в этом мире людей интересуют деньги, имущество, свобода, месть, в конце концов, у меня всегда будет работа, — думал Юрий, пряча умолкший телефон в карман. — Хотя... Вот Татьяну интересуется, как помочь другому человеку, чужому ребенку. Надо же, даже усыновить готова! Впрочем, почему бы и нет? Ведь я сам брал с улицы кошек и собак, чтобы они не погибли».

Залесский тут же одернул себя — ну как можно сравнивать ребенка с собаками-кошками? Глупейшая мысль; что-то их, таких, многовато сегодня. Да, при Тане он почему-то чувствовал себя глупо — может, оттого, что в первую встречу она набросилась на него с кулаками, а не стала выпускать коготки кокетства, как многие другие женщины? И вот сейчас, в больнице, интересовалась только судьбой мальчика. И в палате вела себя, как настоящая мамашка. Отрезала лишь небольшой кусочек торта, хотя парень был готов умять его полностью. Уговорила мальчишку почистить зубы после сладкого. Принесла градусник, чтобы померить ему температуру. А когда парень заныл, что в одиночестве ему скучно, осталась в палате играть с ним в лото. И все подтыкала, подтыкала ему одеяло...

В памяти почему-то всплыла морда попавшего под машину Бима, его загипсованный крестец, бесконечные поездки в ветклинику, и то, какой тяжелой была собака, когда Залесский таскал ее на руках и переворачивал, меняя памперсы... «Все-таки я циничная скотина, — обругал он себя, поняв, что всё так же проводит параллели между своей любовью к животным и Таниным чадолюбием. — Но только от перемены названия суть не меняется. Если кто-то в беде, не важно, как его вытаскивать — за лапу или за руку».

Занятый этими мыслями и дорогой, на которую снова начал падать хрусткий январский

снег, плясавший в свете фар мятежную альбиносью джигу, Залесский и не заметил, как добрался до нужного адреса. Вышел из своей темно-синей «Ауди», осмотрелся. Длинный, некогда ярко-синий, барак — приземистый, в один этаж — тускло желтел облупившимися окнами. Кривое крыльцо, освещенное слабосильной лампочкой, было залито чем-то коричневым, отвратительным даже на вид. Слева от него, почти у самой стены, тосковал под снежным горбом старый «жигуль», зиял выбитыми стеклами. Дорожка, протоптанная к крыльцу, была неровной и узкой — двоим не разойтись.

Налетевший ветер задрал кусок рубероида, обнажив ребристую изнанку крыши, а потом хлопнул им так, что, казалось, весь барак содрогнулся. Подняв воротник своей тонкой дубленки — хоть бы переделся, фронт! — Залесский понесся к двери барака: очень уж хотелось в тепло. Но, оказавшись в небольшом тамбуре, по обе стороны от которого раскинулись два длинных рукава-коридора, понял: холод здесь почти такой же, как на улице, только вместо ветра — сквозняк.

Юрист поискал глазами дверь с нужным номером, постучался раз, другой. Глухой щелчок отвлек его — на кожаном плече дубленки блестела крупная капля. Серые от гнили потолочные доски набухли от воды, но угол меж стеной и потолком — кривой, будто барак оседал на одну сторону — промерз и поседел от инея. Залесский чуть отодвинулся и снова постучал в дверь. Какая-то жизнь за ней была: ухо улавливало еле слышно бубнящий телевизор, протяжный скрип половых досок. Наконец, замок тихо клацнул и на пороге появилась женщина. Уставшая, худая до изможденности, кутающаяся в черную стеганую безрукавку — длинную, явно с чужого плеча. Рукава толстого свитера спускались до середины ладоней, выдавшие виды джинсы были заправлены в черные валяные опорки. Светлые волосы собраны в патлатый хвост, переброшенный на грудь и спускавшийся почти до пояса. На левой скуле и возле глаза — багровые пятна, которые не мог скрыть даже толстый слой тональника.

— Вам кого? — с подозрением спросила она, глядя неприязненно, с плохо скрытым страхом. Чуть слышный запах — сегодняшнее пиво, или вчерашнее «что покрепче»? — заставил адвоката поморщиться.

— Вы мама Паши Фирзина? — спросил он.

По тому, как быстро она оглянулась, как испуганно шмыгнула взглядом вглубь квартиры, как стремительно выскочила к нему, плотно закрыв за собой дверь, адвокат понял — кто-то еще есть в доме, кто-то, кому не нужно слышать их разговор.

— С Павликом что-то случилось? — встревожено спросила женщина.

Теперь оторопел Залесский.

— Вы хотя бы знаете, где ваш сын? — озадаченно спросил он.

— Конечно! У бабки он, — женщина ответила так спокойно, что Залесский понял: не врет. Действительно думает, что ребенок у родственников.

— К сожалению, это не так. Паша попал в больницу.

Женщина прижала ладонь к губам, глаза ее расширились, уставились на Залесского с мольбой.

— Что с ним случилось? Он жив?

— Да успокойтесь вы! Жив, конечно, — теперь адвокат был до конца уверен, что мальчишку избила не она. — Простыл и колено вывихнул, сейчас его лечат. Угрозы для жизни нет.

Ее тревога уменьшилась, но не ушла совсем.

— А вы кто?

— Меня зовут Юрий Борисович Залесский, я адвокат. Так получилось, что это я нашел Пашу и привез в больницу.

— Где нашли? — она хмуро повела бровью.

— Далеко от города.

— Но он записку оставил, что поживет у бабушки... — растерянно сказала женщина.

— Может быть, мы поговорим у вас дома? — предложил Залесский.

Ее взгляд снова наполнился испугом, она быстро замотала головой.

— Нет, давайте лучше здесь. В какой больнице Паша? В нашей, городской?

Адвокат сунул руки в карманы дубленки, склонил голову к плечу. Посмотрел пронзительно-долго, будто изучая. Бухнул, внимательно глядя ей в глаза:

— Скажите, кто избивает вашего сына?

Она коротко вдохнула — словно беззвучно вскрикнула. Плотнее закуталась в безрукавку, взгляд испуганной мышью побежал по полу. Адвокат стал еще напористее:

— Скажите лучше сами, я все равно узнаю. Жестокое обращение с ребенком — это подсудное дело. Полиция уже в курсе, что он избит. Лучше расскажите правду, иначе обвинять будут вас или вашего мужа.

— У меня нет мужа, — пробормотала она. — И Павлика я не трогала.

— А кто тогда?

— Почему я знаю! — разозлилась она. И Залесский понял — врет, покрывает кого-то.

— Слушайте, ну вы же мать! Найдите в себе смелость, расскажите всё, и мы найдем способ защитить мальчика, если сами вы по какой-то причине не можете это сделать.

Она угрюмо молчала, но было видно — обдумывает что-то, ищет выход. Наконец, решилась спросить:

— А Паша что говорит? Кто его побил?

— Паша ваш делает вид, что ничего не помнит.

Ей стало ощутимо легче, во взгляде появился налет наглости:

— Ну, значит, разберемся мы. Извините, мне некогда. Так он в городской больнице?

Залесский кивнул.

— Хорошо, спасибо. Извините, — она шагнула вглубь квартиры и захлопнула дверь. Адвокат пожал плечами, повернулся и быстро вышел во двор. Скользнув взглядом по веренице окон, отсчитал нужное и полез к нему по сугробам, мысленно ругая себя за то, что оделся неподходяще для оперативной работы. «Это даже хорошо, что они живут в бараке, где сто лет ремонта не было. Через евроокна я бы хрен что услышал», — думал Залесский, заглядывая в помещение через низкий кривой подоконник.

Это оказалась комната, а не кухня, как он предполагал. Сквозь тюлевую занавеску был виден старый клетчатый диван, приваленный к стене полураскрытой книжкой, телевизор в углу, на тумбочке с косо висевшей дверцей. Перед ним, спиной к экрану, стояла мать Павлика. На диване сидел мужик лет пятидесяти, в растянутом темно-зеленом свитере, армейских штанах и шерстяных носках, и грыз сушеную рыбу, бросая чешую на газету, лежавшую на его коленях. Рядом на полу стояла ополовиненная двухлитровка пива. Женщина почти кричала:

— Это он из-за тебя ушел! Сколько раз просила...

— Не базлай, — оборвал ее мужик. — Шарaborин* твой Пашка, мужика из него надо делать, а кто, если не я? Сколько раз было говорено мяч дома не кидать? Разбил окно —

получил за дело. А потом сам на заборе расписался**, я его из дома не вышвыривал.

— Но я же просила его не бить!

— Алямс-тралямс!*** — Мужик хлопнул рыбой по газете, гаркнул, поднимая кулак. — Баба мне еще указывать будет! Смотри, схлопочешь, вслед за сынком своим в больничку сляжешь! А Шапиро**** этому передай, чтобы в чужие дела не лез.

Женщина хотела что-то ответить, но не решилась — выскользнула из комнаты. Мужик поднял с пола бутылку, сделал несколько жадных глотков, вытер рот тыльной стороной ладони. И снова принялся терзать рыбу.

Залесский почувствовал, что ноги совсем иззябли. Впрочем, что хотел, он узнал. Стараясь попадать в собственные следы и прыгая по сугробам, как не ко времени проснувшийся кузнечик, он двинулся к машине. Залез в салон, включил печку и подставил бледные от холода руки под струи горячего воздуха. Машина деловито урчала, отогревая его и себя. Когда звук мотора стал ровным, уверенным, Юрий положил руки на руль, приготовившись тронуть автомобиль с места. Но со стороны барака донесся громкий стук, и Залесский увидел, как, хлопнув дверью, с крыльца сбежала женщина в красной куртке, с серым пуховым платком на голове. Торопливо пробираясь по узкой тропинке, она вышла на дорогу и зашагала к центру города.

Залесский нагнал ее почти сразу, опустил стекло машины:

— Может, вас подвезти?

Мама Павлика испуганно отшатнулась, ее правая нога соскользнула с обочины в сугроб.

— Сама дойду, — буркнула она, отворачиваясь, и прибавила ходу.

— Послушайте, если вы в больницу к сыну, давайте я вас отвезу, мне все равно туда же, — он не собирался возвращаться сегодня к мальчику, но грех упускать шанс побеседовать с его матерью еще раз. «Будет, что рассказать Тане, — обрадовался Юрий. — Жаль ее, конечно, уже настроилась усыновить именно этого ребенка — но вряд ли получится. Хотя... Чем больше информации, тем выше вероятность того, что ситуацию можно будет разрешить максимально безболезненно для Пашки. А Татьяна, наверное, и этим будет довольна».

Но дамочка упрячилась — шла, глядя перед собой, а потом резко остановилась, замахала рукой — мол, проезжай, чего встал.

— Садитесь, кому говорят! — Залесский включил командный тон, и женщина сникла, нерешительно глядя на него. Юрий чуть смягчился, — Ну что вы будете добираться одна по такому морозу, если нам все равно по пути? Не глупите. Я порядочный человек, ничего плохого с вами не сделаю.

Поколебавшись, она все же обошла машину спереди и села на переднее сиденье.

— Давайте я вам подогрев сиденья включу, так ехать комфортнее, — пробурчал адвокат. И показал ей кнопку рядом с сиденьем, — вот здесь переключатель, видите, где красная лампочка горит? Как нагреется, сюда нажмите, будет зеленая — это поддержание температуры. Если жарко станет — сюда, он вообще выключится. Все поняли?

Женщина несмело кивнула.

— Вот и ладненько, — Залесский сосредоточился на дороге, но сам ждал, пока она заговорит. Давно заметил, что женщины не могут молчать долго. Тем более те, которым он оказывал услугу. И действительно, через несколько минут она подала голос:

— Спасибо вам. Извините, что я так... Просто за сына волнуюсь.

— Я смотрю, вы одна за него волнуетесь?

— Ну а кто еще... Отца у него нет, — вздохнула она.

— Простите, но так не бывает, — поморщился Залесский. — И потом, вы говорили, что у мальчика есть бабушка.

— Она неродная ему, — махнула рукой женщина, — так, знакомая моя... Приплачиваю ей немножко, по хозяйству помогаю, а она за это Павлушу к себе берет, когда Слава...

Она осеклась, поняв, что сболтнула лишнее, и быстро продолжила:

— У нас с ним нет родни, вдвоем горе мыкаем. Понимаете, я молодая глупая была — да все в семнадцать лет дурят, чего уж говорить-то... Влюбилась в парня, уехала с ним в Москву. Мой отец против был, да я не послушала. А мама давно у нас умерла, он один меня воспитывал. Мы с Пашкиным папой такие планы строили! Что поженимся, жильё купим... А когда забеременела, выяснилось, что плевать он хотел и на меня, и на ребенка. Пришлось сюда возвращаться. Ладно, хоть отец простил, принял меня с животом. Ну, Павлик родился, жили как-то... Пока отца не схоронили, попроще было: хоть пенсия у него и маленькая была, а не лишняя. Ну и за Павликом приглядывал, когда я на работе. Я ж иногда сутками в этом ларьке — зарплата копеечная, ну а где больше взять без образования-то...

Залесский кивнул. Обычная, в общем-то, история. Повернув руль, он обогнал грузовик, в кузове которого лежали скованные цепью бревна, и чуть приоткрыл форточку — сивушный запах, исходивший от дыхания женщины, набухал в салоне авто плотным облаком, которое нестерпимо хотелось разогнать. Глянул на часы: половина седьмого. Нужно поторапливаться, чтобы успеть в больницу до окончания приемных часов.

— После отцовской смерти осталось мне всего-то, что Павлик и две комнатки в бараке этом проклятом, — продолжала женщина. Похоже, ей хотелось выговориться, и заодно объяснить адвокату, как они с сыном живут. — Денег стало не хватать, я металась между работой и Пашей. Ну вот, баб Люба помогала иногда — но за помощь эту три шкуры драла. Павлик-то в последнее время частенько у нее оставался, бывало, что и неделю там жил. Вот я и в этот раз поверила, что он там... Телефона-то нет у бабы Любы, а добежать до нее — это такой круг надо сделать, не каждой лошади под силу. Но получается, и она знать не знала... Пашка-то, выходит, не захотел к ней в этот раз. Обидела чем-то, наверное. Она может...

— Нет, скорее он ушел из-за того, что его выпороли, — убежденно сказал Залесский. — Может, всё-таки расскажете, кто?

Женщина подавлено молчала. Светофор впереди замигал, зажмурил желтый глаз и уставился на них красным. Юрий послушно притормозил.

— Кстати, как вас зовут? — спросил он.

Женщина ступсевалась, но ответила:

— Марина. — И зачем-то добавила официальное, — Фирзина, Марина Ивановна.

— Марина, вы бы не замалчивали проделки своего сожителя, — посоветовал Залесский. — Ничего хорошего из этого не выйдет. Я же видел его через окно, и разговор ваш слышал, не обессудьте. Одно мое слово кому надо — и сожитель ваш окажется там, откуда до мальчика ему будет не дотянуться. Но я предпочитаю, чтобы сперва вы рассказали, что происходит в вашей семье. Вдруг я что-то понимаю не так? Вы уж потрудитесь объяснить!

Светофор сменил гнев на милость, и Юрий надавил на педаль газа.

— Ну, так что вы мне расскажете? — требовательно спросил он.

— Он сосед наш, — выдавила, наконец, Марина. И вскинулась, затараторила

обиженно, — вы думаете, легко без мужика-то? Нам на продукты-то порой не хватает, не то что за коммуналку заплатить или одежду купить какую... Да и Павлику отец нужен, чтобы научил его всему такому, мужскому... А в ларьке этом я кого встречу? Одни пьяные морды, и те норовят товара в долг набрать... Слава-то он, в общем-то, человек хороший. И мне деньгами помогает, и с Павликом занимается — на рыбалку там, велосипед починить, гвозди-молотки эти. Но строгий бывает, взметчивый — что не по нем, никогда не смолчит. Я уж его просила потише с Павликом-то. Но у него рука тяжелая, и остановиться иногда не может.

— Зачем вы его оправдываете? — возмутился Залесский. — Мальчика бьет, да и вас не жалеет, я заметил.

Марина смутилась, прикрыла рукой синяк. Но запротестовала:

— Так он за дело же! Меня тоже отец отлупить мог, если что натворю. И его в детстве лупили — дед знаете какой строгий был, мог прутом по ногам ожечь так, что кожа лопалась. И ничего, выросли же, на пользу пошло.

— Вы так уверены, что на пользу? — хмыкнул Залесский. — Сами ведь тоже от отца сбежали, значит — недолюбливали его. А теперь вот и Павлик ваш бегаёт. Вы после того, как из дома ушли, в беде оказались. И он тоже.

Женщина понурила голову, сидела, жамкая пальцами подол куртки.

— Правда ваша, — нехотя признала она. — Я-то сына стараюсь без кулаков воспитывать. Только не понимает он иногда! Вот Славка его и...

— Да после вашего Славки я Павлика в лесу нашёл, он лежал на обочине, ещё бы полчаса-час, и не стало бы у вас сына! — взорвался Залесский. — Как вы потом жили бы с этим Славкой?

— Перестаньте! — Марина съежилась, зажала ладонями уши.

Юрий глянул на нее искоса, нервно дернул плечами:

— Я-то перестану. А вы?

*Шараборин — легкомысленный

**На заборе расписаться — совершить побег

***Алямс-тралямс — иронический ответ, означает «что с дураком разговаривать»

****Шапиро — адвокат

Эсэмэски от Макса всегда напоминали шифровку — как, например, прилетевшая сейчас: «15 мин, к. палата?».

Таня написала ему номер своей палаты и сгребла с карточки лото горсть коричневых бочонков.

— Извини, пожалуйста, мне нужно идти, — сказала она Павлику.

— Ну вот, а я уже начал выигрывать, — разочарованно заныл найденьш.

— Тогда будем считать, что я тебе продула.

Он довольно захихикал и тут же закашлялся — долго, с надрывом, будто болезнь выколачивала из его груди остатки зараженного воздуха. Татьяна потрогала его лоб, коснулась горящих щёк тыльной стороной ладони и, глянув на часы, нахмурилась: у парня явно температура, жаропонижающие не справляются. Повысить дозу? Не стоит, лучше заменить препарат. И антибиотик должны были уколоть полчаса назад, где этих медсестёр черти носят?

— Я загляну к тебе завтра утром, — пообещала она.

— И мы доиграем, да?

— Да, мой хороший. А пока постарайся поспать, это полезно. Сейчас тебе укол сделают и давай-ка на боковую. Иначе долго не выздоровеешь.

Лицо парнишки вытянулось, глаза погрустнели. «Почему так? — удивилась Таня. — От предстоящей экзекуции, или же от нежелания покидать больницу?» И поняла, что ей самой не хочется отпускать мальчишку. Здесь он хотя бы на глазах, о нем заботятся, его кормят, лечат. И, если понадобится, она может защитить Пашку. А что будет, если его выписать?

Помрачев, Таня вышла из палаты, чуть не столкнувшись с медсестрой Тамарочкой, невестой Витьки Купченко, руки которой были заняты лотком со шприцами.

— Ну как он? — спросила та. — Татьяна Евгеньевна, я тут подумала — у меня от племянника столько игрушек и книжек осталось, может, принести их этому мальчику? Он же долго лежать у нас будет. Я всё дезрастворами обрабатую, вы не думайте...

— Тома, неси всё, что не жалко, — улыбнулась Таня и заторопилась в гинекологию — пятнадцать минут до приезда мужа пройдут быстро, и если она задержится, Макс будет злиться.

«Ну и что? Ты же собралась поставить ему ультиматум, — холодно напомнил внутренний голос. — Если он запретит тебе взять приемного ребенка, ты потребуешь развод. Небогатый выбор для Макса. Так что злость все равно будет. И какая разница — градусом меньше, больше?»

В ее палате только что помыли, и запах хлорки разъедал воздух, висел в пространстве отцветающим безвременником. Ядовитые токи были жесткими, словно вдыхаешь наждачную бумагу, и Таня поспешила открыть окно. Стайка отчаянных снежинок ворвалась в палату, но бессильно растаяла на лету.

Муж вошел по-хозяйски, без стука. Равнодушно кивнул, будто вернулся из магазина на кухню, где Таня возилась и до его ухода. Плюхнул на стол пакет:

— Тут одежда твоя, и ноутбук, как просила. Виноград без косточек взял. И что за странная фигня про игрушки для пацана?

— К нам мальчик поступил, я для него просила, — кротко ответила Таня, наблюдая за

мужем исподволь. Щетина кустами, багровеющие сосуды склер, жвачка — мать была права, он снова вчера напился.

— Тань, к вам каждый день мальчишки-девочки поступают! — фыркнул Макс. — Давай каждому по десять игрушек покупать? Будем очень добрые, но очень бедные.

Он раздраженно обвел взглядом палату. Углядев возле окна стул, потащил его за спинку, повернул, чтобы сесть лицом к жене. Закрыв фрамугу, забурчал, присаживаясь:

— Дел сегодня невпроворот. Что у тебя?

Это прозвучало сухо, с ноткой нетерпения. Таня вдруг подумала: а не попроси я приехать, он появился бы в больнице? Или ему все равно, что с ней происходит, и спрашивает он только для проформы? В душе поднялась обида. Нужно сдержать ее, попытаться поговорить спокойно.

— Да ничего хорошего, — ответила она, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Сделали выскабливание. И Яна сказала, что с каждой беременностью риск возрастает. Ничего, я пролечусь, и буду пытаться снова. Только в этот раз, прошу тебя, давай обследуемся полностью. Сходим к генетику, сдадим кровь...

— У меня все в порядке, — раздраженно сказал Макс.

— Слушай, не надо так относиться к этому. Ребенок — это важно! Янка вообще сказала, что если и в следующий раз случится то же самое, я могу умереть!

— Янка твоя без царя в голове, — огрызнулся он. — Сказала она... Послушай, что я тебе скажу. Если у нас ничего не получается, зачем себя мучить? Ты думаешь, мне приятно слышать про то, что моя жена рискует здоровьем? А если что-то случится — мне ребенка одному воспитывать? Нет, спасибо. Давай прекратим эти попытки и будем жить, как жили.

— Макс, скажи честно: ты хочешь ребенка?

Муж посмотрел на нее исподлобья. В карих глазах испуганным зверем метнулась неуверенность.

— Какой смысл об этом говорить? Ты же для себя всё решила, — подумав, ответил он.

— Нет, не решила.

Сейчас. Вот сейчас она ему скажет. Нужно просто не волноваться и выбрать правильные слова.

Ей снова стало знобко, будто по палате пробежал сквозняк. Ну, давай, подбодрила она себя. Просто скажи и посмотри на его реакцию.

— Я понимаю, что, как бы мы ни старались, гарантий нет. И тоже боюсь, что все закончится плохо, — пояснила она. — Но есть и другой способ завести ребенка.

— Поискать в капусте? — вдруг развеселился Макс. — Надувать батут, когда в небе пролетают аисты?

— Нет, — ей было не до смеха. — Взять приемного ребенка.

— Тань, ты чего? — опешил Макс. — Скажи, что ты пошутила.

— Я серьезно. Многие люди так поступают.

— Мне не нужны чужие дети, — отрезал он. — Таня, забудь. Просто забудь об этом.

— Подожди, — примирительно попросила она, стараясь быть мягче. — Знаешь, у нас в педиатрии лежит мальчишка. Похоже, сбежал из дома. Думаю, его родители избивают — он весь в синяках, весь! Места живого не осталось! Нашли этого мальчика в лесу, совершенно случайно. Он мог замерзнуть, умереть, понимаешь? Сейчас он в отделении, хочешь, сходим к нему, познакомимся? Мы сняли побои, полицию вызывали, сейчас его родителей ищут, собираются лишить прав. Мальчишка может попасть в детдом. Наверное, это лучше, чем с

родителями-извергами, но еще лучше будет, если у парня появится нормальная семья! И мы с тобой могли бы его взять...

— Ты с ума сошла, — медленно, будто пораженный открывшейся истиной, произнес Макс.

— Ну почему ты против? У нас денег на десятерых детей хватит, дом большой, я буду сама ребенком заниматься, он тебя не обременит. Давай его заберем! Мы этим, может, человеку жизнь спасем, судьбу исправим!

— Тань, ты больная! — захохотал Макс. — Ты сама только что сказала, что у него родители идиоты. Ну и какие у этого парня гены, как ты думаешь? Да это же бомба с часовым механизмом! Ты понимаешь, что он вырастет и начнет бухать, воровать, а потом просто грохнет нас — и привет?

— Да с чего ты взял, что так будет? Мальчишка замечательный, ты сходи все-таки, посмотри на него. Вчера вечером, когда его привезли...

— Что? Вчера вечером? — почти заорал он. — Танюх, ты дура? Ты знаешь этого мальчика меньше суток, и уже готова взять его в дом?

Вопрос застал ее врасплох.

Она, приготовившая кучу доводов, вдруг осеклась и подумала: а действительно, есть масса других детей, почему ей в душу запал именно этот мальчишка? Не потому ли, что он напомнил ей себя саму, маленькую? Напомнил, как она мечтала о том, что придет кто-нибудь и защитит? Неважно, кто. Лишь бы был сильнее, чем ее отец и хитрее, чем мать.

Почему люди вообще берут приемных детей? Странно, раньше она не задавалась этим вопросом. Берут — и всё, так бывает, так принято. У каждой семьи, наверное, своя причина. Чаще всего бездетность, но ведь бывает и так, что взрослые не могут пройти мимо детской беды.

Но если рассуждать с позиции Макса, обе эти причины фальшивой копейки не стоят. Что это — обычная мужская узколобость, неспособность понять свою жену? Или глубинная, метастазом проросшая через всю ткань души, жестокость?

«Упырь», — сказала тогда Янка.

— Максим, скажи честно, ты вообще не любишь детей? — холодно спросила она, пристально глядя ему в глаза. — Ты поэтому и не хотел со мной по врачам ходить?

— Да всё равно мне, понимаешь! Хочешь, рожай, — его взгляд метнулся в сторону, кадык дернулся синхронно нервному глотку, и Таня вдруг поняла, что он трусит.

— Я хочу усыновить, — с нажимом сказала она.

— Нет.

Она осознала, что спорить нет смысла. Просвинцованным плащом навалилась усталость, плечи поникли, словно их тянули вниз обессилевшие крылья.

Макс вытащил из кармана смартфон и уставился в него, будто по-настоящему важное было там.

Татьяна подошла к подоконнику, оперлась на него руками. Жестокость и равнодушие мужа пугали её. Неужели он всегда был таким, а она просто не замечала? «Всё ты видела, просто не хотела верить», — бесстрастно сказал внутренний голос. — «Все эти пять лет, прошедшие с момента свадьбы, ты только и делала, что закрывала глаза на его недостатки. Хорошая жена должна сохранить семью любой ценой, ты же так считала? Раскрой уже глаза и подумай, не велика ли плата? А еще подумай, почему ты всегда поступаешь так, как хочет он. Видимо, с этим ребенком будет так же».

Таня прижалась лбом к стеклу. На ели, растущей у ворот, дрались две сороки. Скрипяще тарахтя, они перелетали с ветки на ветку, гонялись друг за другом, пытаясь клюнуть побольнее. Длинная шишка сорвалась, отскочила от бордюрного камня, мягко упала в снег.

— Василенко звонил, — сообщил Макс в пространство. Таня вздрогнула.

— Что ему опять нужно? Я же недвусмысленно дала понять, что мы больше не собираемся закупать у него лекарства! В моих аптеках фальсификата не будет.

— А ты не злишь, не злишь, — примирительно сказал муж. — Я думаю, он выводы сделал.

— Все равно я не хочу с ним работать. Полно других поставщиков.

— Ну да, у которых закупочные цены выше, чем наши розничные, — язвительно хохотнул Макс. — Ты как бизнес-то собираешься вести? Год возни — три копейки навару? Конкуренты по той же цене, что и мы, продают лекарства в своих аптеках. Но только им при этом хороший процент перепадает, потому что покупаются по дешевке. А мы?

— А мы людей лечим, а не калечим.

— Ой, можно подумать, мы святые. Сама знаешь, что современные лекарства только наполовину лекарства, а в остальном — продукт маркетинга. Что рекламируют, то люди и покупают. Давай тогда вместо этих дорогущих разрекламированных препаратов выложим на прилавки дешевые аналоги. Вместо «Кашель-стоп», к примеру, который в этих порошочках вкусненьких, да за шестьсот рублей, положим обычные таблетки от кашля, которые еще в Советском Союзе пользовали. Те, которые по двадцать шесть рублей сорок три копейки. Все там есть, что надо: термопсис, кодеин, сода и солодка. Безвредно и эффективно. Но вот проблема для нас, акул капитализма: дешевые они, и не помнят о них люди, поэтому продавать неприбыльно. А чтобы аренду платить и зарплаты сотрудникам выдавать вовремя, пойдем бутылок насобираем! Такой у тебя бизнес-план?

Таня молчала. Она понимала, что Максим прав, но все же...

— Пусть люди покупают, что хотят. У нас есть и «Кашель-стоп», и простые таблетки от кашля, о которых ты говоришь. Покупатель сам выберет.

— Нет, дорогуша, покупатель сначала посмотрит телевизор или сходит к врачу, который, кстати, тоже ему посоветует дорогой «Кашель-стоп». Или «Здоровый желудок» вместо корня лопуха.

— Я родителям своих пациентов всегда предлагаю альтернативу: есть дорогие лекарства, есть дешевые, а эффект тот же. А малоимущим еще и карточки скидочные даю, — огрызнулась Таня.

— Еще бы владелица аптек не пользовалась служебным положением, чтобы раздавать свою рекламу! — хохотнул Макс. — Это же так красиво: дорогие родители больного ребенка, я ваш ангел-спаситель! Вот вам скидка в моей аптеке, чтобы вы в другую случайно не зашли и там денежку не оставили!

— Хватит! Ты знаешь, что это не так!

Макс глянул на нее — тяжело, исподлобья, будто желая обвинить ее в чем-то страшном. Но смолчал. Пауза повисла холодной медузой, тронь больную тему — и обожжешься.

— Ну ладно, — примирительно сказал Макс. — Без Василенко — так без Василенко. Других поставщиков поищу.

«Надо будет сказать Олегу, чтобы сделал парочку подставных фирм — будем через них бабки прокачивать, — решил он. — Танька все равно не допрет».

— Ладно, пора мне, — заявил он, вставая.

— Подожди. Мы не договорили, — жена смотрела на него в упор. — Я хотела тебе сказать... Ну, в общем, я приняла решение. Мне нужен ребенок. Этот мальчик, который к нам поступил, или кто-то еще — можно взять из детского дома, или из роддома, если там будет отказник — не важно. Я хочу стать мамой. Не знаю, смогу ли родить сама, поэтому, как выйду из больницы, начну собирать документы на усыновление. И, коль ты мой муж, мне понадобится твое официальное согласие, его потребует опека.

— Нет. Я его не дам. Никогда. И не уговаривай.

Его голос прозвучал жестко, и Таня уловила в нем нотки отвращения.

— Но это важно для меня. Важнее всего на свете, — сказала она с надрывом.

— Таня, нет. И не проси.

— Просить? — Она вскипела мгновенно, почувствовав, что нечему больше удерживать ни ее злость, ни отчаяние, ни дерзость. Будто плотина пала, и больше ничего нельзя сделать, чтобы обуздать эмоции — да и зачем?

— Ты говоришь — просить? — медленно, с пугающей четкостью, повторила она. — Кого, Максим? Тебя? Просить о чем-то? Нет, ты не понял — я не прошу, я ставлю тебя перед фактом. Я возьму ребенка. Может, даже двоих или троих. Это вопрос решенный. И если ты не дашь мне согласие, как того требует этот чертов закон, я буду оформлять документы как мать-одиночка! Слава Богу, сейчас это разрешено. Видимо, даже там, наверху, понимают, что лучше ребенку расти без отца, чем в детдоме. Только ты не понимаешь этого!

— Я действительно не понял, — его голос налился угрозой. — Ты что, развестись задумала? Ради каких-то беспородных щенков? Ты дура, Таня.

— А мне плевать, кем ты меня считаешь! — взвилась она. — Да, если наши взгляды на семью не сходятся, я хочу получить развод! Так что давай договоримся: ты сегодня же соберешь свои манатки и выкачешься из моего дома! Чтобы, когда я пришла, духу твоего там не было!

— Нормально... — зло ощерился он. — Нет, ты сама себя слышишь? «Выкатывайся!» Я-то выкачусь, а ты? Ты-то кому будешь нужна — в таком возрасте, и с такой жопой?

Последнее вырвалось в запале, но Макса снова мutilо с похмелья, голова наливалась чугуном. И сейчас выбирать правильные слова, играя с женой, как с мышью, было выше его сил. «Плевать! — зло подумал он. — В конце концов, поведи я себя сейчас по-мужски, она, возможно, струхнет. И откажется от мысли набрать щенков. Ведь ни одной бабе неохота быть разведенкой».

— Всё, порешали! — бросил он и наподдал ногой по стулу. Тот загрохотал, заплясал по полу, пытаясь удержаться на тонких железных ногах — и все-таки завалился на бок, бессильно подняв конечности. Макс подошел к жене почти вплотную и выдохнул, вкладывая в слова всю свою злость: — Пусть будет развод! Но только помни, что это ты так захотела! Ты меня выгнала!

— Да. Потому что ты повел себя, как дерьмо! — выпалила Таня ему в лицо, резко развернулась и двинулась к выходу из палаты.

«Ну вот, поговорили. Мирно, мудро, по супружески. Да и плевать», — злость на Макса еще бурлила в ней, но мысли о разводе — теперь, когда он был неминуем — почему-то пугать перестали. Странно, но она почувствовала облегчение, будто выбралась из большой липкой паутины. Будто дышать стало свободнее, ведь теперь не нужно строить свою жизнь с оглядкой на кого-то еще. На родителей. На мужа... уже почти бывшего.

«Зато я заберу этого мальчишку. Или возьму другого ребенка, которому нужна

помощь, — думала она, вызывая лифт, чтобы снова спуститься в педиатрию. — И воспитаю его хорошим человеком».

Залесский открыл дверь в палату Павлика, пропуская Марину вперед. Увидев сына, она оползла лицом, ухватилась за растянутый ворот своей старомодной кофты — так, будто дышать ей стало нечем. Мальчик вскинулся ей навстречу; горка плоских больничных подушек, подпиравших его спину, завалилась вбок, распалась, и подскочившая мать суетливо водворила их на место. Как слепая, пробежалась руками по плечам сына, ощупала его, угадывая угловатые линии мальчишеского тела сквозь двойное, Таней принесенное, одеяло. Пальцы споткнулись, добравшись до гипсовой твердости, и, отвернув покрывавший её край, Марина туго устала на белую, обвитую бинтом, лангету.

— Что ж ты, сына... — то ли вздохнула, то ли всплакнула она. — Что ж ты...

И слова ее, и движения были бессвязными, а кислая пивная вонь — малозаметная поначалу, но быстро пропитавшая привычную атмосферу маленькой палаты — показалась Татьяне фоном, идеально соответствующим этому бестолковому, ни в склад, ни в лад, материнству. Но мальчик схватил маму за руку, подался вперед всем телом, вжался лбом ей в плечо — словно враспи в нее хотел, чтобы не расставаться больше.

И в этот момент Таня возненавидела её жгуче, испепеляюще, насмерть.

А Марина уже обнимала сына, гладила по белобрысой головенке, и, отстраняя от себя, чтобы оглядеть еще и еще раз, а потом обнять снова, твердила виновато:

— Отощал совсем... отощал... а у меня и нет ничего.

И Таня вылетела из палаты, чуть не сбив стоявшего у дверей Залесского.

Он выскочил за ней:

— Татьяна! Стойте! Да подождите вы!..

Но она шарилась по коридору, оглохнув от ярости. «Нет, надо же — «у меня нет ничего!» Нет ничего! Да как она может?... Пьяная... Или с перегаром — да неважно! — в больницу, в ребенку? Ну как же это? Как смеет?... — мысли неслись скачками, выпрыгивали из злобной темноты, перекрикивая друг друга. — Забрать, забрать у нее мальчишку, пока беды не случилось!..»

И она остановилась, будто на невидимую стену налетев — споткнувшись о неотвратимость будущей трагедии, которая вдруг предстала перед ней в черном водовороте предчувствия. В нем барахтался, звал на помощь погибающий мальчик. Сосущая пустота мгновенно наполнила ее душу. «Случится что-то ужасное», — Таня осознала это с леденящей душу четкостью. — «Случится, если я его не заберу».

Предчувствие, на миг приоткрывшее дверь в будущее, погнало ее назад — спасти, предотвратить, сломать линию судьбы, ведущей в пропасть. Татьяна еще не знала, что она скажет, как будет действовать. «Это неважно, главное — отнять мальчишку, — понимала она. — Любым способом отнять его от этой... У которой нет ничего...»

Пол под ногами вдруг стал зыбким. Он шевельнулся, начал прогибаться волной. Мраморные плиты стремительно превращались в пластик — тонкий, не способный удержать. Стены, недобро блеснув, устремились к ней — поймать, сдавить, расплющить! Воздух уплотнился, превращаясь в застывшее оргстекло. И где-то за гранью сознания возник и поплыл к ней колющий, грязный, пугающий до полусмерти шепоток «Ппанн-дооо-рааа...» Таня зажмурилась, потащила непослушные, враз заледеневшие, руки вверх — зажать уши, не пускать это в себя...

— Да стойте вы!

Вскинув длинные руки, Залесский неуклюже поймал ее, схватил за плечи, с силой развернул к себе.

Она не увидела его — лишь почувствовала, что кто-то подхватил, удержал на краю реальности. И, впервые ощутив, что от ледяного ветра Пандоры ее защищает чье-то незнакомое, но такое спасительное, тепло, она осознала: твердо под ногами, и Пандора сгинула — не утащит.

Выплыв из морока, Таня посмотрела на Залесского — так, будто не сразу сообразила, кто он. И, уловив краем глаза шевеление сбоку, перевела взгляд на подпирающую стену больничного коридора дородную тетку с годовасом на руках. «Петрикеева, мама девочки с пиелонефритом, в понедельник на выписку», — автоматически отметила она. Женщина уставилась на них, не скрывая любопытства. Включились звуки: где-то позади гроыхнула ведром Катя Петровна, заговорил телевизор, прорвался младенческий крик. Налетели запахи: еле слышный йодный, погуще — кофейный, и довлеющий над всем холодящий хлорный. И Таня сообразила, что стоит посреди своей педиатрии, своих подчиненных и своих больных — растрепанная, с красным лицом, жалкая и злая.

— Я же вас предупреждал — не привязывайтесь к нему! — осуждающе сказал адвокат. — И что? Вот, пожалуйста, уже ревнуете!

— Это не ревность, — зашипела она, хватая его за рукав и увлекая к двери в подсобку. Толкнула ее плечом, ввалилась, втаскивая за собой Залесского. Петрикеева проводила их наглым от любопытства взглядом, но Татьяна захлопнула перед ним дверь. В подсобке было темно, и она щелкнула выключателем. Тусклая лампочка превратила темноту в желтое слюдяное пространство, в нем проявились крашенные синим стены и белые стеллажи, заваленные стопками белья, заставленные старыми биксами и бутылками с моющими средствами и медицинским растворами. Таня отошла к окну, нижняя часть которого была замазана пожелтевшей масляной краской. Кто-то процарапал в ней слово «Шура».

Демидова оперлась спиной на деревянный подоконник.

— Это не ревность! — повторила она громким шепотом, будто пыталась оправдаться. — Вы же видели эту мамашу! С запахом, да еще и заявляет: нету у меня ничего! Пришла в больницу к ребенку — даже карамельку не принесла! Это как? Нормально, по-вашему?

Залесский рассеянно рассматривал пустые бутылки из-под физраствора и фурацилина, теснившиеся на полках подсобки.

— О-ох, ну нет, конечно, — отозвался он, закатывая глаза, будто разговаривал с непонятливым ребенком.

— Так какого черта вы ее сюда привезли? Ее в вытрезвитель надо! Или сразу в тюрьму!

Юрий повернулся, сурово глянул исподлобья:

— Да что ж ты скорая-то такая! — досадливо выдохнул он, невольно повторяя дедовское — тот часто останавливал этой фразой свою жену, когда та начинала, как говорил дед, «кудахтать над яйками», то есть изобретать планы спасения внука Юры от придуманных опасностей.

Таня оторопела — то ли от этого невольно выскочившего «ты», то ли от непререкаемого тона Залесского. А он даже не стал поправлять себя, извиняться: махнул рукой, да и вывалил всё — и про барак с промерзшими углами, и про записку, оставленную Марине сыном, и про свое подслушивание у окна. Ну и про разговор в машине, конечно.

— Сожитель материн Павлика бьет, понимаешь? — Адвокат будто пытался встряхнуть Татьяну этими словами. — Его привлекать надо. По закону, за жестокое обращение с ребенком. А ее, получается, не за что. Ты же видела — Павлик ее любит, тычется в мать, как телок...

— Мать?... Да какая она мать, если не может защитить своего ребенка! — взорвалась Таня.

— Какая уж есть, — осадил ее Залесский.

— То есть ты считаешь, что она ни в чем не виновата? Да ее ребенок для сожителя — как груша в спортзале! Я бы любого в шею погнала, кто моего сына тронет!

— И правильно бы сделала, но у нее своя правда, — отрезал адвокат. — Она считает, что сожитель ее неплохо справляется с отцовскими обязанностями, лишь иногда перегибает палку. И сама из той категории людей, которые видят в ремне орудие воспитания, а не пытки. Сказала, что ее отец бил, а того — дед, а деда, наверное, точно так же воспитывали. Вот и превратилось это в идиотскую семейную традицию. Как говорится, бытие определяет сознание.

— Тем более надо Павлика у нее забирать! — Таня, обессилив, опустилась на матерчатые мешки с бельем, наваленные у стены подсобки. — Если они его физически не забьют, то психику точно сломают. И вырастет парень таким же, как они, будет считать, что насилие в порядке вещей.

— Тебе успокоиться надо, — Залесский озадачено потер бровь, сел рядом. — И вернуться в палату. Дождемся, когда Марина соберется домой, и поговорим с ней так, чтобы мальчик не слышал. Попытаемся убедить ее... Хотя в чем — я не знаю.

— Зато я знаю, — зло откликнулась Таня. — Я ей скажу, что обращусь в опеку. И я это сделаю, кстати!

— Подожди, у меня там знакомые, обещал же, что позвоню им... — забормотал Юрий, выуживая из кармана телефон и выискивая нужный номер. — Георгий Игнатьич? Залесский беспокоит...

Впившись взглядом в его лицо, Таня напряженно прислушивалась к разговору. Ничего утешительного. Судя по всему, в органах опеки даже не слышали о семье Фирзиных. А это значит, что изымать Павлика не будут — сначала займутся профилактикой, как и говорил ей Залесский.

— Тогда я напишу заявление в полицию, раз этого не может сделать его мать, — решительно сказала Таня, когда Юрий закончил разговор с представителем опеки. — И пусть посадят этого сожителя. Хотя бы так мальчика защищу.

— А вот это вполне реально, — одобрительно кивнул адвокат.

Когда они с Залесским вернулись в палату, Марина сидела на кровати сына и с аппетитом уплетала банан. Все еще злящейся на нее Тане показалось, что она выглядит глуповатой и довольной, как мартышка.

Пакет, привезенный Залесским, Фирзина перетащила на кровать, и сейчас рылась в нем по-хозяйски — словно продукты предназначались ей, а не Павлику. Мальчик сидел в своей постели; лицо его просветлело, налилось радостью. Оживленно болтая, он показывал матери йодную сетку, распластавшуюся на груди. Когда-то синяя, но вылинявшая до голубизны больничная пижама была распахнута почти до пуза, хотя Татьяна строго-настрого запретила мальчику расстегивать даже верхнюю пуговицу — и без того простывший. Клетчатое одеяло было откинута, скомкано, свисало чуть ли не до пола. В воздухе витал веселый, будоражаще-яркий апельсиновый запах, но оранжевые корочки с белой ворсистой изнанкой были набросаны на тумбочке, и Таня разозлилась: мало того, что эта мадам разрешает сыну сидеть полуголым и жрет Пашкины продукты, так еще и помойку устраивает!

— Паша, застегнись! И немедленно под одеяло! — скомандовала Демидова, и мальчик вздрогнул, стянул руками полы пижамной куртки. Марина, продолжая жевать, уставилась на Татьяну. Взгляд ее показался Демидовой мутно-тупым — ни чувств, ни мыслей.

Татьяна буквально выдернула пакет из ее рук. Демонстративно переложила фрукты на поднос.

— Это — исключительно для ребенка, — недовольно сказала она. И добавила брезгливо: — А фрукты нужно помыть! Вы бы прогулялись до раковины, что ли... И уберите за собой объедки, здесь все-таки больница, а не свинарник!

Марина сконфузилась, суетливо схватилась за ручки подноса, понесла его из палаты. Мальчик изумленно глянул на Таню, виновато опустил голову и начал сгребать апельсиновые корочки в кучку. На полированной поверхности тумбочки остались влажные пятна, и он попытался вытереть их рукавом. Таня бросилась помогать. Внутри кольнуло — ну вот, напала сгоряча на мать, а обидела мальчишку!

— Павлик, давай я их выброшу, — ласково сказала она, подставляя ладони ковшиком.

— Спасибо, тетя Таня! — он смущенно улыбнулся и послушно ссыпал апельсиновые корки ей в руки. Она сжала пальцы, чтобы ничего не вывалилось, но движение получилось слишком резким, будто она что-то отобрать у мальчишки хотела. «И хочу ведь, да, — признала Таня. — Мать бы отобрала у него, и глазом бы не моргнула». Жестокость этой мысли неприятно поразила ее, она беспомощно оглянулась на Залесского, будто ища поддержки. Но он стоял, привалившись плечом к стене, и задумчиво смотрел куда-то в сторону — так, будто происходящее вокруг совершенно его не интересовало. И от этого внутри мерзко кольнуло еще раз.

— Паша, ты как себя чувствуешь? Температуру мерил? — Татьяна взяла с тумбочки градусник, пригляделась, поворачивая его на свету. — Ох, ничего себе! Тридцать восемь и шесть! Так, я принесу тебе таблетку.

Она решительно направилась к двери, укоризненно глянув на Залесского. «Все-таки он не должен был допускать сейчас сюда эту мадам! — злилась она. — Мальчишка разволновался — и пожалуйста, состояние сразу ухудшилось. Одни проблемы от неё!» Выскочила в коридор, и чуть не налетела на Марину — та торжественно вышагивала, неся

перед собой поднос с вымытыми фруктами.

— Знаете, что? Сейчас поставите это в палате и попрощайтесь с сыном, на сегодня ему хватит волнений! — приказала Татьяна. И добавила тоном, не терпящим возражений: — А потом подождите меня в коридоре. Я лечащий врач Паши, и нам с вами следует поговорить!

Марина испуганно съежилась, вяло кивнула. Но на цветастый Танин халат глянула с подозрением. «Не тяну я в этом на врача, переодеться бы надо, — мимоходом отметила Демидова. — Хотя какая, к черту, разница?»

Когда она вернулась с жаропонижающим, Фирзина уже переминалась в коридоре, удрученно склонив голову. Залесский стоял рядом, выжидательно глядя на Татьяну.

— Я сейчас, — бросила она, влетая в палату.

Мальчик поднял на нее настороженный взгляд. Личико ребенка было бледным, лишь на щеках горели пунцовые пятна.

— Тетя Таня, а мама еще придет? — несмело спросил Павлик.

— Завтра, Паша. Всё завтра. У нас в больнице есть приемные часы, вот сейчас они закончились и всем посторонним нужно уйти, — объяснила она, стараясь говорить спокойно.

И мальчик ответил с недоумением:

— Но мама же — не посторонняя!

Татьяна отвела взгляд.

— Никому нельзя быть здесь вечером, кроме врачей и больных, — уклончиво ответила она. Подошла к окну, подставила ладони под низ старых рам — вроде бы нет сквозняка, показалось. Но все равно нужно сказать Кате Петровне, чтобы положила на подоконник свернутое одеяло, вдруг ветер изменится. «А мамаша Павлика о таких вещах даже не думает, — отметила Татьяна. — Вот честное слово, я бы ее прибила!»

— Вот, выпей таблетку и отдыхай, — велела Татьяна, по-прежнему избегая взгляда мальчишки. — Я к тебе еще зайду сегодня, хорошо?

Павлик уныло кивнул. И повернулся на бок, натянув на голову клетчатое одеяло. Таню вновь настигло смутное ощущение неправильности. «Я же делаю всё, чтобы защитить его — так чего он боится, на что обижается? — недоумевала она. — К мамаше своей беспутной вон как прилип, а от меня закрылся... Видимо, просто не может еще разобраться, где добро, и где зло. Маленький еще, глупый».

Она вышла в коридор и сказала, не глядя на Марину:

— Прошу следовать за мной.

На лице Залесского снова появилось непроницаемое выражение — как в тот момент, когда Таня расспрашивала его о лишении родительских прав.

Она повела их в ординаторскую: отчасти потому, что в это время там можно было поговорить без свидетелей, а еще чтобы Марина увидела — Татьяна здесь главная, и последнее слово за ней.

— Ну что, вы видели, в каком состоянии ваш сын? — начала Таня, заняв место за своим столом. Марина сидела напротив, на жестком старом стуле. Одна его ножка качалась, от этого севшему на него человеку приходилось балансировать, теряя остатки уверенности. «Ничего, потерпишь», — злорадно подумала Таня.

— Извините... — пробормотала Фирзина. — Я не хотела, чтобы он заболел.

— А надо было смотреть за ребенком! Девятилетнего мальчика нет дома, а вы даже не подумали о том, что с ним могла случиться беда! Даже не начали искать его!

— Но он...

— Что — он? — перебила Демидова. — Он бестолковый еще, а вот вы — взрослая. Вы — мать, и должны контролировать каждый шаг ребенка! Защищать его от насилия! А у вас что? Какой-то, извините за выражение, приبلудный хахаль избил вашего сына, ребенок от вас это скрыл — что, кстати, говорит об уровне доверия в семье! — и сбежал из дому, соврав, что переезжает к бабушке. И вы узнали обо всем этом только через два дня, и то от совершенно незнакомого человека! Какая вы мать после этого? В общем, так: я завтра же подаю заявление в полицию и органы опеки. Пусть привлекают к ответственности этого вашего сожителя. А вас берут под контроль. Не справитесь — ребенка изымут из семьи. Если вы не можете о нем позаботиться, это сделают другие люди.

— Вы с ума сошли! Не лезьте не в свое дело! — голос Марины Фирзиной задрожал от гнева и страха. А Таня посмотрела на нее с почти не скрываемым удовольствием: «Ага, почуяла наконец-то, что жареным пахнет!» И ответила с вызовом:

— Это очень даже мое дело! Я — врач, мой долг — помогать. Понимаю, что вам бы хотелось и дальше скрывать всё это...

— Понимаете? Да что вы понимаете-то! — вскинулась Марина. — У вас вон, серьги дорогие, руки белые — видно, что при деньгах и работа легкая. А я день и ночь в холодном ларьке, руки-ноги ледяные, аж кожа трескается! И все равно двенадцать тыщ зарплата! Вы попробуйте на двенадцать-то тыщ протянуть месячишко, да еще с ребенком маленьким, которому обувку-одежку надо и есть хочет все время! Попробуйте, как вы говорите, позаботиться о ребенке на эти деньги, посмотрю я на вас! Вот уж не думаю, что прям отличником будет ваш ребенок и послушным, как солдатик, когда матери-то постоянно дома нет. А нету меня — так ради него же!

— А выпиваете тоже ради него? На алкоголь деньги есть, я вижу! — осадила ее Татьяна.

Фирзина на миг смутилась, потупила глаза, краснея. Но тут же вздернула голову и заявила с гонором:

— А я имею право выпить!

На ее лице проступила наглость, но не уверенная — а трусливая, сикушная. «Эта пьянчужка проверяет меня на прочность», — поняла Демидова. И действительно, Фирзина будто надеялась, что интеллигентная докторша-белоручка стушется при виде чужой хамоватой нахрапистости, утратит свою решимость.

Татьяна не отвела взгляд. Лишь злее сжала губы, и с вызовом выпятила подбородок.

— А я имею право хоть сейчас сдать вас в полицию, — усмехнулась она. — От вас несет алкоголем. Но при этом вы явились в общественное место.

— Я к сыну пришла! — огрызнулась Марина.

— Да вам сын-то не нужен! — взъярилась Татьяна. — Обуза он для вас, потому и бросаете его с посторонним мужиком. И ведь не с первым, правда? Сколько у Павлика было так называемых «пап»? И скольких вы ему еще приведете?

— А это вообще не ваше дело! — взвизгнула Фирзина. — Я женщина молодая, судьбу свою устраиваю!

— Так откажитесь от ребенка и устраивайте спокойно свою судьбу. Приводите мужчин, выпивайте, деритесь с ними. Но зачем мальчика во все это вмешивать?

Марина сникла, пожевала губами, пытаясь подобрать слова.

— Сами-то, небось, замужем. И в мерзлом бараке не живете, — устало, с ноткой зависти сказала она. И добавила зло и упрямо: — Вот и не вам меня судить!

— Судить и кроме меня есть кому, — усмехнулась Татьяна.

В глазах Марины заблестели слезы, и она вытерла их рукавом. Подавшись вперед, Фирзина выкрикнула:

— За что? За то, что у меня жизнь хуже вашей сложилась?

Вскочив, она шагнула Тане — и оказалась так близко, что та снова почувствовала тошнотный запах перегара. Уперев руки в бока, Фирзина с ненавистью выкрикнула:

— Знаете, нечего мне тут угрожать! Я сама на вас управу найду! Я работаю, приводов в полицию не имею. И ребенка пальцем не трогала! А в семье моей — все в порядке. Так что жалуйтесь куда хотите, ничего не добьетесь!

Развернувшись, она почти бегом пересекла ординаторскую вылетела в коридор — так саданув на прощание дверь, что со стоявшего у входа шкафа соскользнула и шлепнулась на пол перевязанная стопка старых брошюр.

Татьяна повернулась к Залесскому. Спросила гневно:

— Слышал? У нее в семье все в порядке! А мы-то, дураки, считаем, что пить и бить детей ненормально!

Юрий пожал плечами:

— Просто у вас разные представления о порядке.

Его голос был скучающим — и это окончательно вывело Татьяну из себя.

— Ты ее оправдываешь, что ли? — поразила ее она. — И считаешь, что я не должна была высказывать ей всё это?

— Ну, ты в своем праве говорить, что думаешь, — уклончиво ответил Залесский. — И она тоже.

— А являться сюда пьяной? А позволять какому-то козлу пороть ребенка? И это сейчас он его избил, а завтра что — изнасилует? А эта и глазом не моргнет! Бесполезно с ней разговаривать, всё-таки надо отбирать ребенка, пока они его до смерти не заporоли! Они же...

— Тебя саму бы сейчас — выпороть!

Это прозвучало, как окрик. Татьяна вздрогнула, замолчав от неожиданности. А Залесский поднялся, без спроса взял с ее стола красную в белый горох кружку, подошел к кулеру. Струйка воды ударила в дно посуды, зажурчала, наполняя ее. Бутылка, возвышавшаяся над белым кубом кулера, утробно булькнула. Выпрямившись, Юрий сделал несколько больших глотков, крикнул от удовольствия. Снова наполнил кружку и, подойдя к Татьяне, скомандовал:

— До дна!

Она автоматически взяла протянутую посудину, прижала ее к губам. Вода была ледяной до ломоты в зубах.

— Успокоилась? — участливо спросил он. — Давай, приходи в себя. Не надо на эмоциях эту тётку судить, ты уже во всех грехах ее обвинила.

— Но ведь она...

— Да не знала она, что сын в беде! — перебил Залесский. — Вот и сидела спокойно дома, выпивала. Для многих вовсе не табу выпить в свободное время, ты не в курсе? Вроде не пятнадцать лет тебе... А тут я с известием, она сразу же сорвалась и к сыну побежала. Пешком готова была идти, по морозу, несмотря на недовольство сожителя. Любит она сына. А ты — «отобрать»! Опять же, мальчишка к ней — видела, как? Тоже любит.

— Да он просто доверчивый! И другой жизни, другого отношения не знает, — Таня

грохнула кружкой об стол. — А если я его заберу, ему больше не придется терпеть унижения от материнного сожителя, пьянки их видеть, жить в этом бараке... Со мной бы он жил в теплом, уютном доме, я бы с ним занималась, развивала бы его. У него были бы лучшие книги и игрушки, хорошая школа, репетиторы, любые секции и кружки — все, что захочет. Не говоря уже о том, что он был бы в безопасности!

— Тань, ты права — он доверчивый. И ты сейчас хочешь эту доверчивость против него же обернуть. Поманишь его игрушками, пообещаешь защиту... Будто он папуас, а ты пытаешься отобрать у него самое ценное, дав взамен новые джинсы и радиоуправляемый джип.

— Самое ценное — это что? — с сарказмом спросила Татьяна.

— Мать. Ее любовь. Его любовь к матери. Тань, если бы я видел, что никакой любви там нет, что для матери едино — что он, что пустая бутылка... Но я вижу обратное. И ты видишь. Потому и злишься. Я же говорю — ревнуешь. Привязалась. Отступи уже, дай им шанс.

Янтарные глаза Залесского смотрели мягко, понимающе — и это не вязалось со злой настойчивостью в его голосе. Татьяна хотела возразить, доказать ему... Но то, что казалось таким важным еще минуту назад, обернулось другой стороной. «Ведь я сама всю жизнь добивалась любви своей матери, горы ради нее сворачивала — а теперь готова отобрать ее у Павлика только потому, что презираю Марину», — вдруг поняла она. И отвела взгляд — стыд за свое упрямство, за необдуманные слова, сказанные в запальчивости, жег щеки.

— Юра, а что мне делать? — умоляюще спросила она. — Я знаю — эти люди из другого социального слоя, мне никогда не понять, как они живут. Но и ребенку жить с мамой, которая пьет и оправдывает жестокость сожителя, даже когда знает, что сын попал в больницу — разве правильно?

— Да я поспорить могу, что больше она с запахом к нему не придет, — ответил Залесский. — И не из-за того, что вы визжали здесь, как две дерущиеся кошки. Просто я видел уже таких. Ради ребенка могут взять себя в руки. Но надолго ли? Это у каждой по-своему.

Он замолчал. Задумался, будто тщательно взвешивал какие-то «за» и «против». Таня не нарушала тишины, лишь настенные часы монотонно отсчитывали секунды.

— В общем, так. Записывай, — скомандовал Залесский и Таня послушно потянула ручку из деревянной карандашницы, стоявшей на ее столе. — Думаю, самым правильным будет, если ты напишешь жалобу на этого мужика, как мы с тобой и договаривались. Пишешь в трех экземплярах: участковому, инспектору по делам несовершеннолетних и в отдел опеки. Указываешь, что ты врач больницы, в которую поступил Павел Фирзин. Что на теле ребенка следы побоев, копию медицинского заключения сканируешь и прилагаешь. Сканер есть у вас?

Татьяна кивнула.

— Хорошо, — продолжил адвокат. — Так вот, обязательно укажи, что, по предварительным данным, побои нанес сосед семьи Фирзиных, мужчина лет пятидесяти по имени Слава. После избиения мальчик сбежал из дома, то есть под давлением обстоятельств был вынужден заниматься бродяжничеством, а это является правонарушением. В целях предотвращения дальнейших правонарушений ты требуешь организовать проверку и возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком. И адрес Фирзиных укажи: Еловая, сорок, квартира пять. Думаю, после такого заявления они быстренько

закроют этого соседа — тем более, что он уже сидел, как я понял. И проведут профилактическую беседу с Мариной, поставят семью на учет. А если никто не почешется, напишем в прокуратуру.

— Я сделаю, — кивнула Таня, откладывая ручку в сторону. — Сегодня же сделаю.

— А я развезу по инстанциям, — пообещал Залесский. — Ну что, ты успокоилась немного? Поняла, что не все так однозначно, как казалось с первого взгляда?

— Да, но... Все-таки я сомневаюсь. А может, мы ошибаемся насчет Марины?

— Время покажет, — пожал плечами адвокат. — В конце концов, она еще не раз придет, пока Пашка здесь. Сможешь приглядеться, узнать ее получше.

Татьяна хотела было согласиться с ним окончательно, отступить. Но ощущение надвигающейся беды вновь настигло ее, поднялось изнутри мутным тошнотворным комом, и она не выдержала:

— Юра, у меня плохое предчувствие, — призналась она. — Только не говори, что я себя накручиваю. Я чувствую — случится что-то ужасное, если Павлик останется в своей семье.

— Ну-у, ты что-то совсем в черных красках всё стала видеть! — он подошел, сел напротив — на тот же стул, где до этого сидела Марина. Сгреб руками Танину ладонь, легко потряхнул: давай, мол, успокойся. Она смутилась — и от его упрёка, и от этой по-медвежьей неуклюжей ласки. Но его спокойное тепло проникало в озябшие пальцы, растворяло тревожное напряжение, стывшее внутри — и у нее чуть отлегло от сердца. А Залесский сказал с легким укором:

— Нет, можно, конечно, поднять все связи, продавить чиновников, представив ситуацию в мрачных тонах: мол, мать алкоголичка, ребенка бросает с чужим человеком, тот его бьет, ребенок запуган, физически и психологически травмирован... Опять же, условия проживания оставляют желать лучшего. И мальчик истощен, недоедает. Они перестраховщики, скорее предпочтут забрать ребенка — хотя бы на время. Но ему-то ты как объяснишь, что с мамой — плохо? Нет, можно, конечно, и это сделать — обманом, манипуляцией... Или подкупом. Заманишь его лучшей жизнью. А потом он вырастет и скажет: сволочь я, мать любил — но продал. Сам на себе штамп поставит, и на всю жизнь с ним смирится. Так и будет сволочью. И не из-за них — из-за тебя.

Она отшатнулась. Залесский словно проник в темный угол ее души и вытащил то, о чем она думала втайне, не желая признаться в серьезности своих мыслей даже самой себе. И от того, что мысли эти теперь лежали на свету, извиваясь и белесо блестя, как опарыши, ей стало жутко и противно от самой себя. Как она докатилась до того, чтобы не останавливаться ни перед чем, достигая своей цели? Неужели это всегда было в ней — тайное, тяжелое, мерзкое?

И она возненавидела себя за эту свою готовность добиться цели любой ценой, за то, что не подумала о том, чего хотел бы ребенок, за то, что так поспешно навесила на Марину ярлык беспутной матери. И горячее желание исправить эту свою оплошность перебило и предчувствие беды, теперь казавшееся чуть ли не способом оправдать свой эгоизм, и даже чувство вины. «Да, я оступилась — но не успела упасть», — подумала Татьяна. И тут же пришло понимание, что удержал ее Залесский. Как будто за руку схватил, развернув в нужную сторону.

— Юра, как же ты прав! — она глянула виновато, покаянно. — Заигралась я. Возомнила о себе черти что... А ты помог разобраться, спасибо...

— Да я только рад помочь, — чуть улыбнулся он. И Таня невольно подумала о Максе: а

ведь он бы так не поддержал, он вообще плевать хотел на то, нужна ли ей поддержка...

— Юр, мне, конечно, очень неудобно, но обратиться больше не к кому, — негромко сказала она. — Мне нужен адвокат, который представлял бы мои интересы в деле о разводе. Ты согласишься?

В глазах Залесского мелькнуло непонятное выражение, но взгляд тут же стал непроницаемым, даже холодным.

— Я подумаю, — пообещал он. И Татьяне показалось, что в голосе его проявилась нотка неуверенности.

— Максим Владиславович, у нас ЧП, — в голосе главбуха Галины Алексеевны Малёвой звучал неприкрытый ужас.

«Паникерша», — привычно подумал Макс, плюхнул шикарный кожаный портфель на свой стол, и уселся, мельком глянув в окно офиса — не подъехал ли Василенко? Но на стоянке, сиротливо стоя под фонарем, покрывалась снегом только его «вольво». Демидов спросил, даже не пытаясь скрыть недовольство:

— Что опять? Потоп, метеорит, эпидемия?... Или вы, как в прошлый раз, платежку потеряли?

Бухгалтерша покраснела в тон терракотовой краске, покрывающей стену офиса.

— Ну, уж вы припомнили мне! — обижено скривилась она, поправляя короткие, морковного цвета, кудряшки, топорщившиеся в разные стороны. Про себя Макс называл ее прическу «ржавым матрасом» — жесткие завитки и вправду походили на пружинный остов, изрядно попорченный временем. Ее широкое, будто скалкой раскатанное, лицо выглядело отечным, и из-за этого еще больше походило на бульдожье. Маленькие блекло-голубые глазки взволнованно блестели за стеклами старомодных очков. Шейный платок — весь в мелкий цветочек, из разряда «веселеньких» — еще больше ее старил. Бесформенное коричневое платье, все в мелких катышках, выглядело неопрятно, и облегалo фигуру так невыгодно, что казалось: под ним не женщина — куль с картошкой. Таких Демидов особенно презирал.

— Так что за ЧП-то? — спросил Максим, начиная злиться. Из-за Танькиного взбрыка итак настроения не было, он приехал в офис, надеясь посидеть спокойно, обдумать всё. Рабочий день уже закончился, и он не ожидал, что Малёва до сих пор здесь.

— Контрагенты эти, с которыми мы договоры за последний месяц заключили, на однодневки похожи! — Она открыла зеленую папку с бумагами, начала откреплять файлы и передавать Максиму, перечисляя: — Это вот отделочники, ИП Кунакильдин, договор на пятьсот семьдесят тысяч за ремонт аптечного пункта на Победе. Это ИП Бестужев озеленение — мы что, правда заказали цветов почти на двести тысяч? И если работы должны быть выполнены в мае, зачем в январе его заключать? А вот еще, посмотрите — ИП Цыбко, устройство и ремонт фонтанов. Фонтаны-то нам зачем?

— За надом, — грубо прервал ее Макс. Ему жутко захотелось выпить. «Какого черта она полезла в папку с договорами? Ее дело — счета оплачивать, да в налоговую ездить. А может, ей Танька позвонила?... Что развод и все такое, Максим Владиславович больше не у дел? — мысли заметались, как напуганные зайцы. — Зря я так с бухгалтершей, не в моих интересах сейчас ее злить». И сказал удрученно:

— Извиняюсь. Жена в больнице, вот и срываюсь на всех...

— Божечки мои, а что с ней такое? — бухгалтерша переполошилась так, что Макс понял: «Не знает. Не звонила ей Танька».

— Да просто обследуется. Но я ж не железный, переживаю, — уклончиво ответил он. Жена просила его никому не говорить о ее очередной беременности, боялась сглазить.

— Ой, ну вы держите себя в руках, — назидательно сказала бухгалтерша.

— А куда деваться? — развел руками Демидов.

Повисла пауза — будто Малёва пыталась сообразить, уместно ли сейчас говорить с ним

о делах. «Пусть уgomонится и выбросит эти договоры из головы», — подумал Макс. И принялся объяснять:

— Да это старый городской фонтан, на Ермолаева который. Денег на него дать человек из администрации посоветовал. Хотят восстановить, в бюджете пусто, вот и трясут с местного бизнеса — тупо за пиар. Бабла дадим немного, а крику будет на весь город — архитектурный памятник восстановим, все-таки, объект туристической инфраструктуры. Озеленение — ну а чё, пусть красиво будет возле аптек, цветов-кустов насадим. Но оплатить сейчас надо, в сезон это дороже.

«К весне меня здесь уже не будет, поэтому денежки я переведу себе сейчас. И за фонтаны, и за ремонт, и еще много за что в перспективе. Нужно качать нефть, пока сидишь на скважине», — отметил он про себя и продолжил:

— А ремонтники — ну что теперь, раз цены такие. Нам без ремонта никак, аптеки же, всё должно быть чики-пуки.

— Так я как раз насчет ремонтников этих! — взволнованно проговорила главбух. — Я деньги-то туда перевела, как вы сказали. И позвонила им по номеру, который в договоре указан — мне же документы нужны для отчетности! А они не отвечают. Ну, я поехала к этому Кунакильдину. И что вы думаете? Там по юридическому адресу обычная квартира, ну да ладно, это часто бывает, но в квартире этой бабка живет. И говорит, что Кунакильдин этот третий год в тюрьме! Похоже, на его имя кто-то ИП открыл. Я в налоговую звонить, Маше Суловой, ну, помните — светленькая такая, заходила к нам? Так вот она сказала, что ИП это новое совсем, и никакого движения по счетам еще не было! Первое поступление — от нас! Похоже на фирму-однодневку, таким предоплату переводить опасно. Бегай потом за ними! И озеленение это, фонтан — тоже новые предприятия. Кто их знает, не жулики ли...

Была бы воля Макса, он посадил бы эту бухгалтершу на цепь, чтобы не в свое дело не лезла.

— Не надо паники, Галина Алексеевна, — ободряюще улыбнулся он. — Я, конечно, рад, что мой главбух всегда на стрёме. Но здесь все чисто. Бабка не поняла вас, наверное. Кунакильдин — кореш мой, он нам ремонт по дешевке сделает. А в тюрьме его отец заседает. Фамилия-то у них одна и инициалы одинаковые. Ильдары Ильдаровичи оба. Совпадение. Точнее, семейная традиция — старших пацанов в семье одинаково называть. Не запаривайтесь. Вы от них счета оплатили?

— Ну да, вы же подписали...

— И остальные тоже?

— Ну да...

— Вот и молодец! Знал, что на вас можно рассчитывать! — похвалил он бухгалтершу.

Малёва облегченно вздохнула. Беспokoйный огонек в ее глазах почти погас, лицо вновь приобрело спокойно-деловое выражение. Но, не желая выглядеть паникершей, она всё же буркнула:

— Ну, я же должна была вас предупредить...

— Ясен пень. И правильно. Но я ж всегда проверяю контрагентов. И вы это... Не кипишуйте перед налоговой, сначала меня спросите, — ворчливо ответил он.

Поправив сбившийся на сторону шейный платок, Галина Алексеевна кивнула и с видимым облегчением стала собирать сумку. Выключила компьютер, поднялась, отодвинув массивным задом свое широкое крутящееся кресло.

— Хороших выходных! — пожелал ей Демидов. И шутливо погрозил пальцем: —

Смотрите мне, без загулов! Знаю я вас, женщин: пойдете в ресторан с подружками, там мужики закрутят-затанцуют! Вы мне здесь нужны в понедельник.

Малёва зарделась — чувствовалось, что слова начальника ей приятны. Попрощавшись, она вышла из офиса. Максим остался в одиночестве и смог, наконец, стянуть с лица доброжелательную улыбку.

Бухгалтерша свою работу знала неплохо, но для Макса обвести ее вокруг пальца было плевым делом. Она ведь тряслась за свое место, с благодарностью проглатывала начальственные «плюшки» в виде премий и похвал (на вторые-то Макс был особо щедр, памятуя, что ласковое слово кого угодно приручит). И в рот Демидову заглядывала, боясь вызвать его недовольство.

Раньше Галина Алексеевна главбухом не была, Макс понимал, что на это ей просто ума не хватало — но она-то считала себя недооцененной. Потому что в кресле рядового бухгалтера Машзавода провела больше двадцати лет, обзавелась кой-какими связями, журналы профессиональные почитывала, хоть и по диагонали — но не видя в этом крамолы. И свято верила, что с такими данными ей прямая дорога в Главные, да вот не пускают. Плюс возраст поджимал, ждать устала, да и обидно было выслушивать претензии от начальницы-сидушки, которую явно пропихнули на Машзавод по благу и которой Галина Алексеевна почти что в матери годилась.

Малева вывалила все это на собеседовании, и Максим понял — подходит. Он специально искал такую после того, как выжил Танькиного бухгалтера. Знал, что, заняв кресло главбуха, она будет вечно благодарна золотому человеку и мудрому руководителю Максиму Вячеславовичу Демидову — единственному, кто разглядел и оценил. Амбициозность Галины Алексеевны была удовлетворена, так что потом Максиму оставалось искусственно создать несколько ситуаций, из-за которых она могла лишиться своего места. И самому же её каждый раз прощать великодушно, постепенно внушая: начальник умнее, грамотнее, и если он что-то утверждает — значит, так оно и есть, и перепроверять не нужно.

Татьяна к тому времени совсем отошла от дел, так что Макс мог спокойно проворачивать свои бизнес-схемы. Оставалось только придумывать, на что потратиться сегодня — на неработающий фонтан, озеленение посреди зимы, или на вдвойне подорожавший ремонт, с которого можно отжать половину.

Ну и осторожность терять не стоило, все ж таки Малева не была круглой душой, да и Танька в любой момент могла вспылать интересом к своему аптечному детищу. А еще теща Елена Степановна — чтоб она трижды провалилась! — постоянно совала свой нос в дела фирмы. Благо, не разбиралась в них вообще.

Демидов удовлетворенно улыбнулся и взялся за стопку счетов, скопившуюся на столе. Парочка из них была от его личных фирм, о которых Танька ничего не знала. Он не впервые выводил деньги налево — ведь для возвращения к Алене ему была нужна солидная сумма. Она копилась, но медленно. Иногда победно прирастала за счет выигрышей в покер или бильярд. Иногда — досадно уменьшалась, когда форта не было. Но если заняться обналичкой, как сегодня предложил ему Василенко, к весне денег скопилось бы достаточно... «Ч-черт, Танька со своими капризами вообще не вовремя... Развод ей подавай, не, ну нормально?... А если она отстранит меня от работы? Учредитель, имеет право... Аудит может назначить... — он почувствовал, как по шее поползли мурашки. Достал из ящика стола початую бутылку коньяка, рывком выдернул пробку, глотнул прямо из горлышка. — Нет, она не настолько подлая, чтобы делать такое без предупреждения. Сразу

бы сказала, чтобы не только из дому выметался... Кстати, что теперь: за чемоданом и в гостиницу? Бля, надо придумать что-то... Но пока не дергаться. Пусть охолонёт, подумает чутка...»

— Чего взбесилась-то? — спросил он у свадебной фотографии, показательно — для сотрудников и тещи — стоявшей на столе. «Танька толстая и в белом — ну прямо пельмень в сметане, — подумал Демидов. Но признал: — а так-то аппетитная, конечно».

— А может, ты уже хахаля себе нашла? — подмигнул он жене, отхлебнув из бутылки. И заржал в голос — настолько нелепой была эта мысль. Его клуша-жена — и любовник?

— Да у тебя кишка тонка его завести, — изобличил Максим, снова обращаясь к фотографии. И протянул с издевкой: — Ты же у нас праа-аавильная!

«Это Алёне было легко найти мне замену, — подумал он. — Но Алена — шикарная женщина, за таких мужики в драку лезут. Хотя тоже дура, как и Танька»

Привычная тоска — замешанная на любви, злости, желании победить, доказать свое превосходство над другими мужчинами — пробудилась в нем, проступила в глазах печалью, потянула вниз уголки его губ. Настроение испортилось еще больше. Пошарив под столом, он включил компьютер, вышел в интернет. И в соцсети, где был зарегистрирован под ником «Бизон», нашел страничку Алёны.

Он заходил к ней едва ли не каждый день, ревниво разглядывал фотографии и комменты под ними, дико злился, когда она пропадала из сети. Однажды она не обновляла страничку месяца два, и он уже начал всерьез беспокоиться: что с ней, жива ли?... При ее образе жизни всякое могло случиться, он еще в те времена ей об этом говорил...

Тогда, в Самаре, она обещала ему завязать, обещала много раз — но всё сбегала в свой «Бэзил», блядское гнездо, где каждый мог пялиться из зала на ее возбуждающее до трясучки тело. Где каждый мог сунуть купюру за тонюсенькую ниточку стрингов, назначением которых было подчеркивать — не скрывать. А она танцевала для них — не для него. Ему оставались обеды.

Хмурый взгляд, капризно искривленная губа, затрапезный халат — она стала для него такой после месяца жизни на съемной хате, и продолжала в том же духе следующие три года. Даже когда он начал приносить деньги сумками, ввязавшись в дела Сени Кречета, гонявшего иномарки из Владивостока. Он схватил эту собачью работу, как голодный пёс хватает кость, потому что других знакомых «новых русских» у него не было — а Алёна была. И ей нужны были бабки, цапки, шмотки — которые она надевала не для него. И красилась уже не для него, и интеллектом уже не перед ним блистала — но последнее его как раз устраивало. А еще она хотела поехать в Турцию, а еще он то и дело слышал: «Смотри, у соседей тачка новая, а у нас и старой нет! Слышал, Юрка для Светки дом купил, а ты когда мне купишь?» И, кое-как отрываясь от нее, разомлевшей в постели, он бежал искать работу поденжнее — и какой уж был, к чертям, завод, и какая разница, что отец еле выбил для него место?... А она оставалась: золотистая головка на смятой подушке, плавный изгиб спины, вольно откинута в расслабленности сна рука, а подмышкой — манящая, трепещущая от Алениного дыхания тень, сквозь которую белела тугая, будто налитая амброзией, полусфера груди. Длинное, ровно-загорелое бедро, рассеянно прикрытое хвостом одеяла, перетекающее в крепкое, с робкой складочкой, яблоко колена. Лодыжка, сводящая с ума своей иконописной тонкостью, узкая ступня с маленькими, идеально слепленными пальчиками...

Эта красота стоила ему очень дорого.

Когда Кречет подкидывал заказы и Макс собирался в дорогу, Алена довольно загибала пальцы, подсчитывая, что она купит теперь. И провожала, обещая ждать. Но каждый чертов день, проведенный в дороге, Макс боялся, что вернется в пустую, никчемную без Алены, жизнь — потому что его златовласку уже кто-то увел, уже трахает где-то, и платит за нее в кабаках. Он представлял это так часто и так пугающе-живо, что сердце, протяжно ухнув куда-то вниз, становилось ватно-бессильным, обмирало — а потом, будто озверев, хлестало вскипающей кровью в ослабевшие стенки жил, грозя разорвать их, испечь изнутри. Он бесился, отчаянно вцеплялся в руль, выжимал газ резко и сильно — так топают ногой по собачьему поводку, пытаясь удержать готовую сбежать на случку породистую, дорогую суку. Он не спал по трое суток, чтобы только приехать быстрее, пригнать очередную чертову тачку, за которую обещали отслонить бабла. Он глотал вонючую дорожную пыль, жрал на ходу какие-то засохшие куски, подрезал длинномеры и проклинал тормозов-гаишников — а она могла спустить его бабки за час, и тут же протянуть руку за новыми. Она пожирала деньги, как пламя пожирает бумагу. И, как пламя, всегда оставалось голодной.

Макс жил тогда, как приговоренный к какой-то нелепой смерти: если где-то был риск, он шел на этот риск, потому что за него платили. Кречет начал крышевать мелких торгашей — Демидов, к тому времени ставший его правой рукой, наращивал «базу» и выбивал с них бабло. Кречет продавал краденый антиквариат — Макс сопровождал его в роли телохранителя. Кречет забивал стрелки — Демидов ездил с ним перетирать. Дважды его чуть не пристрелили, один раз он чуть не сгорел при пожаре, устроенном им же в магазине строптивного торгаша. Но когда Кречет замутил банк и поставил Демидова своим заместителем, даже Алена задницу поприжала — уже к нему, а не к шесту в «Бэзиле». И Макс подумал тогда: ну всё, моя.

Любила ли она его? Да, конечно, любила! По-своему, по-блядски, постоянно мотая нервы, по-прежнему крутя жопой перед другими, пропадая на ночь и приползая под утро с распухшими губами и размазанной тушью. Он каждый раз выл в голос, каждый раз был готов оторвать ей голову, каждый раз зарекался — всё, больше не прощу! — но потом ловил себя на том, что всё это заводило его, как изощренная форма садизма. Ведь возвращалась-то она всегда к нему, к нему — от кого угодно.

В то время он еще не понимал, что она просто не встретила того, кто был бы круче.

А потом сука Кочет смылся с бабками, банк признали банкротом, и Макс как-то вдрут остался не у дел. Купленную к тому времени «трешку» в блочном доме и бордовую «ауди» с кожаным салоном пришлось сдать ментам, чтобы остаться на свободе. Денег не стало. Вообще. За съемную квартиру заплатили обручальными кольцами, которые Демидов буквально за неделю до того купил для них с Алёной.

Она переехала с ним, засела на новой хате среди неразобранных коробок с вещами, открыла бутылку водки и налила себе рюмку. Потом еще одну, еще... Так и не просыхала. И трахалась с ним молча, хотя раньше, даже после крупных размолвок, была любительницей покричать.

Он занял денег, попытался сорвать куш на рулетке — и в первый раз получилось, да как! Он еле приволок домой клетчатый «челночный» баул, расстегнул молнию в коридоре и пнул баул ногой. Тот повалился набок, изрыгнув перевязанные пачки пятитысячных купюр к ногам полупьяной Алены, сидевшей на полу возле стены. И вот тогда Макс в первый и в последний раз увидел, как она плачет.

Тогда он соврал ей, что нашел работу.

Демидов выигрывал, проигрывал, занимал, проигрывал снова, перезанимал, выигрывал, отдавал, занимал снова... А она — то вилась вокруг него, то шлялась где-то, охотясь на мужчин. Искала себе лучшей жизни... Они оба делали это — втайне друг от друга.

Алена остановилась первой.

Просто собрала однажды вещи и ушла.

А его долг к тому времени вырос так, что оставалось только бежать и прятаться.

Но записку, которую он нашел тогда на кухне — среди невымытых тарелок, фисташковых кожурок и липких пятен от пивных стаканов — Демидов хранил до сих пор. И хорошо помнил, что там написано. «Поднимешься — приезжай. Упадешь — сдохни».

«Я почти поднялся. Осталось еще немного», — думал Макс, глядя на фотки Алёны — теперь сорокалетней, но такой же дерзкой, с ласковой блядинкой в глазах, с волосами цвета небесного золота. Да, у нее появились морщинки, и фигура чуть оплыла — но всё же это была его прежняя красавица-Алёна. Никакая другая женщина не тревожила его так. Никакую другую он не любил.

Многие годы он слышал о ней урывками: что сначала ее приручил Плюгавый Эдик, наживший капитал на торговле недвижимостью, потом выкупил законник Ахмет — знакомые самарские морды, которые начинали вспахивать криминальную ниву примерно в то же время, что и Макс, вот только повезло им больше. Сейчас она, вроде бы, была одна, и не при деньгах — по крайней мере, перестала чекиниться в ресторанах и дорогих бутиках, постить фотки с улиц Рима и пляжей Бали. Даже работала — секретаршей в какой-то госконторе. И то, видимо, по протекции — учебу в вузе она забросила почти сразу же после их встречи, оставив всего три курса за спиной. И про образование на ее страничке ничего не было сказано, а, будь у нее вышка, Алена бы обязательно ей прихвастнула.

— Дура ты, — объяснил ей Макс, глядя на улыбающееся лицо в мониторе. И, запрокинув голову, вытряс себе в глотку последние капли коньяка. Поставил пустую бутылку на стол, пьяно ощерился: — Я б тебя на руках носил, если б дотерпела. Я ж мотался все эти годы, деньги для тебя искал. Вот, нашел, наконец. Почти поднялся. Накрывай на стол, скоро буду.

Он закрыл ее страницу и застыл, глядя в одну точку. В памяти киношной лентой бежали кадры. Вот он на северах, дернул туда из Самары, когда за долги прижали. Работал вахтовиком, на прокладке газопровода — недолго, слишком геморройно было. Потом по стране мотался, то легально трудился, то дела мутил. Попался глупо, на угнанной машине. Дали два года, но отсидеть пришлось всего восемь месяцев — повезло, амнистия удачно случилась. После этого чем только не занимался: то таксистом бомбил, то на стройке подрабатывал, то металл сдавал — ну и играл, конечно... Долго не везло. Думал — всё, никогда при деньгах не будет. Оставалось сделать так, как Алена написала: «Упадешь — сдохни». И если б не эта дорога рядом с небольшим подмосковным городком, и не колесо, так кстати проколотое Танькой, может и сдох бы. А так остановился, свозил до шиномонтажки и обратно — в Лексусе этой дурынды даже запаски не оказалось, зато сам Лексус был красавец! — перебортовал колесо. Ну и телефончик взял, не дурак же. Видел, что нет колечка на пальчике.

Ну и, конечно, оболтал, поухаживал красиво — а через полгодика женился. Конкурентов-то не было. Да и Танька была не из тех, за которыми очередь.

Откинувшись на спинку кресла, Макс высоко поднял руки, потянулся. Мышцы затекли, и спать хотелось от выпитого. А Василенко всё не шел. «Может, и к лучшему это?»

Свяжешься с этой обналичкой — потом проблем не оберешься! — Трусливый холодок вновь пробежал вдоль спины, скользким пятном распластался загривке. Но Максим одернул себя: — Не ссы, все пучком будет. Зато к Алене уже весной сможешь вернуться».

Этот аргумент, как всегда, стал решающим. Демидов расслабился, открыл на компьютере «косынку», и, подперев щеку рукой, клацнул мышкой, передвигая карту. Да, это не покер, конечно, но ничего другого не было, а лезть на геймерские сайты сейчас не хотелось. «Хватит, наигрался уже по пьяни на десятку бакинских», — устало подумал Макс.

Василенко явился минут через двадцать. Перешагнул порог, стряхивая с рукавов снежинки. Сел напротив Макса, закурил, пододвинув пепельницу. Спросил, лениво шурясь:

— Ну что, поучаствуешь ты в нашем маленьком бизнесе?

И Демидов ответил, уже не колеблясь:

— Давай обсудим детали.

Когда Залесский ушел, Таня еще раз заглянула к Павлику — но мальчик спал, повернувшись на живот и уткнувшись лицом в сгиб локтя. Он сопел, как маленький ёжик; закованная в лангету нога лежала в опасной близости к краю кровати. Татьяна подвинула ее и встала над Павликом, с жалостью глядя на него. «Что тебя ждет, мой хороший? — думала она. — Ты ведь только ребенок, но твоя судьба уже зашвырнула тебя туда, где очень не просто. Зачем? Чтобы твоя мама задумалась о том, что с вами будет дальше? Но так ли сильна материнская любовь, сможет ли она перевернуть вселенную? Даст ли Марине силы изменить мир — хотя бы тот, в котором живет ваша семья?»

Мальчик пошевелился во сне, вздохнул — будто в унисон ее мыслям — и засопел тише.

Таня поднялась в свою палату, легла на кровать, натянув до подбородка колючее больничное одеяло. Стыд снова накатил жгучей волной. «А я — как я могла?... Почему вдруг стала такой — жесткой, эгоистичной, самодовольной дурой? С чего взяла, что только со мной может быть счастлив ребенок? Да я, со своими белыми руками и трехэтажной спесью, гораздо хуже Марины — так легко осудила, решила всё за всех в один момент... А ведь она бьется много лет, чтобы хоть как-то обеспечить сына, не бросает его. Но эта её тупая терпимость к телесным наказаниям... Хотя кто виноват? Она же сама морально покалечена родителями, которых, наверняка, любила. Они научили, что бить детей — не только нормально, но и нужно. Она виновата лишь в том, что не смогла прервать эту кошмарную семейную традицию. А я?... Я-то смогу?»

Эта мысль обожгла её, снова поднимая со дна души неуверенность в себе и своих убеждениях. «Матери ошибаются. Каждая мать. С чего я взяла, что буду исключением? Можно любить ребенка всем сердцем, но причинить ему этой любовью большее зло, чем равнодушием. Желать добра, но творить зло. Как разобраться в этом, как остановиться вовремя?»

Ответов она не находила. Темно-синий цвет стен палаты был под стать ее настроению. Круглые отверстия белой вентиляционной решетки, прикрученной под потолком, заросли пылью и паутиной. «Надо сказать Янке, чтобы напомнила санитаркам промыть ее, и все остальные в палатах. Чтобы пациентки пылью не дышали. Да и мало ли, СЭС явится...» — машинально отметила Демидова. И, будто в ответ на ее мысли, в дверь робко постучали, а потом в палату несмело заглянула Яна.

— Ты одна? — удивленно спросила она. — Привет!

И вошла — уже со свойственной ей уверенностью, высокая, подтянутая, в идеально выглаженном, сияющем белизной халате. В руках она держала историю болезни. «Разве уже восемь вечера, раз Янка пришла на смену? С ума сойти, как быстро день пролетел», — подумала Татьяна, а вслух сказала:

— Привет, а с кем мне быть-то?

— Ну, с адвокатом этим, к примеру, — прищурилась Яна. — Я так надеялась, что ты его не отпустишь! А чего продукты не разобрала?

Она подошла к столу, на котором так и лежали принесенные днем пакеты, и начала выкладывать их, командуя:

— Так, это в холодильник убереешь! А печенье пусть здесь полежит. Я тебя подержу недельку — для профилактики. Витаминчики тебе поколем, аминокапронку еще покапаем.

И, кстати, я вот не поняла, это что за самодеятельность?

Она раскрыла историю, подошла к Тане и села на кровать. Ткнула пальцем в небольшой желтый бланк, заполненный аккуратным почерком. Татьяна приподнялась, глянула — и почувствовала, как по спине побежал противный холодок. Бумажка оказалась бланком направления на электроэнцефалограмму, подписанным Новицким. В графе «диагноз» стояло: «Эпилепсия? Рекуррентная шизофрения?» И эти слова — написанные чужой равнодушной рукой, и оттого будто проникшие в реальность из Таниных кошмаров — напугали ее вдвойне. Потому что теперь ей предстояло не только уничтожить их, доказав, что этих болезней у нее нет, но и объясниться перед лучшей подругой. От которой она всю жизнь скрывала свою худшую сторону.

— Тань, ты чего молчишь? — требовательно спросила Яна. — Тебе что-то об этом известно? Я твой лечащий врач, и консультацию психиатра не назначала. С чего вдруг Новицкий решил проявить инициативу?

— Это не он, Инесса наша, я даже поругалась с ней из-за этого... — вяло сказала Таня. Ей вдруг стало всё равно, какие слова выбрать, чтобы рассказать подруге о Пандоре, и что она в итоге будет думать о ней. За этот день так много всего произошло — она крепко поссорилась с матерью, выгнала мужа, потеряла мальчишку... «Если и Янка отвернется от меня, эта потеря станет лишь очередным, вполне закономерным последствием моего отношения к собственной жизни, моего вранья, страусиного желания не видеть очевидного. Станет моей расплатой», — осознала она.

— Инесса к тебе психиатра вызвала? — ахнула Яна. — Но почему?

— Янка, ты только не злись, — попросила Таня. И, глубоко вздохнув, призналась: — мне давно нужно было поделиться с тобой. Но я боялась. Боялась не только тебе — вообще кому-либо сказать, чтобы не сочли сумасшедшей. Ну, просто это так похоже... Приступы эти... Они с детства у меня...

Чем больше она говорила, тем стремительнее становился поток слов. Почти захлебываясь им, Таня рассказывала о Пандоре — сбивчиво, сумбурно, давясь воспоминаниями, встававшими поперек горла, или срываясь на слезы. Ей хотелось передать весь свой ужас, она думала, что только тогда Янка поймет и не осудит. А та слушала молча, и только в глазах отражалось невысказанное — удивление, недоверие, а потом понимание, жалость. Не было лишь того, чего так боялась Таня — страха и отторжения.

— Танюшка, как ты жила-то с этим?... — с сочувственной горечью спросила она. — Ведь такое выдержать... Но, слушай, я не думаю, что это психиатрия. Тут другое что-то.

— Знаю, что другое! — с жаром откликнулась Таня. — Я ведь обследовалась, и в институте препода по психиатрии вопросами измучила...

Теперь, когда она выговорилась, вылила из себя то страшное, которое копила годами — и не увидела в реакции подруги ни ожидаемого ей отвержения, ни презрения, ни опасливой брезгливости и желания держаться подальше — ей стало ощутимо легче. Так легко, будто теперь ее ноша была поделена на двоих, и оттого стала вполне посильной.

— О, помню, как ты Станиславыча доставала! — улыбнулась Яна. — Мне вообще из-за этого казалось, что ты в итоге психиатром станешь. А ты, оказывается, из за Пандоры психиатрией интересовалась... Но Тань, так же нельзя. Может быть, эти приступы оттого и не прекращаются, что ты держишь всё в себе!

— Янка, а что бы со мной стало, если бы я начала о них рассказывать? Да мать бы первая меня в психушку упекла, еще в детстве! Ей только дай повод... И у меня бы вся жизнь

была переломана! Влепили бы мне какой-нибудь психиатрический диагноз, и что дальше? Медицина была бы для меня закрыта, а ты помнишь же, я еще подростком мечтала стать врачом. Может быть, я даже в школе не смогла бы учиться...

— Я понимаю, Тань! — Янка погладила ее по плечу, успокаивая. — У нас же люди дремучие, быстро в психи записывают, если что-то подобное слышат. Я бы, наверное, на твоём месте тоже скрывала такое, если бы никто не замечал... Да что там! Я и скрывала... У меня же было нечто подобное, только проявлялось не так остро.

Таня уставилась на нее, будто видела впервые:

— У тебя? — почему-то поверить в это было почти невозможно.

— Ну, конечно, без таких сильных переживаний, чтобы до обморока, но было. Очень странная штука, и тоже повторяющаяся раз за разом.

Когда я видела нож, обычный нож — столовый, кухонный, или даже скальпель — у меня возникало ощущение, что кончики моих пальцев изрезаны. Что там раны, они болят — знаешь ведь эту боль от порезов, жутко неприятную, острую до чесотки и онемения, ведь место очень чувствительное... Она еще чем-то похожа на чувство холода, обморожения. А еще мне казалось, что я будто бы вижу вот эти раны на подушечках пальцев — как они кровоточат, и всё это мясо внутри... Бр-р...

Яна поёжилась, умолкла на миг, словно нырнув в переживания — и продолжила:

— Так что у меня осязательные галлюцинации были, если можно так выразиться... Вообще вся эта терминология, — Янка поморщила нос, — обычных людей пугает и отталкивает, потому что связана с чем-то тёмным, опасным. Якобы, у нормальных людей не может быть галлюцинаций — только у алкашей или психически больных.

— Это не так, — покачала головой Татьяна.

— А ты никогда не задавалась вопросом, почему даже психиатры признают, что не могут определить их причину? Если не брать в расчет случаи, когда имеет место опухоль мозга, Альцгеймер и прочие диагнозы, при которых нарушения в мозге выявляются на физическом уровне. Я вот так тебе скажу: всё, что нам кажется — а твои приступы ведь из этой серии — может быть сигналом бессознательного. Как сны.

— Ну, нам говорили об этом в институте... — в голосе Татьяны звучал неприкрытый скепсис. — Только мы же психологи. А с бессознательным работают психоаналитики — а я им, если честно, не слишком доверяю... Мы немного разбирали учение Фрейда, основоположника психоанализа. Оно воспринимается так, будто бы все в нашей жизни завязано на либидо, на сексе. Но Янка, согласись, это какой-то однобокий подход. Как говорится, иногда банан — это просто банан, а не фаллический символ.

— А я после развода ходила к психоаналитику, — призналась Яна. — И он помог мне понять, что во мне сидит и не дает нормально вести себя в семье.

Глеба я, конечно, после этого не вернула — но не потому, что не могла. Думаю, мы еще десять раз сбегались бы и разбегались. Но мне это перестало быть нужным. Оказалось, что в нем я видела своего отца, и вела себя с ним так, чтобы компенсировать детские переживания. Все доказывала ему, что я молодец и меня стоит любить, ценить и не бросать... Вот только он не мог ко мне по-другому относиться в силу своего характера, а не потому, что я плохая. Как и мой отец — он тоже не мог по-другому, а я не понимала, винила себя в том, что недостаточно хороша...

— А знаешь, я что-то такое предполагала, — призналась Татьяна. — И мне всегда казалось, что ты модель родительской семьи пытаешься перенести в ваши с Глебом

отношения. Но твой отец ведь в итоге ушел от мамы, хотя все говорили: «Она такая хозяйственная, умница-красавица, и всю семью на себе тащит... Ну что еще этим мужикам надо?»»

— Вот-вот! — подтвердила Яна. — Сейчас и обо мне с Глебом мне так говорят.

— Ты по-другому не могла, потому что у тебя, как и у большинства людей, была только одна модель семейного поведения — та, по которой жила семья твоих родителей. И ты ее неосознанно скопировала в своей семье. Ты не виновата.

— Теперь я это понимаю, — с горечью сказала Яна. — Ну да ладно, жизнь не закончилась, выйду еще замуж... Я про ножи тебе хотела рассказать. Так вот, я призналась психоаналитику, что жутко их боюсь — ну, чтобы заодно и эту проблемку решить. И представляешь, иду я на следующий день в магазин, через парк возле моего дома — и тут меня накрывает! Буквально перед глазами встает воспоминание. Дашка, моя сестра — ну, ты же помнишь, она на девять лет старше меня, и родители ее часто заставляли со мной, маленькой, сидеть — режет мясо на кухне. И я рядом кручусь, мне года три — я жутко непослушная была в этом возрасте, всё назло сестре и родителям делала.

— Как раз тот возраст, когда у ребенка взаимоотношения с родителями перестраиваются, — заметила Татьяна.

— О, я всем давала дрозда! Вообще неуправляемой была, — улыбнулась Янка. — Так вот, я любила хватать со стола всё подряд и бросать на пол. И ножи в том числе. Но брала я их, как придется — а Дашка пыталась мне объяснить, что нож нужно брать за ручку, а не хватать его за лезвие всей пятерней, так можно порезаться. И пугала, что нож может пальцы отрезать полностью. А я хватала и хватала эти ножи на кухне, Дашка устала их от меня прятать... И вот она режет мясо, а я залезаю на табуретку и беру нож, который на столе лежит. Она отбирает, ругается — а потом резко хватает мою ладонь и свой нож, который в крови после мяса, прижимает к моим пальцам! И кричит: «Чувствуешь? Острый?» А я смотрю на него, и чувствую, как эта тонкая, холодная полоска стали давит мне на пальцы. Испугалась — не передать, как... Разревелась, а соседка по коммуналке говорит: «Даша, что ты делаешь, нельзя так с ребенком! Напугаешь же до смерти!» Сестра начала оправдываться: «Да я не острой стороной лезвия!» И это правда было так, вот только я этого не поняла сразу. Понимаешь, она просто хотела, чтобы я прекратила баловаться ножом. Защитить меня хотела. Ну, выбрала такой вот неудачный способ. Но сработало же! Я с тех пор только за ручку ножи брала. Но о случае этом напрочь забыла. Только страх остался: вот смотрю в магазине на ножи — чувствую порезы на кончиках пальцев, про которые мне сестра твердила. Холод металла чувствую, а сильный холод ведь напоминает боль. Сажу в ресторане — и не могу нож в руки взять, потому что это ощущение возникает. Нет, ну беру в итоге, конечно. И покупаю. И дома ножами пользуюсь — как без этого. Но всегда через этот вот страх, через принуждение себя — и через это чувство изрезанности! Тоже своего рода галлюцинации — просто осязательные, а не зрительные и слуховые, как у тебя. А осязательные галлюцинации, кстати, тоже симптом психиатрических заболеваний — бредового психоза, шизофрении. И что теперь, меня надо было психиатрам сдавать? Нет, конечно. Да они бы и не докопались до причины, наверное. А вот психоаналитик смог.

— Ничего себе, — только и смогла сказать Таня. — Даже не думала, что так бывает...

— Еще как бывает! — воскликнула Яна. — И очень по-разному проявляется. Психоаналитик мне рассказывал историю про мужика, который боялся летать. Он бизнесмен, по работе был вынужден мотаться из страны в страну. Но вот как увидит самолет

— всё! Дикое нежелание лететь возникает, страх наваливается, сердце стучит, в глазах темнеет. И обязательно — рвота. Он пошел к аналитику, начал разбираться с этим — и знаешь, что вспомнил? Что в раннем детстве он ненавидел манную кашу, а его ей закармливали. И над кухонным столом, за которым его пичкали этой кашей, висел плакат с рекламой «Аэрофлота». Он ощущал жуткий негатив из-за еды, реагировал на нее плохо, вплоть до рвоты — а перенес всё это в итоге на самолеты! Так вот психика сработала.

Вот поэтому я и думаю — может, что-то такое твоя Пандора и есть? Только проявляется сильнее. Ведь всё очень индивидуально, зависит от врожденных особенностей психики. Вот ты у нас впечатлительная, эмоциональная очень. Вполне возможно, что слишком остро среагировала на что-то в детстве, и теперь это вылезает в моменты сильных стрессов. Нужно просто раскопать это, вывести переживание из бессознательного — а когда ты вспомнишь, оно мгновенно утратит свою силу и важность. Ведь ты посмотришь на это с точки зрения взрослого человека, а не ребенка.

— Может, ты и права... — неуверенно ответила Татьяна. — Но как это происходит? Под гипнозом?

— Нет, ты просто говоришь, о чем хочешь — а психоаналитик слушает, иногда задает вопросы или просит акцентировать внимание на какой-то из сказанных тобой фраз. Ведь именно то, как мы строим эти фразы, какие слова используем, указывает на какие-то баги. Это как сигналы бессознательного, если можно так выразиться. А еще психоаналитик разбирает сны. Именно в них зачастую проявляется скрытое в самых глубинах психики. Фрейд даже говорил, что сновидения — это королевская дорога бессознательного. И, кстати, анализ снов ничего общего не имеет с теми вещами, которые описываются в популярных сонниках. Ну, что кровь снится к родне, а тараканы — к деньгам.

— Я одного не понимаю, — чуть поразмыслив, возразила Таня, — ведь такие случаи, как твой с ножами, очень яркие, вызывают сильные эмоции — почему же мы тогда их забываем? Я наоборот какие-то жуткие вещи из своей жизни слишком хорошо помню.

— Да потому что они происходили с тобой, когда ты уже была постарше! — с жаром объясняла Яна. — А представь маленького ребенка — он же иногда пугается совершенно безобидных вещей, и реагирует очень бурно. Если у такого ребенка возникает травмирующее переживание, с которым его психика не может справиться, оно вытесняется в бессознательное. И если бы было иначе, единицы из нас доживали бы до старшего возраста.

— Ну да, про это я знаю, — согласилась Таня. — Это всё про те же детские психотравмы, которые мы изучали, как психологи. Просто с другого бока. Мы в психологии говорили, что детские психотравмы на характер влияют — ребенок может стать скрытным, неуверенным в себе, агрессивным и так далее. Но что они могут, не меняя характера, проявляться ситуативно и в виде таких приступов, как у меня... Не знаю. Мне Пандора всегда казалась чем-то сродни детскому кошмару, но кошмары приходят во сне, а она — в реальности...

— Тань, ты просто сходи к нему, хотя бы разочек, — попросила Яна. — А там сама решишь, что делать дальше. Телефон психоаналитика я тебе скину, как до дома доберусь. Он у меня в старом мобильнике забит.

Она захлопнула историю болезни, положила рядом с собой на кровать. Поднялась и, улыбаясь, скомандовала:

— А чего лежим, больная? Встаем! И угощаем лечащего врача чаем с плюшками!

— Яночка, спасибо тебе огромное, я бы реально с ума сошла наедине со всем этим... —

тихо сказала Татьяна.

— А не надо наедине, — посерьезнев, ответила Яна. — Люди же вокруг, Тань. Да, они разные, и не стоит открываться каждому. Но друзья — на то и друзья, что поддержат и помогут. Тебе нужно просто научиться принимать эту помощь. А у тебя проблемы с этим. Ты настолько самодостаточна, что живешь в иллюзиях, будто сама способна всё решить — и будто других обременять своими проблемами не нужно. Вот только сил у тебя на всё не хватит. Никогда. А еще, какой бы умной и самодостаточной ты ни была, иногда возникают ситуации, на которые полезно посмотреть со стороны.

— Ой, да! Мне Залесский помог с этим сегодня, — всплеснула руками Таня. — Помнишь, я говорила, что к нам мальчика привезли и я его усыновить хочу? Так ты представляешь...

Она коротко рассказала подруге о том, что произошло между ней и Мариной Фирзиной. Яна жевала вынутый из пакета пирожок, и слушала, не отводя глаз.

— Если бы не Юра, я бы таких дел натворила... — вздохнула Таня. — Ведь мне были важны лишь мои желания! И я вела себя так же, как моя мать — вот это самое страшное. Я ж всегда считала, что таким, как она, нельзя доверять детей. Такие ломают их под себя, как моя мать пыталась сломать меня — и ведь ей это почти удалось! Я же всю жизнь плясала под ее дудку — и ненавидела ее за то, что не могу по-другому.

— Ну, ты же сама говорила мне про родительские программы, — пожала плечами Яна.

— Да, я понимаю, мы часто действуем под их влиянием, да еще и копируем поведение родителей, — согласилась Татьяна. — Но знаешь, это звучит, как оправдание. А я же уже не ребенок. И мне надо от этого избавляться.

— А вот это правильно? — спросила Янка, снова запуская руку в пакет с пирожками. И пояснила: — Извини, я ужас какая голодная! День бешеный был, поесть не успела.

— Ешь на здоровье, — отмахнулась Таня. — Знаешь, я в такой странной ситуации оказалась. Будто я и моя семья на перекрестке стоим, родители и Макс меня в одну сторону тянут — а я решила идти по другой дороге. Я ж переругалась со всеми сегодня, Ян. И теперь будто одна осталась. И дорога, по которой хочу пойти, неизвестная мне. В одиночку — осилю ли?... Так страшно... и в то же время эта дорога как выход, она будто к нему ведет.

— Ну, значит, этот перекресток — твой шанс повзрослеть, — задумчиво сказала Яна. — А для твоего семейства — пересмотреть отношение к тебе.

— Просто мне страшно оставаться без семьи, страшно, если наши пути разойдутся, — призналась Татьяна. — Но я хочу идти по своей дороге. И если они этого не понимают... Стоит ли вообще держаться за этих людей? С одной стороны, да, потому, что мама и папа родные по крови, я им обязана — они кормили и одевали меня, заботились по-своему. И Макс помогал, благодаря ему я, пусть и недолго, но женщиной себя чувствовала — любимой, привлекательной для мужчины. Опять же, он с аптеками этими возится вместо меня... Но это на одной чаше весов — а на другой моя сегодняшняя жизнь! Мои мечты, желания. Которые не способна понять моя семья. И вот она, суть конфликта. Я много лет пыталась его разрешить, доказывала что-то, объясняла... Всё как об стенку горох. Так что хватит пытаться, надо делать.

Она замолчала. И почувствовала, как мысль, произнесенная вслух, превратилась в решение.

Перед дверью дома намело знатный сугроб. Чертыхаясь и балансируя, как пьяный матрос, Юрий полез по снегу за большой деревянной лопатой, стоявшей в углу за крыльцом. В ботинки тут же набилась льдистая крупа, начала таять, обжигая холодом. Залесский схватился за черенок голыми руками, стараясь не обращать внимания на вползающую в тело знобкую дрожь.

Завладев лопатой, он в несколько взмахов вычистил крыльцо. И распахнул освобожденную дверь с чувством завоевателя, добравшегося до царских покоев.

Но дом уже был захвачен — буйным, неистово-жарким ароматом рыбного пирога, который чуть не свалил Залесского с ног. Желудок сжался, недовольно буркнул, во рту стало горячо и влажно от мгновенно набежавшей слюны. Юрий торопливо скинул дубленку и стащил ботинки: не руками, бережно и аккуратно, как требовала Петровна — а, пока экономка не видит, «носом о пятку», небрежно отпнув с пути. Проскакал вглубь дома. Дверь на кухню была закрыта, за матовым стеклом колыхался темный женский силуэт, а на полу, у дверной щели, выстроилась пушистая очередь. Кошки и собаки дружно держали осаду, и на хозяина поглядели кто с недовольством — мол, сзади становись, шестым будешь! — а кто с мольбой, жалобно мявкая или подергивая хвостом.

— Пода-айте на пропитание! — басовито, на поповский манер, затянул Залесский и постучал в стекло согнутым пальцем. — Петровна, ходоки с голодного края прибыли, не откажи в милости, царица!

Очередь заволновалась, поднялась на лапы и поддержала хозяина требовательным мяуканием и лаем.

— А вот я вас скалкой! — донеслось из-за двери. — Будете вовремя к ужину приходить, второй раз уж пирог разогреваю!

Залесский осторожно нажал на ручку двери и заглянул в щель. Широко поводя рукой, Алла Петровна смазывала сливочным маслом и без того лоснящийся, толстый, поджаристый до бронзового румянца пирог. Из круглого отверстия в его центре поднимался влажный пар, пропитанный запахом хорошо протомленной рыбы, репчатого лучка, картошечки и специй. Кот Микрик бесцеремонно наступил на ногу Залесскому и боднул дверь головой, пытаясь пролезть на кухню через щель.

— Атас, Петровна! Спасай пирог! — гаркнул Юрий, отпуская дверь. Хвостатый поток тут же хлынул на кухню, мявкая и повизгивая, а экономка, оглянувшись, воскликнула в ужасе:

— Да погодите, оглоеды, спасу от вас нет! — и тут же ласково: — Юра, руки помыл? Вот пить дать, не мыл! Шустри быстрее в ванную, и за стол, пока не простыло!

Пришлось подчиниться. Но уже через пару минут Залесский сидел перед большой тарелкой, придавленной к столу знатным ломтем пирога. Рядом с ней экономка водрузила высокую глиняную кружку с молоком...

— Ох, Петровна, хорошо, что я государственных секретов не знаю, — довольно заметил он, прожевав первый кусок. — Всё бы сейчас выболтал за твою вкуснятину!

— Ешь, балабол, — в лучиках морщинок, окружавших глаза экономки, теплела доброта. — И осторожнее, косточки выбирай. Помнишь, поди, как маленького тебя к доктору возили? Мария Николаевна карасиков нажарила, а ты набросился с голодухи-то —

да как заперхал, захрипел, о-ой...

— Да помню я, Петровна. В тот день еще отец приезжал, — отметил Юрий.

— Так ты из-за него из дому-то и убёг с утра пораньше, не позавтракал даже — вот к ужину и был как сто лет не кормленный... — вздохнула Петровна.

К Юриному отцу она никогда не питала той же материнской слабости, как к Залесскому-младшему. Может быть, потому, что в число Борюсиных няnek была записана, когда генеральский отпрыск был уже в солидном возрасте — в тот год ему исполнилось пятнадцать.

Двадцатитрехлетняя Аллочка была принята в семью Залесских по протекции — когда Василия Александровича откомандировали в гарнизон ее родного города, дядька-подполковник походатайствовал перед генералом за племянницу. Марии Николаевне Залесской девчонка понравилась — и напористостью своей, и хозяйственностью. Четырехкомнатную квартиру, выделенную генеральской семье, она привела в порядок за считанные часы: отдраила всё до скрипа, одела окна в махом выглаженные шторы, с проворством разогнала вещи по шкафам. На месте баулов и коробок, загромаждавших углы и теснившихся под ногами в коридорах, засияла начищенным паркетом долгожданная пустота — та самая, о которой со дня переезда мечтала уставшая от воинских странствий Залесская. Да еще и муж сказал, что больше никуда не отправят, что дослуживать будет в этом городке. И впервые за долгие годы Мария Николаевна почувствовала, что можно, наконец, пустить корни. И перекрестилась втайне от атеиста-мужа.

— Ну что ты будешь каждый день через весь город мотаться? Живи у нас, четвертая комната свободна, — предложила она Аллочке. И та согласилась, а потом и в частный дом с генеральской семьей переехала.

Барчука Борюсю она гоняла с первых дней, а Мария Николаевна, измученная сыновним непослушанием, безмолвно эти гонения поощряла. Сначала Аллочка не понимала, почему мать не может приструнить собственного отпрыска — и потом уж допетрила, как искусно он умеет вызывать жалость. Капризный, избалованный, страдавший редкой формой экземы, Борюся иногда казался ей странным природным явлением — вроде кенгуренка, сидящего в сумке. Слабенький, маленький, с хилыми конечностями и трусоватым взглядом светлых глаз, Борюсик был чудовищно, непропорционально ленив. Его лень ощущалась как нечто могучее и незыблемое, и была пугающе многогранна. Он ленился здороваться, чистить зубы и даже смывать за собой в туалете — не говоря о том, чтобы делать уроки или ходить по хозяйственным поручениям. Если нужно было помыть чашку или убрать в комнате, этот великовозрастный кенгуренок вел себя так, что казалось — просить его об этом нужно на гуугу-йимидхиррском языке австралийских бушменов, потому что русского он не понимает совсем.

Он не любил покидать родительскую квартиру, из-за болезни своей учился на дому, и по щелчку пальцев получал всё, что в то время могла достать генеральская семья. Внешне Борюся был карикатурно не похож на Василия Александровича — будто не от него родился. Умственных нагрузок не выносил, заниматься спортом не мог «по здоровью», а математику — как основу баллистики — знал на слабенькую троечку. Зато художественную литературу читал запоем, учился музыке, а уж изобразительному искусству хотел посвятить всю жизнь. Педагог по живописи прямо говорил, что у парня талант, и зарывать его в гарнизонную землю — настоящее преступление. Это был последний аргумент, который заставил Василия Александровича отказаться от мысли сделать сына потомственным военным. Мария

Николаевна тихо возрадовалась, а Аллочка только сплюнула — видела уже, что толку с него нигде не будет.

С будущей женой Эллой (Олимпиадой по паспорту) Борюся познакомился в Москве, на какой-то из богемных тусовок, в коих принимал участие на правах выпускника Строгановки. Ему было двадцать два года, он только-только получил диплом и мечтал писать «своё» — жуткую смесь Шагала и Кандинского, которую почему-то считал перспективной. Но надо было где-то жить, покупать холсты, краски и хоть как-то питаться, поэтому Борюсе приходилось переступать через свою лень и брать случайные халтуры. Элла-Олимпиада была на пару лет старше, недавно закончила Щукинское, и скучала в ожидании главных ролей. Друзья находили ее харизматичной, как Наталья Варлей, и загадочной, как Анастасия Вертинская — но на то они были и друзья, чтобы поддерживать в трудную минуту.

Пожились молодые скоростижно — и четырех месяцев после знакомства не прошло. Любовью там не пахло: они были два человека-зеркала, отражающие мнимый успех друг друга. Каждый видел в другом себя, каждый мечтал о великом будущем. А пустота, царящая в их бесталанных душах, пряталась даже от них самих — в ослепляющих бликах молодости и самонадеянности.

В родительский дом Борюся привез невесту перед самыми родами. Залесские-старшие, уж на что были терпеливы, общего языка с молодым семейством не нашли, даже рождение Юрочки делу не помогло. В результате Борис и Элла съехали на кооперативную квартиру, экстренно купленную генералом Залесским. И практически сразу же, в ссорах и взаимных обвинениях, принялись ее делить. Василий Александрович ругал их артистами, а внука держал при себе — что молодых родителей вполне устраивало. Аллочка к тому времени вышла замуж, жила у свекрови, но работу в генеральском доме не бросала — сердцем прикипела к этой семье. Вот и стала нянькой уже при Залесском-младшем. Но этого ребенка она полюбила сразу. Юра уродился в деда — такой же крепкий, смуглокожий, та же широкая бровь и тот же темно-янтарный взгляд. Ни от отца, ни от матери в нем не было ни кровинки. «И мозги у него, слава Богу, дедовские, а не этого хлыща, — хвалила своего подопечного Аллочка. — Ладный мальчонка получился, хоть на старость — но генералу в радость».

Шум и гам в семье среднего Залесского длился около полутора лет, да так и закончился разводом. Закон оставил ребенка с Эллой, но Залесский-старший убедил ее, что у деда и бабушки мальчику будет лучше. Впрочем, она не сопротивлялась: впереди были гастроли, съемки и романы, и менять все это на ворох испачканных пеленок Элла считала крайне глупым.

На Борюсю развод повлиял магическим образом: он вдруг взялся за работу, оброс заказами, и приезжал к родителям с деньгами и подарками. Аллочка сразу поняла, что дело тут нечисто — ну не мог этот барчук что-то своим трудом заработать, где он, и где труд! И как в воду глядела: однажды генералу позвонили из органов и сообщили, что его сын Борис с группой сообщников арестован по обвинению в спекуляции поддельными предметами искусства. Картины подделывал — вот где талант-то пригодился. Юрочке в то время было три года.

Борюся отсидел и явился к родителям — сдавший, исхудалый, с тяжелым, бухающим кашлем. Василий Александрович сжалился, впустил, дал Марии Николаевне месяц срока: отогреть да вылечить сына. Аллочка поглядывала на барчука, как на ящик с надписью «не кантовать»: ладно, если там хрусталь — а вдруг бомба? Но инжир в молоке отваривала,

черную редьку терла и с медом смешивала, чтобы проверенными на себе народными средствами тот кашель из Борюси выгнать. А сама молчала: не хотела обижать подозрениями и без того несчастную Марию Николаевну, жалела Юру и Василия Александровича — Борюся ведь одному отец, второму сын, надо, чтоб был здоров. Но когда оказалось, что у того туберкулез, генерал первый встал грудью: лечиться только в диспансере, дома маленький ребенок. Хватит и того, что всем им, включая пятилетнего Юру, теперь придется ради профилактики химию глотать.

Борюсю вылечили, отправили в санаторий, а после он снова уехал в Москву, и снова связался черт знает с кем, и снова сел... Алла подробностей не знала, да и начхать ей было на барчука — и без того всем нервы истрепал. Ей хватало переживаний из-за собственного мужа, который за соседкину юбку зацепился. А еще — из-за Юриной матери. Та стала появляться всё чаще: потасканная, худая в кость, то странно-заторможенная, то непривычно-веселая, и вместо зрачков — черные точки. Просила денег, намекала, что если не дадут, заберет у Залесских ребенка. Говорила, что ходит на пробы, примеряет образы, но режиссеры говорят об этих одеждах только в одном ключе — не по фигуре, не идет, не так сидит. И дают лишь оскорбительные роли «четвертого гриба во втором составе»: третья доярка, вахтер женского общежития, продавщица пива. Жить не на что, работы нет. Но Залесский и в деньгах отказал, и Юру не отдал. Тот открыто боялся матери, не верил ее показной нежности, и подарки не брал. Она злилась, начинала кричать, давить из себя слёзы — но дед уводил ребенка, а Эллу спроваживала Аллочка.

Юрина мать умерла в героиневой ломке, так и не увидев своего лица крупным планом. Памятником Элле (Олимпиаде по паспорту) стали лишь мелкие строчки титров, где среди статистов и эпизодников была и ее фамилия. Хоронили ее деревенские родственники, но — на деньги Залесских, тут уж генерал не поскупился.

На Юрино десятилетие в доме разразился скандал. Явился Борюсик, привез в подарок сыну деревянную лошадь-качалку, горделиво втопил ее в дом. Подарок был сильно опоздавшим, лет эдак на пять. Да и сам отец, одетый в старый спортивный костюм, выбритый налысо, пропахший дегтярным мылом и чем-то приторно-слащавым, травяным, опоздал навек. Более того, он напугал Юру так же, как когда-то пугала мать. Этот мужчина с пустыми темными глазами, страшный, беззубый, чужой, принадлежал какому-то другому миру. Юра боялся, что хриплый голос отца, его шепелявость, скользкий взгляд и дурные, не находящие покоя, пальцы протащат в дом Залесских этот чуждый мир, и он разрастется в нем, как плесень. Он еле высидел праздничный вечер, не радуясь ни поздравлениям, ни торту со свечками, ни любимой тушеной утке с брусничным соусом. Почти не спал ночью. И убежал из дома с самого утра, едва заря проклюнулась — лишь бы не встречаться с отцом. Аллочка — к тому времени уже Алла Петровна — нашла своего выкормыша возле самодельной тарзанки, висевшей над крутым озерным берегом еще во времена ее юности. И повела домой, где под взглядом отца он и подавился той самой рыбной костью...

— Аккуратнее ешь, — снова предостерегла она, с трудом выпутавшись из воспоминаний. И подумала: «Видать, возраст такой — прошлое стало ярче настоящего».

— Петровна, да я ж не маленький, — привычно откликнулся Юрий.

Поддавшись порыву, экономка протянула руку, погладила его по волосам. И чувствуя, как защипало в носу, сказала:

— Юрочка, никогда не спрашивала тебя, а вот сейчас спрошу. Ты на юридический из-за отца пошел, так ведь?

В янтарных глазах Залесского будто мрак проступил, сгустился. Он отвел взгляд, сказал глухо:

— Дед посоветовал. Да и сам я... таких, как он, отправлять хотел подальше.

— Ты никогда отца по имени не называешь, — с грустью отметила экономка.

— Петровна, мне дед стал отцом! А матерями — ты и бабушка! — с жаром сказал Залесский. — Грех на жизнь жаловаться! А то, что родители у меня бедовые были... Так кто виноват, кроме них? Сроду не поверю, что отца в этой семье плохо воспитывали! Не били, не унижали, образование дали. Пылинки сдували с него!

— Вот и досдувались, — покачала головой экономка. — С такими, как он, строже надо. У меня вон получалось. А Мария Николаевна, царствие ей небесное, избаловала его.

— Вот и скажи мне, Петровна, а где середина? Баловать — плохо, в ежовых рукавицах держать — тоже ничего хорошего. Как детей растят, чтобы они достойными людьми становились?

— Детей любить надо, — ответила экономка, — но не напоказ, не перед другими — а чтобы сам ребенок эту любовь чувствовал. А еще понимать надо, что у ребенка своя судьба, и нечего за него решать, что ему делать, куда по жизни идти. Подсказывать можно, предостерегать. Но не более.

— А если ошибется?

— Простить.

— Но ведь дед отца не простил, выставил за дверь...

— Твой дед, Юра, умным человеком был. Но занятым. Из-за этого упустил он Бориса, еще в детстве. Да еще из-за того, что на Марию Николаевну полагался. А она бесхитростная была, жалостливая — вот Борис и крутил матерью, как хотел. Всё ее воспитание через хитрость свою пропускал, болезнью прикрывался. С тем и вырос. А потом, как повзрослел, не захотел по-другому. Если лёгкие пути есть — зачем какие-то трудности преодолевать, человеком становиться? Вот дед его и выгнал, когда понял: сколько ни давай шансов, всё без толку будет. И прав оказался — ведь с тех пор от Борьки ни слуху, ни духу. Умер уже где-то, наверное. Или опять сидит. Было бы иначе, объявился бы давно. Знал же, что сын растёт, что о ребенке заботиться нужно. Не пришел — значит, либо остался таким же животным, как был, либо нет его больше.

— Ты не думай, я не скучаю по нему, и по матери тоже, — пояснил Юрий. — Но ты, Петровна, говоришь мне: женись, да женись. Ну, допустим, женюсь я. И где гарантия, что моя семья точно так же не развалится? Что жена не окажется такой же пустышкой, как моя мать? Да и сам я — смогу ли быть хорошим мужем, привык ведь уже один, как сын.

— А нету гарантий, Юра, — грустно сказала Алла Петровна. — Но твои родители женились из-за форсу. Мать думала, что за художника выходит, отец — что актрису замуж берет. Интеллигенция, белая кость — куда уж до них грубой военщине вроде твоего деда и жены его, домашней клуши. Борис ведь так и сказал однажды генералу, когда Элла еще беременная была. Мне кажется, потому Василий Александрович их и отселил. А те и радь были — сами-то на квартиру никогда бы не заработали.

Залесский задумчиво крутил в руках пустую кружку из-под молока. Об его ногу потерялся Микрик, и Юрий рассеянно наклонился, подхватил кота под бархатное пузо, посадил к себе на колени.

— А ты по любви замуж выходила? — спросил он, пряча глаза. Давно хотел узнать, но было неловко беречь душу пожилой женщины. Но она ответила спокойно:

— По страсти. А думала, что любовь. В молодости же как: кровь кипит, гормоны играют. Влюбляешься, думаешь — на всю жизнь. Тело чувствуешь, слова слушаешь. А человека в ночи разглядеть забываешь.

Эти ее слова больно отозвались внутри. Залесский вновь вспомнил Гелю — экономка ведь будто о ней сейчас сказала. Ему захотелось сбежать, остаться одному, выдохнуть эту боль и ненависть к себе, закупорить в душе вину перед дедом. Он поднялся, улыбнувшись через силу:

— Спасибо, Петровна, вкусно было. И поговорили хорошо, но мне еще в гараж надо — сети разобрать...

Про сети он ляпнул сдуру, зима на дворе — какие сети? Но Алла Петровна о таких тонкостях не задумывалась, поэтому поверила и кивнула, проводив его долгим взглядом.

«Испортили-таки ребенку жизнь! Чтоб вам, артистам, черти сковородку раскалили!» — от души пожелала она Борюсику и Элле-Олимпиаде. Но сплюнула через плечо и перекрестилась: нельзя такое думать, да еще к ночи.

А Залесский и вправду прошмыгнул в гараж — благо, он был пристроен к дому, и идти туда по морозу и снегу не пришлось. Щелкнул выключателем. Свет залил длинные полки с помидорно-огуречным изобилием, закатанным в разномастные банки. Осветил верстак, за которым так любил работать дед. Стену над верстаком генерал отвел под инструмент. Развесил его ровно, по ранжиру: разнокалиберные молотки рядком от мала до велика, по тому же принципу напильники, ключи, отвертки... В жестяных кофейных банках, прикрученных к той же стене, хранил сверла, саморезы, гайки с шайбами. Этот армейский порядок всегда успокаивал Юрия.

Он направился к углу, в котором стоял большой платяной шкаф, выселенный в гараж на пенсию. Там лежала дедова рыбацкая экипировка и снасти: сети, морды, удочки и всякая полезная мелочь. Сети действительно не мешало бы разобрать, висят комками еще с лета. Залесский взял одну, повесил край на гвоздь и, осторожно распутывая, попятился — сейчас растянет на весь гараж, потом соберет аккуратно.

Работа была монотонной, и руки делали ее сами.

«Не по любви — по страсти», — сказала Петровна.

«Человека в ночи разглядеть забываешь».

«Думаешь, он на всю жизнь».

Это было невыносимо — обдумывать эти слова, крутить их у висков, как барабаны револьверов, до отказа заряженных убийственными воспоминаниями.

Из прошлого снова выплыл образ Гели — страстной до жаркой одури, циничной до ледящей боли. Залесский попытался отогнать его, но тут же перед глазами возникла фигура Тани — такой жалкой в этом дурацком больничном халате и своей нелюбви к себе, такой строгой в своем медицинском одеянии и своей почти материнской заботе. Она бы посадила его, если бы он был тем, кто избил ребенка — в этом Залесский не сомневался. Он проникся к ней уважением еще тогда, в приемном покое. И чувствовал его после, даже когда она, ошибаясь и горячась, была готова отобрать мальчишку у матери. Все ошибаются. И у всех — свои причины.

... Он тоже ошибался, думая, что небезразличен Геле. Но дед — он знал этот тип, видел в ней блудливую кошку, готовую оттопырить зад перед каждым, кто встретится с её угасающей весной. Потому и заподозрил, видя частые отлучки внука, его ночные возвращения и нежелание о них говорить. И не выдержал подозрений, приехал к дому

Славиных, досидел в машине до тех пор, пока не погасло, а потом не загорелось снова окно профессорской спальни...

Юра вышел тогда из подъезда в своем обычном после Гели состоянии — умиротворенный, счастливый от томной неги, ощущающий себя сильным, взрослым, легко несущим на плечах весь мир. И напоролся на деда — тот стоял очень прямо, вздернув голову, как перед расстрелом. Смотрел ненавидяще, жестко. А когда Юра, уже поняв, что всё раскрыто, но завесив лицо спокойной наглостью, подошел к нему, Залесский-старший закатил ему такую оплеуху, что тот не удержался и полетел на землю, к дедовым ногам. Генерал нагнулся, схватил его за шкирку, как щенка, и поволок к своей вороной «Волге» — и доволок-таки, и впихнул на заднее сиденье, как бы Юра ни сопротивлялся. А потом сел за руль, вцепился в него руками так, что побелели костяшки пальцев, и рванул с места — резко, грубо, Юру аж в спинку сидения лопатками впечатало...

Дома уже спали, и они вошли молча, не зажигая свет. Генерал скрылся в кабинете. Из своей спальни Юра слышал, как он ходит, скрипя половицами и покашливая, как возится в кресле, как чиркает спичками, прикуривая одну беломорину за другой. Щека всё еще горела, и Залесский-младший ворочался на своей нерасправленной постели, злясь и обдумывая, что скажет деду наутро.

Но дед так и остался — в той ночи.

Бабушка нашла его первой. Генерал Залесский скрючился на полу возле стола, нелепо склонив седую голову. Будто прислушивался, не застучит ли ржавой клюкой вышвырнутая внуком совесть.

Но услышал лишь взмах косы.

Через два дня, на похоронах, когда над могилой генерала трижды выстрелили в воздух, Юра дал себе слово: поступить, как мужчина. И, подождав несколько дней или недель, дав бабушке прийти в себя, рассказать, что произошло той ночью.

Признать свою вину. Свою вину в смерти деда.

Промаявшись пару дней, изгрызши себя в куски, он поплелся к Геле — просить ее уйти от Славина и стать его женой. «Нужно всё рассказать профессору, признаться, — думал он, поднимаясь по серым бетонным ступенькам. — И жениться, как порядочный человек. Дед бы женился. Только никакой свадебной пышности, никакого праздника. Не будет у меня больше праздников, потому что деда не стало. А жениться я теперь должен. И пусть она старше, ведь я ее люблю».

Он был королем идиотов.

Геля открыла дверь, лохматая после сна — сам того не понимая, он явился к ней в семь утра. Впрочем, она мгновенно простила Юру за беспокойство, и, плотоядно улыбнувшись, втянула в квартиру, прижалась ртом к его губам. Он отпрянул, заговорил сбивчиво:

— Гелечка, мы должны всё рассказать. Собирайся, уходи от Славина, я сниму нам квартиру, мы будем жить вдвоем...

Она уставилась на него, выпятив губы — и захохотала: громко, визгливо, широко разевая рот. Он стоял, будто к полу пришилленный, а потом схватил ее за плечи.

— Я не шучу! — выкрикнул он. И добавил бессильно, тихо: — У меня дед умер.

Геля перестала смеяться, плотнее запахнула халат.

— Сочувствую. Извини. Но просто это твое предложение... — она скривила губы. Юра упрямо наклонил голову, нахмурил бровь:

— Мы должны, Геля. У деда сердце не выдержало, когда он про нас узнал! Мы должны

теперь пожениться, потому что иначе получится, что мы просто обманывали твоего мужа, что это никакая не любовь.

Геля отстранилась. Замялась, подыскивая слова. Сказала мягко, но твердо:

— Юрик, ну что ты несешь? Что ты этим изменишь? И потом... Я никогда не собиралась уходить от мужа.

— Я знаю, — угрюмо сказал Юра. — Но так будет лучше. Ты же не любишь его.

— Да, но жить я хочу с ним! Он дает мне всё, понимаешь? — она обвела вокруг руками. И вздернув голову, сказала твердо: — Тебе пока что это непонятно, да и вырос ты в обеспеченной семье. А я хлебнула нищеты, поверь. И не хочу всё с нуля. В мои годы с нуля — поздно. Мне нравится моя жизнь.

— Но... Почему ты тогда со мной... — Юра споткнулся о слово, не зная, как назвать то, что между ними происходило. «Почему ты со мной... изменяешь мужу? Спишь? Трахаешься?» Но это было больше, чем секс: они много говорили, они переживали, когда кому-то из них было плохо. Им было хорошо вместе — так он думал. Он не знал тогда иного, ему было лишь двадцать два. И его сомнительная взрослость утверждала безапелляционно — жизнь постижима. Что чувствуешь, думаешь и видишь — то и есть жизнь.

Но у Ангелины была своя колокольня:

— А с тобой у меня любо-оовь, мальчик, — протянула она. Прищурилась, полные губы изогнулись в улыбке, ямочка на подбородке кокетливо дрогнула. Геля чуть повела плечом, и шелковистая ткань халата скользнула вниз, всё больше обнажая загорелую кожу — но зацепилась за лямку сорочки.

— Геля, я тоже тебя люблю, так люблю, что готов на всё, что угодно, — забормотал он, хватая ее за руки. — Разведись с мужем, выходи за меня, я буду работать, я всё устрою...

Она вдруг закаменела и отбросила его ладони. Ее брови гневно сошлись, взгляд стал колючим, жестким:

— Что? Что ты устроишь? — взвизгнула она. — Халупу в хрущёбе? Талоны в студенческую столовую? Зарплату грузчика? Ты думаешь, я с тобой для этого? Думаешь, любовь — это? Да она развалится, любая — в твоей халупе! Да на черта она вообще нужна, когда голова болит о том, что завтра жрать будешь? Спустись на землю! Любовь возможна только тогда, когда кроме неё ничего не надо!

Он смотрел на нее непонимающе, недоверчиво качая головой. А она продолжала:

— Любовь! Кому она нужна, когда появляется куча бытовых проблем? Люди держатся вместе, потому что так выгоднее: деньги в один котел, на кухарке и слесаре экономия! А еще они называют любовью страсть, привычку, терпение, следование своим же глупым обещаниям, жизнь по принципу «и так сойдет». Но не сойдет, понимаешь? Для нас с тобой — не сойдет! Будет только хуже!

Юра замотал головой, будто отгоняя морок:

— Ты не права сейчас, — почти умоляюще сказал он. — И ты говорила...

— Да, я говорила, что люблю тебя, и что хочу быть с тобой! Любви без слов не бывает! Но когда приходится выбирать, они отходят на второй план.

— Что же, по-твоему, остается?

— Жизнь! Жизнь остается, всегда только она! И какую ты хочешь — такую и выбирай. А я хочу — здесь, в этой квартире, со всем, что у меня есть. И если тебя это не устраивает — что ж, значит, ты тоже выбираешь своё.

Юра стоял перед ней, зло сжимая губы.

— Не может быть, чтобы любовь была такой! — яростно выплюнул он.

И Геля ответила, как отбрила — уже чужим, низким от презрения, голосом:

— Раскрой глаза, мальчик! Она — такая. А ты — никто. У тебя ничего нет, кроме красивого тела. И жениться тебе нужно на такой же студенточке, с тем же капиталом. Но и она, если ты ничего не сможешь ей дать, уйдет от тебя однажды. С мужчинами всегда так, ты просто пока еще этого не знаешь. Ищи себе ровню, или ту, кто ниже тебя. А лучше — не ищи никого, живи для себя, и тогда не придется выслушивать правду.

— Геля, перестань! Ты слышала, что я сказал — у меня дед умер?! — Юра еле сдерживал слёзы, детские, наполненные виной и страхом, слёзы — но что они были против её матерого цинизма?

И Геля выкрикнула — будто добивая его.

— Вот-вот! Он умер от правды, и от того, что жил ради внука. Ты видишь, как любовь может разрушить жизнь? Не видишь? Так смотри и запоминай! А мне дай жить, как я хочу — ведь я же тебе не мешаю!..

Она кричала что-то еще, и слова летели ему в спину, как булыжники, выпущенные из пращи. А он бежал по ступенькам все ниже и ниже, будто спускаясь на дно колодца, темного ослизлого колодца, из которого не выбраться самому. Ее голос звенел в тишине подъезда, отражался от стен, дробился на звуки — и последним на него рухнул грохот захлопнутой двери, словно каменная глыба, отрезавшая путь наверх...

Залесский вздрогнул, будто снова услышал этот грохот. И понял, что его пальцы, запутавшиеся в ячейках сети, испугано рвут ее.

«А ведь сейчас мне столько же лет, как и ей было тогда, — осознал он. — И я до сих пор не понимаю, что такое любовь. Ведь не может быть, чтобы Геля оказалась права. Но в то же время... в ее словах была логика, и честность тоже была».

Юрий остановился, разодрал сеть донизу. Бросил на бетонный пол пришедший в негодность кусок, пнул в сторону. Вынул из шкафа еще один сетчатый ком, навсегда пропахший рыбой и тиной. Отделил конец, повесил на крюк.

«Я жил для себя все эти годы, — думал он. — Ни одну женщину не любил. Мне никто не говорил такой вот ранящей правды, как Геля, никто не бросал меня, как родители. И, в общем-то, я жил счастливо. А если бы не эти разговоры с Петровной...»

Он дернул запутавшуюся сеть, потянул ее на себя — и почувствовал, что уперся плечом в стену. Повернул, выискивая леску с крючками, натянутую вдоль гаража.

«И если бы не Таня», — вдруг понял он.

Эта маленькая храбрая женщина запала ему в душу ещё тогда, в приемнике — когда приняла его за бомжа. А после, в то время, как он наблюдал ее рядом с мальчишкой, как слушал ее рассказ о Пашкиных рисунках, видел ее реакцию на Марину и последующее раскаяние... Ее искренность — вот что его поразило. Таня была с ним в разных ситуациях — но абсолютно искренней всегда. И ее искренность по всем фронтам была ту, что звучала в прощальных словах Гели.

Потому что Гелина была плодом разума, логики и опыта.

А Танина — шла от души

И от этого понимания будто раскрылось что-то и в его душе.

«Она просила помочь с разводом, — вспомнил Залесский. — Позвоню Кузьме, пусть этим делом займется, не моя это область права». Он почувствовал, как кровь прилила к щекам. Но мысли уже было не остановить. «Ну, что я себе-то вру! Развод не такая уж

трудность. Я сам бы справился — ради Тани... М-да, а словом этим она меня прибила, как таракана. Мне ведь казалось, что такие, как она, в лебедином браке живут. Хотя кто знает, что у нее в семье... Может, муж там павлин, а вовсе не лебедь. И ещё: я ведь всегда думал, что не по-мужски это — помогать женщине, когда есть своя корысть. А тут получится, что развел её, чтобы сам потом... Но просто — я таких не встречал. И, может, не встречу больше. Приглашу ее после куда-нибудь...».

А потом мелькнуло циничное: «Да еще и во время развода увижу, что она за человек. В таких ситуациях всё нутро наружу лезет».

— Юра, уж спать пора, а ты все возишься! — прокурорским тоном сказала Алла Петровна. Залесский, едва не подпрыгнув от неожиданности, обернулся. Экономка стояла с распущенными волосами, из-под фланелевого халата виднелся белый край ночнушки.

— Ну вот, наплёл сетей, как паук, — проворчала она, окидывая взглядом гараж.

Залесский расхохотался и посоветовал:

— Шла бы ты в кровать, Петровна! А то влипнешь — и как я тебя распутаю? Я ж не настоящий паук, быстро с этим делом не разберусь!

— Ты, Юра, бобыль, — зевая, напомнила экономка, — тебе бы с этим разобраться.

Из мусорного ведра воняло рыбными кишками. В давно не чищенной раковине навалом громоздились грязные кастрюли, тарелки и кружки. Куча посуды щетинилась ножами и вилками, осуждающе указывая железными перстами на замызганный кафель и давно не крашенный потолок. Марина со вздохом отвела взгляд, и, закатав рукава, задернула окно вылинявшей шторой. Ее нижний угол был обожжен — Пашка летом не уследил, включил газ при открытом окне, и шторы ветром на плиту задуло. Кухонька-то два на два, всё рядом.

Марина вернулась к раковине, открыла горячую воду — но струйка была чуть теплой, как всегда в их бараке. Только минут через двадцать станет нужной температуры. А в управляйку звонить бесполезно, у Фирзиных там долг за два месяца. Впрочем, они еще молодцы, большинство соседей годами не платят.

Подумав, она выставила посуду на тумбочку — помоем позже, сначала нужно отогреть упаковку фарша, похожую на толстую колбасу. Марина бросила ее в большую алюминиевую миску и, сунув под воду, нагнулась к тумбочке под раковиной. Там стояло почти полное ведро картошки: Славка на днях приволок, типа за работу дали — но Марина сразу поняла, что из соседского сарая стырил. Да и ладно, не убудет с тех соседей, а ей с сыном всё подмога...

Набрав картошки в глубокую тарелку, Марина взяла короткий острый ножик и села за стол, чистить. Отросшая челка вздрагивала в такт ее резким движениям, лезла в глаза. Фирзина недовольно фыркала, сдувая её в сторону. Проворно состругивала кожуру, завитками падавшую в тарелку. Очищенные картофелины раздраженно бросала в кастрюлю.

— Извините, на фрукты у нас денег нет! — зло сказала она в пространство. — А сыновей всё равно кормим, растим! Вот пирожков с картошкой и мясом Павлику настряпаю, увидите, как быстро на поправку пойдет.

Покончив с картошкой, она вернулась к раковине. Упаковка с фаршем криво плавала в кастрюле, как полузатопленная подводная лодка. Пустив холодную воду, Марина залила ей картошку и поставила кастрюлю на плиту, рядом с чугунной сковородой. Зажгла огонь под обеими. Привычно бросила в пустую жестянку недогоревшую спичку — но та, не долетев, шлепнулась на край плиты и скрючилась, догорая, среди своих обожженных товаров. Их на пожелтевшей от огня эмали, среди застарелых пятен и засохших кусочков пищи, лежало уже штук тридцать. «Помыть бы здесь всё, только когда? — удрученно подумала Марина. — И пасту какую-нибудь купить надо, так не отскребу. А до аванса девятьсот рублей осталось. Да и аванса того... Больше половины уже продуктами выгребла. И Павлик так не вовремя заболел! Хоть лекарства ему бесплатно будут, но лучше бы он дома лежал, ездить в больницу — сорок рублей в день, если на автобусах. А еще вкусненькое надо привозить, чтобы поправлялся быстрее».

Она быстро посчитала в уме: девятьсот рублей на четыре дня — это двести двадцать пять в день, минус сорок за проезд — сто восемьдесят пять. Что на них купишь ребенку? Сама-то ладно, на картошке да макаронах, не впервой...

Глазам стало горячо, солоно, и Марина сжала зубы: чего реветь, раз жизнь такая, отревела уже своё... Шмыгнув носом, она открыла пожелтевшую дверцу урчащего «ЗИЛка» достала ополовиненную бутылку растительного масла. И, поколебавшись, протянула руку за двухлитровой пластиковой «бомбой» пива. В ней еще было на два пальца — видимо, Славка

от широты души ей оставил.

Глотнула горьковатое, пахнущее перепрелым зерном, пиво прямо из горлышка. Вытерла рукой рот и снова сказала в пространство — громко, со злым ехидством:

— Не при ребенке пью, гражданка докторша! И в хлам не напиваюсь! Так что заявой вашей можете подтереться!

В коридоре лязгнул замок, нервно скрипнула входная дверь. В квартиру вошел высокий мужчина, зашуршал пуховиком, сильно затопал ногами. «Опять снега с улицы натащил, а ведь сто раз просила!..» — нахмурилась Марина и поставила пивную бутылку на стол. Схватила со стола полуторалитровку «Колокольчика» и яркую пачку печенья, взятую в ларьке в счет аванса, быстро спрятала в шкаф — не то Славка сожрет, а это для сына. Вспорола ножом упаковку фарша и принялась сдирать оттаявшие куски, бросая их на дно сковородки. Разогретое масло зашипело, пошло пузырями.

Слава подошел сзади, ухватил ее за бедра, грубо притянул к себе:

— Зан-ноза ты моя, зан-нозушка, — пропел он ей в ухо, дыша на Марину горячим сивушным, с примесью лука, запахом. — Всё хлопчешь, хлопотуля... На отоварочку* сходила? Есть чё в мамон** закинуть?

С грохотом бросив нож, она повернулась. Сказала желчно:

— Скоро опять баланду хлебать будешь! Говорила тебе — не бей Пашку! Докторша его синяки увидела и хочет теперь заяву написать! И адвокат этот, который к нам приходил, в одну дудку с ней дует. Тебя посадить хотят, а Пашку в детдом!..

Последнюю фразу она почти выкрикнула в лицо сожителю, не сдержалась — хоть и понимала, что может получить по полной за то, что повысила голос. Бывало уже такое. Но Слава лишь прищурился и мягко отступил в сторону. Задумчиво пожимкал пальцами небритый подбородок и уверенно сказал:

— Бодяга*** все это. Побреют**** твою докторшу и адвоката ее.

Но Марина видела, что ему не по себе. Она отвернулась, вытащила из ящика стола топорик и, зло кусая губу, принялась рубить на куски мёрзлые остатки фарша.

— А если нет? — горячилась она, швыряя их на шипящую сковородку. — А если пацана заберут? И тебя посадят? Что я делать-то буду? В петлю мне? Или под машину кидаться?...

Слава крякнул, нырнул в темноту коридора и вернулся с бутылкой «беленькой». Степенно уселся за стол, неторопливо налил водки в широкий, с красными цветочками, бокал, и, с сомнением глянув на Марину, добавил пива. Протянул ей.

— Вышей ёршика, угомонись.

Поколебавшись, она в три глотка осушила бокал. Снова отвернулась к плите, плеснула в фарш немного воды из металлического чайника с помятым боком. От сковородки шел густой перечный дух — словно в специи добавили мяса, а не наоборот. Фарш был перемолот так, что больше походил на паштет. Но дешевле него в ларьке, где работала Марина, была только тушенка — а в той жилы да жир. Собаки — и те не жрут, сменщица проверяла.

— Сраное государство, загнали людей в хлев, и дерьмом кормят! — в сердцах сказала Фирзина, перемешивая фарш. — Ребенку в больницу отнести нечего! А докторша эта и адвокат натащили ему продуктов всяких, даже торт купили. С чего вдруг, Слав? С чего доброта-то такая?! Там детей целое отделение, а кормят только моего. Он-то, дурачок, не понимает, что просто так ничего не делается.

Слава налил себе водки, выпил залпом. Достал из кармана пачку «Максима» и спички, закурил, задумался.

— Насчет меня как узнали? Пашку, что ль, раскололи? — с деланным равнодушием спросил он.

— Адвокат догадался, — хмуро бросила через плечо Марина. Славкин «ёрш» не успокоил ее, а наоборот — только усилил обиду и отчаяние. — Павлик не признаётся. Врет им, что память потерял. И будет врать, ты ж его до смерти запугал! Без ремня-то никак было, Слава? Он ведь маленький еще, ну, шлепнул бы его, ну, в угол поставил — но ты ж его ремнем этим до синяков! Забить ведь мог насмерть, я ж твою руку знаю... В общем, еще раз ребенка тронешь — уйду от тебя.

Сожитель стукнул кулаком по столу, зарычал:

— Да вали, куда хочешь! Мало я о вас заботился? Мало бабла тебе носил, шмара неблагодарная? А остаёшься — так не указывай, что мне делать и как сына воспитывать!

— Да если б он сын был тебе! — огрызнулась она. — Оба ведь знаете, что неродные. Оттого у Пашки и обида крепче! Домой возвращаться не хочет... А докторша эта, тварь, крутится возле него, прикармливает, порядок в палате наводит! Отобрать, говорит, у вас надо ребенка, раз вы только на алкоголь деньги тратите!

Марина опустила за стол, подперла лоб рукой. Но губы уже дрожали, лицо кривилось — и она всё-таки не выдержала, заревела, некрасиво растянув рот в кривую толстую подкову и утирая глаза концом рукава.

— Чё ты реवेशь, дура-курица, — сожитель раздраженно пододвинул к ней бокал с новой порцией спиртного. Она помотала головой, взвизгнула:

— Не буду я пить, к ребенку завтра! — и добавила умоляюще: — Ты бы тоже не пил, вдруг докторша уже стуканула? Может, выехали уже за тобой!

Вдавив сигарету в блюдце, Слава шумно вздохнул. И, помолчав, признал:

— Согласен, легавым только дай мазу*****, они сразу беспредельничать начинают.

Подумал немного, хмыкнул:

— Но только мазы-то нет. И мне они дело не пришьют, пока шнурок***** рот на замке держит. В конце концов спишут всё: ну не подфартило пацану, кто-то его отметелил, а кто, он не помнит.

«Хотя сегодня не помнит, а завтра докторша шоколадками да конфетками память ему отлазаретит — так он на меня укажет, и амба. — От этой мысли он напрягся. — Терпилу***** из пацана сделают, а меня по этапу пустят».

— Ты не реви давай, — сказал он, вставая. — С докторшей этой, если будет рыпаться, я сам разберусь, и не таких обламывал. Но мне пока свалить надо.

Он порывлся в кармане, швырнул на стол сложенную вчетверо пятисотку.

— На вот, купи мальцу яиц шоколадных. И скажи, что от меня, пусть знает. А им скажи, что месяц уже меня не видела.

Марина подняла голову, кивнула, всхлипывая.

— Не прокукарекай тут, — он мотнул головой в сторону сковородки, — уже горелым несёт.

Она спохватилась, вскочила с табуретки, принялась суетливо скрести деревянной лопаточкой, переворачивая и разбивая почерневшие куски фарша. А он вышел в прихожую, обулся, надел пуховик. Вернулся, сгреб со стола сигареты и коробок. Марина глянула на него исподлобья, шевельнула губами, будто хотела что-то спросить.

Слава отвел глаза. Поколебавшись, достал из-за пазухи пачку мелких купюр, отделил несколько сотенных.

— Бери, пока добрый. А я на пару недель на дно лягу, пока кипиш не пройдет, — предупредил он, забирая бутылку. — В ларек к тебе Витька Крашенный будет заходить, пока они понт готовят*****. Расскажешь ему, что да как. И реветь прекращай. Сама знаешь, я тебя защитить смогу. Не заберут у тебя ребенка.

Марина выдохнула, мелко закивала, с благодарностью глядя на Славу. От его слов веяло уверенностью, которой было так много, что часть её передалась женщине. Она распрямила плечи, чувствуя, как утихает дрожь в руках. И подумала, что завтра тоже купит Павлику фруктов — а докторшины выбросит в помойку.

Из тюремного жаргона:

*Отоварка — покупка в ларьке

**Мамон — живот

***Бодяга — пустая болтовня

****Побреют — (здесь) откажут в просьбе

*****Маза — возможность

*****Шнурок — (здесь) малолетний

*****Терпила — пострадавший

*****Понт готовить — искать жертву

— Всё в порядке, Татьяна Евгеньевна. Эпиативности* нет, судорожной готовности нет, — румяный, светловолосый и широкоплечий врач кабинета функциональной диагностики чем-то напоминал Ивана Царевича из русских сказок. Он ободряюще улыбнулся, пошутил: — И ни одного таракана не замечено.

Она только и смогла, что вяло улыбнуться и кивнуть в ответ — тревога, снедавшая ее, за последние полчаса разрослась, как шипастый терновый куст, и держала ее сознание так же цепко. Когда началась процедура, Татьяна пыталась успокоиться, твердила себе, что во время электроэнцефалографии волноваться нельзя — из-за переживаний активность мозга меняется, что может отразиться на результатах ЭЭГ. Но знание этого факта только мешало, и она волновалась еще больше.

— Забирайте историю, — сказал доктор, дописав заключение. — И будьте здоровы!

Она взяла протянутую им белую папку и, только ощутив пальцами шероховатость плотной бумажной обложки, почувствовала, как просветлело внутри. Облегчение накатило густой волной, дочиста смывающей страх. Где-то на задворках сознания мелькнула злорадная мысль: «Что, съел, психиатр Новицкий? Неа, не съел — подавился!»

— Огромное вам спасибо, — с чувством сказала она, прижимая историю болезни к груди. Царевич отвесил ей учтивый поклон.

На радостях Татьяна почти взлетела на пятый этаж, в гинекологию — нужно было вернуть историю на пост, а потом навестить Павлика. И заметила, как у дверей ее палаты мелькнула высокая мужская фигура. Сердце ёкнуло: кто там еще по её душу, неужели Макс явился? Уж кого-кого, а этого эгоиста она видеть не желала — ни сейчас, ни когда-либо еще. Сунув историю в руку медсестре, катившей по коридору трехногий штатив с капельницей, она собралась с духом и вошла в свою палату.

Возле стола, чуть горбясь от неловкости, сложив руки на груди и замотав ногу за ногу — будто завязав себя живым узлом, не дающим сбежать — сидел Залесский. А рядом — россыпью крупных рубинов по темно-малахитовой зелени — лежал ворох роз, почти скрывающий обшарпанную больничную столешницу.

Непостижимая, абсолютная магия этих цветов, лежащих перед ней, как признание, перевернула Танину реальность. словно оказавшись на солнечной стороне, всё стало другим. Унылая аскетичность палаты — порядком, где нет ничего лишнего. Суета больничного утра — задорным биением жизни. И себя она словно впервые увидела со стороны: вместо толстенькой, с заурядной внешностью, коротышки — миловидную женщину, ясноглазую, с чистым, открытым лицом, с полнотой не уродующей, а обволакивающе-мягкой. И Залесского — не юристом уже, а пришедшим за ней мужчиной, в чьем непривычно покорном взгляде томилась затаенная мука.

Ей стало тепло и радостно, а он, почувствовав эту радость, воспрял и поднялся навстречу, заговорил сбивчиво и всё еще смущенно:

— Доброе утро, а я вот тут... Навестить решил... И не знаю, куда цветы поставить. У тебя ж, наверное, вазы нет, и я не догадался. Привезу, заеду еще сегодня... ты же не против?

Он уставился на нее, будто замерев душой — вдруг придется не ко двору, вдруг выдумал себе и ее симпатию, и ее бесхитростную радость, и саму Таню тоже выдумал?... Но она подошла, любовно погладила розу по бархатистому рубиновому лепестку и улыбнулась так

счастливого, так спокойно, что у него враз отлегло от сердца.

— Спасибо, — сказала она. — Они такие красивые...

— Эти розы сорта «Фридом», — заторопился Залесский. — Цветочница сказала, они очень долго стоят. Я её попросил, чтобы без шипов...

— Фридом... Это же значит — свобода? — задумчиво спросила Таня.

— Ну да, наверное...

«Чёрт, как-то очень в лоб получилось — будто по поводу ее развода цветы приволок, — ругнул себя Залесский. — Поди теперь, докажи, что такое совпадение — случайность. Или, может, судьба?»

— Я найду для них вазу, — пообещала Татьяна. — Ты подождешь меня?

Юрий сокрушенно глянул на часы:

— Извини, у меня суд через полчаса. А после заседания твое заявление о разводе могу подать. Ну, чтобы не терять времени. Когда тебя выпишут, познакомишься с моим коллегой Андреем Кузьменко — он будет участвовать в суде на правах твоего адвоката. Я бы и сам... но у него опыта больше.

Залесский вытащил из портфеля бланк, сел за стол и, сдвинув цветы к краю, приготовился заполнять пустые строчки:

— Причина развода какая?

— Мы просто очень разные с мужем, — пожалала плечами Таня. — Как там у вас говорится? «Не сошлись характерами»? Вот так и напишем, не хочу до деталей опускаться и прилюдно грязное белье трясти.

— Хорошо, — деловито кивнул Залесский. — Поехали дальше: требования по разделу имущества?

Таня задумалась.

— У меня до свадьбы был дом, машина. Потому мужу автомобиль купили...

— До свадьбы — не считается. А половина его машины по закону твоя.

— Пусть забирает, лишь бы отстал, — поморщилась Таня. — Еще у меня был налаженный бизнес, ООО «Аптечная сеть «Берегиня» — правда, последние пять лет я её вообще не занималась. А вот муж был там директором и весь этот бизнес на себе тянул. Думаю, было бы справедливо отдать ему часть.

— Если вы не составляли брачный договор, половину прибыли от этого бизнеса могут присудить твоему мужу, — заметил адвокат.

— Ну и ладно, — пожалала плечами Таня. — Он ее честно заработал. Кроме того, прибыли-то в последнее время мало, кризис. Расходы выросли, продажи упали — ну это мне муж говорил, да и я по дивидендам видела.

Залесский задал еще несколько вопросов, и, закончив, протянул ей бланк. Она наклонилась над столом, и, ставя подпись, спросила:

— А через какое время нас разведут?

— Обычный срок — от полутора до трех месяцев. И то если твой супруг не будет препятствовать разводу. А так может на годы затянуться.

— Надеюсь, этого не будет, — вздохнула Таня. — Юра, а еще можешь для меня узнать, что сейчас нужно для усыновления, какие документы? Законодательство ведь меняется. Да и бумаг там куча, попробуй, не упусти что-то... Хочу как можно быстрее взять ребенка из детдома, раз с Павликом не получилось. Ты знаешь, вся эта ситуация помогла мне понять, что я готова. Помогла решиться...

Залесский отложил ручку в сторону, сложил руки в замок и, упираясь в него подбородком, посмотрел на Таню с сожалением.

— Пока процесс развода не закончен, тебе не разрешат взять ребенка, — сухо сказал он.

— Ну, подожду полтора месяца...

— Тань, услышь меня — развод может длиться годами, — Залесский покрутил в руках заполненные бумаги, и пододвинул ей. — Мой тебе совет: поговори с мужем, обсудите все по разделу имущества. И посмотрите вместе, что указать в приложении к заявлению. Придете к соглашению — вас разведут моментом. Не придете... Ну что ж, тогда ты хотя бы будешь знать, к чему готовиться. И когда собирать документы на усыновление — ведь у них тоже есть срок давности.

Он встал, защелкнул портфель.

— Ну, я побегу, дела, — сказал он Тане.

— Подожди! — она шагнула к тумбочке, вытащила исписанные листки. — Забери заявление на сожителя Фирзиной.

Залесский кивнул, спрятал бумаги в портфель.

— Правильно сделала, что написала, — похвалил он. И добавил, с неожиданной робостью: — Вечером загляну, ты не против?

— Конечно, нет! Приезжай.

Повисла пауза. Молчание между ними стало пустым, будто в нем не хватало чего-то очень важного — того, что не было сказано или сделано. «Поцеловать ее? — подумал Залесский. — Нет. Я же обещал себе, что сначала дождусь, пока развод будет делом решенным. Да и ее, боюсь, мой напор больше напугает, чем обрадует. Цветы принес, обозначился — и хватит».

— Тогда до вечера, — откланялся он и быстро вышел из палаты.

Проводив его взглядом, Татьяна опустилась на стул. Всесильный запах роз окутывал ее сладостной велеречивостью, неслышно нашептывая о будущем, счастливом, безопасном будущем, в котором, возможно, вместе с ней останется принесший их мужчина. Она собрала цветы — букет был пышным, пятнадцатиглавым. Горделивая стойкость еще наполняла длинные гляцевые стебли, давала силу тугим, едва начавшим дарить красоту, бутонам. И Таня вдруг подумала, что вот такой же стойкой должна быть настоящая любовь — та, что долготерпит, милосердствует, не мыслит зла**. Та, что и без шипов побеждает всякого.

*Эпиактивность — эпилептическая активность

** Отсылка к «Посланию Коринфянам 13:4–7»: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит».

— Тетя Таняя! Смотри, какой у меня рообоот! — Павлик почти визжал от возбуждения. Его щеки разругались, глаза живо блестели, и он, подпрыгивая на пятой точке, водил перед собой серебристым, с черной антенной, пультом. А по полу палаты, сверкая красными и зелеными огоньками, вышагивал большой желтый трансформер.

— Это Бамблби, он умет стрелять! — мальчишка нажал на кнопку, и робот послушно поднял руку, будто прицелился. Замигал оранжевой лампочкой на конце бластера и залиvisto запимкал, подвывая и бухая, как целое полчище гаубиц. Добрался до темно-зеленой занавески, спускавшейся от окна до самого пола, забуксовал. Все дружно рассмеялись, а Купченко подхватил дрыгающего ногами робота, развернул в другую сторону.

— Дядя Витя с тетей Тamarой балуют тебя, — отсмеявшись, сказала Татьяна, с радостным удивлением глядя на Купченко и его невесту. Те сегодня были в «штатском» — белые халаты лишь накинуты на плечи, как у рядовых посетителей больницы. — Каким ветром к нам сегодня, друзья? Или вы решили жить на работе?

— Не-ет ужж, сегодня мы гуляем! — поправляя по-тициановски медные кудряшки, ответила Тамарочка, сидевшая на кровати мальчишки. — Решили по пути заехать, игрушки и одежду завезти. Помните, Татьяна Евгеньевна, я вам говорила, что от племянников много всего осталось? Ну вот, мы в двести четвертую девочке пуховик передали, да несколько платьев. А Павлику привезли комбинезон и еще там, по мелочи — джинсы, свитера, рубашки. Ну и игрушек пакет, чтобы не скучал.

Она потрепала мальчишку по голове.

— А я, тетя Таня, сразу выздоровел! — с гордостью сказал он, но не выдержал — забухал тяжелым грудным кашлем, вторя грохоту трансформера.

— Ты хоть спасибо-то сказал? — покачав головой, спросила Таня.

— Сказал, поди, он мальчик воспитанный, — женский голос, прозвучавший из-за ее спины, был переполнен язвительностью.

— Мама! — обрадовался Павлик. — Мама, смотри, какого мне робота подарили!

Похоже, Марина вошла в палату только что, но уже сумела оценить ситуацию. Она улыбнулась ребенку:

— Хороший робот. Ты поосторожнее с ним, не поломай.

На Татьяну она посмотрела обиженно и, демонстративно вздернув голову, пошла мимо нее, к сыну. Та стусевалась, упала духом — но вспомнив, что хотела извиниться перед Фирзиной, несмело окликнула:

— Марина, можно с вами поговорить?

— Опять виноватить меня будете? — насмешливо спросила посетительница, поцеловав Павлика в макушку. — Я со вчерашнего дня, кажись, еще не нагрешила.

Мальчик смотрел на них с опаской, будто пытаясь понять, ссорятся они, или просто разговаривают так, по-взрослому непонятно. Татьяна попыталась развеять его страх, сказав миролюбиво:

— Нет, как раз наоборот. Пойдемте, пожалуйста. Я вас прошу.

Марина пожала плечами и принялась демонстративно выгружать из матерчатой хозяйственной сумки пакет с пирожками, печенье, бутылку газировки, связку бананов и яблоки. Ставила на тумбочку, будто всем напоказ.

— А вы кто? — ревниво спросила она у Купченко.

— Да мы работаем здесь, вот, забежали на минутку. Уже уходим, — он поднялся и сделал Тане большие глаза. Подойдя ближе, шепнул на ухо, — пойдем нагрешим, раз больше некому. Сначала в пиццерии праздник живота устроим, а потом — страшное дело! — будем глядеть «Озеро любви». Фильм для взрослых, между прочим. Маме моей не говори, в угол поставит.

Тамарочка прыснула и вышла за ним, на прощанье помахав рукой.

— Я сейчас вернусь, сына, — пообещала Фирзина, и, хмуро кивнув Татьяне, направилась к выходу из палаты. Сегодня она была в стареньком, но чистом, старательно выглаженном синем платье. Распущенные волосы лежали на плечах светлой волной. Да и лицо ее было посвежевшим, а тщательно наложенная косметика почти скрыла синяк у скулы. И, конечно, пахло от нее по-другому: не сивухой, а чем-то цветочным, легким.

«Залесский был прав — взяла себя в руки ради ребенка», — отметила Таня и ее решимость помочь этой женщине мгновенно окрепла.

— Ну? — повернулась к ней Марина.

— Давайте отойдем подальше, — ответила Татьяна. По коридору педиатрии прохаживались мамы с детьми, на сестринском посту сидела санитарка, а Тане не хотелось, чтобы кто-то из пациентов или коллег услышал их разговор.

— Марина, я должна перед вами извиниться, — продолжила Таня, останавливаясь в углу, возле окна, выходящего на сосновый бор. Фирзина повела бровью, прислонилась к стене, сложив руки на груди. Но к неприязни в ее взгляде добавилось удивление.

— Вы меня простите, я была неправа, — искренне сказала Татьяна, прижав руку к груди. — Не учла все особенности вашей ситуации, да и к Павлику прикипела. Знаете, когда увидела у него эти синяки — себя, маленькую, вспомнила... Эх, да что говорить! В общем... Я вам помощь предложить хотела.

Марина посмотрела на нее недоверчиво:

— Какую еще помощь?

— А что вам нужно, чтобы жизнь улучшить? Я вот подумала — но вы поправьте меня, если ошибусь. Итак, работу нужно более денежную, и чтобы времени на ребенка больше оставалось — раз. Жильё нормальное — два. Одежду и продукты для Павлика — три. Ну и образование получить — вы хотели бы?

— Да кто ж от такого откажется, в моей-то ситуации, — хмыкнула Марина. — Только как я учиться пойду, да и на кого?

— В техникум наш, на вечернее можете пойти, — ответила Татьяна. И принялась объяснять: — Вот смотрите, мы можем поступить так. Пока Паша у нас лежит — а это еще месяц, как минимум — я помогу вам найти работу. У моей знакомой есть магазин, там продавец требуется. Зарплата пятнадцать тысяч, но график два через два. И работают они до семи вечера. Я поговорю с ней. У вас в этом деле опыт есть, а это важнее диплома.

— Вот и я считаю, что важнее! — выпалила Марина. — Что в этих корочках, когда человек бестолковый? А у меня всегда касса сходится, и по товару недостач нет!

— Я рада, что вы согласились, — дружелюбно сказала Таня. — А на свободные дни можете подработку взять... Да хоть к нам санитаркой пойти на полставки! Будете еще тысяч шесть получать. И посмотрим с вами, на какую специальность лучше выучиться. Я немного разбираюсь в том, что сейчас востребовано. И оплачивать вам учебу тоже буду я. Хотя по закону, насколько я знаю, среднее образование — если оно первое — вы можете получить

бесплатно.

Всё, что она говорила, не просто звучало заманчиво — было вполне осуществимо. Но Фирзина снова сникла, пожевала губами.

— Вы меня извините, Татьяна, — несмело сказала она, — не хочу вас обидеть, но как-то не верится мне в такие подарки! С чего это вы вдруг решили мне помогать?

— Вам и Павлику. Ну... — Татьяна задумалась, — просто у меня есть возможность, деньги есть. Почему бы не помочь тем, кому они нужны больше, чем мне?

— Странная вы, — снова хмыкнула Фирзина, но в ее голосе слышалась нотка уважения.

— Да уж какая есть, — пожалала плечами Таня. — И насчет Павлика — давайте я с ним по магазинам проедусь, куплю ему одежду новую, игрушки, учебные принадлежности. Можно в кружок его записать, или в секцию — а расходы я возьму на себя. И мы с вами можем договориться, чтобы вы, когда работаете, у меня его оставляли. А не у той знакомой бабульки, к которой он в последний раз пойти не захотел. Мальчик ко мне уже привык, общий язык мы находим. Дом у меня большой, может даже с ночевкой оставаться. Да и вам проще будет, не станете беспокоиться, где он, и не случилось ли чего.

На лице Марины вновь проступила тревога. Она задумалась, отвернулась к окну. И сказала, не глядя на Таню:

— Насчет работы хорошо бы... А про остальное — подумаю я, ладно? И это... — она заколебалась, но всё-таки спросила делано бодрым голосом: — если собрались помогать, может, денег дадите? Я бы хоть ребенку еду хорошую покупала, у самой-то на самые дешевые продукты только.

Она испытующе смотрела на Татьяну, будто этим вопросом проверяла чистоту ее намерений. Демидова поколебалась, но решила сразу расставить точки над *i* — чтобы в дальнейшем между ними не возникало недопонимания.

— Давайте так, Марина. Я вам сейчас дам некоторую сумму на первое время. Но потом буду покупать вам продукты сама.

— Бойтесь, что пропью, — горько сказала Фирзина. — А я ведь честно, на ребенка!

— Боюсь, что сожителю ваш отберет, — немного слукавила Татьяна. Она действительно думала так, но в том, что часть наличных Марина потратит на спиртное, почти не сомневалась.

— Да не появляется он, сбежал после того, как адвокат ваш явился. Так что можете деньги давать, не боясь, — просительно сказала Фирзина.

Таня посмотрела ей в глаза и спросила:

— Слушайте, а почему вы с ним живете? Это не мое дело, конечно, но он же вас бьет, и ребенка вашего! Как такое можно терпеть?

— Приходится, — вздохнула Марина. Уголок ее рта нервно дернулся, взгляд наполнился печалью. — Понимаете, он сосед наш. Прилип ко мне — не отлепишь. А я что могу? Уговаривать его только, силой с мужиком ведь не справлюсь. Нет, вы не подумайте, он не зверь какой. Он нам с Павликом и по хозяйству помогает, и деньгами. Ну а то, что руки распускает и пьет — так где ж мне другого, непьющего-небьющего, найти?

— Марина, вы поймите, что с такими людьми не то, что жить — общаться опасно! — нахмурилась Демидова. — Статистика упряма, а в плане домашнего насилия — просто ужасающая! Вы знаете, что в России от рук агрессивных мужчин ежегодно погибает около тринадцати тысяч женщин? И что в пятидесяти процентах случаев женщины, которые поступают в больницы с тяжелыми травмами — жертвы сожителей и мужей? А вдруг этот

ваш Слава изобьет вас до смерти, зарежет по пьяному делу? А вдруг он это сделает с Павликом?

— Нет, что вы, Слава не такой, — Фирзина отпрянула, замотала головой. Чувствовалось, что слова Тани ужаснули ее.

— Откуда вы знаете? — жестко спросила Демидова. — И потом, стоит ли проверять — способен он на такое, не способен? Вдруг проверку не пройдет — так что потом: вас на кладбище, Павлика в детдом? Если жив останется...

— Не говорите так! — взвизгнула Марина, трижды сплюнула через плечо.

— Уйдите вы от него, — попросила Татьяна. — Ради сына своего, если ради себя не можете. Я же вам помогать буду, вы перестанете зависеть от него материально.

— Ага, и куда мне? — огрызнулась Фирзина. — Славка-то в соседней квартире живет, мне от него не спрятаться. Я однажды дверь ему не открывала, ну, поругались мы маленько... Так он эту дверь вынес! Потом вставил, правда, но показал, что никуда он меня не отпустит!

Последнюю фразу Марина произнесла другим тоном, и Таня вдруг осознала, что в голосе ее звучит затаенная гордость. Обычная женская гордость, которая возникает у каждой, кто чувствует, что нужна своему мужчине. Что он ради нее и за моря отправится, и с драконом сразится, и... выломает по пьяни дверь.

И она поняла, что — по крайней мере, сейчас — Фирзина от сожителя не уйдет. Может быть, потом, когда ее жизнь изменится, поменяется мироощущение, повысится ценность себя... Но не сейчас.

«Как хорошо, что Павлик пока под защитой больничных стен», — мысленно перекрестилась Татьяна.

— Как знаете, — сухо сказала она. — Тогда дождитесь в палате у сына, пока я схожу за деньгами. Начнем хотя бы с этого.

Плотнее запахнув свой пестрый больничный халат, она решительно двинулась к выходу из отделения. Марина проводила ее долгим взглядом, в котором интерес мешался с недоумением. И задумалась: «Помогать она собралась! Все-таки странно это... Понять бы, чего хочет на самом деле... Ладно, посмотрим, что дальше будет. Может, так наша с Пашкой жизнь и взаправду изменится? Я же мечтала об этом... Всё думала: вот бы чудо случилось, мы б совсем по-другому зажили! Надо поласковее с этой докторшей. И Павлику сказать, чтобы хорошо себя вел».

А Татьяна, поднимаясь по лестнице, прислушивалась к какому-то новому чувству, возникшему у нее внутри. Но осознать его еще не могла. «Это хорошо, что я все-таки нашла общий язык с Мариной, хоть и по-прежнему осуждаю ее, — думала Демидова. — Да и Павлику я всё-таки смогу помочь. И вообще, мне нравится сама идея поддерживать матерей, попавших в трудную ситуацию! Вот бы создать для них психологическую консультацию, и, может, фонд какой-то. Пусть знают, что есть возможность выбраться из колеи, изменить свою жизнь. Надо бы сделать сайт на эту тему, открыть кабинет. Найму психологов, с детьми сама буду работать... Точно, аптеки ведь после развода можно будет продать. А часть денег пустить на это дело».

Мысль об аптеках заставила ее поморщиться — ведь нужно позвонить Максиму, утрясти вопрос с разделом имущества. Общаться с мужем не хотелось, но, добравшись до своей палаты, Татьяна набрала номер Макса. Услышав его голос, замялась было — но ее взгляд как магнитом притянули к себе розы, принесенные ей Залеским. «Фридом» значит «свобода», —

подумала она и вздохнула глубже. Ее голос перестал дрожать.

— Максим, нам нужно обговорить детали развода, — спокойно сказала она. — Всё, что касается имущества.

— Ты всё-таки решила? — сухо спросил Макс. — Хорошо, я приеду, когда вернусь в город. Сейчас в роуминге, извини.

— Я тоже считаю, что лучше не по телефону, — согласилась Таня. — Но не затягивай, мне развод нужен быстро. И подумай, пожалуйста, как нам подготовить сеть к продаже и получить за нее хорошую цену.

— Я понял, — усмехнулся Макс. — Это в моих же интересах.

Татьяна дала отбой, повертела телефон в руках. Достала из сумки кошелек. Налички было немного, пара тысячных, да мелочь. Подумав, Таня сунула в карман халата крупные купюры, а сотенные и пятидесятки оставила в кошельке. Мало ли что ей понадобится, пока она в больнице. А карту забрала мать.

«Уехала уже, наверное. Но ведь и была далеко, это я всё пыталась с ней сблизиться... — с легкой грустью подумала Таня, вспомнив, как часто мать говорила, что нельзя цепляться за прошлое, потому что оно вытягивает силы. — Тем не менее, я очень долго жила в том, что перестало быть мне нужным... Так может быть, поступки, которые я начала совершать сейчас, нужны и полезны даже тогда, когда я сомневаюсь в их правильности? Просто потому, что они для меня — нетипичны. А, значит, их делает какая-то другая часть меня — та, которую мне еще предстоит в себе открыть».

И тут она поняла, что именно чувствовала там, на лестнице, когда поднималась к себе после разговора с Мариной. Она ощутила, что ее жизнь, наконец, изменилась — будто кто-то крутанул большое мельничное колесо, вынув из-под него камень. И оно закрутилось, завело жернова... и теперь у нее будет хлеб, и будет солод.

А вовсе не песок и соль, что выходят из доброго зерна во времена хаоса*.

* отсылка к скандинавской легенде о мельнице Амлоди. В хорошие времена эта гигантская мельница, перемалывая зерно, давала людям изобилие и мир. Но когда ей завладели злые люди, начала извергать соль, песок и камни.

Захлебнувшись криком, младенец стих, закашлялся — а потом заорал с новой силой: требовательно, и в то же время бесцельно. Поворачиваясь на другой бок, Наталья потащила через голову подушку, прижала сверху рукой. Плач дочери стал приглушенным, но всё еще доставал, проникал в уши свербящим, раздражающим звуком. И Наталья не выдержала, заорала:

— Да заткни ты ее, наконец!

В детской что-то грохнуло, покатилося по полу — и крик ребенка оборвался. Секунда тишины, вторая... А потом новый взрыв звуков: басовитый младенческий вопль, хрипло-скрипучий, длинный — и делано-ласковое курлыканье няни.

«Уволю нахер!» — решила Наталья и, не открывая глаз, села на кровати, нащупала босыми ногами домашние туфли — сафьяновые, богато расшитые бисером, на невысоком удобном каблучке. Спать хотелось немилосердно, ведь из ночного клуба она вернулась в шестом часу утра, а сейчас сколько — девять, десять? Она потерла глаза руками, отгоняя остатки сна, поморщилась — гадкий вкус во рту и мерзкое ощущение разбитости проявились четче. Не надо было мешать вчера шампанское и коньяк, не надо было всю ночь скакать на пятнадцатисантиметровых каблуках по танцполу... И с диджеем в туалетной кабинке тоже не надо было закрываться. Все равно он оказался слабосильным, потыкался в нее минуты две и сдулся — только пыхтел, как шестидесятилетний, да ощупывал ее снизу горячими сухими пальцами, пытаясь вставить в нее свое вялое естество...

А ребенок всё орал, а няня все бубнила что-то равнодушно, и Наталья, преодолевая головную боль, рванула со стула шелковый халат цвета зрелого персика. Со второй попытки нащупав рукава, встала, пошатываясь, и решительно пошлепала в детскую.

Полнотелая молодая няня — Екатерина, Елизавета, или как ее там? — бродила по комнате, прижав к плечу туго спеленатого, но выгибающегося, как гусеница, громко протестующего младенца. Монотонное нянино «аа-ааа-ааа!», ее механическое покачивание вверх-вниз, по-рыбьи тупое выражение лица окончательно взбесили Наталью:

— Дай сюда! — потребовала она, и няня послушно отдала ей ребенка. Наталья плюхнулась в белое ротанговое кресло-качалку, выпростала левую грудь и заткнула соском рот дочери. Няня нагнулась, поднимая с пола красную погремушку, фланелевые пижамные брюки обтянули толстый зад. Наталья брезгливо отвела взгляд, посмотрела на Вику. Та, закрыв глазки, быстро двигала щечками. Ресницы, мокрые от слез, насупленные бровки и сопящий распухший нос дочери не вызвали ни капли жалости. Лишь новую волну раздражения — как у человека, который поневоле привязан к другому.

Голова заболела с новой силой, и Наталья, ища, на ком бы сорваться, уставилась на няню через злой прищур:

— Я за что тебе деньги плачу? — процедила она. — Какого черта мне самой приходится ее успокаивать?

— У нее от смеси животик болит, — попыталась оправдаться няня. В ее глазах мелькнуло упрямство, лицо пошло пунцовыми пятнами. — Она срыгивает и газиками

мучается. Надо бы молоко ей...

— Я тебе две бутылки оставляла! — огрызнулась Наталья. — Ты сама его пьешь, что ли?

— Так вы же вчера с утра сцеживались. Бутылочки двухсотграммовые, на сутки не хватает ей... — в голосе няни послышалась обвиняющая нотка.

— А где я тебе больше возьму? — буркнула Куницына, отводя глаза.

«Бромокриптин» — таблетки для прекращения лактации — она стала принимать сразу же, как вернулась в Москву. Врач обещал, что молоко пропадет в течение недели, и Наталью это устроило. Но прошел почти месяц, а грудь все еще набухала, особенно по утрам. И приходилось кормить ребенка, а потом по часу-полтора просиживать с молокоотсосом — а из-за всего этого грудь могла потерять упругость, обвиснуть сдутыми шариками. Тело итак изменилось, бедра, ягодицы и живот испещрили светлые ниточки растяжек, а в добавок еще и это? Волегов, конечно, не видел ее голой, по-прежнему отвергал попытки затащить его в постель... «Придунок, типа верность своей инвалидке хранит, — с усмешкой подумала она. — Но когда-нибудь всё равно бросит ее. И к тому моменту я должна быть во всеоружии».

Виктория насытилась, расслабленно отвалилась от груди.

— Вроде уснула... Забери! — требовательный шепот хозяйки заставил няню метнуться к ней, принять ребенка на руки. Толстушка повернулась, осторожно укладывая девочку в белую кровать, над которой полупрозрачным шатром нависал балдахин. Наталья устало поднялась, пошла на кухню за молокоотсосом. Но прежде, чем взять его, налила себе воды и, опершись поясницей на край каменной столешницы, застыла со стаканом в руках.

Кухня была большой, дорого и стильно обставленной — впрочем, как и все в этой квартире, которую Волегов снял для Натальи, как только получил результаты теста на отцовство. Но если во время беременности она жила здесь, получая удовольствие и от дорогостоящих вещей, населявших это жилье, и от завистливых взглядов подруг, которых так приятно было звать на вечеринки — то после рождения ребенка квартира вдруг стала душным загонем, в котором ее держали, как молочную телку. Друзей уже было не позвать — однажды учуяв запах табачного дыма и увидев на кухне батарею пустых бутылок, Волегов запретил ей любые сборища. Во всех трех комнатах валялись игрушки, соски, распашонки, кухня вообще превратилась в филиал яслей — половина столешницы была занята пачками со смесями, склянками с лекарствами, стерилизатором, перевернутыми бутылочками, сушившимися на полотенце... У стола примостилась люлька, в которую няня клала Викторию, когда хлопотала на кухне. С края люльки свисал заляпанный желтыми пятнами слюнявчик. И пахло противно: чем-то кислым, перебродившим.

Наталья допила воду и небрежно бросила стакан в раковину. «Сейчас башку проветрю — и завалюсь», — подумала она, открывая створку окна. Морозный воздух хлынул в кухню, освежил ей лицо. Она глубоко вдохнула, чувствуя, как проясняется в голове, как ослабляются тиски похмелья — и раскрыла окно шире. Порыв ветра шевельнул ее короткие рыжие волосы, огладил грудь и плечи холодными ладонями — и тут же в конце коридора грохнула о стену распахнутая сквозняком дверь, а ребенок заорал снова.

Наталья ворвалась в детскую, как фурия.

— Ты, дура тупорылая! — зарычала она на няню. — Сколько раз говорить, что дверь закрывать надо?

— Вы ее сами открыли, — девушка попятилась к своему незаправленному диванчику, стоявшему рядом с детской кроватью. Задела рукой подушку, и та мягким кулем свалилась

на пол. Наталья схватила ее, подняла над головой и со всей дури обрушила на голову няне.

— Не смей со мной так разговаривать! — ярость рвалась из нее, как спущенный с цепи разозленный пёс. Но няня опомнилась быстро, схватила подушку с другой стороны, дернула на себя. Наталья покачнулась, еле удержав равновесие — и снова бросилась вперед, занеся над головой кулак, желая достать эту бестолочь, эту толстую дрянь, которая еще смеет сопротивляться.

Но ее рука, не успев опуститься, застряла в горячих тисках.

— Что здесь происходит? — грозно спросил Волегов, удерживая ее запястье. Она растерянно обернулась, глянула на него со страхом. От Сергея веяло уличным холодом, на его шапке и воротнике пальто лежали не успевшие растаять снежинки. Видимо, только вошел в квартиру, и, не успев раздеться, поспешил на шум. Наталья дернулась, пытаясь высвободиться. А няня скользнула к детской кроватке и вынула из нее Викторину, исходившую испуганным криком. Прижала к себе, покачивая, и рассерженно выпалила:

— Успокойте вашу жену, чего она на людей кидается!

Волегов сердито посмотрел на Наталью:

— Ты чокнулась? — с негодованием спросил он.

— Да эта дура ребенка разбудила! — взвилась Куницына, выдергивая руку из давящего кольца его пальцев. — Я еле уложила, а она...

— Викулька из-за вас всю ночь плакала! — перешла в наступление няня. — Нельзя такого маленького ребенка бросать, ему мама нужна!

— Как это — бросать? — перебил ее Волегов. Голос его задрожал от гнева.

— Да не слушай ты ее наговоры! — попыталась защититься Наталья. Но няня не унималась:

— Не наговариваю я, Сергей Ольгердович! Она только утром явилась, и вчера весь день где-то пропадала, а я тут одна, и девочка плачет все время, потому что её нормально кормить нужно, а эта... — она кивнула в сторону Натальи, — таблетки пьет, чтобы молока не стало!

— Чего ты врешь! — Наталья аж задохнулась от злости страха.

— А я не вру! Сами в тумбочке у нее пошарьте, она там эти таблетки держит!

Няня метнула в Наталью мстительный, торжествующий взгляд, и переложила орущего ребенка на сгиб локтя. Лицо малышки покраснело от крика, вены на безволосой головке посинели и вздулись, она закашлялась, подавившись слюной. Няня принялась укачивать ее, а Волегов, снова схватив Наталью за руку, протащил ее за собой, в спальню. Подтолкнул к кровати, рывкнул:

— Показывай!

Та отодвинулась от него, бормоча:

— Да нет у меня никаких таблеток, это бред...

Но Сергей рывком выдвинул ящик прикроватной тумбочки, покрытой роскошной резьбой, и высыпал содержимое на кровать. Сине-белая картонная упаковка, как назло, оказалась сверху. Волегов схватил ее, сунул под нос Наталье:

— Бред, значит? — раскатисто гаркнул он, нависая над ней, будто медведь, готовый разорвать добычу. Ее глаза расширились от ужаса, ноги задрожали — а он бросил упаковку таблеток ей в лицо, еле успела увернуться... Распрямылся, встал, широко расставив ноги. Лицо постаревшего Шалтая-Болтая, искривленный злобой рот, сжатые в кулаки руки... «Если он не убьет меня, уволю нахер эту тварь!» — пронеслось в голове Натальи. И в тот же

момент закричала няня — пронзительно, срываясь на испуганный визг:

— Сергей Ольгердович, она не дышит!

Волегов опрометью бросился в детскую. Вика лежала на руках у няни застывшим полешком, личико ее посерело, стало безжизненным. Глаза молодой женщины были наполнены ужасом, рот приоткрылся от растерянности. Сергей выхватил у нее ребенка, потрянул — но Вика не подавала признаков жизни.

— Скорую!.. Бегом!!! — заорал он, и няня метнулась к кровати, дрожащими руками нащупала телефон, что-то зарыдала в трубку — он не слышал, что. Бухнувшись на колени перед няниным диваном, он разматывал пеленку, прикинул ухом к маленькой детской грудке, а потом неуклюже, жутко боясь сломать или повредить, давил на нее ладонью. И, приоткрыв беззубый дочкин ротик, вдыхал в него воздух, и снова нажимал ей на грудь, а потом опять вдыхал и нажимал, вдыхал и нажимал — до тех пор, пока она не шевельнулась, не закашлялась, не запищала скулящее и жалобно, как обиженный перепуганный зайчонок... И продолжала хныкать, когда он поднял и прижал ее к себе, отметив лишь краем сознания — Наталья жметесь у двери, и даже не пытается взять ребенка.

Даже не пытается подойти.

Врач Ильясова — шатенка лет сорока, с острыми чертами лица и пронзительным взглядом — говорила осторожно, в основном обращаясь к Волегову:

— Сейчас нельзя сказать ничего определенного. Девочку нужно обследовать. Но мне не нравится звук ее сердцебиения... Прослушиваются шумы.

— Это значит, у нее больное сердце? — продолжал выпытывать Сергей. Его брови были сведены, будто от боли, в глазах темнела тревога. Будто лысый гриф над своим гнездом, он склонился над пеленальным столиком — здесь, бессмысленно уставившись в ярко раскрашенную стену и с аппетитом посасывая большой палец, лежала Викулька.

Ильясова села за свой стол, помедлила, крутя в пальцах головку стетоскопа. Пожав плечами, сунула ее в карман медицинского халата, и уклончиво ответила:

— Шумы возникают по разным причинам, и не всегда указывают на проблему. А вот то, что у вашей дочери была остановка дыхания — очень нехороший признак. Ей просто повезло, что вы оказались рядом.

— Нам всем повезло, — мрачно сказал Волегов.

— У вас в роду были сердечные заболевания? — врач перелистывала медицинскую карту Вики, изучая записи.

— Вроде бы нет... А у тебя? — Сергей повернулся к Наталье. Та сидела на стуле, сгорбившись, зажав ладони коленями. В застывшем лице не было ни кровинки, блекло-голубые глаза смотрели в одну точку, как у сомнамбулы. Он положил руку на ее плечо, и только тогда она вздрогнула, и подняла на него взгляд. Он был вялым, словно болезненным — но в глубине глаз плеснул испуг.

— Нет... Ничего такого... — она мелко-мелко затрясла головой, ёжась, будто только что проснулась — и Волегов понял, что ее бьет мандраж, что шок еще не прошел, и, видимо, не пройдет еще долго. И отвернулся, всё еще злясь: то ли на нее и выбранную ей няню — двух недотепистых уток, на которых теперь было страшно оставлять ребенка. То ли на судьбу, которая чуть не украла его наследницу. Но однозначно — на себя. Потому что не мог всегда быть рядом с дочкой и защищать её от бед, как поклялся тогда, в палате, в день ее рождения.

Не мог... Или не хотел?

Он крепче сжал челюсти и напомнил себе: всё устаканится, нужно просто подождать. Просто период сложный: партия эта, выборы на носу, на работе завал... Весь этот месяц он бывал в квартире бывшей любовницы лишь набегами, вырывался на час-полтора, чтобы увидеть Викульку. И казалось, что все в порядке: ребенок чистенький, ухоженный, только няни почему-то всё время менялись... Ну и Наталья со своими намеками на совместную жизнь, так и не осознавшая своей роли — но на это было плевать, привык уже и не обращал внимания. Думал, когда-нибудь ей надоест у него кланяться. Смирится. Такие, как она, всегда смиряются.

Все перевернулось в один миг. И доверять Наталье, как раньше, он больше не мог. «Пить таблетки, чтобы пропало молоко — она что, совсем сбрендилась? — от этой мысли гнев снова обдал его жаром. Струйка пота скользнула по шее, и он глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться. — Сам виноват, слишком много свободы давал. Дурак, устроил демократию... Теперь — только контроль, каждую минуту — контроль! И няню сам найду. Если бы я

сделал так сразу, Вика была бы здорова».

— Какие анализы нужно сдать? — отрывисто спросил он.

Подняв на него взгляд, Ильясова поправила отвороты халата. И, задумчиво постучав кончиком ручки по столу, сняла трубку старомодного белого телефона. Набрал короткий номер, заговорила властно — и в то же время с просительной ноткой:

— Девочки, я сейчас к вам новорожденного отправлю, сможете взять без очереди? Да, с направлением придут, — она протянула Сергею заполненный бланк, и шепнула, прикрыв ладонью телефонную мембрану, — прямо сейчас идите! Потом с результатами ко мне.

Волегов кивнул, стал неуклюже натягивать на дочку бирюзовый комбинезончик. Врач продолжала телефонный разговор, называя фамилии других пациентов, записывала что-то... И Волегов — в который раз уже! — пожалел, что «скорая» привезла их в государственную больницу. Да, она была ближе всех, но здесь был конвейер, и ничто не внушало доверия.

— Пойдем! — бросил он, беря дочь на руки. Наталья вскочила, послушно засеменила за ним по узкому коридору поликлиники. Разрезая толпу пациентов, как ледокол, Сергей молча свернул к лестнице, молча же спустился на два пролета и завернул за угол, всё ускоряя шаг. Наталья еле успевала за ним, потому что ноги по-прежнему были ватными: с того самого момента, как он распотрошил ее тумбочку и расвирепел, словно обезумевший гризли. Вот тогда она поняла — ясно, и без допущений — что защиты от этого человека у нее нет. Она заложница, ее тело принадлежит ему, ее время принадлежит ему. А ради своей дочери он вытрясет из нее еще и душу.

Может ли быть что-то страшнее? Как оказалось, может.

Там, дома, когда Вика перестала дышать, в жилах Натальи застыл обрекающий, мумифицирующий ужас — и этот ужас сковал ее так, что она не могла сделать даже крохотного шажка. Стоя у двери, она чувствовала себя мраморной статуей, которая устремлена вперед, но веками не может оторвать ступню от пьедестала... И самое постыдное было в том, что боялась она не за дочь, а за себя.

Всё еще болело запястье, которое Волегов сжал, когда тащил ее в комнату. Всё еще стояло перед глазами его лицо — побагровевшее, искаженное по-звериному необузданной яростью. И запах, запах шевелил ее волосы: смесь мускуса, горького дыма и железа. Именно так — она знала — пахнет оружие убийцы.

Потом, в «скорой», ей стало немного легче. Ведь порозовевшая после укола Вика спокойно спала на руках отца, и произошедшее дома стало казаться настолько нереальным, будто это не жизнь была, а эпизод из сериала. Но потом, когда Ильясова спросила про наследственность, Наталью снова окатило дурнотой. Воспоминания всплыли, как мусор, понеслись, подталкивая друг друга.

...Запах корвалола, пропитавший квартиру. Тягучий стон из комнаты матери. Протяжный вой «скорой», кривые зубцы кардиограммы. Свистящий одышливый шепот: «Не бойся, Наташенька, я выздоровею»...

У матери — ишемическая болезнь сердца. Много лет. Но Волегову не нужно об этом знать. В конце концов, что это изменит? Если у их дочери проблемы с сердцем, какая разница, откуда они взялись? И тут же пришла еще одна мысль, показавшаяся спасительной: «Меня же обследовали во время беременности! Ребенок был вполне здоров!»

Наталья облегченно вздохнула и прибавила ходу, пытаясь нагнать Сергея. Он уже стоял перед дверью с надписью «ЭХО ЭГ», шипел на необъятную, в ситцевом платье, бабку. Та перекрывала дверь, бухтела что-то, и пихала в лицо Волегову свою распухшую, под стать

хозяйке, медкарту. Когда Наталья подошла, он молча отдал ей ребенка, достал портмоне и положил на бабкину медкарту пяти тысячную купюру. Та умолкла на полуслове, недоверчиво глядя на деньги — а Сергей решительно отодвинул ее от входа и кивнул Наталье: проходи.

В маленьком полутемном кабинете стоял аппарат УЗИ и кушетка, застеленная светло-голубой одноразовой простыней. Слабый запах кофе и копченой колбасы намекал на то, что сотрудникам этой больницы некогда даже сходить на обед.

— Девочку сюда кладите, — чернявый врач, иссохший, носатый, похожий на мудрого ворона, кивнул в сторону кушетки. — Освобождайте грудную клетку.

Вика недовольно закричала, когда Наталья стянула с нее комбинезончик и раскрыла распашонку. Скривилась, захныкала, чувствуя на коже холод медицинского геля.

— Дай-ка я тебя поглажу, — ласково сказал доктор, водя ультразвуковым датчиком по груди ребенка, и Вика вдруг успокоилась, расслабленно вытянула ножки. А он вглядывался в монитор УЗИ, поворачивая датчик под разными углами, и все больше темнея взглядом.

— Баталлов проток открыт, — сказал он наконец. — А девочке полтора месяца... Родилась доношенная?

— На тридцать седьмой неделе, — торопливо ответила Наталья. — Вес был — три четыреста двадцать, рост — пятьдесят два сантиметра. Мне сказали, с ней все хорошо.

Врач кивнул, по-прежнему глядя в монитор.

— Доктор, ну не молчите! — взмолился Волегов.

— А вы не паникуйте, — каркнул врач, глянув поверх очков. — Ничего непоправимого не случилось. Одевайте ребенка, а я сейчас заключение напишу.

— Но скажите хотя бы, что не так с ее сердцем? Что там открыто? — нервно спросила Наталья.

Доктор снял очки, утомленно зажмурился, потирая переносицу. И принялся объяснять:

— Открыт артериальный проток, через который в сердце плода поступала кровь. Обычно у младенцев он зарастает в первые дни жизни. Но иногда этого не случается. И ребенок либо спокойно живет с таким пороком сердца, либо его оперируют — если возникают проблемы со здоровьем. Операция не сложная, риска для жизни практически нет. Поэтому я и говорю: не паникуйте.

— Вы сказали — порок сердца? — вскинулся Волегов.

— Да, врожденный порок, — кивнул врач, надевая очки. Отвернулся, подтянул к себе клавиатуру. Печатал он быстро, редкость для пожилого человека. По экрану компьютера бежали черные цепочки букв.

Сергей глянул на Наталью, и она впервые увидела в его глазах беспомощность — как у зверя, упавшего в волчью яму.

Закутав дочку, она подняла ее и стала легонько покачивать. Но руки ощущали лишь тяжесть — словно от почтовой бандероли, внутри которой лежала завернутая в пленки... вещь.

Наталья трусливо опустила глаза, чтобы не встречаться взглядом с Волеговым. Испугалась, что не сумеет скрыть. Ведь сейчас ей не хватит сил на притворство. Скандал с Сергеем, несчастье с Викторией — всё это выбило из привычной колеи. Жизнь будто толкнула ее в кучу дерьма, да еще и ткнула носом: смотри, вот к чему приводит равнодушие!

Ей и самой было дико, что она, женщина, испытывает так мало чувств к своему ребенку. Даже когда врач сказал про порок сердца и возможную операцию, она лишь посочувствовала этому ребенку — как посочувствовала бы любому другому малышу. Нормальная мать с ума

бы сходила от тревоги, а Наталья ощущала лишь жалость и стыд.

Раньше, думая о своем равнодушии к дочери, она оправдывала себя тем, что это Волегов уговорил ее родить. Ведь она не хотела этого ребенка, не планировала его. Но... всю беременность была уверена в том, что материнский инстинкт автоматически включится, как только дочка появится на свет.

Вот только прошло уже несколько недель, а любовь к этому ребенку так и не пришла.

Это случается — она читала в интернете. Послеродовая депрессия. Холод и пустота внутри. Не ее ли она пыталась заполнить, таскаясь по ночным клубам, пропадая целыми днями в салонах красоты и в гостях у подружек? Нанимая нянь, щедро платя за их услуги?

Материнский инстинкт не включается нажатием кнопки. Будь по-другому, она бы не отходила от своего ребенка. И сейчас наверняка тревожилась бы так же, как Сергей.

Говорят, это пройдет. Через пару-тройку месяцев. Максимум — через год. «А если у меня это — навсегда? — мысль казалась Наталье еще ужаснее от того, что возникала не впервые. — А если я — моральный урод, не способный никого любить? Да, я рожала ребенка в надежде заработать. Но ведь каждая женщина хочет, чтобы у нее и ее детей была обеспеченная жизнь! И рожают, а потом — радуются своему материнству... Почему я не могу?»

Чуть отстранив от себя ребенка, она взгляделась в круглое дочкино личико. Красивая малышка. Любая мать могла бы ей гордиться. «Неужели и у меня — порок сердца? Только неизлечимый, невидимый для врачей? — с тоской подумала Наталья. — Нет, я не хочу оставаться такой. Я брошу пить таблетки, перестану сваливать всё на нянь... Я сама буду заботиться о Вике. И вот тогда, наверное, смогу полюбить ее».

Она встала, крепче прижала к груди сопящий сверток. И попросила врача:

— Пожалуйста, можно поскорее получить на руки результаты? Нам срочно нужно к кардиологу.

Вскинув руки, дочь трактирщика горделиво подняла подбородок — будто не желала смотреть на свою создательницу. Тонкий стан танцовщицы был затянут в ярко-алый корсаж, и Анюта быстрыми уверенными движениями зашнуровала его черным маркером. Им же изобразила пышные складки на рукавах белой рубашки. И принялась за юбку — она получилась пестрой, из ярких ромбовидных лоскутков. Анюта чуть подала инвалидное кресло в сторону, критически осмотрела пластиковую доску с рисунком. И принялась объяснять:

— Смотри, для Китри* нужна юбка-солнце, потому что мы придумали специальный механизм, который будет крутить Оксанкино кресло. А спинку ему мы снимем, на ее месте будет низкий упор для поясницы. Вокруг кресла закрепим обручи. Юбка сверху на этот каркас ляжет, как в средневековом костюме.

Элина Викторовна Совка, мама Анюты, деловито кивнула с экрана компьютера. В темно-зеленых глазах блестели смешливые искры, стрижка-боб молодила ее. Часть волос Совка заправляла за левое ухо, в котором блестел аккуратный золотой «гвоздик», подкручивала вверх доходящие до плеч пряди. Вязаная шаль и старинная камея, скальвающая высокий ворот белой, с рюшами, блузки еще больше подчеркивали элегантность ее возраста. Годы ей не вредили, наоборот — она умело примирялась с ними. Ведь, в отличие от многих дам «за шестьдесят» не считала себя недостойной заботы косметологов, да и стилистом была прирожденным, талантливим.

С тех пор, как Анюта создала свой театр, Элина Викторовна бросила работу фотографа. Хотя в женском журнале, для которого она снимала, подбирала модели и придумывала декорации к фотосессиям, платили очень хорошо. Но Совке было важно поддержать дочь, помочь ей освоиться в новом амплуа балерины-колясочницы, коль уж на классическом балете нужно было ставить крест. Да и количество административной работы, взваленной Нюткой на свои плечи, Совке хотелось поделить на двоих.

Вот и сегодня они созвонились по работе. И обсуждение костюмов к балету «Дон Кихот», сцены из которого Анюта хотела поставить в своем театре, продолжалось уже минут двадцать. И все это время старшая Совка исподтишка наблюдала за своей девочкой. Всё, вроде бы, хорошо: Анюта веселая, фонтанирует идеями и увлечена работой, яростно добивается своего. Но как-то уж слишком, чересчур — словно пытается забыться, слишком глубоко нырнуть в театральную жизнь... будто иной нет, и не будет. «Может, у них с Сергеем что-то не так? — гадала Элина Викторовна. — Поругались? Или, может быть, боли сильнее стали? Анька же не пожалуется. Но если спросить — врать не будет».

— О, мам, я еще вспомнила! — воскликнула Анюта. И улыбнулась во весь рот, в темных вишнях глаз мелькнула чертовщинка. — Давай пришьем на жилет Санчо Пансе огромные пуговицы, большие и блестящие, как тарелки? И пузо ему, пузо! Огромное, чтоб на коленях лежало! Сможешь заказать такое? Пусть он на это пузо блюдо с поросенком ставит! И кружки с вином, когда будет сцена в трактире.

— Ммм... А это не перебор? — засомневалась Элина Викторовна.

— Да ты что, он ведь тот еще чревоугодник! Ты вспомни книгу, он же там говорит: «Накормите меня, или отберите губернаторство!» Мам, ну Петр Тимофеич так уморительно Санчо Пансу с этим пузом сыграет — зрители еще больше в этого героя влюбятся!

— Ох, выдумаешь ты вечно! — ворчливо ответила старшая Совка.

Анюта сморщила нос, как в детстве, и заканючила:

— Ну мааам!

Элина Викторовна не выдержала, рассмеялась. От сердца отлегло: все нормально с дочерью, просто готовит довольно сложную постановку — как обычно, бросая вызов самой себе. У Анюты всегда так было: задерет планку, а потом упёрто лезет к ней. И ведь перепрыгивает, каждый раз! Даже семимесячная, только-только начавшая ползать, не успокаивалась, пока всю комнату не пересечет. Сашка как-то, забавы ради, взял ее на работу — он тогда еще в школе физкультуру преподавал — и пустил ползти от угла спортзала. А он, извините, тридцать шесть метров в длину и шестнадцать в ширину, здоровый! Так Анютка два раза ложилась, отдыхала — но все-таки доползла до плюшевого слона, усаженного отцом в противоположном углу. Сашка поднял ее, а она уже спит — до того устала... Элина, конечно, всыпала потом мужу за этот киндер-марафон, но втайне стала еще больше гордиться дочерью. Гордилась ей и сейчас, радовалась, что та не опустила рук, не сдалась болезни — но вместе с тем ощущала и горечь. Будто сидел внутри отравленный шип, и каждую секунду пропитывал кровь мышьяком.

Эта мука не отпускала её с тех пор, как Анюта разбилась на горнолыжной трассе. Прошлой жизни не стало — враз, будто отрубили и прижгли, чтобы не кровоточило. В новой жизни было некогда сожалеть о прошлом и терзаться виной: еле живой от горя Элине предстояло не только отвоевать дочь у смерти, но и поставить ее на ноги.

И она воевала: девятнадцать дней не выходила из реанимационной палаты лучшей частной клиники, найденной Волеговым. Всегда на страже — как мойра Клото**, у которой пытаются выкрасть нить человеческой жизни. Она обтирала дочь, меняла бутылки в капельницах, слушала, работает ли ИВЛ и пищит ли кардиомонитор. Сутками не разрешала себе смежить веки — а если не выдерживала и задремывала, тут же вскидывалась в ужасе, уверенная, что услышала тишину. Вот тогда Элина и заработала себе расстройство сна, которое до сих пор никто не может вылечить... да и шут с ним, привыкла. Она, наверное, ко всему могла привыкнуть — кроме инвалидного кресла Анюты. Которое ненавидела лишь немногим меньше, чем хозяина той самой горнолыжной базы.

Элина плела проклятия — как богиня мести, непрощающая Алекто***. И, как она, жила в аду. Ее черное слово все-таки настигло жертву — и виновный сгнил в тюрьме. Но проклятие падает на голову проклипающего, а дети платят за грехи родителей — теперь Элина в этом убедилась. Ее Анюта так и не встала на ноги. Травма позвоночника тоже стала тюрьмой. В которую она попала ни за что. И, скорее всего, пожизненно.

Но тогда, в больнице, врачи говорили Элине: это чудо, что она вообще живая, вам нужно Бога молить за это! И Совка молила, по сто раз на дню — а еще просила слезно. И Господь слышал, нажимал на какие-то свои кнопки, или дул Анюте на темечко. А изрядно сдавший Сашка ликовал, подбадривая жену: «Я же говорил, очнется!.. Говорил, что задышит сама!..» И так каждый раз, какой бы крохотной ни была динамика. Почти полгода, пока операция шла за операцией, пока срастались кости, сосуды и нервы, пока к Анюте возвращалась память и чувствительность рук, Элина не отходила от дочери. А муж поддерживал их обеих, шутил за троих, бодрился за троих. И вышутился-выбодрился до того, что ко дню Анютиной выписки его голова стала снежно-белой...

— Маааам! Ты меня слышишь? Интернет барахлит, что ли... — голос дочери вывел ее из оцепенения, и Совка осознала, что Анюта видит на экране замершее изображение, а не

погруженную в воспоминания мать.

— Все в порядке, — успокаивающе сказала она.

— Так вот, я говорю — в Берлин наша труппа едет через неделю, твои документы тоже готовы. Там даже афиши уже расклеили, представляешь? Те костюмы, которые ты заказывала для миниатюр по мотивам «Щелкунчика» и «Пер Гюнта», прекрасно подошли! А платье Сольвейг**** просто бесподобно! Люда в нем так преобразилась, даже в роль вживается лучше — все заметили. Ты, пожалуйста, приезжай ко мне пораньше, дня за два до отправления в Германию. Нам с тобой надо реквизит перебрать...

— Нютка, погоди ты со своей работой! — не выдержала Элина Викторовна, и дочь умолкла в недоумении. — Ты как себя чувствуешь, признавайся? Я же вижу, что-то не то с тобой...

Анюта ухватила левой рукой за прядь смоляных волос, потащила ее вниз, будто пыталась распрямить еще больше. Этот, всё еще детский, жест без слов сказал Элине: дочь переживает о чем-то, но не решается сказать.

— У тебя что, боли сильнее стали? — мягко спросила она.

— Не сильнее обычного...

— А в чем тогда дело? Дома что-то не так? — продолжала допытываться Совка.

Опустив глаза, Анюта облизнула верхнюю губу. Длинные ресницы дрогнули, рука снова ухватила за прядь.

— Не знаю... — наконец, сказала она. — Просто всё как-то... странно стало. Серёжа... Знаешь, мам, может он устал от меня? Холодный какой-то, неразговорчивый...

Начав, Анюта уже не смогла остановиться — и теперь слова катились бурным потоком,

— Я понимаю, у него выборы, и этот Горе Горевиц из него пьет, как из бездонной чаши!

И в министерстве у них какие-то перестановки — кого вверх, кого вниз, кого вон... А еще на мебельную фабрику налоговая наехала, и на завод новые станки нужны — а это всё деньги, деньги... Он дома совсем не появляется! Приходит только спать, и от меня глаза прячет, будто виноват в чем-то. А в чем, мама? Я же чувствую, он любит меня! Но так странно себя ведет... не понимаю! Я уже не знаю, что думать! Поговорить пыталась — врет, что все в порядке. Молчать пыталась — ну, просто чтобы не доставать его — так он обижается, злится! Ему и без меня плохо, и со мной не так, а я... Мам, я ведь умру, если он меня бросит. И не потому, что останусь без поддержки. А потому что без него всё потеряет смысл.

— Успокойся, я уверена, что между вами никаких проблем нет! — решительно сказала Совка. — Проблему он носит в себе, но вот какую?

— Да если бы я знала! — удрученно ответила ей дочь. — Я бы, мама, всё для него сделала!

Элина Викторовна задумалась. Слова дочери расстроили ее, хотелось как-то помочь... но как?

— Доча, вам бы ребенка родить, — вздохнула она. — Ну почему ты не хочешь найти суррогатную мать?

— Мам, ну я же консультировалась с врачом. Он сказал, что у меня организм как-то не так стал работать, и вероятность оплодотворения очень маленькая. Ты меня знаешь, я бы даже за мизерный шанс зацепилась! Но это надо ездить по врачам, попытка за попыткой... Я не хочу этим Серёжу мучить. Да и он говорил, что без детей проживем. Я же не могу пойти против него. А мне бы хотелось, конечно... Я уверена, что смогла бы воспитать ребенка, позаботиться о нем — инвалидность ведь этому не мешает.

— Кстати... — спохватилась Элина, — по поводу инвалидности. Нют, ты только не ругайся. Я знаю, ты не любишь, когда кто-то из нас в эти дела лезет... Но раз мы всё равно едем в Германию, давай выкроим там время и выберемся в Лейпциг. Там появился врач...

— Мама, ну я же просила! — рассердилась Анюта.

Но теперь и Совку было не унять — дочь ведь нее упрямой уродилась.

— Ань, ты просила, да. Но я же твоя мама, мне больше всего на свете хочется, чтобы ты выздоровела!

— А я не считаю себя больной! — парировала Анна. — У меня прекрасная жизнь! Я просто отличаюсь от остальных — но кто сказал, что в худшую сторону?

И хотя взгляд Анюты был полон гнева, Элина вдруг поняла — она заплачет сейчас.

— Доченька, ну не сердись на меня, — мягкий голос матери был наполнен любовью. — Просто послушай. Я знаю, ты, наверное, сотню врачей прошла. И все говорили, что ничего сделать не могут. Так какая тебе разница, сто их, или сто один? Давай прокатимся до Лейпцига, заодно город посмотрим, мы же там не были никогда! А клиника эта — ну заедем, осмотрят тебя. Хуже-то не будет.

Анюта всё еще смотрела куда-то в пол. Но по тому, как она поджимала губы, как хмурилось ее лицо, Совка видела — уже не сердится, просто думает. Ну и переживает, конечно.

— А что там за клиника? — наконец, спросила она.

— Я тебе сейчас всё по интернету скину, — засуетилась Совка. — У них сайт есть, ты же немецкий хорошо знаешь, почитай. Врач Фридрих Штайнер. Он разработал экспериментальный метод лечения — выращивает нервную ткань, вживляет как-то, и проводимость восстанавливается. Я про него в медицинской рассылке прочитала. Представляешь, результативность его метода — сорок семь процентов! К нему люди с параличами едут, говорящие головы! А он им чувствительность всего тела восстанавливает, руки-ноги двигаться начинают. И он как раз именно такие случаи, как у тебя, берет. То есть, когда спинной мозг травмирован.

— Ох, кажется мне это очередной аферой... — недоверчиво скривилась Анюта. — Слишком заманчиво звучит!

— Ну подожди ты выводы делать! Я им письмо написала, отправила скан твоей медкарты и снимки. Они ответили мне сегодня, что готовы взяться.

— О-о, ну понятно... — разочарованно протянула Анюта. — Знаешь, если они диагнозы по интернету ставят...

Элина Викторовна замолчала, внимательно посмотрела на дочь. И спросила удивленно:

— Я не пойму, ты сдалась, что ли?

Тишина стала холодной и плотной, будто вопрос заморозил ее. Нервно сглотнув, Анюта потерла пальцем черный подлокотник инвалидного кресла. И протянула руку к клавиатуре.

— Мам, прости. Перезвоню, — выдавила она, нажимая на кнопку отбоя.

Ей не хотелось грубить, но вышло грубо. И вместо того, чтобы закрыть болезненную тему, прекратить думать о ней, пока настроение не упало ниже некуда, Анюта расстроилась еще больше.

Мать хотела ей добра, вот и всё. Никаких других мыслей у нее не было — и когда связывалась с клиникой, и когда предлагала дочери поездку в Лейпциг. Это Анюта знала на сто процентов.

Но мама... просто не понимала.

Никто не понимал.

Да и откуда им знать, что творится в ее душе?

Ведь никто из них не сидел в инвалидном кресле, пытаясь выстроить жизнь с нуля.

*Китри — дочь трактирщика из балета «Дон Кихот»

**Мойра Клото — одна из трех мойр (богинь судьбы), держащих в руках нити людских жизней. Представлялась старухой с веретеном в руке.

***Алекто — одна из трех эриний, древнегреческих богинь мести. В «Божественной комедии» Данте Алигьери они обитают в подземном царстве, у «властительницы вечных слез ночных» Прозерпины.

***Сольвейг — персонаж балета «Пер Гюнт»

— Обещать — не значит жениться! — провозгласил тощий белобрысый политтехнолог с внешностью мальчика-мажора. Остановившись посреди сцены, он повернулся к зрительному залу и высоко вскинул руку с многозначительно поднятым пальцем. Пола дорогого блейзера приподнялась, показав брючный карман, из которого свисал полосатый хвост перепачканного носового платка. И Волегов хмыкнул, подумав: «Всё в политике так: под лощеным фасадом — сплошная грязь».

На инструктаж агитаторов Сергей попал случайно — решил скоротать время до встречи с Горю Горевичем, который на пути к предвыборному штабу застрял в гигантской пробке. Не стал болтаться в приемной, отказался от кофе в редакционной комнате, а пошел бродить по бывшему зданию театра «Рифей», временному пристанищу партии «Звезда демократии». Набрел на это сборище партийных глашатаев, которым промывали мозг перед отправкой «в поля» — и остался послушать. Ведь Слотвицкий не раз говорил ему о важности «полевой работы» — так называлась та часть предвыборной агитации, когда представители кандидатов ходили по домам избирателей, разнося листовки, газеты и расхваливая «наших кандидатов».

Удерживая паузу, политтехнолог дважды пересек сцену. Остановился у трибуны, фасад которой был обтянут тканью с партийным логотипом и надписью: «Звезда демократии» всегда на высоте!» Волегову этот слоган казался идиотским. Но партийные гуру строили свою агитацию на статистической догме, которая гласила, что лишь десять процентов населения не являются круглыми дураками. Остальным девяноста процентам можно вдолбить любую идею — главное, умело ее подать.

Политтехнолог повернулся к рядам черных кресел, обежал глазами агитаторов, и продолжил:

— Итак, обещать — не значит жениться. Данную поговорку народ придумал потому, что привык к обману. Я хочу, чтобы вы помнили об этом! Поняли, что народ сам разрешает себя обманывать. И никак не наказывает за враньё.

Волегов обеспокоенно поджал губы. Даже ему, махровому цинику, эта речь казалась слишком безнравственной. А что о ней подумают агитаторы? Большая часть из них — плохо одетые тетки, явно не из графьёв. И студенты, которые вряд ли пришли бы сюда, если бы жили побогаче.

— А врать вам придется, но это будет ложь во спасение! — Политтехнолог подошел ближе к креслам, встал, заложив руки за спину. — Потому что обещание, абсолютно невыполнимое сегодня, завтра может быть выполнено. Меняется законодательство, расширяются полномочия депутатов. И бабушка, которой вы сегодня пообещали улучшить жизнь, завтра действительно будет получать достойную пенсию и социальное обслуживание. Ведь, в отличие от других депутатов, представители партии «Звезда демократии» дадут ей все это, как только появится возможность. Поэтому сейчас так важно, чтобы наши люди попали во власть.

«Брешет, собака, — хмыкнул Волегов. — Но брешет убедительно».

Впрочем, в последнее время он сам погряз во лжи.

Постоянно врал Аняте — и эти его поздние возвращения, постоянные отлучки, отнекивание и замалчивание тоже были самым настоящим враньем, которое он пытался

оправдать трусливой парадигмой всех неверных мужей: «Чем меньше жена знает — тем крепче спит». Лгать было столь же мучительно, сколь и необходимо. Волегов дико боялся потерять Анюту. И был уверен, что, заимев ребенка на стороне, совершил предательство, которое невозможно простить.

И, конечно же, он врал Наталье — что сопереживает ей, что простил... Хотя до сих пор злился на неё и волновался только за дочку. Викульке все-таки понадобилась операция на сердце, и, несмотря на все заверения врачей, Волегова начинало потряхивать от одной мысли о том, что его малышку уложат на операционный стол. Доктора успокаивали, как могли. «Это рядовой случай! — говорили они. — Это не сложнее аппендицита! Само сердце даже трогать не будут — просто перевяжут ведущий к нему проток». Но Сергей вспоминал Анюту — как она лежала после своих операций, полубезумная от наркоза, с торчащими из тела трубками... Как кривилась от боли, до крови кусая губы... И от мыслей, что с его крохотной девочкой будет то же самое, Сергей был готов лечь на операцию вместо нее — и лег бы, если бы это хоть чем-то помогло...

Он устроил Викульку с Натальей в частную московскую VIP-клинику, договорился с маститыми кардиохирургами, обеспечил всё, что мог. Операцию назначили через неделю. А пока он ездил к своей малышке каждый день, проводил всё свободное время с этой теплой живой куколкой, сопевшей на его руках. Терпел нытье Натальи и ее плохое настроение. Думал: она ведь мать, и не меньше его беспокоится за ребенка. Но тот случай с таблетками... Волегов так и не смог понять поступка Натальи. И сомнение в этой женщине всё больше разъедало его нутро.

По сравнению со всем этим враньё избирателям — незнакомым дядькам и тёткам, молодым ребятам, пенсионерам — казалось безобидным, обыденным. Он просто говорил им то, что они хотели услышать. Но на самом деле во власть даже не собирался. Был обычным «технарем», то есть «техническим», подставным кандидатом. Чья роль — прикрывать тылы будущего депутата, зампреда партии «Звезда демократии» Василия Тетеревенкова.

И Волегов делал свою работу: подавал в избирком жалобы на конкурентов из других партий, оплачивал из предвыборного фонда статьи и листовки, в которых поливал их грязью — в общем, делал всё, чтобы очернить их имидж. Зарабатывал тем самым репутацию истерика и скандалиста, тогда как Тетеревенков в глазах избирателей оставался непогрешимым, как Папа римский. Ну а потом, за пару дней до выборов, Волегов должен был снять свою кандидатуру, публично призвав лояльных к нему избирателей голосовать за Василия Тетеревенкова.

В том, что Тетерю протащат во власть, Сергей не сомневался — в политике многое известно заранее. Но засветившись на этих выборах, Волегов доказывал свою преданность партии. И не сомневался, что в следующий раз именно его протолкнут в политику.

Он отвернул манжету рубашки и обеспокоенно глянул на свои Vacheron Constantin. Половина четвертого, Горе Горович опаздывал почти на полтора часа. Волегов достал мобильник, написал: «Всё в силе?» И, в ожидании ответа от Слотвицкого, попытался вникнуть в слова мажористого политтехнолога. А тот заливался соловушкой:

— Как вы думаете, хотят ли кандидаты от нашей партии, чтобы бабушка Зина жила достойно, и ее пенсия позволяла ей покупать всё необходимое? Безусловно, хотят! Может ли отдельно взятый депутат увеличить ей пенсию? Нет, не может. Для этого нужно, чтобы депутаты других партий тоже были неравнодушными людьми, и единогласно голосовали за такие вещи. И чтобы правительство принимало радикальные меры, а не довольствовалось

смехотворными индексациями! А наша партия имеет большое влияние в правительственных кругах, и чем больше наших депутатов будут у власти, тем быстрее начнутся перемены!

Опустив головы, агитаторы записывали эти ценные мысли. Ни один не задавал вопросов, не пытался задуматься, оспорить навязываемые утверждения. Этим людям было всё равно.

Телефон в руках Волегова завибрировал, и он открыл входящее сообщение. «Уже поднимаюсь», — писал Слотвицкий. И Сергей встал с кресла, пошел к выходу из зала.

Проходя через холл, он кивнул пиар-консультанту Валентине — кривозубой тридцатилетней шатенке в роговых очках. Она разъясняла стайке студентов, держащих в руках кипы анкет, как проводить очередное социологическое исследование. Волегов поднялся на второй этаж, к кабинету Слотвицкого. Там было открыто, но Сергей все равно постучал по двери и только потом заглянул внутрь.

Стоя к нему спиной, Слотвицкий просматривал газету. Шлепнул по ней рукой и негодуя сказал:

— Нет, вы видели, дорогой Сергей Ольгердович? Этот Кичатов думает, что ему всё дозволено!

Волегов подошел ближе, заинтересованно навис над плечом Горе Горевича. На первой полосе газеты чернел крупный заголовок: «Звезда плутократии». Партия, которой нельзя доверять». Судя по лид-абзацу*, речь шла об аварийном доме на улице Стартовой. Нынешний депутат от «Звезды демократии» обещал отремонтировать его еще пять лет назад. Волегов недавно слышал по радио: там что-то рухнуло — то ли стена, то ли потолок. Жертв не было, он это запомнил. Но в газете — рядом с фотографией дома — поместили фото загипсованного мужика. Которое было подписано: «Трое малолетних детей остались без кормильца». Комментарии к статье давал кандидат в депутаты Леонид Кичатов — главный политический конкурент Тетеревенкова. Обвиняя партийцев во лжи, он клялся наказать виновных, и оказать материальную помощь семье пострадавшего.

— И ведь понимает, сволочь, что даже если мы в суд на него подадим, докажем, что мужик этот подставной, а в статье сплошное вранье, то это будет уже после выборов! — гневно сказал Горе Горевич, но в его словах явственно слышалось уважение. Слотвицкий не любил слабых конкурентов, с ними было не интересно играть.

— А снять его с выборов не получится? — спросил Сергей.

— Бьюсь об заклад, он скажет — в редакции перепутали, я ничего такого не говорил, — отмахнулся Слотвицкий. — А редактора не найдут, потому что это наверняка какой-нибудь бомж или алкаш. Вы гляньте на тираж — девятьсот девяносто девять экземпляров. Эта газета даже как СМИ не зарегистрирована! Так что Кичатову терять нечего, он таких одноразовых газетенок еще нашлапает, и сухим из воды выйдет.

Волегов пожал плечами: мол, моё дело предложить. А Горе Горевич, быстро переступая пухлыми ножками, перекатился за свой стол и почти улегся в кресло, вытирая салфеткой покрасневшее лицо. Сергей молча сел напротив.

— Ну а мы будем бить врага его же оружием! — торжественно объявил Слотвицкий. — Как говорится, а ля гэр, ком а ля гэр!** И вам, Сергей Ольгердович, предстоит особая задача...

Детали будущей статьи они обсудили быстро, и Волегов согласился снова выступить в роли правдолюбца. И не только опровергнуть факты, изложенные в публикации конкурентов, но и представить Кичатова средоточием мирового зла. Тем более, что

журналисты, прислуживающие «Звезде демократии», накопили на него достаточно компромата — вот только вываливать его планировали ближе к выборам.

— Надеюсь, надеюсь на вас! — восклицал Горе Горевиц, тряся руку Волегова своими пухленькими ладошками. — Вы — наш арьергард, как говорится! Прикрываете тылы, как молодой Суворов! Вы, кстати, знаете, что этот полководец тоже не носил зимой теплой одежды? Советую подумать об этом на досуге!

«Вот старый жучила, всё-таки тот ролик в интернете — его рук дело!» — подумал Волегов, всё так же широко улыбаясь Слотвицкому на прощание. Видео с заголовком «Кандидат в депутаты бежит голым» появилось на бесплатном видеохостинге пару дней назад, и мгновенно разошелся по сети. Кто-то снял Сергея на лесной лыжне, одетого в майку и пляжные шорты. Однако большинство комментариев были положительными: мол, молодец, кандидат, спортом занимается! Наверняка поработали партийные пиарщики...

Покинув кабинет руководителя предвыборного штаба, Сергей вышел из партийного гнезда и направился к автомобильной стоянке. Здесь его ждал министерский водитель — топтался у черного BMW, критически осматривая колеса.

— Всё в порядке? — спросил Волегов.

— Шеф, вот не холодно же вам! — привычно изумился водитель, глядя на короткие рукава его рубашки и пиджак, который Сергей держал в руках. И пояснил, кивнув на заднее колесо: — Показалось, что стучит. Я думал, на шиномонтажке колесо не протянули. Решил осмотреть, на всякий пожарный.

— Всё купил? — спросил Волегов, когда они сели в машину.

— Да, по списку, — кивнул водитель. — Только натурального яблочного сока не было, я вишневым взял.

— Хорошо. Давай в клинику, — приказал Сергей, откидываясь на спинку заднего сидения.

Машина заурчала, мягко тронулась с места. Волегов смотрел на запорошенную снегом Москву. «До весны всего две недели, — расслабленно размышлял он. — Весной мы с Анютой познакомились... Нужно придумать, что ей подарить на годовщину. Может, картину купить? Она же собирает этого... Моне? Или Мане? Никак не запомню...»

Погруженный в свои мысли, он не заметил, как следом за его машиной двинулась другая — неприметный серый «логан» с тонированными стеклами. И пока министерский BMW летел по московским улицам, недовольно взрыкивая на перекрестках и лавируя в пробках, «хвост» сохранял тот же курс. И тоже остановился на стоянке возле клиники, в которой лежала Наталья с дочерью. Сергей вытащил из багажника битком набитый пакет из супермаркета и направился к дверям.

Чернявый мужчина средних лет, сидевший за рулем «логана», наполовину опустил стекло. И, глядя в спину Волегову, поднимавшемуся по серым гранитным ступеням, пробормотал:

— Иди-иди, щегол... К кошке в лапы.

*лид-абзац — первый абзац статьи, обрисовывающий ее тему и создающий интригу; обычно выделяется жирным шрифтом.

**A la gar comme a la gar! (фр.) — На войне, как на войне!

Устало щурясь, Наталья добрела до двери палаты, и швырнула использованный памперс в ярко-голубой пакет, застилавший внутренности черной урны. Он шлепнулся на кучку мусора — таких же, недобро пахнущих, памперсов, потемневшей фруктовой кожуры и прозрачных контейнеров, перемазанных майонезом. «Элитная клиника, мать вашу! Мусор вынести не могут!» — возмущенная мысль лишь добавила горечи. И комфортабельная одноместная палата вновь показалась Наталье хлебом, в котором ее, как бессловесную скотину, держит разжиревший от лени хозяин.

В коридоре послышалось громкое: «То-оолько-оо рюмка водки на столе-ее...», а потом сюсюкающий женский голос:

— Да, медвежонок! Хорошо, что ты мне сейчас позвонил, то я на процедуры...

«Надеюсь, медвежонок попал в капкан, или нашел себе другую медведицу!», — мрачно подумала Наталья, плотнее прикрывая дверь. Прокралась к Викиной люльке, заглянула с тревогой — не проснулась ли дочь? Потому что если проснулась, то Наталье, и без того уставшей, предстояли еще два часа блуждания с орущим свертком на руках. А руки уже отваливались, и после трех бессонных ночей нервы были — хоть мочало плети, так истрепаны...

Но дочка спала, и Куницына, облегченно выдохнув, прилегла на кровать. Тоже попыталась уснуть, пока ребенок дал возможность набраться сил. А дремота не шла, и, промучившись минут десять, она скосила глаза в сторону тумбочки, на которой стоял прозрачный бутылек с плоскими желтыми таблетками. Поколебавшись, протянула руку, вытащила ногтями плотно пригнанную пластиковую пробку. Вытрясла на ладонь пару таблеток, и, поморщившись, проглотила их.

Это была обычная валерьянка, и взвинченной донельзя Наталье она совершенно не помогала. Но врач разрешил только такое успокоительное, потому что более сильный препарат мог повлиять на здоровье Виктории — ведь она все еще была на грудном вскармливании. Теперь, когда Куницына перестала принимать «Бромокриптин», молока хватало на три полноценных кормления. И Вика стала немного лучше спать — но, преимущественно, днем. А ночью, когда Наталье смертельно хотелось лечь и вырубиться, дитя гуляло, требуя беспрестанного внимания.

«Ничего, нужно потерпеть, — уговаривала она себя, — малыши вроде бы только до трех месяцев много плачут, потом подольше начинают спать. Меньше полутора месяцев осталось... Потерплю, я ведь поклялась себе, что буду хорошей матерью. Но, когда нас выпишут, всё-таки найму няню. Одной с ребенком очень тяжело. Другим ведь мужья помогают, поэтому без нянь обходятся. А от Волегова дождешься, как же! Всё к жене своей бежит, будто приворожила...»

Укол ревности был особенно болезненным сейчас, когда Наталья чувствовала себя измотанной до предела. «Что со мной не так? Чем я хуже ее?» — эти вопросы и без того мучили каждый раз, когда Волегов заговаривал об Анноте, или же сама Наталья вспоминала о его жене. Но раньше ей помогало ощущение собственного превосходства и уверенность в том, что Сергей не выдержит, уйдет из семьи — как тысячи мужчин уходили до него, и будут уходить после. А теперь... Теперь мысль о сопернице подняла в ней волну злости, бессильной злости, которая требовала выхода. «А если он не бросит свою инвалидку? Я что,

так и буду всю жизнь одна? Вытирать отрыжку и менять подгузники, пока они живут в свое удовольствие? — Наталья сжала зубы, еле сдерживая ярость. — Где справедливость? Почему эта получает всё — и мужика, и дом, и деньги? А я, мать его ребенка, должна прятаться, как преступница? Ведь это он виноват! Он гулял от нее, он заделал ребенка на стороне!»

Она уткнулась лицом в больничную подушку. Наволочка слабо пахла чем-то цветочным, раздражающе-сладким. И от этого запаха Наталью согнуло вдвое. Сжавший живот и ребра спазм плеснул в лицо горячей кровью, дал изнутри по вискам — и ее чуть не вывернуло от ненависти.

«Что в ней такого? Я должна понять!»

Она всхлипнула, потянула с тумбочки смартфон. Экран казался мутным, и она моргнула несколько раз, прогоняя остатки слез. Набрала адрес нужного сайта — о, за это время она выучила его наизусть! И быстро, воровато — будто делала что-то постыдное — принялась листать фотографии, которые видела, наверное, в тысячный раз. Вот Анюта в жюри какого-то детского конкурса. Она же — на сцене, в окружении таких же колясочников. На какой-то премьере, возле белой театральной колонны. «Ну да, до пояса она красивая! А если в общем — он что, слепой? — раздраженно думала Наталья. — И это платье на ней, как на крестьянке!»

Поди, пойми их, этих мужиков...

Она зашла на главную страницу сайта. С прошлого раза здесь кое-что изменилось: теперь главная новость рассказывала о предстоящей поездке балетной труппы «Паритет» в Германию. Там ожидался аншлаг — сообщалось, что Берлинский театр уже распродал все билеты. И Наталья в который раз удивилась: «Ну кто ходит смотреть на этот недобалет? А ведь Волегова со своими инвалидами всю Европу объездила, по России гастролировала, и постоянно собирала полные залы! Извращение какое-то...» — фыркнула Наталья. И, от нечего делать, начала просматривать другие страницы сайта.

В разделе «Контакты» были указаны два телефона: Анны Александровны Волеговой и главного администратора труппы, Элины Викторовны Совки. А ниже была форма для отправки писем, над которым змеилось призывное: «Напишите нам, и мы обязательно Вам ответим!» Знал бы Волегов, как у Натальи чесались руки отправить его жене письмецо! И написать там всё — и про его леваки, и про ребенка... Сразу бы, поди, муженька из дома выперла!

«Но если я такое устрою, Серёга меня просто грохнет. — Эта трусливая мысль каждый раз останавливала ее. — Отберет ребенка, перестанет давать деньги... Нет уж, лучше подождать. Мало ли, что может случиться...»

Из люльки слышалось тоненькое, жалобное хныканье, и Наталья отложила смартфон. Встала и потянулась к ребенку, взяла малышку на руки.

— Ты проснулась? Масечка моя проснулась? — она старалась говорить ласково, подражая сюсюкающим мамашкам, которых не раз наблюдала на улицах и в магазинах. Ей казалось, что вот такая показная нежность обманет ребенка — да и ее саму научит нежности истинной... Наталья прижала дочку к себе, и малышка притихла, уставилась на маму мутно-синими глазницами.

— Моя лапушка кушать хочет? Кушаньки хочет мой зайченочек? — певуче продолжала Наталья, усаживаясь на кровать и расстегивая верхние пуговицы пижамы. — Сейчас мы покушаем, моя сладкая. Сейчас, моя девочка...

— Привет, — шепнул Волегов, без стука входя в палату. На бывшую любовницу он

смотрел удивленно, и даже обрадовано — раньше не слышал, чтобы она так ласково разговаривала с дочкой. — Не спит?

Наталья покачала головой, подставляя щеку для дежурного поцелуя. Дала грудь ребенку и покосилась на пакет, принесенный Волеговым.

— Продукты, — коротко кивнул он, и склонился к дочери. Вика сосредоточенно сосала грудь, прищурив глазки. И Наталья снова ощутила себя обыкновенной дойной коровой, которую держат только для того, чтобы выкормить породистого теленка. А Волегов взял крохотную ручку дочери, почтительно поцеловал ее и прошептал:

— Привет, принцесса!

Вика сжала его палец, потащила к себе — и Наталья почувствовала, как Сергей напрягся, когда его рука оказалась в опасной близости от ее обнаженной груди. Он осторожно высвободился и отошел к мягкому зеленому креслу, на высокую спинку которого было небрежно брошено детское одеяльце. Взял его, начал складывать, стараясь не смотреть в сторону бывшей любовницы. А она искоса наблюдала за ним, пытаясь угадать, в каком настроении Волегов. Хотелось снова заговорить об их будущем. А если снова попытается заткнуть ее, тогда наорать, всучить ему ребенка и уйти — пусть поймет, что без нее не справится! Но она лишь ниже наклонила голову и крепче сжала зубы. Не время еще для истерик, не время...

— Как у вас вообще дела? — спросил он, когда Виктория расправилась с ужином и Наталья передала ее в руки отца.

— Ну как... ревём! — бросила она. — Опять почти всю ночь не спали. Я и животик ей гладила, и столбиком держала — толку ноль! Сутками ее на руках ношу... Но я же мама, стерплю.

И снова в его взгляде мелькнуло уважение. Это немного успокоило Наталью. Хоть какая-то тема была их общей — вот и надо на нее давить.

— Серёж, ты бы заезжал к нам почаще, Викулька у тебя на руках всегда успокаивается, — просительно сказала она. — Посмотри, ведь не пикнула, пока ты здесь. А врач сказал, что ей вредно много кричать, сердечко опять может не выдержать. Да и на легкие большая нагрузка.

Это был пробный шар, и ей было немного стыдно за то, что она использует болезнь дочери для того, чтобы манипулировать Волеговым. «Всё для твоего же блага. Ты же хочешь, чтобы папа стал нашим», — мысленно сказала она дочке, успокаивая саму себя. И шар попал в цель: Сергей задумался, глянул виновато.

— Я постараюсь, — пообещал он. — Занят сейчас очень сильно, ты же знаешь. Но скоро жена на гастроли уедет, смогу приезжать на всю ночь. Попросим в палату вторую кровать поставить.

— Спасибо, — кротко сказала Наталья. — Вике так полегче будет.

Девочка закряхтела, поднатужилась и замерла, уставившись прямо перед собой. Сергей рассмеялся:

— Похоже, ее уже с облегчением поздравить можно! Давай перепеленаем.

Он положил дочку на белый столик и принялся разматывать пеленки. «Не брезгует, как другие папашки», — отметила Наталья, вытаскивая из пачки свежий памперс и передавая его Волегову. Тот уже снял использованный, обтер ребенка влажными салфетками. Ловко надел новый и распрямился, любуясь дочерью. Вновь склонился в порыве чувств, взял маленькую ножку, поцеловал красную пяточку.

— Смотри, какие у нее пальчики маленькие — как горошинки! — восхищенно шепнул он. — А лапка — розовая, крохотная, и такая красивая!

Наталья тоже наклонилась, посмотрела на дочкину ступню — кривоватую, казавшуюся ей недоразвитой из-за своего небольшого размера. Нога как нога. Красная и морщинистая. И снова ощутила свою женскую ущербность — ну почему, почему ей не дано видеть то, что видят в детях другие? Что за душевная слепота, от которой она никак не найдет лекарство?

Сергей надел на дочку ползунки, застегнул крохотные пуговички. Пеленать не стал — в палате было жарковато. Глянул на часы, охнул:

— Слушай, мне бежать пора! Я завтра с утра заеду и постараюсь вечер освободить, чтобы побыть подольше. Не скучайте!

Он передал ребенка Наталье, собираясь откланяться. Но ей не хотелось отпускать его прямо сейчас.

— Мы проводим, — улыбнулась она и взглянула на дочку, — что, моя хорошая, проводим нашего папульку?

Вика повернула головку и задергала ножками, будто побежала на месте.

— Ладно, ладно! — не сдержал улыбки Волегов. — Пойдемте.

Они прошли через широкий коридор, отделанный под кирпич, спустились по лестнице, покрытой темно-бордовой дорожкой, и остановились в холле. Здесь на мягких диванчиках сидели пациенты и посетители. Казалось, никто не обратил внимания ни на Волегова, ни на Наталью с дочкой.

— Ну что, пока? До встречи? — помахал рукой Сергей.

— Пока, папа! Пока-пока! — ответила Наталья за Вику, и, подняв маленькую ручку дочери, помахала ею в ответ.

А сидевший поодаль чернявый мужчина средних лет удовлетворенно хмыкнул, глядя на них через камеру айфона. Хорошие получатся снимки. Да и видео шеф найдет куда пристроить.

Элина Совка вела машину уверенно, будто всю жизнь колесила по немецким дорогам — лишь иногда бросала быстрый взгляд на экран навигатора, да покачивала головой в такт «Вальсу цветов» Штрауса, приглушенно звучащему из колонок. Анюта, надежно пристегнутая к заднему сиденью, притворялась спящей — ей сейчас ни с кем не хотелось разговаривать. Но сама украдкой поглядывала в окно сквозь полуопущенные ресницы.

Живая изгородь, бежавшая вдоль дороги, пестрела зелеными каплями набухающих почек — будто брызнул с неба изумрудный дождик, повис на растопыренных, сцепившихся друг с другом, ветках, растекаясь по земле, оживив сухие после зимы травинки. В Германию весна уже пришла — немного опередив пунктуальный календарный март. А ведь еще сегодняшним утром, глядя на Россию с высоты, Анюта видела под крыльями самолета только бело-серый замороженный пейзаж.

Каждый раз от этих, почти волшебных в своей стремительности, перемен в ней рождалось по-детски радостное восхищение. Ведь это возможно: перенестись из зимы в весну, как в сказке! И так просто — нужно лишь заказать билет, сесть в самолет и оказаться там, где хочешь. Вот это свобода. Настоящая свобода!

«Ой ли? — скептически шепнул внутренний голос. — Такая уж настоящая? А сотрудник аэропорта, который подхватил тебя у трапа, как сломанную куклу, и на руках затащил в самолет — он тоже так думает? А мама, которая полчаса назад помогла тебе пересесть из коляски в машину, и подвинула твои ноги ровнее — будто, драя полы, пару сапог переставила — она тоже считает, что ты свободна? А Серёжа, который утром собирал в специальную сумку лекарства, шприцы, компрессионные чулки, набивая этот твой патронташ, с помощью которого ты пытаешься победить болезнь?... Уж он-то лучше других понимает, что патроны в нем — холостые, и гранаты — учебные, которыми можно только напугать противника, а не выиграть войну. Свобода, говоришь? Да ты в окружении, детка. Ты в осаде. Повезло хоть в том, что сумела окопаться на этой безымянной высоте, как-то приспособиться к жизни. И враг твой не добивает тебя».

Эти мысли ранили, раздражали своей бессмысленной откровенностью, и Анюта уставилась в окно взятой напрокат «Ауди», пытаясь отвлечься от них. Двухэтажные домики радовали глаз своей бюргерской добротностью. Белые шпакетины аккуратных заборчиков стояли строго по линеечке — ни одна не покосилась, не ободралась. Вдоль домов, по мощеной камнем дорожке, медленно ехала на велосипеде пожилая сухощавая фрау, везла в прицепленной к рулю корзинке длинный подрумяненный батон. В одном из дворов — гордые флаги идеальной хозяйки! — парусилось выстиранное бельё. Анюта будто ощутила его холодный, влажно-душистый запах — и улыбнулась, замерла от удовольствия. Тоже мечтала когда-то, что будет у них с Серёжей свой дом, и она, настирав-накрутив целый таз белоснежных, исходящих паром, простыней, вынесет его поутру на улицу. И, ёжась от весеннего ветерка, станет развешивать бельё на протянутых меж деревьями веревках, ловко срывая прищепки с лацкана своего халатика...

Не сбылось.

Сбудется ли когда-нибудь?

На обочине показался щит с надписью «Leipzig 150 км». Анюта проводила его взглядом, облегченно выдохнула — у нее есть еще пара часов. Пара часов для того, чтобы перестать

бояться.

Собираясь в немецкую клинику, она честно пыталась думать о хорошем. О долгих пробежках по густо-зеленому, пахнущему хвоей и земляникой, лесу. Кого-то бы эти километры вымотали, лишили сил — а она любила загнать себя до стука в висках, до горячего пота. Любила устать посреди пронизанного солнечными лучами, поющего попличьи, бора. И отправиться домой, сойдя с тропинки — прямо по мягкой лесной подстилке, освежаясь ягодами и замирая пред ровными стволами молодых сосен, чтобы поглядеть, как взбираются друг за другом к смоляным каплям сосредоточенные трудяги-муравьи... А коньки? Ей так нравилось скользить по льду, поглядывая на стальные, чуть выступающие вперед носы лезвий! И чувствовать, как они режут гладкий холод, и немножко бояться упасть, но быть уверенной, что ее натренированное балетное тело сможет сохранить равновесие.

Если ей помогут в Лейпциге, она сможет ходить, а не ездить по своему дому. Принимать душ стоя — всегда так любила. И развешивать то бельё.

А еще — гулять под руку с Серёжей. Сама ходить по магазинам, выбирая всё, что понравится. Носить платья, которые подчеркивают фигуру. И уставать от каблуков — а не цеплять на ноги туфли, как декоративное украшение...

И боли. Боли, может быть, пройдут.

«А, может быть, и нет, — урезонила она себя. — Травмы слишком серьезные. Последствия будут всю жизнь. Да и вообще... вряд ли меня смогут вылечить. А если нет — то и ладно, я уже привыкла».

И ощутила стыд от того, что последняя мысль снова принесла облегчение — как и все те idiotские, пораженческие мысли, которые лезли ей в голову с тех пор, как мама позвала ее в Лейпциг. И о которых она никому не могла рассказать.

В машине звучала «Зима» Антонио Вивальди — и маявшаяся тревогой скрипка вторила настроению Анюты.

Сейчас, по дороге в клинику, на нее с новой силой накатило отчаяние. Страстное желание выздороветь теряло силу, и на его место пробирався страх, нелепый страх перед будущей — как говорили, «нормальной» — жизнью.

«Ведь всё же рухнет! — билось внутри нее. — Если я снова начну ходить — кому буду нужна, кроме своей семьи?»

Думать так — безумие, она понимала. Ни один человек в здравом уме не откажется выбраться из инвалидной коляски.

Но Анюта уже свыклась с этой, криво сросшейся после травмы, жизнью. Обустроила ее, как могла. Не желая прощаться с балетом, объединила других инвалидов, научив их танцу — и всё-таки осталась балериной. Организовала труппу, которая, став всемирно известной, выходила на главные сцены Европы и Азии — и воплотила свою мечту о славе. Много лет работала, чтобы доказать: инвалид может вести полноценную жизнь — и доказала это не только другим, но и самой себе.

Она вывернула свой мир наизнанку, веря, что обратного пути нет.

А теперь ей предлагают вернуться.

Но куда? В классический балет? Кому она там нужна? Ведь годы уже не те, и прежнюю форму не восстановить, как ни старайся. Так что прямой ей не быть — а на меньшее она не согласна.

В свой театр? Явиться на своих двоих ко всем этим людям? К потерявшей руку

Василине? К безногому Виктору Матвиенко? К слепой пианистке Кате? К колясочникам — Оксане, Лене, Петру Тимофеевичу и остальным — с которыми прежде была на равных? Нет, они будут поздравлять, и кто-то даже искренне порадует за нее, и начнет надеяться на лучшее с новой силой... А большинство станет завидовать. И злиться на нее. За то, что нашла деньги на лечение. За то, что ее диагноз на поверку оказался не таким тяжелым. Ведь отнятая рука не отрастет, а глаза не пересадишь...

«Я буду среди них, как предатель. Будто собрала их вокруг себя — а потом сбежала, — тягостная мысль давила на грудь, отравляла душу. — А ещё я лишу себя сцены. Потому что этот театр — для инвалидов. Но я же не смогу без танца! Я же без него... никто!»

Горечь ее мыслей резонировала с жалобными всхлипами музыки Вивальди — та тоже звала на помощь. Тонкие скрипичные нервы напряглись до предела — и мелодия забилась в них, словно пойманная в силки. Будто сердце, рвущееся в предсмертной лихорадке.

А если... повернуть обратно?

Отказаться?

Сбежать?

Она нервно вздернула голову, будто ища выход — и вдруг увидела в зеркале встревоженные глаза матери. Застыла, поняв — та наблюдает за ней, уже какое-то время.

— Ты что? — спросила Элина. — Дочура, тебе плохо?

И так сильна была любовь в этом материнском взгляде, что Анюта не выдержала — зарыдала, забилась, выплескивая обрывки фраз:

— Мамочка... Давай повернем... Потому что я не могу...

Совка быстро свернула на обочину, выскочила из машины и открыла заднюю дверь.

— Дочка, дочка, ну ты что? Что случилось? — она схватила Анютины ладони, принялась растирать их. А та давилась рыданиями, задыхалась от всхлипов, и только повторяла, пьяно мотая головой:

— Мамочка, нет! Не поедем! Я не могу, не могу!

Быстро открыв замки ремней, Элина освободила грудь дочери, подвинула ее к краю сиденья — поближе к воздуху:

— Доча, дыши глубоко! — скомандовала она, сама едва не плача. — Смотри на меня! Смотри! Успокаивайся! Девочка моя, ну ты что?

И Анюта взвыла, выплескивая главное:

— Не надо мне ничего, мама. Я устала... Я хочу... сдать.

Во взгляде матери мелькнуло облегчение.

— Господи! Ты меня так напугала! — с чувством проговорила она. — Анька, да как захочешь, так и будет!

Анюта всхлипывала, вздрагивая плечами. Заговорила с трудом — будто признаваясь в чем-то гадком:

— Мам, я просто думаю всё время — а если операция будет удачной, как я потом? Мне же не двадцать пять, у меня сил не хватит новую жизнь построить! И чем заняться — я просто не представляю! На что я буду годна? Цветочки дома поливать? Самостоятельно мыть полы? А профессия? А балет мой? А люди?...

— Анютка, доча, ну ты что! — всплеснула руками Совка. — Да ты же умница у меня, и мы тебя не бросим, поможем! Ведь если ножки твои опять ходить начнут, это же столько возможностей сразу откроется! И работа эта — да тьфу на нее, другая будет! Можешь школу танца открыть, можешь консультировать...

— Не получится, мама! — выкрикнула Аня. — Я выдохлась, понимаешь? Я не верю, что смогу что-то ещё! И больница... Это же снова борьба, мама! Нет, у меня сил не хватит...

Элина прижала ее голову к своей груди, погладила по волосам — как в детстве давала выплакаться, утихнуть.

— Дочка, послушай. Я всегда удивлялась, какая ты сильная. И гордилась тобой. И сейчас горжусь не меньше. Потому что знаю — ты поплачешь, посомневаешься, а потом сделаешь то, что нужно. А нужно вставать на ноги, доча. Иначе получится, что ты дала обстоятельствам себя победить. Даже не попытавшись использовать свой шанс на победу.

Аня отстранилась, посмотрела на нее, утирая мокрое лицо ладонями. А Элина продолжила:

— Я понимаю, ты столько врачей прошла, что однажды просто устала надеяться. И решила, что если жить суждено так, в коляске — значит, ты заставишь эту коляску танцевать. Решила — сделала, молодец. Теперь ты знаешь, что смогла. Но надо идти дальше.

— Куда, мама? Мне кажется, дальше дороги нет... — умоляюще глянула Аня.

— Есть, — мотнула головой Элина. — Пока есть жизнь, есть и дороги. Знаешь, когда ты разбилась, я так пожалела, что отдала тебя в балет... Видела, как ты мучаешься без сцены. И дико радовалась, когда ты сумела туда вернуться. А теперь снова жалею. Потому что вижу — ты считаешь себя нужной только когда танцуешь. И никак не поймешь, что ты — сама по себе ценность! Независимо от того, надета на тебе балетная пачка, или нет. Ведь мы с папой мечтали о ребенке не потому, что надеялись вырастить великую балерину. И Сергей полюбил тебя не за то, что ты блистала на сцене. И твои друзья, коллеги — они ведь в первую очередь ценят в тебе человеческие качества, а не чувство ритма и умение правильно ставить руки во вторую позицию! Неужели ты этого не видишь?

Аня отвернулась, опустила глаза.

— Доча, знаешь, что я думаю? — печально сказала Совка. — Просто у тебя так сложилось, что сначала балет стал для тебя страстью и целью — а потом, после травмы, способом вернуться в прежнюю жизнь. Ты продолжила танцевать потому, что доказать хотела: ничего не изменилось, ты такая же, как до больницы. Доказать, что ты не потеряла себя, и не дала жизни что-то у себя отобрать... Но на самом деле она отобрала. И ты это знаешь. А теперь боишься, что она и последнюю надежду отберет. Ведь эта клиника сейчас — действительно последняя надежда.

Я сделаю, как ты хочешь. Это твоя жизнь, и вмешиваться в нее я никогда не буду, ты знаешь. Могу только помочь. Выбирай сама: или мы едем дальше, и ты пытаешься взять реванш. Или поворачиваем назад и больше никогда не возвращаемся к этой теме. Но в этом случае ты рано или поздно поймешь, что сама лишила себя надежды. И не простишь себе. Потому что ты боец, Аня. И это не зависит от того, в коляске ты, или нет.

Аня задумчиво смотрела вдаль. Там, на окраине перепаханного под зиму поля, темнела полоска леса — как стена, за которой не видно ничего. А, может быть, там дома, в которых люди топят печи и месят тесто для пасхальных пряников. Может быть, там рельсы, по которым идет поезд. Или озеро, по берегу которого бредет одинокий рыбак.

Никогда не знаешь, что впереди.

Она снова попыталась представить себя без инвалидной коляски. Но не увидела ничего — как за этим лесом, скрывавшим от нее другую жизнь.

А мама мягко сказала:

— Дочка, я очень тебя люблю. И поэтому всегда старалась быть с тобой честной. Так

что скажу: да, примой в балете тебе уже не стать. И сцена, скорее всего, перестанет быть твоей жизнью. Но если тебе нравится танцевать, просто танцуй! Да хоть дома на кухне! Или езжайте с Сергеем в Испанию, ты же мне рассказывала, как вы по вечерам ходили в уличные ресторанчики и танцевали там танго! Или здесь, в Москве, запишись в танцевальный клуб, в конце концов! А остальное... Знаешь, всё образуется. И смысл жизни найдется. Так всегда — всё устраивается в итоге. Просто дай этому случиться.

Помедлив, Аня кивнула. И молча потянула на себя автомобильный ремень.

— Ты не пожалеешь, — сказала мама.

Через три часа Анна Волегова подписала согласие на операцию. Врач Фридрих Штайнер запланировал ее через две недели.

В партийный штаб Волегова вызвали рано утром. Позвонила секретарша Слотвицкого, что было первой странностью — обычно Горе Горевич набирал ему сам, и, витиевато извинившись за беспокойство, учтиво приглашал к себе «на рюмочку кофейка». Секретарша попросила приехать при первой возможности, и в голосе её, вместо привычного раболепия, явственно чувствовалась надменность — что было второй странностью. Сергей, наскоро побрился и съел наспех сляпанный бутерброд, запивая его прямо из молочного пакета. Будь Анюта дома, ох и влетело бы ему! Но она еще не вернулась из Германии — и сейчас, по ряду причин, это было даже к лучшему. Хотя он скучал по ней, жутко скучал...

Волегов постарался не думать об этом — ну что он, как пацан, в самом деле? Или как собака Хатико? Приедет, всего-то три дня осталось... Он рванул в штаб, планируя по уши загрузить себя работой, и даже радуясь тому, что его выдернули из кровати ни свет, ни заря.

Но в штабе случилась и третья странность. Проходя через холл, он увидел на открытой галерее второго этажа пиар-консультанта Валентину — ту самую, что руководила соцопросами — и поздоровался с ней. Но она лишь сухо кивнула в ответ и прошмыгнула по галерее черным нетопырем. Хотя обычно улыбалась во весь рот, демонстрируя свои кривые зубы, и снимала перед ним свои старомодные очки — смущенно, но и почтительно, как шляпу.

Волегову снова стало не по себе, но он, решительно отогнав сомнения, взбежал на второй этаж и вошел в кабинет к Слотвицкому. Горе Горевич развернулся к нему от окна и, коротко кивнув, пожал протянутую руку Волегова. А потом сказал:

— Знаете, дражайший Сергей Ольгердович, есть такой интересный факт. Веке в шестнадцатом — ну, или в начале семнадцатого, не суть — в Европе изобрели удивительные часы. В них было двенадцать сосудов со специями, разными, конечно. И каждый час открывался определенный сосуд. Так что время можно было узнавать, пробуя специи на вкус. Таким образом, даже в темноте часы открывали своему хозяину секрет времени.

Волегов молчал, не понимая, зачем Горе Горевич выдернул его в штаб — чтобы сообщить столь ценную информацию?

— Так вот, к чему я это, — продолжил Слотвицкий. — А к тому, что в политике любой открытый секрет становится оружием.

Он перебрался за свой стол, по-прежнему не предлагая Волегову садиться. Посмотрел на него снизу вверх, покачиваясь в кресле. И вкрадчиво спросил:

— У вас есть секреты, уважаемый Сергей Ольгердович?

Волегов крепко сжал челюсти. Ему была хорошо известна эта манера Горе Горевича играть с противником, как кошка, собирающаяся придушить мышь. Как-то наблюдал такую игру, когда Слотвицкий увольнял за двурушничество своего зама — тот, как ни пытался храбриться, в итоге сбежал из штаба, перепуганный до смерти. Но то, что теперь Слотвицкий решил запустить когти в его шкуру, слегка удивило Волегова. Он не работал на конкурентов, держал язык за зубами, честно выполнял партийные поручения — что еще нужно? Или... может быть, они узнали о Вике? Сергей почувствовал, как под мышками выступает пот, и невольно ослабил узел галстука.

— Так у вас есть от нас секреты?

Голос Слотвицкого стал требовательным, жестким — и следа не осталось от

привычного его мурлыкания. «Признаться? А вдруг он о чем-то другом, не о Вике? Или все равно рассказать, повиниться... придумать что-то в свое оправдание...» — Волегов лихорадочно перебирал варианты. А Горе Гореви́ч смотрел на него остановившимся змеиным взглядом, и Сергей вдруг заметил, что в его левом глазу краснеет звездочка лопнувшего сосуда, и склеры у него желтые, старческие... Как у обычного человека, который много переживает, мало спит, а возраст уже не тот и не то здоровье...

— Я думаю, это уже не секрет, — сказал Волегов и, не спросив, взгромоздился на стул для посетителей, забросил ногу на ногу. — У меня на стороне есть ребенок. Дочь. Она родилась недавно. Я узнал после того, как вступил в вашу партию. Каюсь, не сказал сразу. Но, если честно, думал, что смысла нет — я ведь технический кандидат, особого внимания не привлекаю...

За последние недели он так поднаторел в искусстве вранья, что даже не переживал о возможном проколе. И Горе Гореви́ч поверил, глянул с отеческим укором, но вздохнул сочувственно. И похвалил:

— Вот молодец, Сергей Ольгердович, что признался. Признание — оно ведь вину облегчает. Это даже в уголовном кодексе написано.

— Рад, что вы поняли, — пристыжено кивнул Волегов. — Но как узнали?

— А-а, вы же прессу еще не видели... — понимающе протянул Слотвицкий. — Да конкуренты наши постарались! Вот, извольте газетку. Пригодится мусорное ведро застелить. Или ваша жена его не застилает? Хотя нет, жене это видеть нельзя, жён такие вещи больше, чем избирателей, возмущают...

Нервно сглотнув, Волегов взял протянутую через стол газету. На всю первую полосу распласталась статья, подписанная их главным конкурентом, Леонидом Кичатовым. Под многообещающим заголовком: «Вранью да небылицам — короткий век!» шрифтом помельче змеилось: «Кандидат от партии, ратующей за семейные ценности, завел любовницу и внебрачного ребенка». Большая иллюстрация: Волегова и Наталью с малышкой фотограф поймал в больничном холле. Фото поменьше — Вика с поднятой ручкой, которой ему на прощанье махала Наталья. И подпись: «Папа, пока!» — доверчиво говорит ребенок своему горе-отцу, еще не зная, что родительская любовь покинула Сергея Волегова вместе с совестью». Статья была написана в том же бредовом стиле — явный расчет на недалеких пенсионеров и фанатов «шокирующих» телевизионных сплетен, которые и составляют ядро избирателей. И наезжали в ней не на самого Волегова, а на партию «Звезда демократии». Повод для удара был выбран грамотно: действительно, в партийной программе пункт «укрепление семейных ценностей» значился в первой пятерке приоритетных направлений.

Сердце ухнуло, забилося напряженными рывками, стуча в окаменевшую грудь. Холодная, мерзкая тошнота растеклась по телу. «Теперь Анюта узнает. Это конец. Из партии тоже попрут... Но главное — Анюта уйдет. Уйдет», — тупо повторял про себя Волегов. Напряжение росло, становясь невыносимым, короткими толчками выдавливало из него жизнь — а потом в нем будто лопнула натянутая до предела струна, и всё обрушилось, погребая под обломками его мечты и цели. Странная опустошенность появилась внутри. Вдруг всплыл вопрос — что он вообще делает в кабинете Слотвицкого? Партия, выборы, власть — каким боком это к нему, Сергею Волегову? Как его вообще сюда занесло?

Звуки стал приглушенными — телефонная трель в приемной, шум машин за окном... Он скользнул глазами по стенам и потолку, будто видел их впервые: дорогие шелковые обои, изящная лепнина по периметру... Зацепился взглядом за стильную люстру-таблетку,

висевшую на потолке. В ней, включенной по случаю раннего, и по-зимнему темного, времени, он увидел мушиное кладбище. И горько усмехнулся.

Эта политика и из него сделала мертвую муху.

Машинально и медленно, как лунатик, Волегов тщательно сложил газету, спрятал во внутренний карман пиджака. И поднял на Слотвицкого холодный, равнодушный взгляд.

— И правильно, что не волнуетесь, Сергей Ольгердович! — неожиданно возликовал тот. — Выборы — это схватка. Они выиграли сражение — мы же используем эту газетенку, чтобы выиграть войну! Кстати, указание о чистке я уже дал, так что не беспокойтесь...

Волегов потрясенно выдохнул. Слотвицкий что, решил ему помочь? Вместо того, чтобы дать пинка, а потом еще и жизнь испортить? Ведь «чисткой» в штабе называли изъятие вражеских газет и листовок из ящиков многоквартирных домов, и поручали ее проверенным людям. Стоила такая работа довольно недешево, но ящики вычищались на совесть. В итоге к избирателям попадало процента три от всего тиража. «Вряд ли Анюта или кто-то из ее знакомых увидит газету», — осознал Сергей и шире раскрыл глаза, едва веря в удачу. Накатившее облегчение прокатилось по телу светлой волной. Каждая клеточка тела будто воскресла.

— Кстати, про то, что ребенку предстоит операция на сердце — правда? — прищурившись, уточнил Слотвицкий. Сергей закивал, поспешил ответить:

— Да, завтра будут оперировать. Врачи уверяют, что опасности нет.

— Вот и славно! — расчувствовался Горе Горович. — Славно же, мой дорогой Сергей Ольгердович! Ведь эта такая несправедливость, когда детишки болеют! Надо лечить, надо!

Волегов всей шкурой ощутил опасность. При всем желании не мог поверить, что эта холодная жаба Слотвицкий искренне переживает за здоровье чужого ребенка. Здесь явно крылось что-то еще.

А Горе Горович удовлетворенно сложил руки на животе, покрутил большими пальцами. И радостно объявил:

— Рабочая версия будет такая: кандидат в депутаты Волегов узнал, что матери-одиночке нужны деньги на операцию для маленькой дочки. И поддержал семью избирателей в трудную минуту... Кстати, ваша... ммм... дама, случайно, не в нашем округе прописана? Нет? Очень жаль, очень... Ну, придумаем, что с этим сделать... так вот! Кандидат поддержал семью избирателей, не афишируя своих добрых дел. Не крича о них на каждом углу, как поступает популист Кичатов! Соответственно, нужно интервью с матерью ребенка. Врачебное заключение опубликуем, прессы нагоним... сделаем из этого событие! Договоритесь там... ну, вы поняли, с вашей этой... Она же не будет против невинной мистификации? Нет? Ну, вот и замечательно! А всё остальное мы на себя возьмем. Вы у нас еще прославитесь, Сергей Ольгердович! Вы у нас станете вторым Робин Гудом!

«И так же, как Робин Гуд, умру от кровопотери, — скептически подумал Волегов. — Ведь за эту помощь Слотвицкий выпьет из меня все соки». Впрочем, сейчас это мало волновало его — ради Анюты можно пойти и не на такое.

— Да, и еще... — будто вспомнил Горе Горович. — У нас ведь через год следующие выборы, дражайший Сергей Ольгердович! И мы хотели выдвинуть в кандидаты вас. Поэтому найдите возможность отправить эту женщину и ее ребенка куда-нибудь подальше. На курорт какой-нибудь... Вот помните, в советские времена, были путевки в санатории? Так ведь и назывались: «Мать и дитя».

Волегов напряженно сглотнул. Всё происходит так, как он планировал, когда

соглашался вступить в эту партию. Его действительно ждет кресло депутата. А это вершина, за которую стоит бороться. Став политиком, он приобретет новый вес, перейдет в высшую касту. Он всем покажет, на что способен!

...«Бестолковый, глаза б мои тебя не видели! — голос матери звучал устало и нервно. — Двойка по географии! Это ж каким дебилом надо быть! Только позоришь меня, ирод! Уйди!»...

Он горько усмехнулся. У матери будет шанс пожалеть. Отказалась от него, изувечила детство... Пусть раскается в этом. Пусть признает, что он не такой!

Он уже собрался сказать Слотвицкому, что согласен, потому что был готов и в очередной раз соврать избирателям, и отправить Наталью подальше от Москвы — на это он пошел бы даже с радостью. Ведь если она уедет, решится куча проблем. «Кстати, откуда журналюги узнали о ребенке — уж не от нее ли? Или просто выследили?...» — гадал Сергей. Впрочем, с ней он еще поговорит... Но вот Вика... Мысль расстаться с дочерью на целый год казалась ему дикой, неправильной. Его коробило от понимания, что девочка будет расти без него, что он не сможет брать ее на руки, ощущать ее запах, видеть, как она превращается из маленькой несмышленной гусенички в интересного, забавного человечка. Целый год!

«Ты сможешь приезжать, — шепнул ему кто-то. — Никто не будет знать об этом. И принцесса не останется без папы. Да и, в конце концов, что такое год? Тьфу! Махом пролетит! Зато ты достигнешь своей цели. А ребенок... он же маленький, и даже не поймет, что папа стал появляться реже».

— Я согласен, Игорь Игоревич, — сказал Волегов. — И я уверен, что смогу сделать всё по плану.

«Вот и молодец! Мужской поступок!» — снова донесся вкрадчивый, льстивый голос. И Волегову стало легче.

Он еще не осознавал, что этот голос шепчет из-за левого плеча*.

* согласно Евангелию от Матфея (глава 25, стихи 31–46) левая сторона в христианстве считается обителью погибших — адом, а правая прибежищем спасенных — раем.

— Это не я!

Наталья сжалась, едва не плача. Ее, бесстрастное обычно, лицо исказилось от страха. Прижавшись спиной к стене палаты, она смотрела на Волегова снизу вверх.

— Мне это зачем? — ее горячий шепот был искренне-негодующим. — Депутат чертов! Мать своего ребенка прибить готов, лишь бы о нас с дочерью никто не узнал!

— Да тихо ты! Вику разбудишь, — убедившись, что бывшая любовница не связывалась с его конкурентами, Сергей отступил на шаг и опустил руку с зажатой в ней газетой. А ведь до этого действительно стоял с ней, будто таракана прибить хотел. Он почувствовал стыд за свою агрессию — ведь набросился на эту женщину, схватил за шиворот, припер к стенке... Напугал ее, как уголовник какой-то. «Но разобраться стоило, — холодно напомнил он себе. — Я должен знать, кому можно верить, а кому нет».

Он глянул на часы: минут пятнадцать у него еще было. Чёртовы газетчики! Из-за этой статьи Волегову пришлось сразу из штаба рвануть в больницу, хотя в Минтрансе у него намечался довольно сложный, плотно загруженный день. Секретарша Нина Васильевна звонила уже трижды, торопила, волновалась. И Волегов клятвенно обещал ей, что не опоздает на встречу с австрийскими партнерами.

— Извини, я погорячился, — сказал он Наталье, и та неохотно кивнула, глядя в сторону. — Сядь, поговорить надо.

Он бросил газету на больничную кровать. Стараясь ступать как можно тише, подошел к дочкиной люльке, склонился, разглядывая спящую малышку. «Всего год, принцесса, — шепнул он. — Я тебе обещаю».

Куницына проскользнула между стеной и кроватью, села, облокотившись на подушку. Бросила в спину Волегову тяжелый, полный обиды, взгляд. Потянулась за газетой, попыталась разглядить смятые листки — хоть посмотреть, из-за чего Серёга так распахивался...

— Да оставь ты эту гадость, — поморщился он, и Наталья послушно отложила газету. А Волегов задумался и продолжил, тщательно взвешивая слова:

— Глава моего избирательного штаба считает, что это дело нельзя так оставлять. Иначе и я слечу с выборов, и тебе не поздоровится — журналюги заклюют. Значит, сделаем так: расскажешь, что познакомилась со мной пару недель назад. У тебя болел ребенок, требовались деньги на операцию, помочь некому — и ты решила обратиться к кандидату в депутаты от партии «Звезда демократии». Запомнила название?

Куницына подавленно кивнула.

— Хорошо. Потому что когда ты будешь давать интервью, скажешь, что доверяешь только этой партии. Так вот, ты нашла меня, и я согласился помочь. Дал денег на операцию. Отцом ребенка я не являюсь, тебе я никто, просто кандидат в депутаты. Поняла?

— Но как же... — попыталась запротестовать она. — У нас же дочь! Ты будто отказываешься от нее!

— Ни от кого я не отказываюсь! — раздраженно зашипел он. — Всё будет, как раньше. Я продолжу вас обеспечивать, ты — получать свои деньги. Но ради будущего нужно сделать, как я сказал. Наши уже готовят пресс-конференцию, журналистов соберут через четыре дня, в холле этой больницы. Вику как раз прооперируют, всё хорошо будет. Выйдем к

журналаюгам вместе, дадим интервью, нас сфотографируют — и всё! Это вопрос решенный.

Говоря, Волегов не спускал внимательного взгляда с лица Натальи. И видел, что его слова потрясли ее.

— Я этого не сделаю, — решительно отказалась она. — Это как-то... Это ужасно. Серёжа!

— Наташ, ничего плохого в этом нет! — Волегов попытался вложить в свои слова максимум убедительности. — Это же просто газетчики, и статья — да ее же толком читать никто не будет, пробегут по диагонали, и забудут к вечеру! На наш с тобой контракт она никак не повлияет, на Вику — тоже. А вот меня это избавит от целого букета проблем. Так что я прошу: сделай, как нужно, а не как хочется.

Она молчала. Но поджатые губы и упрямое выражение на лице лучше слов сказали ему, что она не согласна. И тогда Волегов пустил в ход козырь:

— Наташ, если ты согласишься меня поддержать сейчас, в будущем и я смогу дать тебе гораздо больше. Через год другие выборы — там меня уже выдвинут всерьез, я пройду в депутаты. И это скажется на твоих доходах. А если всё рухнет, я уже не смогу давать тебе достаточно денег. Просто неоткуда будет брать.

Она метнула в него недоверчивый взгляд, нахмурилась. Но Волегов видел, что она колеблется. Покусывая губы, помолчала еще немного, и решила уточнить:

— Серьезно? Ты готов платить больше?

— Обещаю, — кивнул он. — Но для этого нужно кое-что еще.

— Что именно? — снова напряглась Наталья.

— Вам с Викой придется уехать. Скорее всего, на год. Это требование моего политтехнолога — он хочет быть уверенным, что наши с тобой контакты не возобновятся до тех пор, пока не закончатся следующие выборы. Чтобы никто не смог выследить меня снова.

Она скривилась так, будто ощутила острую боль. Волегов даже удивился: если так реагирует, похоже, она привязана к нему не только из-за денег... Неужели влюбилась, дурочка? Или просто не хочет менять комфортную столичную жизнь на что-то другое?

— Послушай, куда бы ты ни решила поехать, я вам лучшие условия обеспечу, — заверил он. — Вы по-прежнему не будете ни в чем нуждаться. А я смогу вас навещать. Не часто, но... Приезжать буду. Ну, что ты думаешь?

Она, не ответив, отвернулась к стене. Помолчала. А потом посмотрела на него — как ему показалось, с презрением. И холодно сказала:

— Хорошо. Мы уедем. Но помни, что ты сам этого захотел.

— Что ты имеешь в виду? — вскинулся Волегов.

— Так, ничего, — пожала она плечами. И усмехнулась. — Да и какая теперь разница? Я же тебя знаю. Если не соглашусь, ты всё равно что-нибудь придумаешь, и в итоге выйдет по-твоему... Сама уеду. Но — при одном условии. Ты заплатишь мне еще пять миллионов.

— С чего вдруг? — недовольно бросил он.

— А я не хочу зависеть от твоих прихотей. Ты просил меня родить тебе ребенка, обещал, что не бросишь нас — а теперь просишь увезти Вику подальше. По сути, ты нас бросаешь, то есть нарушаешь обещание. А завтра что? Вообще передумаешь заботиться о ней? Оставишь нас без денег? Нет, дорогой, этого я не допущу!

Он быстро прикинул в уме. Деньги есть, да и плата за спокойствие, в общем-то, небольшая. Карьера дороже.

— Хорошо, — холодно сказал он, поднимаясь. — Куда поедешь?

— К маме, в Новороссийск, — подумав, ответила Наталья. — Там море, тепло. Вике хорошо будет. Да и поможет мама с ребенком. Мне тяжело одной, а тут всё-таки — родная бабушка...

Волегов облегченно кивнул. И предложил:

— Давай я закажу тебе билет на день выписки? Сможете сразу из больницы поехать в аэропорт.

— Сама всё сделаю, — уязвленно сказала она. И вдруг попросила с горечью: — Сёреж, уйди, а? Уходи прямо сейчас, пожалуйста! Мне нужно побыть одной...

И он вышел, сутулясь от неловкости — ведь что-то мелькнуло в этих ее словах, какая-то неизбывная, глухая боль. И это он виноват в том, что ей больно. Затворив за собой дверь палаты, Сергей потоптался в коридоре. Что-то было не так. Хотя... Ведь договорились же обо всем? И Наташка согласилась без особых пререканий. «Даже цену назначила, не растерялась», — усмехнулся он. Выбросив из головы сомнения, он зашагал прочь.

И не увидел, как Наталья с ногами забралась на кровать, села, согнув колени и прижав подушку к животу. И заплакала, согнувшись, вжавшись в нее лицом.

Как он мог? Как мужики вообще такое могут — гулять от жен, заделывать детей на стороне, держать их, как хомячков в клетке?... А если надоедят, переносить эту клетку, куда хочется: в другую комнату, куда никто не заходит, или же вообще на улицу!

Обида, злость, разочарование накатывали на нее, мешаясь друг с другом. Но самым страшным было ощущение собственной неполноценности — ведь он только что окончательно дал ей понять, что она проиграла по всем статьям: и как женщина, и как потенциальная жена. Она не нужна этому успешному, сильному мужику. Такие, как она, ему — не ровня.

Она вытерла слезы и тупо уставилась в окно.

Волегов так легко от нее отказался! Придумал за ее спиной этот мерзкий план, а сейчас просто поставил перед фактом. По сути, приказывал ей, как служанке. Уезжай — и всё тут! Но если он так просто готов сбегать от нее, если не пожелал признаться во всем газетчикам, значит, она никогда не играла в его жизни важной роли. Сначала была забавой на одну ночь, затем — живым инкубатором, а теперь стала филиалом молочной кухни. Вот и всё, для чего она годится — по его мнению. Так что зря она надеялась всё это время, что он когда-нибудь бросит жену.

«Он говорил — ты просто не хотела слушать», — от безжалостности этой мысли она сникла еще больше. Сама виновата — напридумывала себе.

Ей жутко захотелось курить. Наталья достала из тумбочки початую пачку: захватила с собой из дома перед тем, как лечь в больницу. Но здесь так ни одной и не выкурила — хотела бросить, хотя бы на срок кормления. Хотела стать хорошей мамой...

А, кому это теперь нужно!

Она прошла в пристроенную к палате ванную. Чиркнула зажигалкой. От первой затяжки закружилась голова, и Куницына оперлась плечом о стену.

«Волегов жену любит, а не меня, — мрачно думала она. — В попу целовать готов свою Анечку, всё трясется, как бы она не узнала... А историю эту, с помощью матери-одиночке, придумал еще и для того, чтобы перед ней отмазаться! Потом еще газетку ей покажет — типа, смотри, какой у тебя муж молодец, чужим детям помогает... Подонок!»

Она бросила сигарету в унитаз. Окурок пшикнул, мгновенно набух от воды.

«Газету покажет, — крутилось в голове. — Газету».

Она опрометью кинулась в палату. «Если он не забрал... Ха, он не забрал! — ее лицо просияло. Прищурив глаза, Наталья ехидно улыбнулась. — Как это так, господин Волегов? Вам изменила ваша привычная осторожность?»

В ногах кровати валялась забытая Сергеем газета. Куницына взяла ее, развернула, наскоро пробежала глазами статью на первой полосе. Да, это действительно бомба. Не зря он так переживал.

«А теперь будешь переживать еще больше!» — мысленно пообещала она, доставая смартфон. Сделала несколько снимков, стараясь, чтобы уместилось всё — и текст, и фотографии. А потом зашла на сайт Анюты — туда, где была размещена форма обратной связи. Прикрепила фото, задумалась, что бы написать. И решительно набрала:

«А директор вашего балета знает, что ее муж обманывает избирателей?»

Хотела приписать еще что-нибудь, но остановила себя — во всём нужна мера.

«Пусть думает, что это письмо конкуренты по выборам послали, — Наталья мстительно прищурилась, перечитав текст. — Мне всё-таки не нужно портить с ним отношения. А вот его жена... Посмотрим, испортит ли их она!»

И Куницына, зло поджав губы, ткнула пальцем в кнопку отправки.

Динамики ожили, окатив здание аэропорта Шенефельд переливчатой звуковой волной, и мелодичный голос зашпыхал:

— Sehr geehrte Passagiere! Flug SU 2317 nach Moskau verzögert sich wegen schlechter Wetters. Wir entschuldigen uns!*

Состроив грустную рожицу, Анюта перевела:

— Наш рейс задерживают из-за плохой погоды.

— Так я и думал! — возмущенно всплеснул руками Петр Тимофеевич, и облокотился на спинку инвалидной коляски. Его одутловатое лицо с кустистыми смоляными бровями было посеревшим от усталости.

— Я тоже, потому что Лесси еще в такси поскуливать начал. Он всегда так перед грозой, волнуется, — не поворачивая головы, отозвалась пианистка Катя — худощавая, коротко стриженная блондинка. Протянув руку, она нащупала холку своей собаки-поводыря — крупной овчарки, смиренно сидевшей справа от хозяйки. Запустила пальцы в шерсть, потрепала любовно: — Спокойно, Лессик, мы под дождь не пойдем.

Остальные шесть участников балетной труппы тоже загомонили, выражая неудовольствие. А Элина Совка озабоченно глянула на часы. Двадцать два четырнадцать. Их рейс должен вылететь в половине первого ночи. Посадку для людей с ограниченными возможностями объявляют примерно за полтора часа до отправления, вот они и прибыли заблаговременно, едва успев переодеться после заключительного выступления. Все были вымотаны донельзя, и нервничали от нетерпения: домой, скорее домой! Но в высокие окна аэропорта хлестала вода — будто из пожарного брандспойта. Ветвистые вспышки молний и грохот разъяренных, сталкивающихся лбами, туч не оставляли надежды на то, что гроза закончится быстро.

— Мама, может, поменяем билеты? — занятая мыслями Совка даже не заметила, как к ней подъехала дочь. — Люди устали, пусть отоспят, а? Сейчас гостиницу закажем, и завтра утром полетим.

— Да, ты права, так лучше будет, — с облегчением кивнула Элина, поднимаясь с жесткого пластикового кресла. — Давай узнаем, что можно сделать.

Она торопливо зашагала рядом с креслом дочери — та уверенно катила к информационному бюро, возле которого располагались стойки кассиров. Молодая, сильно накрашенная немка в черной униформе внимательно выслушала просьбу Анюты, и, взяв у нее пачку билетов, начала что-то просматривать в компьютере, бросая короткие фразы.

— Есть на утренний рейс билеты, и дневной с пересадкой в Риге, — переводила Анюта. — Какой возьмем?

Элина, чуть подумав, ответила:

— Давай-ка на утренний. Пересадка для нас проблемное дело. Да и наши побыстрее хотят домой добраться.

— Хорошо, — согласилась Анюта. — Пригласишь их?

— Конечно, — Совка направилась обратно и вскоре вернулась со всей труппой и другими сопровождающими. Процедура обмена билетов прошла быстро, и через полчаса они уже вселились в номера ближайшего отеля. Элина помогла дочери принять душ и переодеться в пижаму. Поудобнее устроила ее на кровати. А сама взяла ноутбук: спать не

хотелось совершенно.

— Я спущусь в бар, — сказала она Анюте. — Если что-то понадобится, звони.

Дочь вяло кивнула, закрывая глаза. Приглушив свет ночника до минимума, Элина вышла из номера.

В круглосуточном баре отеля было немногочленно: пятерка молодых французов поглощала поздний ужин, да пожилой немец, уткнувшись в журнал «Der Spiegel», скрашивал вечер бокалом пива. Совка устроилась за столиком в дальнем углу, положила ноутбук на стол и с наслаждением вынула ноги из узких бежевых «лодочек» — наконец-то этот бешеный день закончился, можно расслабиться, подвести итоги поездки.

Заказав подошедшей официантке кофе, она включила компьютер. Присоединила к нему смартфон, чтобы скачать фотографии с последних выступлений. Просматривала их с ощущением удовольствия и гордости: да, балет «Паритет» снова произвел фурор на европейской сцене! А говорили, что немецкая публика очень капризна... Молодец Анька: сделала всех, умница моя!

Официантка принесла кофе и ломтик чизкейка.

— Kompliment dem Koch!** — учтиво сказала она.

— Danke schön***, — с улыбкой поблагодарила Элина, знавшая по-немецки лишь несколько слов. И порадовалась про себя, что слово «комплимент» во многих языках звучит похоже. Положив в рот кусочек тающего во рту сливочно-творожного великолепия, она вошла на сайт балета «Паритет» через доступ администратора. В правом углу алел флажок нового сообщения. Совка открыла его и замерла в недоумении.

Дурацкое письмо, фотографии какой-то газеты...

Сергей.

Чужая женщина.

И грудничок на ее руках.

Творожный вкус во рту превратился в приторно-сладкую тошнотворную гниль.

Элина смотрела на зятя, склонившегося к ребенку. И ясно видела на лице Сергея ту же смесь щемящей любви и грусти, с которой он всегда смотрел на Анюту, когда им приходилось расставаться. Вот и две недели назад он провожал ее в аэропорту таким же взглядом. И всё не хотел прощаться — даже когда объявили посадку на берлинский рейс...

Губы вдруг стали сухими, спекшимися, и Совка машинально глотнула кофе. Горчащего, зло ободравшего горло.

Она пыталась прочесть статью, но ничего не могла понять. Взгляд врезался в слова и отскакивал от них, будто теннисный мяч — а потом возвращался, как привязанный. «Внебрачный ребенок», «любовница»... Фотографии — слова — фотографии. «Семейные ценности». Томительная мука в глазах Волегова. «Папа». Папа...

«Сережа говорит, мы проживем и без детей», — всплыли слова Анюты.

Элина нервно сглотнула. Уставилась перед собой, отчаянно сжав руки.

«Девочка моя, за что тебя так?...»

Боль зарыдала внутри, забилась подбитой птицей. Совка запрокинула голову, расстегивая верхнюю пуговицу блузки, освобождая горло: дышать, дышать! А сердце, стянутое ледяным обручем, молчало, омертвев.

«Девочка моя, почему это всё с тобой?...

Неужели там, наверху, до сих пор считают, что тебе мало?...

От накатившей слабости Элина прикрыла глаза. Шевеленье звуков проникало в уши, как

сквозь вату: свербящее звяканье посуды, раздражающий рокот французского, резкое карканье барменов-немцев. «Что делать-то теперь? Что делать?...»

Она не знала, что может быть так стыдно за другого.

И так отчаянно-грустно — за своего.

«Но каков же подлец, а? Без детей он проживет. Сволочь!» — сердце, дрогнув, разорвало ледяные тиски, жаркая волна гнева прошла по телу. И Элина смогла, наконец, вдохнуть — глубоко, до рези в груди.

«А я не думала, что ты способен предать, Серёжа», — преодолевая слезы, скривилась она. Да так и осталась сидеть с замершей в углу рта горькой морщинкой. Снова и снова перечитывала куски статьи, бестолково разбитой на части фотографом-анонимом. Всмотривалась в иллюстрации на газетном листе, будто пытаюсь отыскать что-то, незамеченное раньше. И подумала вдруг: «Может, это монтаж? Поклёп? Сергей — фигура видная, на таких желтая пресса миллионы делает. Да и на выборах, говорят, не то бывает...»

Эта мысль принесла облегчение, немного успокоила боль — но тревожиться Совка не перестала. А если всё правда: и любовница, и внебрачный ребенок? Это же другая семья! Что теперь будет с Анютой?

Что вообще связывает их с Волеговым сейчас? До этого письма Элина была убеждена, что любовь. Но любовь подразумевает верность...

«Не всегда, — осадилась она себя. — Плоть тоже властна над чувствами. А секс без любви — обычное дело для многих. И я бы, наверное, даже поняла бы, и даже простила, если бы узнала, что Волегов удовлетворяет свои инстинкты с какими-то случайными женщинами. Но вторая семья?... Это ведь уже отношения, обязательства».

Она тяжело вздохнула, бесцельно крутя пальцами чайную ложечку.

«И ведь я боялась этого... — вспомнила Совка. — После того, как с Анютой случилась беда, я всё думала, как они будут жить дальше. Боялась, что бросит Сергей жену-инвалида. Ведь он-то человек со здоровыми потребностями. И так радовалась, что он ни разу не заговорил об этом! Наоборот: делал всё, чтобы поддержать, вылечить. И до сих пор я была за них спокойна. А теперь? Что будет теперь?»

Совка отбросила волосы со лба, умыла лицо сухими ладонями.

«Ох, как же хорошо, что случилась эта гроза! — невпопад подумала Элина. — Если бы не она, грузились бы сейчас в самолет, а завтра Анютка сама бы на сайт полезла... и увидела бы. А меня бы не было рядом».

Тревога хлестнула, как плетью. Совка вздрогнула, и принялась за дело: быстро скачала фотографии газеты на свой телефон и удалила анонимное сообщение с сайта. Оставалось надеяться, что «доброжелатель» не отправит его повторно.

Элина закрыла ноутбук и снова глотнула кофе. Нужно придать себе, успокоиться. И что-то решать. Поговорить с Сергеем? Она поморщилась. Нет, он не признается. Зять, как и любой на его месте, будет отпираться до последнего. Хоть отношения у них вполне доброжелательные, но то, что описано в газете, за гранью семейной морали. Так что... Остается только та женщина.

«Я поеду к ней, как только вернусь в Москву, — решила Совка. — Поговорю, попрошу объяснить. Попрошу не врать — как женщина женщине. Она тоже мать, поймет. Ну, или я пойму, как она настроена. Если хочет разрушить семью, я увижу. Почувствую. Такое нельзя не почувствовать. Это ведь зло, а от зла всегда мутило или ямой тянет».

Достав из сумочки кошелек, она бросила на стол купюру в пять евро. Поднялась и

пошла к выходу из бара, прижимая к груди ноутбук. Растерянно остановилась от оклика официантки — та махала руками, тараторя что-то, показывая на пол. Элина глянула вниз и осознала, что стоит босиком.

Ее бежевые «лодочки» сиротливо валялись под столом, словно потерпев кораблекрушение.

*Уважаемые пассажиры! Посадка на рейс SU 2317 до Москвы задерживается из-за плохих погодных условий. Приносим свои извинения! (нем.)

**Комплимент от повара (нем.)

*** Большое спасибо (нем.)

Трава на футбольном поле казалась ядовито-зеленой, и красномордые футболисты будто только что выбежали из парной.

— Ты посмотри, какая вредная машина! — с восторгом сказал Александр Ильич Совка, терзая таблицу цветовой настройки нового телевизора. — Эля! Я никак не разберусь в этом меню. Ты же умница, посмотри, что я, старый дурак, неправильно делаю!

Он сидел в кресле, широко раздвинув колени и опершись на них локтями. Элина скользнула между ним и коробкой от плазмы, легко коснулась губами седых волос мужа, погладила его широкую спину.

— Сашка, мне некогда, прости, — с сожалением сказала она. — И потом, я верю, что ты справишься. Я лучше тебя только компьютером и стиралкой владею, забыл?

Муж поднял на нее удивленный взгляд: куда, мол, собралась, ведь только приехала? А она охнула, всплеснула руками:

— Ну что ты опять этот свитер надел, у него локти дырявые? И босиком не ходи, от балкона сквозит! Я приоткрыла, а то петуниям от батареи жарко. Всё, убегаю!

— Я провожу, — Александр прошел за ней в прихожую, встал, опираясь плечом о дверной косяк. Темно-карие, как у Анюты, глаза смотрели внимательно и цепко. Пытаясь избежать этого взгляда, Элина присела на тумбу, застегивая сапоги.

Муж снял с плечиков ее шубу, растопырил, дожидаясь, пока она нащупает рукава. И приобняв сзади, неловко чмокнув в шею.

— Скуча-ал твой дурак шестидесятилетний, — певуче прошептал он.

Теплое дыхание шевельнуло ее волосы. И Элина обмякла в его руках — таких надежных, родных... Ей вдруг захотелось расплакаться, открыть ему всё, поделиться. Ведь с кем еще, как не с ним — с которым прожито без малого сорок лет? И ни разу за все это время он не подвел ее. Ни разу не предал.

— Элька, у тебя всё в порядке? — спросил он, будто угадав ее мысли. — Ты грустная какая-то с тех пор, как приехала.

— Саш, не бери в голову. Просто дела, — заверила она, высвободившись и повернувшись к зеркалу, чтобы не пришлось прятать глаза. Старательно накрасила губы — всегда успокаивалась, сосредотачиваясь на таких мелочах. Подхватила сумочку и сказала, открывая дверь:

— Я на пару часов. А потом поедем кухню выбирать, не забыл?

— Дождусь, куда я денусь... Перчатки взяла? — напомнил он. — Не замерзни там!

Совка кивнула и притворила за собой дверь. «Правильно, что не сказала, — подумала она, нажимая на кнопку лифта. — Потом... если будет, что сказать».

Александр постоял, задумчиво глядя в закрытую дверь. Снял трубку радиотелефона, набрал номер.

— Анюта, доча, привет! Быстро рассказывай, как дела, — скомандовал он. — Как съездили? Победили фашистов?

Дочка рассмеялась: заливисто и звонко, как всегда. И глубокая морщина, прорезавшая его лоб, разгладилась: значит, не случилось с его девчонками никаких неприятностей.

А Элина, прогрев мотор своего миниатюрного «Пежо», вырулила на дорогу. Эту машину подарил ей зять — знал, что она хотела жучка-малолитражку, который проще найдет себе

место на разбухших от транспорта московских магистралях. Сейчас ее миниатюрный «пыжик» легко обегал монструозных железных собратьев, лавируя в плотном в уличном потоке. И, если посчастливится не попасть в пробку, примерно через полчаса он доставит хозяйку к больнице — той, что была указана в статье.

Впрочем, у дальнего перекрестка уже намечалось столпотворение. Автомобили собрались мушиной стаей, ползли едва не друг по другу, кто-то кому-то гудел гневно и отрывисто, будто ругался на азбуке Морзе. А сверху, от рекламного щита, поглядывал человек в синей робе. Опираясь на рыжую ногу автомобильного подъемника, он пытался открепить хлопавший на ветру баннер с угрожающей надписью «Скидок не будет!». В своей надмирной люльке он был, словно зубная щетка в стакане.

И Элина подумала, что одинокая зубная щетка — такой обыденный, и оттого, пожалуй, самый страшный символ человеческой ненужности. Мысли снова вернулись к дочери. Неужели и она останется в одиночестве?

«Как бы ни сложилось, я не допущу, чтобы Анюте пришлось пройти еще и через это», — твердо решила Совка. И бессонная ночь, проведенная ей на жесткой, набитой колкими раздумьями, подушке, отпустила Элину. Все эти вопросы — «Что сказать той женщине?», «Что делать, если в статье — правда?» — вдруг получили один ответ. Что бы ни происходило, жизнь будет продолжаться. Ведь у того, кто наполняет Чаши и мастерит Кресты, на всё есть свой резон.

Подкатив к больнице, она пристроила «пыжика» рядом с выдавшим виды бордовым фургоном. На его боку красовался полустертый логотип второсортного телеканала, по крыше распласталась опущенная вниз спутниковая тарелка. Выйдя из машины, Совка с удивлением заметила стоявший неподалеку белый «Соболь» другого телеканала, а затем и темно-синий фورد с логотипом газеты. «Что за медиа-слёт? — с неудовольствием подумала она. — Вот ни раньше, ни позже...»

На входе она едва не столкнулась с низеньким пожилым толстяком, катившимся ей наперерез — туда, где слышалось бурление голосов, и загорались вспышки фотокамер. Скользя взглядом в ту же сторону, Совка приросла к серому граниту пола: перед скопищем журналистов стоял ее зять с той самой незнакомой женщиной, державшей на руках малыша в сиреневом комбинезончике. Ребенок хныкал, и молодая мать трясла перед ним ярко-рыжей погремущкой.

— ...поэтому я решил оказать этой семье помощь, — говорил Волегов. В двубортном, сером с искрой, костюме, он казался еще солиднее и выше. Широкая улыбка и открытый взгляд располагали к себе, но отчего-то казались Совке чужими, неестественными. Врёт? Или просто нервничает перед камерами?

Кто-то из журналистов спросил с уважением:

— Я правильно понимаю, что вы не хотели афишировать этот факт?

— Да, потому что к моей предвыборной деятельности он отношения не имеет, — кивнул Волегов. — И хотя Наталья Ивановна Куницына обратилась ко мне, как к будущему депутату, я помог ей, как человек человеку. Используя личные средства, а не партийный капитал.

— Наталья, вы счастливы? — задумчиво спросила молодая журналистка, тыча микрофоном почти в лицо Куницыной. Оператор, стоявший за ее спиной, направил на Наталью объектив телекамеры.

— Да, конечно, — ответила женщина, отводя взгляд. И добавила скованно, — Я хочу

поблагодарить Сергея Ольгердовича, он спас жизнь моей дочери.

Толстяк, едва не сбивший с ног Элину, уже протиснулся сквозь толпу журналистов и встал перед камерами.

— Как представитель партии «Звезда демократии» хочу отметить, что поступок Сергея Ольгердовича стал для всех нас примером скромности и человечности! — заявил он.

— Господин Слотвицкий, вы говорите так, будто для ваших партийцев это нонсенс, — подколол его высокий бородатый мужик с фотоаппаратом. По рядам журналистов прокатился смешок.

— Я знаю, что вам хорошо платят за подобные вопросы, господин Матвеев, — парировал толстяк. — Но в этой ситуации, я думаю, комментарии излишни. Поступку Сергея Ольгердовича аплодировала бы даже мать Тереза.

— И все-таки, господин Волегов, я хочу уточнить, — встряла женщина лет сорока, одетая в серое балахонистое пальто-оверсайз. — Вы действительно не являетесь отцом этого ребенка?

— Нет, — мотнул головой Волегов, на мгновение прикрыв глаза. — Это не моя дочь.

— А, может быть, Наталья доводится вам родственницей, или давней знакомой? — не унималась журналистка.

— Нет, — Совка услышала раздражение в голосе Сергея.

Журналисты спрашивали что-то еще, а она отошла в угол, опустилась на мягкий диванчик. От переживаний ломило в висках, слабость давила на плечи. «Значит, Серёжа просто помог чужой женщине, — мысли были вялыми: наверное, сказывалась усталость. — Теперь можно не волноваться за дочь. Но почему мне кажется, что это фарс? Накрутила себя, старая дура...»

Журналисты начали расходиться, а Волегов и Наталья с ребенком двинулись вглубь здания. Сама не понимая, зачем, Элина пошла за ними.

Перед входом в больничную галерею ее задержал охранник, потребовал паспорт. Совка бросила ему документ, а сама поспешила дальше, не дожидаясь, пока он впишет ее данные в журнал посещений. Почти нагнала Волегова и Наталью на лестнице и чуть сбавила ход — как-то глупо всё, будто слезка. Вот что ему сказать, если заметит?

Он не заметил.

Элина видела, как он прощается с женщиной у двери палаты — сухо, отстраненно. В общем-то, так и прощаются с людьми, к которым незачем возвращаться... Но Волегов наклонился к ребенку, взял маленькую ручку девочки, нежно прижал к губам. И посмотрел на нее так любовно, с такой великой отеческой нежностью, что у Элины сердце зашлось, заголосило по-бабьи: «Девочка-то его, его!..»

Она вернулась за угол и припала спиной к стене. Пульс был частым-частым и дробился, будто по венам прыгали горошины. Совка достала из сумочки пузырек с нитроглицерином, бросила белую крупинку под язык. Попыталась впихнуть на место пластиковую крышечку, но руки тряслись...

— Мама?!?

Голос появившегося перед ней Сергея прозвучал, как труба в судный день. Он уличал, выказывал удивление... но в этом голосе были фальшивые ноты. Их она услышала первыми.

Испуг.

Растерянность.

Стыд.

Совка выронила злосчастный пузырек. Белоснежные крупинки лекарства рассыпались по ступеням лестницы. Она вскинула глаза, пытаясь прочесть по лицу зятя. А оно — напряженное, потемневшее, с проглядывавшей в волчьем блеске глаз и зверином подрагивании ноздрей жестокостью — показалось ей страшным.

Будто перед ней стоял чужой человек.

И она хрипло зашептала, схватив его за рукав:

— Серёжа, я тебя умоляю! Только не лги мне! Скажи правду!

Волегов придавил ее взглядом — нехорошим, тяжелым, помутневшим от злобы. Никогда не смотрел так раньше. Никогда так не мучил молчанием.

— Серёжа, ведь это твой ребенок! — Элина уже не спрашивала — утверждала. Глаза ее покраснели от подступивших слез. — Серёжа, ты скажи, у тебя другая семья? Ты любишь эту женщину?

— Нет! — почти прорычал он. — В смысле — нет, вы все неправильно поняли. Нет у меня другой семьи. Нет ребенка.

И почти закричал, упершись взглядом в ее лицо:

— Да что вы все верите этим сплетням!

Совка оцепенела на мгновение — раньше он никогда не повышал на нее голос. А потом отвернулась, ощущая, как недоверие и холод растекаются под кожей, обживают внутри. Ведь эта его агрессия вместо спокойного удивления и привычной шутки, этот взгляд и выкрик лучше любого признания доказывали, что девочка ему — не чужая.

— Серёжа, повинись! — Элина предприняла последнюю попытку. — Я не скажу Аняте. Давай вместе подумаем, что делать дальше. Ведь это добром не кончится.

— Нет! — отрезал Волегов. — Не над чем тут думать. Это не мой ребенок.

Он сунул руки в карманы брюк и пошел вниз по лестнице, упрямо распрямив плечи. Глядя ему вслед, Элина вновь ощутила холод. А еще — презрение к мужчине, который вот так вот запросто отрекся от своего ребенка.

И она вспомнила библейское:

"Прежде, чем пропоёт петух, ты трижды отречёшься от Меня".*

* слова, сказанные Иисусом апостолу Петру во время Тайной вечери

Черный УАЗ-патриот — Волегов называл такие «благоустроенный трактор» — подрезал его серебристый «Лэндкрузер» на повороте. Сергей вдарил кулаком по кнопке клаксона — так сильно, что взорвавшаяся в кулаке боль разжала его пальцы. И насмешливо запрыгало-завертелось ему в ответ рогатое, бесстыже-розовое сердечко с намалеванной на нем дьявольской мордой — дурацкий брелок, прикрепленный к заднему стеклу обидчика.

— Пляшешь, тварь? — взбеленился Волегов, дал ногой по педали газа — так, что «Лэндкрузер» ракетой рванул вперед. Но УАЗ нырнул налево, и в открывшемся между потоками машин коротком кармане заалел, стремительно приближаясь, обрубленный зад микроавтобуса, за стеклом которого обмерла от страха широколицая бабуся в черном берете. Волегов врезал по тормозам, чудом вырулив вправо, и краем глаза заметил, как шевелятся, проклиная, старушечьи губы, и краснеет от гнева ее лицо.

— Ну, мать, прости! — виновато выдохнул он. Сердце частило, окаменевшие руки приросли к черному пластику руля. Сергей попытался успокоиться: иначе и до беды недалеко. Но перед глазами снова всплыло лицо Элины, а в голове закрутилось: «Что теперь будет? Что?...»

Он попытался сконцентрироваться на дороге. Встав у светофора, принялся считать машины, ехавшие на зеленый. Три, пять, семь... Его немного отпустило. Уверенность вернулась, придала спокойствия. И, чтобы упрочить это состояние, он сказал себе — вслух, громко и внятно:

— Ты всё правильно сделал.

Он действительно думал так. И было плевать, что среди журналистов оказался засланец конкурентов. И не важно, что Наталья мычала перед камерами и вовсе не походила на счастливую мать. И даже то, что теща свалилась на него, как снег на голову и попыталась выудить признание... Хотя нет, как раз это и тревожило без меры. Откуда она узнала? Поверила ли ему, уперто стоявшему на своем?

А ведь все складывалось так хорошо!

Викульку прооперировали два дня назад. И хотя операция была не опасной — ввели через бедренную артерию тонкий зонд со специальной вставкой, которая и перекрыла ненужный артериальный проток — Волегов все сорок минут промаялся под дверью оперблока. Наталья была неподалеку: молча сидела на кушетке у окна, уставившись под ноги. А потом на каталке вывезли Вику — спящую, розовую, теплую... Живую.

Сегодня Наталья сказала, что она и есть, и спать стала лучше. А врачи вообще собирались оформлять выписку через неделю, как только закончат курс витаминов и антибиотиков.

После разговора с хирургом Волегов запретил Наталье везти дочку в Новороссийск самолетом. Договорился со своим водителем, чтобы тот отвёз их на машине — и в дороге не гнал, делал остановки в хороших гостиницах, берег, как своих. Оставалось только пережить пресс-конференцию. Впрочем, и она прошла на уровне — как и обещал Горе Горович.

Но Элина... Как она оказалась в больнице? Почему так упорно просила признаться?

«Я не скажу Анюте», — обещала она.

Да, не скажет — он знал. Вот за что уважал и ценил тещу — так это за ее безграничную любовь к дочери, за стремление ограждать ее от всего плохого. Да и вообще, отношения у

них до сего момента были прекрасными. И, может быть, она в какой-то мере заменила бы ему мать — если бы жили вместе, поровну деля счастье, боль, утренний кофе и тепло дома. И если бы эта замена вообще была возможной...

— Ты все сделал правильно, — повторил он.

Но под этой, тщательно внушаемой себе, уверенностью томилась зыбкой мутью бездонная, тёмная топь. И Волегов ощущал ее внутри, как ни сопротивлялся этому чувству.

Пытаясь отогнать беспокойство, он вытянул из кармана сотовый и набрал номер жены.

— Любимая, у тебя все в порядке? — спросил он, стараясь, чтобы голос звучал естественно. А сердце обмирало: если она хоть что-нибудь знает, он услышит. Потому что Анята, может быть, и умеет, но — ненавидит лгать.

— Вы что, сговорились сегодня? — хихикнула она. — То папа звонит, то теперь ты с тем же вопросом. Всё хорошо! И, Серёжка, ты когда уже домой? Я тебя жду, жду... Простила, конечно, что ты в аэропорту нас не встретил. Но ты мне за это будешь должен кучу комплиментов!

Каждое ее слово, каждый звук милого, родного голоса, ее безмятежность и приветливость по капле выдавливали из него страх. Тело расслабилось, налилось теплой негой — Анята, счастье мое, ты одна у меня в крови...

— Совенок, я скоро, — только и смог пообещать он, с трудом выталкивая слова через пересохшее горло.

И не выдержал — свернул в ближайший переулок.

Криво припарковался у какого-то дома, криво обнял руль, бессильно уронив голову на стиб локтя. «Что же я так заврался-то, Господи? Что же мне не жилось-то, а?» — вопросы тяжело выплескивались изнутри — будто душа стонала. — «Врал, врал, самому себе врал! Что сможет все просчитать, уберечь Аняту, скрыть от нее Наталью и Вику... Как будто ехал по какой-то странной колдобистой дороге, не зная, куда она ведет — а себя убедил, что в конце то самое счастье. Но, скорее всего, болото там. Или обрыв».

— Врать тебе теперь, Серёга, придется всю жизнь, — медленно проговорил он. — Двум самым любимым людям врать придется: жене и дочери. Потому что одной изменил, от другой отказался.

Как назло, снова вспомнилась старая дерматиновая сумка, с которой он впервые приехал в Москву. На ее дне, под грузом дипломов и грамот, лежал его вечный стыд, облеченный в одежды правоты. Письмо от отца, на которое Сергей так и не ответил. Потому что он, красnodипломник, отличник, школьный комсорг, имел полное право не портить свое будущее, отказываясь от переписки с зэком.

Просто уехал из города — никому не сказал, куда. Бросил старшего брата. Оборвал связь с отцом.

Он начал предавать уже тогда.

«Отец уже умер, наверное», — тупо подумал Волегов.

Он плотнее вжался лбом в стиб локтя. И только слышал, как у правого виска тикают подаренные Анятой часы.

«Езжай уже. Ждёт ведь», — велел он себе. Распрямылся, прищурившись от резанувшего глаза света. Завел машину и медленно выехал на дорогу.

В окне гостиной горела новогодняя гирлянда — Волегов увидел ее, как только распахнулись автоматические ворота. Явный намёк: ведь Анюта просила снять, когда уезжала в Германию — а сейчас сама же и включила... На душе снова заскребли кошки, и Сергей, поставив машину в гараж, понуро вошел в дом.

Жена выехала ему навстречу: в нарядном платье, смоляные волосы тщательно уложены, на шее — изумрудное ожерелье, которое он выбрал для нее в Италии. Улыбнулась, знакомым движением вытянула шею, подставляя щеку для поцелуя. Но сквозь привычный озорной огонек в глазах проглядывало смущение и некая торжественность — и от этого нового взгляда Сергей напряженно замер, не понимая, что происходит.

— Серёжка, ты есть будешь? — спросила она. — У нас «цезарь» и антрекоты.

Он присел у ее ног, взял руку жены — ту, на которой тонкой полоской желтело обручальное кольцо. Он, тогда еще вчерашний студент, кое-как наскреб денег на два узеньких, самых дешевых... А через несколько лет — когда попер в гору бизнес и начались подвижки по минтрансовской карьере — несколько раз предлагал ей поменять их на что-то более статусное. Но Анюта была непреклонна: «Какая разница, сколько стоит это кольцо? Оно одно на всю жизнь такое!» Вот и теперь оно на ее пальчике, как в первый день... Сергей прижался к нему губами и кое-как нашел в себе силы поднять голову, чтобы посмотреть в глаза жене.

— Давай все-таки поужинаем, — попросила она. — И я тебе новости расскажу.

Он кивнул и послушно прошел в гостиную вслед за ее креслом, из-за спинки которого виднелась точеная смоляная головка жены. Сел на свое место во главе стола — там было уже накрыто, и даже свечи стояли. Он приободрился, вздохнул украдкой: свечи у нее — всегда к приятному сюрпризу, злилась бы — не зажгла.

— Серёж, ты грустный, случилось что? — спросила Анюта, уловив этот вздох.

— Да на работе бардак, — махнул он рукой. — Как обычно. А у нас праздник какой-то?

— Ну... Почти, — она замешкалась, и пододвинула к нему блюдо с антрекотами. — Налетай. Праздник — не праздник? Не знаю даже. Просто хотела с тобой поговорить. В общем... я на один день приехала. Завтра мы с мамой снова улетаем в Германию. Мама там клинику нашла, которая берется за такие случаи, как у меня. Мы ездили туда, они сказали, что шанс есть. Они сделают мне операцию, вживят какой-то прибор, который будет восстанавливать ткань поврежденного нерва. А потом нужен месячный курс инъекций и специального физлечения. Результаты у них есть, они парализованных людей на ноги ставили, представляешь? В общем, я решила попробовать.

— Нютка, это же здорово! — обрадовался Сергей. — Только я с тобой поеду! Давай через три недели, как выборы пройдут — и сразу рванем!

— Серёжа, послезавтра мне там надо быть, — попыталась объяснить Анюта. — Мне уже подготовку провели. Я просто тебе не говорила по скайпу, хотела так сказать, чтобы ты рядом был.

— Ань, какое послезавтра? — нахмурился он. — Я не могу сейчас уехать! И тебя туда не отпущу, я ж с ума здесь сойду, ты что!

— Но мы с доктором договорились... — растерянно сказала она.

— Так отмени!

— Нельзя отменить, поздно, процесс уже пошел!

Он вскочил, нервно прошелся по комнате.

— А нельзя было со мной сначала всё это согласовать? Ты же знала, что я захочу поехать с тобой! И знала, что у меня выборы...

— Да ты совсем с ума сошел с этими выборами! — закричала она. — Только о них и говоришь! Только о них и заботишься! Даже семейные дела готов отодвинуть, лишь бы там все было в срок! И злющий стал, скрытный какой-то... Думаешь, я не вижу?

Волегов растерянно молчал.

Она закрыла лицо ладонями. Потом потерла виски и сказала со спокойным укором:

— Ты изменился, Серёжа. Ты много раз менялся за нашу с тобой жизнь, но все это были хорошие перемены — ты рос, сильнее становился, а если и ошибался, то ошибки умел признавать. А сейчас у тебя новый период в жизни, я понимаю — но не понимаю, отчего ты вдруг стал таким. Резко очень, и очень круто поменялся. Я какие-то знакомые черты в тебе вижу — вот твою целеустремленность, к примеру. Но она тоже изменилась... Превратилась в какую-то... маниакальность. Ты даже на меня готов наброситься, лишь бы дойти до цели. А цель-то какая?

Волегов раздраженно фыркнул и ответил:

— Пройти в областную думу. И мне дали понять, что через год я там точно буду! А к тебе я не изменился ни на йоту. Всегда тебя любил и любить буду.

— Я тоже, Серёжа. Я тоже... Но это депутатство — знаешь, оно не стоит того, чтобы мы жили так, как сейчас. Будто чужими становимся.

Печаль в ее словах будто черту между ними провела — только Волегов осознал, что не черта это, а тонкая, еще неглубокая, трещина. И она, такая маленькая, могла располосинить их сросшийся воедино мир.

Сергей, уже готовый возразить, прикусил язык. «Маниакальность», «чужими» — эти слова бередили душу, болели, как ожоги. Сильные, беспощадные слова. С какой-то особой, ядовитой начинкой.

Но самое главное — он шкурой чувствовал правоту Анюты.

В груди сдавило. Он быстро подошел к жене, присел перед ней, огладил своими медвежьими ладонями ее хрупкие плечи.

— Совенок, прости, — покаянно попросил он. — Бес попутал. Но я все устрою. Мне знаешь ли, всё равно сниматься с выборов. Я вот прямо сейчас Слотвицкому позвоню и попрошу, чтобы организовал все в удобные сроки. А мы завтра вместе поедем. Одну я тебя не отпущу, и не проси.

— Ну, я же не одна, мама тоже едет, — попыталась возразить Анюта, но былой колкости в ней уже не было — наоборот, расслабленная сидела, почти спокойная.

Почти.

— Нют, что еще? — страх снова засвербил внутри. — Говори, не молчи! Пожалуйста!

Анюта отвела взгляд, но потом снова посмотрела на него — прямо, и смело.

— Серёжа, если операция пройдет удачно, давай родим ребенка.

Он потрясенно отпрянул.

— Но как? Тебе же врачи сказали...

— Да, я помню, — спокойно кивнула она. — Я не смогу стать матерью. Но ведь у тебя со здоровьем все в порядке. И, если ты не против, давай найдем женщину, которая родит нам этого ребенка. Я знаю, это звучит дико, но это же не измена, если мы решили это вместе. И

сделаем все через клинику, как ЭКО. Зато у нас будет ребенок! И мне совсем не важно, что он будет для меня неродной по крови. Я люблю тебя, и буду так же любить его. Понимаешь...

Она говорила что-то еще — о том, что перестанет заниматься балетом, и что ей всегда хотелось стать мамой, и что ребенку она постарается дать лучшее из возможного, всю душу в него вложить... Волегов почти не слышал этого. Он сидел, опустив голову, будто его ударили под дых и теперь боль жжет и крутит, а вдохнуть невозможно, как ни лови воздух ртом...

И дикое, бессильное сожаление закручивало его в тугой, ноющий узел.

Как же плохо он, оказывается, знал свою жену!

И, несмотря на прожитое вместе, почему-то мерил ее общими мерками: будто она, как многие другие, не способна на такой поступок. Будто, родись у него ребенок от другой, Анята сменит любовь на ревность. Будто хочет, чтобы и у него не было того, чего ей не дано...

А ведь она всегда говорила ему: «Хочу, чтобы ты был счастлив».

Он мог бы понять, что она, с ее-то любовью и мудростью, сможет принять неродного ребенка. Мог бы, если бы не был таким идиотом...

«А, может, признаться? — мучительно думал он. — Рассказать о Викульке — и тогда разрушились бы все стены, которые я возвел между ними. Каким счастьем было бы больше не врать... никогда, никогда не врать ей!»

Вдруг вспомнился умоляющий взгляд Элины, ее таблетки, рассыпавшиеся по ступеням. И то, как она просила: «Повинись, ведь это добром не кончится!»

Он хапнул воздуха, и уже открыл рот, чтобы нырнуть в правду, как в ледяную прорубь...

Но это значило — утащить под лед Аняту.

Сердце бухнуло: раз, другой, третий...

И он не смог.

Струсил.

Потому что ее слова были как красная печать на просьбе о помиловании: «Не измена, если мы решили это вместе».

А он всё решил один.

Часть 5. Предательство

1

— Экая ты прыткая какая! Пряма собака в кошках день! — дребезжащий голос санитарки Кати Петровны звучал на тон выше обычного, и Татьяна, тащившая в ординаторскую объемистую пачку историй, невольно обернулась. Покачала головой: так и есть, опять она спорит о чем-то с Мариной Фирзиной, стоя посреди коридора педиатрии.

Как и обещала, она устроила маму Павлика санитаркой в свое отделение — сразу, как только вышла на работу. Не то, чтобы это было трудно — младшего персонала всегда не хватало, зарплаты копеечные... Но Демидова поручилась за нее. Поговорила с Инессой Львовной, которая всё еще немного дулась из-за того разговора о психиатре. Попросила, как за свою... И теперь начинала жалеть об этом.

— Я — мусор вывозить. А ты давай, генераль* девятую! — командовала Катя Петровна, упихивая в узкую каталку битком набитый прорезиненный мешок.

— У меня третью смену подряд генералка! — огрызнулась Марина, стягивая желтые резиновые перчатки. — У вас тут дедовщина, что ли? Сидят, чай пьют — одна я со шваброй в обнимку! Тяжело одной, между прочим!

— Ленивая ты опара! Подняться тебе не вмоготу! — пожилая санитарка уперла руки в боки. — У всех по пять палат на генералку! И если к сроку не успеваешь, других не виновать!

Марина отвернулась — возразить было нечего. Подхватила с пола железное ведро с красными буквами ПО** и пошаркала в мочную. На подоле ее медицинского халата желтело большое пятно. Кроссовки на ногах серели немывыми подошвами. Но покрашена она была, как на смотрины.

Проводив Фирзину взглядом, Татьяна поправила стетоскоп, висящий на шее, и пошла к ординаторской. Стопка историй оттягивала руки, будто стала еще тяжелее. Добравшись до своего стола, Демидова с облегчением сгрузила их на деревянную поверхность. И чуть не подпрыгнула от неожиданности, услышав за спиной шорох газетных листов.

Там, на диване, удобно лежал Купченко со свежим номером «АиФ» в широко расставленных толстенных руках.

— Вить, напугал!

— Ну, не заикаешься же — значит, всё нормально. Это я тебе, как врач, говорю, — глубокомысленно изрек Купченко. Спустил с дивана пухлые ноги с маленькими ступнями в черных носках, влез в тапки и прошаркал к своему столу — за кофе.

— У тебя же смена только через четыре часа! Чего тебе дома не лежится? — с улыбкой спросила Таня. Сердиться на Купченко она не умела никогда, да и учиться не собиралась.

— Дома! Дома — война! — трагически воскликнул Витька. — Окопы вырыты, подступы заминированы! Я едва вырвался из окружения!

И пояснил:

— Понимаешь, у маман очередная идея фикс. То она считала, что врачу медсестра не пара, и Тамарочка моя поскакала в институт поступать. И скоро бы ей диплом менеджера получать, а моей пенсионерке — радоваться, да куда там! Женская фантазия безгранична! Так что вчера старшее поколение заявило очередную претензию: теперь нам менеджеры не

пара. Вот была бы моей женой доктор, можно было бы врачебную династию создать! Ну, Томка это слышала. Подходит к матушке моей и тихо так, вкрадчиво: «А вы сами-то чего в свое время институт не закончили? Ума не хватило?» И после трагической паузы, как ты понимаешь, маман заорала, как сирена противовоздушной обороны.

— А ты что?

— Я! Я не мужик, что ли? — оскорбился Купченко. — Решил искать бомбоубежище и спасти любимую женщину! Тем более, что убежище, в общем-то, уже было: Тamarочкина двушка. Вот туда мы и эвакуировались.

Татьяна расхохоталась. Витька никогда не искал сложных путей.

— Но это не новость дня, дорогая моя соратница, победительница коклюшей и диатезов! — задумчиво сказал Витька, обнимая ее за талию.

— Ну-ка, удиви, — подзадорила Демидова.

— Тamarочка сделала мне предложение, и я его принял! Заметь, с первого раза! А ведь до этого я предлагался ей в мужья четырежды, и каждый раз был отвергнут! Так что мы сегодня днем посетили ЗАГС, оформили там все бумаги, и через месяц Тamarочка начнет подписываться звучной и красивой фамилией Купченко. В честь этого я отдал ей свою зарплатную карту, и она умчалась по магазинам. А я — сюда. Как-то лень уже домой.

— Слушай, вы, конечно, молодцы, что решились, — задумчиво сказала Таня. — Но мама-то как?

— Танюш, а мама пусть посидит, подумает, — посерьезнел Витя. — Я, конечно, животное терпеливое, тридцать восемь лет не брыкался. Но и мама — спасибо ей за все, но больше не надо! — в пастушку заигралась. Как-то уже пора смириться с моим выбором.

«Моя-то вот до сих пор не смирилась. Хотя... Дело с разводом застопорилось, а из-за этого и с усыновлением подождать придется. Но она даже не звонит мне после того разговора. Воспитывает», — горько усмехнулась Татьяна.

С разводом все усложнилось из-за аптек. Макс принес ей финансовые документы, показал отчетность — дела шли не очень, но муж говорил, что у других из-за кризиса еще хуже. Да и затрат было много: на одну только закупку больше половины капитала ушло. Потому что Макс нашел недорогого поставщика, но покупать там нужно было крупными партиями. Плюс зарплаты, ремонт, налоги... «Тань, аптеки сейчас можно слить только за бесценок. Дай мне пару месяцев, я найду нормального покупателя. Зачем деньги терять, лишние, что ли?» — убеждал ее Макс. И убедил. Она согласилась подождать.

— Пашку-то завтра выписываем? — прервал ее размышления Купченко.

— Да, — вздохнула Демидова.

— А чего так кисло? — удивился коллега. — Мамашка его, вроде бы, за ум взялась. Смотрю, у нас палаты намывает. А ты же ее ещё куда-то устраивала работать? Держится она там?

— Да держится... — отвела глаза Татьяна. Обсуждать Марину ей не хотелось — во многом потому, что отношения у них так и оставались натянутыми.

Таня свои обещания выполнила: и деньгами на первое время снабдила, и с работой помогла, и Павлику накупила кучу вещей. Глядя, как сын с восторгом разбирает яркий школьный рюкзак, в котором было всё — от тетрадок до готовальни — Марина радовалась: «Вот видишь, теперь у тебя оно новое! Хотя к такому рюкзаку курточку бы получше... хоть недорогую какую, но теплую».

Тане было не жаль для мальчика. Она купила ему куртку, шапку, несколько брюк и

свитеров, бельё, две пары сапожек. «Лыжи бы в школу новые... А то ходит хуже всех! И спортивный костюмчик с кроссовками — скоро снег растает, физкультура в зале будет. И компьютер нам бы, хоть старенький. Сейчас учиться-то без компьютера как?» — причитала Марина. И Таня покупала лыжи, спортивную форму, ноутбук, и даже новый диван в комнату Павлика — Фирзина так и жила в бараке, но клялась переехать при первой же возможности. Всё это, конечно, было очень здорово и очень по-доброму, да и самой Татьяне нравилось ходить по детским отделам и выбирать вещи для Павлика — тем более, что сумма на счету Демидовой позволяла делать и не такие траты. Но всё чаще ее подмывало спросить: «Марина, а ты сама собираешься сына обеспечивать?»

Но она не спрашивала. А недовольство копилось.

Впрочем, умом она понимала: Фирзина просто стремится нахапать побольше, пока халява не кончилась. Злого умысла тут не было. Ну вот такой человек, с таким воспитанием. И потом, Татьяна ведь сама предложила помощь. А, как известно, кто везет — на того и грузят.

Хуже обстояло с работой.

Демидова лично отвела Марину в магазин своей знакомой, Кате Тяпкиной, представила их друг другу. Катя Фирзину взяла. Та честно ходила на работу, и, судя по ее рассказам, волокла на себе всю торговлю. Таня была довольна. И даже жалела, что Марина не провизор — будь иначе, с удовольствием устроила бы ее в одну из своих аптек. А через пару недель Татьяне пришлось позвонить той самой Кате по личному, дамскому вопросу — хотела прикупить белья, а на ее формы лучше было сделать заказ заранее. Подруга записала все Танины пожелания, а потом сказала:

— Слушай, мне неудобно, конечно... Но ты своей протее вставь люлей, я ее гонять заколебалась! — Тяпкина выражений не выбирала.

— А в чем дело? — ощущая неприятный холодок в груди, спросила Демидова.

— Да не хотят работать, мляди в шоколаде! Как товар таскать, так нам тяжело! А как получку — легко, небось? — кипятилась Катя. — Эта Маринка задницу лишней раз не поднимет, все делает вид, что в кассе ковыряется, или товар вывешивает! А сама, чуть минута свободная, перед охранником жопой крутит. Вот вчера прихожу — как раз ее смена была — на двери табличка: перерыв пятнадцать минут, тоси-боси... Ладно, думаю. Пошла в кофейню, перекусить. Через полчаса прихожу — табличка висит! Потом Маринка выплывает, со стороны кинозалов — уж не знаю, может, и в кино успела сходить. Ага, а чё бы не развлечься? Это Тяпкина пусть аренду-охрану платит! Зарплату я ей, конечно, за тот день срезала. И вообще, хочу ее полностью на сделку перевести. Может, тогда забегает.

— Кать, если честно, я в шоке, — призналась Таня. — Видела бы ты, в каких красках она рассказывает, что плохо живет, денег нет, ребенка накормить нечем... Я ее потому и привела к тебе. Думала: надо помочь человеку, любой может в трудную ситуацию попасть...

— Ой, Тань, это такая порода людей: все ноют, ноют, а сами глазом косят — вдруг кто разжалобится, плюшку бросит!

— Не знаю... — с сомнением сказала Демидова. — У нас в отделении вроде выкладывается она. Работает, коллеги не жалуются.

— Это пока! — тоном пророка пообещала Тяпкина. Но, подумав, смягчилась: — Хотя, может быть, ей просто у меня еще непривычно... Всё новое, поди разберись — я же понимаю. Но отлучки эти... прям выбесили меня!

Скрепя сердце, Демидова все-таки вызвала Марину на разговор. Но у той, конечно, была

своя версия произошедшего. Таня даже разбираться не стала — зачем? «Ну, вылетит с работы — ее проблемы», — решила Таня. У нее уже не было ни капли жалости к Фирзиной, только раздражение с примесью недоумения: она что, вот так из своих проблем выкарабкиваться собирается? А вот Павлик... Чем ближе был день выписки, тем тревожнее становилось Татьяне.

Хорошо, хоть мальчишка окреп у них, отъелся. Ведь кроме больничного пайка — довольно скудного, что там говорить — он поглощал все, что несли, с аппетитом пылесоса. А несли ему все, потому что мальчишку жалели — и полюбили даже. Не только Таня. Купченко с Тамарочкой просиживали в его палате часами напролет. Катя Петровна забегала. Даже Инесса Львовна пару раз почтила своим присутствием, принося из дома то тающую во рту пастрому из индюшачьей грудки, то шикарнейшие расстегаи — с подушку высотой, никак не меньше.

И, конечно же, приходил Залесский.

Вспомнив о нем, Таня чуть сникла, обняла себя за плечи — будто тень над ней прошла, окатив холодком. Она не понимала его поведения. Он, вроде бы, общался с ней, как всегда — но того тепла, той невесомой, едва ощутимой близости, которая возникла между ними в тот момент, когда он дождался ее в палате с букетом роз, она больше не чувствовала. Наоборот — ей казалось, что он будто закрывается от нее. Выбрал дистанцию — и тщательно соблюдает. Зачем? «Неужели из-за того, что попросила отсрочить развод? — ломала голову Татьяна. — Но я же все объяснила... Сказала, что Макс так просил. Да и Юра сам советовал мне договориться с мужем о разделе имущества полюбовно, на берегу — и только потом подавать документы в суд».

Ее мучила эта неопределенность. И она еще больше утверждалась в мысли, что некрасива, и не интересна такому, как Залесский. А розы... Наверное, это был просто дружеский жест.

Но она все равно хранила одну, сделав ее вечной при помощи глицерина. И она стояла теперь у Тани дома — такая же красивая, как в тот день.

— Дурында, поговори с ним! Пригласи куда-нибудь, — учила ее Янка. — Проворонишь — уведут мужика!

— Ян, он не мой, и он мне ничего не обещал.

— Ну и что? Может, стесняется! А может, ревнует к твоему Максиму... — у Яны были десятки версий.

А у Тани — только сомнения. Да еще по часу-полтора в те дни, когда Юра навещал Павлика.

Остальное время — для одиночества.

* имеется в виду генеральная уборка палат в отделении

** педиатрическое отделение

Участковый пункт полиции располагался на первом этаже обшарпанной «хрущевки», только вход был с торца дома. Пройдя мимо переполненной окурками урны и потопав в тамбуре, чтобы стряхнуть с ботинок налипший снег, Залесский открыл железную дверь, выкрашенную серой краской. Осторожно заглянул в большое квадратное помещение, залитое ярким электрическим светом. Участковый — сутулый, длиннорукий, с обширными залысынами — поднял на адвоката уставшие голубые глаза.

— Привет, занят? — спросил Залесский.

Олег Симонов, с которым не приятельствовали, но были знакомы на «ты» еще со времен милицейской службы Юрия, коротко мотнул головой: заходи, мол. Дородная тетка в сиреновом пуховике, сидевшая напротив участкового, скользнула по Залесскому недовольным взглядом, и загундела Симонову:

— А я вам говорю — самогон они продают! Как вечер — так в подъезде дверь хлоп, да хлоп! У них — хлоп, да хлоп! И всё те же синие рожи туда-обратно ходят. Весь подъезд загадили, и покоя никакого!

— А я вам, Людмила Санна, говорю: напишите заявление. Или подпишите то, что я с ваших слов составлю, — утомленно закатил глаза участковый. — Как я без заявления работать должен?

— Ага, чтобы они мне дверь подожгли? Или по башке тюкнули? — с негодованием воскликнула тетка. — Олег Васильевич, да зайдите вы к ним просто... Будто проверка у вас. А меня не вмешивайте! Я и так хорошее дело сделала — сообщила вам. Всё, дальше сами!

Она поднялась и с видом «совсем работать не хотят» удалилась из кабинета.

— Вижу, ничего не меняется, — сочувственно сказал Залесский, имея в виду и поведение тетки, и обстановку УПП*: три старых деревянных стола, шкафы с папками, гигантский древний сейф в углу — с широкой ручкой-колесом, как на подложке. Засиженные мухами кумачовые шторы, запах пыли вперемешку с табачным. Убогость фанерных панелей, закрывающих стены — кажется, такая отделка были в ходу во времена Брежнева — скрашивала пара плакатов и разросшийся до невероятных размеров бело-зеленый плющ, расплзшийся по стенам толстыми, одревеневшими уже, побегами. А ведь Залесский сам принес его когда-то коллегам: пожалел малыша, бодро выставившего из горшка первую тонкую плеть в семь листиков, не дал Петровне выбросить на помойку...

— Олег, это ж сколько лет прошло?! — ужаснулся Юрий.

Симонов пожал руку адвоката и ответил:

— Ну, не знаю... Двенадцать? Пятнадцать? И да, всё по-прежнему у нас. Бумажки только меняются — отчетности в разы больше стало, — он что-то черкнул в одном из лежащих на столе журналов и поднял глаза на адвоката. — Каким ветром к нам?...

— По поводу заявления врача Татьяны Демидовой, — ответил Залесский, устраиваясь на том же месте, где до него сидела тетка в сиреновом. — Об избииении ребенка из семьи Фирзиных, которые в сороковом доме на Еловой проживают. Я тебе привозил недели три назад.

— Помню такое, — кивнул участковый. — Разбирался. Результат хреновый.

Он вытряхнул из пачки дешевую сигарету, размял ее, закурил. И, выпустив струйку дыма, продолжил:

— Опросил всех, кого мог — и все в отказ. Мальчишка на своем стоит: типа никто его не бил, сам упал, потому и синяки. Ну, с ребенком понятно — боится, мать покрывает. Но ведь она тоже говорит, что никто пацана не трогал. И что сожитель сто лет как не появлялся, типа алиби у него. Соседей я опрашивал, никто ничего не знает. Но в тех бараках контингент тот еще...

— А про этого Славу-соседа что-то получилось узнать? — нетерпеливо спросил Залесский.

— У меня, да не получится? — хмыкнул Олег. — Никандров Вячеслав Дмитриевич, шестьдесят пятого года рождения, безработный, дважды судимый. Проживает по адресу Еловая, сорок, квартира шесть. Только сам понимаешь, если уголовник со стажем, то законы знает, права свои тоже. И они же хитрые, сволочи. Вот и этот — ты говорил, что видел его в квартире Фирзиной. А он утверждает, что в то время на заработках в Тульской области был. И, якобы, тому свидетели есть.

Залесский нахмурился, пробарабанил пальцами по столу. Задумчиво спросил:

— А статьи какие у него?

— Рядышком статьи: сто пятьдесят восемь и сто пятьдесят девять, — ответил участковый. — Дважды судимый, но не за избиения, или что-то, связанное с агрессией. Сначала сел за мошенничество — в конце девяностых поддельные страховые полисы людям впаривал. Ему тогда пятерку с небольшим дали. А второй раз — за кражу со взломом. Они с подельниками ювелирку в Рязани вычистили. Никандров восемь лет на зоне отмотал, два года назад вернулся — прописан-то здесь. Освободился по отбытию срока, так что мне с ним разговаривать особо не о чем было. Вел себя тихо, вот мы не контактировали почти. И с семьей Фирзиных у меня раньше никаких проблем не было: ни они не жаловались, ни на них. Честно скажу: я их знать не знал. Да и зачем? Ты же понимаешь, мне в поле зрения обычно проблемные семейки попадают, или активные жители — вот как та, что при тебе меня атаковала. А Фирзина что? Обычная мать-одиночка с ребенком, таких на моем участке тьма.

— Понимаю. — Залесский крикнул, потер лоб рукой. — То есть ты отписал, что проверка выполнена, и доказательств нет?

— Ну а что я еще напишу? — развел руками Олег. — Что мог, сделал...

Адвокат поморщился: действительно, а что тут сделаешь? Свидетелей нет, потерпевший себя таковым не считает, подозреваемый себе алиби состряпал — и, скорее всего, железное... Ну а синяки — да любой суд при таких исходных скажет, что они не доказывают факт истязания.

— Олег, а опека что? — с надеждой спросил он.

— Так мы вместе ходили, — принялся рассказывать Симонов. — Я, представитель опеки и инспектор по делам несовершеннолетних. Сначала в больницу к мальчику, потом к Фирзиным домой. Про пацана я уже сказал. А дома что — ну да, старое всё, холодильник полупустой. Но мать работает, приводов не имеет. У ребенка своя комната, одежда-обувка, учебники. В школу он ходил регулярно, она на родительских собраниях появлялась... То есть нет такого, что матери на ребенка плевать. Но на учет семью поставили. С Фирзиной беседу провели, разъяснили, что к чему.

— Понял. Ну, хотя бы так, — сухо кивнул Залесский.

— Юрок, ты же сам знаешь — в нашем деле выше головы не прыгнуть, — устало сказал Симонов.

— Понимаю. И спасибо, — сказал адвокат, вставая со стула. — Но ты поглядывай за этой квартирой. Совсем не хочется, чтобы Никандров себя безнаказанным почувствовал и снова руки распустил.

— Ну, Юр, по мере возможностей, — пожал плечами участковый. — У меня район большой, везде успеть нужно. Да еще писанина эта...

Он с ненавистью покосился на гору папок в шкафу.

— Что ж, не буду мешать, — Залесский попрощался и вышел из УПП.

На улице было темно — фонари не горели, лишь окна дома разбросали по снегу светящиеся пятна, да через дорогу желто сиял стеклянный куб супермаркета.

Адвокат зашагал к машине, обдумывая разговор с участковым, оставивший в душе неприятный след. Действительно, сделать что-то в этой ситуации было непросто: состава преступления нет. Оставалось надеяться, что Никандров и Фирзина, зная, что их взяли на заметку, теперь побоятся плохо обходиться с Павликом.

«Только нельзя эту семейку без присмотра оставлять, — подумал Залесский. — Иначе у сожителя опять кулаки начнут чесаться, а Марина будет его прикрывать. Заеду-ка я к ним, для профилактики».

Он завел машину, включил радио. Попытался сосредоточиться на вечерних новостях, но из головы всё не шли слова Симонова: «Он уголовник со стажем, законы знает». Да, закон дело такое: на бумаге всё гладко, а вот в жизни... Поди еще, привлеки человека за совершенное им преступление, если это никому не нужно! «Никому, кроме меня и Тани, — поправил он себя. — Да и я сразу понимал, что доказать вину сожителя проблемно будет... Впрочем, мы свой долг выполнили — заявление подали, после него хоть как-то тряхнули это семейство. Но в отношении Никандрова результат огорчает... С другой стороны, если бы всех сажали только на основании заявлений — вернулись бы мы в те времена, когда любая анонимка служила поводом, чтобы взять человека, особо не разбираясь».

И еще одна мысль скользнула, оставив неприятный осадок: «Эх, если б Таня и с разводом так же решительно поступила! Но тянет. Хоть и говорит, что муж попросил дать время, чтобы с имуществом разобраться — да только кто их знает, этих женщин... Как бы не передумала».

К дому Марины он подъехал минут через двадцать. В окнах горел свет, и Залесский даже обрадовался: значит, она сегодня на выходном, и ждать у дома не придется. Хлопнув дверцей машины, пошел к подъезду, внимательно глядя под ноги — не наступить бы в одну из мартовских луж, коварно ждущих под свежим ледком. И не увидел, как дернулась синяя штора на кухне Фирзиных, как мелькнуло за ней хмурое мужское лицо.

Подъезд барака встретил его запахом затхлости и подгнивших деревянных стен. Залесский отрывисто стукнул в дверь Мариной квартиры. Она распахнулась сразу: на пороге стоял Никандров, в том же растянутом зеленом свитере и армейских штанах. Карие глаза с пожелтевшими склерами смотрели с недоброй наглостью.

— Добрый вечер. Марина дома? — нахмурившись, спросил адвокат.

— Нет ее, — бросил Слава и попытался захлопнуть дверь. Но Залесский сунул ногу в дверную щель, и, холодно улыбнувшись, сказал с угрозой:

— Тогда я к вам, Вячеслав. Не торопитесь со мной прощаться.

Никандров замешкался, на лице проступила злость, но по глазам было видно — струсил.

— Что ж вы гостей за порогом держите? — Залесский сильнее потянул дверь на себя. —

Может, поговорим?

— Беспредельничаешь, начальник! — рявкнул Никандров. — Полное право имею кого попало в дом не впускать!

— Перепутал ты всё, — хмыкнул юрист. — Ты же не в своей квартире. Это я имею право наряд вызвать. Пусть разбираются, на каком основании здесь находится чужой человек.

Вячеслав отпустил дверь, и она распахнулась. Залесский вошел в квартиру, а Никандров, демонстративно отвернувшись, прошлепал на кухню и сел на табурет у стола. Юрий бросил взгляд на пол — давно не мыт, разуваться нет смысла. И, как был, в ботинках и куртке, тоже прошел на кухню. Без спроса сел на стул, в упор глядя на Никандрова. А тот осмелился поднять взгляд лишь после того, как закурил сигарету. Не зная, что сказать, пододвинул пачку Юрию:

— Угощаю. Кури, адвокат.

— Спасибо, чужие не беру, — хмыкнул Залесский, вытаскивая свой «Честерфилд». — Ну что, поговорим?

— О чем, начальник? — осклабился Вячеслав. — Если ты из-за пацана пожаловал, так я сказал уже ментам — не было меня в городе, не пришьете вы мне это дело.

В его словах звучало плохо скрытое торжество, и Юрий почувствовал, как холодная злость растекается по телу. Залесский много раз видел таких вот, обуревающих от наглости, уродов, которым однажды удалось избежать наказания. Никто из них не собирался останавливаться. Никто! Каждый думал, что сможет снова и снова обходить закон.

Адвокат сделал глубокую затяжку.

— Сегодня не пришьем — а завтра, если повторится, по этапу пойдешь, — пообещал он. — Это я тебе гарантирую. Под личный контроль ситуацию беру. А с тобой пока по-человечески переговорить решил. Оставь пацана в покое. И женщину свою не трогай. Разве не запахло бабу бить?

— А ты, начальник, будешь тут по фене ботать, как доктор по латыни, или о деле говорить? — разозлился Никандров. — Чё надо-то?

Залесский бросил сигарету в пепельницу, сложил руки на груди и подался вперед. Под его тяжелым взглядом Никандров стушевался, чуть подвинулся в сторону. От него еле уловимо пахло страхом.

— Завтра мальчишку из больницы выписывают, — медленно и очень четко проговорил адвокат. — И я хочу, чтобы у себя дома он был в такой же безопасности, как в больничной палате. А если у тебя вдруг проснется желание распустить руки, подумай о том, что я — узнаю. Сам понимаешь, что тогда будет — или объяснить?

Никандров молча вдавил окурочку в пепельницу. Но по тому, как сникли его плечи, Залесскому стало ясно: струхнул, хоть и вида не подает.

Юрий поднялся со стула и пошел к выходу из квартиры, считая разговор законченным. Но не успел он взяться за ручку, как дверь открылась. И в квартиру, хлопнув покрасневшим от холода носом, шагнула Марина. Застыла на пороге, переводя испуганный взгляд с адвоката на сожителя. Два больших пакета оттягивали ее руки, и Фирзина чуть наклонилась, опуская их на пол.

— Добрый вечер, Марина, — учтиво поклонился Залесский. — Вам помочь?

— Спасибо, сама управлюсь, — настороженно ответила она.

— А я зашел Вячеслава к завтрашнему дню подготовить, — объяснил адвокат. —

Напомнил ему на всякий случай, что детей и женщин бить нельзя. Вы уж следите, чтобы он не забывал эту простую истину.

Марина зыркнула виновато, но — с благодарностью. Замялась, и вдруг предложила:

— А хотите Павликову комнату посмотреть? Мы ему диван новый купили!

Юрий знал, что «мы» в данном случае означало «Таня». Но от предложения отказываться не стал. Все-таки снял ботинки и прошел за Мариной к дальней двери, скрывавшейся в самом конце узкого коридора.

К его удивлению, комната мальчика оказалась чисто вымытой, убранной — в отличие от той же кухни, где был бардак. На стареньком письменном столе возле окна аккуратными стопками лежали тетради и учебники, а посреди красовался открытый, но не включенный ноутбук. Колченогий шкаф с подложенной под него толстым брусом — для равновесия — вмещал в себя игрушки и одежду: Марина охотно продемонстрировала их, открыв скрипнувшую дверцу. Потертый палас был вычищен — не пылинки. Идеально выглаженные зеленые шторы закрывали окно. Ярко-синий диван, украшенный принтом из мультфильма «Тачки», казался здесь чужеродным пятном — был слишком модным для этой комнаты, слишком нарядным. А над ним висел лист ватмана, с наклеенной на нем фотографией, вырезанной в форме сердца. С фотографии улыбался Павлик и обнимавшая его за плечи Марина. А рядом виднелись крупные буквы: «Павлуша, с выздоровлением!»

И Залесский вдруг ощутил облегчение: наверное, не все так плохо в этой семье, раз вот так подготовилась к встрече сына его бестолковая, но искренне любящая своего ребенка, мать.

— Всё очень здорово, Марина, — искренне похвалил он. И женщина просияла, даже гордость появилась во взгляде — обычно смущенном и приниженном.

Юрий вернулся к входной двери, поискал глазами обувную ложку — и, не увидев, наклонился, чтобы надеть ботинки. Его взгляд случайно упал на один из пакетов, брошенных Мариной в прихожей. Банка огурцов, пакет с замороженными котлетами, хлеб... а еще большая бутылка дешевой водки, и двухлитровка пива.

Адвокат покосился на Марину. Та, смутившись, сказала:

— Вот, набрала с зарплаты, — она явно пыталась оправдаться. И предложила: — Может, поужинате с нами?

— Спасибо, я сыт, — сухо сказал он. Попрощался и вышел за дверь.

Сожитель Марины так и сидел на кухне, даже не думая помочь ей с пакетами. Фирзина занесла их на кухню и зашептала, будто боясь, что Залесский услышит:

— Славка, чего он приходил?

— А-а, на понт меня взять хотел, — зло отмахнулся Никандров. — Думает, он здесь самый умный. Ну-ну, посмотрим... И на докторицу эту посмотрим. Слишком много эти шавки на себя берут.

*УПП — участковый пункт полиции

Засипевший баллончик с трудом выплюнул последнее облачко пены. Макс тряхнул его еще раз, нажал на крышку — и раздраженно отшвырнул бесполезную железку: та громыхнула по кафельному полу, затихла в углу. Демидов задумчиво глянул на себя в зеркало: может, вообще не бриться? Но щетина на отеком, багровом с похмелья, лице топорщилась мерзкими кустами. И он принялся размазывать пену, крася в белое щеки и подбородок. «Завязывай с бухлом, свинота! — ругал себя Демидов. — Вообще просыхать перестал, как жена из дома выгнала».

Он взял бритвенный станок и, надув щеку, провел первую линию — полоска гладкой кожи сверкнула чистотой. Еще рубашку погладить нужно... «Ч-черт, я же не вытащил их из стиралки!» — вспомнил он, и на душе стало еще гаже. Он недовольтно вздохнул: дома-то подобных забот не было, Танька всем этим занималась. А с тех пор, как пришлось съехать на съемную квартиру, помнить обо всей этой хрени нужно было самому.

«Заведи себе бабу — будет стирать, убирать, готовить. Только выбирай домашнюю клушу, а не какую-нибудь звезду», — в памяти всплыли наставления многоопытного старшего брата, сказанные еще тогда, в Самаре. Но Макс всё же выбрал Алёну. Впрочем, даже она умудрялась о нем заботиться — правда, очень по-своему. Одежду сдавала в химчистку, для уборки приглашала соседку-пензионерку. Вот шмотки ему покупать любила — это да, Макс даже начал забывать свой размер. И проблему питания решала оригинально. «Максик, ты голодный? Ужин на столе!» — радостно вопила она, когда Демидов возвращался с очередного перегона или из банка Сени Кречета. Запрыгивала на него, оплетала руками-ногами, впивалась в губы — и он запускал одну руку ей под майку, влипая пятерней в нежную, бархатистую кожу, а другой ладонью подминал ее крепкие, литые ягодицы. И, ощущая нарастающий жар в губах, груди и паху, нес этот живой клубок на кухню. Уже зная, что обнаружит там заказную пиццу, или курицу-гриль из соседнего ларька, или пакет из «Макдональдса» — но даже не посмотрит на них, пока не насытится своей Алёной.

Максим вытянул шею, придирчиво вглядываясь в зеркало. И удовлетворенно усмехнулся: ни пропущенных щетинок, ни порезов — хоть руки и дрожали, как у старика. «Надо прямо сейчас заехать в магазин, купить эту чертову пену, — решил он. — Третий день забываю... Кстати, и рубашку там куплю, да там же переоденусь».

Вытирая щеки переброшенным через плечо полотенцем, он наклонился и нехотя открыл стиральную машину. Из металлического люка пахло затхлостью, но он потянул за шкурку смятый ком одежды. Она вывалилась на кафельный пол. Верхняя рубашка осталась в руках — и Макс поднял ее, брезгливо принялся. Бросил на пол — перестирывать надо. И не забывать вытаскивать вовремя!

«Вот у Таньки всё это отлично получалась. Но она как раз и была той самой клушей, о которой говорил брат», — отметил он с ноткой сожаления. И снова кольнуло изнутри непривычное, удивляющее его самого чувство: желание вернуться домой, к жене.

«Не будь идиотом! — сказал он себе с показной бравадой. — В Самару нужно возвращаться, а не к ней. Это же мечта, мужик, ты так долго к ней шел!»

И сожаление почти прошло — но внутри ворочался червяк, грыз, не давая успокоиться.

С нарочитой небрежностью Демидов забросил полотенце на вешалку, пнул холодный

влажный ком, выпавший из стиралки, и вышел из ванной.

Съемная хата была студией — большим пространством, объединившим кухню и комнату. Когда хозяин показывал ее, Максу нравилось всё: и брутальные стены под крашенный известкой кирпич, и кожаный диван, горбившийся посреди комнаты черным монстром, и огромный телевизор напротив, и холодный блеск хромированной барной стойки с перевернутыми над ней коньячными бокалами. Но теперь понял, что, обжитым, это пространство потеряло свой шик. Здесь некуда было сложить вещи, и они расползлись по комнате неопрятными кучками. А диван в разложенном виде оказался почти непригодным для сна: глубокая впадина между сиденьем и спинкой заставляла ютиться на краю, да и белье соскальзывало с гладкой кожаной поверхности. Так что Макс постоянно просыпался злой: снизу было жарко и липко, потому что голая спина потела без простыни, а сверху — холодно, ведь за ночь одеяло оказывалось на полу.

А у Таньки в доме были только удобные вещи — он оценил это сразу же, как вселился. Да и сама она была удобной. И сейчас ведет себя, как порядочный человек: предложила отдать часть аптечной сети — это, кстати, справедливо, ведь он пахал, как бобик, все эти годы, и значительно расширил ее бизнес. А еще она пошла навстречу, согласившись отсрочить развод. «До сих пор мне верит, — удивленно подумал он. — Другая бы на ее месте сразу отстранила меня от дел. Но я все это время старательно зачищал следы, подсовывал ей такую отчетность, что не придраться... Лохня она, конечно, как и все порядочные... Так и не поняла ничего: ни о том, что деньги уходят налево, ни о том, что продать аптеки можно хоть сейчас. Вот только новый хозяин потребует аудит перед сделкой, а этого я допустить не могу».

Демидов вынул из валявшейся возле дивана раззявленной сумки чистое белье, надел трусы и носки, стащил со спинки кресла брюки. Под пиджак пришлось надеть тонкий джемпер, а галстук сунуть в карман.

Захватив ключи и мобильник, Макс захлопнул дверь квартиры и спустился к машине. До ближайшего торгового центра — пять минут езды. Специально подбирал квартиру так, чтобы до ресторанов и магазинов было рукой подать. Это Таньке всегда нравилось жить в лесу, а он — человек из каменных джунглей, ему нужна движуха, драйв, развлечения. Да, разные они с женой — не будь этого, может, и забыл бы Алёну...

«Скоро, любимая. Скоро... — мысленно пообещал он, нажимая на газ. — Я заработал почти столько, сколько нужно. А если получится добить дело с обналичкой, денег будет достаточно. Главное, чтобы Василенко не слился: боится, гад, что из-за этого развода Танька меня прижмет, и денежки «хорошего человека» зависнут на ее счету».

А сколько нужно, чтобы им с Аленой хватило на безбедную жизнь? Макс хмыкнул: с её-то способностью тратить, не считая, это было сложно предсказать. Вчера он пробежался по самарским сайтам недвижимости, подбирал дом. Коттедж на берегу Волги (солидный, с хорошим ремонтом — именно такой понравится Алёне) стоил одиннадцать миллионов. Нормально, он потянет. И на вторую машину денег хватит, а ведь Алёна захочет машину, в этом Демидов не сомневался. На жизнь, с учетом процента от Василенко, останется еще миллионов пять... Маловато, конечно, учитывая Алёнину способность махом тратить любые суммы. Да и ему понадобятся подъемные, чтобы открыть новый бизнес. Эх, если бы у него в запасе было еще несколько месяцев...

«Как некстати сейчас Танька развод затеяла», — эта мысль возникала снова и снова. А вместе с ней — страх. Ведь если раньше он спокойно жил при ней, спокойно работал,

потихоньку отжимая деньги, и, в общем-то, как сыр в масле катался — то сейчас ситуация сложилась так, что вскоре предстоит всё это бросить. И уехать к Алёне, которая... Примет ли его? Да, перед деньгами она не устоит — это единственное, что он знал точно. Об остальном старался не думать. «А надо было, — укорил он себя. — Надо. Потому что люди меняются. И я уже не тот красавчик, что раньше — да и она могла забыть меня напрочь, стереть из своей жизни, как стирают сор со стола. Но всё-таки надежда есть. Да и то, что между нами было, не так просто выбросить из памяти — по себе знаю».

Он припарковался у торгового центра, быстро поднялся на второй этаж — в отдел «Медведь», где продавались лучшие в городе мужские шмотки. Тонконогая продавщица в серебристом платье помогла ему выбрать пару итальянских сорочек в тон костюму. Переодевшись и повязав галстук, Демидов вышел на улицу. И только в машине понял, что опять забыл купить пену для бритья. Чертыхнувшись, он заглушил двигатель. И тут из телефона задребезжал пасадобль: звонила Танюха. Макс схватил трубку — спешно, будто надеялся услышать что-то, способное изменить этот день.

Но оказалось, что Танька опять носится со своей дурацкой идеей.

— Максим, я узнала, что документы на усыновление можно оформлять на одного из супругов! — в голосе жены не было привычной сухости. Она будто радостью с ним делилась. Демидов слушал ее с брезгливым удивлением, не понимая, чем тут восторгаться. А Таня продолжала объяснять:

— То есть я могу собирать их уже сейчас, до развода. А от тебя потребуется лишь согласие! Как отец, ты в документы вписан не будешь. И я тебя прошу: давай вместе сходим в опеку, узнаем все точно, и ты подпишешь бумаги. А дальше я сама.

Макс озадаченно помолчал.

— Тебе, наверное, неприятно, что я прошу о чем-то сейчас — после того, как решила подать на развод. — Татьяна говорила по-доброму, даже с сожалением — будто прощения просила. — Но ты пойми меня, пожалуйста. У нас с тобой разные представления о счастливой семье. Жаль, что я поздно это осознала. Я так хотела стать мамой — и не видела, что тебе не так уж сильно нужен ребенок. Не хочешь — что ж, имеешь право. Я не могу заставлять тебя быть отцом. Поэтому и предложила развестись, не мучить друг друга.

Макс не понимал, что удивляет его больше: доброжелательность Татьяны, или ее признание. И уточнил:

— Я правильно понял: даже если ты возьмешь его до развода, я потом не буду должен платить алименты и что-то еще делать для этого, чужого мне, ребенка? — он специально сделал ударение на слове «чужого». Пусть бывшая жена помнит, что вина за развод полностью на ней — ведь от своих детей он не отказывался, только от этой идиотской затеи взять в дом приبلудного щенка.

— Да. Официально ты будешь ему никем, — заверила Таня. Ее голос стал просительным: — Макс, пожалуйста, помоги с документами. Ну что тебе стоит? А я смогу поскорее всё оформить и взять ребенка.

— Ладно, — сдался он. — И, Тань... Чтоб ты знала. Я не такое животное, каким кажусь. Мне не все равно на детей. Только мне свои нужны, понимаешь?

— Понимаю, Максим. Это нормально, многие так относятся... А я между детьми вообще никакой разницы не делаю. Может, из-за своей профессии. А может, устроена так.

«Да, устроена она по-другому, — думал он, повесив трубку. — Вроде спокойная, послушная, даже кажется — своего мнения нет. Не если что в голову взбредет — беги,

спасайся. Добьется своего, во что бы то ни стало. Эту бы ее импульсивность, да в другое русло... Могли бы нормально жить».

И снова накатило сожаление: хорошая ведь баба, точнее — человек хороший. Жена из нее тоже неплохая была. Да и своя, родная задница под боком, привык уже за шесть лет. «Потому и менять что-то страшно: просто привычка, — напомнил он себе. — Но люблю-то я другую женщину. А вот это уже козырь, который бьет все Танькины карты».

Эта мысль успокоила, и Демидов поехал на работу. Заскочил по дороге в пиццерию, взял «Маргариту» и пару бутылок «Будвайзера»: подходило время обеда. Входя в офис, думал, что никого не застанет. Но главбух Малёва сидела на своем месте, как приросшая.

— Галина Алексеевна, пиццу хотите? — спросил Макс, снимая куртку и вешая ее в шкаф.

— Ой, я на диете, — покраснела бухгалтерша. — Максим Вячеславович, спросить вас хотела: у нас так продажи поднялись, вы рекламу, что ли, дали? Прибыль за прошлый месяц на шесть миллионов выросла!

— Да, листовки по ящикам раскидали, — кивнул он. Листовки действительно были, но так, для отвода глаз — уж он-то понимал, что от этой макулатуры толку мало. А деньги в кассы пропихивал через прикормленных продавщиц — была такая в каждой аптеке. Уже половину той суммы, о которой договаривались с Василенко, удалось забросить на счет.

— Хорошо-то как! — эта дура Малёва радовалась так, будто это ей зарплату на шесть миллионов подняли. — А всё говорят: кризис, кризис!

— Вы деньги поставщикам перевели? — спросил Демидов. Василенко ждать не любит, и, если не увидит на своем счету бабло, которое сам же и принес Максусу в виде налички, начнет дергаться, неудобные вопросы задавать.

— Конечно! — закивала Малёва.

— Ну, значит, заслужили отдых, — сладко улыбнулся Демидов. — Можете идти домой, на сегодня ваш рабочий день закончен.

Ему не терпелось остаться в кабинете одному.

Бухгалтерша удивилась, но отказываться не стала — видимо, доброта начальника показалась ей заслуженной наградой за труд. Напялив на себя пальто болотного цвета и бежевый берет, блином лёгший на голову, она почтительно расшаркалась и вышла из офиса. А Макс, погрузившись в свое кресло, нажал на кнопку компьютера.

И, дергая за кольцо на пивной бутылке, почувствовал, как нервно дрогнула рука.

— Не ссы! — громко сказал он. — Ты мужик, или говно? Бабе написать не можешь!

И зашел в соцсеть, на страничку Алёны.

Когда он сделал это в первый раз — давно, года три назад — было ощущение, будто в чужой дом попал: фотки на стенах знакомые, а вот как идет жизнь в том доме, можно только догадываться. Сейчас, не видя особых перемен — картинки «С Восьмым марта!», которыми заляпали стену Алёны какие-то бабы, не считались — Макс почувствовал привычное облегчение. Тем более, что поздравлений от мужчин не было.

Он глянул в правый верхний угол: там горел синий значок «Online».

— Ждешь меня? — нервно хмыкнул он — больше для того, чтобы подбодрить себя. Открыл окно сообщения и, уже не колеблясь, написал давно заготовленную фразу: «Привет, Алёнка. Четырнадцать лет не виделись. Я поднялся, не сдох») Возвращаюсь в Самару. Примешь?»

Его рука зависла над клавишей отправки. Всё бы сейчас отдал, чтобы стать смелее! Но

глаза Алёны смотрели с фотографии равнодушно и чуть насмешливо, и он вновь показался себе жалким слюнтяем-неудачником с парой грошей в кармане... Отхлебнул пива, будто воды — таким оно было безвкусным. Но пожар внутри разрастался, пламя текло по венам — тут хоть упейся, не затушить.

Он прижался лбом к запотевшему стеклу бутылки. И ткнул пальцем в кнопку — как с обрыва шагнул.

Страх снова сжал горло. Что она подумает, когда увидит сообщение с незнакомого аккаунта — от человека с ником Бизон? Поймет ли, кто это? Сможет ли вспомнить, как писала в той, брошенной среди объедков, записке: «Поднимешься — приезжай. Упадешь — сдохни»?

В окне сообщения появились точки — она что-то пишет в ответ! Останавливается — думает, стирает? — а потом пишет снова. От нетерпения он чуть не раздавил в руке компьютерную мышь. Ждал так, будто от этих строчек зависела его жизнь.

И сообщение пришло. Одно слово: «Максим?» И целый батальон улыбочивых смайликов. Она его не забыла.

Душа взвилась выпущенной ракетой, и будто радужным фейерверком взорвался внутри и рассыпался миллиардом искр тугой тяжелой ком — и все сомнения, неудачи, печаль, которые он носил в себе, как ранящие осколки прошлого, оказались побеждены. Облегчение накатило — будто война закончилась, и нет терпежа отстроить всё, распавшееся в куски. Он забарабанил по клавишам, торопясь, не выбирая больше слов:

«Да, я, ты меня помнишь? Я не забывал никогда, только хотел заработать и приехать, все начать сначала, а ты хочешь?»

Она ответила мгновенно:

«Макс, ты дурак, ну почему не написал раньше?»

«Ты где?»

«Я думала, ты умер!»

Сообщения летели одно за другим. А он сидел и улыбался — дурак дураком.

«Я живой. В Москве», — он слегка приврал территориально, но столичный понт дорогого стоил. — «Поднял тут бабла, нам хватит и на дом, и на всё. Ты хоть не замужем там?»

Он знал, чувствовал, что она одна — но всё же...

«Нет. Считаю, что тебя ждала», — и снова куча смайликов.

Он задумался: что ответить? Ее не поймешь — шутит, или серьезно... И решил спросить прямо. Лучше уж сейчас, хватит с него догадок:

«Всё ещё любишь меня?»

Алёна ответила сразу:

«Такое не проходит, Макс».

Он понимал, о чем она. Иная любовь — как оспа: больно, и следы на всю жизнь остаются. Сам переболел так с Алёной. На мгновение подкатила горечь, но он запретил себе думать о прошлом. Не нужно теперь этого, ни к чему помнить о плохом.

Он отправил ей ссылку на сайт недвижимости и сообщение: «Глянь пока этот дом, если понравится, купим. И жди меня, через пару недель вернусь».

А потом добавил:

«Я тоже всегда тебя любил».

И вышел из сети — не было сил прощаться.

— Эка тебе люди добрые помогли! — с ноткой зависти восхищалась санитарка Катя Петровна, глядя на пакеты, занимавшие внушительное пространство на полу палаты. — И как такую кучу вещей попрёте? Грузовик заказывать надо!

— Я отвезу, — откликнулась Татьяна. Она смотрела, как Марина подает Павлику новую одежду, купленную Таней: модный свитерок в бело-синюю полоску, по-зимнему пухлые штанишки от теплого комбинезона и ботинки — только-только из коробки. Новёхонькая красная куртка лежала на кровати, рядом — ярко-синяя вязаная шапочка и варежки в тон. Павлик — умытый, причесанный, довольный — приплясывал от нетерпения.

— Так сильно домой хочешь? — с грустью спросила Татьяна.

— Ага! — радостно закивал он. И беспокойно оглянулся на пакеты: — Мама, а работа взяли?...

— Взяли, взяли! — рассмеялась Марина. — И солдатиков твоих, и паззлы, и настольные игры... Всё взяли! А дома у тебя компьютер, и книжки, и одежда новая!

Она только что закончила смену и уже переделалась в то же светло-синее платье, что Таня видела на ней в день, когда предлагала помощь. Похоже, оно было парадным. Демидова подумала о том, что если та надела его сегодня, то считает праздничным день выписки сына. И постаралась выбросить из головы утреннюю картину: Марина шаркает по коридору с ведром и шваброй — неопрятная, с опухшими глазами и полным жвачки ртом. Накануне была зарплата — похоже, ее Фирзина и праздновала...

«Надеюсь, у нее хватит ума не выпивать при сыне», — с горечью подумала Татьяна, и поймала на себе взгляд Купченко — тот смотрел сочувственно и понимающе. Его невеста, медсестра Тамарочка, стояла рядом. Оба были сегодня на смене, так что провожать собирались только до первого этажа.

Татьяна нагнулась, подхватила часть пакетов. Остальные взял Витька. Марина засемила за ними с дамской сумкой и курткой Павлика, засунутой подмышку. Мальчик шел чуть позади, держа за руку Тamarу. Они так сдружились за это время, что казалось — мама ведет сына за руку.

В коридоре педиатрии стояла заведующая, разговаривала с молодой русоволосой женщиной, державшей за руку зарёванного карапуза лет трёх. Окинув взглядом процессию, Инесса Львовна улыбнулась Павлику:

— Ну что, герой, выписываешься? Веди себя хорошо, чтобы к нам больше не попадать.

Мальчишка зарделся, смущенно кивнул и, пробормотав: «До свидания», спрятался за спину матери.

— А вы, Татьяна Евгеньевна, специально пришли? — вздернула бровь Вяземская. — Вроде бы, не ваша смена сегодня...

— Я решила помочь, — ответила Таня.

Инесса Львовна искоса глянула на пакеты в ее руках. Из одного выпирала кабина радиоуправляемого джипа, поставленного на попу, из другого высунул бежевую мордочку забавный медвежонок.

— Зайдите ко мне на минуту, — приглашение заведующей явно относилось к одной Демидовой. Пожав плечами, та двинулась в кабинет Инессы Львовны.

Закрыв за ней дверь, Вяземская развернулась к Тане и сказала — сочувственно, но

твердо:

— Я вижу, вы всем, чем можете, помогаете этой семье. Фирзину к нам на работу устроили, о мальчике заботитесь... Это всё очень здорово. Но, Татьяна, не увлекайтесь. От таких людей можно ждать любых неприятностей.

Таня вспыхнула:

— Извините, но это мое дело — куда тратить честно заработанные деньги.

Инесса Львовна вздохнула:

— Да ваше, ваше... Только будьте осторожнее. Эта Марина... Вы знаете, что она вас грязью поливает?

— В смысле? — напряглась Демидова.

— А в прямом. Говорит, что вы на нее заявление в полицию написали. А ее заставили устроиться на две работы, потому что без этого отобрали бы у нее ребенка.

— Ох, ничего себе! — едва не задохнувшись от обиды, Таня поставила пакеты на пол — руки вдруг ослабели, отказались держать. — Инесса Львовна, да я заявление писала, чтобы ее сожителя хоть как-то к ответу призвать! И мальчика защитить. А с работами — да я же просто помочь хотела! Она мне говорила, что зарплата маленькая, на жизнь не хватает — вот я и... А почему об этом вообще речь зашла?

— Фирзина пришла просить премию, — усмехнулась Вяземская. — Наглости хватило! А я ее отчитала за внешний вид, и за то, что она плохо выполняет свои обязанности. Спросила, планирует ли она продолжать здесь работать, потому что мне в отделении лентяи не нужны. Та оправдываться начала: мол, устаю, скачу с одной работы на другую, поэтому сил нет. И слезно просила не увольнять. Говорит, если отсюда уйдет, вы разозлитесь, и тогда со второй работой тоже попрощаться придется, ведь там начальницей ваша подруга. Ребенка кормить нечем будет, и сына у нее опека заберет — а передадут вам. Говорит, органы их семью из-за того на учет поставили, что у вас там какой-то знакомый юрист — якобы вы подключили его, чтобы забрать ребенка. В общем, мексиканский сериал. Я не поверила, конечно же. Хотя, знаете, она так правдоподобно рассказывает, что слезу хочется пустить!

— Не ожидала от нее... — пробормотала Таня. Слова заведующей ранили ее, очень ранили — ведь она так старалась помочь, и что получила за это? Нет, благодарности она не ждала изначально: сразу видела, что Марина — паразит в душе. Но ей казалось, что Фирзина ее уважает. А получается, что нет. Более того, она готова обвинить Таню во всех грехах, свалить на нее вину за свои проступки. Да еще и оболгать.

Усилием воли Демидова прогнала подступившие слёзы. Обидно, да — но нужно довести дело до конца. Она ведь ради Павлика старалась, а Марина... Бог ей судья.

Таня посмотрела в глаза заведующей:

— Спасибо за информацию, Инесса Львовна.

— Пожалуйста, — кивнула заведующая. — Вы будьте начеку. И не слишком-то ей доверяйте. Мало ли, что такому человеку в голову придет. Она недалекая, вы сами видите.

— Вижу, — согласилась Татьяна.

Выйдя из кабинета заведующей, она встретилась взглядом с Фирзиной — та в своем парадном светло-синем платье мялась возле голубой стены, будто пыталась слиться с ней. На Таню смотрела заискивающе, и в то же время пристально: как чувствовала, что разговор был о ней.

— Пойдемте, — устало вздохнула Татьяна и первой зашагала к выходу.

В приемнике пришлось сделать остановку — Марина побежала с номерком в гардероб,

а Таня в раздевалку дежурантов, где оставила свою шубу. Застегнув ее на груди, она посмотрела в зеркало — хотела поправить капюшон. И остановилась, пораженная: лицо было бледным, на лбу и в углу рта залегли скорбные морщинки. Таня легко похлопала по щекам, чтобы они порозовели. Попыталась уговорить себя не принимать близко к сердцу слова заведующей. Но от мысли, что сейчас придется везти эту Марину домой, как королеву, на душе стало еще гаже. И ведь не высказать ей всё, ребенок рядом...

«Нет уж, не молчи! — сказала она себе. — Нужно, наконец, поставить ее на место!»

И от этого решения сразу стало легче. Потому что накопилось столько, что складывать некуда — как вещей в тех пакетах, собранных Татьяной для Марины из чувства сострадания.

Когда она подошла к двери приемного покоя, Фирзина с Павликом были уже одеты.

— Ну, Павлик, больше не болей! — пожелала Тамарочка, наклоняясь и целуя светлую макушку.

— Не буду, тётя Тамара! — пообещал он, подняв лукавую мордашку.

— Смотри, ты слово женщине дал, мужик! — пожал ему руку Купченко. — А если дал — держи!

— Спасибо за помощь, — раскланялась Марина. И Тане показалось, что это прозвучало фальшиво, будто с затаенной ненавистью. Она одернула себя: «Давай, всех чертей на нее повесь!» Но особого желания каяться не возникло.

Они втроем подошли к «Лексусу» Демидовой, и Татьяна, открыв багажник, загрузила в него пакеты. Павлик вертелся рядом, восторженно ухал и тархтел без умолку:

— Тётя Таня, какая у вас машина большая! И как вы ее водите, там руль такой большой! А это иномарка, да? А можно посмотреть, как там внутри устроено?

— Можно, — чуть повеселев, улыбнулась она. — Мы же сейчас на ней домой поедем. Давай, запрыгивай, и пристегнись там!

Она открыла заднюю дверь, впуская мальчишку. Он мигом прошмыгнул внутрь и завертелся на сидении, пытаясь рассмотреть и потрогать все сразу. Марина ухватила было за ручку передней дверцы, но Демидова остановила ее.

— Не торопитесь, я хочу кое-что обсудить, — сухо попросила она.

Фирзина попыталась изобразить на лице удивление, но сквозь эту гримасу явственно читались паника и трусливое желание отпереться от всего, что предъявят. Впрочем, она послушно отошла от машины вслед за Таней.

— Скажите, вы действительно считаете меня виноватой в своих проблемах? — еле сдерживая злость, спросила Демидова.

— Я?... В каких?... — пролепетала Фирзина, отводя взгляд.

— Вы сказали Инессе Львовне, что это я заставила вас устроиться на две работы, и теперь вы не справляетесь из-за усталости. Это так?

— Да она неправильно поняла! — заюлила Фирзина. — Я вам благодарна, Татьяна! Денег теперь больше стало, и сыну вы вон сколько всего купили! А работу я буду делать, мне просто время нужно, чтоб освоиться... Тут столько требований, в этой медицине — жуть! И растворы всякие, и белье вовремя менять, и инструменты по часам обрабатывать... Да, каюсь, недоглядела, пережарила шпатели — так они ж железные, чего им будет? Только крафт-бумага сгорела, а так-то в порядке они!

— Из-за вашей халатности врачам было нечем работать, — напомнила Татьяна. — И, допустим, это была ошибка, которая не повторится. Но зачем врать, что я у вас ребенка отобрать хочу?

— Ну, вы же хотели! Мы даже поругались с вами! И я не знала, что вы мне помогать решите, — запричитала Марина.

— Но почему вы об этом сказали сегодня утром, и так, будто я до сих пор хочу забрать Павлика? — не унималась Таня.

Фирзина помялась, а потом выпалила:

— Ну, простите, бес попутал! Вылетело по глупости!

И умоляюще глянула на Таню — искоса, с виной, как нашкодившая дворняга.

— Хорошо, извинения приняты, — кивнула та. — Но, Марина, я хочу еще раз подчеркнуть: вашу судьбу не я решаю. Моим делом было договориться о вашем трудоустройстве, но если вы не будете делать свою работу, то я при всем желании не смогу удержать вас ни в больнице, ни в магазине.

— Но помогать-то нам вы не перестанете? — с беспокойством спросила Марина. — Мне ведь еще Павлика тянуть и тянуть, пока школу не окончит...

— Ну, знаете, и я не собираюсь тянуть его столько лет! — возмущенно сказала Татьяна. Конечно, она понимала, что кривит душой — настолько прикипела к мальчишке, что готова была помогать хоть всю жизнь. Но будет лучше, если Марина станет больше надеяться на свои силы, нежели на чью-то помощь.

— Мальчику я все, что нужно, купила, — продолжила Таня. — С дополнительными занятиями тоже помогу, как и обещала — он хочет в карате записаться, и я готова оплачивать секцию. Но не ждите, что я буду полностью его обеспечивать. В конце концов, это ваш ребенок и вам за него отвечать. Постарайтесь создать для него хорошие условия. Вот сейчас, к примеру — мы ведь едем к вам в барак, а могли бы в квартиру. Но я не вижу, чтобы вы ее подыскивали.

— Так дорого же! И непонятно еще, удержусь я на этих работах, или нет! — Фирзина в сердцах пнула ногой ледышку. — В магазине-то этом испытательный срок. Если пройду — так сниму жилье, я же не отказываюсь! Самой, думаете, охота в этом гадюшнике кости морозить?

Это прозвучало искренне. Таня вздохнула.

— Ладно, пойдемте, отвезу вас, — сказала она.

Всю дорогу до дома Марина подавленно молчала, зато Павлик болтал за двоих: спрашивал, какая кнопка для чего, просил Таню включить то дворники, то магнитолу, то кондиционер. Но при виде родного дома мальчишка погрустнел, нахохлился, как замерзший воробышек. А Татьяна вдруг поняла — он боится. И без толку все разговоры о том, что его постараются защитить.

— Ну вот, приехали, — с нарочитой бодростью сказала она, заглушив двигатель. Из машины вышли молча, молча же открыли багажник и принялись выгружать пакеты. Поняв, что их слишком много, Демидова предложила:

— Давайте помогу занести в квартиру.

Марина почему-то оживилась:

— Давайте! А я вас чаем напою, у меня и пирог готов, с черникой! Летом вместе с Павлушей собирали!

— Нет, спасибо, я сыта, — ответила Демидова.

И уловила во взгляде Фирзиной обиду и понимание: мол, брезгует докторша-белоручка, за один стол с чернью садиться не желает...

— Я правда обедала недавно! — зачем-то попыталась оправдаться Таня, но Марина

махнула рукой:

— Да ладно! Адвокат ваш тоже вчера не захотел.

— Юрий? — она не смогла сдержать удивленный возглас. — Он был у вас?

— Ну да, — растеряно ответила Марина. — Я думала, вы его попросили...

— Нет. А зачем он приходил? — пытаясь скрыть интерес, Татьяна взяла пакеты и направилась в сторону дома. Фирзина поплелась за ней, взяв остальные вещи. Павлик понуро брел следом.

— Да Славку пропесочить, — объяснила Марина, дыша почти в затылок Татьяне. — Говорит, мальчика выписывают, не бей его. И жену не трогай.

«Даже не сказал мне, что собирается, — подумала Таня, ощущая, как внутри разливается улыбочное тепло. — А он постарался защитить мальчишку, как мог. Пусть даже для этого пришлось ехать черти куда, и разговаривать с уголовником. Хороший поступок... Мужской!»

Занятая мыслями, Таня едва успела заметить, что дверь подъезда висит кособоко, на одной петле. Демидова опасно обогнула ее. Прошла по коридору, стараясь не обращать внимания на удушливую вонь. Скользнула взглядом по хлипким деревянным стенам, подгнившему потолку — Господи, как они тут живут-то? А Фирзина, обойдя ее, уже открывала дверь квартиры.

Татьяна шагнула внутрь. Она, в общем-то, ожидала увидеть нищету, беспорядок и грязь — и предчувствия почти не обманули. У двери было натоптано, старая тумбочка в прихожей завалена мусором: старыми газетами, платежками и смятыми целлофановыми пакетами. Зеркало над ним было покрыто слоем пыли; лишь в центре чья-то рука небрежно проделала небольшое окошко — аккуратно, чтобы отразилось лицо. Потуги тусклой лампочки, силившейся осветить хоть что-то, делали обстановку еще более уродливой. Даже воздух, пропитанный кислым следом табачного дыма, казался грязным.

— Вот так и живем, — жалобно развела руками Марина. — Но вы зайдите к Павлику, у него получше! Заодно посмотрите, как я диван поставила!

Скинув сапоги, Татьяна прошла за ней, все еще таща в туках пакеты. Остановилась на пороге, глядя, как мальчишка прыгает на новом диване и кричит:

— Круто! Спасибо! У меня теперь так круто!

И острое предчувствие беды вновь затопило ее.

В гостиной Таниного дома было уютно: потрескивал камин, бордовые шторы ниспадали с высоких карнизов мягкими складками. Вокруг широкого приземистого стола вольготно расположились диван и кресла — тоже тёмно-бордовые, мягкие, с горой подушек. Над столом, плотно заставленным тарелками с угощением — нарезка, фаршированные помидоры, студень, салаты разных видов и поджаристая курица ногами кверху — витал запах праздника. И люстра горела ярко — включили, несмотря на то, что солнце еще не село.

— Танцуют все! — объявил захмелевший Купченко, повернув ручку музыкального центра. И первый бросился отплясывать под песню Сердючки: вприсядку, смешно выворачивая колени и не попадая взмахивая руками — будто по Таниной гостиной катился развеселый колобок. Посуда на столе задребезжала, а Янка, откинувшись на спинку дивана, зашлась в приступе хохота.

— Жених, вы несолидно себя ведете! — смеялась Таня. — Где вальс? Невеста хочет вальс!

Тамарочка выпрямилась в кресле, как королева на троне, и шутливо задрала нос:

— Нет уж, пусть до свадьбы продемонстрирует всё, что умеет! Вот это гопак, по-моему?

— Нет! Это танец любви! — пыхтя, вскричал Купченко. Его лицо покраснелось, полы белой рубашки вылезли из брюк, а улыбчивое лицо светилось от счастья. Тамара вскочила, поплыла к нему, взмахивая столовой салфеткой, как платочком. А Таня с Яной захлопали в ритм музыке, подбадривая будущих молодоженов.

Отпраздновать помолвку предложила Таня — давно не собирались с друзьями, всё только по работе... а тут такой повод! Да и праздника хотелось, потому что настроение в последнее время было минорным. С тех пор, как Павлика выписали из больницы, прошло уже больше недели, и Тане сильно не хватало общения с мальчиком. Она скучала, что и говорить... Они, конечно, болтали по скайпу, созванивались по телефону, который Таня купила для Паши — но ей хотелось заниматься с ним, играть, ощущать его тепло, запах, видеть, как он смеется.

И, словно в ответ на ее мысли, зазвонил мобильник. На экране высветилась фотография Павлика и Таня спешно схватила трубку. Но из-за музыки было плохо слышно, и она вышла в коридор, плотно закрыв за собой дверь гостиной.

— Паша, привет, как твои дела? — радостно спросила она.

— Татьяна, это я, Марина, — голос женщины звучал сдавленно, и говорила она торопливо, будто боялась, что услышит кто-то другой. — Вы можете Павлика забрать на пару дней? Чтобы пожил у вас.

— Конечно! — обрадовалась Таня. И тут же ощутила тревогу: — Что-то случилось?

— Славка в запое, буянит. Боюсь, как бы руки распускать не начал, — Марина едва не плакала. — Я-то ладно, как-нибудь справлюсь с ним, а вот за Павлика страшно! Пожалуйста, пусть он у вас пока поживет! Я вещи соберу...

— Так, я сейчас вызову вам такси, — вздохнула Татьяна, жалея, что не может съездить за ребенком сама. Знала бы, что так получится, не позволила бы себе даже бокал шампанского!

— И не возитесь вы с вещами, бегите отсюда как можно быстрее! — посоветовала

она. — Выходите во двор и ждите машину. А потом сразу ко мне.

Вызвав такси на адрес Фирзиных и попросив приехать как можно быстрее, Татьяна вернулась к гостям. Витька с Тamarочкой уже покончили с танцами, и теперь сидели за столом вместе с Яной. Купченко произносил тост, держа в одном кулаке поджаристую курью ножку, а в другом — рюмку с водкой. Но, увидев встревоженное лицо Тани, спросил:

— Танюшка, чего стряслось?

Она присела у камина, мешая угли. И вкратце рассказала о разговоре с Мариной.

— Вот тупоголовая! — Яна скрестила руки на груди. — Говорили же ей: гони ты взашей этого алкаша, даже заявление на него писали — нет, она его прикрыла, а теперь воет!

— Ой, знаешь, Ян, таких дур много, — возразила Тamarочка, поправляя воланы на груди белой блузки. — Прощают, надеются на лучшее. И снова синяки замазывают. Созависимые отношения — страшное дело, не дай бог в них попасть. А мальчишку жалко, страдает из-за материной дурости! Вообще, такой мальчик хороший — на удивление! Добрый, вежливый, умный... А ласковый какой!

— Ребят, извините, что так получилось, — садясь за стол, вздохнула Таня. — Праздник ведь, а тут проблемы решать приходится.

— Незачем извиняться! — воспротивился Купченко. И плеснул ей вина. — Мы все за Пашку переживаем, как за сына полка. Так что предлагаю не киснуть, а выпить за него! Только не говорите мне, что я повод для выпивки ищу. Я старый алкоголик, могу и без повода!

Сдвинутые бокалы звякнули, сверкнули под светом люстры, и Таня почувствовала, что, несмотря на тревогу за мальчика, настроение у нее улучшилось. Слушая байки Купченко, она нетерпеливо поглядывала на часы. Когда подошло время, набросила шубу и выбежала из дома — встретить такси.

Желтая машина с шашечками подъехала минут через пять. Павлик выскочил первым и побежал к Тане — обниматься. Следом вышла Марина. Ее лицо было испуганным и виноватым, платок на голове был повязан криво, спортивные штаны кое-как заправлены в сапоги, куртка расстегнута — Фирзина явно собиралась в спешке. Она протянула Татьяне большой полупрозрачный пакет, в котором лежала наспех брошенная одежда. И черную сумку с ноутбуком.

— Возьмите, а то проплет, — сказала она, опустив глаза. — Павлик потом плакать будет... Пусть лучше у вас. А школьное в рюкзаке. Вы уж, пожалуйста, отвезите Павлика на учебу, конец четверти, ему нагонять надо...

— Не волнуйтесь, Марина, — успокоила ее Таня. И, помявшись, спросила, — как же вы домой сейчас? Не боитесь с пьяным наедине остаться?

— А куда деваться? — тяжело вздохнула Фирзина. — У него ж квартира по соседству, даже если выгоню — достанет.

И добавила, будто претензию:

— Но он, знаете, злится-то не на меня, а на Павлика. Славку же из-за ребенка по ментовкам таскали! И адвокат этот ваш из-за него приходил пугать!

Таня услышала злость в ее голосе, и напонила:

— Мы не могли не вмешаться!

— Да знаю я, — отмахнулась Марина. А потом сказала, поразмыслив: — Может, и стоило Славку приструнить... Раньше-то он меня сразу за волосы бы оттащил. А сейчас второй день пьет, но не трогает. Вот только мне все равно за Павлика спокойно.

И Татьяна вдруг осознала, что Фирзина абсолютно трезва. Значит, не стала выпивать вместе с сожителем? И ребенка привезла — как могла, защитила.

За одно это ее стоило уважать.

Попрощавшись с Мариной, она пошла к дому, ведя Павлика за руку. Он крутил головой, и спрашивал:

— Тётя Таня, вы тут живете? Это ваш сад? А кто еще здесь живет?

— Мы с тобой поживем здесь немножко, — улыбнулась Татьяна. — И ты очень вовремя приехал: у нас праздник, помолвка дяди Витя с тетей Тамарой.

— А помолвка — это как?

— Они теперь жених и невеста, — с улыбкой объяснила Татьяна.

— Вау! — закричал Павлик, взбегая на крыльцо. Помпон на его синей шапке радостно подпрыгнул. А Таня, открыв перед ним дверь, подумала: нужно всё-таки помочь им с жильем, даже несмотря на потребительское отношение Марины. Потому что за мальчика страшно: сегодня Фирзина успела увезти сына, убережь его от опасности — а в следующий раз все может сложиться по-другому. Так и до трагедии недалеко.

«А если поселить их в ту квартиру, которая досталась мне в наследство от бабушки и дедушки? — вдруг подумала она. — Убрать оттуда хлам. Янку попросить: пусть сделает вид, будто она там хозяйка, поговорит с Мариной построже. И назначит оплату — чуть ниже рыночной. Тогда Фирзина перестанет ждать халявы от меня, а ребенок будет, наконец, в безопасности! А не согласится, занает, что денег нет — предложить, чтобы мальчик жил в моем доме, пока она не заработает достаточно. Пусть остальные проблемы сама решает...»

Квартира, в которой когда-то жили бабушка и дедушка, была двухкомнатной, из старого фонда: с высокими потолками, с паркетным полом, потемневшим от времени, с просторной кухней и ванной комнатой, где над пожелтевшей эмалью ванны склонила голову широкая лейка душа, стоявшего на игриво изогнутой ноге. Здесь когда-то был Танин офис — еще в те времена, когда она только-только начала развивать свою аптечную сеть. И до сих пор ютились в маленькой комнате старые кресла, для экономии места вложенные в объятия друг друга, выцветший полосатый диван с деревянными подлокотниками, гэдэеровская стенка с хрусталем, кровать и платяной шкаф. Зато в гостиной остался лишь высокий шкаф, где когда-то хранили канцелярию, обширный обеденный стол, залакированный «под вишню», да окружавшая его компания стульев. А на стене, противоположной окну, висели старые часы с боем — их нужно было заводить, поднимая гирию в форме еловой шишки. Первое, что Татьяна сделала сегодня — открыла их застекленное чрево, перевела стрелки, сверяясь с цифрами на экране смартфона: пятнадцать-пятнадцать, одно движение. А потом подняла гирию, сначала прислушиваясь к скрипу заспанной пружины, а потом к мерному стуку побежавших секунд.

Сейчас было около семи. Таня уже часа четыре болталась по этой квартире с ведром и тряпками: протирала окна и зеркала, отмывала полы — ведь в офисные времена здесь не снимали уличную обувь. Шторы решила не стирать, хотя пыли на них скопилось предостаточно. Ее дело — немного привести это жилье в порядок, с остальным пусть разбирается Фирзина. Чуть позже должен был приехать Витька с приятелем, расставить мебель. А пока его нет, можно выгрести хлам с антресолей.

Демидова пододвинула кухонный стол, осторожно влезла на него — но стол расставил крепкие ноги и даже не качнулся. Она открыла дверцы антресолей и принялась вытаскивать старые вещи. Стекланные банки, коробку с шахматами, изъеденную молью меховую шапку, оранжевую авоську с какими-то тряпками... В дальнем углу лежал большой темно-синий пакет. Она потянула его за ухо, спустила на стол — и слезла, отряхнула руки.

В пакете были старые бумаги: помятые тетрадки в дерматиновых обложках, выкройки из журналов, письма в пожелтевших конвертах — на них, в графе «Адресат» стояло имя ее матери. Таня высыпала бумаги на пол и устроилась рядом.

Выкройки, наверное, собирала мать — недаром всегда гордилась тем, что шьет себе и клиенткам самые модные наряды. Таня отодвинула их в сторону и взялась за письма: они были от бабушки и, судя по всему, написаны в те времена, когда мать работала в поселке Ляпуново, на швейной фабрике, куда попала по распределению на пять лет. Из этого же поселка был отец — именно там встретились и поженились родители Тани. И сама она тоже родилась там. Но не помнила этих мест — ведь ей было чуть больше двух лет, когда родители перебрались в этот подмосковный городок, где покойный Танин дед смог выбить для молодой семьи отдельную квартиру — ту, в которой и по сей день жили родители.

Таня наугад вытащила одно письмо, пробежала глазами по тексту. Нехитрые семейные новости: набрали ягод в лесу, подходит очередь на мебель... Зацепившись взглядом за свое имя, Таня вчиталась внимательнее. «А то, что вместе живете, так даже хорошо: свекровь и золовка за Танюшкой присматривают, будь благодарна, — почерк бабушки был ровный, пузатые буквы аккуратно нанизаны на строчку, как на ниточку. — Одной с ребенком тяжело.

Так что, дочка, ты характер свой поприжми, он ведь у тебя не сахар. Помни, что мир в семье дороже. А если совсем со свекровью не ладишь, переезжайте к нам».

Татьяна усмехнулась: похоже, это из-за матери путь в Ляпуново был им заказан. Родители и сами туда не ездили, и Таню не отправляли. Хотя многих ее подружек на все лето увозили к бабушкам и дедушкам... Но отец? Почему он никогда не ездил к своей матери и сестре? Только звонил раз в год, сухо поздравлял мать с днем рождения. И Тане давал трубку, но она никогда не знала, о чем говорить с незнакомой, по сути, чужой ей, бабушкой. С тех пор, как стала жить отдельно от родителей, она бабушку не слышала. Лет пятнадцать уже прошло.

Татьяна быстро просмотрела другие письма: ничего интересного, можно выбросить, наверное. Или увезти маме... хотя туда ехать очень не хотелось. Она подтянула к себе одну из тетрадок, раскрыла — и узнала почерк матери.

«15 мая. Сегодня нас выписали из роддома. Кормлю грудью. Таня спит хорошо».

«29 мая. Ходили с Женей и Таней на озеро. Очень жарко, я с Таней даже в озеро зашла. Ей очень понравилось, и потом спала до самого вечера. А свекровь ругалась, говорит, там грязно. Вечно придирается ко мне».

«17 июня. Шью без продыху, а свекровь ворчит, что я ребенка забросила. Обидно, ведь для семьи стараюсь, зарабатываю побольше мужа! Купила ткань алого цвета с мелкими цветочками, на китайскую похожа. Начала шить брючный костюм, как у китаек».

«1 июля. Как будто весь поселок в отпуска собрался, все платья бегут заказывать! И новые фасоны всем подавай. Примеряли с Пандорой платье, сидит прекрасно и очень идет к темным волосам».

Татьяна застыла.

Примеряли с Пандорой... с Пандорой!

Ее будто под дых ударили — живот окаменел, воздух плотным комом застыл в груди. Пальцы, словно скрюченные судорогой, вцепились в края тетради. А из-за спины потянуло холодом: будто там возник темный провал, где уже не пряталась, а вылезала из паутинчатого кокона, растопыривая осклизшие перепонки, голодная нежить.

«Бамм...» — от боя часов Таня вздрогнула, и морок слетел — но страх, заползший в ее душу, все еще перебирал ледяными коготками. Ее затрясло, тетрадка вывалилась из рук, но она подхватила ее и принялась листать, жадно вглядываясь в строки.

Даты, имена, ничего не значащие события... И пустые страницы — дневник был брошен в конце осени.

О Пандоре больше — ни слова.

Татьяна вскочила, почти бегом направилась в комнату, на ходу стягивая с себя старую футболку. Нырнула в платье, кое-как застегнула пуговицу на груди. Схватила телефон, набрала номер Купченко.

— Да мы уже у подъезда, сейчас поднимемся, — удивленно сказал тот.

Таня бросила смартфон в сумку и принялась натягивать сапоги. Едва накинув куртку, услышала стук в дверь и метнулась к ней.

— Грузчиков с высшим образованием заказывали? — деловито спросил Витька, шагнул в квартиру вслед за своим приятелем Назаром. Таня коротко поздоровалась и попросила:

— Вить, диван, кресла и стенку в большую комнату ставьте, пожалуйста. И дождитесь меня, мне к родителям надо. Простите!

— Тань, что случилось? С родителями что-то? Заболели?

— Потом! — крикнула Таня уже с лестницы. И выскочила из подъезда, едва не сбив с ног мужчину, несущего подмышкой аккумулятор от машины.

Позже она даже не могла вспомнить, как доехала в тот день до дома родителей. Взлетела по лестнице, позвонила в дверь — нетерпеливо, несколько раз подряд. Открыла мать — в темно-зеленом брючном костюме, накрашенная, с яшмовым кулоном на шее. Таня буквально вломилась в квартиру, и остановилась посреди прихожей, тяжело дыша.

— Ты чего носишься, как оглашенная? — недовольно спросила мать.

— Я поговорить хотела, — еле переведя дух, сказала Таня. — Можно?

— Ну, если ты одна, без толпы детдомовцев... — съязвила Елена Степановна, удаляясь в гостиную. Таня быстро скинула сапоги и прошла следом.

Мать уже сидела в кресле, перелистывая толстый гляцевый каталог одежды. Таня присела напротив.

— Мама, скажи, кто такая Пандора?

Вздрагнув, Елена Степановна подняла на Таню испуганный взгляд, но быстро справилась с собой. Ее лицо будто маской закрыло выражение равнодушия и скуки:

— Какая Пандора? — спросила она.

— О которой ты писала в своем дневнике, — не отступала Татьяна. — Я нашла его в бабушкиной квартире.

Мать скривилась и сказала с презрением:

— Это, как минимум, неприлично — читать чужие дневники.

— Прости, я случайно, — Таня раздраженно мотнула головой. — Скажи, кто это? Она твоя подруга, тоже жила в Ляпуново?

Мать бросила на нее странный взгляд — будто чувствуя облегчение.

— Ну да, была такая, — сухо ответила она и снова уткнулась в журнал.

— А почему Пандора? Это прозвище какое-то? — допытывалась Таня.

— Это я ее так называла, — нехотя сказала мать. — А что, красивое имя, ей оно шло. Но потом мы перестали... ммм... видеться.

— Почему? Мама, это важно.

— Не так уж важно, как тебе кажется, — отрезала мать. — Мы переехали сюда, она осталась в поселке. Считай, что судьба раскидала.

— Это как-то связано со мной?

— Почему ты всегда считаешь себя пупом Земли? — закричала мать. Раздраженно захлопнула журнал, с силой швырнула его на стол, но он скользнул и упал на пол с глухим шлепком, будто огромная жаба. — Не может быть всё в этой жизни связано с тобой, вертеться только вокруг тебя! Есть другие люди, у них свои жизни, и в этих жизнях могут происходить события, которые никак не связаны с твоим существованием. Даже в моей жизни было много таких событий. И в жизни твоего отца. Так бывает, пора бы тебе это принять!

Таня отпрянула от неожиданности:

— Мам, почему ты так разозлилась? — растеряно спросила она.

— Потому что не люблю вести идиотские разговоры.

Это прозвучало, как отговорка. Повисла тишина — Елена Степановна смотрела в темный экран телевизора, явно давала понять, что разговор окончен.

— А эта женщина со мной... занималась, играла? — снова попыталась Таня. И осторожно добавила. — Мне кажется, я ее помню.

— Нет, она не могла с тобой играть, — это прозвучало так, будто матери стало за что-то стыдно. Елена Степановна скривилась, будто от затаенных переживаний. Помолчав, добавила: — И вообще — ты была совсем маленькой, когда мы уехали. Ты не можешь ее помнить.

— Мама, пожалуйста, расскажи мне о ней! — взмолилась Татьяна.

— Нечего рассказывать! — отрезала мать. — Всё, надоело! Если ты только об этом хотела спросить, иди, мне некогда. Убираться надо!

Таня оглядела комнату: ни пылинки, все вещи на своих местах — впрочем, у матери всегда было так. Врёт она. Просто хочет ее выпроводить.

— А отец дома? — спросила Татьяна.

— Уехал к другу в Пермь, — сквозь зубы ответила мать. — Но если ты хочешь у него спросить про эту Пандору, пустой номер: он ничего нового тебе не скажет.

— У меня такое ощущение, что ты что-то скрываешь! — взорвалась Таня.

— Не ори! — подняла голову мать. — И скрывать тут нечего. Была у меня подруга... точнее, знакомая... точнее... ну, не важно! И все, нет ее!

— Умерла?

— Ну, можно и так сказать, — вздохнула мать. И спросила с подозрением: — А ты чего вообще к ней прицепилась?

Татьяна замерла. Рассказать ей?... Нет, мать и без того к ней вечно придирается, а если узнает о приступах, тут же запишет в сумасшедшие: безоговорочно и прочно. А Таня всё же надеялась, что когда-нибудь, каким-то чудом, они найдут с матерью общий язык. Пусть сейчас у них непростой период, но всё-таки... Когда-нибудь...

— Всё, иди, некогда мне, — Елена Степановна поднялась с кресла. — Давай я за тобой дверь закрою.

Татьяна молча вышла в прихожую, принялась обуваться. Мать стояла над ней, ждала. И вдруг спросила:

— Как здоровье у тебя?

— Нормально, — буркнула Таня.

— А с мужем что?

— Разводимся.

— Понятно, — пробормотала мать. И сказала — уже громче. — Рада, что у тебя все налаживается. И ты... Извини меня, за то, что не сдержалась тогда, в палате.

Таня потрясенно выдохнула. Она что, ослышалась? Мать ведь не извинялась раньше, никогда! Татьяна выпрямилась, взглянув ей в глаза. Но мать отвела взгляд, и сказала, открывая дверь:

— Ты хоть звони, не пропадай.

— Мам, я тебя простила, — невпопад ответила Таня. Елена Степановна кивнула, глядя в сторону, и Татьяна покорно шагнула за порог.

Вниз она сошла медленно, будто во сне. Добрела до машины, плюхнулась за руль. И не понимала, что поразило ее больше: то, что Пандора оказалась реальным человеком, или извинение матери.

А потом еще одна мысль вспыхнула молнией: «Если Пандора — обычная женщина, у меня нет никакого психического заболевания! Это что-то другое, как Янкин рассказ о ножах, страх перед которыми зародился в детстве — она просто забыла этот случай из-за сильного шока! А значит, что и я смогу вспомнить свой!»

И, уже не медля, она достала телефон и набрала номер психоаналитика.

Тигр, подобрившись, напряг мускулы и смотрел с натяжного потолка недобро — будто готовился к броску. Под этой громадной тварью Василенко казался придурковатым карликом-толстосумом, безвкусно украсившим своё жилище: попытка стилизовать комнату под Африку вылилась в сумасшедше-полосатые стены, сторожившую вход семью черномазых губастых идолов, да небольшое стадо эбеновых слонов на журнальном столике. Сейчас слоны тупо уставились в черную пасть лежавшего рядом с ними серебристого кейса — сюда, будто с неба, шлепались туго перевязанные пачки банкнот.

Василенко с усмешкой наблюдал за Максом, полулежа в пухлом кресле, обтянутом бежевой кожей. Держал в вытянутых пальцах тонкую черную сигарету, и шурился, прогибаясь — кресло было массажным и еле слышно жужжало, вминая железные кулачки в спину Олега. Демидов зло покосился на него. «Я б тебя тоже помял с удовольствием, расплющил бы, а потом надул через соломинку», — думал он, продолжая вынимать из портфеля деньги.

— Два семьсот, два восемьсот, два девятьсот... Три миллиона, — считал Макс, с нескрываемой ненавистью швыряя пачки тысячных купюр в кейс Василенко. Нашарил на дне своего кожаного портфеля оставшиеся банкноты и бросил, не глядя. — Еще семьдесят... Всё, в расчете!

— Что ты так волнуешься, партнер? — томно сказал Василенко, прикрывая глаза от удовольствия. — Не везет в картах — повезет в любви!

«Козел, еще и издевается, — Макс отвернулся — не хотелось видеть эту торжествующую рожу. — Повезет в любви, как же! Три ляма сдуру слил, а ведь бабла итак было в обрез... Как теперь к Алёне ехать? Зря ей тот дом показал, его уже не купить. Лохом меня посчитает... А ведь это из-за нее я вчера сел за покер!»

Он действительно пошел на риск из-за этой женщины — своей, впившейся в сердце, беды. Хотел сорвать большой куш перед возвращением в Самару — чтобы привязать Алену как можно крепче. И когда Василенко сказал, что будет игра по-крупному, согласился сразу. Ему везло в первых партиях, он выиграл почти семь миллионов... А потом спустил весь выигрыш, и, в запале, еще три своих ляма.

«Ч-черт! Ч-черт!!! — он едва не застонал, вспомнив об этом. — Вот где я теперь возьму бабла?»

— Пойду я, — Макс хмуро глянул на Василенко, вставшего с кресла, чтобы закрыть кейс.

— Давай, — кивнул тот. — Привет супруге. Она еще не выперла тебя с работы?

— И не собиралась, — огрызнулся Макс. — Сама предложила мне бизнес к продаже подготовить, а бабло поделить поровну.

Здесь он, конечно, приврал — не было сил терпеть издёвки Олега, пусть думает, что Максим Вячеславович Демидов по-прежнему в шоколаде.

— Высокие отношения! — делано восхитился Василенко, и крикнул вслед выходящему из его квартиры Максиму: — А почём прачечная?

— Лямов за тридцать отдам, — Демидов остановился у порога, глянул на собеседника: правда хочет купить, или так, язык почесать не обо что?

— Хорошо в этих аптеках бабосики отмываются, почему бы мне твой процент себе не

оставлять, если ты валить собрался? — вслух размышлял Василенко. На его крысином лице проступила жадность. — За двадцатку возьму, не больше.

— Подают у церкви, — напомнил Макс. Желания продолжать разговор у него не было: какой смысл, ведь Танька так и не оформила на него генеральную доверенность на продажу сети. Говорила, сама проведет сделку — а он, как шавка, должен был носиться в поисках покупателя. Но за двадцать лямов она продавать не захочет, это едва ли половина от реальной стоимости аптек.

— А ведь перед продажей аудит нужен, да? — с невинным видом спросил Василенко. — Это ведь будут складские остатки считать... которых по бухгалтерии в разы больше, чем в реале. Документацию проверять... Задавать неудобные вопросы... Ай-яй-яй, как печально! И, кстати, я от хорошего человека слышал, что налоговики какую-то проверку затевают. Как назло, по медучреждениям — знаешь, все эти стоматологи частные, глазники... И аптеки, говорят, тоже.

Макс почувствовал, как немеет под левой лопаткой. Страх пополз по телу, как омерзительная сороконожка — холодная, царапающая, готовая впрыснуть смертельный яд. И ощущение бессилия захлестнуло его. Так и знал, что не надо было связываться с этими деньгами! Теперь он замаран, и в крысоловке — загнали-таки в угол, чтобы отжать его бизнес за бесценок. Твари!

— Да я тебя не тороплю! — с лживой заботой сказал Олег. И добавил своё любимое: — Подумай... до завтра.

Макс со всей силы грохнул за собой дверь, надеясь, что какой-нибудь из деревянных африканских идолов рухнет на Василенко и проткнет его копьём. Выскочил из подъезда, рывком открыл дверцу своей машины и полез в бардачок — там лежала плоская фляжка с виски. Сделал жадный глоток: похрен, что за рулем, хуже не будет — некуда... Его приперли к стенке большие люди, не отдаст аптеки добром — посадят, а бизнес всё равно отожмут, это было ясно. И не будет у него ни бабла, ни Алёны, ни даже Таньки — чтобы в тюрьму передачи носить. Эх, Танька! Как, как получить у нее доверенность?...

Он ничего не мог придумать.

«Сам виноват, дурак! — подумал он, нажимая на педаль газа. — Надо было соглашаться на этого приемного ребенка, чего в позу встал? И с ней быть поласковее. Тогда ни развода, ни проблем бы не было!»

Сдавая задом, он едва не снес скамейку, растопырившую кованные ноги у подъезда Василенко. Длинно выматерился, услышав звук удара — похоже, бампер завалил. Да и плевать! На всё теперь плевать...

«Поеду к Танюхе, поговорю, — подумал он. — Может, удастся убедить ее сделать доверенность на продажу фирмы».

А тоска бродила, разбухла внутри, как ком сырого теста. И он уже не знал, что лучше: бороться до последнего, ловчить, изворачиваться, врать... или признаться ей во всех грехах? Потому что пусть его лучше судит Танюха: с высоты своего великодушия и порядочности... которую он всегда принимал за лоховство.

«Но я не смогу сказать ей про Алёну, если спросит, зачем воровал», — осознал Макс. И мысль о раскаянии умерла, едва родившись.

Он дал по газам, направляясь в коттеджный поселок — к дому, где жила его, почти уже бывшая жена. Светофоры, как сговорившись, показывали красный — и эти задержки лишь разжигали его злость. Но Макс старался погасить ее, потому что иначе разговора не

получится.

Дверной звонок не работал, наверняка опять отошел провод. Демидов забарабанил в дверь, отметив краем сознания: вот что значит, в доме нет мужских рук — электрику баба не починит. Татьяна открыла ему, вытирая руки о зеленый фартук — видно, возилась на кухне, да и духмяный запах котлет был тому подтверждением.

— Тань, привет, я проговорить пришел, — ответил Макс на ее удивленный взгляд. — Для аптек покупатель появился.

Татьяна отступила, пропуская его в дом. Из гостиной послышался чей-то голос: вроде женщина, не разобрать. Шагнув в прихожую, Макс вытянул шею, прислушиваясь — и едва не грохнулся: под правой ногой что-то хрустнуло, и она вдруг поехала вперед и вбок, как на колесиках. Демидов испуганно ухватился за стену и глянул вниз: там, полураздавленная, с корявой трещиной на крыше, лежала маленькая гоночная машинка.

Таня тоже увидела ее, вздохнула и, обернувшись, крикнула в гостиную:

— Паша! Подойди, пожалуйста!

«Что еще за Паша?» — напрягся Макс. А из комнаты выбежал белобрысый пацан лет десяти и замер, настороженно глядя на него серыми глазами.

— Павлик, вот посмотри, что бывает, когда игрушки на место не кладешь, — ласково сказала Таня, указывая рукой на сломанную машинку. Увидев ее, пацан свел брови и скривил губы, будто собирался зареветь — но сдержался, молча поднял игрушку и прижал к груди. Сказал, виновато понурившись:

— Простите, тётя Таня, я забыл... — а потом снова зыркнул на Макса, уже с обидой — понял, кто раздавил его игрушку.

— Это дядя Максим, — помявшись, сказала Таня. — Он мой муж, но живет отдельно.

— Здравствуйте, — уныло сказал парнишка. Демидов почувствовал, что не понравился ему. «Взаимно, щенок!» — подумал он, а вслух сказал:

— Здравствуй, Паша. Ты откуда такой взялся?

— Я... Мне тётя Таня разрешила здесь пожить! — ответил Павлик, будто защищаясь. И переступил, двинулся ближе к Татьяне — а она обняла его за плечи и сказала:

— Не бойся, дядя Максим скоро пойдет к себе домой.

Эти слова задели его самолюбие: жена будто специально напоминала, что ему здесь не место. В доме, к которому он так привык за шесть последних лет! Значит, теперь его место занял какой-то мальчишка?

Макс наклонился, расшнуровывая ботинки. Делал это медленно, чтобы заставить себя успокоиться. Повесил куртку на крючок — кстати, вот этот гарнитур для прихожей сам собирал! — и прошел за Таней на кухню. Она прикрыла дверь, и, выключив газ под сковородкой, спросила:

— Чай, кофе?

— Сделай кофе, пожалуйста.

Глядя, как она насыпает зерна и ставит кружку под носик кофе-машины, он всё думал о мальчишке. Какая-то смутная идея брезжила в его сознании, но он никак не мог ухватить ее, приблизить — и рассмотреть в деталях. Только понимал, что она как-то связана с этим мальчиком. И спросил, сам не зная, для чего:

— Вот этот пацан был в больнице?

— Да, — коротко ответила Таня, нажала на кнопку и кофе-машина загремела, перемальвая зерна.

— Значит, ты его всё-таки забрала? — спросил Демидов, дождавшись тишины. — И на него теперь хочешь документы об усыновлении оформлять?

Татьяна вздохнула, прислонилась к посудному шкафу, дожидаясь, пока ароматный напиток наполнит чашку. Поставила ее перед Максом, и, поколебавшись, сделала кофе для себя. Села за стол, помешивая ложечкой в чашке.

— Знаешь, это долгая история, — наконец, сказала она.

— А ты расскажи, — попросил Макс. Его голос стал ласково-вкрадчивым, а внутри все крепло чувство, что этот мальчишка и есть его шанс.

— В общем, его мать нашлась. Она, конечно, та еще ворона, но... Сына любит, да и он к ней привязан сильно. Так что усыновить я его не смогла, и документы буду оформлять, чтобы брать другого ребенка...

— А, знаешь, ты молодец! — неожиданно похвалил ее Макс. — Это я баран упрямый. Прости, не понял тебя сразу. Но сейчас, как мальчишку увидел, вопросов нет. Действительно, славный парень. И теперь понятно, почему тогда в больнице ты так завелась!

Таня глянула на него с подозрением:

— Ты хочешь сказать, что сейчас был бы за усыновление?

— Ну а почему нет, — просто ответил Макс. — И ребенку добро бы сделали. И семья бы сохранили...

Он потянулся вперед, тронул ее за кончики пальцев — и на секунду ему показалось, что жене приятно его прикосновение. Но она отдернула руку, будто обжегшись. И сказала, глядя в чашку:

— Макс, обратной дороги нет. У меня было время понять, что мы очень разные. Нам лучше порознь — и тебе, и мне.

Он смотрел на нее сверху, но видел только ровный пробор в ее русых волосах. И впервые заметил серебристые проблески седины у корней.

«Если что решила, не отступит, — понимал он. — Упрямая. Так что оттянуть развод, чтобы подсобрать еще бабла, у меня не получится».

— Я знаю, Тань, и уважаю твое решение, — примирительно сказал он. — Пусть будет, как ты хочешь. А парень-то... Почему у тебя?

— Да у матери сожитель — сволочь последняя, — с горечью сказала Таня. — Бьет мальчишку до синяков, представляешь? Я его не видела, но мне сказали, он еще и сидел! Бывший урка, не работает, над ребенком издевается, а Марина эта, Павлика мать, живет с ним... А сейчас у него запой, вот она и попросила, чтобы Паша у меня побыл несколько дней.

— Сидел, говоришь? — задумчиво переспросил Макс. — А живут они на что, если он не работает?

— Ну, я Марине помогла на вторую работу устроиться, — с неохотой ответила Таня. — Не знаю, удержится ли там... И с Павликом я помогаю, кое-что ему купила. А Слава этот, похоже, неплохо на Мариной шее устроился. Хотя, знаешь, они одного поля ягоды. Если бы я разрешила, Марина ровно так же на мою шею взгромоздилась бы, и ножки свесила. Всё время что-то выпрашивает. Даже обижается, когда я ей напоминаю, что денег не дам — только вещи для мальчика. А я не даю, потому что, во-первых, она сама должна зарабатывать. А, во-вторых, наличку они все равно пропьют.

— Так они оба выпивают?

— Она, вроде бы, при ребенке не пьет. Но, судя по всему, не отказывается от рюмочки, когда Павлика дома нет. Думаю, ее сожитель к выпивке склоняет. Да и вообще, знаешь, непутевая она, — вздохнула Таня, — ходит в синяках, ребенок избит, сбежал из дома — а всё считает, что этот Слава нормальный мужик. Представляешь, я же заявление на него написала, а полиция ничего сделать не может, доказательств нет.

— Так и сказали?

— Так и написали, — усмехнулась Таня. И кивнула в сторону подоконника: — Вон там официальный ответ лежит.

Макс поднялся, взял сложенный втрое листок, пробежал глазами по тексту. «Произведена проверка... Никандров Вячеслав Дмитриевич... Фирзина Марина Ивановна.. ул. Еловая, д.40, кв.5... кв.6... не подтвердились... оснований для возбуждения уголовного дела нет...»

— Они соседи, что ли? — удивленно спросил Демидов.

— Да, и Марина говорит, что деваться ей от этого Славы некуда, — снова вздохнула Татьяна. Допила кофе и поставила чашку в раковину. И кивнула на чашку Макса:

— Тебе еще сделать?

— Нет, спасибо, — задумчиво ответил он. И заторопился: — Тань, я пойду. У меня ж еще одно дело, совсем о нем забыл!

— А... Ты же хотел поговорить об аптеках? — удивилась она.

— Да про аптеки фигня, на самом деле. Предложили двадцать лямов за них, считаю, маловато. Просто хотел, чтобы ты в курсе была.

— Ну а что, нормальная цена, если помещения не продавать, — подумав, сказала она. — Можно ведь оставить их, чтобы сдавать в аренду.

Макс растерянно уставился на нее.

— А это мысль, — медленно проговорил он. — Я скажу ему.

«Всё-таки она далеко не дура», — думал он, направляясь к калитке. Заиндевелые шары можжевельника по бокам дорожки поблескивали в свете фонарей. Красиво Танька здесь всё устроила... Он невольно оглянулся на дом — там, за теплым светом окон, осталась Таня и чужой ребенок.

Чужой.

Макс остановился, будто громом пораженный.

Кажется, он понял, как получить у нее генеральную доверенность и прибрать к рукам все деньги.

Прямоугольная ручка чайной ложечки — антикварной, потускневшей от времени — была украшена эмалевой инкрустацией: островерхий храм о пяти головах, а понизу витиеватая надпись «Муром». И Татьяна, лежавшая на кушетке психоаналитика, всё цеплялась и цеплялась за взглядом за эту ручку, торчавшую из-за края белой чашки.

Все остальное, видимое ей с кушетки — скучный белый потолок, сходящиеся в угол стены спокойного бежевого цвета, да идеально чистый журнальный столик, на котором и стояла чашка — не могло отвлечь от течения мыслей. «Сконцентрируйтесь на своих переживаниях», — попросила в начале встречи психоаналитик Алла Нестерова — ухоженная, коротко стриженная брюнетка лет сорока, носившая широкое этническое платье. И Таня сумела, хоть и волновалась изрядно. А Нестерова сидела в кресле, поставленном справа от изголовья кушетки, и делала пометки в общей тетради с зеленой обложкой.

— ...я так и не знаю, что это за приступы. Мать не сказала мне ничего важного о Пандоре. Но, учитывая ее отношение ко мне, я даже не удивлена, — Татьяна закончила свой рассказ и выжидательно замолчала.

Нестерова перелистнула страницу:

— Вы говорили о матери и муже, как о своей семье. Но ничего не сказали об отце, — голос психоаналитика был спокойным, но в нем сквозило участие, желание помочь.

— Отец... — Таня задумалась, и сказала, будто оправдываясь, — вы знаете, он неплохой человек. Хотя лупил меня в детстве. Но я думаю, он просто не понимал, как болезненно я это воспринимаю. А еще мне кажется, его мать науськивала. Он же всегда делает, как она хочет...

— Попробуйте абстрагироваться от ваших отношений с матерью и представить, что есть только вы и ваш отец. Что чувствуете?

Таня попыталась мысленно убрать из семейного треугольника одну фигуру. Но без матери это уже был не треугольник, а прямая. И эта прямая, вдруг соединившая дочь и отца, показалась ей спасительной, живой ниточкой. Ощущение возникло странное: вдруг нахлынула радость, чувство свободы. И спокойствие, которое бывает только если...

— Знаете, он будто защищает меня! — воскликнула она, пораженная этим открытием.

— Но он же вас бил? — в голосе Аллы слышалось удивление. Татьяна понимала, что это странно. Она вновь прислушалась к себе. Представила свою семью без матери: видение было дразняще-приятным, заманчивым... безопасным. И тело вдруг отозвалось — расслабилось, голова стала легкой, будто отпустила чья-то рука, тяжело и долго давившая на затылок.

— Всё-таки основная эмоция — это чувство защищенности, — твердо сказала Таня.

— Это очень странно, — психоаналитик задумалась. — А что вы вкладываете в понятие «защищенность»?

Вопрос поставил Таню в тупик.

— Говорите всё, что приходит в голову, — попросила Нестерова. — Не надо включать логику.

— Защищенность — это... когда что-то случилось, страшное что-то — а отец пришел и порубил всё топором, — с ходу выпалила Татьяна.

— Топором? — удивилась Алла. — Почему — топором?

— Ну, это я образно, — отмахнулась Татьяна. — То есть он сильный, взрослый, и может

дать сдачи, если кто-то хочет сделать мне плохо.

— Подождите. Вы сказали — порубил топором, — настойчиво повторила психоаналитик. — Это важно. Поймите, мы не просто так выбираем слова и образы. По сути, наше бессознательное выбирает их вместо нас.

— Не знаю, что вам ответить, — Таня была в растерянности. Ей казалось, что это обычное дело — подобрать какой-то образ. Она ведь с тем же успехом могла сказать «разнёс все в щепки», «разбил в пух и прах»... Ведь смысл был одним и тем же.

Нестерова тоже молчала — ждала.

— Попробуйте порассуждать об этом на досуге, — наконец, сказала она. — А пока давайте вернемся к вашему запросу. Эта Пандора — вы никогда не видели во время приступов что-то, что могло с ней ассоциироваться? Человека, фигуру, вещь?

— Нет, — замотала головой Татьяна.

— А голос? Откуда он идет?

— Его как будто ветер приносит. Но приступы часто случались в помещении, где не могло быть ветра. Он — тоже галлюцинация, я уверена.

— Скорее всего, не всё так просто... — задумчиво отметила Алла. И попросила: — Попробуйте вспомнить голос. Чей он? Кому принадлежит? Его тембр, тон — кто бы мог к вам так обращаться?

Память услужливо вытолкнула на поверхность серое, мглистое видение: пластиковые люди-куклы бредут вдоль выгибающихся, текучих стен, ветер плюет холодом, шипит: «Ппандоо-раа»... Дернувшись, Таня распахнула глаза, прижала руку к груди, успокаивая скакнувшее зайцем сердце. «Вспомнить? Погрузиться в кошмар по собственной воле? Нет, я не смогу!», — запаниковала она. Но другого выхода не было. И она заставила себя снова закрыть глаза.

«Ппандоо-раа», — снова шепнул ветер, бросая ей это, как упрек. Злой, обвиняющий, нетерпимый, он люто ненавидел Таню. Борясь с собой и подступающим ужасом — только бы не сбежать, не сдать! — она стояла на этом ветру, а он вдруг сорвался на визг и зарыдал тонко, по-женски: «Пандоо-ора-ааа».

И Таня, открыв глаза, потрясенно выдохнула:

— Он похож на голос моей матери. И она будто напоминает, что я виновата...

Татьяна слышала свои слова, будто со стороны — так трудно было в них поверить. Но внутри отозвалось, будто заслонка отодвинулась, впустив уверенность: правда, это была правда. Пройдя по телу волной, уверенность осталась где-то в душе, придала сил. И страх перед Пандорой будто выцветал, теряя власть.

Нестерова захлопнула тетрадь и встала.

— Давайте остановимся на этом, — сказала она. — Попробуйте подумать обо всем, что открыли для себя сегодня. И еще просьба: если что-то приснится, записывайте. Будем разбирать.

Татьяна кивнула, спуская ноги с кушетки. Голова была непривычно легкой, и в то же время переполненной мыслями — странное ощущение, но его хотелось сохранить. Взяв сумку, чтобы расплатиться, она взглянула на экран мобильного: там горело четыре пропущенных вызова, и все они были от Макса.

Татьяна вынула пятитысячную купюру, и пока Нестеренко отсчитывала сдачу, набрала номер мужа. Он ответил мгновенно:

— Танюш, ну мы в опеку идем сегодня, или нет? — нетерпеливо спросил он. — А то

мне уезжать после обеда, вернусь только через две недели. Предложили путевку по халявной цене, упускать не хочется.

— Идем, конечно! — обрадовалась она. — Спасибо, что предупредил. Неохота терять столько времени.

— Тогда забери меня от офиса, я машину ремонтникам загнал.

...Здание пенсионного фонда, в котором располагались органы опеки, было вторым в цепочке одинаковых административных «кирпичей», выкрашенных в рыжий цвет, одноэтажных, вытянутых вдоль дороги. Его соседи — городской суд, полиция, комитет экологии — были столь же ободранными, с такими же решетками на окнах. Будто стоял на этой улице чиновничий поезд, застрявший в тупике.

Татьяна поставила машину у подъезда опеки. Мартовская слякоть под ногами — грязная вода, пробивавшаяся, как сквозь вату, через разбухший снег — текла сотнями ручейков, впадая в огромную жирную лужу посреди стоянки. Демидова пошла в обход, старательно ища льдистые островки: ноги мочить не хотелось.

— Танюшка! — заорал за спиной Макс. Она обернулась и увидела, как он, подняв новенький планшет — всю дорогу хвастался, что купил его сегодня, и всё развлекался с этой игрушкой, как шестилетний — фотографирует ее.

— Максим, ну перестань, — досадливо отмахнулась она. — Зачем меня-то фоткать?

— Ну как — зачем? — он подошел ближе. — Ты решила, пришла за ребенком — это же исторический момент! Я вообще буду сегодня фоткать это, потом тебе фотографии солью — вспомнишь ещё добрым словом Максима Вячеславовича Демидова.

— Пойдем уже, Максим Вячеславович! — она рассмеялась. Настроение по-прежнему было приподнятым: психоанализ всё-таки помог, внутреннее ощущение стало другим — словно надежда справиться с кошмаром переросла в уверенность. Всё ещё улыбаясь, Татьяна потянулась к мужу, беря его под руку — так меньше шансов поскользнуться в этой грязи. А Макс накрыл ее руку своей ладонью и заботливо, осторожно повел. Перестав смотреть под ноги, она подняла голову, подставляя лицо слабому, как ребенок, весеннему солнышку.

И увидела, что впереди, холодно глядя на нее, стоит Залесский.

От духоты, наполнявшей зал суда полумертвым, пропахшим чужим дыханием, воздухом, у адвоката разболелась голова. Заседание длилось почти три часа, потому что дело было запутанным: убийство, которое Залесский квалифицировал как непреднамеренное и добивался изменения статьи. Хотя прокурор и вереница свидетелей обвинения — гневных, ноющих, заискивающих с судьёй, но путающихся в показаниях, или гнущих одну лживую линию — пытались помешать этому. Обычное дело. Все выполняют свою работу: официальную — или ту, за которую что-то пообещали.

В итоге даже у судьи голова пошла кругом, и он объявил перерыв. Залесский вышел на улицу — хоть воздухом подышать, да перехватить что-нибудь в ближайшем кафе, ведь процесс наверняка продлится еще часа три — и побрел от здания суда, погрузив в карманы зябнувшие руки. Он всё думал о своем подзащитном, насмерть придавившем задом «газели» родного брата: тот, вжатый в стену тремя тоннами стали, погиб моментально — сломанные ребра проткнули легкие и сердце. Вроде бы несчастный случай, но... Обвинение говорило другое: об оставленном братом наследстве, о жене подсудимого, которой требовалась дорогостоящая операция, о крупных долгах этой семьи... «Искать виноватых — не мое призвание, — думал Юрий, медленно продвигаясь по залитому талой жижей тротуару. — Конечно, я давно расстался с иллюзией, что в каждом человеке есть хорошее — некоторые прекрасно обходятся без оного. Но, всё же, я склонен оправдывать, а не обвинять. И если есть хоть малейший, призрачный шанс, что человек не виновен, моё право — докопаться до истины. Моё право».

Обернувшись на звук подъезжающего автомобиля — не обрызгал бы! — он вдруг узнал машину Тани. Сердце радостно ёкнуло: наконец-то! Ведь он не видел Татьяну уже пару недель — с тех пор, как выписали Пашку, не было предложения прийти в больницу. Залесский остановился, дожидаясь, пока она припаркуется и выйдет из авто.

И она вышла, запрыгала на цыпочках по снежной мяше почти ему навстречу. А за ней из машины вылез высокий смуглый мужчина в черном меховом кепи и стильном пальто, нелепо висевшем на его сутулой фигуре. Мужчина что-то крикнул, подняв планшет, и Залесский понял: он фотографирует Таню. А она — веселая, вполне довольная жизнью — по-свойски тянет его к себе и берет под руку.

Душу окатило такой печалью, что была бы рядом лужа поглубже — утоп бы в ней, не пожалев себя. Мысли заметались: уйти, остаться, сделать вид, что не замечает ее? И кто этот мужик рядом с ней, и почему, черт возьми, они идут в такой близости?! Гнев вперемешку с болью поднялся мутной волной, но Залесский подавил его — какой смысл переживать, она взрослая женщина, и она ничего ему не обещала... А ведь он думал о ней всё это время — и отгонял мысли, не разрешая себе размечтаться и твердя бесконечное: «Пусть сначала сделает выбор, пусть решит с разводом!» Геля вот — так и не решила, и это всем вышло боком.

Татьяна повернула голову и заметила его, мигом опознала в этом весеннем хаосе — среди фигур в нахохленных пальто, неуместно ярких рекламных тумб и черных кустов, тянувших к небу длинные голые ветки. И Залесский увидел, как ее глаза сперва расширились от радостного удивления — а потом потухли, погашенные неловкостью, и сделались беспомощными от растерянности. На мучительно долгий миг ему показалось, что она

пройдет мимо, сделав вид, будто они не знакомы.

Но она не прошла. Двинулась к нему, что-то сказав мужчине — а он, идущий рядом, с каждым шагом делался все мрачнее.

— Привет, — чуть улыбнулась Таня. И, с сомнением глянув на спутника, всё же попыталась соблюсти приличия. — Знакомьтесь: Максим Демидов, мой муж — а это Юрий Залесский, спаситель Павлика.

Пришлось протянуть руку. Демидов сжал ее чуть сильнее, чем следовало: будто злился или ревновал, и давал понять, кто здесь сильнее. Но Залесский сжал его ладонь в ответ, чувствуя, как слабеет хватка противника — не зря в часы раздумий занимал руки эспандером.

— А мы вот в опеку собрались, за документами, — бодро сказала Татьяна, чувствуя, что молчание становится слишком густым — как предгрозового воздух. — Я узнала, что одна могу выступить в роли усыновителя, просто нужно согласие супруга.

— Да, это так, насколько я знаю, — кивнул Залесский. А на языке всё вертелся вопрос: а как же развод, ты, случаем, не передумала? Ведь, может быть, ты возьмешь ребенка — и муж привяжется к нему, и незачем будет расставаться... Внутри свербило невысказанное, и Юрий решил:

— Татьяна, можно тебя на минуту?

Но ему ответил Макс:

— Нет, мы опаздываем.

— Извините, я не к вам обращаюсь, — твердо сказал Залесский. В темных глазах Демидова плеснула злость. А Таня замешкалась, скользнув растерянным взглядом по лицам мужчин, но решительно выдернула руку из-под локтя мужа и шагнула к Юрию.

— Как у вас с мужем дела? — спросил он, глядя на нее сверху. Повернувшись к Демидову боком, чтобы скрыть Таню плечом, он всё же держал его в поле зрения: мало ли, что выкинет, стоит быть начеку.

— Макс согласился помочь мне с ребенком, — ее улыбка светилась радостью. Чуть, понизив голос, Татьяна отметила: — Всё-таки он не такой плохой, как я думала. А в остальном у нас всё по-прежнему. Но аптеки так и не проданы, он только через пару недель за них возьмется, и мы...

— Таня, время! — крикнул Демидов. И Залесский тоже подумал: время, сколько его пройдет, прежде чем она решит окончательно? Пытаться что-то сделать, и всё-таки сделать — кардинально разные вещи.

Она легко коснулась его руки, прощаясь. И пошла к мужу — торопясь, уже не глядя под ноги, словно перестав беспокоиться о такой ерунде, как промокшие ноги. Залесский отвернулся и вытащил из кармана сигареты.

Тоска снова напала, как злая от голода собака — вгрызалась в душу, мотая лобастой пёсией головой, всё крепче сжимая челюсти. «Уеду, уеду к чертовой бабке! — решил он, словно уламывая эту муку отпустить, отцепиться хоть ненадолго. — Заберусь на озеро подальше и поглуше — так, чтобы никаких удобств, и самому решать, как согреться, наловить рыбы, добыть воды. Проморожу себя насквозь, оглохну от тишины, хапну забот по самое горло — чтобы осталось только желание выжить, и никаких мыслей о ней. Пусть решает, она сама должна решить, что делать со своей жизнью. У нее тоже есть право докопаться до истины».

...Через несколько часов он, загружая в машину раздувшийся бока рюкзак и дедовы

рыболовные снасти — облезлый, спиленный на скос деревянный ящик, темно-зеленую брезентовую палатку, спальник, ворох одеял, ножовку, котелок и тонконогую буржуйку с разборной трубой — Залесский всё думал, почему так гадко на душе. Из-за проигранного процесса? Подаст апелляцию, так что надежда есть. Из-за Демидова, который смотрел так, будто у него пытались отобрать его собственность? Плевать на него, пусть бесится. Из-за Таниных слов? «Он не такой плохой, как я думала», — сказала она, улыбаясь по-доброму, так светло и безыскусно, как умела только она.

Залесский почувствовал себя бесконечно уставшим, опустошенным — будто долго шел куда-то, нес что-то ценное, но по пути растерял всю поклажу. И понял это, так и не дойдя до цели — к которой теперь, в общем-то, бессмысленно было идти.

Он глянул в сторону дома и махнул рукой Петровне, стоявшей возле окна. На подоконнике сидела вся кошачья братия — треххвостая, двенадцатилапая. Провожали. Залесский сел за руль, сунул ключ в замок зажигания — машина заурчала, готовая тронуться в путь. Юрий защелкнул ремень: он косо лег через старую дедову телогрейку — ту самую, в которой Таня приняла его за бомжа.

И решительно отключил телефон — чтобы не мучиться, даром ожидая ее звонков.

Ультрамариновый платок тонкой вязки уютно обтекал плечи, делал пронзительнее и глубже синеву Марининых глаз. Она повернулась, горделиво выгнулась перед пыльным зеркалом.

— И платье примерь, — ворчливо сказал Никандров, бросая на продавленный диван хрусткий прозрачный пакет. — А то всё жалуешься, что денег не приношу. Вот, бери, и будь благодарна!

Рядом с пакетом плюхнулась ополовиненная пачка тысячных купюр.

— Слав, откуда? — Марина радостно взвизгнула и схватила пачку. Зеленые бумажки зашуршали в ее руках.

— А потому что добытчик в доме! Кто ты подогреет, как не мужик твой? — продолжал ворчать Никандров, но было видно, что ему нравится эта роль: денежного, крутого, пришедшего к своей крале с подарками. Он кивнул в сторону желтого пакета, оттопырившего целлофановые ручки: — На стол собери, сбрызнуть надо. Повод есть.

— А платье? — взмолилась Марина. — Я быстро, Славик!

— Ладно, сам, — он поднялся, взял пакет и потопал на кухню, тяжело впиваясь пятками в дощатый пол. А она вытряхнула на диван трикотажное, синее, в крупных белых цветах, платье. Быстро переделась, и, застегивая на талии белый пояс, вернулась к зеркалу. Аляповатость ткани, крупные складчатые кружева, свисавшие вдоль V-образного декольте, нелепый волан на подоле — всё это немного смущало ее. Непривычный фасон, она такое не носила. Но платье было новым, да еще и даренным. И на душе стало радостно: ценит ее Славка и любит, кто бы что ни говорил... Вот и Демидова эта всё талдычит: беги от него, да беги. А чего бежать-то, когда всё налаживается? Марина презрительно фыркнула. Набросив на плечи платок и спрятав деньги в шкафчик, под стопку выцветшего постельного белья, она пошла на кухню.

— Слав, спасибо! — она прижалась к спине сожителя, обвила его шею рукой, погладила колючий ёжик волос на бычьем затылке.

— Спасибой не отмажешься, — он повернулся, тяжело шлепнул ее по заду, и подтолкнул к табуретке. — Садись, выпьем по маленькой.

«Ох, не надо бы ему пить на старые дрожжи, потом неделю не остановится», — поморщилась Марина, но покорно села, зная, что отговаривать бесполезно. Да и самой хотелось праздника.

На столе уже стояла бутылка водки с высоким горлышком, банка шпрот капала маслом с оттопыренной крышки, а Славка рубил на старой деревянной доске колбасу и хлеб, сгребал на тарелки. Отодвинув доску, уселся, налил по полной рюмке. И сказал привычное:

— Ну, чтобы жись — аж держись!

Марина залпом проглотила водку, обжегшую пищевод, впила зубами в бутерброд — пригасить жар во рту. А он уже разливался по телу, принося с собой светлую, радостную благодать. И, чтобы продлить это чувство, она тут же потянулась за второй.

Чокнулись, выпили. Лицо Никандрова подобрело, глаза смотрели ласково, любя. И Марина снова решила спросить:

— Слав, так откуда деньги?

— Работенка подвернулась, — осклабился он. — Нашел я свой «горшочек, вари»,

Маринка! Всё на мази теперь. Вскорости еще бабосиков принесу.

Он глубоко затянулся, выпустил дым и добавил:

— Это была хорошая новость. Но есть и хреновая. Ты выпей, выпей, заскучала рюмка-то...

Марина выпрямилась, чуя неладное. Он вытащил пачку «Явы»:

— Бери, разговор непростой.

— Да не тяни ты! — раздраженно сказала она, беря сигарету. Курила редко — денег было жалко, но сейчас Славкино поведение заставило ее разволноваться. А он вытащил из-за пазухи несколько блестящих фотографий, бросил на стол и сказал, глядя ей в глаза:

— Докторша Пашку твоего забрать хочет. Уже в опеку сбегала, документы подписала.

Оторопев, Марина кончиками пальцев потащила на себя верхнее фото. Татьяна на фоне облезлого здания, вывеска «Отдел опеки и попечительства». Она же за столом, с бумажкой, озаглавленной: «Список документов на усыновление». На третьем фото она писала какое-то заявление, на четвертом — беседовала с тёткой-чиновницей, сидевшей за широким столом. Марина охнула, схватилась за горло:

— Да как же... Слава! Откуда это?

— Добрый человек предупредить решил, что докторша понт готовит. У него на нее свой зуб. Так что, мать, считай, одна ты осталась, — с грустью сказал Никандров.

— Да что ж она к моему сыну прицепилась-то? — едва не плача, вскрикнула Марина. — Своих бы рожала, или из детдома кого взяла! Что делать-то, Слав? Пашка ведь у неё сейчас!

— А ты накатай на нее заяву, — посоветовал он. — Она ж на тебя подавала! Вот и ты её той же метлой! Напиши, что она ребенка у тебя украла. Менты ее быстро закроют, а тебе пацана вернут. Она потом и близко не подойдет, к Пашке-то. Побойтся.

— Не... Это как-то... Может, она добром отдаст, — воспротивилась Марина, и тут же поняла, что не верит в это. Память вынесла массу мелких деталей, будто всплывший со дна сор: как ласково Демидова обращалась с Павликом, как баловала его, задаривала, угождала... Приручить хотела, чтобы отбился от дома, мать родную забыл — теперь это было ясно.

— Вот тварь! — Марина выругалась и решительно встала. Страх прошел, сменившись желанием отомстить. Лицо Фирзиной скривилось, таким горьким было открытие: — А я-то всё в толк взять не могла, чего это она ради нас так старается, помогает, вещи покупает!.. К ней поеду. Если надо будет — силой мальчишку заберу.

Сожитель хмыкнул:

— Ага, она дверь не откроет, а ты спалишься. Докторша накатает еще одну заяву, заплатит кому-нибудь, и всё, трындец! Лишат тебя, Маринка, материнских прав. Лучше на неё вперед напиши, тогда у неё шансов не будет.

— Но как я такое напишу? Сама же ей Пашку увезла... — растерялась Марина.

— Ну и чё, скажешь — она обманом заманила, теперь не отдает. Свидетелей-то нет, а пацана у нее менты найдут. Тебе поверят.

Он задумался, и добавил:

— А вообще лучше молчи про это, напиши — пропал ребенок, считаю, что его похитила такая-то, адрес ее укажи... Легавые тебе сына на блюдечке поднесут, и докторшу ты проучишь. А насчет денег не беспокойся, не нужны нам теперь ее деньги, свои есть.

И уже в прихожей, пытаясь попасть в рукав своей старой куртки — и промахиваясь раз,

другой, третий, Марина всё крутила в голове одну и ту же мысль: «Не жалко, никого не жалко, и плевать на всё — лишь бы вернули сына».

— Лови, тётя Таня! — лицо Павлика раскраснелось от морозного воздуха, шапочка сбилась на затылок, открывая светлый мальчишечий лоб. Татьяна вытянула руки, принимая летевший мяч, но он не дался — шаловливо прыгнул в сторону и покатился по крупитчатому, поблескивающему в свете фонарей, насту, играя синей полосой на красном резиновом боку.

— Павлик, ну всё, хватит, — засмеялась она. — Совсем загонял тётю Таню!

— Ещё немноооожечко! Пожааалуйста! — заканючил он.

— Ладно, еще десять минут, а потом ужинать и доделывать уроки, — смилостивилась Татьяна.

— Йе-хуу! — радостно взвизгнул мальчишка и запрыгал по сугробам, проваливаясь в покрытый корочкой снег. Дотянулся до мяча, и, развернувшись на месте, бросил его Тане, смеясь от удовольствия и азарта. В тот же миг кто-то требовательно загрохотал по металлу калитки, и бил в нее — со всей дури, будто пытаясь проломить тяжелым сапогом — до тех пор, пока Татьяна не подняла засов.

Трое полицейских, Марина, дуло пистолета — Тане в лицо. Сила и грубость, заломившая её руки за спину. Тычок в спину. Грязные берцы, оказавшиеся перед глазами. Маринин вой — уже где-то сзади, протестующий крик ребенка. И равнодушный мужской голос:

— Гражданка Демидова, вы задержаны по подозрению в похищении несовершеннолетнего, статья сто двадцать шестая уголовного кодекса.

Он говорил что-то еще, но до нее — будто сквозь тягучий вой ветра — долетали лишь обрывки фраз: право на услуги защитника... право на один телефонный звонок... уведомление родственников... право отказаться от дачи объяснений... А холод наручников, впившихся в запястья, затапливал тело — и ее затрясло так, что зубы мелко клацнули, но она всё же смогла выдать:

— Я же никого... Это она попросила...

— Тётя Таня! Отпустите тётю Таню! — рыдающий мальчишка впечатался в нее с разбегу, крепко обхватил сбоку, замолотил рукой, пытаясь оттолкнуть полицейского — но Марина, подскочив, отдирала его руки и визгливо вскрикивала: «Папа! Уйди! Я — мама! Я!» Но он оттолкнул ее и крепче прижался к Тане:

— Она хорошая, отпустите! — закричал-заплакал мальчишка, и этот его плач словно разморозил Татьяну. Она распрямилась, вперилась взглядом в лицо полицейского и твердо сказала:

— Вы не имеете права. Фирзина сама попросила, чтобы ребенок пожил у меня.

— Ах ты тварь! — закричала Марина. — Ничего я не просила, господин полицейский, она сама его сманила! Сначала отобрать хотела, заявляла на меня! А не получилось — так она втихушку сына увела, дрянь такая!

— Разберемся, — безучастно бросил полицейский, крепко взял Таню за локоть, подтолкнул к калитке. И от этого толчка ее ноги подогнулись, она неуклюже рухнула в подтаявший, грязный снег, и он обжег лицо, а руку прострелила боль — то бесцеремонно дернул её за плечо полицейский, злобно гаркнув: «Встаё-о-ом!» К нему подскочили другие, подняли ее, как деревянную чурку, схватили под руки и поволокли по дорожке родного дома

туда, где за калиткой фырчал и плевался вонючим дымом полицейский «бобон» с распахнутой задней дверью. И его зарешеченное окно, как магнитом, притянуло взгляд Тани и захлестнуло ее душу ужасом. А в следующий миг железная решетка изогнулась, становясь пластиковой, ненастоящей, и сама машина стала большой кривобокой игрушкой, зачем-то приклеенной к вздыбившейся волной дороге. Огромная кукла-полицейский обратила к Тане мертвое лицо — а ветер хлестнул, едва не сбив с ног, обвиняюще зарыдал: «Ппан-дооо-рааа!» Таню толкнули вперед, грубо подцепив жесткими пластиковыми клешнями — и она дернулась из последних сил, хрипло крича:

— Куклы, куклы, куклыыыы!..

И нырнула во мрак, будто в смерть.

Свет резанул по глазам, и Татьяна застонала, отвернув голову.

— Очухалась! — в незнакомом мужском голосе явственно слышалось облегчение. — Я уж подумал, кони двинет. Гражданочка! Проснись!

— Да оставь ты её, Тетерин, — недовольно пробасил другой. — Сейчас психиатр приедет, разберется.

Разлепив веки, она попыталась рассмотреть стоящих над ней мужчин. Оба были мелкими, щуплыми, коротко стриженными, в одинаковой форме — будто нарисованные под копирку. Татьяна лежала на чем-то холодном и жестком, под белым потолком, посреди которого набухла мозоль фонаря. И железная решетка, обтекавшая его и прикрученная к потолку болтами с толстыми шестигранными головками вдруг помогла вспомнить.

Полиция. Она в полиции! И когда её забирали, явилась Пандора. А потом пришла вновь — в тот момент, когда Татьяну поместили в камеру ИВС*: маленькую «одиночку» со стенами цвета рвоты. Оказавшись в этом узком бетонном гробу за закрытой железной дверью, Таня, одурев от страха, стала биться в неё всем телом. Ледяной вой Пандоры разрывал её уши, плотный ужас давил сзади, и она билась в дверь, панически боясь оглянуться — а потом опять потеряла сознание.

— Отпустите меня, пожалуйста... Я не виновна... — умоляюще забормотала она, и полицейский, стоявший слева, ответил почти участливо:

— Да не волнуйтесь вы так, гражданка. Не виновна — значит, отпустят. Скоро вас следователь пригласит, будет во всем разбираться.

— А позвонить... ведь можно? Мне говорили — один звонок... — язык шевелился с трудом, будто стресс сделал её пьяной.

— Следователь разрешит, не беспокойтесь, — заверил полицейский. — А сейчас врач придёт, поможет.

— Не надо... врача... — всхлипнула она, уже понимая, что ее никто не послушает, и почти задыхаясь от бессилия. Слезы потекли по щекам, не останавливаясь, потому что с этой неповоротливой, инертной машиной, которую называют системой правосудия, лучше было бы не встречаться — а она встретилась. И теперь поди докажи, что их столкнули специально.

Дверь лязгнула, впуская дуэт шагов — широких, уверенных мужских и дробящих каблучками женских. Полицейские расступились, и Таня, задрвав голову, увидела сквозь слёзы ярко-синий рукав форменной медицинской куртки и белую полу халата, торчавшую из-под неё. Врач подошел ближе, заглянул ей в лицо и крякнул от удивления:

— Так-так, Татьяна Евгеньевна... А говорите, приступов у вас не бывает.

На нее, надменно улыбаясь, смотрел свысока психиатр Новицкий. Очки на его полном лице блеснули слюдяным холодом. Он присел на Танины нары, сжал её запястье, нащупывая пульс и замер, склонившись над наручными часами.

И веяло от него торжеством человека, всё-таки оказавшегося правым.

— Машенька, феназепам внутривенно, один кубик, — скомандовал психиатр. Каблучки зацокали, и Татьяна увидела, как к столику у стены подплыла молоденькая светловолосая медсестра с тощей косичкой-дракончиком. Сдвинув лежавшие на нем листки бумаги и дешевую черную авторучку, водрузила на стол продолговатый ящик с лекарствами.

Покопалась в нем и подошла к Тане, неся в поднятой руке маленький шприц с длинной, закрытой колпачком, иглой. Та куснула за руку, и медсестра удалилась к своему ящику, зашебуршала в нем, зазвякала склянками. А Новицкий, положив ногу на ногу, спросил:

— Ну что, на этот раз без вранья?

Татьяна отвела взгляд — было стыдно. Во рту прокисло от лекарства, голова стала легкой, тело — расслабленным. Она попыталась сесть, и отметила краем глаза, как один из полицейских двинулся было к ней. Новицкий поднял руку, останавливая его, и спросил:

— Может быть, вы оставите меня наедине с пациенткой? Она не будет бузить. Ведь не будете же, Татьяна?

И она затрясла головой, горячо желая, чтобы полицейские ушли и хотя бы на несколько минут оставили её в покое. А потом, когда и медсестра по указанию Новицкого потащила свой ящик в «скорую», Таня вывалила ему всё: про Пандору и её странный пластиковый мир, способный напугать до полусмерти. А ещё — про психоаналитика. И сразу пожалела об этом, потому что Новицкий оборвал её, хмурясь:

— Имейте в виду, психоанализ не лечит шизофрению.

— Какую шизофрению? — опешила Таня. — У меня её нет!

— Есть. К сожалению. — Новицкий сказал это так, что стало ясно — сожаления он не испытывает.

— Неправда! — мотнула головой Таня. — Это явно что-то другое!

— Нет, это просто одна из её форм: рекуррентная, то есть периодическая, — заявил Новицкий, высокомерно глядя на Татьяну. — Кстати, вы зря боитесь. Эта шизофрения — одна из самых благоприятных по течению и прогнозу.

— Да этот диагноз — крест! На жизни, карьере, на всём! — гневно выдохнула Татьяна.

— Не надо утрировать, — психиатр поморщился и принялся загибать пальцы: — А симптомы налицо: отсутствие изменений личности, депрессивное состояние перед приступом, бред и аффект во время оного.

— Но я консультировалась с профессором в институте, — запротестовала Демидова. — Приступы рекуррентной шизофрении длятся от недель до месяцев, а у меня это — мгновения! И нет таких признаков, как бессонница, онейроид...

Новицкий не стал её слушать.

— Татьяна, в психиатрии всё очень индивидуально. Вы же врач, обязаны понимать! — брезгливо сказал он. — К сожалению, я вынужден поставить именно этот диагноз. И если бы не ваше враньё при первой встрече, я бы сумел вам помочь.

Он смотрел на неё, как учитель — на школьницу, о которой давно говорил: надо исключить, таким здесь не место! Но его не слушали — и вот результат. А ведь он был прав, прав! Это — самое важное! А вовсе не то, что будет с её жизнью...

— Вы заберёте меня? — упавшим голосом спросила Татьяна.

— Сейчас не вижу повода для госпитализации, — пожал плечами Новицкий. — Прописанные мной лекарства вы сможете принимать и здесь.

Он поднялся, расправил полы халата. Глянул на неё с нескрываемым чувством превосходства, и, сухо кивнув на прощание, пошел к выходу.

— И всё-таки вы ошибаетесь, — сказала она ему в спину, из последних сил сохраняя твердость духа.

Психиатр обернулся, глянул на нее поверх очков — уничижительно, как на вошь.

— Я — профессионал, — проговорил он. — У меня есть результаты вашего

обследования, что позволяет исключить эпилепсию и органическое поражение мозга. А описания приступов вполне подходят под диагноз «рекуррентная шизофрения». И потом — вы же украли ребенка. Кто сделает такое в здравом уме?

— Я не крала его! — возмутилась Татьяна.

— Вы полежите, полежите, — примирительно сказал Новицкий. — Знаете ведь, лучшее лекарство — это сон.

«Бесполезно», — поняла Таня. Слезы вновь подступили к глазам, и она сжалась на нарах, обняв руками колени. Дверь приоткрылась, выпуская Новицкого, и Татьяна осталась одна.

Свет был беспощадно ярким, и она ткнулась лбом в коленки, пряча лицо.

«Шизофрения. Королева психиатрии. Многоликая, изменчивая. Говорят, что ее симптомы можно найти у каждого человека. Вот и Новицкий нашел», — с горечью думала Татьяна. На диазепаме мысли казались серыми, неторопливо плывшими облаками, не способными метнуться, скакнуть, окраситься в неожиданно яркий цвет прозрения или эврики. Но сейчас это даже было к лучшему: следует всё обдумать, не торопясь и, по возможности, не волнуясь.

«Возьми себя в руки!» — приказала она, и хлестнула себя по щеке — со всей силы, больно. Вздогнула, чувствуя, что сознание проясняется. И голова, наконец, заработала так, как надо.

«Да, Фирзина подставила меня, это ясно. Зачем? Пока непонятно. Возможно, просто пс дуности», — из-за разницы менталитетов Таня часто не могла понять, что движет Мариной. Говорят же: «Дурак — это просто иной разум».

«Что теперь делать? Выбираться — это ясно. Нужно позвонить Залесскому, он же адвокат... — Таня разочаровано вздохнула — она не помнила его номер, а сотовый остался дома. — Может, позвонить Максиму? Но он сказал, что уезжает — черт, как не вовремя, у него ведь есть связи в полиции! Родителям? Но отца нет, а мать... Да она проклянет меня, если узнает, что ее дочь хотят посадить за похищение ребенка! Посчитает, что я опозорила семью. Помню, как она была против приемного малыша... Да и чем мне помогут родители? Ничем. Отец перестанет со мной разговаривать, а мать всю жизнь будут зудеть: «А я говорила, говорила!..»

Нужно найти Янку. Или Витьку.

«Как же так получилось, что мне, кроме друзей, не к кому обратиться — ведь у меня есть семья, люди, с которыми я много лет делила кров и стол? — вопрос был неудобным, ранящим, но Таня попыталась на него ответить. — Просто я нужна им только хорошей. Потому что если буду плохой — как сейчас, когда я за решеткой — перестану для них существовать. Как в те дни, когда мама молчала...»

И воспоминание вдруг выплыло из прошлого и развернулось перед глазами, будто холст, вынутый из тубуса. Таня упала в него, как в море образов, красок и запахов — странных, неудобных, зловещих. А в голове пронеслось: «Дни Маминой Тишины, и эти цветы с кладбища — да как же я о них забыла? Почему не рассказала психоаналитику? А ведь Алла говорила, что важным может быть всё. И что можно записать, если что-то всплывет — потом разберем вместе»

Взгляд Татьяны остановился на стопке белой бумаги, лежащей на столе. «Шизофрения, значит? — горько усмехнулась Девидова. И почувствовала, как злость и уверенность в своей правоте перешибают всё остальное. — Профессионал, говоришь? Да грош тебе цена,

Новицкий, если вместо того, чтобы разобраться, ты лепишь на человека первый попавшийся под руку ярлык! Нет уж, я докопаюсь до того, что такое эта Пандора! Да и всем вам — тем, кто запер меня здесь — я докажу, что невиновна. Добьюсь, чтобы Фирзина ответила за клевету. И чтобы Павлика всё-таки у неё забрали. Потому что такой человек, как она, ничему хорошему сына не научит — даже любя его всем сердцем. Ведь сердце-то, как оказалось, чёрное».

Татьяна вскочила, нащупала ногами зимние ботинки и, удивленно глянув вниз, увидела, что в них нет шнурков. Не было и ремня в джинсах, отчего они казались непривычно свободными в поясе. Таня села за стол, пододвинула к себе бумагу, и склонившись над ней, торопливо застрочила, боясь упустить хоть что-то. Ее темно-зеленый свитер заголялся на поясице, но она лишь машинально одергивала его, не переставая писать.

...«В разные периоды жизни я спрашивала себя, что за люди мои родители, и никогда не могла дать внятного ответа. Плоть от плоти их, я с детства была убеждена, что мы абсолютно чужие, не связанные друг с другом, души. И потому жизни наши текут параллельно, но пересечься не могут и не хотят.

Мои родители плохие? Нет, я бы так не сказала. Я бы сказала, что мы с ними плохие соседи. Это бы лучше объяснило, почему мы так мало общаемся и совсем не понимаем друг друга.

Отец, который молча ведет меня в садик. Скупно отвечает на вопросы. Ссаживает с колен, потому что я мешаю смотреть телевизор. Спрашивает, что мне купить в продуктовом. Молча приносит газировку и любительскую колбасу. Берет меня с собой в гараж. Разрешает посидеть за рулем машины. И лупит меня за малейшую провинность — раскрытой ладонью, скакалкой, солдатским ремнем с тяжелой пряжкой. У матери — другое вооружение: мокрая тряпка, плечики для одежды, кусок бельевой веревки.

Когда мать не злилась на меня, я пыталась к ней приблизиться. Так было с раннего детства и лет до тринадцати: возраста, когда я поняла, что ждать любви — бесполезно.

Так вот, я пытаюсь приблизиться, но она всегда занята — шитьем, вытиранием пыли, перелистыванием газет. Я робко сажусь рядом, пытаюсь привалиться к ее теплому боку или подлезть головой под руку, чтобы оказаться обнятой, согретой и защищенной — но мама всегда отодвигается. Часто она уходит на кухню (очень срочно нужно перебрать гречку), в ванную (там всегда что-то нужно стирать или чистить), в аптеку (в доме закончилась ромашка, а у кого-нибудь вдруг может заболеть горло). Она могла сбежать от меня в парикмахерскую, на работу, в магазин, или к телефону. Всё очень срочно, ей столько нужно успеть! И я стараюсь относиться с пониманием.

Но это понимание утекает из меня в Дни Маминой Тишины.

Я до сих пор не знаю, почему они случались. Накануне — или даже сегодня утром — мама разговаривала со мной, читала мне, кормила, общалась взглядом, словами, редкими прикосновениями. А потом вдруг переставала меня замечать — будто у меня внутри выключали свет или набрасывали на меня покрывало-невидимку.

Это всегда начиналось неожиданно. Никаких предвестников или провокаций. Я рассказывала что-то матери — а она вдруг переставала мне отвечать. Я подходила к ней с книжкой или игрушками, пыталась сунуть их ей в руки — но она разжимала пальцы и смотрела поверх моей головы, в телевизор или просто в стену. Я дергала ее за халат, ложилась в ноги — а она переступала через меня и уходила, просто чтобы уйти. Не видела

и не слышала меня. Исключала из своего мира. И я каждый раз титаником шла ко дну, чувствуя, как разлетаюсь в щепки.

За что? Почему? В чем я провинилась?

Весь остаток дня, который вдруг становился мучительно длинным, я слушала Мамину Тишину. Время тянулось, словно жевательная резинка — становилось тонким, горьким, провисающим между последним маминым словом и той минутой в ночи, когда я, наконец, могла уснуть.

Мамина Тишина состояла из множества звуков.

Скрежет ныряющей дверной ручки, тяжелый бах дверью, короткий лязг язычка, запирающего мать от меня — в зачем-то понадобившемся ей одиночестве. Тихое позвякивание хрустальных подвесок на люстре — будто стеклянное перешептывание, сплетня, передававшаяся между теми, кто смотрит на нашу семью с высоты. Медленное, выводящее из себя, оглушающее цок-цок-цок настенных часов. Долгое, дооолгое, очень долгое... Только оно наполняет дом до тех пор, пока не забурчит в животе у холодильника или не зашипит телевизор.

Замерев за своей дверью, с ногами забравшись на стул у окна, сунув в рот карандаш, который к концу Маминой Тишины могла изгрызть до половины, я, как слепая, смотрела в одну точку, но видела все, что делает моя мама. Вот она прошла на кухню, подождала конфорку, опустила на табурет. Поднялась, когда засвистел чайник, наполнила кружку, сгребла из вазочки на столе шелестящую горсть конфет. Вернулась в гостиную, закрыла дверь — отгородилась от меня. Подошла к креслу — тому, которое подальше от телевизора, но поближе к батарее (до него на четыре шага больше), опустила в него. Прошелестела книжными страницами. Все, теперь на долгое время — только перелистывание страничек, да мучительное цок-цок-цоканье стрелок, лениво перескакивающих по циферблату.

В такие дни я серьезно заболела. Меня поражала вынужденная слепота ребенка, который видит все, кроме своей мамы — и за отсутствием главного объекта своего мира считает всё остальное ненастоящим, зыбким, обманчивым.

Болезнь начиналась с магии.

В Маминой Тишине возникала музыка: жуткое, звенящее, повторяющееся "динь-линь, линь-динь-линь". Еле слышное поначалу, оно неумолимо нарастало. Этот звук и породившая его тишина топили меня в себе. Они заливались в уши, рот, нос, я в отчаянии захлебывалась ими, через силу глотала их, напивалась, переполнялась, и почти развоплощалась в них. Я переставала существовать, меня будто стирали ластиком, успешно и насовсем — оставалось только сдуть грязные крохи.

Пользуясь отсутствием матери, ее Тишиной, сильно менялись вещи. Они начинали жить своей, неподвластной пониманию, жизнью.

Взять, к примеру, кровать в моей комнате. В Маминой Тишине она становилась другой. Не мягкой и очень удобной, где мы с отцом иногда лежали вдвоем — когда он ещё читал мне книжки. А пугающе широкой, холодной, бездонной волчьей ямой, которую кто-то вероломно прикрыл темно-зеленым в оранжевых ромбах пледом без единой складочки. Я отчаянно хотела сдернуть плед, но боялась даже подойти к кровати. И чувствовала, что от нее исходит уже не та мягкая заботливая сила, которая властно манит к себе, призывая лечь, отдохнуть, согреться. А томление охотника, ждущего в засаде. И молчаливая, невысказанная агрессия — вот только попробуй, помниду́ меня.

Я смотрела на плед, но почему-то его не узнавала. Вдруг становилось ясно, что оранжевые ромбы — это части мёртвых змеиных шкур. И лежали они не в шерстяном переплетении нитей зеленого пледа, а в полусгнившем, сыром, заразном мху, под слоем которого жила затягивающая, бездонная трясина.

Вслед за кроватью становился чужим мой письменный стол. Он вдруг больно бил меня по коленке металлической ручкой нижнего ящика. Выгибал спину, сбрасывая с себя стопки тетрадей и учебников, которые я выкладывала из портфеля — и всё падало, разлеталось по полу. Цеплялся за майку ободранным краем столешницы, резко тянул к себе: мол, кому сказано делать уроки и не качаться на стуле???

Но ужаснее всего было то, как преобразались обои на стенах. В какой-то неуловимый момент в скучном ритме цветочного рисунка возникал сдвиг. Кончики листьев медленно утончались, когтисто вытягиваясь. Лианы ядовито набухали, наливались мертвой силой, шевелились, готовые дотянуться, оплести и задушить. Пышные цветочные шапки начинали нехорошо блестеть, расширяться, неестественно выпирая из стены. Лепестки пионов враз становились жесткими, колюче-скребли по белому фону, меняли цвет: теряя полутона, они темнели и застывали. И в какой-то момент я с ужасом понимала: теперь эти цветы, стебли и листья — целлулоидно-мертвые, пластиковые, как на кладбищенских венках. А потом появлялся ветер, пробежал по этим пластиковым лепесткам, выгибал стены и хрипло каркал: «Ппан-доор-рра!»

Помню — мне тогда было года четыре — я попыталась от него спастись. Пролетела через комнату и длинный коридор, врезалась в дверь родительской спальни, забарабанила по ней кулаками, что-то крича сквозь слезы. Мама открыла и гадливо посмотрела на меня сверху. "Что опять случилось?" — зло спросила она. Я попыталась прижаться к ней, обнять ее бедра, спрятаться от убивавшего меня страха. Но она отпихнула меня ногой, как отпихивают надоевшую собаку или сумку, некстати попавшуюся на пути. И эта нога — твердая, холодная — была пластиковой. И мамыны руки превратились в пластик, и ее лицо — в неподвижную маску, красивую, как человеческий лик, но мертвую, как у куклы.

Это был страшный миг — но отчего-то я знала, что уже не первый.

И знала, что задолго до него было что-то... ещё страшнее. Но что — не помнила. Не хотела вспоминать.

Я упала на пол в коридоре и заревела еще сильнее. А мама начала закрывать передо мной дверь — без слов, с невидящим взглядом. В неумолимо сужающейся щели был мир, в который меня не пускали: цветастый мамин халат, часть кремовой стены, на которой висел календарь с пальмами и морем, занудно бормочущий телевизор. Сначала дверь скрыла половину ее красивого, гладкого, меланхоличного лица-маски, потом часть щеки и лба, потом завиток волос и острый треугольник плеча. А потом щель срослась. Это было страшное волшебство. Я тупо смотрела в закрытую дверь. Из-за нее донесся голос мамы: "Женя, выйди, наконец, и займись ребенком". Послышалась тяжелая отцовская поступь, скрип двери, шаги за мной, в коридоре.

Я взмываю в воздух, оторванная от пола папиными руками. Держа под мышками, он ставит меня на ноги, берет за руку и ведет в мою комнату. Молча. Молча. Молча. И я понимаю, что он — тоже кукла, которой кто-то заменил моего отца. Я упираюсь, визжу — меня бьет истерика. А кукла тащит меня обратно, в мою комнату, к кладбищенским цветам на стенах. Но я не хочу к ним! Я однажды видела такие — на крышке длинного темного ящика. Мать положила на неё эти цветы за день до того, как случилась первая

Мамина Тишина.

А отец сгреб их и бросил ей в лицо, а потом потащил ящик на небо»...

Замок «одиночки» лязгнул, железная дверь скрипуче зевнула, и Татьяна, оглянувшись, увидела за ней полицейского — того самого, кто успокаивал её недавно.

— Демидова, на выход. К вам муж пришел, — сказал он.

Она положила ручку на исписанные листки — их было почти четыре, но она не успела закончить историю.

«Макс? Разве он не уехал? Но как узнал?...» — ощущая смесь стыда и радости, Таня вышла в коридор. Прошла впереди полицейского до выкрашенной коричневой краской двери, и оказалась в маленькой комнатухе с деревянным столом и четырьмя стульями, стоявшими под зарешеченным окном.

Макс поднялся, шагнул ей навстречу и замер, прижав к себе. Дыхнул в ее волосы:

— Танька, как же так, а...

И столько горечи было в его голосе, что Татьяна враз поняла: всё плохо. Всё как-то очень, очень плохо, если даже Макс не может подобрать других слов. Её зазнобило, зубы мелко дрогнули — и она крепко сжала челюсти, пытаясь прогнать страх.

— Тань, ты, главное, держись. Я что-нибудь придумаю.

Она отстранилась, пряча глаза — еще полдня назад не стала бы обременять его своими проблемами и принимать помощь от почти бывшего мужа. А теперь вот — примет.

Татьяна неловко спросила:

— Как ты узнал?

— Мне позвонили... Я уже к аэропорту... Да неважно! Не могу же я поехать на отдых, когда с тобой — такое!

Благодарность захлестнула ее обжигающей, солоноватой волной, в носу защипало. А Макс продолжал:

— Главное, я успел переговорить со следователем. Дело дрянь, Танюш. Статья очень серьезная, и мальчишку у тебя нашли — а это подтверждает показания Марины. Но ты не думай, я не брошу тебя, я найду хорошего адвоката. Мы постараемся уменьшить срок, и я буду ждать тебя...

— Макс, ты что? — она испуганно сглотнула. — Меня же должны отпустить, просто обязаны, ведь есть куча свидетелей против Фирзиной! Янка и Витька с Тamarой — они были у меня, когда она привезла мальчика. И мы с тобой в опеку ходили, оформляли документы на усыновление. Зачем мне красть ребенка, если я хотела взять его на законных основаниях? Да это бред, Макс — всё, что написала Фирзина, чистый бред! Неужели это непонятно?

— А следователь считает, что всё не так. Потому что есть факты: жалоба матери, изъятый у тебя ребенок. Для обвинения достаточно, — развел руками Макс. — Но, Тань, мы будем бороться. Я не дам посадить тебя на двенадцать лет.

— Сколько?... — охнула Таня. Стены камеры качнулись, свет мигнул и начал затухать, затягиваясь темной дымкой, но Макс тряхнул ее за плечи, сильно дунул в лицо — и Татьяна смогла удержаться на ногах.

— Садись, — муж подвел ее к стулу и помог опуститься на него. Она дышала часто, урывками, почти всхлипывая. Под левой лопаткой заныло, будто под нее вогнали холодную, острую сосульку.

Макс сел напротив, сказал:

— Послушай, что мы сделаем. Я прямо с утра займусь этим, землю буду носом рыть, съезжу в Москву, но найду тебе самого лучшего адвоката! Только Тань, это недешево, а денег у нас почти нет — продажи слабые, да и на закуп лекарств я очень много потратил. А тот покупатель, который аптеками заинтересовался, готов сделку провести...

— Так проводи! — Татьяна едва не плакала. Двенадцать лет! Из-за дурасти Фирзиной, из-за поклёпа — вся жизнь под откос! Как же так? За что???

— Тань, я же не могу! — опешил Макс. — Как я их продам, у меня нет генеральной доверенности. Ты сама не хотела, чтобы я...

— Макс, но это же было раньше! Давай я подпишу всё, что нужно, только вытаци меня! — взмолилась она.

— Ну, вот, я принёс документы, — Макс потянул к себе прозрачную папку, которая лежала на столе. Таня уставилась на неё сквозь слёзы. В душе шевельнулось нехорошее — будто что-то не сходилось, было неправильным. Но она отмахнулась от этого чувства, потому что всё вокруг сейчас было таким: неправильным, неестественным, карикатурным...

Максим вытянул из папки отпечатанные листы, протянул Тане. Она вытерла глаза, взгляделась, пытаясь сосредоточиться. Но буквы разбежались, прыгали перед глазами — потому что руки мелко противно тряслись, а слёзы всё набегали, как их не прогоняй. «Даже если он где-то хитрит, и в чем-то обманет меня — плевать! — подумала она. — Свобода дороже любых денег. А разбираться с этой доверенностью... у меня просто нет на это сил!»

— Давай подпишу, — сказала она в отчаянии.

И быстро поставила росчерк в пустой строке.

*ИВС — изолятор временного содержания.

Павлик, устало всхлипнув, заглянул в полутьму сквозь узенькую щелочку двери: тусклый свет в конце коридора лежал на полу и стенах размытым пятном — лунным, зыбким, пугающим. Было страшно: вдруг пьяный дядя Слава снова заснул на кухне? Но есть хотелось так, что сводило живот — и мальчик скользнул в коридор.

В тишине спящего дома половицы не скрипели — кричали. Мальчик то замирал, то ощупывал ногой облупившиеся доски, ища самую молчаливую из них. Но таких не было — он будто шел по клавишам расстроенной фисгармонии. Перед дверью материнной комнаты не выдержал — побежал: всё казалось, что выскочит из темноты короткопалая татуированная рука, цапнет за ворот, по-хозяйски потащит к себе. А сверху пахнёт алкоголем и табаком: «Шастаешшшь, сучченшши?»

Влетев на кухню, с размаху шлепнул ладонью по выключателю — и в привычном желтоватом свете люстры, враз расставившим по местам все предметы, Павлику стало не страшно. Только обида и непонимание всё еще сидели внутри — почему тётю Таню забрали в тюрьму, а ему не дали и слова сказать в ее защиту?... Но всё-таки он верил, что мама ошиблась... Или ее заставил дядя Слава. Или кто-то кого-то обманул.

Павлик ощупал рукой карман джинсов, убедился, что телефон лежит там. Надо снова позвонить тёте Тане, вдруг она ответит? А потом пойти в эту полицию и ещё раз рассказать, как было. Только рассказать так, чтобы поверили. Не реветь, быть смелым и сильным. И даже хорошо, что мамы рядом не будет — никто не перебьёт, не остановит... Но сначала — поесть, и еще взять немного еды с собой, потому что непонятно ведь, когда получится вернуться.

Мальчик открыл холодильник, вытащил тарелку с хлебом и колбасой — красные кружочки подсохли, налипшие на них белые крошки казались колючими. Павлик быстро слепил бутерброд и откусил от него. Торопливо жуя и ища глазами пустой пакет, скользнул взглядом по столу. Замер, увидев фотографии. Поставив тарелку на стол, он схватил их, развел цветным веером: ведь это тётя Таня, это она!.. И, расстегнув ворот, сунул фотки под рубашку. Они провалились к животу, туда, где сорочечную ткань перехватывал ремень джинсов — потом надо спрятать их получше, пусть останутся на память.

В коридоре скрипнуло, но мальчик не услышал. Схватив зашелестевший пакет, он попытался ссыпать в него продукты прямо с тарелки. Но они скользнули мимо — и Павлик присел, торопливо собирая с пола кусочки хлеба и колбасы.

— Кормишься, абрамгутан*? — хриплый бас хлестнул меж лопаток. Мальчишка съежился. Половица жалобно застонала, прогибая хребет под тяжелой ногой взрослого.

Никандров взял со стола бутылку водки, откупорил, сделал несколько глотков. Со стуком поставил ее на место. Павлик испуганно оглянулся и боком пополз в угол: таким страшным показался помутневший взгляд отчима, а ещё — кисть его левой руки, будто жившая отдельно от заторможенного тела, быстро хватавшая воздух и мявшая его, как кусок теста.

— Цапалками** своими шарись, шарись, — Никандров стоял, покачиваясь, и говорил глухо, без выражения. — Чайник ставь, чифирять будем. Разговор есть.

Мальчик поднялся с пола, взял спички. Чиркнул первой — огонек вспыхнул было, но скукожился, едва дыша голубоватым жаром с тонкого деревянного кончика, а потом и вовсе

растворился в струйке дыма. Павлик достал вторую спичку, попытался зажечь — но руки дрожали, и мальчик сломал ее. Вынул третью. А тишина за спиной густела, наливаясь предгрозовой чернотой. И становилось всё страшнее, и всё время тянуло оглянуться... потому что иначе можно было пропустить удар.

Третья спичка всё же разгорелась, и мальчик поднес ее к конфорке. Круглый синеватый венчик затрепетал вокруг черной, заляпанной жиром, воронки, и Павлик с облегчением отступил в сторону, глядя на Никандрова. Тот уже сидел на табурете, облокотившись на стол. Под распахнутым воротом исподнего курчавились черные с проседью волосы. В пальцах поставленной на локоть руки тлела сигарета. Опухшее лицо испещрили багровые прожилки, толстые губы обмякли и блестели, будто замаслившись. Глаза, полуприкрытые веками, смотрели лениво и сонно. Но левая рука всё сжималась и разжималась, скребла по колену смуглыми волосатыми пальцами, как прилипший к месту паук. И мальчишка понял, что расслабленность отчима — сплошной обман. Что внутри у него, будто тугая скрученная пружина, сейчас звереет злость. И достаточно лишь вдоха, шага, взгляда — или их отсутствия! — чтобы эта пружина развернулась и начала калечить.

Как сбежать? Отчим ведь сидит у выхода.

— Чайник-то поставь, фуфел! — бросил Никандров, и мальчишка отмер, торопливо взялся за железную ручку и, передвинувшись к раковине, включил воду. Теперь взрослый был прямо за спиной, и лопатки тоскливо заныли в ожидании удара — а то, что дядя Слава сейчас его избьет, Павлик знал точно.

Струйка воды, журча, потекла в носик чайника.

И мальчик почувствовал, как на его шею, будто кольцо удава, ложится тяжелая шершавая рука.

В тот же миг вырванный из рук чайник с грохотом врезался в гору посуды, отмокавшую в раковине, а мальчишку отбросило к холодильнику. Павлик ударился об него затылком, а плечом — о чугунную гармошку батареи, но боли не почувствовал: нужно было бежать. Расталкивая табуретки, он ужом нырнул под стол, но Никандров схватил его за ногу, потянул на себя, пьяно рыча:

— Что, ублюдок, закрыли твою защитницу, докторицу? А нехер было шавку спускать на мать твою, да на меня до кучи!

— Пусти! — брыкался Павлик. И крикнул в запале: — Пусти, козел!

— Ты кого козлом?... — задохнулся Никандров. — Вот сученьш! Я тя воспитаю...

— Слава, не тронь! — Павлик услышал, как завизжала мама, и понял, что хватка отчима ослабла. Нырнул под стол, скукожился, чувствуя позвоночником острую грань деревянной ножки. Всё, что он видел отсюда — это две пары ног: отчима — в коричневых шерстяных носках и белых штанах от исподнего, и матери — в клетчатых тапках, голые и бледные от холода, с каймой светлой ночнушки понизу колен и с длинным изжелта-коричневым синяком на правой голени.

— Слава, уймись! Ты слово дал его не трогать! — кричала мама, и Павлик еще больше сжался под столом. А потом сверху просыпался звонкий грохот, будто упала и покатилась по столу бутылка. Материны ноги в тапках разъехали на давно немывтом полу, и сама она полетела к стене: он увидел задранный подол, рукав ночнушки и тонкую руку, поднятую к виску. А из-под пальцев, прикрывших её ухо, вырывались струйки крови: алые, быстрые, страшные... Тишина повисла на миг. А потом её разбил голос отчима — до странности спокойный, наполненный мрачным торжеством:

— Поубиваю тварей. Некому вас теперь защищать.

Мать вскочила, плеснув подолом — нога в одном тапке. И табуретка взмыла вверх, махнув четырьмя железными подпорками, и материны ноги повернулись, показав пятки, и звук был таким, будто что-то твердое врезалось в мягкое. И нога отчима дрогнула, двинулась, будто он пытался удержать равновесие.

— Не дааам! — голос матери стал непривычно низким, переходящим в хриплый крик: — Сыбына — не дааам!

И снова удар.

А потом ноги матери взмыли вверх и поплыли по воздуху к двери, брыкаясь над тяжело шаркающими ступнями отчима. Он вынес ее в коридор — отбивающуюся, как вертлявая кошка, орущую: «Паша, беги! Лезь в окно!», оставляющую на полу многоточие из алых капель. И с грохотом бросил спиной о дверь. Встал над ней, покачиваясь, и снова сказал:

— Поубиваю. Тварей.

И развернулся к мальчишке.

— Паша, окно! — снова заорала мама, обхватывая ноги сожителя. Павлик видел только ее ухо и щеку, залитые кровью, и белую ткань ночнушки, в которой тело матери шевелилось, как в коконе. А еще видел, что она пыталась, но не могла встать — только висеть живыми оковами на ногах того, кто шел его убивать.

А мама кричала:

— Павлик, прости! Прости меня! Звони в полицию, расскажи им всё, правду скажи протётю Таню, Паша!..

И мальчик метнулся из-под стола и, быстро щелкнув шпингалетом, распахнул окно. Схватился за край, уместил колено на батарее, оттолкнулся и вывалился прямо в промозглый мартовский ветер. Поскользнулся на льдистой корке, покрывавшей сугроб под окном: днем сюда капало с крыши. И кубарем полетел в снег, боясь лишь одного — потерять телефон. Вскочил, ощупывая карман. Всё на месте. Припустил по тропинке, стараясь не обращать внимания на колючий холод в ступнях. Бежал по мартовскому снегу, как был — в носках, джинсах и тонкой рубашке, под которой подпрыгивали и шуршали фотографии женщины, которая так его любила.

А город спал, и в округе не горело ни единого фонаря. До ближайших домов еще предстояло добраться, да и там — что ждет? Закрытые подъезды. Равнодушные люди. И тётки Тани нет, чтобы помочь. Но мальчишка бежал по снегу, потому что оставалось только одно — бежать.

Он не видел, как на полу оставленной им квартиры обмякла бледная, истерзанная женщина. Как сожитель, в последний раз ударив ее ногой, прошел в комнату и, что-то пьяно бормоча, навзничь рухнул на диван. Как почернела и свернулась алая кровь на полу.

А еще он не видел, как в кухню влетел ветер. Как пронёсся по квартире, заглядывая в каждую щель — и везде находя мусор, грязь, вонь, затаённую зависть и злобу. Как куснул за щеку спящего мужчину и царапнул по оголившейся ноге потерявшей сознание женщины, пытаясь разогнать шедший от них густой запах спиртного. Как взобрался на подоконник, замер, глядя на мальчишечьи следы, убегающие от дома. А потом надул парусом голубую занавеску, висевшую у раскрытого окна — и окунул её в синее пламя зажженной мальчиком горелки. Желтый голодный огонек побежал по краю, будто пробуя ткань на вкус. Вспыхнул, превратив занавеску в пылающее полотно. Пожирая ткань, лизнул и стену — прогнившую деревянную стену с выцветшими, сухими от времени, бумажными обоями.

И глухо заурчал, вгрызаясь в неё.

*Абрамгутан — здесь — иронично-бранное слово в адрес любого человека.
Контаминация собств. «Абрам» и «орангутан(г)» — человекообразная обезьяна.

** Цапалка — рука

Василенко явился в бильярдную с опозданием. Макс смотрел, как он идёт между широких столов, покрытых зелёным сукном — неторопливо, вальяжно, здороваясь со знакомыми игроками и галантно целуя руки их спутницам. «Выделяется, мажор. Знает, что я уже полтора часа здесь проторчал. И что дождался бы полюбасу — деваться некуда», — подумал Макс. Шагнул от барной стойки навстречу партнёру, и мстительно сдвинул хилую сухую кисть, протянутую для рукопожатия. Василенко, скривившись, попытался выдернуть руку, но Макс чуть помедлил, прежде чем отпустить. И улыбнулся с невинным видом:

— Извини, брателло, не рассчитал.

В грязно-голубых глазах Василенко мелькнула обида. Он потер непривычно гладкий подбородок, и Макс отметил, что без бородки-эспаньолки лицо партнера потеряло даже ту малую толику брутальности, которая давала хоть какое-то впечатление силы — и это ему не шло.

— Нарезался уже? — брезгливо спросил Олег, надув губы. Усевшись на высокий барный стул, он кивнул бармену: — Апельсиновый фреш, льда не нужно.

Макс примостился напротив, постучал ногтем о край широкого стакана, на дне которого желтели остатки жидкости:

— Один бокал виски, и тот недопил, — поклялся он. — Завтра утром свежая голова нужна. Сделка будет.

— Какая? — бровь Василенко удивленно поползла вверх.

— Аптеки продаю, брателло! — хлопнул его по плечу Макс. — А ты покупаешь. За двадцать лямов, как договаривались.

— И даже документы в порядке? — недоверчиво хмыкнул Олег.

— Есть гендоверенность, что тебе еще нужно? — хмыкнул Демидов, открывая портфель и вытаскивая из него папку с бумагами.

— Ну да, ну да... — бормотал Василенко, просматривая доверенность, Танькино заявление на выход из ООО и отчуждение доли, таблицы отчетности, бухгалтерские выписки и прочую лабудень. — Я смотрю, ты подготовился.

— А чё, как говорится, больше бумаги — чище жопа, — хохотнул Демидов. Настроение опять поднялось, он прямо-таки чуял запах денег. И Танькино заплаканное лицо окончательно отступило в тень, потому что сомнений больше не было.

А ведь когда Макс увидел её там, в камере для свиданий — бледную, лохматую, зарёванную — он на мгновение пожалел: её, да и о том, что сделал. Ведь строить планы в голове — это одно, а видеть, как они осуществляются — совсем другое. Он-то своё отсидел, и не переживал бы так, снова попав в кутузку. Там ведь только поначалу страшно, а потом привыкаешь. «Но, бля... Не для Танюхи всё это — менты, решетки, подстава... — подумал он тогда. — Слишком она... чистая, что ли. И всем хотела, как лучше: и пацану этому, да и мне, если разобраться. Из уважения не стала меня контролировать, типа доверие должно быть в семье — а я воровал. Но я ж не для себя... И потом, нельзя в наше время клювом щелкать, не я бы — так кто-то другой на ней нажился. Жизнь такая».

Но всё равно — червячок грыз и грыз. Макс ещё думал, что придется пободаться с Танькой, убеждать ее насчет продажи, к бою приготовился — а она просто взяла и

подписала все документы, не усомнившись в нём ни на миг. Получается, хорошо о нём думала, верила — и от этого было ещё гаже. Может, она вообще единственная, кто думает о нём хорошо, и кому он вообще нужен? И, может, не было бы ничего, если бы понял это раньше... Потому что вот Алёне, если положить руку на сердце, в первую очередь нужны деньги — он слишком хорошо это знал. Но без неё — жизнь серая, бесцветная совсем, а он хотел, как в молодости: чтобы ярко, адреналинисто, на грани! Чтобы каждая ссора — как смерть, а примирение — как воскрешение из мёртвых. Такие ощущения, говорят, не купишь — а он, Макс Демидов, сумел бы купить.

Так что отступить незачем. Да и поздно.

«Ну, потерпи, мать... — думал он, прижимая жену к себе. — Тебя-то выпустят, обвинение рассыплется — к гадалке не ходи. А у меня другого шанса не будет». Но потом, когда вышел из отделения полиции с заветными документами в руках, внутри вновь возникло ощущение, которое преследовало его в последние, решающие дни: будто смотрят на него чьи-то глаза — внимательно, и с печальным укором. Он поёжился под этим молчаливым взглядом, и упрямо боднул головой, отгоняя вновь возникший в душе страх. И напомнил себе: я всё сделал правильно, всё по плану... а Таньке ведь ничего не будет в итоге, посидит и выйдет, не помрёт...

— Э-э, ты где? О чем задумался? — Василенко тряхнул его за руку, и Макс вынырнул из воспоминаний. — Почти порядок с документами. Недвижуха где? Не вижу её на балансе, а у вас, вроде, на Ленина и Кирова муниципальные площади выкуплены? И павильоны на Лесной и Победе построены с нуля...

Макс заёрзал на кожаном сидении высокого стула. «Твою козлячью мать! Всё-таки допёр...», — уныло подумал он, уже зная, что придется снизить цену. Впрочем, мог бы и раньше понять, что с Василенко не получится проскочить на дурничка — у этой крысы каждая копейка свою цену имеет. Но бизнес — как покер, иногда стоит и блефануть.

— Нету ее на балансе, — ответил он. И приврал с уверенным видом: — я ж тебе говорил!

— Это ты кому-то другому говорил, — усмехнулся Василенко. — А мне — забыл, по ходу — специально.

— Не гони, у меня всё честно! — запротестовал Макс.

— Ага, и точно — как в аптеке, — Василенко издевался в открытую. — Хотя, у тебя ж не аптеки — прачечные! Там пятно, тут пятно...

— Сколько? — сдался Демидов.

— Ну, считай: павильоны по паре лямов, и муниципальные — я реестр смотрел: на Ленина за четыре с половиной было продано, сейчас, с инфляцией, шестёрку стоит. На Кирова — за три семьсот выкупали, сейчас пятёру за него можно просить. Итого тринашка. Так что без недвижухи семь лямов заплачу — не больше.

Это, конечно, был грабёж — что прекрасно понимали оба.

— Пятнадцать — последняя цена, — твёрдо сказал Демидов.

— Если слышен денег шелест, значит, лох идёт на нерест? — усмехнулся Василенко и махнул рукой, будто прощался. — Пока, партнёр. Хорошего бизнеса. Пусть его дни продлятся подольше, чем та неделя, через которую к тебе пожалует налоговая.

Не глядя на Макса, он допил свой сок и соскользнул со стула, явно показывая, что намерен уйти:

— Подожди! — рявкнул Макс. — Я согласен.

Василенко глянул на него с подозрением — в чём, мол, подвох? Но Макс сидел с угрюмым видом — как человек, которого прижали к стенке. И Василенко купился, они ударили по рукам, договорившись на девять утра — только чтобы без опозданий! — и разъехались из бильярдной: один — с видом победителя, второй — всё ещё притворяясь побежденным.

Но, выехав на дорогу, Демидов не выдержал — заржал в голос. Потому что остатки того бабла, которое Василенко привёз от «хорошего человека», всё ещё были в офисном сейфе. Дура-бухгалтерша не успела сдать их в банк, потому что уже два дня не вылезала от своих подружек в налоговой. Лепетала что-то о сдаче отчетности. Он понимал, что она брешет, злился, что приходится врать Василенко, будто бабло уже ушло на подставную фирму, просто банки тупят. И, как оказалось, зря. «Там почти четыре ляма — вот и заберу их в качестве компенсации, — решил Демидов. — Пусть этот гад с большими людьми своими бабосиками рассчитывается. А я свалю».

Всё ещё улыбаясь, он свернул на объездную — она шла по промзоне бывшего сталелитейного завода, там не было фонарей, но срезать путь можно было знатно. Надавил на газ и сделал музыку громче. Лужи блестели в свете фар, а сама дорога — серая, с черными пятнами — казалась шкурой громадной гадюки, залёгшей в подтаявшем снегу. Трасса была пустой, ясно — почему: почти два ночи, завтра всем на работу. И когда за очередным поворотом Демидов увидел машущего руками человека, сперва подумал: ну да, автобусы ведь уже не ходят, остаётся только голосовать. А в следующий миг осознал, кто это — и судорожно сглотнул, чувствуя, как плечи, как лассо, стягивает страх.

Мальчишка нетерпеливо подпрыгивал и махал руками. Он почему-то был раздет — только рубашка и джинсы; широко распахнутые глаза выделялись на бледном лице — в губах ни кровинки, как у трупа... Но самое страшное — это был тот, Танькин, мальчик. Тот, из-за которого всё случилось. И почему-то именно он сейчас привиделся Макс: как укор за то, что он сделал со своей женой, и косвенно — с этим мальчишкой.

Демидов мотнул головой, отгоняя морок, зажмурился на мгновение. А когда вновь посмотрел на дорогу, мальчик всё ещё был там. И только тогда Макс осознал, что он настоящий.

«Притормозить? Проехать? — мысль билась, как птица в силке. — Да какого чёрта! Я что, сопляка испугался? Хоть узнать, что он здесь делает... А-а, ведь его дом недалеко! Я ведь по этой промзоновской дороге ехал, когда искал тот чертов барак, чтобы договориться со Славкой насчет заявы...»

И Демидов притормозил, всё ещё колеблясь, не понимая, верно ли поступает — может, стоило проскочить мимо, чтобы не осложнять себе жизнь?

Пацан бросился к нему, сломя голову, закричал в приоткрытое окно:

— Дяденька, помогите, пожалуйста, мне надо... — и резко умолк — узнал. Испугался, и, всё ещё уставившись на Макса, даже отступил от машины на шаг.

— Ты чего здесь? — хмуро спросил Демидов. И отвёл взгляд — потому что вдруг накатила волна стыда, ведь мальчишка мёрз, это было видно, и мог замерзнуть нахрен... А он не собирался сажать его в машину. Он просто хотел знать.

— У меня... Там дядя Слава пьяный, дерется, — у пацана зуб на зуб не попадал, и от того говорил он медленно, что ещё больше бесило взрослого. — Я в окно выпрыгнул, а тётя Таня трубку не берет... Отвезите меня в полицию, я всё расскажу, её отпустят!

— Что расскажешь? — насторожился Макс.

— Ну, что это ошибка, мама ведь меня сама привезла, и пусть они у мамы спросят! — мальчишка шмыгнул носом. — Она сама сказала им позвонить, а я звоню-звоню, и никак...

«Сама сказала, значит, — пытался перевернуть Макс. — Бля, этим алкашам доверять — пустое дело. Так и знал, что подведут, уроды!»

— А мама чего не позвонила? — вкрадчиво спросил он.

— Они с дядей Славой дрались, я убежал, а телефона у нее нету, — простодушно объяснил мальчик.

— А ты как звонишь? Ну, что набираешь?

— Ноль два! Нам в школе говорили: ноль два — это полиция... Дяденька, можно я в машину сяду? — взмолился мальчик. — У меня ноги совсем замерзли, я не успел ботинки надеть, прям так убежал!

«Ноль два, значит, — Макс ощутил облегчение, ему снова фартануло, ведь с мобилы этот номер не работал — только с городского. — Ну, удачи, пацан!»

— Ты дозванивайся, дозванивайся, — почти ласково сказал он. — У них там занято бывает. А я поехал, ты уж извини. Некогда.

Мальчик ошеломленно застыл, когда гладкий корпус машины заскользил под его руками, двинулся вперед, потихоньку набирая скорость. И вот уже видны лишь задние фары, удаляющиеся в ночь. А вокруг по-прежнему — холод, снег и темное, без единой звезды, небо. И гулкая, губительная пустота неизбывного одиночества, сгущающаяся возле него. Такая же, как тогда, в лесу, когда он — маленький, замерзающий, ничейный — лежал на обочине дороги и просто ждал смерти, и даже страшно не было, потому что лучше уж смерть, чем обратно к дяде Славе...

Но тогда его нашел дядя Залесский.

Может, и сейчас кто-нибудь?... Хоть кто-нибудь?... Найдёт...

Павлик вытер слёзы, обнял себя за плечи. И запрыгал на месте, пытаясь согреться.

А мартовский ветер, затаившийся в густых тенях брошенной промзоны, унявший свою порывистость, чтобы не заморозить мальчишку еще сильнее, вдруг взвился к небу и сердито зашумел-затрещал в голых кронах деревьев. И, разогнавшись, донес до мальчишки гундосый вой сирен.

Мальчик встрепенулся, побежал навстречу этому звуку — мимо старых цехов промзоны, мимо остывших зданий, сваленных у дороги, как коробки на складе. Но вой, блеснув синими огнями, скрылся в ночи — там, откуда пришел мальчишка. Павлик обрадовался: наверное, это мама вызвала полицию! И, может, к ним даже привезли тётю Таню — а дядю Славу заберут и посадят вместо нее, потому что вот он-то больше всех это заслужил! Эта мысль придала сил, мальчишка хотел прибавить ходу, но окоченевшие ноги слушались плохо, и он захромал по дороге из последних сил.

А Макс всё жал на газ, глядя на дрожащую в свете фар дорогу. И чем дальше ехал, тем сильнее на затылок давило то самое ощущение: будто смотрят на него чьи-то глаза, печальные и укоряющие. Мысли, как привязанные, всё возвращались и возвращались к мальчишке: он помеха — но он один, на темной дороге, раздетый... А ещё почему-то вспомнился самарский священник, отпевавший Васю Филина, одного из Максовых дружков, погибших в девяностые. Филин умер глупо — из-за рыбы. Хотел по-быстрому заработать на осетровой икре, а делиться баблом не желал... Так вот, священник остался тогда на поминки, и сел за столом рядом с Максом. Разговорились. Демидов, жалея Филина, спросил — почему так случилось, будто на человека затмение нашло? Знал ведь, что рынок поделен,

но всё равно полез в бутылку. А священник сказал: «Человек всегда боится что-то потерять: деньги, положение, любовь... даже гордыню. И, когда потеря неминуема, хочет удержать это. Вот здесь важно понять, что тобой движет. Потому что бывает — это черт подталкивает, а Бог смотрит, поведешься ли». Он говорил ещё что-то, очень важное — но Макс, как ни силился сейчас, не мог это вспомнить.

А взгляд, преследовавший его, становился всё печальнее. И мальчик — мальчик всё возникал перед глазами.

Впереди показался очередной поворот, а за ним — Макс знал — будет выезд из промзоны, и городские огни, и тепло Танькиного дома, в который он всё-таки вернется — пусть на одну ночь, но победителем. И Демидов устремился туда всей душой, поддал газу, глядя, как выгибается перед поворотом дорога... но снова ощутил тот взгляд, и вдруг испугался. Тёмное, животное накатило, тряхнуло изнутри — будто привязана была к нему резинка, которая растягивалась, растягивалась, а потом дёрнула к себе, обратно, к какой-то странной точке, которая будто и есть центр его жизни. И поделаться с этим было ничего нельзя.

Руки сами крутанули руль, Макс помчался назад, в темноту, туда, где — как он надеялся! — всё ещё ждал ребёнок. Он ехал, сам не зная зачем, злясь на себя, негодуя — но в то же время понимая, что именно так и нужно, что нет ничего, что могло бы в данный момент быть таким же правильным. Он ехал, торопясь, и выжимая из движка всё, на что то т был способен, и больше не давило ничего: не было ни странных, наполненных печалью, глаз, смотревших ниоткуда, ни того животного ужаса, который проник в его душу перед поворотом... И когда в свете фар показалась фигурка мальчишки, он пересек встречку и затормозил на обочине — прямо перед бредущим по снегу ребенком. Открыл дверь, выглянул... и замер, не зная, что делать дальше.

Мальчишка был — враг. Он мог сломать все планы.

Но это был ребенок. Раздетый — посреди зимней ещё мартовской ночи.

Забирать его не хотелось. Макс ругнул себя: ну какого хрена приехал? Надо было оставить всё, как есть... А мальчик ковылял к нему, и в его глазах оживало доверие. И оно было точно таким же, с каким смотрела на него Танька — там, в камере, когда он обещал ее вытащить. И Макс почувствовал, как изнутри поднимается злость. Какого черта от него ждут добрых дел? Он недобрый! Недобрый!!! Будь он другим, никогда бы не смог подняться, чтобы вернуться к любимой женщине! И если за то, чтобы вернуть любовь, нужно заплатить предательством, он будет предавать снова и снова — потому что это не он назначил такую цену, и не он так по-идиотски устроил мир!

Демидов быстро скинул ботинки и завозился, вытаскивая руки из рукавов. Бросил куртку на снег, перед мальчишкой. Туда же полетели ботинки.

— Оденься! — рявкнул Макс. — И шуруй домой! Пусть твои родители сами с ментами рулятся. Ты мелкий еще, тебя, как свидетеля, всё равно никто не слушает. А тётю Таню отпустят, если твоя мать заявление заберет.

«Пусть будет, как будет, — думал он, разворачивая машину. — Даже если Танька выйдет до утра, она не помешает провести сделку. А я заберу деньги и сразу стартану в Самару».

Он видел в зеркале, как мальчик склонился над брошенной одеждой. Но машина рванула вперед, и маленькая фигурка растаяла в темноте. Макс погнал в город, всё ещё злясь — и вновь почувствовал тот взгляд: но теперь он смотрел уже не с печалью, а холодно и

твердо. «Да иди ты! Идите вы все!» — заорал Демидов, и рванул рычаг коробки передач, включая пятую скорость.

И всё прошло. Только вдруг налетел ветер, качнул придорожные кусты, сгущая ветви в ведьмины мётла, разогнал облака — и с неба глянула луна: белая, кривобокая, злая. Рассыпала свет по льдинкам горстями серебряников, и поплыла над машиной, как непрошенная попутчица.

А мальчик дрожал, закутавшись в куртку и сунув ноги в нагретые чужим теплом туфли. Этот странный, почему-то ненавидящий его, взрослый так и не взял его с собой. И теперь надо было идти, но ступни немели всё сильнее, так, что даже стоять, переминаясь с ноги на ногу, было уже невозможно. Павлик сел на дорогу — благо, куртка была длинной, и ее полы можно было подвернуть под себя. Стащил с ног ботинки, снял мокрые носки и принялся растирать ступни. Они начали согреваться, и это было больно — так, что до слёз. В ногах колело, они всё ещё были, как ледышки, но он тёр их и тёр, глотая слёзы. А потом снова сунул в ботинки, поднялся, зашагал в сторону города — как по колючкам. И всё набирал и набирал на телефоне: ноль два, вызов... ноль два...

Нет, домой идти нельзя. На соседнюю улицу тоже — был там, без толку. В том месте стояло всего два дома — двухэтажных, каменных, не то, что их барак. Дед рассказывал, что их когда-то тоже строил сталелитейный завод для тех, кто на нем работал. Павлик сразу побежал к этим домам после того, как вылез из окна. Но во дворе никого не было. Он пробовал кричать, стучаться в окна — никто не вышел и даже не выглянул. Попробовал звонить в домофон, и в одной квартире даже ответили, мужской голос, как у пьяного дяди Славы: мат-перемат, а потом «...пшли вон, выйду, башку разобью!» Он испугался, и на бетонном крыльце было так холодно стоять, что мальчик сдался и побежал дальше.

А тётки Танин телефон не отвечал.

Сейчас, бредя по дороге, Павлик всё ещё думал, кого и как позвать на помощь. Всхлипывал, кутался в куртку, и очень жалел, что так и не успел записать в свой новенький телефон чей-нибудь номер. Да и чей? У мамы его не было, а из одноклассников он дружил только с Димой Ласточкиным, но тот был из такой же бедной семьи и ходил без телефона. Хорошо, хоть списывать иногда давал — иначе Павлик прошлой весной остался бы на второй год из-за математики. Но Димка сильно выручил его на контрольной. Он же понимал, что Павлик не виноват: ну не мог он запомнить эту треклятую таблицу умножения! Из-за нее кое-как в четвертый класс переполз. Ладно хоть пока лежал в больнице, тётка Тамара занималась с ним математикой, так что после болезни он даже три пятерки получил! Но она совсем по-другому объясняла, не как учительница, с тёткой Тамарой было интересно. Она учила его, как запоминать...

Павлик обрадовано замер. Как же он забыл? Она же учила! Учила запоминать цифры с помощью стихов!!!

И громко заговорил, волнуясь, переживая за то, что перепутает слова:

Раз — судья в свисток свистит
Два — спортсмен с мячом стоит
Три — косою осоку косим.
На четыре — сено носим.
Пять — скрипит в саду калитка.
Шесть — на листики улитка.

Семь — затих в кустах кузнечик.

Восемь — пас пастух овечек.

Девять — вечер наступает

Десять — Паша засыпает.

Это была считалочка для маленьких, и он сначала не хотел ее учить. Но тётя Тамара написала на листочке свой телефон и сказала: «Ну вот смотри: сначала восемь, потом девять и десять. Легко запомнить, правда? А вот дальше давай сам: сначала четверка — это осока. Потом две единицы: это двое судей на футбольном поле, громко свистят, щеки надуты — представил? Ну вот, а дальше?...» И он ответил: «А потом улитка, а потом снова осока...»

И теперь, вспоминая нужные образы и раз за разом проговаривая считалочку, он по одной набирал на телефоне цифры. Руки дрожали от холода, в ногах будто пыжился сердитый ёж, но слёзы высохли — мальчик так надеялся дозвониться... И когда в трубке послышался первый гудок, Павлик замер, не дыша — будто боясь задуть этот тихий звук.

— Да! Кто это? — недовольным, заспанным голосом сказала тётя Тамара. И мальчик на миг испугался: ну вот, разбудил, сейчас рассердится... «Нет, она не рассердится!» — решительно сказал он себе, преодолевая подступающие слёзы. Она — добрая, и она обязательно придет.

И, коротко всхлипнув, сказал, стараясь, чтобы голос звучал громче:

— Тётя Тамара, это Павлик, заберите меня, пожалуйста...

По большой палатке, установленной прямо на льду, посреди утонувшего в серебристом лунном свете озера, разливался густой расслабляющий жар. Ненасытный огонь в маленькой печке-буржуйке аппетитно хрустел дровами и благодарно пыхал снопами искр, когда Залесский, открывая дверцу, забрасывал в черно-красное нутро очередную порцию деревянного корма.

Юрий, в рыбацких штанах и свитере, сидел спиной к печке, на низенькой раскладной табуретке, пристроенной между двумя рыбацкими лунками. И, словно кот, стерегущий мышь, следил за алыми кивками на концах лежащих у лунок зимних удочек.

Палатка — брезентовая, шатром сходявшаяся к небу, с расстеленными на мраморно блестящем льду туристическими ковриками — являла собой образчик армейского порядка: этому еще дед научил, говорил, на бардак рыба не идёт. Ледяной пол был тщательно выскоблен лопатой, рюкзак аккуратно поставлен в углу, одеяла стопкой уложены на раскрытый спальник. Два светодиодных фонаря, закрепленных под крышей, ярко освещали пространство. Легкий раскладной столик — ноги иксом, алюминиевая серость столешницы — умещал на своей поверхности двухлитровый цветастый термос с кипятком, кастрюльку с наваристой гречневой кашей, щедро заправленной тушенкой, пакет с хлебом, и пластиковый контейнер, полный колбасных кругляшей и сырных треугольников. Всё это было выстроено красиво, по ранжиру, будто в палатке ждали гостей. Хотя Залесский был уверен, что километров на двести в округе не водилось ни единой живой души — кроме, конечно, мелкой лесной живности.

Алый кивок на конце зимней удочки мелко задрожал и дернулся, и Залесский завис над лункой. Кивок замер, и медленно, плавно, будто сам по себе, поклонился мелким льдинкам, голубевшим в воде. Юрий осторожно зажал леску кончиками пальцев, чувствуя, как трепещет этот тонкий нейлоновый нерв — и, перехватив его в ладонь, резко дернул, подсёк, потащил на себя что-то живое, сильное, гневно упирающееся. Леска врезалась в руку, но тонкие неопреновые перчатки с обрезанными пальцами смягчали боль, и Юрий тащил, тащил эту дергающуюся нить, понемногу выбирая ее — и вот в темной глубине блеснул широкий серебристый бок, и треугольная морда леща, показавшись над водой, хлебнула жаркого воздуха раскрытым красным ртом. Рыба дернулась, окатив водой галоши Залесского, и, вытащенная на лёд, одурело запрыгала возле ног. Лещ был здоровый, килограмма на три. Юрий придавил его рукой и, покосившись на высокий мешок из толстого полиэтилена, подумал: «Надо сворачиваться, иначе Петровна меня из дому выгонит». Потому что мешок — из тех, в которые на полях собирают картошку — был наполнен рыбой почти под завязку. Лещи, плотва, налимы, ерши, мелочь и крупняк вперемешку: чистить — не перечистить. Но лохматые спасибо скажут, это точно.

Он повернулся, бросил леща в мешок — тот забился, зашуршал полиэтиленом, разбудив соседей, и в мешке началась возня. Поднявшись, Юрий прогнулся, повел плечами, разминая затекшую спину. Зевнул, глядя на часы: четвертый час утра. И принялся сматывать удочки, вытряхивать в воду остатки наживки, собирать в дедовский ящик рыболовный скарб. Поставил на печку кастрюлю с кашей: сварил по приезду, да так и не угостился, променяв чувство голода на рыбацкий азарт — хоть теперь разогреть, то ли на поздний ужин, то ли на ранний завтрак. И, набросив телогрейку, потащил мешок с уловом из палатки.

Кривобокая луна висела над озером, заливая окрестности льдистой синью. Холод цапнул за нос, ощупал лицо, как слепой, и полез под воротник свитера — туда, где за время горячего рыбацкого бдения скопилось влажное тепло. Залесский пристроил мешок в снегу, возле брезентового бока палатки: пусть рыба заледенеет, так свежесть сохранится лучше. И, откинув полог, впустил в палатку морозный мартовский воздух, постоял пару минут: пусть немного проветрится. Запах гречки с тушенкой, приправленный дровяным дымком, поплыл над озером в теплом облаке. И Юрий не выдержал — заскочил внутрь палатки, на ходу скидывая телогрейку и сдергивая перчатки. Открыл кастрюлю, поскреб по дну, перемешивая наваристую кашу, и сунул полную ложку в рот — горячо и вкусно, у-ухх, хорошо!

Наевшись и выпив чаю — аж два железных колпачка, с прицелом на третий — он погасил один светильник, до минимума убавил яркость другого, разулся и забрался в спальник, расстеленный на туристическом коврике. Прикрыл одеялами ноги, застегнул молнию и устало закрыл глаза. Но перед ними всё еще плясали рыболовные кивки, на которые Залесский смотрел последние несколько часов — он знал, что так и будет, пока не удастся уснуть.

Он вздохнул и замер. В ночи утробно гудел ветер, потрескивал в печке огонь, было уютно, пустынно и безвременно — наверное, так и чувствовали себя первопроходцы Аляски из романов Джека Лондона, которыми Юра зачитывался в детстве. Мечтал когда-то заночевать вот в таком диком, природном безлюдье, и чтобы сугробы кругом, и чтобы белые ездовые собаки, свернувшись вокруг палатки, прятали черные носы в этом снегу... Залесский усмехнулся: сбылось, но наполовину — он здесь, собаки дома, и не ездовые, но не менее любимые... И он одинок, как хотел когда-то. Ох, знал бы, дурак, что нельзя мечтать об одиночестве! Плохо сбываются такие мечты.

Он снова вспомнил Таню и этого её, мутноглазого... Почувствовал, как тоска, проснувшись, снова точит когти о душу. «Но что я могу? — спросил он себя. — Сказать ей: бросай его, выбирай меня? Заставить? Нет, я против такого. Пусть сама решает. В конце концов, женщина имеет право на выбор, а мужчина должен этот выбор уважать — даже если он кажется неправильным».

Залесский вздохнул и недовольно завозился: ну вот, уехал за тридевять земель, а мысли, от которых бежал, притащились за ним. И не давало покоя чувство, будто не разум движет им, а... упрямство, что ли... Будто упёрся себе же во вред, принял за аксиому что-то, что ещё не было доказано. Но что?... Ведь есть факты, а он, как юрист, привык доверять только им. Факты же таковы: с разводом Таня не торопится, под ручку с мужем прогуливается, да еще и в опеку с ним идет, договариваться насчет ребенка. А он, Залесский, в стороне — будто совсем не нужен. Татьяна ведь даже не звонит, и общались они в последнее время только по поводу Пашки, когда собирались вместе в его палате.

За брезентовой стенкой хрустнуло.

И кто-то будто всхрапнул в ночи.

А потом грузно повалилось на снег и поехало по нему что-то плотное, тяжелое. Залесский настороженно вскинулся, чувствуя, будто ползет по хребту мокрый от ледяной воды угорь. «Похоже, не я один тут рыбачу», — мысль мелькнула, уступив место злости: ну вот, отдохнул от людей, как же! Явились сами, да еще и спереть что-то вознамерились — дрова, улов, воткнутые в снег широкие охотничьи лыжи, тоже, кстати, дедово наследство... И от понимания, что этого наследства его могут запросто и несправедливо лишить, страх

прошел совершенно. Стараясь не шуметь, Юрий вылез из спальника, сунул ноги в валенки и, поднимаясь, зацепил с пола тяжелый, дедовский же, ледобур. Рванул к выходу из палатки, одним движением отдернул полог и выскочил наружу.

Мешок был опрокинут, и на снегу, среди ледяных комков, тускло блесневших в изломах лунных лучей, бились серебристые рыбины. Над ними, почему-то опустившись на четвереньки, задом к Залесскому стоял человек в старой клочковатой шубе и толстенных меховых штанах — угольно-черный на фоне серебристой голубизны льда. Но был он необыкновенно большим, плотным, коротконогим, и эти его ноги, высоко державшие толстый зад, были неестественно согнуты в коленях. И Юрий, уже открывший рот для грозного обличающего окрика, вдруг замер и невольно попятился.

Хозяин.

Проснулся.

И пришёл — видимо, на запах.

Противная дрожь побежала по телу, и Залесский застыл. Бежать было нельзя, а отбиваться ледорубом — смешно. И у него было лишь несколько секунд, ну, или, может, минута, прежде чем Хозяин заметит его. А потом счёт пойдёт на мгновения.

Ветер предательски дунул в спину, неся запах человека вперёд. И через миг медведь повернул голову, показав пасть с зажатой в ней рыбиной. Глухо рыкнув, мотнул головой.

Залесский лихорадочно соображал, что делать. И где-то в глубине сознания услышал хриплый от курева дедовский голос: «Хозяин может одним ударом корову завалить, лапа — четыре кило, когтем череп вскрывает, как консерву. Встретишь его — один выход, лечь и мертвым прикинуться. И терпеть, пока обнюхивает, не шевелиться».

А еще дед говорил, что медведь «зверь грозный, но шугливый».

Вот только весной, после спячки, ещё и злющий от голода.

Косолапый угрожающе зарычал, двинул челюстями, и чешуйчатый рыбий хвост, блеснув в последний раз, скрылся в медвежьей пасти. Медведь рявкнул, пышкнул, как поезд, выпускающий пар, и, приподнявшись на задние лапы, неуклюже скакнул, поворачиваясь боком к человеку. Глухо заворчал, и, загребая задними лапами, взрыл снег — будто хотел закопать Залесского. Юрий бросил взгляд на его голову — круглые уши стояли торчком, морда поднималась и опускалась, будто Хозяин кивал кому-то, делая вид, что не обращает внимания на противника. И страх немного отступил: дед ведь рассказывал, что если уши стоят, значит, мишка нападать не собирается. А то, что боком поворачивается — так пугает, демонстрируя свою величину. И снегом кидается тоже в виде предупреждения: не подходи, мол, целее будешь.

«Чёрт меня дёрнул разогревать эту гречку, — подумал Залесский. — Топтыгин явно на её запах пожаловал. Хорошо хоть рыба здесь стояла, а то бы прямо в палатку залез, с него станется...»

Юрий отступил ещё на шаг, ещё... Медведь рявкнул, звезданул по мешку передней лапой. Пригнулся, обнюхивая трепыхающуюся рыблю дорожку. И пошел пылесосить, с ворчанием заглатывая остро пахнущую мелочь и пыхтя над крупняком, хрустко перемалывая фарш из костей и чешуи.

Залесскому удалось отойти шагов на тридцать прежде, чем рыба кончилась.

А потом, недовольно шаркнув лапой по скользкому полиэтилену опустевшего мешка, Хозяин медленно поднялся на задние лапы и уставился на человека.

В зыбком свете луны его громадная фигура казалась сделанной из сваленных друг на

друга бульжников: крепкие, приземистые овалы ног, бесформенное туловище, по бокам которого лишь угадывались опущенные передние лапы, покатые плечи и круглая твердокаменная голова. По краю этой антрацитово́й фигуры белым плащом струился лунный отблеск, сиял на пушистой макушке — будто плоская серебряная корона, лежащая меж маленьких, едва выступающих, ушей. И было уже непонятно, торчат они, эти уши — или прижаты к медвежьей голове, в которой сейчас могла зреть любая мысль: о бегстве или убийстве.

Залесский стоял молча, опершись на ледобур — и, кажется, не дышал уже вечность. А вокруг сияло безмолвие. И не было никого, кто сумел бы помочь.

«Какой я дурак, что ничего не успел сказать Тане, — тоскливо подумал он. — И вообще — ничего не успел... Так глупо...»

Медведь упал на передние лапы. И скакнул вперед, к человеку. Боднул головой воздух, и сделал ещё два шага вперед. Остановился, снова поднимаясь на задние лапы. И протяжно, раскатисто зарычал.

А Залесский обмерев, смотрел туда, где, невидимые в ночи, таились глаза зверя. И ничего не видел.

А потом его руки сами подняли над головой ледобур, и нога упрямо шагнула вперед, а за ней отмерла и другая. Он вдруг заорал дедовским отборным солдафонским матом: гортанно, лающе, свирепо, будто из его рта вдруг вытащил голову и заговорил на древнем, зверином языке, пархатый, провонявший злобой питекантроп. И, сам поражаясь своей смелости, Юрий осознал, что вот так, рыча и плюясь свинцовой словесной грязью — которая разит наповал не смыслом, а силой отваги — разговаривают друг с другом самцы. И разговаривали всегда — в любые времена, облеченные в шкуру, тогу, двубортный костюм или церковную казулу. Не важно, животные они, или люди.

Грязно-бурый фонтан слов пробил мёрзлый воздух, как снаряд. Медведь, потрясенно молчавший лишь несколько секунд, широко раскрыл пасть и громогласно заревел, выпрямляясь, но Залесский нёсся на него, громко топая по льду, и тоже ревел во всю силу лёгких, размахивая ледобуром, как палицей. Эту глупую смерть, пришедшую к нему под кривобокой, ущербной луной, нужно было победить во что бы то ни стало! Иначе не будет уже ничего: ни жизни, ни удачи, ни любви... И он нёсся вперед, а грозная, первобытная, победоносная сила, о которой он до сих пор даже не подозревал, толкала его изнутри, расправляла плечи, и кричала-рычала через его горло, раскалывая в куски застывшую тишину подлунного мира.

И медведь отступил.

Снова упал на лапы, скакнул вправо, вбок, вперед, и, наконец, попятился назад, а потом неуклюже развернулся и потрусил восвояси, переваливаясь, тряся толстым задом, и всё больше набирая скорость. А Залесский, пробежав за ним почти половину пути, всё еще орал, остановившись, и чувствовал, как мощные толчки сердца, словно кровь, выплёскивают из него этот крик. И всё его тело, переполненное звенящей силой, рвалось вперед — прогнать, застолбить территорию, доказать, что здесь нет и не может быть места другому хозяину.

Он вернулся к палатке, сгреб приваленную к ее боку груду дров и вывалил на снег рядом, хваля себя за то, что не поленился нарубить кучу побольше. Выбрал самый длинный сук, обмотал его полотенцем, плеснул на ткань жидкостью для розжига, а остальную вылил на дрова. Поджег свой факел: тот вспыхнул ярко и весело, разгоняя полумертвую лунную синеву красно-желтым пламенем прирученного огня. И сунул его в переплетение сучьев,

глядя, как разбегаются по ним, становясь всё сильнее и прожорливей, оранжевые язычки.

Синяя тьма сгустилась, но отступила, не в силах сопротивляться. Разгоняя ее факелом, Залесский обошел вокруг палатки, потом ещё раз, сделав круг пошире. Сердце всё ещё молотило, утробно бухая, и под кожей вновь зазмеился страх. Но медведь удрал, и, судя по всему, даже не думал возвращаться. Стоя лицом к его следам, чернеющим в снегу глубокими, круглыми, каждый с суповую тарелку, провалами, Юрий вглядывался в беспросветную кромку леса на берегу. Враг мог затаиться там.

Залесский понимал, что выиграл бой — но что война, быть может, не окончена. И не понятно, удастся ли продержаться до утра и беспрепятственно добраться до машины.

Он глянул на часы: половина пятого. Через два часа начнет светать. Надо как-то продержаться.

И позвонить Тане, пока еще есть такая возможность.

Пусть это невежливо — беспокоить ночью. Пусть вопреки принятому им же решению дожидаться ее развода. Он всё равно позвонит и скажет ей, что она — нужна, что он ждёт, и что по-прежнему верит ей.

Залесский отстегнул клапан накладного кармана и вытащил холодный кирпичик смартфона. Нажал на кнопку, включая. Экран ожил, и, чуть помедлив, появились и выстроились по росту желтые палочки сигнала сети. А потом горохом посыпались эсэмэски: с трёх незнакомых номеров — двадцать, двадцать пять, двадцать семь пропущенных вызовов. Чувствуя неладное, он вызвал первый попавшийся. И, едва заструился из трубки гудок, в ухо закричал женский голос:

— Юрий, это Яна, Танина подруга! Таня арестована, помогите!..

Оконные рамы — старые, бугристые от многолетних наслоений краски, капли которой застыли и на толстых запыленных стеклах — почему-то висели в воздухе. И пола под ногами не было. Но Инесса Львовна не чувствовала страха. Она хотела открыть окно и позвать мальчика, который гулял внизу, во дворе. Следовало загнать его домой, чтобы сделал уроки. И она позвала — раз, другой; но мальчишка, будто не слыша ее, подбежал к молодой светловолосой женщине, сидевшей у песочницы, и спрятался за ее спиной.

— Отдайте ребенка! — крикнула Инесса Львовна. Молодая подняла голову, и Вяземская вдруг поняла, что смотрит в глаза самой себе, двадцатилетней. А мальчик выглянул из своего укрытия и бросил на землю желтого резинового утенка. И тот, звонко хрупнув — будто фарфоровый — разлетелся на множество осколков.

А в следующий миг Инесса вынырнула из сна и поняла, что в ее квартире кто-то есть. И этот кто-то возит по полу веником, перекатывая по безупречной чистоте кафеля тонко позвякивающие кусочки фарфора.

Новицкий. Это мог быть только он. Вяземская испуганно села в постели, бросила взгляд в зеркало трельяжа, и недовольно вздохнула.

Всё было неправильно: и то, что она дала Игорю ключ от своей квартиры, и то, что в глубине души — как сама поняла позже — надеялась с помощью этого ключа перевести их отношения на новый уровень. И даже то, что вчера чревоугодничала, будто последний день жила: слопала копченую скумбрию с двумя тарелками горячей, рассыпчатой картошки, и запила всё это литром брусничного морса. А за ночь лицо отекло, глаза стали щелочками, и теперь с неё можно картину писать, «Утро в китайской деревне».

Но кто знал, что Новицкий явится прямо с утра, после ночного дежурства? Хоть обычно и спокойными они были — психиатрия не хирургия или роддом — но Игорь всегда ехал досыпать к себе домой. На это, в общем-то, она вчера и рассчитывала, когда объедалась, отмокала в ванной, смывала лак с ногтей, и заваливалась спать в старой пижаме, даже не высушив волосы. Расслабилась, называется... Теперь на голове черти что, маникюра нет, лицо ужасно, и остается лишь надеяться на то, что Новицкий ещё не заглядывал к ней в спальню и не видел её в этой страшной пижаме из розового трикотажа, такой уютной, но так безобразно облегающей всё, что обвисло или заплыло жирком.

Вяземская принялась стаскивать с себя трикотажный ужас, чувствуя, как внутри растёт недовольство. Зачем он явился в такую рань? Вроде умный человек, но бывает удивительно, просто убийственно нетактичным. И ведь знал же, как она ждала этой субботы, так мечтала выспаться! Ведь всю неделю — то отчет, то консилиум, то проверка из Минздрава...

Инесса Львовна поспешно влезла в длинную шелковую сорочку, отделанную у лифа широким кружевом, и, набросив золотистый пеньюар из того же комплекта, села к трельяжу. Побрызгала на лицо мицеллярной водой, протерла ей глаза, и решительно вскрыла пакетик с китайской маской-салфеткой: своим НЗ на случай косметического аврала. Знакомая дистрибьюторша привезла несколько штук из Поднебесной, сказала, маска омолаживает за пятнадцать минут на добрый десяток лет. И не соврала — Инесса уже успела проверить.

Набросив маску-салфетку на лицо так, что живыми на нем остались только глаза и губы — все остальное матерчатое, как у мумии — она взяла широкую деревянную «массажку» и расчесала спутанный пергидрольный блонд. Выдавила на ладони несколько капель масла

(«запах потрясающий, мужики с него дуреют», нахваливала его та же дистрибьюторша), втерла в волосы, прислушиваясь к кухонным звукам. Похоже, Новицкий решил позавтракать: пару раз хлопнул дверцей холодильника, потом захрустел ручной кофейной мельницей, налил воду в джезву... Заходить в спальню он явно не спешил, и это было только на руку.

Запах кофе — терпкий и будоражащий — пробрался в спальню через щель под дверью, и повис, дразня. Вяземская сняла маску и, сунув ее обратно в пакетик, приблизила лицо к зеркалу. Кожа посвежела, подтянулась, даже отеки вокруг глаз немного спали. Инесса Львовна еще раз расчесала волосы, и они, тяжелые и гладкие от масла, легли на плечи блестящей волной.

Вяземская еще раз критически оглядела себя в зеркале. «Неплохо, очень даже неплохо! — подбадривала она себя. Но смотревшая из зеркала полнотелая женщина с постаревшим лицом и распущенными волосами, похожая на молодящуюся русалку, вдруг отвернулась и закрыла ладонями глаза. — Господи, стыд-то какой! Ну кому я вру? Ведь он же мальчишка, он мне в сыновья годится, тридцать два года — а мне без пары недель пятьдесят! Ну что я себе напридумывала, ведь молодого хочу удержать, а зачем?... Ясно же, что не останется! И у меня к нему — нет любви, просто одной плохо, да и похожи мы: оба карьеристы, честолюбцы, которые и в медицине-то непонятно почему оказались, если разобраться... Ведь таблички на дверях кабинета и красивые цифры в отчетах беспокоят нас больше, чем здоровье пациентов. Но их, недужных, много — а жизнь одна, и мы в ней — крапивное семя*. Такими уж уродились»

И ее мысли потекли, уводя от главного, успокаивая, привычно подсовывая аргументы: да, ты видишь в нем себя, и тебе иногда неуютно от этого; да, ты никогда не любила лечить, но, глядя на него, осознаешь, что это не такой уж большой грех, и что ты не одна такая. И, вообще, должен же кто-то быть администратором. Ты в свое время лезла к должности по головам — теперь это делает Игорь. Но строить карьеру — дело уважаемое, и плевать, что Новицкий использует тебя как ступеньку. Он ведь для тебя тоже — просто способ: хорошо провести время, ощутить себя привлекательной, незаменимой, властной. Да и секс для здоровья необходим, а с ты расцвела, помолодела даже, да и цикл нормализовался, боли внизу живота прошли. Так что одни плюсы от этих отношений.

«Но, если всё так, почему тебе стыдно? И зачем дала ему ключ?»

Вяземской не хотелось отвечать на эти вопросы. И в зеркало смотреть тоже не хотелось. Запахнув пеньюар, она вышла из комнаты и прошмыгнула в санузел — умыться смысла не было, а вот зубы почистить не мешало, да и в туалет хотелось уже нестерпимо.

Когда она появилась на кухне, Новицкий кивнул, не поднимаясь из-за стола, и сказал, всё еще жуя:

— Инесса, прости, я разбил твою кружку.

— Слышала, — она тоже села за стол, отщипнула крошку сыра. — Как дежурство?

— Я потому и приехал, — помедлив, ответил он. — Ты бы всё равно узнала. Я решил, что лучше уж из первых рук.

Вяземская озадаченно сдвинула брови:

— Что-то случилось?

— Да, — он глотнул кофе. — Сотрудница твоя, Демидова, сейчас в полиции. Украла какого-то ребенка, а при задержании приступ выдала. Потом еще один. Я ездил к ней в ИВС.

Порывисто вздохнув, Инесса Львовна испуганно прикрыла рот рукой и покачала головой, не веря. Таня, такая правильная, разумная — и украла ребенка?...

— Там какая-то мутная история, — Новицкий снял очки, протер их клетчатým носовым платком. — Этот мальчик, вроде бы, у вас лежал. А потом оказался у Демидовой. Мать ребенка написала на нее заявление, поехала к ней домой с полицией, там мальчишку этого и нашли. Ну а Демидова при задержании сопротивлялась, орала что-то про кукол и кукольную машину, будто не в себе. В камере это продолжилось. По симптоматике — то же самое, что и тогда, на работе.

— Но это же скандал... — растерянно пробормотала Вяземская. Замерла, невидяще глядя перед собой. Мысли будто расползлись в разные стороны, оставив в голове серую пустоту. Шок оказался столь же сильным, сколь и недоверие.

— Это точно она? — вопрос получился глупым, бессмысленным. Новицкий глянул искоса, удивленно.

— Кофе хочешь? Я на двоих сварил.

Она машинально кивнула. Он встал за кружкой, включил плиту — подогреть джезву. Через пару минут поставил кофе перед Вяземской, пододвинул сахарницу, молочник. Инесса взяла ложечку и, вместо сахарницы, опустила её в молоко.

— Может тебе пустырника накапать? — озадаченно спросил Игорь, отбирая ложку. Сыпанул в ее кофе сахара, забелил молоком.

— Что?... Пустырник? Ох, нет. Я в порядке, — встряхнулась она. Надо было что-то делать, как-то выпутываться из этой дикой ситуации. И как можно быстрее! Тревога билась внутри: город маленький, слухи расползутся мгновенно... на каждом углу будут шептаться о том, что врач-педиатр загремела в тюрьму за кражу ребенка. Ненормальная врач-педиатр. И как её только на работе держали, куда начальство смотрело, скажут все. А начальство — это она, Вяземская.

— Игорь, рассказывай подробно, что там было! — велела она. — Это очень важно, мне нужно понять, как действовать. Ты представляешь, какое это пятно на репутации моего отделения? Да меня наверху сожрут, если это правда!

— Я рассказал уже. Всё, что мне известно. — Новицкий пожал плечами. — Могу добавить, что Демидова призналась: приступы у нее с детства, клиника* одна и та же. Раньше были раз в несколько лет, с возрастом — чаще. Получается, что только за последние два месяца — три приступа. Я поставил диагноз «рекуррентная шизофрения».

— Какой кошмар... — в расширенных глазах Вяземской стыла паника. — Это же ужас, Игорь! Она же всё это время с детьми работала! Я лично её в отделение принимала, да еще наверху её хвалила, собиралась передать ей заведование... Это что же получается — я виновата? Проглядела?

— Ну, как тебе сказать, — он положил руку на её плечо, легко сжал, будто говоря «держись, будь сильной». — Рекуррентную шизофрению очень легко проглядеть, ее проявления нетипичны. Поэтому и верный диагноз так трудно поставить.

В его словах звучала профессиональная гордость, он был явно доволен собой: а как же, сумел понять, что с пациенткой, а ведь случай очень непростой, и болезнь хамелеонистая, такую поди ещё вычисли! Но Инесса не прониклась его настроением, а спросила без обиняков:

— Ты уверен, что диагноз правильный?

Он отстранился, сложил руки на груди. Крылья носа гневно дрогнули:

— Сомневаешься в моей квалификации? — холодно осведомился он.

— Нет, но... Ты сам говоришь, что в подобных случаях бывают проблемы с

диагностикой. Может, ты ошибся? Давай вызовем Серёгина, пусть тоже ее посмотрит. Он сейчас в Москве, но я попрошу, у него ведь тридцать лет опыта...

— Я в своих знаниях — уверен! — заносчиво перебил Новицкий. — У меня, на минуточку, красный диплом! Аспирантура за плечами! И я не считаю нужным собирать консилиум ради этой лгуни! Она ведь обманула меня при первой же встрече, а тебе вралась все эти годы. Нет, если ты, конечно, предпочитаешь верить психически больному больше, чем его психиатру — пожалуйста! Карты в руки! Но я всё равно буду вынужден поставить её на учет, и не смогу допустить это твою Демидову к врачебной работе. И даже не проси!

Он уже почти кричал, а она всё ниже наклоняла голову, чувствуя себя сейчас не чиновницей, чья задача — срочно принять решение, а обычной женщиной. Которая не смеет перечить своему мужчине из-за глупого страха остаться одна. Но спорить хочется, и нужно, пока есть шанс обелить себя и Таню...

Но точно ли — есть?

Инесса Львовна устало потерла виски руками. Хотелось остаться наедине с собой, собраться с мыслями. И ощущение беспомощности грызло, и страх подьедал — а если Игорь все-таки прав? А если не прав, но она уступит — судьба Татьяны будет на ее совести. Ведь Новицкий по этому поводу печалиться не будет, ему просто плевать на чужую судьбу!

Презрение шевельнулось внутри, но Вяземская постаралась подавить это чувство.

— Извини, Игорь. Мне нужно на работу, — сказала она, глядя в сторону. — Ты располагайся тут, отдыхай...

— Обиделась? — он смотрел поверх очков. Руки всё еще на груди, а грудь — всё еще колесом. Уверен в своей правоте, полностью уверен, опуская глаза, осознала Вяземская. И вдруг поняла, что не уважает его как мужчину. Потому что он слишком упрям, заносчив, самовлюблен. Слишком расчетлив — даже в отношениях.

«Типичный чиновник», — усмехнулась она, в несколько глотков допивая кофе. Решать с таким административные вопросы было бы просто: тут подмазать, там польстить, намекнуть на связи в высших кругах — а таковые ещё были, не зря отец Инессы до семидесяти лет работал в Минздраве, всего лишь пятый год на пенсии. Но что касается человечности, без которой невозможна работа с пациентами... здесь у Новицкого дыра. И Татьяну он просто так не отпустит, потому что ему сложнее признать свою ошибку, чем сломать чью-то жизнь.

«Он ведь сейчас и мою ломает, — поняла она. — Ведь прекрасно понимает, что у меня будут проблемы, если всё выйдет так, будто в моем отделении работал врач-шизофреник. И всё равно стоит на своём».

Вяземская прошла в комнату и быстро переоделась. Встала перед зеркалом, закручивая волосы в привычную «бабетту». Подкрасилась, открыла резную шкатулку с украшениями и принялась надевать кольца. «Нужно всё-таки показать Демидову другому специалисту, — решила она. — Ну не верю я, что у неё шизофрения!»

И, вроде бы, от этого решения стало легче, но тут же накатил страх, чисто женский страх перед одиночеством. Ведь ясно было, что Новицкий уйдет, не простит ей, если она пригласит более опытного психиатра. И особенно — если тот опровергнет диагноз.

«А ты изменилась, Инесса, — горько сказала она себе. — Раньше ни за что бы не осталась в отношениях с партнером, которого презираешь. А сейчас что: был бы мужик, хоть какой?»

И эта мысль расстроила её ещё больше.

Новицкий так и сидел на кухне, когда она выходила из квартиры. Машину Инесса брать

не стала — нервы на взводе. Но маршрутка подошла быстро, так что через полчаса Вяземская уже входила в отделение. В коридоре никого не было: завтрак только-только закончился, пациенты в палатах, персонал в столовой. Звеня ключами, заведующая растерянно глянула на сорокалетнюю брюнетку, которая вывела из палаты напротив двух сыновей-близнецов (их положили на обследование из-за плохих анализов крови), и открыла свой кабинет. Машинально натянула белый халат, и, не застегиваясь, села за стол. Включила компьютер — за переключиванием пасьянса ей думалось лучше, а нужно было решать, что делать дальше. Кому-то звонить, узнавать подробности этой истории с Таней... Писать объяснительную руководству — а в том, что она потребуется уже в понедельник, Вяземская не сомневалась.

Красный телефонный аппарат на столе — старый, ещё дисковый — разразился грохочущим звоном. Инесса Львовна сняла трубку:

— Добрый день! Полиция, лейтенант Егоров, — представился мужчина. — Скажите Фирзина Марина Ивановна у вас работала?

— Да, — удивленно ответила Вяземская, ощущая, как в душу заползает нехорошее предчувствие. — Но почему — работала?

— К сожалению, она погибла сегодня ночью. В ее квартире случился пожар.

— Как — погибла? — с трудом проговорила заведующая. Что же за день-то такой сегодня, будто сглазил кто!

— Примите соболезнования, — дежурно сказал лейтенант.

— Подождите! — вскинулась Вяземская, и спросила с надеждой: — А мальчик? Сын её? Он жив?

— Там два трупа было, но оба взрослые — Фирзина и её сосед. О ребенке данных нет, — будто извиняясь, сказал полицейский.

— Спасибо. Что сообщили, — уныло выдавила Инесса Львовна. Дышать стало тяжело будто это она была во всем виновата. — А подскажите, Татьяна Евгеньевна Демидова у вас содержится? Мне сказали, что она арестована. Но мне кажется, это ошибка! Татьяна не способна...

— Извините, я не могу обсуждать такие вещи, — голос лейтенанта стал сухим, отстранённым. — Это вам к следователю. Приходите в отделение, вас направят, к кому нужно.

Вяло поблагодарив, заведующая положила трубку. И замерла, уставившись перед собой. Фирзина мертва, мальчик пропал, Таня за решеткой... И всё в один день, будто ад разверзся.

Преодолевая накотившую слабость, Инесса тяжело поднялась: надо сказать сотрудникам о смерти Марины, венки заказать, организовать сбор денег... А еще — ей нужно просто поговорить, хоть с кем-то. Разделить эту ношу, невозможно же так!.. И прийти в себя, чтобы, наконец, начать хоть что-то делать.

Нетвердо ступая, она вышла из кабинета, и чуть не налетела на Костромину — та на всех парах неслась по коридору, но при виде Вяземской остановилась, как вкопанная.

— Яна Леонидовна, как хорошо, что вы здесь, зайдите ко мне, пожалуйста! — почти взмолилась Инесса, взяв Яну под руку и заводя в свой кабинет. — Вы же дружите с Демидовой, вы знаете точно, что с ней случилось? Она до сих пор в полиции? Как чувствует себя?

— Да там какая-то чушь, Инесса Львовна! — гневно всплеснула руками Яна. — Вы представляете, Фирзина эта чиканутая, чтоб ей пусто было! Написала заяву на Таньку, будто

та ее ребенка украла и держит у себя. А ничего, что она сама мальчика в Танин дом привезла? Мы с Купченко и Тамарой свидетели, были в это время у Тани в гостях, помолвку праздновали! А Фирзина позвонила, попросила, чтобы он у нее пожил! Мы с Витькой е полицию утром ездили, как узнали, требовали Таню отпустить — но куда там! Наши полицаи ведь хватают всех подряд, не разобравшись, вот теперь ждем адвоката — он едет уже. Не понимаю, зачем Фирзина это сотворила, кто ей фотографии дал...

— Фирзина умерла, — сказала Вяземская, и Яна замолчала, осекшись — только округлила черные глаза, испуганно приоткрыв рот. — Мне только что из полиции звонили. В ее квартире пожар случился... Подождите, вы сказали, фотографии? Какие?

— Павлик, сын ее, нашел в квартире фотографии, на которых Таня в отделе опеки. Она туда ходила документы оформлять, хотела взять приемного ребенка...

— Так Павлик нашелся? — пораженно застыла Вяземская.

— Он у вас в отделении, Инесса Львовна! Фирзина с сожителем передрались мальчишка в окно выскочил — как был, без обуви и куртки. Бегал по снегу, ночью, один! Как только жив остался... Тамаре дозвонился, она его на промзоновской дороге нашла! Переохлаждение у него, обморожение ступней второй степени, Тамара с Витькой его сюда положили, сейчас вот в палате сидят... А я ездила, таксиста этого искала, который Фирзину с сыном к Тане привёз. Он сейчас внизу, в машине, ждёт. И Танин адвокат уже к городу подъезжает, так что мы все сейчас в полицию. Вы же отпустите Купченко с дежурства?

— Конечно, Яна! Господи, кошмар какой... — Вяземская потёрла виски и схватила Яну за руку. — Только пожалуйста, держите меня в курсе! Я подежурю, и за Павликом присмотрю, вы езжайте... Только позвоните мне, пожалуйста, как что-то решится!

* крапивное семя — чиновники

*клиника — клинические проявления (здесь)

— Мы обыскали ваш дом. Как вы объясните нахождение в нем детских вещей: одежды, игрушек, учебных принадлежностей? Ведь у вас нет своих детей, — голос следователя был высоким, почти женским, и очень не подходил к его мощной фигуре, широким плечам и обветренному горбоносому лицу. Он сидел на старом деревянном стуле с выцветшей красной обивкой. На желтой поверхности стола лежала папка из черного кожзама, а рядом стопка серой волокнистой бумаги, на которой полицейский записывал ее показания. Больше в кабинете ничего не было — если не считать круглой лампы на потолке, такой же, как у Тани в камере.

— Я же вам говорю: это вещи Паши Фирзина, его мать попросила, чтобы он некоторое время пожил у меня! — стараясь сохранять спокойствие, объяснила Демидова. Они битый час ходили по кругу: он спрашивал, она повторяла одно и то же.

— То есть вы признаете, что целенаправленно создавали условия для проживания мальчика в вашем доме? — спросил следователь, выводя на бумаге очередную строчку, напоминающую забор.

— Да, создавала! — взорвалась Татьяна. — А если бы я этого не делала, ребенку просто не во что было бы переодеться, нечем занять свободное время, и домашние задания он делать бы не смог!

Следователь перевернул лист и, не глядя на Таню, задал очередной вопрос:

— Как долго вы планировали держать у себя ребенка?

— Да Господи Боже мой, я ничего не планировала! — едва не заплакала она. Ее начало трясти — то ли от холода, проникающего в кабинет через приоткрытую форточку, то ли от того, что в каждом вопросе следователя — равнодушного, как ледяная глыба — чудился подвох. И эти вопросы, так похожие друг на друга, выматывали — а он будто ждал, что она начнет путаться в показаниях, совершит ошибку. Будто цель была не разобраться, а посадить, во что бы то ни стало.

— Послушайте, я вас прошу, вызовите Фирзину! — взмолилась Татьяна. — Устройте нам очную ставку, что ли! Вы сразу поймете, что она меня оговорила — только вот зачем, ума не приложу! Я ведь её семье помогала, покупала вещи Павлику, занималась с ним!

— И привязались настолько, что решили — с вами ему будет лучше? — хмыкнул следователь. Таня замолчала, соображая, не наговорила ли лишнего. Поджимала губы, останавливая готовые сорваться с них слова. И вдруг поняла, что дико устала: доказывать, бояться, подбирать правильные выражения... Так устала, что уже нет ни слёз, ни злости.

— Знаете, я больше ничего вам не скажу, — решительно заявила она. — Мне нужен адвокат, и мой муж скоро его привезет. Без него, я чувствую, на меня всех собак повесят.

— То есть сотрудничать со следствием вы не хотите?

— Если бы следствие было объективным, вы бы отпустили меня еще вчера! — в сердцах сказала она. Хотела добавить, что это так называемое следствие даже не озадачилось поиском свидетелей, а ведь адреса и телефоны Яны и Купченко она назвала, когда ее допрашивали после задержания. Но железная дверь кабинета открылась, и возникший на пороге полицейский сказал:

— Андрей Викторович, там вас зовут.

Следователь вышел, а полицейский скользнул в кабинет, запер дверь, и встал, глядя

поверх Тани — будто её тут не было. Будто не человек она, а вещь, запертая в железном ящике. Которую возьмет, кто захочет, и переложит, куда вздумается.

Слезы вновь закипели внутри, и Татьяна бессильно отвернулась к окну.

В коридоре послышался топот и гул голосов: бабий тенорок следователя и низкий, раскатисто рычащий, неуловимо знакомый... В дверь забарабанили, и стоящий возле нее полицейский торопливо отомкнул замок.

Залесский влетел в кабинет, впился в Таню глазами, оцупал встревоженным взглядом каждую черточку ее осунувшегося лица, опущенные в безысходности плечи, бледные кисти замерзших, испуганно сжатых рук. Резко повернулся к полицейским.

— Я имею право говорить с моей клиенткой без свидетелей.

— У вас двадцать минут, — бросил следователь. На его недовольном лице проступили красные пятна.

— А вы за эти двадцать минут подготовьте все бумаги, — ледяной тон Залесского выражал крайнюю степень бешенства. — Я вам обещаю, что буду изучать их очень внимательно. И за каждое процессуальное нарушение вашим сотрудникам придется ответить.

Тяжело заскрипев, железная дверь лязгнула замком.

— Танюш, ты как? — мгновенно оказавшись возле, он присел на корточки и принялся растирать ее руки. Она смотрела сверху в его лицо, чувствуя, как по щекам текут слезы.

— Тебе холодно? — заботливо спросил Залесский. — Закрывать форточку?

— Юра, откуда ты? Как узнал? — всхлипнув, спросила она.

— Яна позвонила. Прости, что раньше не смог, уезжал... дурак... Послушай, не плачь. Я вытащу тебя. Они еще не успели возбудить дело, доказательства собирали, но их нет — четверо свидетелей на твоей стороне, против тебя никого. И задерживали тебя с нарушениями, и Фирзина была под шофе, а ей ребенка отдали, не имели права...

— Где он? — встревоженно спросила Татьяна.

— Он с Тamarой, — Залесский отвел глаза — еще по дороге сюда он решил не рассказывать всю правду о мальчике и Марине, ведь Тане и без того хватило переживаний. — Скажи, ты что-нибудь подписывала? Какие-нибудь документы?

— Нет, — Таня быстро смахнула слезы. — Они мне давали какой-то протокол, но в нем было сказано, что я сопротивлялась... а я... а у меня просто...

И она разрыдалась, не выдержав — было страшно рассказать о Пандоре, потому что это могло напугать его, заставить отвернуться. Залесский привстал, обнял ее, крепко прижал к себе — и она уткнулась в его грудь, в пропахшее рыбой тепло колючего свитера, и только сейчас осознала, что на нем та же старая рыбацкая одежда, которая была в день их первой встречи. Значит, он приехал откуда-то, и сразу понёсся к ней, чтобы защитить, раскидать здесь всех, спасти ее из этой дичайшей ситуации... Значит, она нужна ему. И от этой мысли слезы высохли, а внутри разлилось тепло — будто солнце прорвалось сквозь тучи. Татьяна подняла голову и встретилась взглядом с Залесским.

— Мне нужно тебя спросить, — в его янтарных глазах была решимость. — Ты не передумала разводиться?

— Нет, — удивленно ответила она. — С чего ты взял?

— Подумал так, когда увидел вас с мужем, — он пожал плечами и отвернулся, будто стеснялся чего-то.

— Теперь уже скоро, — смущенно улыбнулась Таня. Залесский снова посмотрел на неё,

и она увидела в его взгляде ту же решимость.

— Ты будешь со мной потом? — вопрос прозвучал почти как требование. Но в янтарных глазах ожила мольба, губы сжались, будто он готовился получить отказ — и заранее знал, как это больно.

— Если я нужна тебе — буду, — просто ответила Татьяна.

И он прижал ее к себе с новой силой. Вздохнул глубоко, будто сбросив лежавшую на душе тяжесть. Зарылся рукой в ее волосы, перебирая шелковистые пряди. И от этой ласки она ощутила странное: будто тело становится лёгким-лёгким, парит, наливаясь звенящей радостью — а всё от того, что он рядом. А потом его губы коснулись ее лба, щеки, и приникли к ее губам, и не осталось больше ничего — лишь этот жар, трепещущий между ними.

И не было сил на одно — разомкнуть объятия.

— Я потребую, чтобы тебя освободили прямо сейчас, — пообещал он, глядя на Таню. — Потерпи еще немного. Ну, может, час-полтора, пока они оформят документы. И не плачь, хорошо? Не о чем больше плакать.

...Едва Таня шагнула в коридор дежурной части, Янка — красная, взволнованная, в расстегнутой куртке — бросилась к ней с победным криком, будто индеец-команч:

— Таньча! Отпустили! А я говорила — всех к ногтю прижмем, развели тут!.. — приобняв подругу, она погрозила кулаком непонятно кому, и снова бросилась обниматься.

— Дартаньяна, мне-то оставь! — шутливо отодвинул ее Купченко и прижал к себе Таню. Шепнул на ухо: «Юрка — мужик, бросил своих селёдок, приехал. Я бы сам в такого влюбился».

— Вещи заберите, — сказал молоденький полицейский, кладя на стоявший в коридоре стол Танину куртку, в оттопыренный рукав которого была засунута шапка и шарф. Сверху положил ремень и шнурки от ее ботинок. — И распишитесь вот здесь.

Двинув плечом, Залесский встал между ним и Таней, взял протянутый лист бумаги, пробежался глазами по строчкам. И кивнул: подписывай смело.

Поставив росчерк, она огляделась. Возле стены стоял ряд дерматиновых кресел, в которых сидели потерпевшие: печальная бабулька в зеленом пальто, и мужчина средних лет, прижимавший к носу окровавленный платок. Она присела с краю и наклонилась, пытаясь зашнуровать ботинки.

Висевший на стене дежурки телевизор был включен — передавали местные новости. Стараясь попасть шнурком в черный люверс, Таня поневоле прислушалась к голосу тележурналиста.

...— Как говорится, нет худа без добра, и теперь жители барака по Еловой, сорок, получают, наконец, давно обещанные квартиры. Но нашим властям стоит задуматься, не велика ли цена — две оборвавшиеся жизни, унесенные этим пожаром.

Таня медленно подняла голову и уставилась на экран. Лохматый мужчина, завернувшийся в драное ватное одеяло, возбужденно тараторил:

— Дык хорошо, выскочить успели, покамест газовый баллон не взорвался, а то бы к звездам сейчас!..

За его спиной, в ночной темноте, багровел огромный костер, сквозь пламя которого чернел скелет полыхающего барака. Две красных пожарных машины, коренастые фигурки, разворачивающие шланги, карета скорой помощи... Кадры сменялись, а Таня всё еще слышала: «барак по Еловой, сорок», «две оборвавшиеся жизни»...

Она перевела растерянный, чумной взгляд на Янку. Слов не было — готовые сорваться с губ, они замерли в страхе. Яна шагнула к ней, в черных глазах появилось непонятное — то ли раскаяние, то ли злость.

— Таньча, не бери близко к сердцу... — начала она.

— Яна, где Паша? — в пересохшем горле запершило. — Только пожалуйста, не надо врать, не надо жалеть меня! Скажи правду — кто там сгорел? Меня поэтому выпустили?

— Живой твой Пашка, — поспешно сказал Купченко. — В нашем отделении лежит, простыл чуток.

— А Марина? — спросила Таня, уже понимая каким-то десятым чувством, что Фирзиной больше нет — но всё ещё не веря в это.

— Она Пашу спасала, сожитель ее пьяный был, начал нападать на мальчика — ты ведь здесь, защитить некому... — принялась объяснять Яна. — Пока они дрались, Павлик успел в окно выскочить. В чем был, то есть даже без ботинок. Но он молодец, знаешь! Смог вспомнить телефон Тамары, дозвонился ей, она приехала. Сразу в отделение его забрала.

— Да мы его поставим на ноги, Тань! — вклинился Витька. — Не переживай, ты же знаешь, Тамара с него пылинки сдувать будет! У нас есть проблема похуже...

— Марина всё-таки погибла?

— Да, и сожитель её... Но дело не в этом. Твой муж... Мы думаем, это он тебя подставил. Не хотелось, конечно, на тебя всё это разом вываливать, ты ведь...

— Слушайте, со мной всё хорошо! — перебила его Таня. Макс ее сейчас не волновал, как и то, почему она оказалась в полиции. С этим еще будет время разобраться, сейчас главное — это ребенок. — Пожалуйста, давайте в больницу поедem, я должна Павлика увидеть! А про Макса в дороге расскажете.

И она торопливо зашаркала к выходу, так и не зашнуровав ботинки.

Машина Залесского подпрыгнула на колдобине, и фотографии выскользнули из Таниных пальцев, с тихим шуршанием попадали на резиновый коврик. Она машинально нырнула за ними, стала собирать непослушными пальцами. Старый, мягкий после многих стирок, шарф натянулся на горле, став раздражающе колючим. Нервно сглотнув, Татьяна попыталась освободить шею, и почему-то вспомнила, что этот шарф связала мать. И от этого воспоминания она еле сдержалась, чтобы не разреветься.

«Я — женщина, которую предал муж. Как же будет злорадствовать моя мамочка! Скажет, что была права насчет Макса, напомним, что предупреждала меня, снова назовет глупой и простодырой... А еще говорят, что семья всегда поддержит! — Таня горько усмехнулась. — Да эта семья никогда не хотела со мной считаться, хотя я ради Макса и родителей выкладывалась на все сто, работала, отодвигала свои мечты! Меня просто использовали — а потом спокойно вышвырнули из жизни. Как стремившееся в свету, плодоносное дерево... которому ни за что обрубили корни!»

Выпрямившись, она беспомощно посмотрела на молчавшего всю дорогу Залесского, перевела измученный, непонимающий взгляд на сидевшую позади на Яну.

— Да, это Макс, — боль приглушила ее голос. — Это он сделал фото, и, видимо, передал Марине... Но за что?!? Почему он так со мной?...

— А я всегда говорила, что он упырь! — заявила Яна, и от избытка чувств толкнула в бок Купченко, дремавшего рядом с ней на заднем сидении. Он поймал ее руку и успокаивающе похлопывая по ней, заверил:

— Мои ребра в этом точно не виноваты! Кстати, Танюш, нам очень повезло, что Юрка увидел вас возле опеки. Иначе гадали бы, кто дал эту гадость Фирзиной.

Залесский повернул руль, выезжая на улицу, ведущую к больнице. Его нахмуренные брови и сжатый в бескровную полоску рот лучше всяких слов говорили о том, что ситуация очень серьезна. Глянув на него, Таня опустила глаза, чувствуя, как жар разливается по щекам. «Стыдно, Бог мой, как стыдно... — думала она. — И как несправедливо...»

Залесский одной рукой вытряхнул из пачки сигарету и зажал во рту, нащупывая зажигалку.

— Юра, не молчи, пожалуйста! — взмолилась Татьяна. — Мне страшно от того, что ты молчишь. Я согласна с тобой, всё это подстроил Макс... Но почему?

— Ну, я совсем не знаю, что за характер у твоего мужа, и не могу так с ходу объяснить его поступок, — сказал Залесский, не отрывая взгляда от дороги. Прикурив, он задумался, а затем продолжил: — но я законник, и убежден, что у любого преступления должен быть мотив. Если ты поймешь, зачем ему сажать тебя в тюрьму, то станет проще предсказать, что он собирается делать дальше. Сейчас это самое главное. Подумай.

— Может быть, это из-за того, что я решила подать на развод? Разозлила его, обидела...

— Слабая мотивация, — мотнул головой Залесский. — Он бы не стал так заморачиваться. У нас говорят, есть три основных мотива — деньги, любовь, власть. И мсть — но она тоже относится к желанию показать свою власть. Впрочем, я не думаю, что он тебе мстит. Тут что-то другое.

Другое... Татьяна растеряно сникла, так и не понимая, в какую сторону думать. Да, Макс амбициозен — но у него была хорошая, уважаемая должность, и власть над

несколькими десятками сотрудников. Другая женщина? Нет, она бы почувяла измену. Да и город маленький, все друг друга знают, как говорится, спят на одной подушке. Нашлись бы добрые люди, сказали бы, если у Макса появилась любовница... Деньги? Он ни в чем себе не отказывал. И после развода не остался бы на улице. Конечно, денег стало бы меньше, чем сейчас...

— Доверенность! — ахнула Таня. — Боже мой! Как же я сразу не поняла? А ведь еще подумала — как он успел документы подготовить?... Чувствовала — что-то здесь не так, он ведь сказал, что вернулся по дороге из аэропорта!

— Какая доверенность? — повернулся к ней Залесский. Обеспокоенность в его взгляде только укрепила подозрения Татьяны.

— Генеральная. Макс не входил в состав учредителей моей аптечной сети, я ведь её создавала еще до свадьбы. Он в последние годы занимался этим бизнесом, но лишь на правах директора. А теперь, когда я решила продать аптеки, без меня было бы невозможно провести сделку... Он приходил вчера в полицию, обещал вытащить меня, но сказал, что нужны деньги на адвоката, и что покупатель не будет ждать... В общем, я подписала всё, что нужно, и теперь он может сам продать этот бизнес...

Яна, которая слушала ее, подавшись вперед и уцепившись рукой за спинку Таниного сидения, горестно застонала:

— Таньча, ну ты чего? Зачем?... Он же сбежит с деньгами, а ты с кукишем останешься!

Таня и сама понимала, что Макс поступит именно так. Мначе заваривать эту кашу с тюрьмой было просто незачем.

— Не могу поверить... — пробормотала она. — В голове не укладывается...

— Это потому что ты всех по себе судишь! — взорвалась Костромина. — Всё ждешь от людей хорошего! А в некоторых его нет, пойми!

Купченко подался вперед, потряс Таню за плечо и сочувственно сказал:

— Танюш, не расстраивайся, — и обратился к Залесскому: — Юрок, к тебе вопрос, как к юристу: мы можем что-то сделать?

Таня с надеждой подняла взгляд на Юрия. Адвокат вздохнул, потер лоб.

— Кому он собирался продать аптеки?

— Я не знаю... — Татьяна развела руками. — Не спросила. Я в таком состоянии была — там, в камере — что мне вообще без разницы было, что происходит, лишь бы быстрее оттуда выбраться!

— А он этим воспользовался, — понимающе кивнул адвокат. — Более того, он сам смоделировал эту ситуацию. И знал, что ты поведешь себя именно так. Но в тот момент ты не могла иначе, так что не вини себя.

Его голос звучал мягко, успокаивающе, и Татьяна, облегченно вздохнув, посмотрела на него с благодарностью.

— Я постараюсь что-нибудь сделать, — продолжил Залесский. — Но если бы знать, с кем твой муж собирался заключать сделку, можно было бы переговорить с этим человеком. Не думаю, что кто-то захочет связываться с мошенником, который подставил свою жену и получил доверенность обманным путём.

Татьяна напрягла память. И разочарованно покачала головой: нет, Макс ничего не говорил о покупателе.

— Танька, давай его посадим! — со злостью предложила Яна. — Юр, можно ведь его посадить? Вот упырь! Эх, попался бы он мне!

Купченко чуть подался вперед и посоветовал Залесскому:

— Юра, сделай, а то наша Дартаньяна его придушит, и посадят уже её.

Адвокат чуть улыбнулся, но через мгновение вновь стал серьезным.

— Тань, может, прямо сейчас поедem искать твоего мужа? — предложил он. — Время дорого. А к Пашке потом заедem, он ведь в безопасности, под присмотром...

Но Демидова даже думать об этом не хотела.

— Юр, мне хоть одним глазком взглянуть на него!.. — попросила она. — И он успокоится, когда меня увидит — знаешь, как плакал, когда меня полиция забирала?... Бедный, он ведь сиротой остался! Теперь я его точно к себе возьму.

Машины снова трянуло, и по багажнику прокатилось что-то круглое.

— Да, знать бы, что Фирзина такой дрянью окажется — сразу бы постарались ее прав лишить! — в сердцах сказала Яна.

— Она не дрянь... — покачала головой Татьяна. — Бестолковая просто. И жадная. Наверняка Макс ей заплатил, да еще соврал, что я в опеку ходила, чтобы Павлика у нее отобрать. Господи, какой кошмар...

Она сникла, опустив глаза. Фирзину было жаль — даже несмотря на то, что она натворила. Но, с другой стороны, останься она жива, что было бы с Павликом? Ведь сожитель матери наверняка продолжал бы его избивать...

— Прости, Таня. Это ведь я тебя отговорил, — голос Залесского был полон раскаяния. Она ободряюще дотронулась до его плеча:

— Не извиняйся. Ты же хотел, как лучше.

Все замолчали — похоже, думали об одном и том же.

— Слушайте, а ведь пацан еще не знает, что мать умерла! — потрясенно сказала Яна. — Надо ведь как-то сообщить...

Татьяна вздрогнула от этих слов. Мигом вспомнила, какими глазами Павлик смотрел на мать, как радовался, когда она приходила. «Я не смогу! — осознала она. — Я пережила предательство мужа, просидела ночь в камере, почти потеряла бизнес... Но сказать ребенку о том, что его мама погибла... нет, на это у меня точно не хватит сил!»

И, словно услышав ее мысли, Купченко пообещал:

— Я скажу. Поговорю с ним, как мужчина с женщиной.

— Вместе поговорим, — притормаживая у шлагбаума, устало вздохнул Залесский. И Таня вдруг поняла, что он не спал всю ночь. Они все — не спали. С тех пор, как узнали, что она и Павлик — в беде. И чувство благодарности захлестнуло её, подступило к глазам влажным жаром, защипало в носу. В памяти всплыли слова Яны: «Ты живешь в иллюзиях, будто сама способна всё решить — и будто других обременять своими проблемами не нужно. Вот только сил у тебя на всё не хватит. А друзья — на то и друзья, что поддержат и помогут». И ощущение полного, тотального одиночества, которое обступило её, когда она осознала предательство Макса, прошло. Безвозвратно прошло.

...Залесский припарковался возле больницы, и они, сбросив верхнюю одежду в раздевалке для персонала, поднялись в педиатрию. Здесь было тихо — сончас. Стараясь не шуметь, пошли по длинному коридору с синими стенами и белым мраморным полом.

— Слушай, забыла тебе сказать: Львовна же здесь! — вспомнила Яна. — Не знаю, чего ее принесло в субботу. Но она просила позвонить, когда твоё дело решится.

— Я сама к ней зайду, — пообещала Таня. Сначала ей хотелось увидеть мальчика, и она дернула за джемпер Витьку, который шел чуть впереди: — Паша в той же палате?

— Нет, в двадцать первой, одноместной, — обернувшись, ответил Купченко.

Татьяна прибавила шагу, и, дойдя до нужной дери, осторожно приоткрыла ее. Заглянула внутрь. Мальчик спал на кровати, стоявшей возле окна — до горла укутанный одеялом. Лицо ребенка было бледным, измученным, страдальческая морщинка залегла между его бровей — будто и во сне его терзало что-то страшное. На соседней кровати лежала Тамара — в обычной одежде, и Таня поняла, что сегодня даже не ее смена, а она все равно не отходит от Павлика. Увидев Татьяну, Тамара осторожно поднялась, чтобы не разбудить ребенка скрипом пружин, махнула рукой — мол, сейчас выйду.

— Всё в порядке, уснул, — шепнула она, выходя в коридор. И улыбнулась Тане: — Я так рада, что тебя отпустили! Нисколько не сомневалась, что так и будет! И я приезжала, Тань, ты не думай! Но вернулась сюда сразу, как дала показания — не хотела Павлика надолго оставлять, ему итак несладко...

— Я знаю, дорогая! — Таня обняла её — крепко, с искренней благодарностью. Посмотрела на Залесского, Яну и Витьку. — Вы пока идите в ординаторскую, хоть кофе выпейте, а то зеленые уже от недосыпа. А я к заведующей загляну, и сразу к вам.

— Пойдем, ничего с твоим Пашкой не случится, — сказал Купченко, беря Тамару под руку. И пообещал: — Таня, будь спокойна, я со всей ответственностью отнесусь к кофетерапии, никому помереть не дам.

Улыбнувшись, Таня пошла к кабинету Инессы Львовны. Несмотря на все пережитое, она чувствовала, как силы возвращаются к ней, ведь еще немного — и всё устаканится. Она сможет усыновить Павлика, и Юра будет рядом... И даже если Макс действительно продаст аптеки и сбежит с деньгами — что ж, значит, не вернется, и это уже плюс. В конце концов, она готова заплатить за удовольствие не видеть его больше. Дороговато, конечно, получается — ну и плевать, у нее ещё кое-что осталось, проживет.

Настроение поднялось. Татьяна постучалась в дверь Вяземской и шагнула внутрь с улыбкой:

— Здравствуйте, можно?

— Таня! — Инесса Львовна вскочила из-за стола и понеслась к ней с расprostертыми объятиями. Крепко прижала Татьяну к себе, бормоча: — Ну, слава Богу, слава Богу... Я то уж испугалась...

— Всё позади, Инесса Львовна, — Таня погладила ее по спине и высвободилась.

— Ну, ты садись, садись, рассказывай!

— Ох... Фирзина на меня заявление написала, представляете?

— Да знаю, — всплеснула руками Вяземская. — О покойниках, конечно, нельзя говорить плохо, но она...

— Запутали ее, — перебила Таня. Рассказывать о предательстве Макса ей не хотелось, и она поспешила заговорить о другом: — Но теперь я свободна, так что завтра могу выйти в свою смену. И Павлика я теперь усыновлю, ничто меня не остановит.

Заведующая помрачнела. Вернулась за свой стол, села в кресло, не поднимая глаз. Тане стало тревожно.

— Что-то не так? — спросила она.

— Как тебе сказать... — Вяземская взяла со стола шариковую ручку, рассеянно покатила ее в пальцах. И посмотрела в упор на Татьяну. — Я не могу допустить тебя до работы. Новицкий не даст.

Таня побледнела:

— Его диагноз неверен! — воскликнула она.

— Я тоже так думаю, — вздохнула Инесса Львовна. — Но он сказал — ты обманула его. И что тот приступ на работе был не первым. И что в полиции ты выдала ещё два, с похожей клиникой. Я сейчас не буду укорять тебя за враньё. Но ты работаешь с людьми. Где гарантия, что приступ не случится, когда ты, к примеру, держишь на руках маленького ребенка? Что тогда будет, Таня?...

— Вы хотите меня уволить? — упавшим голосом спросила Татьяна. На нее словно бетонную плиту опустили: ведь еще минуту назад казалось, что уже не может случиться ничего плохого — а теперь ее лишают любимой работы. Но в то же время она понимала — Инесса права. Не важно, какова природа Пандоры — важно, что приступы участились. Пандора является, когда захочет, и сделать с этим ничего нельзя. Пока — нельзя.

— Таня, я не собираюсь тебя увольнять, — сказала заведующая. — Я предлагаю тебе взять больничный и обследоваться. У меня есть связи в Москве, там хорошие, опытные психиатры. Ты сможешь лечь в клинику — а здесь оформить больничный у Костроминой, думаю, она не откажет. Если ты психически здорова, никто даже не узнает, что ты была на обследовании — я об этом позабочусь.

— Я не лягу в психушку, — замотала головой Татьяна. — Нет смысла. Я уверена, что эти приступы — реакция на сильный стресс, это что-то, сидящее во мне с детства. Я обращалась к психоаналитику...

Рассказывая о Пандоре, она старалась говорить спокойно, но дрожь, бившая ее — сникшую, обнявшую себя за плечи, будто в попытке согреться и ощутить поддержку — рвала ее слова. Зубы стучали, и Таня поднялась, налила из кулера воды в белый пластиковый стаканчик. И нечаянно расплескала ее, когда пальцы слишком сильно сжали тонкий пластик. На темно-зеленом свитере Тани расплылось мокрое пятно. Вяземская подошла, протянула ей носовой платок.

— Таня, послушай, я тебе верю. Но в твоих же интересах опровергнуть диагноз Новицкого. Если ты получишь психиатрическое заключение о том, что здорова, тогда сможешь делать всё, что хочешь. И на работу выйти, и ребенка забрать. Ты же понимаешь, что сейчас тебе его никто не отдаст?

Таня хватанула ртом воздух. Это был удар, которого она не ожидала. Не веря в свой диагноз, она даже не допускала мысли о том, что ущемленное самолюбие Новицкого может напрочь сломать ей жизнь. Но теперь поняла — может, и не только ей. Мальчик попадет в детдом, а ее мечта о материнстве разобьется... Разобьётся в куски!

— Но как же так, Инесса Львовна? — растерянно спросила она. — Ведь это несправедливо! Это просто дичь какая-то!

— А как ты хотела? Посмотри на ситуацию со стороны: ты бы доверила своего сына шизофренику? Думаю, нет. Поэтому и закон таков. А Новицкий уже вlepил тебе диагноз, теперь его нужно снимать. Мой тебе добрый совет: обратись к другому специалисту, пройди полноценное обследование...

— Как я могу быть уверена, что мне дадут положительное заключение? — взорвалась Демидова. — А вдруг они всё-таки решат, что я психически нездорова? Что потом? Вы же понимаете, как сложно снять такой диагноз! Почти невозможно снять!

— Ну, тогда я не знаю, чем тебе помочь! — воскликнула Вяземская. — Пойми, я не могу сейчас допустить тебя до работы. Даже будучи уверенной, что ты не шизофреник. Правила для всех одинаковы.

— Я понимаю, — с горечью сказала Татьяна. — У вас работа такая — выбирать между человеком и системой.

— Да, именно так, — жестко сказала Вяземская.

— И она права, — заявил Новицкий, входя в кабинет. Лицо Инессы вытянулось.

— Что ты здесь делаешь? — спросила она.

— Мне позвонили из полиции, сказали, что Татьяну Евгеньевну освободили, — язвительно сказал психиатр, с неприязнью глядя на Таню. — А ведь она даже назначенные мной препараты не пропила. Дозвониться до тебя я не смог, мобильник сел. Поэтому решил заехать лично.

Таня поднялась с кресла, ощущая противную дрожь в ногах.

— Я пойду. Извините, — сказала она.

— Куда? — холодно осведомился Новицкий. — Мне кажется, вам лучше поехать со мной в стационар. Как-то не верится, что вы будете добровольно принимать таблетки. А вот в вашу опасность для окружающих я верю более охотно.

— Верьте, во что хотите, — огрызнулась Татьяна. — А мне нужно...

— Вам нужно лечение, — перебил ее психиатр. И добавил вкрадчиво: — не стоит бояться, это в ваших же интересах. А если не согласитесь поехать добровольно, я буду вынужден вызвать бригаду. Статья двадцать девять закона о психиатрической помощи, почитайте, если интересно. Она о принудительной госпитализации.

— Хватит! — Вяземская грохнула рукой по столу. — Игорь, это уже ни в какие ворота не лезет! Татьяна Евгеньевна — наша коллега, я тебя уже просила относиться к ней с должным уважением.

— О как! — хмыкнул Новицкий. — Чтоб вы знали, Инесса Львовна — я в своём праве. И не собираюсь делать различия между пациентами. Если я вижу, что человек представляет опасность для себя и окружающих, я помещаю его в стационар — и баста. А вам, как руководителю, я бы не советовал покрывать психически больную сотрудницу. Сами понимаете, как это может сказаться на вашем статусе.

Вяземская прищурила глаза и скрестила руки на груди.

— Знаете, что, Игорь Анатольевич? А ведь я вас сюда не приглашала, — с вызовом сказала она. — В больнице неприемные часы, вы здесь не работаете — так на каком основании вы сюда явились? Я, как администратор, хочу знать. Это к вопросу о моем статусе. А вопрос о вашем профессионализме я обязательно поставлю после того, как будет собран врачебный консилиум по поводу диагноза, поставленного вами Демидовой. Экий вы быстрый, шашкой-то махать! Раз — и вlepили такой тяжелый диагноз, толком не обследовав пациентку. Конечно, на нее плевать — а вам профит: обнаружили больного с нетипичной формой шизофрении, раскрыли страшную тайну! Прямо-таки Пётр Кащенко и Шерлок Холмс в одном флаконе!

— Не смейте так со мной разговаривать! — вспыхнул Новицкий, срывая с лица очки. Сказал, протирая стекла: — Я делаю свою работу!

— Пошел вон из моего кабинета, трусло! — рывкнула Вяземская. Новицкий, задыхнувшись от гнева, трясущимися руками водрузил очки на место. И, что-то пробормотав, громко захлопнул за собой дверь.

Инесса Львовна без сил опустилась в кресло и сказала, потирая виски:

— Таня, я не знаю, что ты собираешься делать, но сейчас иди, добром тебя прошу, он ведь не шутит по поводу принудительного лечения.

— Спасибо... — еле выговорила Татьяна. — Извините меня...

Инесса устало махнула рукой.

Выглянув в коридор, Таня увидела, что Новицкий идет к выходу из отделения, и на цыпочках побежала в ординаторскую.

— Юра, пожалуйста, нам срочно нужно уехать! — взмолилась она с порога.

Залесский удивленно выгнул бровь, но, ничего не спросив, поднялся, отставляя в сторону чашку с недопитым кофе. Яна встревожено вскочила:

— Тань, куда? Что тебе Львовна сказала?

— Ох, Янка... Потом расскажу, — замялась Таня. — Позвоню, ладно?

И, обратившись к Тamarочке и Купченко, попросила:

— Ребят, вы уж поддержите Павлика подольше, чтобы его в детдом не перевели. Я сейчас не смогу оформить документы на усыновление. Если честно, вообще не знаю, когда теперь смогу... — ее губы задрожали.

— Тань, да скажи ты, что случилось! — потребовала Яна.

— Таньча, друг ли ты нам? — патетически сказал Купченко. — Если друг, говори, мы пойдем!

— У меня был приступ в камере. И ещё при задержании, — вздохнула Таня, не глядя на Залесского. Страшно было увидеть в его глазах то, что могло окончательно добить её. Но и скрывать она не хотела, лучше уж признаться — а при друзьях это легче. — Ко мне вызвали Новицкого. Он понял, что я сказала ему неправду, разозлился, как черт... И теперь настаивает на том, что у меня шизофрения. А с этим диагнозом мне ребенка не отдадут, и на работе не оставят, да еще и в психушку могут принудительно запереть. Но я докажу, что его диагноз неверный! Вот только Павлик... У меня душа болит за него. Вдруг не успею, и его в детдом заберут?

Друзья потрясенно молчали — только Яна, лучше всех понимавшая, о чем идет речь, презрительно фыркнула:

— Ну и задница этот Новицкий! Таньча, надавай ему по шам! Докажи, что он ноль, как врач, и пусть эту гниду выкинут из профессии! А насчет Паши — да, надо что-то придумать.

Купченко крикнул, почесал макушку, и сказал:

— А чего тут придумывать? Тamarочка, как считаешь: Павел Викторович — хорошо звучит?

Таня ахнула. А Тамара, просияв, подскочила и повисла на шее у Витьки:

— Витюша, ну как же я тебя люблю! И Павлушку тоже! Я тебе за него ещё семерых рожу!

— Ты... не сможешь... — убежденно просипел Витька, пытаясь высвободиться. — Задушишь... Мой бледный тень, конечно, будет навещать тебя ночью, но отец-призрак хорош только для Гамлета. Впрочем, если назвать какого-нибудь сына Гамлетом...

Он балагурил, явно пытаясь скрыть смущение.

И Таня, выходя из ординаторской вместе с Залесским, улыбалась сквозь слезы.

На высоком больничном крыльце, забранном черной решеткой перил, Залесский придержал дверь — и Татьяна вышла в сопливый, промозглый, но бесконечно любимый март. Новицкого не было — как не было всего остального, горячащего воображение: ни бугаёв-санитаров, ни соответствующей машины, ни насилия, завернутого в душную вуаль заботы. «Трусло» выступил в своем репертуаре хренового музыканта, которому плевать на музыку, лишь бы числиться в оркестре: «позабыл» о нездоровье пациентки, предпочтя сохранить врачебную репутацию. Но надолго ли?

— Куда поедет? — поинтересовался Залесский, усевшись за руль. Об инциденте в ординаторской он тактично молчал, понимая — Таня всё объяснит, нужно лишь дать ей время. А она сидела очень прямо, вскинув голову — будто взведя курок. Черты лица заострились, рот сжался в упрямую подковку, в серых глазах сталью поблескивала злость. И только припухшие веки и покрасневшие крылья носа напоминали о том, что еще несколько минут назад она плакала, навсегда отдав мальчишку. И будто выплакала последнее — а теперь молча смотрела перед собой, принимая решение.

— Я хочу выловить Макса, — наконец, сказала она. — Пусть ответит за всё.

Справедливость. Залесский знал, каково это: желать справедливости всеми фибрами души, пламенеть изнутри, загоняя врага, будто волка к флажкам. А после видеть, как его настигает наказание — и становиться сильнее, и будто на ступеньку выше. Достойный финал охоты на человекозверя, меченного духовной проказой — которая, в отличие от физической болезни, делает его опаснее, хитрее, изворотливее.

— Согласен, — он повернул ключ зажигания. — Показывай дорогу.

Жаль, она не знала, по какому адресу в последнее время жил бывший муж. И они направились в ее офис — хотя Татьяна говорила, что в так некстати выпавшую субботу там вряд ли кого-то можно застать. Но Залесский надеялся найти хоть какую-то зацепку. Что ж, сыскаровский нюх не подвел его: в узком окне, заглубленном в нишу цокольного этажа, горел свет.

Бросившись вперед, как взявшая след гончая, Татьяна взлетела на крыльцо и распахнула темно-коричневую дверь — Залесский еле успел догнать, так что в офис они ввалились вместе. Прошли через квадратную комнату, уставленную столами с мертвыми мониторами, к деревянной двери в углу. Та была открыта, за ней чавкал и жужжал принтер. И два человека стояли возле него. Сухощавый востроносый мужчина с редкой рыжеватой паклей на месте волос — явно злящийся, с тревогой перебирающий отпечатанные листы. И грузная женщина лет пятидесяти, со старомодным перманентом, в бесформенном платье и криво повязанной шейной косынке — перепуганная, с бегающим, тоскливым взглядом.

— Что здесь происходит? — от ледяного голоса Татьяны мужчина и женщина застыли, будто замороженные. — Какого черта, Олег?

— На правах нового хозяина, — пожал плечами востроносый. Демидова смерила его взглядом, и Залесский всей шкурой почувствовал: они — старые знакомые, взаимно недолюбливающие друг друга.

— Глина Алексеевна, объясните! — потребовала Татьяна, демонстративно отворачиваясь от мужчины.

— Я сама в шоке, Татьяна Евгеньевна! — плаксиво зачастила женщина. — Максим

Вячеславович утром позвонил, приказал приехать. Сказал, что продал аптечную сеть господину Василенко, нужно бухгалтерские документы показать. Вот я и приехала... А вы разве были не в курсе продажи?

— Он меня вынудил подписать документы. Обманным путём. А значит, сделка незаконна, — процедила Татьяна, глядя на Василенко. К главбуху у нее претензий не было — та явно не знала о готовящейся афере. Теперь оставалось понять, в курсе ли был Олег. Уж не с его ли подачи в голове Макса родился план запихать жену в тюрьму?

— Что значит — обманным путём? — самоуверенность Василенко как ветром сдуло. — Макс заверил меня, что ты согласна продать бизнес! Принес документы с твоей подписью.

— Он заставил меня подписать их в камере ИВС, когда я могла загреметь в тюрьму, — возразила Татьяна. — Шикарный план, и если бы меня не вытащили так быстро, всё получилось бы. Теперь меня интересуют две вещи: где деньги, и кто из вас придумал эту аферу?

Малева ахнула, прижав руки к щекам. Таня глянула на нее мельком: нет, главбух точно не в курсе. Но у Василенко был такой же взгляд — недоумевающий, испуганный...

Будто его самого обманули.

— Татьяна, позволь мне, — шагнул вперед Залесский. — Меня зовут Юрий Борисович Залесский, я адвокат Татьяны Евгеньевны. Теперь все вопросы касательно правомерности этой сделки будут решаться с моим участием. Я тоже считаю, что мою клиентку намерено поместили в ситуацию, которая неблагоприятно сказалась на ее способности принимать решения. Намеренно ввели в заблуждение относительно необходимости продажи бизнеса. Поэтому мы будем опротестовывать сделку в суде. В понедельник, в ту же минуту, как откроется суд, я подам соответствующие документы. И составлю письмо в ОБЭП — чую, тамошних борцов с экономическими преступлениями заинтересуют ваши с Демидовым дела.

— Но я заплатил семь миллионов за эту чертову кучу лекарств! — взвился Василенко. — И на документах стояла твоя, Таня, подпись! Получается, вы с муженьком денежки взяли, а теперь в обратку?

— Я не видела этих денег! — парировала Демидова. — И почему семь, когда разговор шел о двадцати?

— Семь! — Василенко метнулся к столу, и, плюхнувшись в кресло, принялся рыться в портфеле. Достал пачку бумаг, сунул ее Татьяне. Залесский склонился над ее плечом, вглядываясь в отпечатанные строки.

— Значит, и сумма сделки занижена. А это еще один повод опротестовать, — констатировал он. И щелкнул по голове игрушечного китайского божка, сидящего возле пресс-папье. — Боюсь, вы рановато переехали за этот стол.

— Он мой до решения суда, — огрызнулся Василенко. — Или до того момента, как мне вернут деньги.

Татьяна подняла взгляд на Залесского. Ее глаза были тёмными, как озёрные полыньи. Но спокойствия в них не было — только ярость и желание бороться.

— Где компьютер твоего мужа? — спросил он. Таня указала на стол, за которым восседал Василенко.

— Отодвиньтесь. Я заберу системный блок, — сказал адвокат. — В нем может быть что-то, что укажет на местонахождение Демидова. В ваших же интересах, чтобы мы быстрее нашли его и вернули вам деньги.

— Нет. Боюсь, что у него есть передо мной еще один должок, — нахмурился Василенко. — Так что в моих интересах найти его первым.

— Не заставляйте меня применять силу, — нависая над ним, вздохнул Залесский.

— Да пошел ты! — рывкнул Василенко. — Я полицию вызову!

Залесский снял трубку городского телефона и протянул ему:

— Давай! Заодно объяснишь полицейским, что ты делаешь здесь без заверенных налоговой документов.

Василенко молчал, глядя в сторону, но с места не двигался. И тогда Залесский протянул руку и аккуратно, двумя пальцами, взял его за шиворот.

— Выметайся, — ласково посоветовал он.

— Руки убрал! — взвизгнул Василенко, отталкивая юриста. Выскочил из-за стола и понёсся по офису, доставая из кармана смартфон. Таня видела через окно, как он звонил кому-то, не сходя с крыльца. А Залесский, опустившись под стол, отсоединял провода от системника. Вытащил его, провел рукавом телогрейки, стирая пыль. И кивнул Тане:

— Поехали!

— Татьяна Евгеньевна, а мне что делать? — голос главбуха дребезжал от волнения.

— Что хотите, — пожала плечами Таня. — Если вы не имеете отношения к этой афере, бояться вам нечего. Как ваш работодатель, я даю вам оплачиваемый отпуск до выяснения всех обстоятельств. Менеджерам передайте то же самое, пусть пока на работу не выходят. Но прошу из города не уезжать, вдруг понадобится ваша помощь — нам же наверняка придется разбираться с бухгалтерией. Ну а как вам выстраивать отношения с господином Василенко, решайте сами.

Малёва кивнула, и, выключив компьютер, сняла с вешалки пальто. Залесский прихватил портфель и куртку Василенко, и они вышли на крыльцо. Татьяна набрала цифры на клавиатуре сигнализации, висевшей возле входа, и принялась закрывать дверь.

— Э-э, что за фокусы? — подскочил к ней Василенко. Но Залесский встал между ними.

— Вы сперва доведите сделку до конца, получите правоустанавливающие документы, а потом занимайте офис, — посоветовал он. И обратился к Малёвой: — Садитесь в машину, мы отвезем вас домой.

— Ключ! — потребовала Татьяна, протягивая ладонь Василенко.

— Да щас! Разогналась! — взбесился он. — Я купил эту фирму, остальное меня не волнует!

— И всё же не советую вам возвращаться в офис, — хмыкнул Залесский, швыряя куртку ему в лицо. — Вдруг что-нибудь пропадет, а вам, как несостоявшемуся владельцу, придется нести ответственность? Может быть, даже уголовную.

Больше не глядя на Василенко, они пошли к машине. Адвокат открыл заднюю дверь перед Малевой, помог женщине сесть. Обойдя машину, пристроил системный блок на заднем сидении. Захлопнув дверь, ободряюще улыбнулся Тане.

— Не волнуйся, мы постараемся вернуть твой бизнес.

— Эта змея просто так не сдастся, — покачала головой Таня. — Он мутный тип, и очень скользкий. Ты с ним поосторожнее, у него и связи есть, и с криминалом он, наверняка, якшается. Как-то через него Макс закупил партию лекарств, а они оказались поддельными, и я не верю в то, что Василенко об этом не знал. С тех пор я отказалась иметь с ним дело. А вот Макс, по-видимому, продолжал.

— Знаешь, у меня стойкое ощущение, что твой бывший муж и его надул, — подумав,

ответил Залесский. — Садись в машину, поговорим с бухгалтером.

Но расстроенная Малёва не могла толком ответить на вопросы Татьяны.

— Я ничего не знала! — в сотый раз твердила она, мотая головой. Рыжие кудряшки перманента подскакивали над ее сморщенным от напряжения лбом.

— Я вам верю, Галина Алексеевна, — обернувшись с переднего сиденья, Таня успокаивающе погладила ее руку. — А зачем они вас вызвали? И что за документы вы распечатывали для Василенко?

— Отчетность за последние месяцы. Максим Вячеславович сказал распечатать и помочь разобраться с платежами, а сам уехал! Часа три назад.

— Что конкретно интересовало Василенко? — теряя терпение, спросила Татьяна.

— Кассовые книги и сдача наличности в банк. Я только после отъезда Демидова вспомнила, что он мне говорил недельную выручку сдать, а я не успела в пятницу, задержалась в налоговой. И он вроде как сам сдал. Но документов нет, а там около четырех миллионов было.

— Откуда так много? — поразилась Татьяна.

— Ой, знаете, за последние месяцы у нас сильно выручка поднялась! — с затаенной гордостью ответила Малева. — Почти в три раза.

— Интересное кино, — хмыкнул Залесский, включая третью скорость.

В компьютере не нашлось ничего интересного — Макс хорошо почистил его, явно старался замести следы. Сидя за столом в гостиной Татьяны — на него поспешно установили вывезенный из офиса системник, подключив его вместо домашнего компьютера — Залесский щелкал мышкой по папкам с документами и фотографиями: пусто, пусто, пусто... Таня, стоявшая за его спиной, разочарованно вздохнула. Он тут же обернулся:

— Не грусти, Танюш! — улыбнулся он. — Если он так старательно всё вычищал, значит, было, что чистить. А если было, Кузьма восстановит — он у меня тот еще хакер.

В её глазах вспыхнула радость.

— Спасибо, Юра! Я принесу кофе. И мне надо... Я должна рассказать тебе о ситуации с Новицким, — решительно сказала она. — Не знаю, как ты станешь относиться ко мне после этого. Но врать я не хочу и не буду.

— А можно к кофе чего-нибудь посущественнее? Например, борща? — Залесский видел, как сильно она нервничает, и ему захотелось разрядить обстановку. Но и в желудке посасывало: от гречневой каши, съеденной перед встречей с медведем, остались одни воспоминания.

— Конечно! Прости, я даже не подумала, что ты голодный! Сейчас накормлю! Что будешь: котлеты с пюре, грибной суп, шарлотку? У меня еще заготовки домашние есть, — голос доносился уже с кухни.

— Всё, что в печи — на стол мечи! — крикнул Залесский и поднялся, прошел по комнате. Большие помещения редко выглядят уютными, но гостиная Тани была такой, что здесь хотелось жить. Общий колорит — кремовое с бордовым — был теплым, умиротворяющим, и в то же время импозантным. Осанистый диван с покатою спинкой, и кресла в комплект ему — ощутимо дорогие, но без вычурности. Пушистый ковер занимал лишь часть пола, оставляя видимым оригинальный рисунок паркета. В горках из красного дерева, сияющих прозрачностью стекол, стояла антикварная посуда. Посреди одной из стен — большой камин, отделанный лепниной, роскошная люстра под потолком. На стенах шикарные репродукции импрессионистов, среди которых он узнал лишь «Кувшинки» Моне.

«У хозяйки есть вкус, и к искусству она равнодушна», — с удовольствием отметил Юрий, прислушиваясь к звукам, доносящимся с кухни: звяканью посуды, пisku микроволновки, торопливому стуку ножа по деревянной доске. С интересом взглянул на кованую лестницу, ведущую на второй этаж: а что там? И одёрнул себя: воспитанный человек без спроса не полезет.

— Ну что ж, ты сам напросился, — заявила Таня, вторгаясь в комнату с огромным подносом, сплошь уставленным тарелками. И он бросился помогать, дурея от запахов домашней еды: выставлял на стол оливье, щедро заправленный сметаной, что-то овощное, утопающее в томатно-масляном соке, хлеб, тарелки с наваристым супом. И слышно было, как на кухне добродушно шкворчат котлеты, а ему казалось — всё, умрет сейчас, прямо у этого стола, так подвело желудок. Набросился на салаты и суп, будто неделю не евши, и едва удержался, чтобы не вылизать тарелки — так было вкусно, и сытно было, но хотелось ещё. Таня принесла пюре и котлеты — здоровые, как лапти, с налипшими колечками полупрозрачного лука, истекающие прозрачным душистым соком. И он бессовестно сожрал их, глядя, как она еле тычет вилкой в свою тарелку.

— Хватит переживать, Танюш, просто расскажи, что случилось, — подбодрил он.

— Да я сама плохо понимаю, что происходит, — призналась она. И начала рассказывать — о том, что с детства в моменты самых сильных стрессов видит наяву один и тот же кошмар: будто люди и предметы вокруг становятся пластиковыми, будто ветер налетает откуда не возьмись, и шепчет одно и то же слово: Пандора. И что она сама знает: это ненормально. Но не верит, что это психическая болезнь. Консультировалась, искала причины, пошла к психоаналитику по совету Яны — ведь у той было нечто подобное: необъяснимый страх перед ножами, который оказался плодом детского переживания...

— Я понял, — кивнул Залесский. — Не волнуйся так. У нас был опер, который терпеть не мог, когда к нему подходили со спины. На обучении садился всегда на задние ряды, стол в кабинете поставил так, чтобы сзади никто не подошел. А после того, как на операции коллегу подстрелил, который неожиданно со спины подкрался, отправили его по психологам. И выяснилось, что его отец держал бойцовскую собаку, а по пьяни спускал ее на сына, ему лет пять тогда было. Та налетала сзади, лапами в спину — и роняла мальчишку, потом по всему двору волочила за одежду, а то и прикусить могла.

— Боже, какой кошмар! — ахнула Таня.

— Да, некоторые родители — клинические идиоты. Не понимают, насколько сильная штука такие вот детские переживания, как они могут жизнь искалечить. Уверен, что твоя Пандора из того же теста, — склонил голову Залесский. Он видел благодарность в глазах Татьяны — за то, что понял и не оттолкнул. И подумал: да разве он смог бы — оттолкнуть? Да, ты не знаешь человека, вступая с ним в отношения, но веришь и ждешь хорошего. И если вдруг выясняется, что он в беде — бросишь ли сразу? Или попытаешься помочь? Если дорог — не бросишь. А Таня стала дорога ему, в ней было, что ценить.

— Я уверена, что смогла бы разобраться в природе Пандоры, если бы у меня было больше времени, — сказала она. — Но вся эта ситуация с заявлением Фирзиной выбила меня из колеи, я выдала приступ прямо перед полицейскими. Они пригласили психиатра — а это был Новицкий, которого я уже когда-то обманула, не желая рассказывать о Пандоре...

— И этот хлыщ тебе отомстил, — понимающе сказал Залесский.

— И еще как! — с горечью сказала Таня. — Ни работы теперь, ни ребенка...

— Жалеешь о том, что пришлось отдать Пашу?

— И да, и нет, — подумав, ответила она. — Я очень привязалась к нему, полюбила этого мальчика. Но кто знает, когда я смогу снять диагноз? Нет, можно было бы, конечно, попросить Купченко оформить временное опеку, но...

— Я отлично понимаю, почему ты этого не сделала, — Залесский взял ее за руку. — Мальчик ведь — не щенок, чтобы отдавать его на передержку. Да и Тамара его любит, это видно. Пашка к ней тянется...

— Вот именно, — кивнула Татьяна.

— Ты всё сделала правильно. Что тебя смущает?

— Я не могу простить себе, что сразу не забрала его у Фирзиной. Тогда бы всего этого не случилось. У меня ведь было предчувствие, что если Павлик с ней останется, произойдет что-то ужасное. А итог ведь страшен, Юра. Марина и ее сожитель мертвы, мальчик в больнице... и нам еще крупно повезло, что он не замерз на улице! И что не обморозился до такой степени, чтобы лишиться ног! И, Юра, ты не виноват, я не виновата. В этом, кроме Марины, никто не виноват!

— Ну да. Хотя она и любила Павлика, но поступать своим образом жизни не

хотела, — согласился Залесский. — И ведь знала, что ребенку он вредит. Все эти пьянки, жестокость сожителя — понятно же, как это отражается на детской психике. А то, что парень ходил, как оборванец, что питался плохо, был весь в синяках? Как можно видеть это — и быть равнодушным?

— Равнодушие — оттенок жестокости, — убежденно сказала Таня. — Знаешь, меня ведь тоже родители били. За всякую фигню. А когда мне бывало плохо, они так часто оставались равнодушными... Поверь, от этого иногда еще хуже, чем от побоев. Я знаю, о чем говорю, я это пережила.

Она поднялась, подошла к камину. Взяла стоявшую на нем фотографию, протянула Залесскому. Он взгляделся: бледная девочка лет семи — на карусели, верхом на олене. И не по-детски скорбный взгляд поверх раскидистых оленьих рогов, в которые она вцепилась руками.

— Это ты? — спросил Юрий.

— Да, я. Последнее лето перед школой.

— Грустная такая, — полувопросительно сказал Залесский.

— А потому что накануне мать выдрала меня за то, что я потеряла на улице набор фломастеров. Может, их кто-то из детей украл — не знаю... Но досталось мне. Скакалкой. И очень сильно. Если приглядеться, можно увидеть полосы на руках.

— Это ужасно, — только и смог сказать Юрий.

— Самое ужасное в том, что на следующий день родители буквально пинками заставляли меня идти в этот парк — потому что «мы же семья, и должны проводить время вместе», — передразнила она и скривилась, будто от боли. — А когда я сказала, что не хочу, потому что мама меня избивала, она заявила, что ничего такого не было. Глядя мне в глаза, сказала: что ты выдумываешь, я тебя пальцем не трогала! Мне было обидно и страшно, родители ведь разговаривали со мной так, будто я не в себе, будто у меня с головой что-то не то! И только став взрослой, я прочитала о такой вещи, как газлайтинг. Это форма психологического насилия, когда ребенка или взрослого ставят в такие условия, что он начинает сомневаться в реальности происходящего. Да и в себе, в своем психическом здоровье... А ведь мне и без того было о чем переживать, ведь Пандора в то время уже мучила меня! И сказать о ней я боялась. Была уверена, что не поймут. Что до меня никому нет дела.

Залесский смотрел на нее с сочувствием, всё еще держа фотографию в руках. Ему было дико жаль эту девочку, которая давным-давно выросла — но часть ее души всё еще осталась там, на карусели. Да, у человека много возрастов, и время само по себе ничего не значит — важен лишь опыт. Ребенок который много пережил, становится похож на старика, потому что душа стареет, и это отражается в глазах. Как у этой девочки — и как у Тани сейчас. Такая бездна во взгляде... А ведь у многих, проживших счастливую жизнь, такой глубины нет. Да, это опыт, и степень его осознания. А еще — умение прощать и отпускать, жажда жизни, упорство, без которого выжить не получится... И любовь. Краеугольный камень.

— Я много думала о том, почему существует родительская жестокость, — со вздохом сказала Таня, снова усаживаясь напротив. — Зачем она нужна? Казалось бы, идиотская постановка вопроса — но не более идиотская, чем «Почему люди воюют?», или «Для чего существует предательство?» Раньше мне казалось, что есть вопросы, на которые нет ответов. А потом поняла, что они есть. В случае с родителями — мы будто исправляем их ошибки. Если ты натерпелся в детстве, есть шанс, что со своими детьми будешь поступать по-

другому. А если детей нет — начнешь строить карьеру, дом, счастливую семью, добиваться чего-то важного: уважения, признания, любви. Так или иначе, ты станешь сильнее. А, значит, выживешь. Эволюционируешь. Станешь лучше, чем они.

— А если нет?

— Если нет — сломаешься, начнешь вымещать злость на детях, черпать кайф из алкоголя, наркотиков, азартной игры, самоповреждений, риска... да чего угодно, какая разница, как убивать себя, когда не можешь простить? Когда в душе только злоба, и ты не способен на любовь — как жить? А ведь это мы выбираем: простить или нет, ненавидеть или любить... и бить ли своих детей. Очень нелегко сделать такой выбор, когда тебя всю жизнь тычут лицом в грязь самые близкие люди. Но выбирать — нужно, иначе тупик. Иначе уничтожишь сам себя, и даже не поймешь, как так получилось. Вот Павлик — чем старше он будет становиться, тем больше понимать, что его мать была не самой лучшей. И я очень надеюсь, что он запишет ее в грешницы, а не во враги. И сумеет простить — когда-нибудь. Не вырастет угрюмым мизантропом, лелеющим свои травмы.

Она встала, забрала у Юрия фотографию. Прежде чем поставить ее на камин, машинально провела ладонью по его поверхности — нет ли пыли?

— Мне иногда кажется — над миром часы висят, но только вверх никто не смотрит. А часы тикают, и жизнь проходит. Дети вырастают, взрослые старятся. А времени на исправление ошибок становится всё меньше. Успеем ли — решить свои проблемы, понять близких, извиниться перед детьми? — она задумчиво чертила пальцем узоры на скатерти. А потом глянула в упор и добавила: — И наказать виновных.

— Успеем, Таня, — Залесский пересел к ней, обнял, прижимая к себе. — Мы всё с тобой успеем — то, что еще можем успеть.

Она подняла голову, и он, мнимый желанием постичь эту женщину, нашел губами ее губы. Приник, как к святой чаше, дающей силу — и, возвращая, наполнял её из своего сердца, ставшего вдруг огромным, готовым биться за двоих. «Я укрою и буду защищать, тебя никто не обидит, все плохое кончилось», — звенело у него внутри. И она, будто слыша, всё доверчивее льнула к нему — такая слабая, и так много вынесшая на своих плечах.

— Мне нужно ехать, — сказал он, едва сумев оторваться от ее тепла. — Увезти системный блок, а потом вернуться на озеро — там остались вещи моего деда, я не могу их бросить.

— Я с тобой, — поднялась Таня.

— Нет, — отрезал Залесский. В памяти всплыла фигура медведя: он еще мог быть там, на берегу. Нужно взять с собой ружье — а вот Татьяну брать нельзя, это опасно. — Я вернусь через несколько часов. Просто жди. И отдыхай — тебе нужно отдохнуть после всего случившегося.

Она покачала головой:

— Я не смогу просто сидеть здесь. Отвези меня к Яне.

Яна открыла дверь и тут же унеслась на кухню, вопя:

— Таньча, я блины пеку, они ж, собаки, сгорят моментом! Раздевайся и сразу ко мне, чай пить! Я тут одна, как перст — Костромин детей на все выходные забрал, мама на экскурсию в Рязань уехала. Ты очень вовремя! Тебя Юрка привёз? Вот молодец, мужик, я так и знала, что не отступится!

А Таня, уже не слыша Янкиного тархтения, растерянно смотрела на вешалку в прихожей. Там, среди ярких детских одежек, рядом с рыжей шубой подруги, висела знакомая куртка. А на ней — полупрозрачный пакет с туфлями.

Одежда Макса.

У Яны.

Но почему?... Откуда?...

Мысли стали колючими от недоверия: что всё это значит, черт возьми, неужели неприятные сюрпризы еще не кончились?! Неужели Янка...

— Тань, ну ты чего тормозишь?... — Яна выглянула в коридор и всплеснула руками, увидев замершую перед вешалкой подругу. — А, да, я ж тебе хотела отдать тряпки этого нелюдя! Ты ведь еще не знаешь, что он Пашку на дороге встретил, когда тот носился по снегу в одних носках, чуть ноги не отморозил. При минусовой температуре, без куртки — а этот упырь отказался его до города довезти! Бросил на дороге, представляешь? Правда, потом вернулся — видать, не всю совесть пропил. Швырнул свои тряпки с барского плеча, и смылся. А Пашка остался дальше мерзнуть. Нет, ну как можно быть таким уродом?

Таня не знала, что ответить — только чувствовала, как уши и щеки наливаются жарким огнем стыда. Как она вообще могла хоть в чем-то заподозрить Янку? Лучшую подругу, которая поддерживала в самые тяжелые моменты! И всегда была рядом. «Макс тоже был, пять лет — и одно время казался мне очень надежным, — внутренний голос зазвучал сухо и жестко. — А выкинул такое, что в голове не укладывается. Но если недоверие к людям пустит корни в моей душе, я потеряю всех, кто дорог».

— Ох, Яна, я поняла, что совсем не умею разбираться в людях, — сказала она. — Как думаешь, это лечится?

— Не знаю. Умела бы я в них разбираться, никогда не вышла бы замуж за Глеба, — хмыкнула подруга. — Так чего, забереешь одежду?

— Заберу. Донесу до помойки. Но прежде... — Таня сняла куртку с вешалки и начала методично обшаривать карманы. В потайном — том, что на груди, слева — ее пальцы наткнулись на что-то твердое, бумажное, растопырившее края от плотного сгиба. Это оказался лист бумаги, сложенный в несколько раз. Черно-белая распечатка с сайта — фото бревенчатого коттеджа и текст объявления: «Продается дом на берегу Волги, шикарное место для отдыха и постоянного проживания...»

— Это здесь он собрался шикарно отдыхать на твои деньги? — с негодованием спросила Яна, глядя на лист через ее плечо.

Татьяна аккуратно сложила лист и спрятала в карман своей куртки. Холодная злость распрямила ее плечи, внутри ощущался стержень — титановый, негибачаемый. «Значит, Макс решил вернуться в Самару, купить коттедж, устроиться, будто ни в чем не виноват... — подумала она. — Нет, дорогой, хрен ты там отдохнешь. Мы с Залесским, как те лисы,

вытряхнем тебя из теремка!»

— Видимо, да — и отдыхать, и постоянно проживать, — ответила она Яне. — Отдам это Юре, когда вернётся. А потом мы поедem ловить моего продуманного муженька. Я хочу лично участвовать в его аресте.

— Продуманный, а так прокололся! — фыркнула Яна.

Таня пошла за ней на кухню, устроилась возле стола с покрытием «под малахит» — в тон рабочей столешнице и кафельной плитке, покрывавшей стену. Но, чувствуя, что в душе вновь закипает ярость, поднялась, достала стакан из деревянного шкафчика в русском стиле. Вся мебель на кухне была такой — массивной, сработанной из натурального дерева, с витиеватой резьбой на фасадах. Татьяна налила воды из прозрачного кувшина, стоявшего на столе, и махом выпила половину.

— Он не думал, что встретит Павлика и отдаст ему куртку, поэтому оставил распечатку, а потом забыл про неё, — сказала она, облизнув губы. Вода освежила и немного успокоила, охладив ее ярость — та уступила место уверенности: догонят, они обязательно его догонят! Но эта гонка — ох, ее бы не было, не наделай она ошибок...

Яна перевернула кастрюлю, и сковородка зашипела, принимая в себя остатки теста. Бурление чайника, щелчок — и подруга поставила перед Таней большую кружку чая и тарелку с распаренными, румяными, лоснящимися от масла блинами. Достала сметану, большую креманку со сгущенкой:

— Налетай! — скомандовала Яна. — Устроим девичник, заедем проблемы!

Блины оказались восхитительными — впрочем, что еще было ждать от коронного Янкиного блюда?

— Помнишь, в институте ты на спор испекла триста штук, а Костромин на спор обещал их сожрать? — улыбнулась Таня. — Тогда вы еще не были женаты.

— Дураки были, выпендривались друг перед другом! — хохотнула Яна и слизнула с большого пальца каплю сгущенки, уверенно ползшую к запястью. — Если бы вели себя, как обычно, не скрывали недостатков, то лучше бы узнали друг друга. Может, и не поженились бы тогда.

— Да и я бы за Макса не вышла, если бы вовремя поняла, какой он. Но мы прожили пять лет, Яна! Как я могла быть такой слепой? А всё шаблоны эти, стереотипы: если женился — значит, любит. Если мать — значит, должна любить. Если просят помощи — значит, готовы ее принять...

— Ты о Фирзиной сейчас?

— Ну да. И о Максе, и о своей матери, — опустив глаза, Татьяна помешала ложечкой в кружке с чаем. И вновь подняла взгляд на подругу. — Знаешь, нельзя всё валить на других. В ситуации с Максом я сама виновата. Потеряла бизнес, потому что совершенно забросила дела. Не хотела заниматься аптеками, спихнула их на мужа, и в результате он этим воспользовался. А Марина... Да, я попыталась ей помочь — правда, старалась больше для Павлика. Но что в итоге? Одно радует — парень теперь в хорошей семье. Хотя гибель матери — это, конечно, ужас...

— Слушай, ты что, в её смерти себя винишь? — нахмурилась Яна. — Тань, да она рано или поздно кончила бы именно так! Ее бы все равно прибил сожитель, или спилась бы, или вот так же сгорела. Не в коня был корм, понимаешь? Другая бы на ее месте ухватилась бы за твою помощь и вылезла из дерьма, тысячи людей так делают, тысячи помогают и принимают помощь! А Марина — да она только и рассчитывала всегда на жалость! Понять-

то, разжалобить мастерицей была. И ведь мы все ей поверили, посочувствовали! Но дальше этого дело не пошло — а ты оказалась единственной, кто дал ей ту самую удочку, чтобы ловить рыбу. Ты на работу ее устроила, помогла парнишку одеть-обуть, поступить в училище уговаривала... А она твою удочку — об колено, и снова: пода-а-айте на пропитание! Ох, прости, Господи, что я о ней так! Но это же правда! И правильно, что ты заявление на ее сожителя написала, многие на твоём месте не стали бы связываться — а ты не побоялась. Но кто виноват, что у нас такая система: «вот убьют, тогда и приходите»? Кто виноват, что Фирзина сожителя покрывала, и парнишка признаваться не захотел, и свидетелей не нашлось? И потом, когда Марина к тебе Пашку привезла — ты ведь не отказала, забрала его. Получается, помогала до последнего, делала все, что от тебя зависело. А насчет Макса — ну, знаешь, даже я не предполагала что он настолько подлый! Знать бы, когда за твоей спиной кто-то начинает пакостить — так проблем бы не было. То, что ты слишком ему доверяла — так это всё порядочность твоя. А с другой стороны, как жить в недоверии? Вроде муж с женой, вроде жизнь общая, человек на виду — и что, подозревать его во всех грехах просто ради профилактики? А вдруг обманет? Вдруг украдет? Вдруг зарежет и убьёт? Это, извини меня, уже паранойя!

— Да, это уже к Новицкому, — рассмеялась Таня. — Тут-то он точно поставил бы верный диагноз. Кстати, я хотела позвонить психоаналитику. Договорюсь о встрече, надо же дальше распутывать эту историю с Пандорой.

Открыв черную кожаную сумку — изящную, с серебристой металлической отделкой — она достала смартфон и набрала номер Аллы Нестеренко.

— Конечно, мы можем продолжить анализ, — ответила та. — Как вам удобнее, Татьяна: встречаться лично, или говорить по скайпу?

— А это как-то влияет на качество терапии?

— Нет. У меня масса иногородних анализантов, и могу вас заверить, что они вполне довольны эффектом сессий.

— Буду иметь в виду, но пока ничто не мешает мне приезжать к вам, — сказала Татьяна. И вспомнила о смятых листках, лежащих в кармане джинсов еще с той ночи в камере. — Знаете, я делала записи после нашей встречи, и если у вас есть время в понедельник...

Нестеренко записала ее на два часа дня. Татьяна сделала отметку в смартфоне и посмотрела на Яну — та зевала от души, устало подперев рукой голову.

— Знаешь, я поеду, а ты поспи, — поднимаясь, сказала Таня.

— Оставайся! — запротестовала Яна. — Нам обеим нужно отдохнуть. Ляжем в детской, там две кровати — как у нас в комнате институтской общаги было, помнишь?

— Спасибо, Яночка, — Таня шагнула к подруге, обняла ее. — Ты мне итак помогла развеяться, подбодрила. Вообще не представляю, что бы я без тебя делала! И без Тамары с Витькой, они тоже — такие молодцы, я им очень благодарна за то, что решились усыновить Павлика! Но мне нужно домой. Там гора невымытой посуды, и ужин надо приготовить — скоро ведь Юра вернется.

— Ну, раз Юра — не смею задерживать! — в глазах Яны появился лукавый огонек. — Вызывай такси и езжай, а одежду твоего упыря я сама на мусорку отнесу — пусть в ней бомжи щеголяют!

Пока такси петляло по скользким улицам, Татьяна даже успела немного вздремнуть — но сон был тревожным, непонятным: будто она гналась за кем-то и одновременно от кого-то

убегала, но всё в тумане, не видя лиц, лишь чувствуя лопатками целившуюся в неё опасность, способную нагнать, сбить, растоптать... Вздвогнув, она открыла глаза и сморщилась — голова болела, будто внутри ворочался и басовито бухал колокол. За окном проплывал знакомый лесок, сквозь голые стволы деревьев виднелись стены коттеджей. Через несколько минут таксист завернул к воротам ее дома и остановил машину, принимая деньги в заскорузлую ладонь. Подхватив сумочку, Татьяна пошла к калитке, пытаясь нашарить в сумке связку ключей.

Но калитка оказалась открытой. Как и дверь в дом.

Татьяна сошла с крыльца и остановилась, растерянно глядя в окна. Она помнила, как запирала дом, потому что даже нижний замок, который обычно не трогала, Залесский заставил закрыть на два оборота — стоял над ней, ревниво следя за ее руками, и туманно приговаривал: «Мало ли, что... Береженного Бог бережет...» Она вспомнила, каким был его лицо, и от этого стало еще страшнее.

Кто мог быть внутри? Только Макс — у него оставался второй комплект ключей.

Ярость снова вскипела, губы мстительно сжались, и Татьяна, скользнув за угол дома, решительно выдернула топор-колун из большого березового пня, торчавшего возле поленницы. Поудобнее взяла его в руку и, вернувшись к двери, тихонько приоткрыла ее. Постояла, вслушиваясь в тишину — и шагнула внутрь.

Всё было перевернуто. Сломанный стул торчал из-за кухонной двери, на полу прихожей валялась груда одежды, придавленная вырванной из стены вешалкой, в гостиной бессильно вздымали подлокотники зарезанные и выпотрошенные диван и кресла. Кто-то выгреб угли из камина, перевернул кованую дровницу, рассыпав поленья, отбросил к стене стол... Сорванные со стен картины валялись на полу, среди игрушечных машинок Павлика и выдранных паркетных дощечек. Антикварная посуда исчезла из горок, лишь польское блюдо пятидесятых годов — малоценное, но Таня хранила его из-за оригинального рисунка — валялось на полу, располовиненное широкой трещиной. На втором этаже тоже была разруха — сброшенные с полок книги, вспоротые подушки, перевернутая мебель... даже в гипсокартоновых перегородках зияли огромные дыры.

И — никого. Абсолютно пусто.

Татьяна не понимала, что происходит, кто и зачем вторгся в ее дом. Но это вторжение — наглое, мерзкое, будто кто-то крайне неприятный подкрался и сорвал с нее одежду, оставив голой — породило чувство гадливости и незащитности. Как у вытащенной из раковины улитки, которой больше негде укрыться.

Присев на верхнюю ступеньку лестницы, Татьяна положила топор рядом с собой и нашла в телефоне номер Залесского. Руки дрожали, и она смогла попасть по нужной кнопке лишь с третьего раза.

— Танюша, здравствуй! — тут же откликнулся Юрий. — А я уже обратно еду, только что выдвинулся.

— Юра, кто-то в мой дом залез, — выдохнула она. — Я не знаю, воры, или кто, но тут все вверх дном, даже пол вскрыт, Юра!..

— Немедленно уходи оттуда! — зарычал Залесский. — Собери документы, вещи, самое необходимое, быстро — и уходи. Такси не дожидайся, езжай на своей машине, адрес Менделеева, два. Это мой дом, тебя встретит моя экономка. И отзвонись мне из машины! Я хочу быть в курсе, где ты.

Таня метнулась в спальню — здесь тоже был полнейший разгром. Вытянув из

раскрытого шкафа дорожную сумку, стала лихорадочно запихивать в нее разбросанную по полу одежду: какие-то свитера, платья, бельё... Подняла перевернутый ящик, лежавший на куче бумаг: в нем она хранила документы. Схватила паспорт, бросила в сумку конверт со страховым полисом, ламинированный прямоугольник СНИЛСа. В ванной собрала и косметичку разбросанные по полу тюбики с кремами, тушь, помаду — хватала, не глядя, потом разберется. Деньги! Они с Максом хранили небольшие суммы налички в сейфе, но тот, взломанный, зиял пустотой — и Таня поняла, что ее драгоценности тоже украдены. Ладно, что теперь... В кошельке есть кредитка, но основная карта так и лежит у матери.

Она выскочила из дома: сумка на плече, в руке по-прежнему сжат топор. Машина, припорошенная снежком, стояла за воротами. Татьяна забросила внутрь сумку, положила сверху колун — почему-то не было сил оставить его во дворе. И дала по газам, разворачиваясь. Брошенный дом смотрел ей вслед темными окнами.

— Юра, я уже еду, — торопливо сказала она, снова набрав номер Залесского.

— Умница. Знаешь, где улица Менделеева?

— Разберусь, — коротко ответила Таня.

— Послушай, у тебя есть номер этой крысы Василенко? — спросил адвокат.

— Есть. Думаешь, это его работа? — нахмурилась Татьяна, остановившись у выезда на главную дорогу, чтобы пропустить поток машин.

— Не исключаю. Но мы потом это обсудим. Скинь мне номер и езжай, я предупредил Аллу Петровну. И не бойся ничего, слышишь? Веди машину спокойно.

— Я в порядке, Юра, — ответила Таня. И вслушавшись в ее голос, Залесский осознал что в нем больше нет страха — только решимость.

Повесив трубку, он дождался СМС с номером Василенко и сразу же набрал его.

— Это Залесский, адвокат Татьяны Демидовой. Что Вы устроили в доме, Олег?

— В каком доме? — язвительно отозвался Василенко. Звонок его явно не удивил.

— Вы знаете, о чем я говорю. Оставьте в покое мою клиентку, она ничего не знала о проделках мужа.

— Может быть, может быть... — задумчиво сказал Василенко. — Впрочем, мне не важно, кто из них взял мои деньги. И не только мои. Как бы то ни было, их нужно вернуть до среды. У вас пять дней. Если не уложитесь...

— И что же будет? — угрюмо спросил Залесский, до боли в пальцах сжимая руль.

— Ей придется рассчитываться по-другому.

— Как?

— Ну откуда мне знать, что вы не записываете разговор? — вздохнул Василенко. — Впрочем, я уже всё сказал. Надеюсь, вы меня правильно поняли.

Алла Петровна огладила на себе платье из плотного натурального шелка: лазоревая ткань вручную расписана болотными ирисами — бледно-желтыми, с сизой полуразмытой каемкой, раскрывающимися в переплетении острых листьев. Два года назад Юра привёз это платье из Франции, и тогда оно было чуть велико. А сейчас в боках морщило. Но не сильно — не так уж она и поправилась. Платье любимое, парадно-выходное, она не надевала его со Дня рождения Юрочки. А теперь вот нацепила, дурёха старая, да ещё и ворот серебряной брошью заколола.

Мазнув помадой по губам, экономка смущенно глянула на себя в зеркало. Ладонь ощупала кукиш на затылке — не выпустил ли петухов? Разношенные тапочки скользнули под шкаф, ноги — отекающие, со вспухшими жгутиками вен — еле влезли в синие, в тон платью, кожаные туфли на квадратных каблуках.

Тесно стало. Торжественно.

«Да и правильно! — похвалила она себя. — Как-никак, смотрины!». И простучала каблуками до кухни — ставить чай.

Заливистое «фьюить» дверного звонка все равно прозвучало неожиданно.

— Иду-иду! — белый кот Тимоша путался под ногами, распушив торчащий хвост, как плюмаж. Побежал за Петровной, тонко мявкая. Муся вылетела из кухни им наперерез, лишь черно-белый бок мелькнул — и первая уселась под входной дверью, задрав треугольную мордочку. Экономка щелкнула задвижкой и, широко распахнув дверь, удивленно уставилась на гостью.

— Добрый вечер, — сказала Таня, чувствуя, как взгляд пожилой женщины пробегает по ней, цепко выхватывая каждую черточку лица, каждую деталь, говорящую лучше слов. Она смутилась под этим разоблачающим взглядом — ведь волосы не уложены, косметики ноль, а, значит, все напоказ: уставшая кожа, круги под глазами, красные сосудики на щеках... И одежда — джинсы, серый свитерок фасона «беженец», зеленая куртёшка «на повседневку», делавшая фигуру еще более бесформенной. Капельки грязи на ботинках. Ну почему, почему не подумала протереть в машине?! Знала ведь, куда идет, но впопыхах не озаботилась тем, что встречают по одежке.

— Добрый, — в серо-зеленых глазах экономки появилось странное выражение — будто облегчение мелькнуло и ласковость. — Вы Татьяна? Юра звонил, предупреждал. Милости просим! Я Алла Петровна. Да уймись, оглоеды!

Экономка топнула ногой, и серая собачья морда, высунувшая любопытный нос из-за подола ее платья, испуганно отпрянула — а белый пушистый котик выскочил на крыльцо.

— Лови! — всплеснула руками экономка, и сумка упала с плеча Тани, когда она, стремительно нагнувшись, испуганно подхватила кота. Тот вцепился в ее плечо, погрузив коготки в стеганый материал куртки, боязливо прижал уши. Татьяна погладила беглеца, и под ее рукой кошачья спина расслабилась. Глянув ей в глаза, кот вдруг сунул морду Тане под подбородок и щекотно задышал в шею.

— Его нельзя выпускать, недавно пневмонию лечили! Юрка извелся весь, каждый день на уколы возил, — охая и суетясь вокруг них, пояснила пожилая женщина. Посторонилась, пропуская: — Заходи, будь как дома! Ничего, что я на ты?

— Ничего, я даже рада, — улыbnулась Таня, и, подобрав сумку, внесла кота в дом.

— Отцепись, подлиза! — ласково заворчала Петровна, пытаясь оторвать его от гостии. Котик отпустил нехотя, как родную. Спустив его на пол, экономка распорядилась: — Раздевайся, куртку на крючок, и тапочки возьми, по полу дует. А сумку давай сюда, я снесу в твою комнату.

Не смея перечить, Татьяна отдала поклажу, и Алла Петровна, сопровождаемая белым пушистиком, скрылась в коридоре. Странная получилась встреча: совместное спасение кота будто разрушило стену между абсолютно незнакомыми людьми — теперь и экономка говорила с Татьяной по-свойски, и Таня перестала смущаться, смотрела без опаски, будто сто лет ее знала.

Повесив куртку, она опустила глаза, ища тапочки. В углу прихожей сидела изящная черно-белая кошка. Таня тут же потянулась к ней рукой, зарылась пальцами в короткую шелковистую шерстку. И вздрогнула: из-за двери вышли псы. Один здоровый, широкогрудый, серой масти — флегматичный, как танк. Второй — веселый узкокостный рыжик с длинной любопытной мордой. Хвосты синхронно завияли.

— У вас две кошки и две собаки? — обрадовано спросила Таня у вернувшейся Аллы Петровны.

— Три кошки у нас! Микрик, иди сюда, лентяй! — крикнула она, и в прихожую вышел большой, как бобер, коричневый кот — одноглазый, но такой добродушный, что Тане тут же захотелось взять его на руки.

— И собак, может, тоже три будет, а может — четыре, Юра ведь всех домой тащит! — продолжила экономка. И непонятно, чего было больше в этих словах: неодобрения, или гордости.

Таня прошла за ней в гостиную, села в кресло. Не стала отказываться от предложенного чая, и пока Алла Петровна звенела посудой на кухне, робко огляделась.

Бежевые стены, по ним — россыпь забранных в строгие деревянные рамки фотографий, в основном, черно-белых. Мраморный камин, над ним — пейзаж Айвазовского. Массивные кожаные диван и кресла — кофейного цвета, с резной деревянной отделкой на подлокотниках и благородными потертостями на швах. Низенький столик возле, деревянный, но с литыми львиными лапами. Дубовые шкафы с книгами — старинные, крепкие, кряжистые. На круглой подставке в углу — высокая чугунная скульптура: конь, вставший на дыбы. И цветы, много цветов: аспарагусы, папоротники, вьюн-берёзка, а на широком окне горшки с цветущими фиалками.

— Ну, рассказывай! — подбодрила ее экономка, ставя на стол поднос с двумя чайными парами и тарелкой, полной домашнего печенья. И зачастила вперед Тани:

— Как же я рада, что Юра остепениться решил! Всё бобылем его ругала, боялась, не женится никогда, а сегодня звонит: Петровна, мол, невеста моя едет, прими!

— Невеста? Он так и сказал? — робко улыбнулась Татьяна. Сердце сладко заныло, застучало весело.

— Так вы не уговорились еще? А я-то, дурица болтливая... — Петровна прижала ладонь к губам, растерянно округлив глаза. И махнула рукой: — да и ладно, быстрее дело пойдет! Ты-то как к нему, серьезно?

Пытливый взгляд пожилой женщины, казалось, прожигал насквозь, и жаркая краска стыдливости залила Танины щеки.

— Серьёзно. Очень серьёзно, Алла Петровна! — искренне ответила она.

— Вот и хорошо, — удовлетворено кивнула экономка. Задумалась на минуту и подняла

на Таню взгляд, в котором читалась решимость. — Я женщина простая, и тебе, Танюша, по-простому скажу. Юра парень видный, при положении, и зарабатывает хорошо. Вот и выются вокруг него всякие... размалеванные, да напомаженные. Одна такая ему в молодости ой как жизнь подрубила! Так что он с тех пор ни-ни. Нет, мужик молодой, может, и было что, но в дом ни одну не приводил! И невестой не звал никого, можешь мне поверить — уж я-то бы первая узнала. А последнее время все снулый ходил, я уж думала, сердечная печаль в нем завелась какая. Но как про тебя услышала — отлегло, правда, страх был, что такой же фифой окажешься, как та... А ты вон какая! Сразу видно — домашняя, не задавака, хоть и не простая, взгляд-то умненький, и культура в тебе чувствуется, интеллигентность. Ты уж меня прости, что я так, по косточкам разбираю. Работаешь-то кем?

— Врачом, — вздохнула Татьяна. — Педиатром.

«Только не работаю уже», — с огорчением подумала она, и тень, набежавшая на ее лицо, не укрылась от внимательного взгляда пожилой женщины.

— А чего вздыхаешь? Профессия-то благородная, — удивилась Петровна. И сдвинула брови: — Или случилось что? Рассказывай, мне можно.

И Татьяна, сама удивляясь своей откровенности, до дна излила душу: рассказала о своих неудавшихся беременностях, о Павлике с Мариной, о предательстве мужа, о полиции и Юрином заступничестве... Только о Пандоре говорить не стала — на это уже не хватило сил, да и лишним это было, и без того тоска. Алла Петровна только охала и качала головой, а потом сказала, взяв Таню за руку:

— Ну, девка, ох и тяжко тебе пришлось! Врагу такого не пожелаешь! А я смотрю — бледная ты, уставшая. Давай-ка мы тебе сейчас ванну горячую сообразим, масла капнем хорошего, пены наведём — понежишься, оттаешь. Я халат махровый дам, его наденешь. И ложись потом, поспи. Сон-то он, знаешь, и лечит, и душу успокаивает! А Юра вернется — так я ему скажу, что отдыхаешь, он поймет. Ох, горе, горе...

От ее заботы, от ласковых слов и участливого взгляда, от тёплого уюта этого дома, хозяйка которого встретила ее так добросердечно, Татьяна вдруг почувствовала, что готова расплакаться. Враз ощутила всю тяжесть, всю горечь испытаний, через которые прошла, проползла, продралась — и силы вдруг кончились. Даже подняться с кресла стало проблемой.

— Ну всё, всё, — приговаривала Петровна, беря ее под локоть и помогая встать. — Пойдем, милая. Пойдем, дочка...

И Таня пошла, украдкой утерев глаза.

Горячая вода сделала свое дело — успокоила, смыла печаль. Выбравшись из ванны, Татьяна влезла в темно-синий халат, слабо пахнувший земляникой, замотала голову полотенцем и прошла в комнату, к которой примыкала ванная. Кровать уже была расправлена, подушки взбиты, край пухлого стеганого одеяла, вздымавшего над постелью белые волны, гостеприимно отогнут. Вытирая волосы, Таня выглянула в коридор — хотела в сотый раз поблагодарить Аллу Петровну. Но та, по-видимому, спустилась на первый этаж. Татьяна забралась в постель, не снимая халата — и рухнула в сон.

Залесский вернулся по темноте, быстро взбежал на крыльцо — только выросла и сжалась тень под желтым фонарем. Открыв дверь, крикнул:

— Петровна, я дома!

И удивился, что обычно встречающая его стая четвероногих на сей раз проигнорировала появление хозяина.

— Таня приехала? — спросил он, когда экономка вышла из гостиной.

— Дома Танюша, — ответила та, качнув головой. — Спит наверху, умаялась.

И по этому короткому слову — «дома» — Залесский понял: приняла. Улыбнулся: знал, что именно так и будет. Петровна умная женщина, в людях разбираться умеет.

— А звери где? — спросил он.

— Ой, да цирк с твоими зверями! Пойдем, покажу, — хитро прищурилась экономка.

Он поднялся за ней на второй этаж и через ее плечо заглянул в приоткрытую дверь гостевой комнаты. На кровати спала Таня — непривычно юное, порозовевшее лицо, соболиный изгиб бровей, русые волосы волной огибают маленькое ухо, правая рука под щекой, как у маленькой. А вокруг — разморенный сном зверинец: кошки на кровати, собаки на полу. Возле Таниной подушки — белый кот Тимоша, бубликом, носом в хвост. Микрик пушистым шариком — под Таниным боком. Муся свернулась над ее головой, будто та болит, а кошка — лечит. А на ковре у кровати — задравший лапы рыжий Бим, блаженно раскинувший уши, и серый Грей, уложивший морду на передние лапы и похрапывающий, как мужик.

Залесский хмыкнул — первый раз видел такое, чтобы все его питомцы собрались вокруг гостя, и ноль внимания на хозяев. Тронул Петровну за плечо и попятился, красноречиво приложив палец к губам.

— Пусть еще поспят, — прошептал он, и экономка кивнула, прокралась вслед за ним к лестнице.

Спустившись на кухню, Юрий сел за стол и засунул в рот печенье:

— А молоко есть?

— Сейчас налью, — Петровна достала из холодильника запотевшую трехлитровую банку, наполнила огромный бокал. — Галина Васильевна привезла, сказала, корова отелилась, так что будем с надоем.

— О-ох, хорошо! — отпив и кружки, Юрий вытер ладонью молочные усы. — Ну как вы тут, Петровна?

— Да хорошо, — экономка устроилась за столом, — мы с Таней поговорили, потом она в ванную и спать.

— А говорили о чем?

— О женском, Юра. И вот я всё думаю, думаю... Хорошая она девка. Искренняя. Ты ее не упusti.

— Понравилась, значит? — улыбнулся Залесский.

— Это у вас, молодых: нравится, не нравится, — поморщилась Петровна. — А я душой вычисляю: если человек хороший, мне с ним и сблизиться легко, если нет — я и на ты никогда не перейду, сам знаешь.

— А с ней, значит, перешла?

— Перешла! — закивала Петровна. — Тянуть — даже в мыслях не было. Наш она человек, Юра. Чем-то бабушку твою напонила — такая же бесхитростная, что ли...

Алла Петровна задумалась, теребя в руках краешек скатерти.

— Она у нас останется?

Залесский помрачнел, в углу рта появилась упрямая складка. Сказал с сожалением:

— Нет. Она уедет, но до поры. Мне нужно одно дельце распутать, а потом ее привезу. Надеюсь, что навсегда. Так что сбудется твоя мечта, Петровна, женюсь, если всё сложится. Ты мне теперь вот что скажи: у тебя деньги есть?

— А как же! Миллионерша я, твоими стараниями. Хотя и без зарплаты бы никуда не делась, сам знаешь.

— Да знаю! — отмахнулся Юрий. — А сколько денег? Я бы у тебя занял.

— Восемьсот тысяч четыреста сорок семь рублей на книжке, и на карте еще двести шестьдесят четыре тысячи, — смеясь, оттарабанила она. — Если тебе нужны, забирай без отдачи.

— Не заберу, мало мне... — он подумывал расплатиться с Василенко из своих, а потом уже спокойно искать Макса — но не хватило бы, даже вместе с деньгами экономки. — Ну да ладно. Ты вот что. Ты мне лучше карту свою дай, а я тебе свою. Или наличку на хозяйство выдам, если хочешь. Мне Таню нужно за город отправить, и чтобы ни в чем там не нуждалась.

— Это из-за мужа её? — понимающе спросила экономка.

— Она рассказала?... Ну да, из-за него. Редкий оказался подонок, — нахмурился Залесский.

Тревога снова зашевелилась в нем, оцарапала изнутри, топорща сухие шипастые ветви. То, что за Максом придется побегать, ему было ясно. Планета большая, он мог прятаться где угодно — ведь, судя по всему, план отступления продумал давно. Пяти дней, которые дал Василенко, явно не хватит. Значит, Таню придется спрятать — оставлять ее в городе опасно, у нелюдей, связанных с криминалом, ничего святого нет. «Я должен уберечь свою женщину, — думал Залесский. — Отправить ее туда, где не достанут — и делать своё дело, не паникуя и не умирая от тревоги. М-да... самая большая война в душе всегда из-за любви, но парадокс в том, что без холодного сердца ее не выиграть».

— Пора собираться, — сказал он, вставая. Взгляд экономки посерьезнел, в нем мелькнуло беспокойство. «Ничего, он справится, — успокоила она себя. — Сильный и умный, дедова кровь».

Залесский поднялся на второй этаж, вошел в гостевую. Присел на кровать рядом с Таней. Она открыла глаза, глянула затуманено, с растерянностью — и, узнав, приподнялась, инстинктивно запахивая халат на груди. В глазах стоял вопрос: что он ей скажет, и вообще — что дальше? Юрий не выдержал — потянулся, поцеловал в заалевшие губы.

— Танюша, тебе нужно уехать, — сказал он. И увидел, как потемнел ее взгляд.

— Почему?

— Я говорил с Василенко, это его люди забрались к тебе в дом. Сымитировали кражу, но на самом деле прикрыли ей обыск. Видимо, искали что-то, что выведет на Макса. И вряд ли нашли, потому что деньги теперь требуют с тебя. Я, конечно, отыщу твоего бывшего мужа — но не знаю, как скоро. А пока ты полетишь до Геленджика. Билет придется взять на твое имя. Но Василенко быстро вычислит, куда ты уехала, так что нам нужно его запутать. Поэтому, приехав в Геленджик, ты сядешь на автобус и выйдешь из него где-нибудь ближе к

центру города. Там поймает такси и поедет в Новороссийск. Тебя будет ждать мой приятель. Он поможет снять квартиру и даст тебе новый телефон с сим-картой, зарегистрированной на чужое имя. Деньги я тебе дам, возьмешь карту Петровны. Поживешь на юге, отдохнешь — а я пока разберусь с этими крысами.

— Но я так не могу! — запротестовала Татьяна. — Ты будешь один против них, так нельзя!

— Во-первых, я не один, у меня есть коллеги. Мы и не таких, как Макс с Василенко, прижучивали — в этом плане можешь быть спокойна. Во-вторых, давай договоримся на берегу: каждый в нашей паре будет делать то, что умеет лучше другого. А я старый сыскарь, так что я лучше разберусь с криминалом. Прости, здесь ты мне не то, что помочь не сможешь — будешь только мешать.

— Слушай, я думаю, Макс в Самаре, — вскинулась Татьяна, вспомнив о найденной в куртке распечатке.

— Тем более. Это значит, мне придется ехать туда. А оставаться в городе без меня тебе вдвойне опасно. Собирайся, самолет через три часа. В дороге расскажешь, откуда идея с Самарой. И вообще, побольше расскажешь о Максе — сейчас важна любая информация.

...На пороге дома Алла Петровна перекрестила их — будто благословляя. Таня обняла ее на прощание и вышла в ночную мглу. Залесский открыл дверь незнакомой машины, устроил Таню, сам сел за руль.

По дороге в аэропорт она рассказала ему всё, что только смогла вспомнить — о прошлом Макса, о его привычках, характере. Отдала распечатку, и — на всякий случай — ключ от своего дома: адвокат предполагал, что там всё-таки может найтись что-то, что наведет на след.

К самолету они успели впритык. Купили билет, встали в очередь к стойке регистрации. Таня до последнего не выпускала руку Юрия. А он сжимал ее ладонь, успокаивая: всё будет хорошо, потерпи, прорвемся.

Заняв свое место в салоне, Татьяна смотрела в иллюминатор на яркие огни аэропорта. Где-то там был он, мужчина, готовый ради нее на всё. Сильный, с острым умом и большим сердцем. Привыкший к одиночеству, сторонившийся женщин — но сумевший полюбить. Жесткий профессионал, грамотный юрист — и человек, подбиравший на улице бездомных животных, не глядя на породу. Просто потому, что им была нужна помощь.

А еще она думала о том, что ни с кем не успела попрощаться. Павлик, Яна, Тамара с Витькой — все, кто стал ей особенно близок в последние месяцы — остаются в этом городе. А она — беглянка поневоле — будет вынуждена скрываться. Одна, без друзей, в тревоге за любимого, которого не посмела послушаться.

«Знать бы, как долго, — вздохнула она. — И чем всё это закончится...»

Сухой металл кухонной раковины, та же сушь на эмали ванной. Татьяна без особой надежды покрутила краны: пусто, хотя на часах половина девятого утра. Достала из белого кухонного шкафчика пластиковую пятилитровку. В ней осталось меньше половины, но хватит, чтобы умыться и сделать кофе. К тому же, бачок в туалете полон, да еще и в ванной ведро до краев. Запасать пресную воду — первое, чему ее научил Новороссийск. Обычный график подачи (три часа утром, так же — вечером) нарушался без объявления войны. За ту неделю, что Татьяна прожила в съемной квартире на улице Мира, перебои случались уже дважды.

«Этот город — как потерявшийся корабль: чтобы доплыть, приходится нормировать воду», — думала она, глядя в окно на панораму порта. Безрадостный вид: вмурованная в серую плитку излучина набережной (гранитный парапет как стена бассейна, в котором томится недовольное море), вода цвета тёмного индиго с черными живыми мазками волн — и серые горы на горизонте. А под ними — будто стеной, перекрывающей море — ржавые сухогрузы и танкеры с вздыбившимися над ними желтыми стрелами портовых кранов. Солнца нет — только ветер перегоняет грязно-белые стада облаков по небу, которого не видно. И впереди еще один грустный день.

— Не хандри! — разозлившись, приказала себе Татьяна. Прихватив пятилитровку и белый, будто больничный, эмалированный ковшик, направилась в ванную.

Пара минут — на то, чтобы умыться. Еще две — чтобы почистить зубы. Жаль, придется обойтись без душа — на то, чтобы постоять под его струями, старательно намыливая тело и растираясь мочалкой, а потом с тем же тщанием вымыть волосы, ушло бы еще полчаса. Хоть какое-то занятие... Её беда в том, что время идет бесцельно, и поэтому тянется, тянется, как струйка патоки. Чтобы убить еще час, можно одеться и прогуляться до магазина, купить еще пару пятилитровок воды. А на обратном пути посидеть во дворе, глядя на людей и птиц. И сжимать телефон в руке — после того, как в Новороссийске пробьет десять, Юра может позвонить в любую секунду. Его звонки да ежедневные разговоры с психоаналитиком — только это вносило хоть какое-то разнообразие, становясь яркими пятнами в серой ткани ее дней. Будь она обычной отдыхающей, ездила бы на экскурсии, исследовала бы незнакомый город — но Залесский просил поостеречься, и не появляться пока в людных местах.

Выпив кофе и съев пару творожных сырков в шоколаде, Татьяна поставила пустую чашку на дно раковины, выбросила в мусорный пакет перемазанные шоколадом обертки. Окинула взглядом кухню: кремовые стены, белая мебель, на окне — тюль с золотистой бахромой. Чисто. Почти стерильно. И ничего, говорящего об индивидуальности хозяев: ни магнитов и записок на холодильнике, ни засаленной кухонной рукавички, ни семейной фотографии на столе. Будто не в жилом помещении, а в магазине мебели, его выставочной зоне.

Обстановка единственной комнаты — синий диван в черную и зеленую полосу, пустая мебельная стенка напротив (цвет венге с отделкой беж), телевизор на стене, прямоугольный стол у окна, блестящий голый линолеум, глазу не за что зацепиться — вызывала то же

ощущение. Товарищ Залесского, Георгий Михайлович — немногословный пожилой армянин невысокого роста, с серебристо-белой головой и выправкой морского офицера — предложил ей именно эту квартиру из-за вида на море. Но в тот день так ярко светило солнце, так радостно чирикали птицы в ветвях под окнами, и таким близким казалось возвращение к Юре, что Татьяна легко согласилась на это полумертвое жилище. А потом поняла: ей не хочется его обживать. Потому что незачем обосновываться в бомбоубежище, когда кажется — еще пара часов, и наступит время отправляться домой, ведь тревога была ложной.

Но дни сменяли друг друга, хороших новостей не было. Только Макс открывался с новой стороны, и падал в Таниных глазах всё ниже. Коллега Залесского восстановил файлы на его компьютере — не все, но достаточно для того, чтобы понять: всё время, что они были в браке, муж обворовывал её.

Все пять лет.

Сначала она не могла понять: за что, почему? Потом бросила об этом думать, осознав, что, сама не будучи воровкой и предателем, никогда не сможет понять мотивы бывшего мужа. Но обида грызла, и росла уверенность: он женился на ней не по любви, просто делал вид — а она верила.

Его машину удалось проследить до Новорязанского шоссе, потом Макс исчез — Залесский считал, залёг где-то, выжидает, или двинулся в сторону Тулы. Коттедж тоже оказался пустышкой: до сих пор стоял непроданный, а его хозяин, с которым Юрий встречался во время поездки в Самару, при виде Максовой фотографии сказал, что этот человек никогда к нему не обращался. Залесский сделал всё, что мог: приостановил сделку с аптеками, подключил полицию, проследил, чтобы разослали ориентировки. И всё без толку. Так что Тане пришлось признать: возможно, в Новороссийске она надолго.

«Ну не навсегда же!» — напомнила она себе, подходя к шкафу и доставая из него нижнее белье, носки, черные джинсы и бордовый пуловер с высоким горлом. Всё новое, купленное сразу по приезду в попытке убить двух зайцев: занять необходимые вещи и развлечься шопингом. Хоть какая-то компенсация этой вынужденной ссылки и поспешных сборов в дорогу, во время которых она взяла совсем не ту одежду, что нужна в конце марта на юге. Срезая ярлыки, Татьяна оделась, вошла в черные замшевые полусапожки, набросила тонкую кожаную куртку кирпичного цвета. Повязала на шею цветастый платок, взяла сумочку, где лежали ключи, кошелек и телефон. И открыла входную дверь.

Возле лифта стояла детская коляска — ярко-розовая, с белой отделкой и забавной вышивкой на боку: желтогрудая синица над гнездом, в котором широко разинул клюв лупоглазый птенец. Татьяна невольно улыбнулась, чувствуя, как теплеет на сердце. Стоявшая рядом с коляской женщина в годах — бежевый плащ, коричневая фетровая шляпка и начищенные туфли шоколадного цвета — нажимала на кнопку лифта. Глянула на Татьяну приветливо и робко, пожаловалась:

— Уже минут пять стою. Застрыл он, что ли, гадюка?

Последнее слово она произнесла беззлобно, но с лёгкой обидой. Голос был мягкий, певучий. Букву «г» она смягчала на украинский манер, вместо «и» в конце слов звучало «ы». Таня подошла ближе. Мельком глянув в коляску, разулыбалась еще больше при виде круглых младенческих щечек, между которыми торчала белая, с желтым солнышком, ручка соски-пустышки.

— Давайте я попробую? — предложила она, протягивая руку к кнопке. Та была оплавлена с одного бока, а по прямоугольной пластине, в центре которой зияло отверстие

для кнопки, криво спускались нацарапанные буквы: «Саня козел». Еще в первый день здесь Таня поняла, что и в этом, престижном по Новороссийским меркам, доме живут малолетние «гении».

Кнопка бессильно шелкала под рукой Тани. В подъезде пахло известкой, и немного — ландышем: видимо, духи незнакомки. Майский аромат странно звучал в каменном мешке.

— Ох, неужто сломался? — вздохнула женщина. — Не дом — халабуда! Воды нет, лифт не работает, как с дитяtkом в таких условиях? Да и самой в душе не искупаться, и в туалет лишний раз захочешь — а терпи-и-и, тётя Аля!

Татьяна, озабоченно глянула на коляску — мысленно прикидывала, сможет ли снести ее с третьего этажа, если соседка всё-таки решится на прогулку с малышом.

— Часто здесь так? — спросила она женщину.

— Ой, я не знаю. Мы только переехали! А вы, разве, не здесь живёте? — простодушно удивилась та, глядя на Таню голубыми глазами — ясными и чистыми, как у ребенка. Но в каштановых кудряшках, выбивавшихся из-под шляпки, светлели красные нити закрашенной седины, да и морщинок на лице хватало — так что десятков шесть за ее плечами было.

— Снимаю, — коротко ответила Татьяна.

— А-а... Туристка? — в глазах соседки зажглось любопытство.

— Нет, у меня подруга здесь живет, обещала с работой помочь. Я сама из маленького города, в нашей больнице мест нет. Вот и решила на большой земле счастья попытать, — Демидова не любила врать, но такая легенда была самой достоверной.

— А в больнице кем работали, если не секрет? — продолжала допытываться женщина. В выражении ее лица не было той настороженной подозрительности, с которой обычно встречают чужаков. И равнодушие — того, что отличает беседы из вежливости — тоже не было. Соседка явно соскучилась по общению.

— Доктором, — дружелюбно ответила Татьяна. — Педиатром.

— Надо же! — воскликнула женщина, и в ее певучем голосе зазвучали нотки почтительности. — Значит, легко устроитесь, у нас в городе детишек много, а к врачу не записаться — не хватает специалистов.

— Сказали, через пару месяцев ставка будет. А у вас кто — мальчик, девочка? — поспешно спросила Демидова. Ей не терпелось перевести тему — больно уж не хотелось врать этой простодушной соседке, тем более что ее искренность вызвала симпатию.

— Внучка. Викулычка. Полтора месяца нам, — с любовью сказала женщина. — Меня Алевтиной Витальевной зовут, мы из тридцать второй квартиры. Можно тётя Аля, мне так даже привычнее.

— А я Таня. Ну что, тётя Аля, лифта мы, похоже, сегодня не дождемся. Давайте по лестнице вашу коляску спускать? Только вы ребенка на руки возьмите.

— Ой, Танюша, спасибо! — всплеснула руками соседка. — А то нам гулять прописали. Здесь воздух морской, целебный, а Викулька у нас после операции. Да и в магазин нам нужно, за водичкой. Я из-под крана не рискую для внучки брать, хоть и кипячу, но все одно вонючая. А сёгодня и той нет.

— Я тоже в магазин, — обрадовалась Татьяна, чувствуя, что тоже стосковалась по общению за неделю вынужденного одиночества. — Если хотите, пойдёмте вместе.

— Конечно! Конечно, хочу, а как же! — соседка улыбнулась широко, радостно, и Таня заметила золотую коронку на месте верхней левой «пятерки». — Хоть с живым человеком поговорить, малая-то не разумиет ещё!

Осторожно достав внучку из коляски — в белоснежном, отороченном кружевом, кульке, перевязанном полупрозрачной розовой лентой, недовольно пискнул младенец — Алевтина Витальевна крепко прижала ее к груди и, внимательно глядя под ноги, пошла по лестнице вслед за Татьяной. Демидова тарыхтела впереди, пытаясь удержать коляску за ручку: та норовила задрагаться и выскочить из рук каждый раз, когда передние колеса соскальзывали с очередной ступеньки, и тяжелая коляска устремлялась вниз.

Наконец, спуск закончился — причем, без потерь. Пройдя вперед, Татьяна с облегчением открыла дверь подъезда и вытолкала наружу непослушное розовое чудовище о четырёх колёсах.

— Уж и не знаю, Танюша, как вас благодарить! — повторяла тётя Аля.

— Поблагодарили уже, тётя Аля! — отдуваясь, отмахнулась Татьяна. — Лучше расскажите, что за операция у Вики была. Вроде маленькая она еще для хирургии.

— Ох, порок сердца был у нашей девоньки, какой-то сосудик у нее не зарастал, перевязывали, — заговорила словоохотливая соседка, положив ребенка в коляску и направляя её к проходу между домами. Южная речь звучала непривычно — неторопливо, нараспев. Демидова шла рядом, ежась от ветра, пахнущего духами русалок — йодом и водорослями, доносящего хрипкое переругивание чаек. — Теперь-то уж всё хорошо, а то ведь и ночью не спали, и в обморок падали. Не помню, как этот порок называется, Атиллоу какой-то, вроде...

— Боталлов? — догадалась Татьяна. — Незаращение Боталлова протока?

— Точно! Вот сразу видно, врач, разбираетесь, — поддакнула соседка. — Операцию в Москве делали. Внучка-то москвичка у меня, коренная, там родилась. Дочь туда после учебы уехала, познакомилась с мужчиною, забеременела... Он какой-то министр у ней, богатый. Не пойму, чего не женился — да и кто их сейчас поймет, молодых-то? Сбежались, разбежались, то ли вместе, то ли врозь...

В голосе Алевтины Витальевны послышалась грусть. Чувствовалось, что тема для нее болезненная, но и не говорить о ней она не может.

— Зато теперь вот к вам вернулась, внучку привезла, всё ведь веселее, тетя Аля? — попыталась подбодрить Татьяна.

— Это да. А так кто знает, когда бы я Викулычку увидела? Наташка-то как уехала в Москву семь лет назад, так и носа не казала! Да и сейчас... — Алевтина Витальевна горестно махнула рукой, — всё по делам бегаёт. А какие могут быть дела у молодой мамки, кроме дитятка? Я-то в свое время от нее не отходила, все силы ей, всё внимание. Правда, на работу пришлось выйти, когда Наташе едва годик исполнился. Беда у нас приключилась, муж мой, Наташкин батя, в море утонул. Работал в порту, ну и, по пьяному делу, с мола впал — да так и не выплыл. А я с малой одна осталась. Ну вот, вырастила. Правда, дочка заботливая у меня. Квартиру вот купила, ажно четыре комнаты! Меня забрала. У меня ведь дом на Широкой Балке, село такое. Но там чего: туалет — на яме, газ в баллоне, ладно хоть воду горячую провели и отопление, только я-то привыкла с печкой да с банькой. Но Наташке неудобно, отвыкла уже, городской заделалась. Вот тут с внучкой теперь обживаемся...

— А дочка ваша где сейчас? — спросила Татьяна.

— Да по делам, по делам она... — Алевтина Витальевна отвела глаза, засуетилась, поправляя полог коляски. — А у вас, Танечка, дитятко есть?

— Нет пока. Но надеюсь, что будет, — ответила Демидова, понимая, что соседка больше не хочет говорить о дочери. Похоже, та просто взвалила на бабушку все заботы о

маленькой Вике, а сама мотается где-то под надуманным предлогом. А бабушка и рада стараться — хоть ворчит, но дочкину работу делает. Что ж, обычная история, где нет ни правых, ни виноватых.

Вика захныкала, и Алевтина Витальевна переключила внимание на внучку: уговаривала не плакать, трясла погремушкой. Через пару минут они дошли до супермаркета. Миновали вереницу машин на стоянке, вместе с коляской вошли в раздвинувшиеся двери из стекла. Взяв большую тележку, Татьяна направилась к паллетам, уставленным бутылками с водой.

— Вам сколько? — обернулась она к тётке Але.

— Парочку, Танюша, — откликнулась та, рассматривая журналы на стойке. — И давай еще в молочное заглянем, за сыром, дуже люблю адыгейский!

Татьяна загрузила в тележку три пятилитровки (для себя взяла одну — кончится, будет повод еще раз занять себя вылазкой в магазин) и попыталась развернуться. Пожилой мужчина, оказавшийся на ее пути, еле успел отпрыгнуть, но посмотрел не обиженно, а с пониманием. То и дело извиняясь перед другими покупателями, она, лавируя, вытолкала тележку в проход между бакалейными рядами, пошла за розовой коляской, по пути высматривая сладости. Бросила в корзину пачку зефира, вафельные трубочки в прозрачной упаковке. Холодильник дома был полон — фрукты-овощи, зелень, молочка, рыбные консервы, а в морозилке блинчики с мясом и зразы. Но вот к чаю ничего не осталось, а Таня сладкое любила. Да и гречку в прошлый раз не купила, а с молоком это прекрасный обед. Особенно, когда готовить не хочется — или не для кого...

— Ну что, мы всё купили, — сказала Алевтина Витальевна, складывая в Танину корзинку кусочек сыра, пакет молока и упаковку йогуртов. — Айда домой?

— Айда! — весело кивнула Демидова и повернула тележку к кассе.

После того, как они по очереди расплатились с кассиром («У вас под расчет?» — спросила та, принимая от Алевтины Витальевны деньги — и Татьяна с трудом поняла, что имелось в виду «без сдачи»), Демидова помогла соседке уложить бутылки в корзину под коляской. Дно угрожающе провисло. Недолго думая, Татьяна взяла в обе руки по пятилитровке, повесив на запястья пакеты с бакалеей.

— Таня, тяжело же! — запротестовала соседка, пытаясь забрать одну бутылку.

— Нормально, тётка Аль, донесу, — мотнула головой Татьяна. — А вы мне пока расскажите, что вы тут, на юге, готовите. Может, рецепт есть какой, необычный?

Это была благодатная почва для разговора. А главное — Алевтина Витальевна, вспоминая местные кулинарные изыски и секреты их приготовления, так и не начала спрашивать Таню о ее личной жизни. Врать этой милой женщине не хотелось, а говорить правду было нельзя.

На обратном пути Татьяна засмотрелась на свадебный кортеж, остановившийся возле набережной адмирала Серебрякова. Молодожены встали у парапета, позируя фотографу на фоне моря: миниатюрная невеста в пышном, как зефирина, платье и норковой шубке, ниспадающей с плеч, и высокий жених в светло-сером с искрой костюме и ярко-красном галстуке. Стайка гостей — все молодые, веселые, шумные — окружила новобрачных, как стая разноголосых птиц; вверх потянулись руки с бокалами, зеленые горлышки бутылок звякали о стекло, наполнявшееся шампанским. «Неужели мы с Юрой тоже поженимся? И у меня, наконец-то, будет хорошая, счастливая семья. Муж, который не предаст. И, возможно, ребенок», — подумала Таня и смутилась, отгоняя мечты — не сглазить бы. Тётя Аля всё ещё рассказывала о том, как приготовить какую-то южную сладость: орехи, загустевший сок... А

выглянувшее из-за облаков солнце золотило гребни морских волн, блестело на крыльях чаек, садившихся на серую плитку набережной. Ветер стал тёплым, раздувал непокрытые волосы, путая русые Танины пряди. И, наверное, впервые за эту неделю она не пожалела, что оказалась именно здесь.

У поворота во двор Татьяна остановилась:

— Ну что, я домой, а вы гуляйте. Водичку заберете, когда вернетесь. У подъезда будете, позвоните мне в домофон, я спущусь, помогу с коляской, — сказала она. — Квартира тридцать шесть, не забудьте!

— Ох, спасибо, Танюша! Прозвоню-прозвоню, — ответила тётя Аля, с одобрением глядя на нее. Заглянув в коляску, Таня улыбнулась спящей Вике: сопит, глазки закрыты — хорошо ей на свежем воздухе! А соседка сказала просительно:

— Таня, я у вас спрошу, пока смелости хватает... Нам бы няню, а то Наташи часто дома не бывает, а мне одной тяжело. Викулычка маленькая, хлопот дуже много, а я ведь сердешница. Да и после переезда квартиру надо в порядок приводить, у меня половина коробок не разобрана, живем, как дурносёлы. И шут его знает, где эту няню искать! Может, пока работы нет, согласитесь мне подсобить? Зарплата хорошая будет.

Алевтина Витальевна с надеждой смотрела на Татьяну. А та, не скрывая удивления, переминалась с ноги на ногу, не зная, что ответить. Задумалась, потянулась к коляске — еще раз глянуть на девочку. И, наконец, сказала:

— Тётя Аль, я бы с радостью!

Сон разбился о каркающие выкрики — будто лодку, тихо плывущую по спокойным волнам, грохнуло и ободрало о риф. Демидов вскочил, испуганно щурясь. Оранжевая штора на окне выглядела раскаленной — наглое солнце, еле сдерживаемое угрюмым полумраком загаженной комнаты, пыталось просочиться внутрь. А на улице продолжали кричать, будто глухие:

— ...бычьё сердце, бабка сама семена делает. По три ведра с куста сываем, — постаревший бас дребезжал, будто на большой барабан сыпали сухие сучья.

— Моя уж перцы распикировала, полста и полста корней, — ответил осипший баритон, словно селезень закричал.

— Тю-у! Мы меньше ста сорока не растим...

И всё про овощи, про навоз, и что конский «лучшее будет» — да когда ж они заткнутся, и почему так громко орут?... Макс замычал, ложась обратно в кровать и натягивая на уши края подушки. Спать хотелось невероятно, он до шести утра смотрел все части «Рокки» со Сталлоне и надувался пивом — а что еще было делать в этом доме отдыха для старичья, где он зависал уже неделю? Спрятаться в «Авроре» сначала казалось хорошей идеей: вряд ли те, кто знал характер Демидова, станут искать его в этом царстве совдепии, где ни шика, ни развлечений — если, конечно, не считать увлекательных походов на электрофорез и болельщицкого азарта над домино в холле.

Каждый день в этих обшарпанных стенах был близнецом предыдущего: отдыхающие завтракали, принимали лечение, шли на прогулку, обедали, шли на прогулку... Потом полдничали, ложились вздремнуть, ужинали и расползались по номерам. А самые шевотные шли на вечерние танцы под Толкунову и Магомаева.

Макс был здесь самым молодым и самым одиноким. Он спонтанно забронировал номер в этой богадельне на берегу Оки — вообще уезжать пришлось спонтанно, потому что афера с аптеками и жёгшие карман деньги для отмыва, которые он так и не перевел на счет подставной фирмы Василенко, требовали быстрых решений. Макс понимал, что не готов: ни новых документов, ни машины, на которой можно было бы передвигаться незамеченным. Поэтому на пути в Самару он свернул в сторону Коломны: там жил давний знакомец, еще до зоны скорешились на почве любви к автотранспорту. Демидов сбросил машину в его автомастерской (пусть за полцены — и то хлеб), попросил подыскать новую, а еще сообразить комплект документов на чужое имя, и чтобы без палева. Прошла ровно неделя, сегодня после пяти нужно забрать тачку, права и паспорт. А потом двигаться в отель под Самарой, где его будет ждать Алёна.

«Максим Вячеславович — красавчик, блефанул — и выиграл, а остальное как-нибудь утрясется», — бодрился Макс, заставляя себя встать с кровати. Но страх, каждый день загорававшийся у него внутри в первую минуту после пробуждения, и гаснущий только с приходом сна — будто кто-то дергал за веревочку торшера — толкнул его к окну. Демидов осторожно выглянул из-за шторы, с подозрением оглядел стоянку перед центральным входом: уф-ф, ни одной новой машины, только знакомые «лады», «нексии» и прочие монстры отечественного автопрома, на которых приезжали сотрудники дома отдыха. Распрямил спину и с неудовольствием глянул направо — туда устремлялись дорожки для прогулок, расходящиеся от крыльца «Авроры» солнечными лучами. И на этих «лучах»

стояли два разбудивших его деда. Один — почти под Максовым окном, второй — на следующей дорожке, метров за пять от собеседника. Перекрикивались поверх почерневшего сугроба, изъеденного весенней проказой. Но по странному капризу не обходили его, чтобы встать рядом и пообщаться нормально, а драли горло так, что слышно во всех номерах. Деда явно в маразме.

Макс скосил глаза на запястье: без пяти десять. Значит, старики позавтракали, пролечились, а теперь маются бездельем. Глотнул пива из полупустой жестяной банки, скривился: тёплое, выдохшееся... Оглядел комнату, ища, куда вчера бросил джинсы и водолазку. А с улицы донеслось очередное:

— Я по три пасынка оставляю! С одного что? Ну, кило, ну два...

Демидов почувствовал, как злость дрожит внутри осиным роем, гонит кровь в гудящую голову. Он никогда не думал о том, как относится к старикам — но здесь осознал, что ненавидит. Всё в них ненавидит: запавшие глаза под поредевшими бровями, сухость узловатых рук, грязный запах мочи и немощный — камфоры. А ещё медлительность и важность, с которой они тащат по жизни свои дряблые тела — бесформенные, будто налитые в мешки из морщинистой кожи. И так, будто все должны уступать им дорогу. Будто они имеют полное право орать под окнами спозаранку, забывая, что не все здесь ложатся с курами, а встают с петухами. Ему захотелось выскочить в окно, схватить огородников, одного за другим, и воткнуть бошками в грязный снег, как брюкву. Но высовываться было нельзя. Вообще ничего было нельзя — только ждать, пытаюсь быть как можно неприметнее. Для вида ходить на грязевые ванны, давиться ватрушками в полдник, самому втихаря выносить пакеты с пустыми бутылками и коробками из-под пиццы и суши. И каждый раз звонить в новое такси, когда приспичивало в город за бухлом и нормальной едой.

Впрочем, осталось потерпеть совсем немного.

Передумав одеваться, Макс прошлепал в санузел, включил воду, наполняя ванну. Пока она набралась, курил, сидя на унитазах. А потом, скинув трусы, погрузился с головой, вынырнул, отфыркиваясь — и блаженно замер: полегчало, да и страх немного притупился. Он вспомнил самодовольную рожу Василенко и не сдержал ухмылки: а всё-таки я тебя переиграл, хрена с два ты меня найдешь! «Ищет уже, — трусливо заныло внутри. — Зря ты его кинул. И деньги, предназначенные для отмыва, взял зря, за ними совсем другие люди стоят». Страх накатил с новой силой. Выпить бы... Нет, нельзя — вечером за руль, и к Алёне хотелось приехать трезвым.

«Ничего, — думал Демидов, — я заберу её и мы уедем. Куда-нибудь подальше, в какую-нибудь Абхазию или на севера, там никто не найдет. Купим дом, я открою дело... В Самаре оставаться опасно, если Василенко узнает, что я оттуда, будет в первую очередь искать там».

Вода остыла. Макс выдернул пробку пальцем ноги, включил горячую. Принялся намыливать, оглядывая себя: м-да, не успел сбросить жирок и подкачаться, совсем заплыл, свинота! Ладно, за двадцать пять лямов можно и не такое простить, Алёна умная баба и поймет это. Почувствовав себя увереннее, он сполоснулся под душем, вылез на зелёный резиновый коврик, тут же впившийся колючими бугорками в распаренные ступни. Обернув бёдра полотенцем, Демидов тщательно побрился, хлопками нанес на щеки лосьон. Зачесал волосы надо лбом и направился в комнату.

Протухший воздух висел невидимой грязной портянкой, и Макс слегка приоткрыл окно. Вытащил из-под кровати старый черный чемодан из кожзама, вытершегося до тряпичной основы на дне и боках. Открыл, нетерпеливо выбросил прямо на пол кучу одежды. И, словно

из матрешки, вынул металлический чемоданчик. Замки щелкнули, крышка откинулась, показав пустое нутро. Демидов прощупал пальцами стальной ободок возле дна, вынул подкладку. За ней обнаружили пачки пятитысячных купюр; он переложил их в маленький чемоданчик и закрыл кодовый замок. Это его он откроет перед Алёной при первой встрече. Пусть впечатлится и поймет: он всё тот же. Не только по молодости умел таскать деньги сумками.

Поставив на место фальшивое дно, Макс принялся собирать вещи. Металлический чемоданчик вновь отправился внутрь черного собрата, сверху легло бельё, рубашки, свитер и мелочи, стоявшие в ванной. Грязное полотенце и трусы он решил оставить здесь — уборщицам на поживу. Надел боксеры, белую итальянскую рубашку и тёмно-серый немецкий костюм-двойку, завязал синий шелковый галстук и влез в начищенные туфли. Глянул на часы: время обеденное, но на обед идти нельзя — не попрется же он с чемоданом... Макс вынул телефон — старую кнопочную развалюху с мутным экраном, приятель-автомеханик подогнал для связи. И вызвал такси. Диспетчер обещал, что машина будет через полчаса.

...А вечером, уложив в карман паспорт на имя Александра Викторовича Синицына, он уже гнал по направлению к Самаре на шикарной чёрной «бэхе», чувствуя, как подрагивает внутри неужемная, слепая радость. Он почти ушёл — и почти добрался, еще немного! Каждый пройденный километр — за него, каждая минута — уводит от опасности и приближает к мечте. Алёна уже ждёт в номере отеля «Прибрежный», дорогого и отлично охраняемого, а, значит, безопасного и скрытого от посторонних глаз.

Он едва заставлял себя придерживаться правильной скорости, потому что связываться с гаишниками сейчас хотелось меньше всего — но на трассах, где не было камер, срывался и гнал. Курил почти без перерыва, пытаясь заглушить волнение перед встречей. Отмахал тысячу километров всего за одиннадцать часов. И в восемь утра, поспешно припарковав машину на стоянке «Прибрежного», взбежав на второй этаж белого здания, отделанного по цоколю диким камнем, пройдя по выкрашенному в бирюзовый цвет коридору, в конце которого виднелась арка заветной двери, и уже взявшись за ручку этой двери понял, что забыл купить цветы. Пристыженно вздохнул, приглаживая волосы, и, крепче сжав ручку заветного металлического чемоданчика, шагнул внутрь.

Алёна устроилась на кушетке: полулёжа, подперев рукой золотоволосую головку. Макс увидел плавный изгиб шеи с тенью над ключицей, еще одну тень — ниже, в мягкой впадинке, где сходятся округлости груди и покачивается на невесомой цепочке бриллиантовый кулон-слеза. Точеная косточка плеча обтянута бархатом платья, скрывающего ее руку до самой кисти — длинной и нежной, как полураспустившаяся лилия. Скрипичный изгиб талии под бархатом, закрывающим её тело до самых колен — округлых, яблочко-розовых. Изящные голени — аристократически-длинные, перехваченные у лодыжки черными ремешками туфель-лодочек. И запах — смелый, пробирающий до глубины запах ее духов вперемешку с холодным ментолом сигареты, которую она держала в вытянутых пальцах.

Алёна подняла взгляд — и в его глубине засияли всё те же жемчуг и серебро. Всё теми же мазками тёмного золота взлетали к вискам брови, всё так же алели губы. И Макс осознал, счастливо и глупо улыбаясь: вот и сбылось. Здесь, в мягком свете лампы у плотно зашторенного окна, ждала его молодость.

— Здравствуй, — сказала она, бросив сигарету в хрустальную пепельницу и поднимаясь

с кушетки. Шагнула навстречу ему, онемевшему, сосредоточившему в ней весь мир, забывшему, как дышать и как сдвинуться с места. Остановилась, подняв к груди кисти рук, смущенно переплетая пальцы. И он, выронив, наконец, этот чертов чемодан, сгреб её, вжимая в себя, впился пальцами в её тело и зашарил, как слепой — по спине, волосам, плечам, натываясь то на тёплый бархат, то на прохладу кожи, вдыхая её, вбирая всеми фибрами, и всё ещё не веря, не веря... Лишь когда ее губы ожили под его напором, шепча: «Макс, Макс, любимый!» и он закрыл своими губами этот горячий шепот, впитал его и прочувствовал каждой клеточкой тела — лишь тогда поверил: моя. Навсегда. Не уйдёт больше.

Приподняв, Макс поволок ее на кровать, настойчиво и нетерпеливо, будто над ним нависали последние минуты отпущенной ему жизни. Целовал в губы, глаза, щеки, спускался по выгнутой от стона шее, гладил губами ключицы, только теперь понимая, насколько болезненной может быть нежность, запертая внутри почти пятнадцать лет. Не отрывая губ от ее кожи, неловко снял пиджак и дернул вниз узел галстука. Приподнял ее за плечи, нащупывая молнию в черном бархате на спине, рванул за металлический язычок — и Алёна ойкнула, отстраняясь от боли.

— Прости, прости, — в ужасе зашептал он, — я люблю тебя, люблю...

Она покорно зашарила руками у себя за спиной, кое-как расстегнула, и Макс стянул верх платья вместе с бюстгальтером. Приподнял ладонями ее груди, впился в них губами — обуянный жадностью, смакуя вкус и запах — и смял, не соразмеряя силы. А потом скользнул рукой под ее юбку, содрал кружевные трусики, перевалился через ее бедро, расстегивая ремень на брюках и впопыхах царапая ее ногу пряжкой...

А она лежала под ним, будто терпела — но он ничего не замечал.

Залесский сидел за столом в своей адвокатской конторе, постукивая по столу красным колпачком шариковой ручки, и равнодушно зачитывал в трубку телефона:

— Статья сто шестьдесят шесть, пункт второй: оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия... Дальше читать?

— Не надо, — фыркнул Василенко. — И всё же я не понимаю, при чем здесь я, если посадил её Демидов, и он же выцыганил у неё все подписи?

— Дурачка из себя не стройте, — сухо ответил Залесский. — Вы вообще зачем позвонили?

— Хочу, чтобы вы отозвали иск, — сказал Василенко. — Насколько я знаю, Татьяна всё равно хотела продать аптеки. Так зачем поднимать шум, писать в ОБЭП... кстати, как они отреагировали?

— Заинтересовались, — хмыкнул Залесский. Он не отправлял туда письма, опасаясь, за Татьяну, но внутренний аудит уже начался и результаты были неутешительными. Еще один повод взять Василенко на понт и посмотреть, как отреагирует. И адвокат добавил:

— Говорят, деньги со счёта шли на липовые фирмы. Думаю, вы в курсе, что это за фирмы. Я вообще считаю, что вы вместе с Демидовым как-то наваривались на этих аптеках. Кстати, я в курсе и про контрафакт.

— Вы зря не верите, что я ни при чем, — вкрадчиво сказал Василенко, старательно обходя тему со счетами. — Я точно такая же жертва, как ваша клиентка. И не меньше вашего мечтаю найти Демидова. Кстати, ещё не знаете, где он?

— Нет. Но если вы считаете себя жертвой мошенничества, можете подать в розыск, — Залесскому был не интересен этот разговор. Василенко звонил третий раз за последнюю неделю. То выведывал, где Татьяна, то пытался угрожать, то жаловался — вот как сегодня.

— Вы же знаете, с какой скоростью работает наша полиция. Сам найду, — буркнул Василенко. — Тем более, я уже подобрался к нему ближе вас... Но я хочу лишь вернуть свои деньги. А вы? Вы же хотите его посадить?

— Допустим, — насторожился Залесский.

— Тогда давайте объединим усилия, — предложил Василенко, — и поделим добычу: мне деньги, вам — Демидов и аптечная сеть. Никто не будет внакладе.

Адвокат помолчал, раздумывая. Связываться не хотелось, но эта сволочь явно что-то знает. «Я уже подобрался к нему ближе вас». Не похоже на хвастовство.

— Хорошо, будем на связи, — сказал Залесский.

И, положив трубку, тут же позвонил приятелю из ФСБ, продиктовал номер Василенко. А через несколько минут знал: тот в Самаре.

Опять этот город! Все дороги вели туда: распечатка с объявлением о продаже коттеджа, слова Василенко... Согласно паспортным данным Демидова, он родился и вырос в поселке под Самарой. Это не набор случайностей, это след.

Залесский встал, прошел в приёмную. Выдержанная в классическом стиле, она была в меру строгой, но уютной: светло-желтые стены с широкими белыми плинтусами под потолком и лепниной вокруг люстры, добротная ореховая мебель, репродукции Шишкина,

стулья, обитые коричневым бархатом. Кресло секретаря пустовало — обед. Юрий сделал себе кофе, взял беляш из пакета: утром, когда Петровна совала его в руки адвокату, он казался мешком, набитым под завязку. Сейчас в нем осталось меньше половины — сотрудники растащили. Юрий надкусил беляш, чувствуя, как рот наполняется солоноватым, с перчинкой, мясным соком, как тает на языке нежнейшее тесто. И усмехнулся: что ж, сотрудников можно понять.

Входная дверь хлопнула, и в контору ввалился Андрей Кузьменко, напарник по адвокатской практике — бородатый, русоволосый, кряжистый, похожий на русского крестьянина, сошедшего с лубка. Роста он был великанского, почти как Залесский — но шире в плечах и животом солиднее. Поэтому системный блок, который Кузьма осторожно прижимал к груди, на его фоне казался большой консервной банкой.

— Готов твой пациент, Юрий Борисыч, — пророкотал напарник, ставя системник на стол секретаря. — С тебя пузырь и мастер-класс по беляшам.

— Насчет беляшей — это к Петровне. Она тебя, кстати, на рыбные расстегаи ждёт. Только, говорит, с Андреевой помощью сможем зимний улов уничтожить. А пузырь — хоть сейчас, любой выбирай из моих запасов, — откликнулся Залесский. И кивнул на системник: — Кстати, нашлось, что обмыть?

— Нашлось, — чавкая беляшом, ответил Кузьма. — Хорошо, что привлекли этого спеца. Где подключим — здесь, или в кабинете?

— Точно не здесь, эта штучка слишком ценная. Давай ко мне, — Юрий подхватил системный блок и внес его в свой кабинет. Вернулся за кофе, пока Кузьменко подключал компьютер, и прихватил пакет с остатками беляшей. Взял кресло из троицы, предназначенной для посетителей, подтянул ближе к столу — тот был тёмно-коричневым, почти чёрным, таким же, как книжные шкафы, теснившиеся у дальней стены. Мебель в чиппендейловском стиле, тёмно-зеленые шерстяные шторы и стены кирпичного цвета делали кабинет похожим на комнату в английском клубе.

— Смотри, — сказал Андрей, кивнув на монитор. — Все файлы, что удалось выцарапать моему хакеру — а он, между прочим, гранд-мастер Йода среди хакеров, я по сравнению с ним первоклассник — хранятся в этой папке. А вот тут — видишь файл блокнота? — ссылки, по которым твой Демидов шастал в интернете. А там, друг мой, то самое, которое мы называем шерше ля фам.

— Да ладно! Неужели любовница? — вздернул бровь Залесский.

— Не уверен, но дамочка интересная... Жаль, прочитать переписку не удалось. Мой Йода не настолько профессионален, чтобы вскрыть пароль, привязанный к телефонному номеру — он немного на другом специализируется.

Он вставил одну из ссылок в строку браузера, и на мониторе открылась страничка некой Алёны Леднёвой. С фотографии смотрела мадам лет тридцати пяти — фигуристая, симпатичная, с шикарными волосами цвета светлого мёда. Но, как показалось Залесскому, несколько потасканная.

— Смотри, у этой блондинки статус на латыни! — хохотнул Кузьма, запуская лапу в пакет с беляшами. И Юрий, прочёл: «Accidit in puncto, quod non speratur in anno».

— В один миг случается то, на что не надеешься годами, — тут же перевёл он.

— Медик, или юрист! На кого ставишь? — напарник был заядлым спорщиком, и часто подначивал коллег заключить пари. Причем предметом спора выступала какая-нибудь ерунда, а вот в качестве расплаты Кузьма любил ставить щелбаны отнюдь не ерундовой

силы.

— Остынь, может, она просто любит заумные статусы, — отмахнулся Залесский, проглядывая стену Алёны. Ничего интересного, обычная интернетовская муть. Он вернулся выше и недовольно сжал губы — доступа к личной информации нет.

— И часто Демидов заходил на её страничку? — поинтересовался Юрий.

— Да по нескольку раз в день! — хохотнул Кузьменко. — А к другим мадам даже не совался. Видать, зацепила.

— А как узнать, из какого она города?

— Точно не узнать, но можно попробовать вычислить. Заходим в друзья... смотрим... копаемся... Обычно самое большое количество френдов из того же города, что и хозяин странички — если он, конечно не бот. Но не думаю, что Демидов стал бы зависать в сети с ботом, — щелкая мышкой, Андрей съел еще один беляш и, вытерев пальцы носовым платком, озадаченно почесал голову. — У нее больше трехсот френдов: вижу Москву, Питер, Ейск... Юрок, боюсь, всё будет не так просто.

— А пробей-ка Самару, — попросил Залесский.

Кузьма вбил город в строку поиска и радостно хлопнул в ладоши:

— Бинго, господин адвокат! Двести тридцать семь френдов. Оказывается, просто.

— Спасибо, Андрюха! — Юрий протянул руку для рукопожатия. — Еще что-то интересное есть?

— Насчет интернета — не знаю, сам по ссылкам пробегись. А вот в документах — мрак. Полно всякой дряни, похожей на черную бухгалтерию. Причем не в обычном смысле слова, а просто цифры с пометками, тупо в экселе. Даты, суммы, приход-расход. Да, и ещё: похоже, этот подонок любит покер. И проигрывает дохрена. Там отдельный файл на эту тему.

— Значит, Демидов всё-таки крыса... Судя по этим файлам и по результатам внутреннего аудита, — Залесский нахмурился, потёр переносицу.

— Татьяна в курсе?

— Пока не говорил. Не хочу ещё больше расстраивать.

— Ну и правильно, — сказал Кузьменко.

Юрий взял пачку желтых стикеров, принялся писать на каждом: Демидов/Самара, Леднёва/Самара, Василенко/Самара, Таня/ИВС, крысятничество, покер, побег... Поочередно наклеивал их на темную поверхность стола. Думал, менял местами. Злился на Макса, пытался понять: зачем ему понадобились деньги, куда он их повез, на что собирался тратить? Злость была холодной: Залесский точно знал, что догонит, поймает, засудит — это всего лишь вопрос времени. Но эмоции мешали увидеть ситуацию со стороны и просчитать все варианты. А он должен это сделать — и чтобы вернуть украденное Тане, и чтобы доказать ей свою состоятельность, как юриста, защитника, мужчины... Но главное — чтобы восстановить доброе имя своей женщины и вернуть её домой.

Он думал и думал, крутил то так, то сяк. А стикеры безмолвно желтели на столе, не выдавая своих тайн. Поддавшись порыву, он сгреб их, смял в кулаке — и, высыпав на стол, констатировал:

— Хаос.

— А с женщинами всегда так! — прокомментировал Андрей. — Вот не было у тебя женщины, и в жизни всё шло по порядку: работа — дом, работа — дом, ну иногда рыбалка. Появилась — и на тебе. Хаос. То детские рюкзаки на зимовках ищешь, то в больницу

передачи носишь, то за её бывшим мужем с пистолетом бегаешь. Вот так вот люди и женятся. Зато не скучно.

Залесский расхохотался — действительно, вся история с Таней была полна неожиданностей: и мальчишка этот, и суета вокруг Марины, и заключение в ИВС, и даже медведь — не говоря уже о том, что происходит сейчас. Никакого порядка. Но порядок — мертвая штука. А с Таней он чувствовал себя живым, любимым, и взбудораженным до чёртиков.

— Завтра суд у Бережнова, — сказал он, отсмеявшись, — помнишь дело о разбойном нападении? Так вот, я после суда отчаливаю в Самару. Как ни крути, все ниточки ведут туда. Прикроешь меня на работе? Надеюсь обернуться за пару дней, потом у меня Воробьёв и Торопчина на очереди. Если будут новые клиенты, проконсультируй, и, если что, звони.

— Без проблем! — отсалютовал Кузьменко. — А Петровне передай, что я обязательно заеду. Хочу ей платок из собачьей шерсти заказать, а то у мамы опять радикулит обострился.

— Спасибо! Всё передам. И вот ещё что... — Залесский достал портмоне, вынул несколько крупных купюр, — магистру Йоде, за труды. Скажи, очень помог.

Мягкие стикеры всё ещё валялись на столе. Он ссыпал их в корзину, думая о том, что Алёна — та самая версия, которую он еще не проверял. Именно она может стать ключом ко всей этой истории. Шерше ля фам, ищите женщину, как сказал Кузьма.

— Распечатай-ка мне фотографию блондинки, — попросил он напарника. — И скинь на почту ссылку на её аккаунт. Посмотрим, насколько хорошо она знает латынь.

Кухня Алевтины Витальевны менялась на глазах, но эти перемены пугали.

Сборщик мебели выстроил вдоль стены ряд боковин — тёмно-серых, тускло поблескивающих, словно шкура акулы. По верху объединил толстой столешницей свинцового цвета, прикрутил громоздкие, без единого украшения, дверцы. Глухо стукнув, на место встали тяжелые полки. Мастер полез наверх, загрохотал перфоратором — казалось, даже воздух затрясся. И принялся навешивать аспидно-серые шкафы, зияющие пустотой — будто провалы в ночь.

Закончив прикручивать дверцы на последний шкаф, сборщик распахнул его створки, как огромный фолиант.

— Пожалуйста! — сказал он Татьяне сверху, будто приглашая влезть внутрь.

— Спасибо за работу, — ответила та, стараясь не показать разочарованности. И, посмотрев на соседку, поняла: ей тоже не нравилось это вселившееся на кухню тёмно-серое хромированное чудовище, по-хозяйски расправившее пространство острыми углами.

Поджав губы, Алевтина Витальевна расписалась в накладной. Проводив мастера до двери, Татьяна вернулась на кухню. Соседка стояла перед гарнитуром, теребя в руках полотенце:

— Шо-то голое всё, скользкое... — пожаловалась она. — Как в мясном цеху, иль в лаборатории.

— Ну... Сейчас мода такая, — только и смогла ответить Татьяна. Её тоже удивлял выбор Натальи: либо у неё нет вкуса, либо схватила самое дорогое и неубиваемое, даже не задумавшись, впишется ли оно в интерьер.

— Дуже страшна эта мода, — вздохнула тётя Аля. — Вот у меня в доме не модно було, теснота — но уютно-о-о! Как в господнэй кладовочкэ! А тут така громадина — и загадила всё, глаза б не глядели! Давай-ка, Танюша, энту страсть одомашнивать.

Соседка принялась вытаскивать из картонного ящика обёрнутые газетами кастрюли. Таня раздевала их, бросая на пол смятые черно-белые листы, ставила на столешницу. Белые эмалированные посудины с земляничными ягодами на боках смотрелись на поверхности нового гарнитура, как цветные заплатки на смокинге.

Из коридора донесся звук открывающегося замка. Приторный запах духов ворвался в квартиру, за ним вкатилась розовая коляска, а после — женщина лет тридцати: среднего роста, с короткими волосами цвета меди, в коричневом кожаном плаще, из-под ворота которого выбивался нелепый жёлтый шарф. На ногах — лакированные ботиночки на высокой шпильке. Женщина прижимала к уху большой смартфон и говорила раздражённо:

— ...ты молодец, Серёжа! Турнул нас из Москвы, как барин — крепостных, а теперь помогать отказываешься? Я, между прочим, ради твоей дочери стараюсь! Хочу, чтобы она росла в красоте, а ты на новую мебель денег пожалел! Пусть ребенок спит на полу — так, что ли?

Она скосила глаз на Татьяну, и, сухо кивнув, отвернулась. Процокала каблучками по полу, удаляясь в комнату. Из-за закрытой двери донёсся недовольный бубнёж. Тётя Аля поспешила в коридор, захлопотала, вынимая внучку из коляски.

— Вот и Викулычка моя приехала, нагулялась, — приговаривала она. — Танюша, давай-ка мы ей попу помоем, два часа уже в панперсах, то ж синтетика! А потом и с Наташкой всё

обговорите, я уж ей тебя нахвалила!

Разговаривать «с Наташкой» уже не хотелось — она не понравилась Татьяне. Но она остановила себя: «Я же не знаю, что происходит в жизни этой женщины. Наверное, переживает из-за Викиного отца, который бросил её с ребенком, и оттого выглядит злой. Да и Алевтина Витальевна так просила помочь...» Решив не делать поспешных выводов, Таня прошла за соседкой в детскую — просторную комнату с бледно-розовыми стенами и белыми фестончатыми занавесками на окнах. Огляделась, всё больше недоумевая: здесь было всё необходимое. Мебель, игрушки, целый арсенал погремушек, пустышек, бутылочек с косметическими средствами... Пахло детской присыпкой и маслом «Джонсон и Джонсон». Кокетливый кружевной полог, висевший над кроватью Вики, делал комнату нарядной. В углу стояла кровать — видимо, предназначенная для няни. «О какой мебели говорила Наталья отцу Викульки? — нахмурилась Татьяна. — Похоже, она пытается выклянчить деньги, прикрываясь нуждами ребенка... Что это — Марина номер два? Впрочем, Сергей, похоже, тот ещё папашка! Она же сказала, что он турнул её с малышкой из Москвы».

Татьяна посмотрела на Вику — та, выпростанная из кружевного кокона, вольно лежала на пеленальном столике: улыбочное личико светится от удовольствия, крохотные ручки подняты, будто в игре — бросайте мячик, я ловлю! — ножки в ползунках и вязаных пинетках весело дрыгаются: попробуй, догони! Нежность коснулась сердца, наполнила душу светлым теплом — и потянулись, сияя, невесомые прозрачные нити, соединяя Татьяну и малышку, так искренне, доверчиво открывающуюся жизни. И вместе с нежностью пришла жалость, полоснула опасной бритвой — больно, будто старую рану вскрыла: девочка такая маленькая, беспомощная, а родителям, похоже, на неё плевать. Делят что-то — а дочку используют, как разменную монету...

«Стоп! — сказала себе Таня. — Не смей! Не смей к ней привязываться, помни, как получилось с Павликом. Эта девочка — просто ребенок, а ты пришла сюда работать, а не творить справедливость!»

— Я приготовлю ванну, — сказала Татьяна и быстро вышла из детской.

Вода забарабанила по дну белой пластиковой ванночки. От пелёнок, висящих над головой, тонко пахло лимоном. Татьяна пощупала их — ещё влажные, пусть повисят. Впрочем, одну можно снять — положить на дно ванночки, чтобы ребенок не скользнул на нём во время купания. Увидев, что вода уже заполнила её до половины, Татьяна попробовала температуру локтем и осторожно вытряхнула несколько крупинки марганцовки — они пошли ко дну, оставляя в воде расплывчатый ярко-розовый след. Хорошо перемешала, положила пелёнку. И задумалась: не совершает ли ошибку, взявшись за эту работу?

Тётя Аля вошла, держа на руках внучку — голопоую, с любопытством таращившую голубые, как у бабушки, глаза. Не в силах сдерживать улыбку, Таня смотрела, как бабушка осторожно опускает девочку в воду, как бережно промывает все складочки. Вика радостно болботала, била ножками по воде.

Выкупав, Алевтина Витальевна подняла внучку на вытянутых руках и протянула Тане, держащей наготове белое махровое полотенце. Она обернула Вику мягкой тканью, и, не утерпев, прижала к себе, чувствуя тепло её тельца — влажное, густое, чуть пахнущее молоком. Оно проникло в Таню, в растаяв, сплетаясь с её теплом и дыханием — и, растворившись в ней, будто озарило изнутри, засветилось мягко и сильно.

Тётя Аля промокнула уголком полотенца круглую головку девочки, взъерошила золотистые волоски надо лбом и сказала, умиляясь:

— Красавица моя Викулычка, вон какая ладненька да справненька!

И это короткое «моя» вернуло Татьяну в реальность.

Она передала ребенка бабушке и пошла в детскую следом за Алевтиной Витальевной. В коридоре стояла Наталья, вешала плащ в зеркальный шкаф-купе. Ботинки она сменила на сафьяновые домашние туфли с бисерной вышивкой. Надетая на ней длинная фиолетовая кофта — бесформенная, толстая, с широким воротом и швами наизнанку — выглядела, как рубище. «Модные вещи иногда уродуют хуже обносков», — подумала Таня. Перед глазами всплыла картинка: нелепый кухонный гарнитур, расстроенная тётя Аля...

— Вы няня? — спросила Наталья. Её бледно-голубые глаза напомнили Тане грязный озёрный лёд — такие же колкие и холодные. Она пожала плечами:

— Вам решать. Алевтина Витальевна сказала, что нужна помощница, а я по специальности врач-педиатр, умею с детьми обращаться. И если я вам подхожу...

— Подходите, — перебила Наталья, раздраженно дернув вытатуированной бровью — будто ей было всё равно. — Пойдемте!

Она шла в гостиную, перечисляя требования: быть с ребенком круглосуточно, отлучаться только по договоренности с Алевтиной Витальевной — и вообще, поступить в её полное распоряжение. Соблюдать гигиену, кормить и гулять с ребенком, покупать продукты, стирать и гладить детское... Говорила, как барыня — требовательно и капризно. Татьяна шла следом и не могла отделаться от ощущения, что мама Вики ей неприятна.

— Вот бланк договора, ознакомьтесь, — Наталья вынула из секретера сколотые бумаги. — Если всё устраивает, впишите паспортные данные, и вперед.

Зарплата оказалась вполне достойной, договор — бессрочным. Поколебавшись, Татьяна вынула паспорт из кармана джемпера: один шанс на миллиард, что эта семья как-то связана с Василенко, так что бояться нечего. Заполнила нужные графы и протянула Наталье один из экземпляров договора.

— Всё, приступайте, — та махнула рукой, будто муху отгоняла.

«Препротивнейшая дамочка. И лицо глуповатое, — думала Татьяна, возвращаясь в детскую. — А вот мама у неё милая. Вот как так? Вроде одна кровь...»

— Ну шо, приняла? — шепнула тётя Аля. Она сидела в кресле, покачивая кровать Вики. Рядом стояла ополовиненная бутылочка с молочной смесью. Таня, кивнув, глянула на девочку — та осоловело щурила глаза.

— Сейчас уснёт, — шепнула она. — Тётя Аль, можно я отойду на полтора часика? Дело у меня.

...Дома она включила ноутбук, принесённый ей товарищем Залесского, и задумалась, устроившись возле стола. Через десять минут в скайпе появится её психоаналитик. Вот только прежняя цель — найти ключ к Пандоре — стала до странности тусклой, утратив важность. Ситуация с Викой не шла из головы. Но увязнуть в новом чувстве — любви к маленькой девочке, на которую у неё нет прав так же, как не было прав на Павлика — Татьяна не хотела. Боялась. Потому что потом опять придётся выдирать эту любовь из себя: с корнем, через дикую боль, потому что только так — погибнет.

Алла Нестеренко позвонила по скайпу точно в условленное время.

— О чем вы хотите поговорить сегодня? — спросила она. И Татьяна рассказала о Вике.

— Я понимаю ваши чувства, — заговорила Алла Нестеренко. — Ведь вами по-прежнему движет мечта стать матерью. Но вы боитесь привязанности. А ведь это страх из детства, потому что в вашей жизни привязанность всегда оказывалась отвергнутой. Вот

смотрите: как любой ребенок, вы хотели быть частью любящей семьи, были привязаны к своим родителям — но они отвергали ваши чувства. Ради привязанности к родителям, желания заслужить их похвалу, вы строили бизнес — но они всё равно не хотели ценить вас больше, чем до него, и таким образом снова и снова отвергали вас. Поэтому вы так легко отказались от того, на что потратили немало сил.

— Так и есть, — согласилась Татьяна. — Я бросила аптеки при первой возможности.

— Да. И сублимировали* в работе свою мечту о любящей семье, — продолжила Нестеренко. — Ведь привязываться к врачебному делу было не страшно: там всё получалось, маленькие пациенты выздоравливали, вас уважали их родители, ваши коллеги, руководство... К тому же, заботясь о здоровье детей, вы частично удовлетворяли материнский инстинкт. Но потом появился мальчик, в котором вы увидели маленькую себя. Привязались — и ваша привязанность снова была отвергнута, причем его матерью. Ведь Марина только требовала от вас, как и ваша родная мать — а в итоге забыла добро, которое вы ей сделали.

— То есть я увидела в ней черты своей родной матери — и поэтому так носилась с ней? Хотела получить одобрение? — растерянно спросила Татьяна.

— И быть отвергнутой.

— Но я же не желаю себе зла! — недоверчиво возразила Таня. — Извините, но у меня в голове не укладывается... Зачем мне нужно, чтобы меня и мою заботу отвергали?

— Это одна из ваших моделей поведения. И если вы поймете, почему она именно такая, то сможете её изменить, — объяснила Нестеренко.

Татьяна молчала, обдумывая слова психоаналитика.

— Знаете, я чувствую, что вы правы, — сказала она. — У меня ведь были пациенты из малообеспеченных семей, но их мамы вели себя по-другому, не как моя мать — и почему-то меня не тянуло заботиться об их семьях...

— Потому что чувствовали: если будете делать им добро, они поблагодарят, оценят. Но подсознательно хотели оказаться там, где вы привязываетесь, стараетесь для человека — а вас отвергают. Возможно, в детстве вы попали в ситуацию, когда остро нуждались в любви вашей матери — а она не дала вам эту любовь, не оценила вас, отвергла. Вы будто остались без мамы. И возникла детская психотравма. С тех пор вы стремитесь снова и снова оказываться в подобной ситуации, потому что ищете из нее выход, желая избавиться от болезненности переживаний. Но психотравма говорит вам: окунайся в эту боль, проживай её ещё и ещё, потому что так ты останешься рядом с матерью. Иными словами, можно потерпеть — лишь бы быть с ней. Пусть унижает, бьет, отвергает — но она рядом. Это привычка, это ваша зона комфорта, вы не знаете иной жизни.

— Как в созависимых семьях, где женщина недовольна, что живет с алкоголиком — но, тем не менее, никуда не уходит? — невесело усмехнулась Татьяна. — По принципу: уродливые отношения лучше, чем отсутствие отношений?

— Да. И смотрите, вот эта ситуация с привязанностью и отвержением периодически возникает в вашей жизни. И когда особенно больно, случаются приступы. Причем вам открылось, что слово Пандора произносит ваша мать, и она будто обвиняет вас в чем-то, будто отвергая что-то хорошее в вас. Я думаю, всё это очень плотно связано.

— Может быть, — сказала Таня. — Не знаю насчет Пандоры... Но вы правы насчет повторений: вот теперь вместо Марины возникла эта Наталья. Я готова освободить её от забот о ребенке. Но при этом чувствую, что она не оценит!

Нестеренко молча смотрела с экрана ноутбука, давая Татьяне возможность осознать ситуацию.

— Если честно, я в шоке от самой себя, — призналась Таня.

— Ну, это вы зря! — возразила психоаналитик. — Ведь вы не виноваты, что ведете себя именно так. Вас толкает что-то из детства. И вы не сможете жить по-другому, пока не разберетесь, что именно. Это как программа, понимаете?

— И что мне делать? Отказаться от этой работы, от Вики? — с грустью спросила Татьяна.

— Как хотите. Но ведь от жизни вы не откажетесь, — сочувственно проговорила Алла. — А жизнь будет раз за разом подкидывать вам возможность привязаться — и быть отвергнутой. Не с этой девочкой — так с другим ребенком, взрослым, а еще с хобби, работой, любовью...

Татьяна вздрогнула. Значит, она может потерять и Залесского? Из-за какой-то детской травмы, что сидит у нее внутри? Ведь один её брак уже закончился разводом... «Ну уж нет! — она почувствовала, как внутри поднимается мощная волна протеста. — Я разберусь. Хоть через сотню сеансов психоанализа — но разберусь! Я устала терять, я хочу, наконец, стать счастливой!» Эта мысль придала ей сил, и Татьяна сжала кулаки, будто готовясь к бою.

— Давайте разбираться с Пандорой, — решительно сказала она.

— Попробуйте порассуждать на эту тему. Говорите всё, что придет в голову.

Думать о Пандоре было неприятно — страх шевелился внутри, будто колкие, едкие пузырьки всплывали под кожей. Но Татьяна сделала над собой усилие и ушла в воспоминание о своем главном кошмаре. Как в черно-белом кино возникли пластиковые стены и зыбкий пол, зашагали люди-куклы, и ветер — ветер снова принёс то слово... Таня часто задышала, борясь с дурнотой, и сбивчиво заговорила:

— Мне страшно, потому что я знаю: Пандора украла у меня мать. Превратила во что-то... забрала куда-то... И ветер этот, который всё время начинает дуть в лицо и приносит это слово — как будто он тоже виноват, он был там... И в то же время мать со мной, она есть и никуда не пропала... Но она другая. Как будто была у меня мама — хорошая, добрая, терпеливая, а потом ее подменили. И стала та, которая у меня сейчас. И она меня не любит, а я в ней ищу ту, которая любила когда-то. Которая раньше была. Всё время ищу, ищу...

— Где? — спросила Нестеренко.

— Там... Я не знаю... — Татьяна мотнула головой. — Бред какой-то! Я говорю, как сумасшедшая.

— Иногда самые сумасшедшие мысли — истинны, — заметила Нестеренко.

— Разобраться бы еще, где здравая мысль, а где нет, — горько сказала Таня.

— А вы не думайте об этом. Зачем? Наша психика — очень гибкая вещь, порой она так причудливо трансформирует реальность, что она начинает казаться бредом. Отпустите свои мысли. Попробуйте еще поговорить о Пандоре. Ведь она — это страх, получивший конкретный облик. Говоря о нем, вы рано или поздно вспомните тот самый травматический опыт, который пережили.

Но Таня не могла — перед ней будто стена встала. Серая глухая стена, бесконечно длинная и невероятно высокая: не обойти, не перелезть. Толстенная — не пробиться. Мучительно скривившись, она подняла взгляд на психоаналитика:

— Я не могу. Но очень хочу. Давайте продолжим! Я не знаю, как, но мне нужно продолжить!

Нестеренко понимающе кивнула:

— Давайте попытаемся с другой стороны. Помните, вы писали о маминой тишине? Что в ней всё превращалось в пластик — и цветы. Вы говорили, пластиковые цветы лежали на ящике, и что отец «потацил ящик на небо». Что это значит? Что за ящик и почему — на небо?

— Ну, просто — понёс наверх. А про ящик ничего не могу вспомнить — какой он был, что в нем... — Татьяна поморщилась, как от боли. — И что за ящик вообще, может, это и не ящик вовсе, а, к примеру, чемодан или коробка.

— А куда — наверх?

— Как будто по лестнице.

Психоаналитик молчала, терпеливо ожидая продолжения. Но Татьяна больше не смогла ничего сказать.

— Ну, хорошо, — сдалась Нестеренко. — Возможно, потом всплывет что-то ещё.

Татьяна покорно вздохнула и, помедлив, призналась:

— Мне кажется, я не могу как следует сосредоточиться, потому что сегодня меня гораздо больше волнует Вика, чем ситуация с Пандорой. Я не знаю, как поступить. Мне очень хочется заботиться об этой девочке, помогать ее бабушке... Но что делать, чтобы не привязаться — настраивать себя, напоминать, что девочка чужая?

— Вы не сможете не привязаться, — покачала головой Нестеренко, — и будете отвергнуты. Ведь это уже заложено в ситуации, когда ребенок не ваш и никогда не станет вашим. А вот будет ли болезненной утрата ребенка, зависит только от вас. Если вы морально подготовитесь к ней, примете решение не страдать, примете мысль о том, что это просто чей-то ребенок, и его можно не делать смыслом вашей жизни — то сумеете отпустить, когда придет срок.

— Я поняла, — сказала Татьяна. — Как говорится, если не можешь изменить ситуацию — измени своё отношение к ней. Так?

— Так. — Нестеренко улыбнулась. Её взгляд был наполнен искренней симпатией и уважением. — Знаете, Татьяна... Вы молодец. Вы умеете смотреть в глаза своим страхам. И у вас всё получится, вот увидите.

— Вы говорите о Пандоре? — с надеждой спросила Таня.

— Обо всём. Но уверена, что и до Пандоры вы доберетесь. Причем довольно скоро. А насчет Вики — может, в этой семье всё не так плохо, как вам показалось? По крайней мере, они не маргиналы, как Марина.

— Может быть, — задумалась Татьяна. — И отец Вики, возможно, не такой уж монстр.

* Сублимация — перенаправление энергии на достижение социально одобряемых результатов (творчество, успех, и т. п.). Защитный механизм психики, позволяющий снять внутреннее напряжение, вызванное травматическими переживаниями.

В модном ресторане, куда Волегова пригласили отпраздновать окончание выборов, всё оказалось чересчур: изобильная отделка, театральные жесты официантов, нарочитый авангардизм музыкальных аранжировок. Длинный, уставленный кушаньями стол, за который уселись расфранченные гости, явно старались сделать чересчур эффектным: только со своего места Сергей от нечего делать насчитал восемь видов изысканных блюд. Запеченная кабанятина, лососевый террин, жареные гребешки, перепелиные яйца в панировке, салаты, закуски — вызов для гурмана, испытание для желудка. Всё торжественно, празднично... Но той самой каплей дёгтя ползла по накрахмаленной салфетке, лежащей у прибора Волегова, жирная черная муха. Откуда она в конце марта, да не где-нибудь, а в элитной едальне? Волегов брезгливо скривился: представилось, как мушиные лапки оставляют на белом невидимые точки заразного, болезнетворного следа. Подняв руку, щелкнул пальцами, подзывая официанта. Тот, склонившись, забрал салфетку, нелепо замахал руками — и муха унеслась рваными зигзагами, гудя, как подбитый истребитель.

А вокруг уже жрали. Чавкала, впихивая куски фуа-гра в набитый рот, кривоzubая пиар-консультант Валентина. Жеманно гребла икру Юлия Натановна, ответственная за полиграфичку — прямая и сухая, как палка. Безжалостно ломал утиную ножку юный политтехнолог с внешностью мальчика-мажора. И дальше, куда ни глянь — сплошь замасленные губы, ходящие ходуном щеки, и жадные руки, вооруженные ножами и вилками. «Будто век не кормлены. Позорище!» — думал Волегов. На его тарелке одиноко скучала пластинка балыка, и коньяк в бокале стоял нетронутым.

Муха басовито взыкнула, прощекотала над ухом, и пошла на посадку. Уселась точно на середину зеленой оливки, венчающей майонезную горку салата, и довольно потеряла лапки. Волегов еле сдержал улыбку: точно так же потирал руки Горе Горович, поднявшийся с царского места во главе стола, чтобы открыть вечер.

— Господа, паузу, паузу! — прокричал он, крутя головой — то ли гостей своих утихомиривал, то ли просил тишины у оркестра. Скрипка и флейта умолкли в унисон, свора прихвостней прекратила звенеть о фарфор тарелок. Слотвицкий поднял рюмку, налитую желтым. — Шарль де Голль сказал: «Я уважаю лишь тех, кто со мной борется, но я не намерен их терпеть». Добавлю: лично я уважаю и тех, кто не терпит их вместе со мной. И было бы хорошо произнести тост за единство и сплоченность, без которых наша партия не вывела бы во власть своих кандидатов. Но я предложу тост за нетерпеливых! За тех, кто вместе с нами не терпел ложь и наглость противников, противостоял ей, не жалея сил...

И пошел, и пошел витийствовать, щедро рассыпая дифирамбы, изысканно пустословя о роли чего-то там в истории и зажигании чего-то там в сердцах. «Сразу чувствуется — политик. Наши Бандерлоги будто на сеансе гипноза у дедушки Каа», — хмыкнул Волегов, и украдкой глянул на часы, висевшие над аркой входа: можно было еще минут двадцать поскучать здесь для приличия, а потом откланяться — с сожалением во взоре и с радостью в душе. И спешить в аэропорт: сегодня заканчивается курс капельниц у Анюты, а завтра можно забирать её из Германии. И плевать, что в коляске. Он и не надеялся на улучшение, считал доктора Штайнера типичным шарлатаном от науки. Но Анюте об этом не говорил. Наоборот — покорно оплатил операцию, реабилитационный курс, и десяток чудодейственных капельниц, после которых, как уверял немец, начнется процесс

регенерации нервной ткани.

Не начался.

Сергей за этот месяц мотался в Лейпциг одиннадцать раз: тревожно было оставлять Анюту надолго. С выборов он снялся, как и обещал ей. Слотвицкий недовольства не выказал, наоборот — приободрил: ничего, мол, что раньше намеченного, главное ведь, ушел не просто так, а из-за болезни жены... «Только вы, Сергей Ольгердович, уж объясните избирателям свой поступок, — попросил он. — Тем более, что врать не придется: супруга и вправду болеет, причина уважительная». Волегов объяснил, выступил с прощальной речью. И это было правильно, стратегически верно, политически дальновидно. Но всё равно казалось, будто использовал Анюту, её несчастье, её боль — как повод выпятить собственную добродетель. И Сергей топтал, топтал в себе это мерзкое ощущение, как топчут жгучие, опасные угольки. А они всё равно горели внутри, освещая стужавшуюся в нём черноту.

Кто-то требовательно дёргал Волегова за рукав.

— Можно вас пригласить? — пиар-консультант Валентина обольстительно улыбалась; в щели между её передних зубов застрял кусочек зелени. Сергей отпрянул, пытаясь сообразить. Флейта и скрипка тянули какой-то средневековый мотив — торжественно, нежно. Ряд жующих поредел, часть гостей переместилась в центр зала — топтались в обнимку, пренебрегая ритмом. Ах, да, белый танец...

— Простите, рад бы, да не могу, — учтиво сказал Волегов, поднимаясь с места. — Слотвицкий ждёт.

Валентина понимающе кивнула, но уголки её губ обиженно дрогнули. Сергей, стараясь больше не смотреть в её сторону, двинулся вдоль стола — туда, где восседал Горе Горович.

— Хочу ещё раз поблагодарить за приглашение, вечер отменный, — сказал Волегов, садясь на стул возле Слотвицкого и отодвигая чью-то тарелку, заляпанную красным соусом.

— Что вы, Сергей Ольгердович, дорогой! — бросив вилку, Горе Горович всплеснул коротенькими ручками. — Для всех нас большая честь видеть вас за этим столом! Кстати... — он наклонился и доверительно понизил голос, — партийная верхушка уже определилась с кандидатами на будущие выборы. Как я и предсказывал, вы в списке.

Вот оно. Случилось. Волегов ощутил, как удовлетворение наполняет едким жаром множество дней, живущих в памяти — школьные, когда приходилось драться с задирами-старшеклассниками; семейные, когда издевки брата и равнодушие отца вынуждали сбегать из дома; московские, в самом их начале — когда он был никем для этого города и его людей. И, отдельно хранящийся, ранящий непониманием и болью — день, когда ушла мать. Вмиг представилось будущее, ради которого работал, врал, перешагивал через принципы: он в депутатском кресле, на страницах газет, в телевизионных студиях... А они, все они, видят и покаянно чешут головы: «М-да, недооценили, поспешили отвернуться, а Серёга-то вон какой фигурой стал — можно сказать, российского масштаба! Эх, знать бы раньше!»

— Спасибо, Игорь Игоревич! — важно кивнул он. — Не подведу.

— Нисколько в этом не сомневаюсь, — широко улыбнулся Слотвицкий, но глаза его остались жесткими и внимательными, будто зрело в них предупреждение: подведешь — пеняй на себя, всего, что смог, лишишься.

— Вы уж меня простите, вынужден откланяться, — с фальшивой грустью сказал Сергей. — Супругу из лейпцигской клиники выписывают, а я обещал забрать. Сами понимаете, самолет ждать не будет.

— Здоровья! Здоровья ей! — затараторил Слотвицкий, упёршись рукой в верх выпирающего пуза — будто бы к сердцу хотел прижать, желая подчеркнуть искренность, но сердца не нашел и прижал к желудку. — А вам — на посошок!

Плеснул в рюмки, поднял одну, приглашая. Волегов двинул навстречу свою, стекло тонко звякнуло. Коньяк мягко прокатился по горлу, впитываясь-испаряясь по пути, и только потом обжег — в неожиданно терпком послевкусии.

— Удачи, Сергей Ольгердович, а супруге — большой привет! — напутствие Горе Горевица прозвучало дежурно, ведь кто-то уже подошел с другого края, и с ним тоже нужно было решать дела... Волегов обрадовался, что удалось отделаться так быстро, и, взяв в гардеробе свой тёмно-кофейный плащ, вышел на улицу.

Москва шумела: по мокрому асфальту шуршали колеса, перекрикивались автомобильные гудки, из динамиков соседнего ресторана лился неспешный джаз. Пешеходы жались к стенам домов, опасаясь грязных луж, испаривающихся из-под машин. Дробили уличный гул каблуками, прятали носы в шарфах, спасаясь от земляного запаха грязных улиц, несли над собой зонты, распяленные на проволочных звездах. Дождь ни за кем не гнался, капал лениво, мелко — будто недовольный отпускник, вызванный на одну смену вместо подуставшего за зиму снегопада. Странная была зима в этом году, и весна странная — да и весь год, если разобраться...

Сергей нырнул в переход, пробрался между ларьков, нищих и музыкантов и снова шагнул на ступени. Поднимался, словно в серое небо шел — но иллюзия растаяла быстро, растворилась в городе. Волегов дошел до казенной машины, ждавшей на стоянке. Увидев в окне задранный профиль водителя, постучал по стеклу: тот недовольно приоткрыл глаз, покосился — и, окончательно проснувшись, щелкнул замком. Только забравшись в машину, Волегов понял, как продрог.

— Ты, Михалыч, вечно жить собрался? Для этого себя в холоде держишь? — поддел он. — Печку включи. И в аэропорт, регистрация через два часа. Успеем?

— Должны, — кивнул водитель, разворачивая машину. Флегма. Но это и хорошо — не обидчивый, и разговорами не отвлекает.

После беседы со Слотвицким Сергею хотелось побыть в тишине, обдумать всё, наслаждаясь. Он получит власть, а вместе с ней придёт почёт, новые связи и новые деньги. В принципе, можно будет даже уйти из министерства — а что, засиделся он в своём кресле, тесновато уже и скучно. Надо расти. Может быть, и в Госдуму дальше... Почему нет? Стартовая площадка отличная. У него прекрасная деловая репутация, он идеальный семьянин, помогает бедным... «Ага, дочери своей помог с операцией, вот уж заслуга, достойная депутата!» — издевательски хмыкнул внутри чей-то голос: будто черт заговорил, кривляясь и паясничая. Кровь мгновенно прилила к щекам, и Сергей зло оборвал мерзкое чертово хихиканье, повторяя заученное: я её не бросил, так было нужно, я всё делаю ради Вики и Анюты! Но настроение испортилось, полезли в голову мерзкие мысли: трус и подлец, избавился от ребенка, отказался публично, свекрови и жене не признался... Кто знает, сколько еще грехов попадёт в этот позорный список, пока он будет лезть на вершину власти?

Рука сама потянулась к телефону. Волегов набрал номер Натальи и невольно отпрянул от трубки, когда из неё вырвалась какофония звуков: музыка — оглушающее тыц-тыц, мужской гогот и бабий визг, а еще нетвердый, хмельной голос:

— Какие лю-юди! Вспо-омнил обо мне, милый?

— Ты что, пьяна? Где Вика? — разозлился Волегов.

— А то ты не знаешь, где твоя дочь живет? — Наталья глупо захихикала и пропела. —

Жи-ли у бабу-уси Ви-ка и Нату-уся!

Её голос зазвучал зло, с нескрываемым презрением:

— Потому что папочке понадобилось от дочи избавиться. А папочка у нас такой — чего хочет, то и делает. И срать ему на других! Даже на любимого ребенка — нас-рать!

— Ты обалдела? — оторопел Волегов. — Опять бросила Вику на няню и бабушку?

— Ну-ка, ну-ка, повтори — кто кого бросил? — насмешливо протянула Наталья.

— Быстро домой! Я приеду через неделю, и не дай Бог ты будешь в таком же состоянии...

— Ага, и что? Дочку у меня заберешь? Ха! Да ты же так трясешься, чтобы о ней никто не узнал!

Это была правда. Наталья хотя бы язык за зубами держала. Если забрать Вику, возникнет масса проблем: начиная с того, где взять надежного человека для её воспитания — и заканчивая тем, как убедить Наталью не болтать.

— Заберу. А ты пойдешь бутылки собирать, — холодно сказал он. — Только я сперва укорочу твой язык. Ты знаешь, это в моей власти. Всё в моей власти. Так что двигай домой. Я позвоню на городской через час. Возьмешь трубку, и чтобы трезвее стекла!

Волегов бросил телефон на кожаное сиденье и покосился на водителя: тот с непроницаемым видом смотрел на дорогу. Впрочем, о второй семье шефа он знал, даже отвозил Наталью с ребенком в Новороссийск. Он вообще много чего знал, этот Михалыч, но молчуном был проверенным и хорошо оплачиваемым.

«Ничего, до выборов полгода, есть время что-то решить, — успокаивал себя Сергей. — Может, приставить кого-то к Наташке, чтобы заставлял её как следует выполнять материнские обязанности? Но кого? Даже не знаю, кому мог бы доверить... Отбирать ребенка не выход, Вика с родной матерью, это дорогого стоит. Вряд ли кто-то чужой сможет её полюбить. Меня вот — никто не смог. Тёщу считать не стоит: она всего лишь благодарна мне за то, что не бросил Анюту, да и в отношения наши лезть не хочет. А я для неё — тот, кого любит Анюта. Зять, а не сын».

Машина остановилась возле здания аэропорта. Сергей набрал Новороссийский номер, прислушался к гудкам. Трубку сняла Наталья.

— Дома? — спросил он.

— Да... Извини, я дура, — в голосе звучало раскаяние. Похоже, протрезвела.

— Знаю, — хмуро ответил Сергей. — Викуля как?

— Спит уже. Всё нормально у нас.

— Хорошо.

Отключив телефон, Волегов перекинулся парой слов с Михалычем и вытащил из багажника сумку: в ней лежала запасная рубашка, трусы-носки-щетка — малый набор пилигрима, которым его сделала жизнь. Шагая к терминалу, Сергей удивился неожиданной мысли: весь его багаж стоит не больше сотни евро, как же мало нужно человеку... и зачем тогда гнаться за новыми деньгами, если те, что уже есть, позволят безбедно жить хоть до тысячелетнего юбилея? «Безбедно, но скучно», — поправил он себя, радуясь, что нашел достойный ответ. Но в глубине души знал, почему не может остановиться. Чтобы заработать деньги и власть, нужно быть энергичным и безжалостным, как акула. Вот только в природе она, если прекратит движение хоть на час, задохнётся и пойдёт ко дну. Так что и для таких,

как он, остановка исключена.

Но поднявшись на борт самолёта, Волегов вдруг разозлился. «Сделаю всё, как решил с самого начала, — думал он. — Пусть Вика с Наташкой живут в Новороссийске, а я буду спокойно заниматься своими делами. Не стоит из-за ребенка ставить карьеру под угрозу. Акула так акула... зато никто и ничто меня не остановит, если не остановлюсь сам».

И он спокойно продремал все три часа до Берлина.

Сойдя на немецкую землю, Сергей купил букет цветов и взял в прокате машину — попался тот же фольксваген, на котором ездил в прошлый раз. Дорога до Лейпцига уже стала привычной, и он отмахал сто пятьдесят километров как на автопилоте. В клинику приехал почти в одиннадцать вечера. Беспрепятственно прошел через все медицинские кордоны: здесь его знали, и знали, что Анюту завтра выписывают. И что улучшений у нее нет. «Пока нет», — говорил доктор Штайнер, которому Сергей не верил ни на грош.

...В углах одноместной Анютиной палаты стояла полутьма. Горел лишь ночник над кроватью. Его лучи тонули в густой желтоватой субстанции, масляно стывшей в перевёрнутой бутылке капельницы, стекали по прозрачной трубке, спускавшейся до тонкой смуглой руки.

Его девочка спала. Темные локоны раскинулись по смятой подушке, лицо в неровном свете электрической ночи казалось оливковым. Полукружья ресниц подрагивали, скулы выступили чётче, будто Анюта похудела еще больше. Тоненькая морщинка залегла возле рта, и Сергей понял, как измучилась и устала его жена. К горлу подкатил комок — будто ледяную пробку воткнули. И Волегов невольно опустил взгляд: из-за него всё, из-за той горнолыжки...

— Серёжа? — шепот раздался оттуда, где стояло глубокое кресло с пуфиком для ног. В нём, кутаясь в шаль, будто пытаешься прогнать озноб, сидела Элина.

Волегов кивнул, прижав палец к губам. Совка махнула ему рукой, чтобы зашел и дверь закрыл плотнее: сквозняк.

— Как она? — еле слышно спросил Сергей, присаживаясь на пуфик.

— Всё так же, — одними губами зашептала Элина. — Врач говорит, нужно ждать. Если не подействует, через два месяца еще курс капельниц нужен.

Сергей пожал плечами, глядя на спящую жену. Ждать... Она столько лет ждёт! Так борется, так мужественно терпит все операции, уколы, процедуры! И ничего не меняется. Только изводит себя.

Он склонил голову. От букета, лежащего на его коленях, шел тонкий аромат. Странная смесь: лаванда, ирисы и можжевельник.

— И мне дай понюхать! — лукавый шепоток Анюты проник прямо в душу, разбудил в ней радость. Сергей вскочил, подошел к кровати, прижался щекой к острой скуле, целуя жену в висок. Она оплела его шею одной рукой — вторая всё ещё лежала под капельницей — замерла, ощущая, как сливается их тепло. Нежно чмокнула в нос и, отпустив, потянула букет к себе.

— Красотища кака-а-я-я... — восхищенно протянула она, и Сергей некстати вспомнил, как сегодня тянула слова Наталья: пьяный голос — будто грязный, ковыляющий бомж. Снова подумал: какие же они разные, эти две женщины, и две их судьбы! Поменять бы, чтобы каждой по заслугам...

— Ну как ты, Совёнок? — спросил он, усаживаясь на кровать.

— Нормально, — уверенно сказала Анюта. — Чувствую себя хорошо, голова уже не

кружится — доктор Штайнер говорил, что так и будет к десятой капельнице, когда организм к препарату привыкнет. Только всю спину отлежала, очень уж долго эти капельницы длятся! Представляешь, одна капля в три минуты!

— Я помню, ты говорила, — сказал Сергей, пытаюсь не показывать жалости.

— Да. Зато есть время подумать. И знаешь, что? Я придумала новую постановку! Мы переиначим ирландский рил! Они же там стучат, это степ, по сути — а нам кто мешает стучать по ручкам кресел? Или мы положим специальные доски на колени... — увлеченная разговором, Анюта отбросила край одеяла и, потянувшись вперед, машинально почесала левую лодыжку. — А на ладони специальные планшеты наденем, типа кастаньет, только длинные, и чтобы шелкали... Мама, ты что?

Сергей повернул голову, удивленно глянул на тещу. Совка стояла возле кресла, во все глаза смотрела на Анюту, прижимая руки к щекам. Забытая шаль валялась у ног.

— Анька! — воскликнула Элина. — Анютка моя, девочка!

Её голос дрожал от слёз.

— Мамочка, что случилось? — испуганно приподнялась Анюта. Ключицы натянули тонкую кожу, золотой крестик скользнул в вырезе васильковой пижамы

— Анька, ты не поняла, да? — счастливо сказала Совка, вытирая мокрые глаза. — Ты не поняла, что сейчас было, дурёха моя любимая? Ты же ножку свою почесала! Значит, почувствовала, что чешется! Действует лечение Штайнера, дочка! Дей-ству-ет!

Переобуваясь в прихожей тёти Али, Татьяна смотрела через коридор, как Наталья играет с Викулькой: тетёшкает, подбрасывает дочку, зарывается лицом в её животик и что-то говорит — мягко, плавно. Открытая дверь детской комнаты, пробившая светлым прямоугольником темноту коридора, казалось входом в материнский рай — бело-розовый, тёплый, нежный... Завязав шнурки удобных кроссовок, в которых ходила на работе — и ноги не устают, и ступаешь бесшумно, не беспокоя ребенка — Татьяна направилась к детской. Шла, глядя на Наталью с Викой, умиляясь и по-доброму завидуя, думая, что вот и у неё когда-то будет это счастье, эта возможность не спускать с рук своего малыша. И, приблизившись, услышала:

— Из-за кого у мамы грудь болит? Из-за кого папа маму бросил? Кто у нас такой нехороший ребё-ёно-ок?

Татьяна оторопела. Наталья с приклеенной улыбкой мерно поднимала и опускала дочь, будто выполняла какое-то упражнение — и говорила, говорила эти жуткие слова, явно наслаждаясь возможностью высказаться. Голос звучал певуче, как у тёти Али, но нарочито-ласково, елейно — так говорят с детьми, когда хотят обмануть. А Викулька, не понимая, улыбалась в ответ и радостно взвизгивала, болтая ножками.

— Извините! — Демидова решительно шагнула вперед. Наталья испуганно обернулась, всё еще держа Вику перед собой. — Разрешите, я её возьму?

— Пожалуйста, — поняв, что няня всё слышала, Наталья трусливо вильнула глазами. Но затем уставилась на Таню в упор и принялась отдавать приказы. — Сегодня смесью кормите, у меня мастит. И погуляйте с ней подольше, чтобы ночью лучше спала. Я из-за этих криков раз пять просыпалась, тут же стены, как картон!

Татьяна поджала уголок рта: надо же, какая принцесса, дочкин плач её беспокоит! Хотя спит она в своей комнате, а в детской всю ночь была Таня — и именно ей пришлось носить малышку на руках, гладить ей вздувшийся животик, поить лекарством и спать не дольше сорока минут за раз.

— Я всё сделаю, — пообещала Татьяна, взяв Викульку у матери. — А вы, пожалуйста, больше не говорите такого ребенку. Это только кажется, что она ничего не понимает. Но дети очень хорошо считывают невербальные сигналы. Если Вика поймет, что её родители не ладят, и что мама винит в этом её...

— Знаете, я не дурочка! — вспыхнула Наталья. — Пока она маленькая, говорю. Подрастет — не буду. И вообще... это шутка была!

— Неудачная шутка. Вы сами не заметите, как привыкнете так думать и так говорить. А в ней ваши слова на всю жизнь засядут.

— Уж как-нибудь сама разберусь... — фыркнула Наталья и вышла из детской, что-то бурча. Татьяна глянула на Вику: та сосала кулачок, скосив в сторону васильковые глазки. Салатовый комбинезончик со щенком слишком плотно облегал круглую детскую попку. Татьяна пощупала памперс через бархатистую ткань.

— О-о, зайчонок, ты тёте Тане сюрприз приготовила? — весело спросила она. Вика заулыбалась в ответ, замахала ручками. — Давай-ка мы тебя переоденем, будет наша Викуля чистенькая, доволь...

За дверью грохнуло, металлический звон прокатился по квартире, и сразу заголосили:

тётя Аля — укоряюще, Наталья — зло отбредиваясь, будто обвиняя. Быстро положив ребенка в кроватку, Татьяна поспешила на звук.

На кухне образовался бедлам: цветастые полотенца и прихватки валялись на полу, тут же белел перевернутый коврик с земляничным рисунком, лежащая на боку кастрюля из того же комплекта подняла круглое ухо. Вокруг неё растекалась розовая лужа киселя. Тётя Аля, брезгливо поднимая ноги в тапках — будто кошка, попавшая в лужу — пыталась зацепить кастрюлю вытянутыми пальцами, и причитала:

— Ой, лышенько! Да ты ж пила и ела с них всё детство, чего же теперь не так?

— Мам, я тебя просила убрать? Добром просила? Не обижайся теперь! — бушевала Наталья, открывая шкафы нового тёмно-серого гарнитура и вытаскивая из ящиков посуду, привезенную матерью из старого дома. Горки эмалированных мисок и кружек, хрустальные салатницы-лодочки, плетеная конфетница — коричневая, с рябиновыми кистями на дне — смотрелись на ультрамодной поверхности гарнитура нелепо, как чужие. Все было разномастным, пожившим... и при этом очень домашним. Таким же, как сама тётя Аля в зелёном ситцевом халатике, щедро усеянном мелкими ромашками.

— Вот это всё, мама — на помойку! Я зачем новую посуду покупала? Вот, смотри, полные ящики! — распахнув один из шкафов, Наталья показала на пирамиду крапчатых кастрюль и сковородок из мыльного камня. — А те на моей кухне не смотрятся!

— Да кухня твоя как гроб! — бросила в сердцах Алевтина Витальевна. — Ничего живого нету, ни цветочка, ни ягодки, ни узора какого! Дома-то у нас по-другому было, ты, Наташка, в красоте росла, и нервной такой не была. А сейчас чумная, как мегера — потому как кухня эта твоя чумная!

— Мама, перестань!

Но тётя Аля уперла руки в боки и останавливаться не собиралась:

— Злая ты стала, доча. И то тебе не так, и это не этак, бесишься, ёрзаешь — как перца в попу насыпали! Я ж тебя разве тому учила? Не тому!

— А чему? Что бедность — не порок? — взвилась Наталья. — И поэтому надо в дом всякий хлам тащить? Я сказала — на помойку, значит — на помойку!

— Ох, чую я, ты б и мать родную на помойку выставила, если бы было кому с дитятей нянчиться! Зачем меня с места сняла? Жила б я в своем доме, хозяйкой. А ты — продадим, да продадим...

— Да ненавижу я тот дом! И село твоё — не-на-ви-жу! — закричала Наталья, хватая плетёную конфетницу. Скривившись, запустила её в стену и выскочила с кухни — Татьяна еле успела отступить с дороги. Гулко стуча босыми пятками, Наталья скрылась в своей комнате и с грохотом захлопнула дверь. В детской трубно заревела Вика.

— Тётъ Аль, я сейчас помогу убратъся! — Татьяна ободряюще глянула на пожилую женщину и понеслась к ребенку. Подняла Вику из кроватки, принялась успокаивать, тряся погремушкой. Девочка замолчала, только маленькие слёзки блестели в уголках глаз. Татьяна быстро сменила ей памперс, уложила в переносную люльку и вернулась на кухню вместе с ребенком.

Алевтина Витальевна, кряхтя, собирала с пола прихватки и полотенца. Кастрюля с земляничками, вымазанная розовым киселем, уже стояла в раковине. Таня поставила люльку на стол а сама метнулась в ванную, за тряпкой. Поползла на коленях по кухне, вытирая кисель. В коридоре послышался шорох, рокот откатившейся дверцы шкафа-купе, треск кнопок. Цокая каблучками, Наталья в плаще и ботинках прошла через прихожую, и, даже не

глянув на них, вышла из квартиры.

— Вот, Танечка, такая жизнь... — вздохнула тётя Аля, всем видом показывая — да нет никакой жизни, морока одна. Её лицо стало красным, между бровями и в уголках рта замерли скорбные морщинки. Дышала она прерывисто, потирала левую сторону груди.

— Тётя Аль, вы хорошо себя чувствуете? — напряглась Татьяна.

— Ничего-ничего... — с трудом проговорила Алевтина Витальевна. — Там... Таблетки дай, в сумке они...

Женщина тяжело осела на табуретку, растирая грудь и шею. Татьяна быстро выскочила в коридор, нашарила в кармане черной сумки пузырёк с нитроглицерином и, вытаскивая на ходу тугую пробку, бросилась к Алевтине Витальевне. Сыпанула ей на ладонь пару белых шариков, проследила, чтобы та закинула их под язык. И взяла тётю Алю за руку, отыскивая пальцам ниточку пульса — тот был неровным, то частил, то сбивался и замирал.

— Так, давайте-ка в комнату, — скомандовала Татьяна, помогая соседке подняться. — Полежите, успокойтесь. С сердцем шутки плохи.

— Да больное оно, моё сердечко, — пожаловалась Алевтина Витальевна, одной рукой обнимая Татьяну за шею и бредя вместе с ней по коридору. — Уж десять лет как на инвалидности.

«Значит, семейное у них, раз Вике операцию на сердце делали», — подумала Демидова, подводя соседку к дивану. Уложила, повыше подняв подушку, рванула к окну и открыла створку, впуская свежий воздух. Принесла с кухни люльку — Вика играла со своими пальчиками, и на взрослых внимания не обращала.

— Эх, ласточка ты моя, — вздохнула тётя Аля, с любовью глядя на внучку. — Кому нужна, если бабы не станет?

— Не говорите так, — поморщилась Татьяна, усаживаясь рядом с ней. — Надо беречь себя, нервничать поменьше — и всё будет хорошо.

— Ох, Танюша, да как тут поменьше нервничать? Я вот тебе одной признаюсь: так я пожалела, что дом продала! Уж так пожалела! Не надо было у Наташки на поводу идти. Да кто ж знал, шо она с Москвы как чужая вернется? И Викусю привезла, мы, говорит, мама, никак без тебя. Прямо мёдом лила: как жить будем, как дитяtko воспитывать... А оно вон как оказалось. На помойку всё, говорит!

— Тётя Аля, давайте не будем, вредно вам об этом. — Татьяна снова пощупала её пульс — он стал ровнее, хотя всё так же частил. — Где у вас тонометр? Давление бы померить.

— Там... — Алевтина Витальевна махнула рукой в сторону тумбочки. — Да мне и поговорить-то, кроме тебя, не с кем. Душу облегчить, давит...

Открыв дверцу тумбочки, Татьяна обнаружила мини-аптеку: склянки, шприцы, таблетки, пара градусников и даже пакет с горчичниками — осыпавшимися, почти коричневыми, на вид им было лет двести. Кожаный футляр с тонометром стоял на нижней полке. Таня размотала трубки фонендоскопа, наложила манжету тонометра на руку соседки. Прибор загудел, нагнетая воздух.

— А на Сергея этого Наташка дюже зла. Дюже! — продолжала Алевтина Витальевна Татьяна понимала, что лучше не удерживать её — пусть выговорится, выльет свою обиду и страх. — Всё по телефону с ним гавкается. Я ей говорю: видать, судьба такая у нашего рода, женщинам без мужей детей воспитывать. Меня мамка с бабкой подымали, потом её — я, да моя матушка. А Наташка взъелась: «У меня-я судьба друга-а-ая! Я Викиного отца так привяжу, что никто отвязать не смо-ожет!» Я уж промолчала, что не может быть в жизни всё

по ейному, что жизнь такая — всё по-своему поворачивает.

— Это точно, — с грустью сказала Татьяна, снова вспомнив Павлика, синяки на его теле, гибель Марины и её сожителя. — А что за Сергей?

— Да не видела я его! — отмахнулась свободной рукой соседка. — Приезжает редко, а, как соберётся, Наташка меня из дому выпроваживает. Говорит, не хочет он, чтоб его видели. Женатый потому что, и пост высокий занимает. А я вот думаю — поди, сволочь какая-нибудь, раз ребенка своего отослал за три Караганды! Или детей у него такая куча, что одним больше, одним меньше — уж и не важно. Одно слово — богатей!

— Ну, богатеи тоже разные бывают, — примирительно сказала Татьяна. Нахмурилась, глядя на дисплей тонометра. — Двести на сто семьдесят. Давайте сбивать, нельзя с таким давлением. Сейчас укольчик вам поставлю.

Она закопошилась в тумбочке, доставая шприц, ампулы с магнизией, пачку спиртовых тампонов. А соседка никак не могла остановиться:

— Да я сама виновата, Танечка, неправильно я Наташку растила! Привыкла она, что всё лучшее — ей, так теперь на жизнь и смотрит. Только и требует — вынь ей, да положи! А потому что я на трех работах корячилась, а сама в рвань ходила — лишь бы девочка моя ни в чём отказа не знала. И матушке своей давала её баловать. Жалели мы её, шо без отца, у других-то — были. И мы с мамой, две дурынды — тю-у-у: платьев ей нашьем, заколок-бантов накупим, а через воскресенье — в Новороссийск, то цирк, то дельфинарий, то экскурсия какая... Я уж о питании не говорю: и мяско ей, и яички све-е-еженские, а конфеты да жвачки — так су-у-умками! Баловали, баловали... и вон что получилось! Так в попу дули, шо все мозги выдули!

— Поворачивайтесь, тётъ Аль! — скомандовала Татьяна, держа на весу шприц с раствором магнизии. Соседка, кряхтя, легла на бок. Комкая подол халата, задрала его за спину, и приспустила трикотажные панталоны. Протерев спиртом место для инъекции, Демидова, легонько хлопнув ладонью, глубоко всадила иглу. Магнизию вообще нужно вводить как можно глубже... Вдруг вспомнились слова одного из институтских преподавателей: «Правый верхний квадрант ягодицы — именно квадрант, а не квадрат, двоечники! И только попробуйте уколоть в нижний!» И конечно, манекену все студенты кололи именно в нижний.

— Рука у тебя лёгкая, Танюша! Прямо полегчало мне, — похвалила Алевтина Витальевна. — Ну, теперь жить буду!

— Как говорит мой знакомый доктор, надо жить — хоть из любопытства, — с улыбкой отозвалась Татьяна. — Может, вы поспите? А мы с Викой в детскую пойдём.

— Нет! — морщинистая рука соседки птичьей лапкой уцепилась за Танин рукав. Алевтина Витальевна снова перевернулась на спину, осторожно массируя место укола. — Посиди уж со мной, Танюша. А Викулька вон заснула, умаялась за ночь... Эх, будь Наташка поумнее, никакого мастита бы у неё не было, и дитяtko бы не мучилось на искусственном-то! А та же без царя в голове, то покормит — то нет, и сцедиться всё времени нет, всё бежать куда-то надо! Только о себе и думает. Надо было драть её в детстве!

— Ой, нет, тётя Аля, это не выход! — категорично сказала Татьяна. — Нельзя бить детей. Это только кажется, что ремень решает проблемы.

— Ну а как тогда, по-твоему? Если и баловать — нельзя, и наказывать — тоже?

— Нет, без наказания, конечно, не обойтись — а вот без ремня обойтись необходимо, — покачала головой Демидова. — Ремень не воспитание — запугивание.

Ребенка воспитывать нужно. Мотивировать как-то, увлекать, уважать как личность. Ну и разговаривать побольше, а ещё очень важно убеждать личным примером... Единого рецепта нет и быть не может, ведь дети все разные. Но уже доказано, что они перенимают именно ту линию поведения, которую транслируют родители.

В глазах Алевтины Витальевны мелькнуло непонимание. Татьяна попыталась объяснить свою мысль:

— Вот ваша Наташа — вы уж извините, но я прямо скажу. Она с детства привыкла, что вы во всём себе отказываете, лишь бы ей угодить. А кто такие порядки в семье завел — будто она принцесса, а все остальные ей служат?

— Да я это всё... — покаянно вздохнула соседка. — Жалко её было. Сиротка же... Поклялась, что подниму, воспитаю, ни в чем нуждаться не будет. И сперва-то да, не нуждалась. А как подросла — аппетит волчий стал! То джинсы импортные, то цепочку золотую, то телефон дорогой. У других-то детей — были! Так у них и кормильцы были, могли позволить. Ох, она обижалась на меня! Ох, обижа-а-алась! А после училища в Москву уехала, там счастья искать. Вернулась вон, не нашла...

— Никто бы не нашел с таким мировоззрением, — сказала Татьяна. — Понимаете, когда ребенок выходит из семьи, он поневоле несёт с собой семейные привычки и представления о жизни. Так и Наташа подсознательно считала, что о ней позаботится кто-то другой — как это было в семье. И теперь не может смириться, что большой мир отказался исполнять её желания. Сергей не захотел на ней жениться, остаться в столице она не смогла... Вернулась в семью — и снова хочет от вас жертв: мама, продай дом, займись моим ребенком, выброси свои вещи на свалку...

— Правильно ты всё говоришь, Танюша. Мне б тебя лет двадцать назад послушать... Как бы тогда мне, молодой неопытной мамаше, узнать, к чему моё воспитание приведет? Ведь как лучше хотела!

Татьяна задумалась. И правда, как узнать будущее своего ребенка — погадать по собственным тараканам? Но для этого нужно видеть свои ошибки, беспристрастно и чётко. А это мало кому дано. Однако доказано, что поведение родителей накладывает отпечаток на детскую психику, и просто так от этого факта не отмахнёшься. Через маму и папу малыш познает мир, они и есть его мир изначально. И какой он — добрый, враждебный? Всё позволяющий, чересчур строгий — или сбалансированный, учитывающий интересы детей и взрослых? Кому как повезёт.

Не зря говорят: рука, качающая колыбель, правит миром. Наверное, нужно помнить об этом, заучив, как Отче наш. Просто вдолбить себе в голову. И принимать в расчет каждый раз, когда собираешься наказать или поощрить своего ребенка. Сначала оцени себя — как ты, взрослый, собираешься поступить? Действительно ли это пойдёт малышу на пользу? И только потом выбери меру поощрения или наказания.

Перед глазами встала мать, её рука в размахе, твёрдые костяшки, бьющие по губам дочери со смачным, тяжелым шлепком. Вспомнилась обида, вспыхивающая вместе с болью и страхом. И своё: «Да, мама. Как скажешь, мама...» А ведь Максимум она потом отвечала так же. Только к тридцати пяти нашла в себе силы отстаивать своё.

Если бы родители — в разных странах и городах — думали перед тем, как дать ребенку по губам, запереть его в тёмной комнате, лишиться ужина, силком отдать в секцию, опозорить перед сверстниками!.. Если бы представляли, к чему это может привести! Потому что если ты раз за разом даёшь ребенку по губам, не позволяя высказать свое мнение — не удивляйся,

что потом его начнут травить в классе, как травят всех, кто не может отвечать на оскорбления. Учителя станут считать его мямлей за неумение отстаивать свою позицию. Девушка, в которую он влюбится, даже не посмотрит в сторону этой тряпки, которая всё время ищет одобрения у других и не имеет собственного мнения. А потом он, не прекословя — ведь за это дают по губам, и маленький ребенок, живущий в каждом, помнит этот страх перед родительской ладонью! — поступит в институт, который приглянулся маме или папе. Пойдет работать по специальности, потому что недостаточно смел, чтобы увидеть себя в чем-то ещё... И снова получит звание мямли: сперва в новом коллективе, потом в новой семье. В глубине души он всегда будет знать, что проблем бы не было, умей он вовремя открывать рот и находить слова. И потратит сотни ночей, тысячи часов, изобретая варианты фраз, которые сказал бы обидчикам. Только лет в сорок, с помощью книжек, форумов и психотерапевтов, он поймёт, кто и чем заткнул его рот. Но половина жизни уже будет позади. И нет никакой гарантии, что вторая половина пройдет иначе.

— Знаете, тётя Аля, уж лучше баловать, чем казнить, — сказала Татьяна. — Вы, конечно, неправильно поступали с дочерью, когда она была маленькой. Но, понимаете, ведь вы не виноваты в том, что она и сейчас такая. Потому что Наташа уже не ребенок. Сама должна понять, что она не пуп земли. Воспитывать себя, становиться самостоятельной. А она этого не делает. Требуется чего-то от, по сути, чужого мужчины. Пытается повесить на вас дочь, вам тяжело — она няню найти решила. Лишь бы не самой! Ну что ж, это её выбор. Но вы-то ей уже ничего не должны!

— Но я же её не брошу!

— А это уже ваш выбор, и я его понимаю — вы мама. Но вы хотя бы не травмировали её в детстве. Избаловали — да. Однако с этим можно бороться. Вот с психотравмами было бы сложнее.

Из люльки послышалось кряхтение, и над её матерчатым краем поднялась крохотная ножка в салатовой штанине и белой пинетке.

— Тю-у-у, красавица моя проснулась! — тётя Аля расплылась в улыбке, приподнялась, вытянув шею — посмотреть на внучку.

— Наверное, кушать хочет, — предположила Татьяна. — Вы лежите, я сейчас бутылочку принесу.

Она переставила люльку ближе к бабушке и пошла на кухню. Ловко приготовила смесь, остудила, и, наклонив бутылочку, брызнула на тыльную сторону своей ладони — уже не горячо. Вернувшись в комнату, принялась кормить Викульку. Та ела неохотно, то и дело выплёвывая соску и отвлекаясь на всё подряд — то хваталась за Танину футболку, то, как впервые увидев, смотрела на свои ножки, то агукала бабушке. А потом и вовсе сморщилась, готовясь заплакать, упрямо отворачиваясь от бутылочки.

— Надо смесь заменить, — нахмурилась Татьяна. — Я схожу в магазин, куплю несколько разных. Будем с ней пробовать. Нельзя, чтобы ребенок был голодный, очень плохо это в её возрасте.

— Сходи, Танечка, я справлюсь. Вроде полегче мне.

— Давайте-ка ещё раз давление померим, — сказала Татьяна, укладывая девочку в люльку.

Алевтина Витальевна не приукрасила — на этот раз цифры на дисплее тонометра показали сто сорок на сто. Пульс выровнялся, как и цвет лица. Татьяна глянула на часы: до сеанса психоанализа оставалось чуть меньше часа.

— Тётъ Аль, я часика через два вернусь уже со смесями, — пообещала Татьяна. — Но вы мне, если что, звоните!

Переобувшись в прихожей, она вернулась в свою квартиру. Одевалась наспех, и за полчаса слетала до магазина и обратно. Бросив куртку на диван, включила ноутбук. В скайпе виднелся пропущенный вызов от Аллы Нестеренко.

— Простите, я задержалась, — сказала Татьяна, перезвонив.

— Не стоит извиняться, — улыбнулась Алла. — О чем вы хотите поговорить сегодня?

— О матерях. — Татьяна пересказала разговор с соседкой. И призналась: — Знаете, я поймала себя на мысли, что именно такой матерью и хотела быть. Всегда помогать ребенку, быть с ним ласковой, не применять физических наказаний. И, если нужно, отдавать ему последнее. А теперь вижу результат — Наталью, которая выросла потребителем, и, похоже, не способна никого любить. Даже собственную дочь. Но я всегда обижалась на свою мать за то, что она проявляла ко мне не больше тепла, чем к хомячку: накормила, одела — и ладно. Никакой ласки, никакого стремления поддержать — одни лишь требования, капризы или равнодушие. Я не хотела быть, как она. Понимаю, что и у материнства, как у всего прочего, должна быть золотая середина. Не стоит слишком баловать ребенка — но и ломать его под себя категорически нельзя.

— И в чём ваш запрос? — вздернула бровь Нестеренко.

— Почему матери так по-разному ведут себя с детьми? Ведь даже в одной семье к детям могут относиться по-разному: кого-то любят и жалеют больше, а кому-то будто говорят — выплывай сам, у нас нет желания о тебе заботиться. И вообще — как мать, которой уже в силу инстинкта положено быть доброй, защищать своих детей, любить их, то и дело хватается за ремень, унижает, делает больно?

Алла поправила веб-камеру, чуть наклонилась вперёд, чтобы они с Татьяной лучше видели друг друга. И начала объяснять:

— Был такой психоаналитик — Карл Юнг. Ученик Фрейда, который разошелся во взглядах со своим учителем, и создал свою теорию. Так вот он считал, что людьми управляют так называемые архетипы. Это некие прообразы, которые живут в нашем бессознательном и встречаются в культуре разных народов, в древних мифах, сказках, в живописи, верованиях. Архетип — универсальный символ. К примеру, Старик — он отождествляется с мудростью, жизненным опытом. Архетип Ребёнок — это некая незащитность, доверчивость. А еще есть архетип Тень, и он, на мой взгляд, будет вам наиболее интересен.

Тень — это тёмная сторона личности, вся та агрессия, подлость, аморальность, которые несёт в себе каждый человек. Но если в древние времена эти качества помогали выжить, то сейчас, когда есть мораль, закон, этика, они считаются негативными, их принято скрывать. Более того, качества, которые прячутся в этой Тени, мы признавать не хотим, потому что они идут вразрез не только с общественной, но и с нашей личной моралью. Мало кто может мириться с тем, что он себялюбив, жаден, жесток — поэтому люди работают над собой, пытаясь искоренить эти черты. Развивают в себе щедрость вместо жадности, терпение вместо агрессии, и так далее. Но это делают далеко не все. И могут далеко не все.

А вот теперь представьте — есть Мать и есть Мачеха. Тоже архетипичные образы, они ведь часто встречаются в фольклоре. А ведь Мачеха — это Мать, поглощенная Тенью. Так же, как и Мать, она рядом с ребенком — но делает ему больно, раз за разом. Потому что не может подавить свою агрессию, раздражение, эгоизм. Юнг писал: человек, которым владеет

Тень, всегда стоит у себя на пути. Но он же считал, что это можно изменить, выйдя из-под власти Тени. Ведь для этого у нас есть все ресурсы: способность выбирать, сила, воля, чужие примеры... Другой вопрос, что и Тень нужна каждому, потому что именно в ней заложен творческий потенциал, она дает толчок к изменениям, ведь большинство людей не хотят быть асоциальными. И гармония в душе не наступит, если человек не сможет признать, что в нем есть Тень, увидеть свои недостатки и в какой-то мере примириться с ними, принять себя таким, как есть. Увидеть, что в тебе есть зло — значит, понять, каких хороших качеств тебе не хватает.

— Получается, что моя мать ведёт себя со мной, как Мачеха, — Татьяна скривилась, о таком даже думать было больно.

— Да, но вот вопрос — почему? Я вижу, что вы ищете причину в себе. Но действительно ли она в вас?

— Не знаю... — задумчиво сказала Татьяна. — Я много лет над этим думала. И пришла к выводу: я не делала ничего, за что она могла меня возненавидеть.

— Значит, причина в ней. Она не может справиться со своей Тенью, или считает своё поведение правильным. Но согласитесь, вашей вины в этом нет.

Татьяна молчала. Ей, привыкшей ощущать бремя вины, которое давило на неё каждый день, и утяжелялось от каждого окрика матери, её недовольного взгляда, жеста, слова, стало не по себе. Она понимала, что Алла права, видела логику в её словах, но внутри кипела и билась мысль: «Значит, всё было зря? Столько лет я мучилась зря? Искала выход, решала, как всё исправить — но получается, что никогда бы не смогла найти? Это всё равно, как если бы мать была полной — а я решила бы похудеть вместо неё. Занялась бы спортом, села на диету — и удивлялась бы, почему не худеет мать!»

— Кстати, есть ещё один аспект, который вам стоит принять во внимание, — сказала Нестеренко. — Вспомните, что делает мачеха в сказках. Она заставляет падчерицу много работать по дому — и, чтобы выжить, этот ребенок развивает в себе трудолюбие, ответственность, умение вести хозяйство. Она унижает падчерицу — и та становится терпеливее, учится ценить доброту. Когда Мачеха выгоняет её из дома, та находит в себе силы преодолеть препятствия и выйти на новый уровень — к примеру, стать женой короля. А вот родные дети мачехи так и остаются ленивыми, капризными, и не добиваются ничего.

— Получается, что Мать любит, заботится — но если она не будет хотя бы иногда включать Мачеху, то детям будет только хуже?

— Да. Ведь именно об этом история вашей соседки.

— Значит, и я бы выросла другой, если бы моя мать относилась ко мне иначе? — Вопрос был риторическим — Татьяна уже осознала, что так оно и есть. — Если бы она была не Мачехой, а Матерью — то и я стала бы... допустим, ленивой, эгоистичной, равнодушной к чужим бедам.

Умолкнув, Демидова потёрла виски, стараясь уложить в голове эту мысль.

— Так и есть, — сказала психоаналитик, внимательно глядя на Татьяну. — Вы же сами говорили, что всегда хотели ей что-то доказать, пытались заслужить её любовь. И для этого старались хорошо учиться, много трудиться, заработать хорошую репутацию.

— Да, я сделала себя, — покачиваясь в кресле, Татьяна переплела руки на груди. — Но всё это время мне казалось, что я бьюсь, как рыба об лёд — а она не замечает, не начинает ценить меня.

— Вы просто смотрели в другую сторону, только на родителей — и не видели, что на

самом деле вы сделали для себя. В благополучных семьях дети это видят ещё и потому, что родители признают их успехи, помогают дойти до цели — вы же делали это самостоятельно, и не ради себя. Другой вопрос, что психотравмы, которые вам нанесли в детстве, влияют на вашу взрослую жизнь. Как в случае с Пандорой. Кстати, есть что-то новое о ней? Возможно, был инсайт*, или сон?

— Нет, ничего такого... Сны мне вообще не снятся. Единственное — знаете, когда вы говорили о Мачехе, я вдруг почувствовала, что она связана с Пандорой. Очень плотно связана. Но как — я не знаю.

— А может ли Пандора быть вашей матерью? — вдруг предположила Нестеренко. — Ведь она — это кошмар, который приносит вам зло, негатив. А ваша мать часто несла то же самое. Может быть, кто-то называл её Пандорой, или она так кого-то называла? Вы могли запомнить это в детстве, а потом воспоминание ушло в бессознательное. А, может, был какой-то спектакль, где она играла роль мифической Пандоры? Или Пандора — это кто-то, кем вас напугала мать?

Татьяна мучительно перебирала варианты. Что-то в этом было, что-то важное мелькнуло в словах психоаналитика, отозвалось в душе Тани, блеснуло — но ускользнуло, растворившись в потоке мыслей. И ощущение было — как у рыбака, с крючка которого сорвалась крупная рыбина, ушла в пучину, и не видно её, и непонятно, как теперь поймать. Тупиковое ощущение. Отогнав его, Таня постаралась расслабиться, отрешиться от мыслей и нырнуть в чувства — чтобы понять, как реагирует на всё это её тело. И будто сквозняком прошел по коже страх, кончики пальцев заледенели, словно она дотронулась до чего-то холодного, омертвевшего. Ей вдруг показалось, что это рука матери, ее гладкая кожа, но почему-то неживая, словно протез. Ужас перехватил горло, и долгую, мучительную секунду Татьяне казалось, что до разгадки — всего лишь шаг. Но она не смогла. Её оттолкнуло от рубежа — и, уже приходя в себя, Татьяна поняла: перешагни она его... переступи... осмелюсь... рухнула бы в приступ. В свою личную Преисподнюю.

Голова кружилась, перед глазами будто плыло серое марево. Дыхание сбилось. Она облизнула пересохшие губы и проговорила:

— У меня такое ощущение, будто Пандора — вообще не человек. И да, меня ей напугали.

* Инсайт — озарение, прозрение.

Кожа Алёны пахла чем-то терпким, солёно-морским. Макс медленно провёл языком по ее гладкой спине, снизу вверх, вдоль впадинки позвоночника. Алёна чуть выгнулась, застонав еле слышно — и резко, игриво перевернулась. Глянула на него, блудливо улыбаясь: нижняя губа блестела, набухнув, в глазах томилось желание. Села, подогнув ноги под себя, и откинулась назад, подставляя соски: упругие, горячие, выскальзывающиеся, едва он хватал их ртом — она отстранялась, дразня. Упершись ладонями в его плечи, начала медленно тянуться вверх, поднимаясь — так чтобы губы Макса скользили по её бархатистой коже всё ниже, ниже, ниже... Он танцевал распалённым ртом по её изгибам, задыхаясь, жадно хватал губами кожу — но, спускаясь к её животу, наткнулся языком на что-то жесткое, неровное. Открыл глаза и невольно отпрянул. Снова этот шрам! Лежит под её правым ребром, как кусок толстой веревки — белый, страшный, сморщенный вдоль краёв, как старушечий рот. Пульсирующий жар в паху мгновенно сменился ощущением слабости

— Слушай, а можно его убрать? — спросил Макс, делая вид, что всё так же увлечен ласками. Но тело Алёны напряглось — поняла, что врёт. Оттолкнув любовника, она потянула на себя одеяло, прикрылась от груди до бёдер.

— Противно, да? — её ноздри затрепетали, вопрос прозвучал на повышенных.

— Нет, что ты! — слукавил Макс. — Просто я мог бы оплатить операцию, если хочешь...

— Да иди ты! — швырнув край одеяла ему в лицо, она вскочила, гордо выпрямив спину, и направилась в ванную. Длинные бёдра — некогда гладкие, стройные, сводившие его с ума своим золотистым сиянием — теперь были бледными, заметно оплывшими, в серых ямочках целлюлита. Ягодицы одрябли, отяжелели, будто киселём налиты.

Макс снова отвёл глаза. Прикурив сигарету, откинулся на подушку, уставился в потолок. В ванной зашумела вода.

«У самого мамон, как тыква, и залысины на полбашки — а от неё вечной молодости ждешь? — корил он себя. — Старик, почти пятнадцать лет прошло, ей уже к сорока. Ты же всю жизнь любил только её, мечтал, что будете вместе — чего теперь-то не так?»

Он знал, что не так. Всё то, что в их первую встречу с Алёной было скрыто тишиной и мягким полумраком комнаты. Всё то, что он невольно замечал теперь, каждый день неприятно удивляясь новому. Она изменилась — только в постели была такой же задорной, падкой на эксперименты. А за пределами койки стала более смиренной, пугливой. Будто её жизнь побила, научив втягивать голову в плечи и держать язык за зубами. Алёна, его безбашенная, сумасшедшая Алёна, перекаати-поле, готовое сорваться с места, едва впереди замаячит что-то интересное, теперь говорила, что хочет покоя: дом, мирную жизнь, без потрясений. Он, вроде бы, соглашался, ведь об этом и мечтал: чтобы жить с ней, красиво, обеспеченно, позволяя себе всё, что хочется. И в то же время чувствовал тоску.

Она изменилась и внешне. Будто огонь в ней погас, и это отражалось в движениях — некогда порывистых, раскованных, смелых. Походка перестала быть вызывающей, кошачьеплавной, осталась лишь осанка и стать — но без той животной сексуальности, которая когда-то заставляла его терять разум. Кожа стала другой: синева проступающих вен под коленями, красные сосудики на бёдрах и растяжки на боках. Грудь уже не та, что округлилась крепкими яблочками и задиристо торчала вперёд. Лицо стало огрубевшим, словно

обветренным, с тяжелой морщинкой у левой стороны рта. И глаза словно выцвели — серые теперь, просто серые...

Он вдруг осознал, что всегда воспринимал её, как бриллиант — а она живая. Лишь бриллианты не портятся от времени. Но людей это время сморщивает, как яблоки.

Нет, когда она приводила себя в порядок, одеваясь к обеду или перед прогулкой, снова становилась похожей на куколку. Плотные колготки, бельё со вставками в нужных местах, косметика, здорово скрывающая недостатки. Ну и наряды — вкус ведь никуда не делся. Правда, и юбки теперь длиннее, и декольте меньше. Но всё равно секси, всё равно красавица.

«И я её люблю», — сказал он себе. Будто напомнил.

Затушив сигарету, потянул с тумбочки часы: почти полдень. Яркий солнечный свет растекся желтыми блинами по тёмному ламинату пола, выбелил синеву штор. Блики золотились на коричневой лакированной мебели в стиле «ампир», сияли на стеклах чёрно-белых эстампов, висящих на стенах цвета яичной скорлупы. Самый большой эстамп скрывал за собой сейф, где хранился заветный чемоданчик. Натянув трусы, Макс спрыгнул с кровати, потянулся. Хотелось жрать и бокальчик виски — двойного, со льдом.

В ванной всё ещё лилась вода. Демидов снял со стены эстамп, набрал код и открыл дверцу сейфа. Вынув чемоданчик, окинул хозяйским взглядом пачки пятитысячных: их было всё так же много, приятно посмотреть. Прошло уже две недели с тех пор, как он смылся с деньгами, но его никто не искал. Значит, он не ошибся, и этот отель — действительно надёжное место.

Вытащив небольшую стопку купюр, Демидов спрятал чемоданчик в сейф и повесил картину на место. Взял из плательного шкафа тёмно-серые джинсы и синюю рубашку. Прежде чем натянуть на себя, ткнулся носом подмышку — вроде не потный, можно и без душа обойтись. Шпингалет ванной щелкнул, и оттуда — распаренная, обмотанная полотенцем — вышла Алёна. Глянула исподлобья, но в глазах снова мелькнуло то непривычно-покорное выражение: будто боится и ждет чего-то, хочет сказать — и не решается.

— Пойдём завтракать? — предложил он.

— Конечно. Только волосы высушу.

Он включил телевизор, ожидая, пока она наведёт марафет. Утробно заржал, глядя любительское видео: пьяный мужик, вихляя по улице на велосипеде, врзался в фонарный столб. «А ещё народные корреспонденты запечатлели войну гусей и людей!» — придурковатым голосом сказал ведущий, и стая белых гусаков, зло топорщащих крылья, окружила двух алкашей деревенского вида. Мужики высоко подпрыгивали, дрыгали ногами, спасаясь от гусяных щипков — и Макс снова ржал, не замечая, что Алёна раздраженно кривит рот.

— Мне сегодня нужно в город, — сказала она, водя по лицу широкой, белой от пудры, кисточкой. — В парикмахерскую, а потом за новыми туфлями. Поедешь со мной? Можно было бы пошопиться, а потом в клуб. Мне Анька Пермякова рассказывала, в центре открылся новый, там какие-то сумасшедшие шоу и звёзд постоянно привозят! Так хочется сходить!

— Чего тебе здесь не сидится? — недовольно спросил он.

— Вот именно — здесь мы сидим! За периметром, как в доме престарелых! — фыркнула она. Но тут же сменила тон: — Максик, ну почему ты не хочешь дом купить, как

планировали? Жили бы, как нормальные люди, новоселье бы отметили, нашу старую компанию собрали...

— Да не хочу я в Самаре оставаться! — зарычал он. — Если б ты не упёрлась, давно бы уехали и жили, как люди!

— Но у меня здесь всё: родня, друзья... А ты никого видеть не хочешь, как будто прячешься! — она крутанулась на пуфике, мелькнув розовыми коленками, глянула умоляюще. — Я тебя прошу, объясни, в чем дело! Почему мы здесь? И что ты планируешь дальше?

Демидов отвёл глаза. Каждый день достаёт этими вопросами, ноет и ноет... А ведь застряли здесь из-за неё. Кто знал, что она не захочет валить из Самары? Это осложнило всё дело. С другой стороны, прямо сейчас высываться нельзя, надо подождать ещё хотя бы пару недель. Не такую уж большую сумму он спёр у Василенко, да и аптеки ему остались — вряд ли будет долго искать, плюнет и дальше займется отмыванием бабла. Но всё равно — в Самаре оставаться нельзя. Опасно.

— Пока поживем здесь, — сказал он. — А потом решай — либо ты едешь со мной, либо наши дорожки расходятся.

Конечно, он брал её на понт — ни за что бы не оставил здесь. Думал, она ничего не ответит так сразу, или подумает — но потом согласится, как соглашалась за эту неделю почти со всем, что он говорил. Но Алёна вдруг взбрыкнула, на мгновение став почти прежней:

— Уезжай, — холодно сказала она и резко отвернулась. — Думаешь, в ноги упаду, пятки лизать буду?

— А ты куда? — усмехнулся он. — Опять к какой-нибудь криминальной швали прибьёшься, чтобы тебя по пьяни ножом пырнули? Одного шрама мало?

Макс тут же пожалел, что сказал это: Алёна побледнела, в глазах мелькнула боль. Но смолчала, проглотив оскорбление. Сидела, уставившись в зеркало, прижав пальцы к вискам. Будто убеждала в чем-то саму себя.

— *Contumeliam nec ingenuus fert, nec fortis facit**, — медленно проговорила она. И, распрямившись, выдохнула.

— Чего? — нахмурился Демидов. Помнил еще с тех времён: Алёна переходит на латынь, когда чувствует презрение или насмешничает. Но она сказала примирительно:

— Это значит, что мужчина злится, когда он голоден, — протянув руку за сумочкой, положила туда телефон. По настоянию Макса она держала его выключенным — ещё одна уступка с её стороны. Включала только когда выбиралась в город.

Они спустились в ресторан. Интерьер в морском стиле, официанты в тельняшках, медная посуда — стильно и очень просто с виду, но чертовски дорого. Макс заметил, что гостей прибыло, настороженно зашмыгал глазами и повел Алёну за самый дальний столик, белевший скатертью в полутёмном углу. Плюхнулся, схватил меню — и только потом сообразил, что даже не отодвинул стул своей даме. Раньше Алёна так и стояла бы над ним, усмехаясь в лицо — или демонстративно обратилась бы к кому-то из других мужчин: «Есть здесь джентльмены?» А сейчас села напротив, ни слова не сказав. Робко улыбнулась:

— Давай сегодня без алкоголя?

Демидов почувствовал, как сосёт под ложечкой. Резко заболела голова.

— Алён, чего ты начинаешь-то? Я что, вдрыбадан напиваюсь?

— Ты пьёшь каждый день, — несмело сказала она. — По полбутылки минимум. Я

устала.

Он протянул руку, дотронулся до кончиков её пальцев:

— Малыш, ну прости. Нервничаю много...

— Почему? — серые глаза смотрели в упор. — Ты, конечно, можешь мне не говорить.

Но я не дура, Максим. Я догадываюсь, что происходит.

— И что же? — усмехнулся он.

Алена вздернула подбородок, закусила губу.

— Ты прячешься. Деньги, которые ты привёз — знаешь, слишком много налички, — сказала она со злостью. — Сейчас не девяностые, и будь всё легально, ты держал бы их на карте. Значит, это не твои деньги. Так?

Он промолчал.

— Я думаю, мы сидим здесь, потому что тебя кто-то ищет, — хладнокровно продолжила она. — Хозяин этих денег, или полиция. Поэтому ты скрываешься, не включаешь телефон, заставляешь меня делать то же самое. И хочешь уехать из Самары, когда всё немного поутихнет. Только ты не знаешь, когда это случится. Поэтому будешь снова и снова откладывать отъезд, и кончится тем, что мы всю жизнь просидим в этом долбанном отеле!

Он поднял на неё глаза. Перед ним была почти что та, прежняя Алёна — железная леди с железной логикой. Быть бы ей отличным следяком или прокурором, не брось она институт незадолго до диплома. Умная и цепкая, она всё-таки раскусила его. А, может, и хорошо? Может, это шанс — ведь две головы лучше?... В конце концов, он тоже устал. Скрывать, бояться в одиночку. Представлять, что может прийти в голову Василенко, не выпустили ли Таньку, не раскололась ли Фирзина или её сожитель... Если это так, его уже наверняка ищет полиция.

Демидов вытянул шею и махнул рукой, подзывая официанта. Заказал виски. Есть расхотелось напрочь.

— Мне «цезарь» с креветками и морковный фреш, — попросила Алёна. И сказала, дождавшись, когда он уйдет: — Макс, ты должен был предупредить меня заранее. Мы уже не молоды, чтобы очертя голову лезть в криминал. Ты сам знаешь, к чему это приводит.

— Но я уже влез! — не выдержал он. — Ради тебя, между прочим! Я хотел вернуться с деньгами и ради этого кинул партнёра.

«И посадил бывшую жену, чтобы отжать её бизнес», — чуть было не сказал он. Но признаваться в таком не хотелось. Одно дело — красиво развести мужика, совсем другое — подло подставить женщину. Демидов сам понимал, что это за гранью.

— Значит, я права, — печально сказала Алёна. Опустив голову, она без аппетита ковыряла вилкой горку салата.

— Это что-то меняет? — напрягся Макс.

— Не знаю... Просто я больше не хочу жить в страхе. Я устала терять, — вздохнула она. И вдруг Макс осознал, что она может уйти. Вот просто встать и уйти от него, потому что жизнь дороже тех денег, что он ей привёз. Нервно сглотнув, он снова схватил её за руку, зашептал, сбиваясь:

— Алён, ну какой терять... Да всё хорошо, я ж рядом. Я ж тебя не дам в обиду, я ж люблю... Веришь?

И, вспомнив, что её всегда успокаивало, потащил из кармана портмоне, вынул стопку красненьких — тысяч пятьдесят в ней было, как не больше. Бросил перед ней на стол:

— Вот, они твои, забирай, езжай в свой клуб, подружек возьми! Развейся, я ж понимаю, ты тут закисаешь. И выбрось из головы всю эту хрень, вот увидишь, продержимся, всё хорошо будет!

Алёна глянула исподлобья, а потом решительно взяла его бокал и залпом проглотила виски. Зажмурилась, тряхнула волосами.

— Хорошо, — наконец, сказала она. Сгребла со стола купюры, небрежно бросила их в сумочку. — Но дай мне слово, что больше не будешь врать. Потому что жить на пороховой бочке...

— Макс! Макс, Демидов, ты? — радостно воскликнул кто-то, и они синхронно повернулись на звук. Широкоплечий мужик, приземистый, почти квадратный, стоял возле их столика и улыбался, радушно раскинув руки. Бритая голова, широкое лицо, близко посаженные глазки — тёмные и блестящие, как маслины. Солидный тёмно-серый костюм, расхристанный ворот белой рубашки, и кончик галстука, торчащий из бокового кармана. Сразу вспомнилось: ночная Волга, лодка рвется из-под ног от сильного удара, и Васька Крапивин, сидящий на корме, кричит от восторга: «Сом, кило на двадцать!»

— Крапива, ты? — гоготнул Макс, обнимая старого друга. — Откуда? Слушай, я рад тебе безумно! Давай к нам! Алёну помнишь?

— Такую женщину не забыть, — галантно ответил Крапивин, склоняясь в её руке. Алёна улыбнулась, в глазах блеснул интерес. Васька уселся, закинув ногу на ногу, начал снимать пиджак.

— Жарища здесь! А вы чего, отдохнуть решили? Ты ж, вроде, из города уезжал, Макс? Сколько мы не виделись — лет десять-пятнадцать?

— Пятнадцать. Я в Москве живу, — ответил Демидов. — Вот, приехал за Алёной.

— Это правильно, правильно... Ну, расскажи, как ты. Чем занимаешься?

— Есть небольшой бизнес, — уклончиво ответил Макс. И не удержался, прихвастнул: — Медтехника, лекарства, по всей России поставляю.

— Ну, красавчик, красавчик! Всегда знал, что ты поднимешься. А я вот в гостиничном бизнесе, — Крапива развел руками, показывая вокруг себя. — Нравится в моём отеле?

— Так это твой? — подняла бровь Алёна. — Хороший уровень. Я бы сказала, европейский.

— Благодарю, благодарю... — Крапива расплылся в довольной улыбке. — Столько бабла вложено, рад, что не зря! А вы — завтракаете, обедаете? Какие планы на сегодня?

— Отдыхаем, — пожал плечами Демидов.

— Давайте ко мне? Коттедж в лесочке видели? Это моя резиденция. Через часок народ подтянется, солидные люди. Партейку-другую в покер сыграем, бильярд имеется, сауна.

Макс почувствовал, как внутри загорается азарт, примешивается к радости от встречи со старым приятелем.

— Ты как? — спросил он Алёну.

— Не откажусь, — улыбнулась она.

— Давайте прямо сейчас! — воскликнул Крапивин и замахал руками, увидев, что Макс кладет на стол купюры: — Обижаешь, обижаешь, Демидов! Завтрак за счёт заведения!

...Стрелки часов подбирались к шести, когда Алёна, расстроенная до слёз, выскользнула из коттеджа Крапивы и села в такси. Отдыха не получилось. Макс нажрался, едва не хрюкал. И проигрывал, проигрывал, проигрывал... Уже два раза бегал в номер за деньгами. Она пыталась его остановить, уговаривала, но он лишь хрипло смеялся и

повторял: «Дай разогреться, малыш! Давно карты не держал, отыграюсь!» Чёрт! Такими темпами он быстро лишит их денег. Все надежды на безбедную жизнь рухнут, и куда она потом?... Снова придётся искать работу, жить в съемных халупах, отказывать себе во всём... А с другой стороны — чего она ждала от Макса? С чего вдруг решила, что он повзрослел? Только потому, что время прошло? Глупо. Он всегда искал, где бы хапнуть адреналина, где бы рисануться — и плевать хотел на её желания.

Шмыгнув носом, Алёна бросила злой взгляд на таксиста.

— В центр! — скомандовала она. — И побыстрее, я опаздываю.

Открыв сумочку, она пересчитала деньги. Бросил ей с барского плеча! А сам только за сегодня проиграл в три раза больше, и сколько ещё продует, пока её нет?

Перед глазами снова встал металлический кейс, полный тугих пачек. И снова мелькнула мысль: забрать бы эти деньги — и все проблемы были бы решены... Но как? Он держит их в сейфе, и код не скажет, хоть режь.

Она откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза. Машина мягко подрагивала, из радио лилась какая-то попса. «А ведь это из-за него вся жизнь — в топку! — думала Алёна. — Институт бросила, дура. Аборт сделала. Ни кола, ни двора... а была и машина, и квартира, и деньги — только из-за Максowych делишек пришлось всё продать. Пыталась всё наладить, когда ушла от него, да не с теми связывалась. Надо было хорошего мужика искать, а меня всё носило по таким же, как он. И что в итоге? Мерзкий шрам на животе, ушедшая молодость. И никаких перспектив».

Снова захотелось заплакать. Всхлипнув, она поймала в зеркале заднего вида взгляд таксиста — тот смотрел с жалостью и любопытством. Отвернулась от унижения. Снова вспомнила пьяную рожу Макса — красную, мерзкую, мутноглазую... Ненависть горячей волной поднялась к горлу.

Чтобы отвлечься, она достала из сумочки телефон, включила. На экране высветились два пропущенных вызова — с одного и того же незнакомого номера. Перезванивать не стала, а вошла в интернет. На страничке соцсети виднелось новое сообщение.

«Здравствуйте, Алёна! — писал ей некий Егор Любимов. — Мне посоветовала к вам обратиться Оксана Райская, моя двоюродная сестра. Сказала, в институте вы были лучшей по латыни, даже какую-то олимпиаду выиграли».

Алёна вспомнила Оксанку — да, была такая: дебёлая блондинка с вытаращенными глазами и мясистым носом. Кажется, уехала куда-то в Европу лет десять назад. На первом курсе они вместе начинали ходить на дополнительные занятия по латинскому языку к Юлию Ионычу. Правда, Оксанка быстро поняла, что мертвый язык ей не дастся. А вот Алёна увлеклась им не на шутку, чувствовала себя особенной, выше других, когда читала в оригинале Спинозу, Кампанелло, труды Ломоносова... Любила козырнуть этим на людях, до сих пор помнила множество крылатых фраз на латыни. Но насчет олимпиады Оксанка загнула, это был конкурс между вузами — но всё же Алёна стала там лучшей. Улыбнулась: приятно было вспомнить. И продолжила читать с ещё большим интересом.

«Я не знаю, к кому обратиться, совсем нет знакомых в этой сфере. Может, вы согласитесь помочь? Я бы хорошо заплатил. Дело в том, что у меня строительная фирма, мы получили подряд на коттеджный поселок под Самарой. Копали котлован под бассейн, наткнулись на остатки древней стены или фундамента. Начали разбирать, и нашли замурованную книгу. Очень старую, похоже, на латыни. Я сфотографировал пару страниц, посмотрите. Мне хочется знать, что эта за книга и может ли она представлять какую-то

ценность, можно ли её продать. Если согласны, позвоните мне, обсудим цену ваших услуг. Я не жадный)) С уважением, Егор».

Хмыкнув, Алёна нетерпеливо заёрзала, ожидая, пока загрузятся фотографии. Самара — древний город, на его территории не раз находили исторические ценности. Но книга, да ещё и на латыни? Это может быть учебник — таких полно в музейных запасниках, ведь до восемнадцатого века именно латынь была языком науки. А может быть и что-то раритетное, имеющее очень высокую цену.

Наконец, первая фотография открылась. Страница книги — потемневшая по краям, с бурыми пятнами посередине. Но, в общем-то, сохранилась неплохо. Первая буква крупная, в вензелях. Печатный шрифт — готический, в два столбца и два цвета: красный и черный. Цветочный орнамент на колонтитулах. Глаза выхватили строчки: «Dixitque Deus: Fiat lux. Et facta est lux. Et vidit Deus lucem quod esset bona et divisit lucem a tenebris». Алёна растерянн застыла. Слова были знакомыми. Очень знакомыми. «И сказал Бог: да будет Свет. И стал Свет. И увидел Бог, что это хорошо, и отделил Свет от Тьмы».

Руки задрожали. Медленно ведя пальцем по экрану, Алёна пересчитала строки. Сорок две. Она прерывисто вдохнула, чувствуя, как холод растекается по щекам.

Библейский текст. Напечатан так, что ни с чем не спутаешь.

И если это действительно Вульгата Гуттенберга*, она бесценна.

* Честный человек не терпит оскорбления, а мужественный не причиняет его.

**Библия, напечатанная в XIV веке Иоганном Гуттенбергом — создателем первого печатного станка. Первая книга в истории европейского книгопечатания, вышла тиражом 180 экземпляров. Одна из самых редких и ценных инкунабул (книг, напечатанных в Европе до начала XV века).

Смяв исписанную салфетку, Залесский бросил её в пепельницу и щелкнул зажигалкой: нельзя оставлять свидетелей. В солнечном луче огонь казался полупрозрачным, но угол бумажного комка с карандашным «...мара» стал чернеть на глазах. Эта чернота, растекаясь, покрываясь дырами, обрела бледно-желтый шевелящийся край, а затем вспыхнула — высоко и ярко. Зализанный бармен скосил глаза из-за стойки, девушка за соседним столиком — конский хвост, вязаное платье, очки в ярко-желтой оправе — шумно вздохнула и отгородилась томиком Бегбедера. Остальным было плевать — впрочем, этих остальных в кафе было человек пять: Василенко специально выбрал для встречи местечко потише. А Залесский специально явился загодя — еще раз подумать, о чем можно рассказывать. Получалось, что ни о чем.

«Интересно, какой у нас счет? — рассеяно подумал он. — Гоняемся за Демидовым, каждый по своему пути. Сужаем круги, расставляем ловушки... Или Василенко не расставляет? А, может, сама эта встреча — ловушка?»

Салфетка догорела, распалась на жирные черные хлопья. Залесский пошевелил в них кончиком карандаша, обнаружил на дне блюда пару непрогоревших кусочков, для верности сжег и их. Официант вильнул у его столика любопытной рыбкой, сменил пепельницу, наклонился: «Не нужно ли чего?» Заказав кофе — больше для приличия, бодрости, то есть нервозности, итак через край — Залесский сунул ему купюру и отвернулся к окну.

Самара. Интересно, как долго еще придется рыскать по этому городу? Впрочем, чего Бога гневить, на этот раз всё сложилось гораздо лучше, чем в первую поездку.

Фотография Алёны всё-таки стала ключом, открывающим все двери. Сперва её узнал владелец коттеджа, объявление о продаже которого было найдено в куртке Демидова. Оказалось, она приезжала, смотрела дом, согласилась купить, даже не торгуясь. Просила только подождать пару недель, «вот муж приедет — сразу же оформим». Но настоящей удачей стало то, что продавец записал номер её телефона. Тот был отключен, однако получить информацию о владельце Залесский смог уже на следующий день: Леднёва Алёна Николаевна, адрес прописки — Самара, улица Венцека, дом семьдесят девять, квартира девяносто шесть. Юрист, не медля, отправился туда. И слегка разочаровался — оказалось, по этому адресу жила не Алёна, а её двоюродная сестра Екатерина. Представившись старым институтским приятелем Леднёвой, Залесский получил приглашение в дом.

— Вы извините, я тут по хозяйству, — смущено улыбнулась Катя, указывая на кухонный стол. На белой поверхности коричневели горки сухой гречневой крупы. — Может, чаю?

— Спасибо, — отказался он. И, пододвинув к себе одну горку, предложил в ответ: — а давайте я помогу? Меня бабушка ещё в детстве научила, так что я перебиральщик со стажем.

На Катиных щеках вспыхнул румянец, в голубых глазах мелькнула весёлая искорка:

— Дождитесь моего мужа, а? Пусть увидит, что мужчины тоже могут это делать! — сказала она. И дальше разговор потёк гладко, будто между старыми знакомыми.

— Алёнка ведь без жилья, вот и попросила прописать, — рассказывала Катя. — А сама появлялась полгода назад, отдала давний долг. Сказала, на работу устроилась, я уж порадовалась за неё. А как узнала, где, удивилась.

— Почему?

— Представляете, она в похоронное бюро устроилась, секретарём! А сама-то всегда

покойников боялась, — округлила глаза Катя. И вздохнула: — Ну а что делать, когда жизнь прижала? Образования-то нет, институт бросила, дурочка, на пятом курсе — ну, вы помните, наверное?

— Я после четвертого в Москву перевёлся, — покачал головой Залесский. — Так и не виделись с тех пор. А почему бросила?

— Ой, ну почему молодые девушки учёбу бросают? Любовь! — Екатерина поколебалась, но добавила: — К тому же, Алёнка всегда с ленцой была. И самонадеянная очень. Всё говорила: выйду замуж за принца, пока вы своих колхозников окучиваете! А в девяностых где принцы водились? В бизнесе, да в криминале. Вот она и пошла в ночной клуб работать, думала, там богатенького подцепит. А как Максима встретила, влюбилась. Знаете его? Демидов Максим, каждый день за ней на занятия приезжал.

— Высокий такой, смуглый? — уточнил Залесский. Фото Демидова лежало в кармане, но показывать его Кате не стоило — незачем вызывать лишние подозрения.

— Да, он, — подтвердила Екатерина. — Сначала обычный парень был, только после армии. А потом зарабатывать начал, Алёнка всё хвасталась, что ради неё. Иномарки из Владивостока гонял, потом стал вроде телохранителя у одного самарского бизнесмена. Поднялся, когда тот банк открыл. Они с Алёнкой квартиру купили, машина у них хорошая была — по тем временам жили, как новые русские. Но этот Макс... Понимаете, они два сапога пара. Оба бедовые.

— В каком смысле?

— Лёгкие деньги любили, спускали всё, о будущем не думали. Пьянки, гости, жизнь — сплошной праздник. И любили друг друга, вот прям как лебеди — но ругались сильно. Алёна говорила, он пьёт, карты любит. Играет, долги делает... Какой женщине понравится?

— Не знаю таких, — усмехнулся Залесский.

— Ну вот, а ему не нравилось, что у неё одни гулянки на уме, да еще она его подзуживала вечно: вот, мол, одни друзья на Кипр ездили, другие дачу купили... Хотела жить лучше всех, да ещё чтобы все это видели. Тыкала ему постоянно, что у подруг мужья больше зарабатывают. А я так думаю — они просто тратили много. Другие вкладывали во что-то, заначки делали на черный день — а у этих всё сквозь пальцы. Потом ещё и банк лопнул, в котором Макс работал. Пришлось всё имущество продавать. И квартиру в том числе. Алёнка с тех пор так и не смогла себе жильё купить.

— И где жила?

— Снимала, то тут, то там. А к родителям не могла вернуться — поругались они, сильно. У неё ведь семья хорошая, дядя Коля с тётёй Наташей — приличные люди, образованные, с идеалами. И её воспитывали как для светского общества — по музеям водили, хорошие манеры прививали, а уж образование хотели самое лучшее дать. Жили-то небогато, но книги покупали, возили в Третьяковку и Эрмитаж, Москву и Питер показывали — исторические места, выставки всякие... Тётя Наташа музыкой с ней занималась, дядя Коля — английским, она даже латынь учила...

— Помню, любила она латинские выражения вворачивать! — кивнул Залесский.

— Ой, важничала! — подхватила Катя. — Но ей и вправду интересно было, помню, как она к институтской олимпиаде готовилась, целыми страницами какую-то церковную книгу переводила.

— Церковную?

— Да, вроде бы старинную Библию. Говорила, что там текст построен так, что на нём

лучше всего учиться. Что это вроде как база для всего остального.

— Интересно... А с родителями почему не ладила?

Ссыпав остатки гречки в эмалированную миску, Катя задумалась:

— Мне кажется, ценности у них очень разные были. Алёнка говорила: они Достоевским обедают, Моцартом закусывают. А ей другой жизни хотелось. Духовность, трудолюбие, бескорыстие — это всё родительские идеалы. Они как слой краски на ней были, колупни — отвалятся.

Катя неожиданно умолкла, в голубых глазах мелькнуло сомнение — не наговорила ли чего лишнего? Вывалила коллекцию семейных скелетов незнакомому, по сути, человеку. Залесский, не долго думая, выставил свой — из тех, что не жалко:

— Понимаю. У самого мать такая. Актриса, Шекспира и Чехова наизусть читала — а толку... Бросила меня на бабушку с дедом и экономку, сама раз в год появлялась. С виду блестящая, а внутри...

— Значит, вы понимаете, — с сочувствием кивнула Катя. — Вот и Алёнка у нас блистать хотела. Но какая-то червоточинка в ней была, к темному тянуло: к легким деньгам, праздности. А может, родители просто перекормили её высокими материями, кто уж теперь разберёт... Но в итоге она белой вороной в семье оказалась. Родители сначала боролись: Алёна, окстись, к чему ты тянешься? А она: что проку от вашего Баха и Диккенса, если я одета хуже других, и в институт на троллейбусе ежусь? В конце концов, они так поругались, что родители её в воспитательных целях из дома выставили — а она и рада была. Вот только потом, после истории с судом, обратно попросилась — но не приняли. Да и я не хочу принимать, порченная она, не в ту сторону смотрит. И добра не принесет. Не умнеет с годами. Ужом крутится ради легкой жизни — но никак не ради того, чтобы кем-то стать, сама чего-то добиться. А ведь жизнь у неё могла совсем по-другому сложиться, все данные для этого были.

— А что за история с судом? — спросил Залесский.

— Это лет пять назад было. Алёна тогда жила с одним из самарских авторитетов. Он несколько автозаправок в городе держал, и пару ювелирных салонов — вот только уже тогда ходили слухи, что это прикрытие, а на самом деле он наркотой занимается. Алёнка всё говорила, врут. А потом их вместе полиция загребла. А сожитель перед арестом Алёну на перо посадил, думал, она его сдала. Полтора месяца в больнице лежала, потом год в СИЗС сидела, я лично ей передачи носила. После суда сожителя посадили, её выпустили. Ну, она к нам с мужем. Отдохнула чуток, и за старое: работать не хотела, деньги с меня тянула — мой супруг неплохо зарабатывает. А потом вообще край: попыталась моего мужа соблазнить...

Теперь Залесский понял, почему Катя говорила с ним столь откровенно: ревность и обида ещё не так языки развязывают.

— М-да, занесло нашу Алёнку... — задумчиво сказал он. — А сейчас она где?

— Да кто ж её знает! Мы как рассорились в тот раз, так я и плюнула: не буду больше помогать, не в коня корм. Пусть сама разгребает то, что натворила. Знаете, — она подняла на него взгляд, в котором обида мешалась с непониманием, — вот говорят, если человек Священное писание читает, душой светлеет, на верный путь становится. А вот Алёнка — она же отрывки из Библии наизусть знала, ещё тогда, в юности! И что?...

— Мало читать — проникнуться нужно, — пожал плечами Залесский. — Да и потом, важно, для чего читаешь: чтобы в жизни разобраться, лучше стать — или чтобы при случае

цитатой козырнуть.

— Действительно... — согласилась Катя. — Слушайте, ну, может, всё-таки, чаю? Эклеры мои попробуйте, печенье. Вчера пекла.

Залесский почувствовал, как засосало под ложечкой. Но всё же отказался: мало того, что обманом выудил информацию у этой симпатичной женщины, так ещё и закусить этот обман сладеньким, приготовленным ею для своей семьи? Как-то уж совсем непорядочно получалось.

— Спасибо, я недавно обедал, — соврал он. И, спешно откланявшись, спустился вниз к машине. Ещё раз набрал номер Леднёвой — абонент недоступен, возможно, сменила сим-карту. Но складывать оружие Залесский не собирался. По дороге в гостиницу думал, как выманить Алёну через соцсеть — единственный канал связи, который он знал. И придумал-таки историю с найденной Библией.

Дальнейшее было делом техники: связаться с Андрюхой Кузьменко, озадачить его компьютерного гения изготовлением поддельных фотографий — благо, подлинников с изображением Вульгаты Гуттенберга в интернете хватало. Через несколько часов получить изображения страниц, траченных временем, но с участками читабельного текста. И закинуть наживку с аккаунта Кузьмы, изменив имя на Егора Любимова, а город на Самару — партнёр сказал, что старый аккаунт вызовет меньше подозрений. И отдал пароль Залесскому, чтобы тот мог проверять сообщения и, в случае, если Алёна не позвонит, а напишет, ответить ей самостоятельно.

Оставалось только ждать.

«И ходить на свидания с Василенко, — усмехнулся Залесский, глядя, как тот вышел из такси на стоянке перед кафе, поёжился под апрельским дождиком и трусцой побежал ко входу. — Вот у меня работа: иметь дело с такими, подлыми да плюгавыми... Впрочем, не по работе я здесь, из-за Тани».

Он с равнодушным видом отхлебнул остывшего кофе, хотя внутренне подобрался: враг уже направлялся к его столику. Сел напротив, чинно подобрав брючки. И, не здороваясь, спросил:

— Как успехи в поимке мальчика?

Залесский смерил его взглядом:

— Вы говорите так, будто я обязан перед вами отчитываться.

— Никто никому не обязан, — дернул плечом Василенко. На его рыжеватых волосах блестели капли дождя. — Просто хотел поменяться информацией.

— Интересно, какой?

— Вашу девочку отследили. Хорошая идея — улететь на юг. Отдохнуть, погреться... Только почему она не осталась в Геленджике? Зачем-то поехала в Новороссийск. Ну не курортный же город! Вы ей не объяснили?

Залесскому удалось сохранить непроницаемый вид, но пальцы дернулись — так захотелось сжать в кулаке эту тощую шею, свернуть на бок нагловатую ухмылку победителя, которым себя считал Василенко! Так, не нервничать. Возможно, он знает не так много, как хочет показать.

— Новороссийск? — ухмыльнулся в ответ Залесский. — И всего-то? Вы напрасно платите своим ищейкам.

Василенко еле заметно двинул ртом, но улыбка сразу стала приклеенной. «Блефовал, — понял Юрий, и от сердца чуть отлегло. — Но всё равно нужно предупредить Таню, чтобы

сидела дома, и Михалыча — пусть сам снабжает её всем необходимым».

— Что-то ещё? — спросил он Василенко, демонстративно глядя на часы.

— Слушайте, ну не делайте вид, что вы торопитесь, — скривился тот. — Мы же деловые люди, партнёры, можно сказать...

— Странное партнёрство: вы мне врёте, пытаетесь запугать. С Демидовым у вас так же было, когда наличку через аптеки качали?

— Я ничего не знаю о его делишках, — быстро сказал Василенко. — Мне просто нужны мои деньги. И я хочу сделать вам предложение: если вы поймаете его первым, и деньги будут при нем, просто отдайте мне вот такую сумму.

Взяв карандаш Залесского, он написал на салфетке цифру. Двинул белый квадратик по ярко-красной поверхности стола.

— На остальное я не претендую, — добавил Василенко. — Можете вернуть их своей клиентке. И аптечная сеть останется при ней.

— А если первым его найдете вы? — уточнил Залесский.

— Тогда вам вообще беспокоиться не о чем. Вы и ваша клиентка можете жить спокойно.

«А у Демидова не будет шансов дожить до суда», — понял адвокат. На колкость Василенко он внимания не обратил: пусть хорохорится, что ещё ему остается делать?

— Знаете, даже если вы перестанете передо мной мелькать, я не остановлюсь, — медленно проговорил он. — Буду искать Демидова, потому что он должен ответить по закону. И если найду труп, отвечать будет кто-то ещё. Например, вы. Кстати, за преднамеренное убийство дают больше, чем за обналичку.

Во взгляде Василенко вспыхнула искра ярости, но её притушил страх.

— Я не собирался идти на крайние меры, — пробурчал он.

— Я рад, — сказал Залесский, понимая, что пришла пора пожертвовать пешкой. А иначе, как пешку, он Василенко не воспринимал — за ним явно стоят другие фигуры, и деньги, которые украл Демидов, наверняка принадлежат им. Кроме того, цели засадить Василенко у него не было — главное, чтобы за решеткой оказался человек, так подло поступивший с Татьяной.

— И я был бы рад ещё больше, если бы вы всё-таки сообщили мне, если найдёте Демидова первым, — сказал юрист. — Тем более, ваше участие в обналичке ещё нужно доказать, что бы там ни начал рассказывать Демидов. Вряд ли наша доблестная, но очень ленивая полиция будет слишком глубоко копать. Это мы, частные адвокаты, привыкли работать быстро и качественно. Но и у нас есть возможность держать язык за зубами и советовать то же другим. Вы понимаете, к чему я?

Василенко кивнул, задумчиво вертя в руках карандаш.

— Хорошо, что понимаете. Надеюсь, что и с памятью у вас проблем нет. Вы же знаете, я в курсе ваших дел. И кое-кто ещё в курсе. Результаты внутреннего аудита, который был проведён в аптеках, очень показательны. А отсутствие на складе дорогостоящих препаратов, которые вы якобы продавали Демидову через подставные фирмы, говорит само за себя. История с поддельными лекарствами тоже великолепна и касается вас напрямую. Но всё это всплывёт в двух случаях: если что-то случится с Татьяной, или если вместо Демидова найдут его тело.

...Распрощавшись с Василенко, Залесский вернулся в гостиницу. Открыв ноутбук, загрузил страничку Алёны. Сердце радостно стукнуло: сегодня, впервые за две недели, она

появлялась на сайте! И сообщение выглядело прочитанным. Но ответа нет.

Разглядывая её страничку в поисках нового или не замеченного ранее, Залесский думал о словах Василенко. Как его шавки выследили Таню? Насколько близко подобрались? Стоит ли рассказывать ей, оставляя наедине со страхом? Стоит ли снова срывать её с места?

Он посмотрел на фотографию Алёны, и сказал, будто она могла услышать:

— Пожалуйста, выйди на связь! Богом клянусь, я ничего тебе не сделаю, просто выведи на этого ублюдка! Я должен спасти мою Таню...

И, словно в ответ на его слова, всплыло окошко сообщения: «Здравствуйте, Егор! Да, я знаю латынь и немного разбираюсь в старых книгах. Могу помочь узнать, что именно вы нашли. Но для этого нужно больше фотографий, особенно хотелось бы увидеть фото обложки». Потерев руки — задрожали вдруг, стали слабыми — Залесский набрал: «Спасибо, что откликнулись на мою просьбу! Фото я сделаю, но, понимаете, книга без обложки. Может, лучше встретиться и я вам ее покажу?» Ответ пришел быстро: «Я позвоню вам завтра во второй половине дня, договоримся, где и когда. Но учтите, у меня только один вечер свободный, на следующий день уезжаю, и очень надолго».

Створка окна раскрылась, глухо стукнув, потянула за собой в комнату отражение небесной синевы. Татьяна осторожно высунулась, глянула вниз. Всё той же разноцветной картой из настольной игры лежит двор: желтые дорожки, зеленые скамейки, квадрат песочницы, красная крыша домика на детской площадке. Заплаканные деревья клонят ветви к мокрым спинам машин. Над потемневшим асфальтом движется цветастый женский зонтик, под ним — напряженный белый локоть, желтое платье и остроносые туфли, брезгливо обходящие лужи. И никого больше.

— Юра, здесь всё спокойно, — сказала Таня, крепче прижимая телефон к уху. Картинка внизу была такой мирной, что в опасность не верилось.

— И всё же я прошу тебя не покидать квартиру, — Залесский старался быть мягче, но тревога истончала эту мягкость, выступала из-под неё холодным стальным остовом. — Милая, не упрямясь. Сама посуди, никто из нас не знает, на что способен Василенко.

«Если речь о деньгах — вообще на что угодно», — с горечью подумала она, но говорить об этом не стала: незачем волновать Юру ещё больше. Спросила, чтобы отвлечь:

— Как ты сам? Как Алла Петровна?

Он принялся рассказывать, и Татьяна закрыла глаза, слушая в его голос: тёплые звуки, будто тяжелый шерстяной плед, в который укутывает любящий человек. В легком выдохе повисло невысказанное: она соскучилась по нему жутко, болезненно, и тосковала безмерно — но молчала, потому что у него и без этого забот хватает, он бьётся где-то там за неё, вместо неё, а она сидит в своей башне... Которую уже, быть может, караулит какой-то дракон.

— Хорошо, что вы в порядке, — бодро сказала она. — Я тоже замечательно. Не волнуйся, буду сидеть дома столько, сколько нужно.

— Я рад, что ты понимаешь, — в голосе Залесского слышалось облегчение. — И ещё. Когда придёт Михалыч, позвони с его номера Яне. К ней приходила твоя мама, просила что-то передать.

Таня напряглась, ведь это было странно — Янка и мать не терпели друг друга, с чего вдруг им встречаться? Может, у родителей случилось что — болезнь, несчастье? Холод сковал гортань, потёк под рёбра и улёгся внутри сердца — там и останется, пока всё не выяснишь.

— Спасибо, позвоню, — сказала она, стараясь не выдавать волнения. И добавила, уже с полнотой чувств: — Юрочка, береги себя, пожалуйста. Помни, как ты мне нужен.

Он ответил — что-то успокаивающее: осталось недолго, он почти добрался до Макса, скоро прилетит за ней, и незачем переживать — и отключился. Несколько минут она стояла в безмолвии, всё ещё чувствуя тепло его голоса, погруженная в него, как в негу — где счастливо, надежно и безопасно.

А потом, будто вбивая в стену тишины длинные гвозди — хищные острия выскакивают прямо перед лицом, заставляя отпрянуть и сжаться — кто-то требовательно застучал в дверь.

Татьяна замерла, сжав телефон. Нервно сглотнув, едва не закашлялась, и торопливо зажала ладонью рот.

Воображение услужливо нарисовало тёмную фигуру с крысиной мордой и рыжими, мертвыми, как пакля, волосами. И черную, затягивающую в себя, дыру пистолетного дула,

наставленного на неё через дверь.

Василенко?!?

Стук повторился. В спину дунул солоноватый ветер, по-хозяйски заскочивший в окно. Таня оглянулась на открытую створку, затравленно сжалась: третий этаж, куда тут сбежишь... За дверью что-то стукнуло, кто-то забормотал, и вдруг — заплакал ребенок. И этот плач будто разморозил её. Демидова бросилась к двери, глянула в глазок и открыла, облегчённо выдохнув тяжёлую ледяную глыбу страха.

— Татьяна, помогите, пожалуйста! — Наталья ввалилась в квартиру, держа в правой руке люльку с извивающейся, голосящей Викой. — Она, как вы ушли, ревёт без передыху! Знаю, я вам выходной дала, но я вам ещё день оплачу! Только успокойте ее, я же с ума сойду от этого крика!

Таня схватила люльку, едва не заплакав от радости: да разве это проблема — по сравнению с тем, что могло быть?... Поставив её на столик в прихожей, быстро отстегнула ремешки, удерживающие ребенка, и взяла девочку на руки. Прижала к себе, прикоснулась губами ко лбу: температура есть, но небольшая. Понесла хнычущую Вику в комнату, положила на диван, ласково приговаривая:

— Ну не плачь, не плачь, моя рёвушка! Сейчас мы тебя посмотрим, сейчас узнаем, что нашу Викульку беспокоит!

Расстегнув распашонку, осмотрела кожу, потрогала животик — здесь всё было хорошо. Заглянула в ротик — дёсны были чистыми, но, вроде бы, чуть припухшими.

— Я сейчас, только руки помою, — сказала она Наталье. — Проследите пока, чтобы Вика не упала.

В ванной она капнула на ладонь жидкого мыла, растерла в пену, сполоснула водой. Сорвала полотенце с вешалки и вернулась в комнату, на ходу вытирая руки. Наталья подняла на неё беспомощный взгляд, и Таня вдруг осознала, что та при полном параде — накрашена, волосы уложены, хотя по утрам та обычно ходила нечесаной неумытой. Только на плече её шелковой пижамы темнело влажное пятно — похоже, Вика срыгнула после кормления. Но маникюр был свежим, и духами от неё пахло. «Будто ждет кого-то важного. И выходной мне на сегодня дала, точнее, навязала. Наверное, Викин отец приедет — тётя Аля ведь говорила, что он не любит, когда его видят чужие», — думала Демидова, склоняясь к ребенку. Осторожно приподняла пальцем верхнюю губку девочки, оттянула нижнюю, потрогала дёсны. И облегченно выпрямилась:

— Похоже, зубки режутся.

— Так рано? — удивилась Наталья. — Ей ведь ещё четырех месяцев нет!

— Некоторые вообще зубастиками рождаются, — улыбнулась Татьяна. — И да, у большинства первые зубы появляются месяцев в шесть. Но если у мамы или папы они выросли в более раннем возрасте, то и ребенок в этом плане будет акселератом.

— Я сейчас спрошу у её отца, — торопливо сказала Наталья и, вынув смартфон из кармана пижамы, набрала номер. Застегивая крохотные пуговички на распашонке Вики, Татьяна поневоле слышала разговор.

— Серёжа, ты уже прилетел? Ну, хорошо, мы ждём. Слушай, я тут с детским врачом, скажи, у тебя когда молочные зубы прорезались? Просто я думала, что Вика заболела, у нее температура поднялась... — и вдруг взвизгнула: — Да не простужала я её! Помню я про сердце! Да не ори ты! Мы не в больнице, а дома! И эта врач наша соседка... На, сам поговори!

Раздраженно протянув трубку Татьяне, она обиженно пробурчала: «Сидел бы сам в декрете, умник!» Демидова взяла Вику на руки — та напряженно сосала кулачок, насупив тёмные бровки — и, покачивая ребенка, прижала телефон к уху.

— Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я врач-педиатр, — спокойно сказала она. — Вы что-то хотели узнать?

— Что с моей дочерью? — резко спросил мужчина. На заднем плане был какой-то шум: бормотание радио, гул машин, автомобильные гудки. Будто он едет по городу.

— Ничего страшного, не волнуйтесь, — ответила Демидова. — Думаю, зубы режутся отсюда и температура.

— Высокая? — он явно разволновался ещё сильнее.

— Пока нет, но даже если поднимется, ничего страшного.

— Доктор, вы поймите — у Вики было больное сердце, ей недавно сделали операцию! Сказали, иммунитет может быть снижен, и любая простуда может дать осложнения, а этого допускать нельзя! — во властном голосе мужчины явно звучал страх. — Вы скажите, что нужно: анализы, лекарства — любые, и за любые деньги!

— Вас же Сергей зовут? — уточнила Демидова. — Так вот, Сергей, не стоит так волноваться. Я знаю о диагнозе вашей дочери, наблюдаю за ней почти месяц, и могу с уверенностью сказать, что её здоровье в норме. И сердце в порядке, и иммунитет. Если бы это было не так, всё проявилось бы задолго до сегодняшнего дня.

— Вы точно ничего не скрываете? — этот мужчина словно просил, чтобы его успокоили ещё раз — и в то же время не до конца доверял ей. Татьяна улыбнулась: она знавала таких отцов, трясущихся над детьми, как папы-пингвины. Всё равно никому не поверит, пока сам не убедится, что ребенок жив и здоров. Хороший отец, не равнодушный. Странно, что такой держит дочку на расстоянии...

— Не считаю правильным врать родителям, — ответила Демидова. — Уверена, что это просто зубы. Вы не знаете, у вас они рано появились?

— Никогда не спрашивал об этом, — растерянно ответил Волегов. — А сейчас и узнать не у кого...

— Это не так важно, — поспешила успокоить Татьяна. — Я бы вообще не стала вас беспокоить по такому незначительному поводу, ваша жена сама изъявила желание позвонить.

— Жена? — голос на миг стал настороженным, но потом в нем послышалось понимание: — Ах, да... Я понял. Нет, вы уж, пожалуйста, звоните. По любому поводу. Мне очень важно знать, как себя чувствует Вика. Скажите, а вы просто соседка, или участковый педиатр?

— Ну, мы живем на одной площадке, — ответила Таня, — а так я няня вашей дочери, но с дипломом и опытом детского врача.

— Няня? — удивился Сергей. И сказал уже другим тоном, холодно и отстраненно: — Дайте-ка мне Наталью, пожалуйста.

Таня протянула ей трубку, уловив выражение досадной неловкости, мелькнувшее на лице женщины. Глянула на Вику — та продолжала сосредоточенно сосать кулачок. И услышала:

— Да, Серёжа... Послушай, я тебе всё объясню. Да, я взяла няню, потому что моя мама не справляется... Ну, конечно же, я с ней! Да не бросаю я ребенка! Вечно ты обо мне плохо думаешь! Да я ночей не сплю...

Быть свидетелем семейной ссоры не хотелось. Татьяна подмигнула Вике и сказала как можно веселее:

— Пойдем на кухню, малышка, посмотрим, что интересного там найдется!

И вышла из комнаты, деликатно прикрыв дверь.

Девочка снова заплакала, будто чувствуя, что родители ссорятся. Пытаясь её отвлечь, Таня доставала из шкафа кружки и блюда, показывала ребенку, жалея, что в доме нет ни одной игрушки — но Вика не унималась, недовольно крутила вспотевшей головёнкой, морщилась и вопила. Подошедшая Наталья попыталась взять ее на руки. Но девочка заревела ещё сильнее.

— Нужно ей десны специальным гелем намазать, и дать прорезыватель, — сказала Демидова. — Есть у вас всё это?

— Я не покупала. Думала, рано ещё, — оправдывалась Наталья. — Может, вы сходите в аптеку?

«Юра просил не выходить из квартиры», — вспомнила Татьяна. И твердо сказала:

— Позвоните мужу, пусть привезёт.

Наталья замялась:

— Татьяна, я вас очень прошу! Боюсь, что мне опять от него влетит, — плаксиво сказала она. — Скажет, что я плохая мать, раз не запаслась всем необходимым... А он с минуты на минуту приедет. И мама к подруге в Широкую балку уехала, некого мне больше попросить.

— Я не могу... — пробормотала Таня.

— Ну что мне, с Викой идти? — ныла Наталья. — Это переодеваться надо, ее одевать... Да и не хочу я дочь на воздух выносить, раз ей нездоровится.

Татьяна глянула на девочку — её маленькое личико покраснело, в уголках васильковых глазок блестели слёзы. Внутри заворочалась неуверенность: с одной стороны, не хотелось нарушать обещание, данное Залесскому, с другой — до аптеки пять минут. Кроме того, там можно купить не только лекарства для Вики, но и кое-какие средства гигиены — для себя. Ведь неизвестно, как долго придется просидеть взаперти. А если с этого дня её запасы начнет пополнять Михалыч, о некоторых покупках ей будет неудобно просить мужчину... Татьяна глянула в окно — во дворе лишь стайка школьников и пожилая пара на скамейке.

— Хорошо, — решила она.

Они покинули квартиру вместе: Наталья пошла к себе, а Таня, в джинсах, клетчатой рубашке и тёмных очках, спустилась вниз.

Выходить из подъезда было страшновато. Но, оказалось, страх был напрасным: кроме старичка с болонкой, на пузе и лапах которой темнели грязные кудряшки, ей никто не встретился. До аптеки Таня прошла дворами — благо, было недалеко. Купила у армянина-провизора всё, что было нужно, и рысью побежала домой. И, вроде бы, могла добраться без приключений... Но, проходя через детскую площадку, услышала обиженный детский вскрик и густой мужской голос:

— Тебе не стыдно? Не стыдно?...

Миновав ярко раскрашенный фанерный домик, Татьяна увидела высокого мужчину в спортивной одежде и черной кепке: он держал за плечи вихрастого пацана лет десяти. Нависая над ребёнком, говорил прямо в лицо, но не пугал — пытался достучаться. Рядом, размазывая слезы острыми злыми кулачками, всхлипывала темноглазая армянская девочка с желтыми бантами в роскошных иссиня-черных косах.

— И как теперь мешок доставать? — спрашивал мужчина, тыча пальцем куда-то вверх. — Ты полезешь? Хватит смелости? Или ты смелый, только когда девочек обижаешь?

Остановившись, Таня задрала голову — в ветвях высокого дерева, растущего возле детской площадки, болтался серый мешок из плащёвки. Такой же свисал с плеча мальчишки.

Пацан насупился и ответил с вызовом:

— Ну и полезу!

— А я не пушу! — в тон ему ответил мужчина. — Свалишься, шею свернешь — и что потом? Давай договоримся по-мужски: ты перед девочкой извинишься, а я мешок достану, так уж и быть. Тебя как зовут?

— Семён, — просопел мальчик.

— А тебя? — мужчина обернулся к девочке.

— Наринэ, — всхлипнула та.

— Ну вот, Семён, извинись перед Наринэ! — приказал мужчина, бросив рассеянный взгляд на Татьяну. Его глаза под длинным козырьком кепки показались ей усталыми, голос звучал властно и нетерпеливо — как у человека, привыкшего повелевать. Он чуть подтолкнул мальчика, и тот забубнил, глядя в землю:

— Наринэ, извини меня, пожалуйста...

— Нет! Ты потом опять будешь обзывать и отбирать мои вещи! — всхлипывая, выкрикнула девочка, и замотала головой. Желтые бантики запрыгали на её плечах, как два сердитых цыпленка. Таня подошла к ней, тронула за руку:

— Наринэ, милая, мальчишки часто делают глупости. Ты уж прости Семёна, — попросила она и, наклонившись, шепнула на ухо девочке: «Думаю, ты ему нравишься, а он просто не знает, как тебе об этом сказать. Так часто бывает. А сейчас прости его, надо учиться прощать людей».

Наринэ нерешительно посмотрела на неё. Вынув из сумки салфетку, Татьяна вытерла её слезы и ободряюще улыбнулась. Девочка несмело улыбнулась в ответ.

— Ладно, — потупилась она. Но тут же вскинула голову и строго сказала мальчику: — Только чур больше так не делать!

— Не буду, — виновато кивнул тот. — Дяденька, а вы правда её мешок достанете? Там сменка, нас в школу без нее не пустят, мы во вторую сегодня учимся. Ей попадёт от училки, а потом дома.

— Ну, герой, — мотнул головой мужчина, — о таких вещах надо думать до того, как чужие вещи закидываешь, откуда достать не можешь!

Он подпрыгнул и ухватился за ветку. С покачнувшегося дерева сорвались капли воды, запахло умытой зеленью, ветром и летом. Дети взвизгнули — удивлённо и радостно. Мужчина, фыркнув, резко мотнул головой, по-собачьи стряхивая капли. Подтянувшись, сел на ветку верхом, а потом осторожно встал, держась за другие ветви. Сделал пару шагов и всё-таки дотянулся до мешка — но тот застрял.

— Проблема, — сказал мужчина, глядя на них сверху.

— А вы его порвите, дядя, — ответил мальчик. И пояснил, повернувшись к Наринэ: — Я тебе свой мешок отдам, чтобы тебя не наругали. Главное — достать, что внутри.

Девочка удивленно округлила глаза, затем кивнула.

Мужчина рванул мешок на себя, ткань затрещала, и на дорожку свалились белые кеды и белые же носочки — совсем новые, в прозрачной упаковке. Семён вытряхнул из мешка свою сменку, вложил в него вещи Наринэ и протянул девочке.

— Я дома скажу, что свой порвал. Пусть мне попадёт, раз я виноват.

— Молодец, Семён, мужской поступок, — спрыгнув с дерева, похвалил мужчину. И снова глянул на Татьяну — полувопросительно, будто желая знать, почему она до сих пор здесь стоит. Та отвела взгляд, погладила Наринэ по плечу:

— Ну, всё, бегите в школу, и больше не ссорьтесь, — сказала она. И ребятня, как ни в чем не бывало, побежали к проходу между домами.

Татьяна посмотрела на мужчину, и вдруг ощутила неловкость.

— Спасибо, что помогли им, — сказала она и пошла к своему подъезду.

А незнакомец двинулся за ней.

У двери подъезда она остановилась, нащупывая в сумочке ключ от домофона. И поняла, что мужчина стоит прямо за спиной — едва не дышит в шею. Чужие люди редко подходят так близко — не каждый решится переступить невидимую черту личного пространства. Вторгнуться может или беспардонный, слишком самоуверенный — или тот, кто по какой-то причине счел тебя за свою. «Но он не похож на нахала, и я его не знаю... — подумала Татьяна. И тут же, будто сталь капкана в траве, блеснуло подозрение: — А, может, он знает меня?...»

Страх пробежал по спине, заскреб когтистыми лапками. С чего она взяла, что Василенко придёт за ней сам? Ведь ясно же, что пошлет кого-то! Или уже послал — вот этого, который лазит по деревьям легко, как дикарь. Боясь обернуться, она вспомнила, как выглядит её неожиданный спутник: высокий, плечистый, спортивный. Брюки и куртка — явно дорогие, не с рынка. Умный, усталый взгляд... и хорошая физподготовка. Волосы... Таня вдруг сообразила, что не видела волос даже на его затылке. Значит, бритый — будто уголовник. Но говорит и ведет себя, как влиятельный человек... или как бандит, уверенный в своей безнаказанности?

Ладони вспотели, мурашки побежали по плечам, асфальт под ногами дрогнул — будто превратился в брезент, натянутый над бездной.

Ч-чёрт, ну зачем, зачем она вышла из дома?!

Мысли заметались, как в лихорадке. Войти с ним в подъезд? Нет, если это человек Василенко, она окажется в ловушке. Закричать? Глупо, вдруг он просто один из соседей. Теперь она жалела о том, что во дворе было почти безлюдно — пожилая пара на скамейке всё равно ничем не поможет, старичок с болонкой тоже не защитник... Попробовать взять хитростью?

Она глубоко вздохнула, и, набравшись смелости, повернулась, глянула на мужчину в упор.

— А вы здесь живёте? — спросила Демидова.

— Нет, — сухо ответил он.

— Я, кажется, ключ забыла, — Таня сделала крохотный шаг в сторону.

— Ничего, сейчас откроют, — ответил он и начал набрать на домофоне номер квартиры. Ответила женщина.

— Я приехал, открывай, — сказал мужчина — будто скомандовал.

«Значит, всё-таки местный, — Татьяна облегчённо выдохнула, чувствуя, как колотится сердце. — Впрочем, можно было сразу понять, бандит бы не стал воспитывать чужих детей, прошел бы мимо...»

Замок щелкнул, и они зашли в подъезд. Таня нажала на кнопку лифта, снова чувствуя лопатками взгляд мужчины. Вошла, когда дверцы открылись. А он шагнул следом.

— Мне на третий, — сказала Татьяна, снова ощущая неловкость.

— И мне, — откликнулся мужчина.

Кабина дрогнула и загудела. Таня считала секунды: один, два, три...

— А что вы той девочке сказали? — вдруг поинтересовался мужчина. Татьяна вздрогнула и подняла на него удивлённый взгляд. Тёмно-карие глаза — почти черная радужка, пожелтевшие склеры с сеточкой красных сосудов — смотрели на неё изучающе. Но во взгляде, помимо любопытства, была и некая холодность, надменность. Будто он привык смотреть на других свысока, ощущая собственное превосходство. И привык, что на его вопросы отвечают.

— Я сказала, что надо уметь прощать. Особенно мужчин, потому что они часто делают глупости из-за любви.

Попутчик усмехнулся, в глазах мелькнуло что-то... Понимание? Одобрение? Согласие?

...

— Нужный урок для девочки, — кивнул он и первым вышел из лифта.

Глядя в его спину, Татьяна с удивлением поняла: он направляется к квартире Натальи. Значит, это и есть Сергей? Тот самый Сергей, о котором говорили страшные вещи? Что он завел вторую семью, а потом выслал свою любовницу и дочь из Москвы. Что он то ли министр, то ли крупный бизнесмен, которому деньги и власть дороже ребенка. Что, может быть, у него куча детей, потому он так легко отправил сюда Викульку. И что Наталья к его приезду выпроваживает из дома даже родную мать: он не желает, чтобы его хоть кто-то видел — будто прячется.

Но Таня только что видела, как он общался с чужими детьми — совсем не как равнодушный, эгоистичный человек! Не поленился залезть на дерево ради того, чтобы у незнакомой девочки не возникло проблем... Убедил мальчика извиниться... Да и свою дочь он любил: по телефону Таня слышала в его голосе неподдельную тревогу за Вику, готовность сделать для неё всё, что угодно.

«Этот Сергей непростой человек, — подумала она. — Но вряд ли его можно назвать плохим».

Держа Вику на руках, Волегов прошелся по квартире, придирчиво осматривая каждый угол. Чистота, уютный запах еды, и сама Наталья — в красивом домашнем платье, с причёской и макияжем, будто домохозяйка с картинки — всё это должно было произвести впечатление. «Может, почувствует себя, как дома, увидит, как хорошо и со вкусом я всё обставила, и не захочет уезжать сегодня, — надеялась она. — Я ведь не могла показать ему раньше, на съемных квартирах, что способна прекрасно вести дом. Так пусть узнает меня с новой стороны... А там — кто его знает, как сложится?» Только вот из-за Вики всё пошло не так: встреча оказалась смазанной, пришлось сунуть плачущего ребенка Волегову и выскочить из квартиры, чтобы забрать лекарства у Татьяны — а потом ещё возиться, меняя дурно пахнущий памперс. В итоге Сергей сконцентрировал всё внимание на дочери, и гонял Наталью то за градусником, то за лупой — когда она хотела дать Вике ложку панадола. Забыл очки, но пожелал разобраться с инструкциями к лекарствам. И, как оказалось, не зря — полная ложка была бы для трёхмесячной девочки слишком высокой дозой. К тому же, в коробке лежал мерный шприц, который Наталья впопыхах не заметила. Сергей сам дал Викульке лекарство и качал её на руках, задумчиво глядя, как Наталья суетится, намазывая десны дочери гелем, засовывая в стерилизатор прорезыватель и убираясь на пеленальном столике. Взгляд Сергея мрачнел всё больше, и она ёжилась, ощущая вину — но не понимая, в чем виновата.

Когда Вика перестала плакать, Наталья предложила ему посмотреть квартиру. Провела на кухню, с гордостью показав новый гарнитур. Приподняла край льняного полотенца, прикрывавшего пирог — испеченный мамой, но об этом Наталья говорить не стала. Впрочем, Волегов есть не хотел, сказал, что, может быть, чуть позже выпьет чаю. Тогда она показала гостиную, санузел, мамину комнату и свою спальню. Сергей не выказывал неодобрения, наоборот — присматривался к вещам, спрашивал, она ли выбирала. И на несколько минут ей показалось, что план работает. Особенно, когда он, наконец, вынес вердикт:

— Да, ты права, это гораздо лучше дома твоей матери. По крайней мере, есть все удобства.

И Наталья, таскавшаяся за ним виноватой тенью, тут же воспрянула. Разулыбалась, затараторила радостно:

— Ну вот, а ты говорил — неизвестно на что твои деньги трачу!

— Да уж вижу, на что, — сказал он с непонятным выражением. И, вздохнув, добавил: — Викуля засыпает, пора укладывать.

Она прошла за ним в комнату дочери, и всё допытывалась:

— Ты посмотри повнимательнее, как я детскую обставила. Хорошо ведь, уютно?

Волегов скользнул взглядом по белоснежной мебели, пушистому ковру на полу, фестончатым занавескам. Кивнул на синий фланелевый халат, лежащий на спинке большой кровати, стоящей рядом с детской кроваткой. И сказал — как припечатал:

— Не твой.

Она открыла рот, чтобы что-то соврать, но натолкнулась на его взгляд — потемневший, хмурый. И вдруг поняла, что всё зря: и платье, и пирог, и двухдневное вылизывание квартиры. Что повела себя, как клуша, перечитавшая дамских журналов — или как

посетительница зоопарка, вздумавшая приручить медведя при помощи куска сахара. И разочарованно сникла.

— Ты всё-таки взяла няню, но продолжаешь мне врать, — Сергей поднял руку, пресекая её возражения. И хмуро спросил: — А сами что же? Неужели так тяжело, ведь у тебя мама и помощница? Вполне могли бы справиться с ребёнком. Девочке нужна забота родных людей, а не проходящих с улицы.

— Серёжа, я никого не брала! Эту соседку мама привела, буквально навязала: мол, детский врач будет под боком, удобно же! А как я откажу маме? Она же старенькая, лучше уж уступить.

— Ну да, и есть кого за лекарствами гонять, тебе же некогда, — усмехнулся он, выразительно глянув на пакет с логотипом аптеки, который Наталья принесла от Татьяны. — Не отпирайся, я видел его в руках твоей соседки. Слушай, почему ты всё время врешь? Неужели всё ещё думаешь, что меня можно облапошить?

Наталья замаялась. Ведь хотела показать, как заботится о дочке, как въёт семейное гнездышко, хозяйничает... А его не впечатлило. Он ещё и повернул всё так, словно она — круглая дура. Насчет лекарств, оказывается, уже тогда всё понял. Всегда был проницательным, сволочь.

— Не могла же я с больным ребенком идти на улицу... — начала оправдываться она, но, наткнувшись на презрительный взгляд Волегова, умолкла.

— Я уже говорил, что в доме должен быть запас лекарств! Тебе хоть что-то доверить можно? — сердито спросил Сергей. Осторожно уложил осоловелую Вику в кроватку, придвинул к ней забавную грелку-медвежонка. И больше приказал, чем предложил: — Давай в другую комнату, хочу обсудить кое-что.

Прикрыв за собой дверь, он прошел вслед за Натальей, и раздраженно двинул бровью, поняв, что она ведёт его в спальню. Специально сел на золотистую банкетку, стоящую возле трюмо — подальше от бывшей любовницы. А та улеглась на кровати — якобы устав, но так подперев рукой грудь, что она округлилась в ворота платья соблазнительным холмиком. Вытянула ноги, как бы ненароком демонстрируя золотую цепочку на лодыжке. Волегов отвёл глаза.

— Я помню, что говорил тебе, будто вы сможете вернуться в Москву, когда шумиха с выборами уляжется, — начал он, рассеянно глядя в приоткрытое окно — там, в яркой лазури южного неба, летел белохвостый самолёт. — Но ситуация изменилась. Мне предложили пойти дальше. Через год будут следующие выборы. Со всеми вытекающими.

Наталья приподнялась, неловко сцепила руки. Попыталась улыбнуться, но вышло криво, невесело.

— Что ты имеешь в виду? — спросила, уже предчувствуя недоброе.

— Что вам нужно остаться здесь как минимум на пять лет, — Волегов взглянул ей в лицо. — Но я не смогу приезжать так же часто, как раньше, потому что внимание к моей персоне возрастет. И любой прокол...

— То есть ты нас бросаешь? Теперь уже — окончательно? — ахнула она. Её ноздри дрогнули, в прищуре глаз колючей льдинкой мелькнула бессильная ненависть. — А ведь я знала! Знала, что наиграешься!

— Не драматизируй, — оборвал Волегов. — Тебе не на что жаловаться. Я буду обеспечивать вас ещё лучше. Твоя оплата возрастет...

— Не говори обо мне, как о проститутке! — взвизгнула она. — Ты итак держишь меня

при своём ребенке, как корову, которая даёт молоко и следит, чтобы телёнок был здоров!

Он тяжело поднялся, повернулся спиной, опершись руками на подоконник. Широкие лопатки под тонкой тканью футболки, крепкие загорелые руки, мощный затылок с красной складкой у шеи — сильный, привыкший подчинять. И тон — ледяной, непререкаемый:

— Если тебе это не нравится, я могу освободить тебя от хлопот.

Наталья непонимающе уставилась ему в спину.

— То есть?...

Волегов бросил через плечо:

— Могу забрать Вику.

Она растерялась. Смотрела, ничего не понимая. Он повернулся, скрестил руки на груди. Взгляд — осуждающий, тяжелый — смутил её, и без того всегда ощущавшую их неравенство. Будто она рвалась из грязи в князи, а он — князь чистокровный — видел, что пропасть широка, а её ноги коротки. Не та порода. Куриная, не орлиная.

— Как — забрать? — спросила она, и вопрос прозвучал глупо.

Волегов поджал губы, с шумом выпустил воздух через нос.

— Я не дурак, Наташа. И вижу, что ребёнок тебе в тягость.

Наталья сжалась, как от пощёчины. Получается, он всё это время знал? Видел, как её мучает это нежеланное материнство? Чувствовал, что она так и не смогла полюбить их ребёнка? Стыд горячо дохнул на её щеки, влился в горло, затопил душу. Ей захотелось что-то сказать, как-то оправдаться... но она не смогла. Внутри росло странное чувство, будто он видит её насквозь — словно, стоит ей соврать, у неё начинает расти нос или рога с копытами. И она молчала.

— Мне нужно утрясти кое-какие дела, — продолжил Волегов, — а потом ты напишешь отказ от дочери, я стану усыновителем и увезу её в Москву. Ты получишь долгожданную свободу и очень хорошую материальную компенсацию. А ещё будешь знать, что ребенок прекрасно устроен. И кошелек полон, и совесть спокойна. Плохо ли?

— А мы с тобой?... — невольно спросила она и осеклась, досадуя на себя: ну почему даже сейчас, когда он предлагает её такие вещи, она не сказала другое!.. Например: «Как я буду без дочери?», или просто «Как ты можешь?» Что-то, что прозвучало бы гневно и праведно — а не эгоистично, как сейчас.

— Я женатый человек, Наташа, — просто ответил он. — И ты всегда об этом знала.

Она подавленно молчала, только бессильная злость костенела внутри. Возразить было нечего: Волегов действительно никогда не обещал ей уйти из семьи. Если бы не беременность, они расстались бы уже год назад, и он вряд ли бы помнил её имя. Да и сейчас он рядом только из-за ребенка. И хочет уйти, потом что она, как мама его дочери, не оправдала надежд. «Но разве я виновата в этом? — тоскливо подумала она. — Ведь я пыталась! Пыталась её полюбить! И грудью кормить продолжила, и в больнице с ней честно отлежала, и все эти сюси-пусы... А он за это вышвырнул нас из Москвы! Так кто виноват, что я не чувствую к дочери ничего, кроме раздражения? Ты говоришь, ребенок мне в тягость — и да, ты прав, прав! Но посмотри на себя: ты являешься, когда захочешь, спокойно занимаешься своими выборами... А попробовал бы не поспать ночами, повозился бы с ребенком, забросив все свои дела! Может, понял бы, что тебе она тоже — в тягость?»

Но она не смогла сказать всего этого. Просто не смогла. Только устало спросила:

— Почему ты захотел её забрать?

— Видишь ли, я с восьми лет рос без матери и очень страдал от этого. Думал, судьба

меня обделила, — задумчиво сказал Сергей. — А сегодня вспомнил, как она удирала на работу, когда я заболел. Даже чай мне приготовить не могла. Не то, что за лекарством сходить. И знаешь, что я делал?

— Что?

— Зимой, в мороз, я выходил на улицу и ел рябину, потому что где-то прочитал, будто птицы ею лечатся. Она горчила, была сухой и заледеневшей, но я её ел. Глотал эти холодные жёсткие ягоды, упрямо веря в то, что они помогут. И никто меня не останавливал — потому что некому было остановить.

— А потом?

— Загребел в больницу с пневмонией. Месяц лежал, — ответил он. — Мать приходила всего два раза.

В повисшей тишине — липкой и противной, как паутина — застыла его давняя боль. И что-то сказать бы в утешение, хоть какую-то анестезию придумать... Но Наталья не сумела найти подходящих слов.

— Думаешь, она не любила тебя? — несмело спросила она. И не выдержала — задала главный вопрос, который ворочался в ней последние три месяца, тяготя стыдом и загоняя в моральный тупик — будто в комнату кривых зеркал, где из сотен отражений вылезало её душевное уродство: — Думаешь, так бывает? Что родная мать не чувствует к ребенку ни капли любви?

— Всё бывает, — помолчав, Волегов поднял на неё тяжелый взгляд. — По крайней мере, я точно знаю, что ребенку лучше жить с человеком, который его любит. И не пытается отделаться, свалив все заботы на нянюшек и бабушек.

«Это он — обо мне», — поняла Наталья. И отвела глаза, даже не попытавшись защищаться. Не было смысла ни притворяться, ни протестовать — если этот человек захочет, он получит всё и без её согласия. Слишком уж он силен, слишком влиятелен — а кто она против него?

— Так что лучше отдай, — добавил он, будто прочитав её мысли.

«А может, это выход? — вдруг подумала она, и эта мысль принесла облегчение. — Может, действительно отдать ребенка и не мучиться ещё пять лет? Ведь не предскажешь, что будет. Может случиться так, что Волегов перестанет интересоваться дочерью. Или заведет ребенка от другой женщины. А ещё он может уехать из страны, оказаться в тюрьме, умереть — мало ли, какая у него судьба? И что тогда? А если я отдам ему Вику, смогу начать всё заново. Найду любящего мужчину, действительно любящего, который будет меня ценить и решать любые проблемы. Выйду замуж, рожу желанного ребенка... Ещё можно успеть всё».

— Если я соглашусь, куда ты с ней? — смущенно спросила Наталья.

— Отвезу Аняте. Знаешь, она захотела ребенка. Ей сделали операцию, и скоро она начнет ходить, сможет заботиться...

— Что???

Её будто ударили по затылку — неожиданно, сильно, подло — и она замотала головой, морщась, как от контузии. Его слова оглушили, смяли её в ком.

«Отвезу Аняте, она захотела ребенка».

Захотела... Будто щенка... И Волегов тут же готов принести его в зубах.

И вдруг она поняла, что надежды больше нет. Работа, жена и ребенок — всё, что ему нужно. И в этом мире для неё, Натальи, места нет. Нет. И не было никогда.

Он всегда будет с женой. Всегда. Хоть какая она — на своих двоих, или в инвалидной

коляске. И его жена тоже будет с ним, что бы Наталья ни делала. Можно сколько угодно посылать ей газетные статьи про его измены, можно даже прийти и показать: вот его дочь, а вот я, его любовница... Это не сработает. Почему-то эти двое всегда вместе, их связь крепка... но почему? Почему она такая, что её ничто не способно разрушить? И почему его жена — а ведь она, скорее всего, видела то письмо с фотографиями газеты — прощает ему всё?

«Да потому что он приносит ей всё, что имеет, — подумала она. — А меня кормит объедками. Будто беспородную дворнягу, случайно забежавшую на барский двор!»

И она заорала, уже не думая о том, что будет выглядеть постаревшей и некрасивой, что покажется отвратительной истеричкой, что разбудит ребенка:

— Ты хочешь отдать мою дочь этой инвалидке? Ты чокнулся, Волегов?

— Не смей! — он побледнел, тяжело двинув челюстью. Но Наталья не собиралась останавливаться. Ей стало плевать на всё, кроме того, что этой его жене, которой итак досталось самое лучшее — влиятельный муж, обеспеченная жизнь, сценическая слава — ещё и подарят ребенка. Дочку, которую она, Наталья, выносила и родила. Ради которой мучилась, пряталась, терпела придирки! Это что? Это — справедливость? Или он так решил её наказать? Или просто переступает через неё, как через кусок дерьма? Но ведь она живой человек!

— Ты... да я даже не знаю, как тебя назвать! Ты больной, Волегов! Ты редкостный придурок! Ты что думаешь — я бантик тебе принесу, перевязать ребенка? Забирайте, папаша, порадуйте жену, только пройдите через кассу... Ты так обо мне думаешь? Да я сдохну, а этой... этой... инвалидке твоей Вику не отдам! Да я лучше...

Он быстро шагнул к ней и зашипел прямо в лицо:

— Закрой свой поганый рот! Не смей так говорить о моей жене! Вообще не смей о ней говорить!

Она задохнулась от страха, смотрела на него снизу вверх, а его лицо — красное, бешеное, безумное — горело над ней, раскалённое ненавистью. Но её ненависть была сильнее.

— А я скажу, скажу тебе! — закричала она. — Ты всех предал! Ты предал свою жену, когда таскался по бабам, потому что она не могла удовлетворить тебя! А потом предал свою дочь, ты помнишь?... При всех сказал, что это не твой ребенок! Ты, ты это сказал! А сейчас ты предаешь меня, мать своей дочери — а ведь ты умолял меня родить, обещал, что будешь о нас заботиться!

— Я выполнил обещание! Но если бы я знал, что ты окажешься такой хреновой матерью, никогда бы не заключил с тобой сделку!

— Сделку? Очнись, речь о человеке! О ребёнке, ты, мерзкий потный урод!

Волегов на мгновение застыл, тяжело дыша — а потом отстранился. И она увидела, что он опустил занесённую для удара руку.

— Не забывай, с кем разговариваешь, — холодно сказал Сергей.

Распрямылся во весь рост, двинул плечами, будто стряхивая что-то. Пошел к двери. И обернулся лишь на пороге.

— У тебя есть неделя, — сказал он. — Подумай. Ты можешь отдать мне девочку, взять свои деньги, и мы разойдёмся с миром. Или же я заберу её сам, а ты ничего не получишь.

А когда входная дверь хлопнула, Наталья поднялась с кровати, прошла на кухню — злая, стремительная, с высоко поднятой головой и сухими глазами, горящими от невыплаканных

слёз — и, засмеявшись чему-то, налила себе полный бокал коньяка.

Хозяин ювелирной лавки — толстоносый грек в накрахмаленной рубашке и плюшевой бабочке — держал браслет на весу, подняв его за круглый хвостик застёжки. И казалось — густое красное вино стекает с его пальцев, застывая каплями в тонких серебристых нитях.

— Белое золото и красный корунд, — сказал он. — Владелец этого камня никогда не увидит кошмарных снов.

Волегов сунул руку под эту серебристо-рубиновую струйку, и она легла на его пальцы, изогнулась живой змейкой. Карминовая роскошь, так подходящая к черным, цвета южной ночи, Анютиным волосам.

— А есть ли к нему компаньон? — спросил он. — Серьги, кулон... Может быть, кольцо?

— Есть ожерелье того же плетения, но с гиацинтом, — засуетился ювелир. — С красным гиацинтом. Императорский камень, я покажу, и вы сами увидите...

Он вынул бархатный футляр — почему-то из-под прилавка, как контрабанду, и Сергею на миг показалось, что сейчас опустятся шторы, погаснет верхний свет, и табличка на двери перевернется приглашающим «Open» вовнутрь. А грек зашепчет — яростно и глухо: «Такой же носила Мария-Антуанетта, редкий случай, что он попал к нам, берите, второго такого не будет!»

Но обыденность, как всегда, восторжествовала.

— Только сегодня получили, ещё не успели выложить на витрину, — пояснил ювелир. И отщелкнул замочек футляра. По черному бархату, будто заря взошла, заиграли карминовые всполохи: свет отражался от камней — крупных и плоских, как половинки виноградин. Опутавшие их белые металлические нити переплетались небрежно и бессистемно, но в том-то и была прелесть: тщательно продуманный хаос — тоже искусство.

— Покупаю, — коротко кивнул Волегов.

Как всегда, когда речь шла о чем-то для Анюты, он даже не спросил цену. Но уже потом, второй раз за день проехав через весь Новороссийск, чтобы оказаться в аэропорту, уже усевшись в кресло самолёта и даже пристегнув ремень — сегодня Волегов летел общим рейсом, как рядовой пассажир — он вынул из небольшой дорожной сумки оба футляра. Раскрыл и замер над ними, залюбовавшись переплетением оправы и огранкой камней, мерцающих алыми переливами.

У Земли тоже есть кровь. Как у людей.

«А родная кровь, неродная... всё-таки родство не только в ней, — думал Волегов. — Людей любовь роднит, дружба, да и жизнь, которая проверяет. Так люди, даже не подозревавшие друг о друге, встречаются — и до конца жизни уже не могут порознь. У нас с Анютой так. А Вика? Человек, которого не было. Который появился на свет из-за меня. И теперь я люблю его так, как только могу любить».

Заметив краем глаза, что в футляры заглядывает не в меру любопытная соседка, Сергей захлопнул их и запихнул обратно в сумку. Соседка тут же отвернулась к иллюминатору — самолёт начал набирать высоту. Мальчик лет восьми, сидевший в другом ряду, зажал руками уши и захныкал: «Папа, я оглох!..» Его отец, такой же блондинистый и остроносый, прижал к себе сына, успокаивая: «Попробуй открыть рот. Водички хлебни. Потерпи, Костян, ты ж мужик!» А сам переживал, и это было видно.

Родные люди.

«Интересно устроена жизнь, — снова задумался Волегов, — нас с Натальей могла бы сроднить дочка. Могла бы, будь у нас хоть что-то общее, кроме неё... А вот Аня готова полюбить моего ребенка, даже если в нём не будет и капли её крови. Опять говорила мне о суррогатной матери. Созванивалась с клиникой, где могут подобрать женщину, готовую стать донором яйцеклетки. Эх, если бы я знал раньше... Хотя что бы это изменило? Просто Наталья была первой женщиной, которая от меня забеременела. Хотя если она была бы десятой, двадцатой — я бы и тогда не смог позволить ей убить этого, ещё незнакомого мне, малыша. А представить сейчас, что Вики бы не было, я просто не могу — от одной мысли душу щемит».

Самолёт плыл над облаками, будто жук над хлопковой плантацией. Валуны и глыбы облаков — плотные, белые, с лазоревой дымкой по краям — почти неподвижно лежали внизу: казалось, ноги опусти, и будет мягко. А на самом деле — мокро и холодно, Волегов узнал, каково это, когда покорял Эльбрус. В тот день они дошли до Косой полки, и на высоте свыше пяти тысяч метров погода стала стремительно меняться. Их группа уже спускалась, когда пришли облака. И вот эта серая муть, в которой дальше своей руки ничего не видно, испугала его не на шутку. С тех пор он не выносил задымлений, даже безобидные облака из дым-машин в клубах рождали то же неприятное чувство промозглой, смертельно-опасной зыби, в которой не то, что шагать — шевелиться страшно. Вот они какие — облака.

Так и в жизни бывает: рисуешь себе радужную картину — а по факту оказывается, что всё не так. К примеру, женщина, которой ты доверяешь стать матерью своего ребенка, не чувствует к нему любви. И это кажется диким, потому что вся культура родительства строит на тех китах: мать любит дитя с первого его вздоха, материнский инстинкт — самый сильный, каждая мать готова умереть за своего ребенка. Волегов усмехнулся, чувствуя привычную с детства горечь. Далек не каждая. И куда уж там — умереть. Не путался бы под ногами — и то хлеб.

«Как же я мог довериться Наталье?» — думал он, впервые за много лет ощущая себя... проигравшим? Нет, промазавшим по мишени. Или сбитым с курса, но это ещё можно исправить.

«Я ведь понимал, что она — пустышка. Что кроме денег, у неё идолов нет. Надо было сразу забрать у неё Вику, придумал бы что-нибудь. Но я вбил себе в голову, что ребенок будет счастлив только с родной матерью. Выходит, говорил во мне не разум, а моё больное, бестолковое детство. И каков итог? — Сергей усмехнулся, сунул ладони в карманы спортивной куртки — ему почему-то стало холодно. — Да просто убедился в том, что давно знал: это не я плохой, это у матери моей какой-то врожденный дефект. Узость любви... Которой хватает только на себя — а на детей и прочих уже не остаётся».

Он вспомнил, как хотел найти мать. Думал, поднимется, станет важной птицей, заработает — и начнёт искать. А теперь? Нужна ли она теперь? Вроде бы, всё достигнуто, ну или почти всё — впрочем, матери бы хватило. Задайся он целью, и через пару месяцев — если не раньше! — он будет сидеть напротив неё. И что тогда? Скажет: мама, смотри, каким я стал. Ведь сказать-то, по сути, больше нечего. А мама? Что она ответит? Ясно же что: так же, как Наталья, попросит денег. Прицепится пиявкой, будет делать вид, что любит, каяться напоказ... «Я нужен ей, что тут говорить. А она мне?... Зачем мне та, кто не захотел и не смог ничего мне дать? Того, что даже не стоит денег, и есть в любой, самой захолустной деревне, у самого горького бедняка. Любви, заботы, ласки. Но она пожалела для меня. А я

ведь всегда хотел её найти только для того, чтобы убедиться — тогда, в детстве, я был ни в чем не виноват. Я просто был ещё одним ребенком, которого бросила мама. И ушла она не потому, что я вел себя плохо. Просто жизнь без меня казалась ей слаще".

Теперь вот Наталья — такая же женщина на его пути. Что это? Судьба? Или урок, данный, чтобы он посмотрел на ситуацию с матерью с нового ракурса? Если так, этот урок он усвоил. И никаких поисков затевать не будет.

В голове затяжелело, будто сдвинулся какой-то мощный пласт — глубокий, закосневший, полумертвый. И — резкая боль в висках, почти что искры из глаз, будто два состава столкнулись. Подняв руку, Волегов нажал на кнопку — вызвал стюардессу. Появившись, она — тоненькая, фарфорово-бледная, словно облитая синей глазурью униформы — глянула на него удивлённо, но на лице будто бы промелькнула тень узнавания. Может, поэтому так быстро принесла бокал с коньяком, да ещё и наполненный на две трети. Наверное, летали вместе на одном из министерских рейсов, а он и не запомнил...

Волегов выпил коньяк залпом — так пьют лекарство. И перед глазами всплыла картинка: серые ступени клиники, рассыпавшиеся по ним горошины нитроглицерина, землистое лицо Анютиной мамы. И её хриплый, полузадушенный болью шёпот: «Серёжа, повинись! Это же твой ребенок?»

Ну почему он тогда соврал???

Он закрыл глаза, морщась от боли. Коньяк не помог — лишь притупил её, разнёс по всему телу. Теперь даже сидеть стало трудно. Волегов поёрзал, пытаясь размять мышцы. И вдруг понял, что всё тело напряжено, страшно, болезненно напряжено, будто крутится в нём злой смерч, и рушит всё внутри. И ещё он понял, что всё это время думал о Вике, маленькой девочке, которую считала обузой собственная мать.

«Нет, я должен забрать свою дочь, — решил он. — Вот съезжу с Анютой в Германию, вернусь через неделю — и сразу в Новороссийск. Главное, чтобы Наташка отдала ребенка без боя».

Тревога снова плеснула внутри тяжелой, гиблой волной. Но кто-то в нём — самодовольный, хитрый — уверенно сказал: «Отдаст, никуда не денется. Некуда ей деваться».

И, осознав это, Сергей расслабился, выдохнул, чувствуя, как вместе с воздухом из него утекает боль. Откинул спинку кресла. Как мог, вытянул ноги. И, прикрыв глаза на минутку, провалился в сон — такой глубокий, что стюардессе пришлось трясти его за плечо, когда самолёт заходил на посадку.

...В Москве он взял со стоянки аэропорта свою машину и рванул в министерство. Даже не заходя в кабинет, написал заявление на отпуск, притулившись на стуле в приёмной — секретарша Нина Васильевна только руками всплеснула.

— Меня ни с кем не соединять, даже если скажут, что дело жизни и смерти! Даже если Господь Бог позвонит — я в отпуске! — последнее он крикнул уже из коридора, но зная, что она поймёт. Добежал до кабинета начальника, объяснил ситуацию: жена оперируется, нужно быть вместе с ней за границей. И, конечно, его тут же отпустили.

В свой дом он вошёл ещё засветло — сказала разница часовых поясов. Скинул кроссовки и почти побежал в комнату Анюты.

— Серёжка! Ты приехал? У меня для тебя подарок! — увидев мужа, она едва не затанцевала на своей коляске.

— У меня тоже, — он подошел, поцеловал её в губы — жарко, протяжно, вкладывая всю

свою любовь. Жизнь бы вложил, если бы смог...

— Не-не-не, тогда ты первый! — она замотала головой, как маленькая. В тёмных вишнях глаз вспыхнули искорки любопытства.

— Ты из меня верёвки вьёшь, — ворчливо сказал он, расстегивая сумку. — Хотя бы глазищи закрой, царевна ты моя, королевна!

— Ладно хоть не Медуза-Горгона, — хмыкнула она, но зажмурилась, выжидая.

Он зашел ей за спину, вытащил футляры, раскрыл. Камни ожили, заиграли на свету, по струйкам белого золота прошла искрящаяся волна. Волегов завел обе руки с футлярами вперёд, будто обнимая жену. И весело скомандовал:

— Можно!

Жаль, он не видел её лица в этот момент — только ощутил, как дрогнули плечи. А потом она подняла руки, и потянула их — но не к драгоценностям, лежавшим перед новой своей хозяйкой, а к нему, назад и вверх. И только нащупав его шею, услужливо наклонённую к ней, она притянула его к себе и выдохнула:

— Серёжка, я так тебя люблю!

— И я тебя люблю, — сказал он, а сам подумал: «Ещё и за то, что ты такая — всегда тянешься к живому. К человеку, а не к бирюлькам. И поэтому я верю тебе».

А она уже повернулась к нему, целуя, и лишь нацеловав вдоволь, забрала у него футляры и, подъехав к окну, начала разглядывать драгоценности — как произведение искусства, отдельно от себя. И снова он подметил в ней эту чёрточку блаженного бессребреника: другая бы уже нацепила, и любовалась бы только собой.

Впрочем, наступил и момент примерки. И как только легла на её ключицы серебристо-рубиновая волна, как только засияла она в антрацитовых локонах, отбросив небесный румянец на бледную Анютину кожу и подсветив её глаза, ставшие вдруг тёмной бездной, в глубине которой горел огонь, Волегов понял — угадал. Даже не угадал — предвидел. Знал, что она такая, что есть в ней эта колдовская сила, чувял её, как некий стержень, на который она насаживала свои сценические образы, себя официальную, светскую, домашнюю, изнемогающую от болезни, или приподнято-радостную, когда ничего не болит. Во всём этом билось, жило, сквозило то самое, тот внутренний огонь, который так ярко загорелся сейчас, подогреваемый рубиновым пламенем.

«Она как жидкая лава в центре Земли. Никогда не остынет. И не сломается, заоченев», — потрясённо подумал он.

— А теперь мой подарок! — медленно улыбнулась она. — Теперь ты закрывай глаза.

И он закрыл. Услышал тихое шуршание шин — она куда-то ехала на коляске, похоже, в дальний угол комнаты, в свою пыточную, где её целыми днями теперь мяти, растягивали и гнули три приходящих массажиста. А она терпела, и разрабатывала мышцы, и ела почти что один белок — каждый день, как в армии, начиная с шести утра. Её ноги ослабли за столько лет, почти непоправимо ослабли — надежда была только потому, что все эти годы она не сдавалась, она боролась, стараясь хоть как-то двигаться и выдерживая ежедневный сеанс специального массажа. А Волегов оплачивал всё это — покорно, не споря — потому что был виноват, и потому что она так хотела.

Но в последний раз, три дня назад, когда он уезжал в очередную командировку, она показала ему чудо — почти согнула ногу в колене и почти оторвала ступню от поверхности кушетки.

А сейчас? Что она покажет сейчас?

— Открывай! — сказала она, и он мгновенно распахнул глаза, услышав в её словах не только гордость, но и боль.

А она стояла перед ним. Стояла. На костылях, опираясь на левую ногу. Стояла трудно, тяжело, вся покрытая бисеринками пота, с глазами, помутневшими от боли и жара — но стояла, всего лишь несколько секунд. И, прерывисто выдохнув, почти повалилась на кушетку, закинула на неё свои ещё полумёртвые ноги, а потом завопила от счастья — так, будто ей подарили весь мир.

Только пытаясь завести будильник на смартфоне — скайп с психоаналитиком был назначен на восемь вечера, но Татьяна всё равно боялась проспать — она поняла, как сильно вымоталась: руки дрожали, палец пару раз неудачно скользнул по глади экрана. Не было сил даже разложить диван, и она лишь накинула простынь на его арбузно-полосатый живот, швырнула сверху подушку с одеялом, и блаженно зарылась в них. Несколько ночей с беспокойной Викой взяли своё — усталость дрожала и ныла внутри, превращая тело в раскисший студень.

В последнее время ей казалось: стоит закрыть глаза, и она провалится в сон, глубокий и крепкий. Но сейчас, когда Таня чуть ли не впервые за последние дни оказалась в тишине и покое, даже задремать не получалось. Мысли — тревожащие, липкие, неуместные, будто горошины под простынёй — заставляли её ворочаться на узком диване. Залесский: как он? Не слишком ли опасно то, во что он ввязался из-за неё? Чёрт бы побрал этого Макса! Она скривилась, не чувствуя к бывшему мужу ничего, кроме презрительной гадливости: мало того, что он оказался вором, так ещё и подставил её, едва не посадил в тюрьму, вынудил скрываться. Это из-за него погибли те двое, Павлик лишился матери и едва не замерз на той дороге, Василенко выставил счет. А расхлёбывает всё это Юра... И не вернётся до тех пор, пока не поймает Макса. Или пока полиция не сделает этого. Но на неё надежды мало, ведь прямых доказательств, что Демидов в Самаре, нет. Да и Демидовых этих у той полиции — воз и маленькая тележка. Как сказал Залесский, мошенничество, конечно, тоже уголовщина, но сравнения с убийством или разбоем не выдерживает. К тому же, полицейским всегда важнее раскрыть то, что произошло на их территории, чем гоняться за «туристом», на которого всего-то и есть, что ориентировка. И их можно понять.

Татьяна повернулась на спину, выпростала из-под одеяла одну ногу: так прохладнее, и легче заснуть. Детская привычка, которая жутко раздражала мать — ведь та, наоборот, куталась в одеяло, как в кокон. Как же она, всё-таки, не любит тех, кто на неё непохож! Всех не любит... Интересно, зачем она приходила к Яне? Жаль, что нужно дожидаться Михалыча, чтобы позвонить подруге с его телефона. Но светить свой номер не стоит, в этом Залесский тоже прав. Можно было бы, конечно, сразу позвонить родителям на домашний, но... Что сказать матери? Как вообще с ней разговаривать после всего, что было? Это же сложно, безумно сложно — идти на разговор, не понимая, как ты относишься к человеку, и что он чувствует к тебе. Будто входить в море, не зная течений и не чувствуя под ногами дна. А мать была непредсказуемой, как снаряд, оставшийся с войны: может, не причинит вреда — а может и рвануть, едва тронешь. Поэтому соприкоснуться с ней не хотелось. Как не хотелось даже думать о ней, потому что эти мысли, прокрученные в голове тысячи раз — почему она так поступает? за что наказывает? как всё это изменить? — только выматывали. Своей мнимой пользой и вполне ощутимой бесполезностью.

Станным образом усталость от этих мыслей успокоила Таню. Сон накрыл её незаметно, как туман накрывает берега вечерней реки. И в нём, как в продолжение её дум, появилась какая-то едва знакомая комната. Там, по прихоти гениального безумца, который пишет сценарии снов, почему-то возникли две Таниных матери. Первая — в скромном старомодном платьишке, с тёмно-русыми волосами, по-простому забранными в хвост: точь-в-точь как на одной из старых фотографий, снятых ещё до замужества. И вторая —

неуловимо похожая лицом и фигурой, но в шикарном брючном костюме, с вызывающе-красным ртом и привычной Тане причёской: каре оттенка «бордо». Матери стояли лицом к лицу, и та, скромно одетая, поправляла на другой пиджак, приглаживала её каре щёткой — так ребенок возится с куклой. А Таня — она почему-то увидела себя маленькой девочкой, совсем крохой, будто ей года полтора-два — протиснулась между ними, встала у их ног. Матери одновременно глянули на неё сверху — холодно, недовольно. Только у той, что с каре, лицо оказалось застывшим, красивым — но жутким, нечеловеческим. И она не дышала.

Таня попятилась, дернула другую за подол, но, подняв глаза, вдруг увидела, что та напрягла лицо — будто желая сделать его таким же, как у своего двойника. А потом и она перестала дышать, замерла, тараща на Таню пустые глаза. Под этим мёртвым взглядом она задохнулась от страха, упала и поползла назад, хрипло пища: «Мама... мама... мама...» На её писк вбежал отец, что-то заорал и накинул на мать — ту, что с каре — большой грязный мешок, потащил его из комнаты. Но у порога уронил, с пустым пластиковым стуком. Из мешка, грохоча о дощатый пол, почему-то посыпались клубни картошки. Отец собирал их, ссыпал обратно, и вот уже ни одной картошки на полу. Но звук всё слышится: бац, бац, БАЦ!..

Татьяна резко села, пытаясь прийти в себя. Бац, бац, бац! Этот звук идет от двери, кто-то колотит в неё — не разобрать, кулаком или пяткой. Таня замерла, хватая воздух ртом: неужели её нашли?... Или это Михалыч, приятель Залесского? Она глянула на экран смартфона: прошло всего полчаса, он не мог прийти так рано. Тогда кто?!? И в ответ на этот незаданный вопрос за дверью послышался женский голос:

— Открывай! Я знаю, ты тут! От-кры-вай!

И, в такт ударам:

— Ня-ня, ня-нюш-ка, мать тво-юуу!..

Наталья. Татьяна разозлилась: просыпаться от испуга — то ещё удовольствие. И что опять нужно этой малахольной? Почему колотит так, будто не в себе?

Она быстро влезла в джинсы, натянула футболку. Подошла к двери, приглаживая волосы, и повернула ручку замка.

— Отдыхаешь? — спросила Наталья, почему-то переходя на ты. Размазанная помада, следы туши под глазами, мутный взгляд: то ли ревела, то ли... напилась? Лицо красное, и расстегнутая пуговица на груди — будто бежала от кого-то, разинув пазухи.

Соседка ухмыльнулась и снова забарабанила по Таниной двери в такт словам:

— Всё от-ды-ха-ют, мо-лод-цы!

Пахнуло спиртным и блевотиной.

— С ума сошла? — Татьяна втащила её в квартиру, уже понимая, что та пьяна и на грани истерики. — Где Вика? Тётя Аля вернулась?

— А нету никого! — картинно развела руками Наталья, и, опершись спиной на дверной косяк, сползла на пол. — Одна! Одна я! Сглазили меня, тва... тва-ри!

— Кто тебя сглазил, кому ты нужна? — в сердцах спросила Татьяна, присаживаясь на корточки. — Вика где? Дочка твоя! Вспоминай!

— А чего ты?... Зачем она тебе? — уставилась на неё Наталья. И, будто догадавшись о чём-то, сказала: — А-а-а, ты у нас детишек любишь? Тогда забирай. Хочешь, подарю?

Таня не нашлась, что ответить. А соседка пояснила:

— Я уборку сделала, пирог, то-сё... А он? Отдай, говорит, ребенка! И всё, товарищ няня! Всё теперь!

— Я не понимаю! — разозлилась Татьяна, пытаясь поднять ее с пола. Та была тяжелой, как мертвец. — Её что, отец забрал?

— Щ-щ-ассс! — смачно прошипела Наталья. И выбросила вперёд наманикюренную дулю: — Х-х-хер ему! И инвалидке — тоже х-х-хер!

Отчаявшись понять хоть что-то, Татьяна выглянула в подъезд. Дверь соседской квартиры была открыта. Схватив свои ключи — на тот случай, если Наталье вдруг взбредёт запереться — Таня побежала посмотреть, что с Викой. И нашла её мирно сопящей в кровати. Личико было розовым: похоже, температура спала. Прорезыватель валялся рядом с малышкой, на подушке: видимо, выплюнула, засыпая. Недолго думая, Татьяна забрала радионяню и вернулась к себе: нужно было разобраться, что делать с Натальей.

— У тя выпить есть? — спросила та, едва Демидова переступила порог. Всё еще сидя на полу прихожей, Наталья бездумно выдвигала и задвигала ящики комода.

«Она же всё ещё кормит грудью!» — вспомнила Татьяна, и эта мысль безмерно разозлила её.

— Встала! Я кому говорю?! — гаркнув на Наталью, она, не церемонясь, потащила её за руку — и та, наконец, соизволила подняться. Кое-как доведя её до кухни и усадив возле стола, Демидова продолжила: — Куда тебе пить, посмотри на себя! У тебя же грудной ребенок!

— А не будет скоро ребёнка! — с надрывом сказала Наталья. И Таня вдруг поняла, что её глаза сухо блестят, будто она сдерживает слёзы. Зло выпятив челюсть, Наталья то ли спросила, то ли взвыла: — Думаешь, спро-о-осит меня? Га-а-ад, этот гад лысый...

Татьяна отвернулась, не понимая, как реагировать. Взгляд упал на турку и банку с перемолотым кофе. А за спиной зашелестели всхлипы:

— Лучше уж тебе, чем этой... Твари! Тва-ри!

Быстро налив в турку воды и сыпанув кофе, Таня поставила её на плиту. Намочила кухонное полотенце холодной водой из бутылки — в кране опять было пусто — и, повернувшись к Наталье, стала вытирать её лицо. Чёрные потёки туши, помада, бежевые пятна тональника — всё осталось на белой ткани. Наталья вырвала у неё из рук полотенце и зарыдала в голос, прижав его к лицу. Смысла успокаивать не было: Татьяна знала, что от слёз она немного протрезвеет. Приготовив кофе, разлила его по чашкам, добавила сахар. И поставила на стол.

— Пей! — приказала она. — Пей и рассказывай, что случилось. Ты из-за Викиного отца расстроилась? Это ведь он приходил, высокий такой, в спортивной одежде?

Наталья посмотрела на неё поверх чашки и, всхлипнув, горестно кивнула. Сейчас в ней не было ничего от той высокомерной, наглой барыни, которая так не понравилась Татьяне при первой встрече. Но появилось другое: злоба и ненависть, и какая-то странная напряженность — будто затаила что-то, и не перед чем не остановится, чтобы отомстить.

— Высокий и лысый, да. Конспиратор хренов! — с отвращением сказала Наталья. И спросила, прищурившись: — А знаешь, кто он? Во-ле-гов! Сергей Ольге-е-ердович, с-с-с... ка!

И тут она выдала такой клубок ругательств, что Демидова вздрогнула от неожиданности.

— Оль-гер-до-вич, понимаешь? Белая кость, бля!

— Да кто он такой? — нахмурилась Таня. Она терпеть не могла пьяных, и бессвязные выкрики Натальи уже начали её раздражать.

— Москвич, с...ка. И я, лимита! — с ненавистью сказала Наталья. — Ботинок лаптю не пара. Он-то в министерстве транспорта сидит, бизнеса какие-то держит, бабла у него — немеряно. Сам уговорил меня родить! Обещал — денег, помощь. Ну, я и родила, дура. Ребенок больной получился, в бабку. А он нас сюда, понимаешь?

— Зачем?

— А чтоб под ногами не пугались! Волегов на выборы собрался. В листовках пишут: типа, семейный, работает, порядочный такой. А тут мы! И нас журналисты выследили, — она хихикнула, и покачнулась на стуле — Татьяна еле успела поймать её за рукав домашнего платья. — И понимаешь, какая херня: он решил сказать, что ребенок не его. Что он типа помогает нам, денег на операцию дает — но так-то мы чужие! А после операции типа домой поехали, а он у себя в Москве остался. И знаешь, что?

Она сделала большой глоток кофе, вынула из кармана сигареты и закурила, потерянно уставившись в стену. Татьяна достала блюдце пострашнее, подсунула ей: сгодится вместо пепельницы.

— Так что же? Сегодня-то он что сказал? — с раздражением спросила она.

Наталья выпустила облако дыма и посмотрела на Таню с кривой ухмылкой:

— А сказал, что Вику себе заберет. Инвалидка его, видите ли, ходить начала, так что теперь и ребенка можно.

— Какая инвалидка? — переспросила Татьяна, стараясь не раздражаться ещё больше.

— Жена. Балерина безногая, с-с-суч... — и снова ругательства, похлеще предыдущих.

— Хватит! — Демидова грохнула по столу ладонью. Не будь Вики, она бы давно выставила соседку из дома. Но нужно было разобраться, понять, что произошло, и что собирается делать эта непутёвая мамаша. И Таня продолжала допытываться:

— Он что, рассказал жене про внебрачного ребенка?

— Ага, щ-щаз-з-з! — Наталья фыркнула. — Он же трус! И хочет всё обставить, как усыновление. Бабла мне обещал, чтобы отдала и заткнулась. А не отдам — силком ведь отберет. И, главное, знаешь, чего он вдруг её забрать решил? Говорит, что я херовая мать. А на самом деле жене хочет угодить, и себе сделать, чтобы дочь под боком, и вроде как всё законно. Ни для семьи, ни для карьеры угрозы нет! Красавчик, да? А только хер ему!

Хмель слетал с неё медленно: всё ещё мутными были глаза, тело расслабленным, как спросонья, но артикуляция понемногу приходила в норму и речь становилась более связной — так что Татьяна понемногу начала понимать, в чем дело. Её мнение по поводу материнских заслуг Натальи было таким же, как у Волегова — видела ведь, как обращается с дочкой, как сбегает при любом удобном случае... Возможно, девочке действительно будет лучше с папой. Хотя, опять же, неизвестно, что у него за жена. И тётю Алю жаль, привязана она к внучке.

— То есть ты отказала? — спросила Демидова.

— Он мне неделю дал, — покачала головой Наталья. — Но я его побрею. Много таких сейчас, кому ребенок нужен. У меня одноклассница за богатого вышла, а забеременеть не могут. Отдам ей.

— Как это — отдашь? — испуганно отстранилась Татьяна. Этот разговор начал казаться ей сюрреалистичным, невозможным — будто дело по-прежнему происходило во сне. — Как ты вообще думать о таком можешь?!

— А потому что мне одной она не нужна! — хрипато выкрикнула Наталья. — Я в матери-одиночки не нанималась, это ему приспичило, чтобы я родила! И почему я должна

тут сидеть пять лет и ждать его величество? Которое, кстати, на дочь по документам никаких прав не имеет. Он даже в свидетельстве не записан! Так что придет — ни меня, ни ребенка. Придется ему другую игрушку для инвалидки искать.

Татьяна поморщилась: это слово — высокомерное, презрительное — резало слух. Но смысл остальных слов был важнее. Ей даже показалось, что она неправильно поняла Наталью.

— Ты что, решила и сама отказаться от ребенка, и подстроить всё так, чтобы Викин отец не знал, где дочка? — всё ещё не веря, переспросила она.

— Да. А что, пусть побегает, — ухмыльнулась соседка. И капризно оттолкнула чашку с недопитым кофе: — Ты покрепче-то ничего не держишь? Слушай, айда ко мне. Коньячка тяпнем.

— Но он же придет сюда, будет требовать... — не слушая её, растерянно сказала Таня.

— Ну и обломится, — зло прищурилась Наталья. — А я смоюсь, и хрен он меня найдёт. Пусть вон... с маман разбирается.

— Да как ты можешь? — вспылила Татьяна. — Это же твоя семья, самые родные люди! А ты — ребенка отдам, мать брошу! Да ты своё счастье не ценишь, я вон пять раз беременная была, а родить так и не смогла. И мать у меня — не чета твоей, ненавидит меня всю жизнь. А тётя Аля вон какая добрая, ласковая. Она ведь мне рассказывала, как одна тебя тянула после смерти мужа! На трёх работах работала, лишь бы тебя поднять, всё самое лучшее тебе! А ты...

— Да-а-а? — протянула Наталья, и вдруг глянула почти трезво, с насмешкой. — Самое лучшее, говоришь? А она меня-то спросила, нужно ли мне её лучшее?

Татьяна замерла от неожиданности. А в глазах Натальи блеснули злые слёзы. Она заговорила, давась истеричным смешком:

— Помню, платье мне купила — дурацкое, в горох, с идиотскими оборками. Носи, говорит, и точка! Так надо мной весь класс ржал... Над тобой когда-нибудь ржали? Называли обглодайкой, помойщицей? А меня — да. О, а косу я обрезала — так она неделю со мной не разговаривала, зато показательно рыдала каждый вечер, чтобы мне стыдно было. Потом я похудеть пыталась — а она всё конфеты, пироги! Не дом — булочная, бя... И стонет: да что ты тощая такая. А ничего, что во мне под семьдесят кило было? Скинуть смогла, только когда из дома смылась.

— Но она, наверное, добра тебе хотела... — растерялась Татьяна.

— Ага, добра! Это вот как раз то добро, которое с кулаками. Всё за меня решала: с кем дружить, как одеваться, что жрать... В итоге со школы у меня всего одна подружка осталась, Ритка. А остальные презирали, я даже на выпускной не ходила. И всё из-за матери! Это она тебе напела, какая героиня, а сама...

— Ну, может, она не понимала, что для тебя лучше...

— Да она меня не понимала! — воскликнула Наталья. — Меня! А я — её! И понимать не хочу, вообще ничего не хочу — путь меня в покое оставит!

— А, по-моему, она просто тебя избаловала, — холодно произнесла Татьяна. — Ты взрослая, могла бы сейчас на это с иной стороны посмотреть, понять, что мать заботилась о тебе, как умела. По-другому просто не могла. Но она хотя бы руку на тебя не поднимала! А вот меня мать с отцом лупили до синяков. Всегда считали недалёкой, неудачницей...

— Ну а меня нахваливала, и что? Внушила, что я королева, что всё у меня будет, только свистни: и в институт поступлю, и замуж выйду... Знаешь, как после такого обламываться

тяжело? У меня ж нету нифига из того, что хотела! В Москве два года подряд в институт поступала — всё без толку, в итоге плюнула я на эту вышку. Пришлось на заправку устроиться, та ещё работёнка. Правда, я там Волегова подцепила, думала, наладится всё, уведу из семьи. Даже радовалась, что залетела. А он... — Наталья махнула рукой. — И ребенок этот... Сроду бы не стала рожать, если бы этот гад не настоял. Я ведь молодая ещё, хочу для себя пожить, мир посмотреть! Да и вообще... не семейная я...

— Тогда отдай ему ребенка, — сказала Татьяна. — Ведь с родным отцом ей лучше будет!

— Да? А ты уверена? Сама говоришь, тебя родители лупаздили! Родные твои! И меня мать своей заботой и контролем так придушила, что я дожидаться не могла, пока отучусь и уеду. Родные, бля...

Она снова закурила, и сидела, уставившись в поверхность стола. Татьяна тоже молчала, думая, что вопрос отцов и детей никогда не разрешится. Да просто потому, что полного понимания поколениям не достичь. Вот ей казалось, что тётя Аля — идеальная мать. Именно о такой она мечтала, когда была маленькой. А сейчас увидела другую сторону медали: оказывается, не такой уж замечательной эта материнская забота выглядела со стороны ребёнка. Хотя Наталья не из тех, кому хочется доверять, но было похоже, что она говорит искренне. И потом — откуда-то ведь взялась эта пропасть между матерью и дочерью? Татьяна вдруг вспомнила, как Наталья швыряет на пол кухни эмалированную посуду с земляничками. И кричит: «Я ведь тебя просила, мама! Добром просила!»

М-да, не всё так просто, как кажется на первый взгляд.

Но Викулька — неужели она всё-таки останется без родителей? Надо как-то остановить Наталью, не дать ей совершить глупость. Кстати, зачем она вообще явилась? Просто выговориться, или хотела что-то ещё?

— Я могу тебе чем-то помочь? — спросила Демидова, хотя помогать этой женщине не хотелось абсолютно.

— Мне уехать надо, — ответила та. — А мать только к вечеру вернётся. Посидишь с ребенком?

Таня поколебалась — скоро скайп с Нестеренко, и Михалыч вечером придёт. Надо будет позвонить Янке, и, возможно, всё-таки матери. А ведь с ребенком на руках спокойно не поговоришь, мало ли — капризничать будет.

— Не, ну не хочешь — как хочешь, — пожалала плечами Наталья. И заявила, будто подначивая: — Тогда я её прямо сегодня увезу. Пусть привыкает к новому семейству.

— Ты протрезвей сначала! — рявкнула Татьяна. — Ведь не соображаешь, что затеяла! Посижу, конечно, куда я денусь.

— Ага, не соображаешь! Тебя б на моё место, — огрызнулась соседка. — Матери скажи, что я с Риткой отдохнуть поеду, на пару дней. Надо в себя прийти. Волегов, козлина, все нервы мне вымотал!

«Ты сама, кому хочешь, вымотаешь», — зло подумала Таня. И сгребла со стола связку ключей.

Алёна провела щёткой по волосам и хмуро глянула в зеркало — в нём отражалась смятая постель и мерзкая храпящая туша Макса. Он так и лежал, как явился вчера — в джинсах и рубашке, на груди которой красовалось большое жирное пятно. Потное лицо блестело, из уголка губ вытекла струйка слюны. И запах в номере был кислый, перебродивший — даже открытая форточка не спасала.

— Как же ты меня достал! — сказала Алёна и закрыла лицо ладонями. Потёрла лоб, задвигала плечами, пытаясь хоть немного сбросить напряжение — оно будто связало всё тело невидимыми тонкими лесками, больно врезающимися в кожу. Откинула голову назад, бессильно глядя в потолок.

Как бы отделаться от Демидова, и при этом — сохранить деньги? Ведь такими темпами они растают за полгода. Алёна скривилась, вспомнив, как Макс вчера швырял перед партнёрами по покеру стопки красных пятитысячных купюр — будто напоказ! Кичился своим богатством, из-за которого они сидят в этом отеле, как в ловушке... Вот сколько он проиграл? Или всё-таки выиграл? Он покосилась на храпящее тело: в таком состоянии он вряд ли соображал хоть что-то... А покер не любит пьяных.

«Прощайся, Алёна, с мечтами о безбедной жизни. Сама виновата — знала, с кем связываешься», — попеняла она себе. Но изнутри поднялся протест: она ведь все эти годы жалела, что ушла от него! Помнила, как жили: ярко, безбашенно, через край... И как Максим трясся над ней, как любил... чем угодно был готов пожертвовать! Больше к ней никто так не относился. Никто — она знала точно, ведь за эти годы было столько поводов сравнить... Алёна не раз думала: вот вернулся бы, нашелся заново — и можно было бы обнулить судьбу, переиграть всё начисто. Ведь они повзрослели, и теперь смогут вести себя более осмотрительно: никаких бездумных кутежей с покером и алкоголем, заработали — вложили в прибыльное дело, а не растратили, пока есть, что. Но получилось, что судьба переиграла их. Потому что Макс остался таким, как был: показушником и транжирой. Только теперь этого в нём было больше, чем любви.

«А я? Ведь и я не люблю его, — признала она. — Сначала, когда переписывались и перезванивались, я была убеждена: это отличный вариант, ведь он не мог забыть меня столько лет — значит, будет любить и дальше. Будет слушаться — а уж я направлю, куда мне нужно... Тем более, что он обещал привезти денег, купить нам дом. И упустить такой шанс я не могла. Казалось — вот оно, счастье, впервые за много лет: любящий мужчина, обеспеченная жизнь. Спокойная, размеренная. А по факту — всё снова летит в тар-тарары, и если быть до конца честной, стоит признать: у нас не могло бы получиться по-другому. Мы всегда были, как спичка и порох: сначала красивая вспышка — но в итоге-то пепелище».

Макс шумно заворочался, запыхтел. Проснулся наконец? Алёна, повернувшись, наблюдала за ним. Думала, поглядывая на стакан воды, стоявший на туалетном столике: если Демидов сейчас начнет каяться, просить прощения — подаст ему, так и быть; если же начнет скандалить в ответ на её упреки — выплеснет в морду, не откажет себе в удовольствии. А потом уйдет завтракать без него. Может быть, отыщет Крапивина — с ним и то веселее.

Но Макс повернулся на бок, поджал ноги к животу... и заливисто, с протяжным треском, выпустил газы. Пахнуло серой и желчью. Алёна гадливо сморщилась. Вскочив,

подошла к окну, втянула носом свежий воздух. И вдруг подумала: «А я вообще готова его терпеть — смердящего, харкающего, с похмелья, или когда он в дурном настроении? Когда воняет потом или чесноком, жуёт, не закрывая рта, наводит бардак в комнате, гогочет над идиотскими телепередачами, как имбецил? Готова терпеть — даже за деньги? Ведь если мы останемся вместе, будет ещё и это».

Двоюродная сестра Катька, бывало, говорила ей: «Выбирай по любви, ведь жить с мужиком, а не с кошельком». И Алёна всегда смеялась над этим, как над самой большой глупостью. Уверяла, что если денег вдоволь, очень многое можно стерпеть. А если нет их, и любви тоже нет? Ради чего люди терпят? Ведь жизнь складывается так по-разному, ты можешь выйти замуж за олигарха — а завтра какой-нибудь кризис, дефолт, неудачная сделка, и с чем придётся остаться? Пока он снова не поднимется, если поднимется вообще. И что же, сразу бросать — как она бросила Макса в молодости? Уходить на поиски нового счастья? Но так можно блуждать всю жизнь. Собственно, она именно так и блуждала. Может, поэтому и вцепилась сейчас в это прошлое — ведь потеряла уже надежду найти себе того, кого сможет полюбить, и чтобы был при деньгах. А годы идут, и уже хочется покоя, чтобы прибиться к одному берегу — и больше ничего не искать.

Но с Максом покоя не будет.

Эта мысль — даже не мысль, а окончательно сложившееся убеждение — вконец испортила Алёне настроение. Теперь хотелось только одного: чтобы он никогда не появлялся, не дразнил вот этой возможностью начать всё заново, устроиться, жить без бед. Но у прошлого нет альтернативных вариантов. Оно обманчиво, как линза: повернёшь к минувшим событиям одной стороной — преувеличит их важность, повернёшь другой — преуменьшит. Вот она и посмотрела сквозь эту линзу на свои отношения с Максом, и стало казаться: ерунда, что он играет и пьёт, главное — любит её, и умеет зарабатывать.

Эх, если бы его деньги были у неё! Можно было бы купить квартиру, чтобы больше никогда не болтаться по съемным углам. Положить остатки в банк и жить на проценты. Или открыть салон красоты, магазин, да мало ли... Но деньги в сейфе, и только он знает от него шифр. А ей не говорит. Не доверяет. Потому что знает её, как облупленную.

Алёна встала, взяла сумочку. Дойдя до порога комнаты, еще раз посмотрела на спящего Макса. Противно. И грустно. Как всегда, когда разбиваются мечты.

Она спустилась по лестнице, решительным шагом пошла в ресторан, но замешкалась перед входом, глянув на своё отражение в высоком зеркале. Шёлковое платье цвета морской волны очень шло ей. Но в глазах застыла грусть, и морщинки у рта стали резче: будто она постарела за эти недели, что прошли рядом с Демидовым. Алёна похлопала себя по щекам и широко улыбнулась, пытаясь вернуть лицу выражение беззаботности. На миг из зеркала выпянула прежняя она — но что будет, если отойти? Если забыть, что нужно держать лицо, и снова начать думать о том, что с Максом не сложится? А ведь от этих мыслей никуда не деться, и, значит, никакое платье не поможет ей выглядеть хорошо.

«Да какого черта! — вдруг разозлилась она, и у женщины в зеркале ярко блеснули глаза, упрямо выпятился подбородок. — Что тут думать? Нужно просто забрать у него деньги, и уехать. Если использовать клофелин, у меня будет достаточно времени, чтобы затеряться. Пока прочухается, пока поймёт, в чём дело... В полицию он не побежит, ведь деньги и так ворованные. Если будет искать, то сам — но когда ещё осмелится? Ведь он прячется здесь, носа наружу не высовывает. Так что дело верное. Кстати, и на книгу бабло появится...»

Она вспомнила о предложении Егора — того, что нашел старинный фолиант.

Возможно, Вульгату — хотя в это верилось с трудом. Но даже если не её, посмотреть стоило. К тому же, этот Егор похож на лошка: крестьянское лицо, борода лопатой — ну кто такую носит в наше время? Если книга окажется стоящей, можно выкупить её за небольшую сумму, а потом перепродать антикварам или букинистам. В том, что она сумеет оболтать Егора, Алёна почти не сомневалась: всегда умела торговаться.

Она поправила волосы, помассировав пальцами голову — неосознанный жест, всегда так делала, если требовалось принять решение. И, уже не колеблясь, прошла в ресторан. На этот раз уселась за столик в центре зала — до чёртиков надоело прятаться по углам. Кивнула официанту, и, не заглядывая в меню, заказала омлет с помидорами, сырны гренки и кофе. А к ним, вызвав на лице официанта еле заметный проблеск удивления, бутылку коньяка. Пожилая дама за соседним столом — тощая, как сушёный лещ, и с тем же глуповато-рыбьим выражением лица — брезгливо подняла бровь, увидев принесённый Алёне заказ, и выразительно посмотрела на часы: стрелки едва миновали двенадцать. Чтобы шокировать её ещё больше, Алёна открыла бутылку, плеснула в стакан и выпила залпом. С грохотом поставила его на стол и, шумно втянув воздух, занюхала наколотым на вилку румяным гренком. Дама отвернулась, негодуя. «Вот так! — усмехнулась Алёна. — И никто не вправе меня судить».

Несмотря на кажущееся спокойствие, она нервничала, и потому смела весь завтрак, едва замечая, что ест. Скользя рассеянным взглядом по интерьеру в морском стиле — по всем этим белёным доскам, панно из морских гольшей, канатам и штурвалам, на которых ярко блестели начищенные медные заклёпки — она в который раз прокручивала в голове свой план. Искала, на чем может проколоться. Прикидывала варианты. И встала из-за стола, лишь когда обдумала всё до мелочей.

Оставив щедрые чаевые, она прихватила бутылку и поднялась в номер.

Макс всё ещё спал, свесив с кровати руку. На щеке багровела полоса от шва подушки. Он сдвинул брови, будто видел неприятный сон, и храпел уже по-другому: тише, и будто поскуливая. Жалость кольнула сердце, и Алёна встала у кровати, глядя на Максима. Постояла, раздумывая, прислушиваясь к себе: готова ли она потерять его навсегда? Не пожалеет ли? И поняла: не пожалеет.

Крадучись, как кошка, она открыла мини-бар и поставила на его поверхность два стакана. Рядом водрузила бутылку с коньяком. Порывшись в сумочке, вытянула пузырек с белым порошком — несколько лет носила его с собой для подобных случаев. Осторожно постукивая пальцем, насыпала клофелин на дно одного стакана. И, спрятав пузырёк, начала собирать вещи в большую дорожную сумку. Побросала в неё бельё, платья, брюки, сняла с вешалки плащ, убрала в боковой карман косметику и утюжок для волос. Одну пару джинс и белый пуловер оставила висеть на спинке стула. Забирать шампуни и крема из санузла пока не стала: Макс наверняка пойдет в туалет, и пустота на полках может его насторожить. Если всё получится, она купит новые.

Алёна ещё раз огляделась, проверяя, не забыла ли чего. И, сделав плаксивое лицо, громко позвала:

— Макс! Макс! Да вставай же!

Он нехотя открыл глаза и тут же отвернулся, щурясь от солнечного света.

— Что случилось? — его хриплый голос показался ей неприятным карканьем.

— У меня сестрёнка в больницу попала! Катька! Ну, ты ж помнишь её? — всхлипнула Алёна. — Разбилась на машине.

— Нихрена себе... — Демидов сел, потирая лоб.

— Давай к ней съездим, пожалуйста! — взмолилась Алёна. — Там какие-то лекарства дорогушие надо купить, а у них денег нет.

— Чё, реально дорогие? — напрягся Демидов.

— Ну, вроде тысяч на сорок... — сказала она, отметив, что он сразу расслабился — деньги-то, по сути, небольшие. И тут же продолжила: — По крайней мере, Катькин муж такую сумму в долг просил. Только я ему деньги давать не хочу, лучше сама куплю всё, что нужно. Ты ведь дашь мне? Макс, мне страшно! Вдруг она умрёт...

Алёна села рядом, ткнулась лицом в его плечо. От рубашки отвратительно пахло потом, но она терпела, старательно всхлипывая. Демидов обнял её, и сказал, пытаясь успокоить:

— Не реви, всё обойдется! Конечно, денег дам.

— Спасибо! — она обняла его за шею, прижалась, как к самому родному человеку. И попросила: — Давай выпьем? Меня так трясёт...

Вскочив, она разлила по стаканам коньяк, и сунула один Максу. Он жадно проглотил свою порцию, и тут же снова глянул на бутылку:

— Плесни ещё!

А она и рада была стараться.

Опустошив второй бокал, Демидов поднялся и подошел к стене. Снял картину, и, загоразивая плечом дверцу сейфа, набрал код. Вытащил металлический чемоданчик, плюхнул его на кровать. Поднял крышку; Алёна бросила короткий взгляд внутрь — пачки лежат уже не так плотно, всё-таки это гад слил вчера немало их денег. Максим повозился, отсчитывая купюры. И бросил ей деньги с видом добытчика.

— Спасибо, любимый! — Алёна поцеловала его, пытаясь не выдать отвращения — изо рта «любимого» несло, как из помойки. Он провёл рукой по её телу, по-хозяйски сжал грудь — грубо, она едва не вскрикнула от боли. Чуть отстранив его, Алёна блудливо улыбнулась и начала расстегивать его рубашку — нарочито медленно, томно. Но он накрыл её ладонь своей и сказал, поднимаясь:

— Погоди, малыш, а то я обоссусь.

— Фу, грубиян! — шутливо сказала она, хотя от этого слова чувство гадливости стало ещё сильнее. Но глядя, как он идёт к двери санузла, удовлетворённо прикрыла глаза: Макс покачнулся, будто пьяный. Послышалось звяканье пряжки ремня, журчание мочи, ударявшейся в фаянс унитаза. Алёна ждала, что он вот-вот свалится, прямо в ванной: учитывая, что Макс с похмелья, клофелин должен был подействовать быстро. Но Демидов вышел из уборной и полез к ней, ткнулся губами в шею, пытаясь нащупать молнию на спине. Она изогнулась, помогая. Платье скользнуло к ногам, и Алёна осталась в полупрозрачном черном боди — Макс особенно любил его из-за застёжки между ног. Он толкнул её на диван, сам навалился сверху, зашарил у неё между бёдрами. Приподнялся, приспуская джинсы и трусы. Но, не удержав равновесие, качнулся в сторону, замотав головой.

— Ох, чёртово похмелье, — пробормотал он. — Прости, малыш, башка трещит...

— А ты поспи, — Алёна легонько толкнула его в грудь, и он упал, как подкошенный. Повернул голову, будто слепой, попытался что-то сказать — и отключился.

Алёна застегнула боди и встала, глядя на чемоданчик. Он так и лежал на кровати, даже крышка не закрыта. Жаркое чувство ликования пробежало по телу: всё получилось проще, чем она думала. Уже не боясь разбудить Макса, Алёна надела джинсы и пуловер, запихнула чемоданчик в сумку, бросила сверху бирюзовое платье и туфли — то, в чем ходила

завтракать. Надела ботинки и куртку. И, повесив на плечо дамскую сумочку, взяла баул с вещами и вышла из номера.

Коридор был пуст, на лестнице ей встретилась лишь одна из горничных, прижимающая к груди стопку постельного белья. На первом этаже Алёна ускорила шаг, прошла по коридору к холлу и невольно остановилась. Возле ресепшн стоял Крапива. «Если спросит, куда я, снова совру про сестру, — решила она. — Скажу, что в больнице несколько дней побуду, потому и вещей набрала». Сделав озабоченное лицо, пошла дальше. Но оказалось, что Ваське не до неё: он разговаривал с каким-то мелким, рыжим, неприятным. У того было острое, похожее на крысиную морду, лицо, дорогой костюм и тёмный галстук — будто молоток, подпиравший тощую шею. Чуть поодаль стояли два бугая неприятного вида, косились на рыжего, явно дожидаясь его.

Алёна скользнула вдоль стены, но Крапивин всё-таки заметил её. Ничего не спросил — лишь кивнул и снова перевёл взгляд на рыжего. Она вышла из гостиницы и быстро подошла к своей машине. Бросила сумку на заднее сиденье, села за руль и закурила, пока прогревался двигатель. Оглянулась: на крыльце было пусто. Да и кому за ней гнаться? Демидов проваливается в отключке еще часов семь. Как минимум.

Немного успокоившись, она выехала со стоянки и покатила к лесу. «Доберусь до объездной, а потом позвоню этому Егору по поводу книги, — думала она. — Обещала ведь связаться с ним сегодня после обеда. И с деньгами всё так удачно сложилось! Всё-таки мне они больше пользы принесут».

И она широко улыбнулась: деньги, у нее наконец-то есть деньги! Врубив радио на всю катушку, почти заплясала на сидении. А, глянув на своё отражение в зеркале заднего вида, подмигнула себе и рассмеялась от удовольствия: лицо выглядело помолодевшим, в глазах блестели дьявольские огоньки. И, подпевая радио, прибавила скорость.

...Василий Крапивин давно ничему не удивлялся: когда ведёшь гостиничный бизнес, привыкаешь к появлению новых людей. Поэтому трое мужчин, вошедшие в холл гостиницы, не вызвали у него особого интереса. Он ощутил любопытство только когда рыжий, который явно был за главного, спросил у портье:

— Скажите, в каком номере остановился господин Сеницын, Александр Викторович? Мы старые друзья, договорились о встрече. Но ждём, ждём — а он всё не спускается. И сотовый не берёт.

Портье открыл рот, собираясь сказать, что они не дают информацию о постояльцах. Но Крапива жестом остановил его.

— Друзья? — переспросил он. И произнёс, выделив фамилию голосом: — Вы друзья Сеницына?

Рыжий внимательно посмотрел на него, и ответил, хохотнув:

— Ну да, Сеницына. Александра... И Максима тоже.

Крапива хмыкнул в ответ, вспомнив, как допытывался у Макса, с чего вдруг тот заселился под чужим именем. Демидов сказал, что скрывается от жены — ревнивая, и если узнает, что он проводит здесь отпуск с Алёной, подаст-таки на развод. Придётся делить имущество, бизнес — а зачем осложнять себе жизнь?

Теперь и этот рыжий показал, что он в курсе походов Макса.

— Наш друг отдыхает здесь с любимой женщиной. А мы вот приехали позавидовать, да партейку в покер сыграть, — сказал он. — Только Максим нас встретить забыл. Не знаете, где он?

— Да вроде бы в номере. Спит ещё, наверное, — сказал Крапива. — Кстати, если надумаете играть, приглашайте, составлю компанию. Мы с Максимом вчера отлично провели время. Думаю, теперь он захочет отыгаться.

Он довольно заржал, вспомнив, как Макс накануне сорил деньгами. Как бахвалился, грозясь разделать всех под орех, и как злился, проиграв.

— И мы отыгаться, — сказал рыжий, улыбаясь в ответ. — Так куда нам?

— В триста четвертый, это третий этаж, — Крапива махнул рукой в сторону левого крыла гостиницы. — А женщина его только что мимо прошла, не обратили внимания? На неё обычно все обращают. Красивая, зараза!

— Да, с бабами ему везёт, — кивнул рыжий. — А насчет покера — понял, обязательно вас пригласим.

Крапива смотрел, как они идут по коридору и сворачивают на лестницу. Зевнул, почесав живот, и сказал портье:

— Я к себе. Если кто спросит, скажи, часика через три подгребу.

Тот кивнул и повернулся к молодой паре, желавшей снять номер. Крапива пошел к выходу из гостиницы, мечтая добраться до своего коттеджа и завалиться спать. «А Демидова сейчас дружки разбудят, — ослабилась он. — И правильно, нефиг дрыхнуть. Мне-то вот встать пришлось, как рабочему классу, хотя вместе до зорьки сидели. С утра мне было херово — пусть теперь и ему будет. А вечером партейку в покер устроим, и я его опять ощипаю».

Он повернул к своему коттеджу и не увидел, как из двери гостиницы быстро вышел тот самый рыжий, но — разозлённый до предела. А за ним, таща под руки бесчувственного Макса, выкатились двое бугаев. Портье придерживал перед ними дверь, помогая пройти. И слышал, как гогочут бугаи: вот, мол, нажрался товарищ с утра пораньше, забыл, что гостей назвал. Ничего, в сауне оклемается. А потом доставим обратно в лучшем виде. И для себя номера снимем, чтобы товарищу пьянствовать не скучно было...

Вика вела себя на удивление спокойно, и даже заулыбалась Михалычу. Пожилой армянин расплылся в ответной улыбке, смуглое лицо засияло нежностью:

— Вааа, барев, ахчик!*- сказал он, наклоняясь к кроватке. — Красавица какая, утем кез!**

— Георгий Михалыч, ещё раз спасибо, что пришли пораньше! — смущенно сказала Татьяна. — Извините, а можно у вас телефон попросить? Юра запретил мне пользоваться своим.

— Юра молодец, осторожный, — важно кивнул Михалыч, отстегивая от брючного ремня старенький мобильник. И Татьяна окончательно убедилась: не сердится. А она-то боялась, что отставной военный будет недоволен, когда позвонила ему и сообщила, что ждёт в соседней квартире. Ведь обещала не покидать свою.

— Я поговорю на кухне, посмотрите за Викторией, пожалуйста.

Он только отмахнулся: иди, мол, отвлекаешь. И тренькнул пальцем по резинке с погремушками, натянутой над кроваткой. Викулька, довольно взвизгнув, потянулась к ним рукой.

Яна схватила трубку после первого гудка.

— Таньча? Таньча, как я рада! — завопила она. — Мы уж переволновались все: ты пропала, Залесского в городе нет, не знаем, что и думать!

— Я в порядке, и он тоже, не переживайте, — ответила Таня. — Расскажи, как дела? Я по вам соскучилась ужасно!

— Ой, новостей куча, тебе про кого сначала?

— Как Павлик? — спросила Таня и почувствовала, что краснеет: могла бы сперва спросить у лучшей подруги, что происходит в её жизни. Хотя, судя по голосу, ничего плохого.

— Павлик твой в надёжных руках, — хмыкнула Яна. — Купченко так носился по городу, собирая справки на усыновление, что четыре кило сбросил. Да и Тamarочка не отстаёт, свадьбу готовит. И представляешь, у них получится так, что свадьба и суд по усыновлению в один день! Такой цирк только Витька мог устроить, точнее, звезда, под которой он родился. Получается, из ЗАГСа — сразу на скамью подсудимых. Или наоборот, там время ещё неизвестно.

— Слушай, какие же они молодцы! — с чувством сказала Таня. И сглотнула, пытаясь разбить ком, застрявший в горле. — А Павлик где сейчас?

— Так в больнице его держим. Львовна сказала, сколько надо, столько и будет лежать, чтобы потом не в приют, а сразу к Купченкам. Кстати, у них такая любовь, прям мур-мур, они из его палаты не вылезают. Он переживает, конечно, за мать, это видно. Но Купченки помогают пережить. Думаю, всё у них будет хорошо, справятся.

— А у тебя что нового?

— А мне перевод в Питер предложили. Там новую клинику открывают, зарплата в два с половиной раза больше, представляешь?

— Здорово! — обрадовалась Таня. — Приятно, что тебя оценили по достоинству!

— Вот, думаю, ехать ли... — сказала Яна. — С одной стороны, детей надо поднимать, а там возможностей больше. С другой — неохота со своего наседа срываться, привыкла уже,

курица. И вы все здесь останетесь...

— Насчёт нас даже не думай, будем ездить друг к другу, созваниваться. Такая дружба, Яна, любое расстояние выдержит.

— Да я знаю, спасибо! Ой, слушай, по поводу расстояний! Ко мне ведь Степановна приходила. Я чуть не свалилась, думала, галлюцинация.

Таня напряглась, ощущая неприязнь при одном упоминании о матери.

— Короче, прибежала ко мне в кабинет, начала орать — ну, как обычно. Я ей громкость убавила — тоже как обычно. И вот тогда она ныть начала: где Таня, что с Таней, почему аптеки закрыты, правда ли про тюрьму и увольнение. И знаешь, Таньч, ты не обижайся, но я ей всё высказала! И про то, что она от тебя нос воротила, только деньги тянула. И про диагноз Новицкого, и про Пандору.

— А она что? — обмерла Таня, едва представив Янку в запале. Чувство благодарности к подруге стало ещё сильнее.

— Представляешь, она растерялась. Первый раз её такой видела! Говорит, что просто пыталась уберечь тебя от ошибок, и предупреждала насчет Макса, с Павликом просила не связываться. Ещё больше теперь на Макса злится, я же ей сказала, что он тебя подставил — и с полицией, и с аптеками. А насчет Пандоры прям побелела вся. Затряслась, сказала, что не знала о твоих приступах. И что ничего такого в этой Пандоре нет, и никакой шизофрении тоже нет у тебя. Попросила передать, чтоб ты ей позвонила. Вот, передаю.

— А ведь я у неё спрашивала, но она ничего конкретного не сказала! — с досадой сказала Татьяна. — Ладно, позвоню.

— Ну, а ты сама не разобралась еще?

— Да я с психоаналитиком по скайпу чуть ли не каждый день общаюсь. И многое уже поняла. Знаешь, успокоилась как-то... Но это долгий разговор, а я с чужого телефона...

— Всё тогда! — заторопилась Яна. — Целую-люблю, держись там! И возвращайся скорее!

Нажав на кнопку отбоя, Татьяна стояла, не решаясь набрать номер матери. Но позвонить стоило. Тем более, что она сделала первый шаг — а в таких случаях Татьяна никогда не отталкивала людей.

Она сделала десять глубоких вдохов и выдохов. И, немного успокоившись, стала набирать цифры.

— Алло? — голос матери был усталым.

— Мама, это я. Здравствуй.

Елена Степановна коротко вздохнула и ответила.

— Здравствуй, Таня.

Тишина повисла между ними, сворачиваясь в тугой напряженный клубок.

— Мама, ты просила позвонить. Что ты хотела?

— Таня, ты где? — сдавленно спросила мать. — Пропала, мы с отцом волнуемся... Не чужие ведь, всё-таки.

— Я в другом городе, и со мной всё в порядке.

— Мне Яна рассказала про твоего муженька, и что ты прячешься теперь из-за него! — В голосе Елены Степановны слышалась злость. — А я, между прочим, всегда говорила, что он сволочь!

— Я не хочу это обсуждать, — вздохнула Таня.

— Но как же... Ты столько работала... А сейчас аптеки закрыты, он деньги украл. Наши

деньги, Таня! — возмущалась мать.

— Мама, это были мои деньги, если уж говорить объективно. Просто я не жалела их для вас. И дальше буду помогать, чем смогу. Вам сейчас нужно?

— Ты всегда считала меня меркантильной! — взвизгнула Елена Степановна. — А я, между прочим, могу сама себе заработать! Ты забыла, как я шью? Да стоит обзвонить клиенток...

«Поздравляю!» — хотела сказать Татьяна, но предпочла сдерживать эмоции. Вообще этот разговор её утомил, еле успев начаться. Чувствовалось, что мать юлит — будто боится главного вопроса. А, значит, всё-таки не готова рассказать правду.

— Мама, ты меня за этим просила позвонить? Чтобы поделиться своим возмущением по поводу Макса? Ну, так я его разделяю. Но больше не хочу об этом говорить. Если ты не хочешь мне сказать ничего другого, я вешаю трубку.

— Таня, подожди... — обреченно сказала мать. — Мне Яна рассказала про приступы, и что тебе поставили шизофрению. Так вот, знай, ты абсолютно здорова. И если б я раньше поняла, к чему это приведёт...

Она замолчала, словно подбирая слова.

— Мам, что бы ты сделала? — подтолкнула её Таня. — Если бы знала раньше?

— Я бы тебе объяснила. Объяснила бы, что не хотела тебе зла. Я вообще ничего не хотела! — последняя фраза прозвучала с надрывом. — И всё! Это всё, что тебе нужно знать!

— Всё, да? — вдруг разозлилась Татьяна. — Не хотела ты ничего, значит? А может, мама, ты и меня не хотела? Раз тебе всё равно, что я чувствую, что со мной будет. Ты даже сейчас не перестаешь выбирать за меня: что мне нужно, что не нужно...

— Хотела, не хотела — не важно, я же тебя родила. — Мать неожиданно всхлипнула — и это потрясло Таню сильнее, чем крик. Она оторопела, напуганная этим всхлипом, и вдруг осознала, что не помнит, чтобы мать вообще когда-нибудь плакала. «Но почему она так отреагировала? Неужели я невольно попала в точку? — лихорадочно соображала Татьяна. — Может, это не мои детские фантазии, когда я думала, что приёмная, или нежеланная? Может, мать действительно не хотела меня рожать? Ну, мало ли, забеременела случайно... И не стала делать аборт... Но ведь не стала же!»

— Знаешь, мама, что бы там ни было, но я благодарна тебе за жизнь, — искренне сказала Татьяна. — Мне, конечно, жаль, что ты не понимаешь, как портишь эту жизнь своим молчанием. Но если не хочешь рассказывать о Пандоре — да Бог тебе судья! Сама разберусь.

В трубке вновь повисла тишина, но неуверенная, зыбкая — будто мать всё еще всхлипывает там, отложив телефон. Будто хочет сказать — но боится. Или стыдится чего-то.

— Ладно, Таня, — она всё-таки собралась с духом. — Я тебе расскажу.

И выпалила на одном дыхании:

— Мы тогда жили у твоей бабушки в Ляпуново, там была кукла Пандора, твой папа ее привез из Чехословакии. Она тебя напугала, и мы её выкинули.

— Кукла? — недоверчиво переспросила Таня. — Как меня могла напугать обычная кукла?

— Ну как дети пугаются? Всякой фигни! — нервно сказала мать. — Кто вас знает, что там у вас в голове?

И обрубил:

— Всё. Никакого страшного секрета здесь нет.

Татьяна молчала, обдумывая слова матери. Так просто? Какая-то кукла? Она

прислушалась к себе и ощутила знакомую тревогу: Пандора по-прежнему пугала её, и она не могла быть такой мелочью.

— Если бы это было так, ты рассказала бы сразу, — задумчиво проговорила она. — А мне пришлось выбивать из тебя это, как будто это какая-то позорная, мерзкая тайна.

— Родня твоего папеньки сочла ее мерзкой и позорной, — сердито сказала мать. — Я здесь, Таня, вообще ни в чем не виновата.

И бросила трубку, будто оборвала струну.

Таня опустила на стул, только сейчас почувствовав, как дрожат ноги. Нужно было вернуть телефон Михалычу и заняться Викой — но она не могла. Ей хотелось побыть одной, хоть ещё немного побыть одной, потому что в её душе было пусто, словно Татьяна шла, продираясь, бежала — но в итоге упёрлась в тупик. Кукла... Нет, это не могло быть правдой. И в то же время было — крохотной её частью.

«Может, набраться наглости и попросить Михалыча ещё посидеть с Викторией? Хотя бы полчаса? — мучительно обдумывала Таня. — Потому что если я сейчас же не поговорю с психоаналитиком, меня разорвет на части. Ведь сегодня столько всего: этот странный сон, признание матери — не менее странное, если разобраться...»

Но когда она, набравшись смелости, вошла в детскую, то обнаружила, что и старый, и малый спят. Вика в своей кровати, зажав в крохотном кулачке резинового зайца. И Михалыч — в кресле, с раскрытой на груди большой красочной «Азбукой». Татьяна невольно прыснула, представив, как отставной военный изучает буквы, разглядывая аистов, баранов и ёжиков. И настроение сразу поднялось.

Уже не колеблясь, она прошла в свою квартиру и включила ноутбук. Нестеренко была в сети. Таня быстро отстучала ей сообщение и замерла, держа кулаки — как в студенчестве перед экзаменом. Ответ прилетел тут же: «К сожалению, у меня всего пятнадцать минут. Но если вас устроит, можем начать разговор сейчас, а на следующей сессии продолжим».

Таня немедленно набрала её номер.

— Алла, извините, пожалуйста, — сказала она, увидев на мониторе доброжелательное лицо психоаналитика. — Я помню, мы на другое время договаривались. Но у меня кое-что случилось, и я хотела на свежую голову...

— Я понимаю. Рассказывайте.

Таня постаралась описать свой сон, не упуская ни малейшей детали. Нестеренко довольно прищурилась.

— Очень интересно. А вы заметили, что отец снова защищал вас?

— Да, от матери. Но почему их две?

— Я вам на это не отвечу, — улыбнулась Нестеренко. — Ведь это ваше подсознание хочет что-то сказать, и только вы сможете расшифровать его сигналы. Ну а вы как думаете, откуда взялась вторая мать? И почему они выглядят по-разному?

— Понимаете, одна — это мать в молодости. У нас где-то фотография была, мама как раз после института. И вот там у нее прическа и макияж не такие, как сейчас. Цвет волос другой, стиль одежды. Она... простоватая, что ли. Не такая уж интересная. И это вот она — первая мать из сна. Но отец ведь почему-то набросился на ту, вторую! Как будто ему не нравится, какой в итоге стала его жена.

— А вот это интересная мысль, — подняла бровь Нестеренко. — Обдумайте её на досуге. И вообще, подумайте, вы уверены, что это один и тот же человек? Две ипостаси вашей матери?

— Не знаю, — покачала головой Татьяна, явственно ощущая сомнение, которого не было до этого вопроса.

Алла задумалась, постукивая ручкой по столу. И задала вопрос, который они никогда не обсуждали раньше:

— А как познакомились ваши родители? В какой период это было: когда ваша мама выглядела простовато, как на той фотографии, или же стильно и хищно, как сейчас?

— А я не знаю... — удивлённо ответила Татьяна. — Вы представляете, я только сейчас поняла, что практически ничего не знаю о том, как они познакомились, что их сблизило, почему поженились... Они ведь даже годовщину свадьбы никогда не отмечали.

— Вообще-то многие дети не знают этих подробностей, — успокаивающе сказала Алла. — Интересно, что большинство родителей — ну, по крайней мере, родителей тех, кто приходи в анализ — почему-то не любят рассказывать своим детям, как поженились и что их вообще свело друг с другом. Какие-то общие фразы, например: «вместе ходили в школу», или «познакомились через друзей»... Но, представьте себе, охотно рассказывают подробности чужим людям! А вам что говорили?

— Что мама после института приехала по распределению на ткацкую фабрику, а недалеко от неё был посёлок Ляпуново. Ну и там, в общежитии, она жила. И с отцом моим познакомилась в этом поселке. Поженились, через полгода я родилась. А когда мне было около трёх лет, переехали в наш город. И почему-то с родственниками из Ляпуново мои не общаются, уж не знаю, что там у них случилось. Да, кстати, и мать мне сегодня сказала, что Пандора тоже связана с этим посёлком — и вообще, будто бы так завали чешскую куклу, которую я боялась, и её выкинули. Но мне... как-то не верится в это. Понимаете, в этом слове — кукла — что-то есть. Оно как-то отзывается во мне, но очень слабо. И в любом случае, оно слишком мелкое для Пандоры. Но, с другой стороны, во время приступов у меня всегда было ощущение, что люди вокруг превращаются в кукол.

Нестеренко подперла голову рукой и спросила:

— Татьяна, а вы не думали поехать в этот посёлок и попробовать всё узнать там?

— Знаете, мои сто лет там не были, — растерялась Таня. — А мама как-то сказала, что у нас там никого не осталось.

— Но даже если все умерли, есть соседи, дальние родственники. Это же посёлок, там все должны друг друга знать. И если в вашей семье случилась какая-то трагедия, возможно, кто-то что-то помнит. Вы подумайте над этим, а так же над всем, о чем мы успели поговорить. А вечером проведем полноценную сессию, хорошо?

— Конечно! — кивнула Татьяна. — Ещё раз извините, что потревожила раньше срока.

— Ничего, я всегда рада помочь, — Алла улыбнулась и отключила скайп.

Вернувшись в квартиру соседей, Демидова заглянула в детскую — прежнее сонное царство, просто рай. Подумала, не прилечь ли вместе с ними, ведь из-за пьяной выходки Натальи ей так и не удалось поспать. Но, прислушавшись к себе, поняла: ни в одном глазу. Так бывало, когда она брала в больнице ворох дополнительных смен, да ещё и успевала заниматься аптеками. Неделью-другую поспишь урывками, усталость накопится такая, будто еще немного — и станешь засыпать в прыжке. А потом вдруг включается второе дыхание, и сна как не бывало. Только во всем теле мелкий колючий зуд, еле заметный, как вызревающее раздражение, которое еще не скоро будет готово вылиться в эмоциональную вспышку. Вот и сейчас — то же чувство под кожей.

Она прошла на кухню, включила газ под чайником и встала у стены, дожидаясь кипятка.

Весь сегодняшний день — как шторм: порыв налетает за порывом, одно событие за другим. Может, хотя бы вечер получится спокойным?

В животе заурчало. Ну как она могла забыть, что ничего не ела сегодня? Приподняв край футболки, Татьяна оттянула пояс джинсов: странно, между ним и животом свободно проходит кулак. Неужели похудела? Она усмехнулась: видимо, правильно говорят — если хочешь сбросить вес, просто забудь о нём. И действительно, ведь если раньше она старалась соблюдать диету, взвешивалась каждое утро, и не могла скинуть ни одного из обнимавших её талию килограммов — то сейчас, без этого жесточайшего контроля, тело будто само решало, каким ему быть. И освобождалось от лишнего. «Может, это из-за любви? — она лукаво улыбнулась. — А что, хорошая версия. По крайней мере, та, что нравится больше других». Потому что вряд ли здесь какую-то роль сыграл стресс из-за Макса или переезда — Татьяна не теряла аппетит в любой ситуации. И часто шутила о себе: может, мои нервные клетки и не восстанавливаются, но на их место тут же вползают жировые.

Чайник начал закипать, словно кто-то быстро-быстро забарабанил по нему ногтями. Струйка пара поднялась над толстым носиком. Татьяна залила кипятком пакетик зелёного чая, взяла из чашки овсяное печенье, и только собралась откусить от него — как тут же, по неписанному закону младенцев, проснулась Вика. А вместе с её рёвом из детской донеслась мягкая армянская речь. Таня поспешила на помощь.

— Георгий Михалыч, спасибо, составили компанию нашей Викульке, — сказала она, глядя, как пожилой армянин трёт глаза.

— Татьяна-джан, это она мне уснуть помогла, по ночам, знаете ли, не получается у старика, — отшутился он, и, глянув на часы, быстро засобирился, сокрушаясь: — Ва-ай, всё, что мог, проспал! Нехорошо!

Закрыв за ним входную дверь, Татьяна переодела Викульку, покормила её — так приятно было держать на руках тёплого, усердно чмокающего человечка — и принялась носить «столбиком», глядя маленькую спинку. «И как Наталья может от такого отказываться?» — в который раз подумала она. И в который раз не нашла ответа.

Одев малышку потеплее, Таня набросила куртку и вышла вместе с Викулькой на лоджию. Поставив люльку с ребёнком на стол, широко распахнула окно, впуская вольный морской бриз. Выходить на улицу больше не хотелось, она твердо решила не обманывать Залесского. А Вике нужен свежий воздух. Пока маленькая, можно гулять и так — лоджия достаточно большая, с хорошей циркуляцией воздуха.

Рассматривая море в бинокль, висевший на оконной раме, Татьяна пыталась разглядеть среди волн самое чудесное, что могло в них появиться — сизый глянец дельфиних спин. Но солнце скользило по воде, дробясь на тысячи золотых монет, на волнах — важно, будто куклы на самоварах — сидели жирные чайки, серо-зелёные ожерелья водорослей запутывались клубками... А дельфинов не было.

Татьяна отняла от глаз бинокль, помассировала пальцами веки. И застыла, случайно глянув вниз. Там, направляясь к их подъезду, шла тётя Аля. Но что-то несуразное появилось в её внешности. Как-то не так сидит плащ, будто одно плечо выше. Плотный пакет с вещами то и дело бьётся о колено. А сама Алевтина Витальевна шагает неровно — прихрамывает, что ли? И слегка покачивается.

«Может, выпили с подружкой, — попыталась успокоить себя Татьяна. — Или к кому она там поехала, когда Наталья решила расчистить территорию для Волегова?» Но тревога не отпускала. Уж очень сильно отличалась эта тётя Аля от той опрятной, аккуратно одетой

женщины, которую знала Татьяна.

Захлопнув окно на лоджии, она схватила люльку с Викой и занесла девочку в комнату. А сама пошла открывать входную дверь. И не утерпела — выскочила к лифту.

— Ох, Танюша! — вяло обрадовалась тётя Аля. — Встречаешь меня? Что-то голова разболелась.

Она вышла из лифта, чуть приволакивая ногу — и Таня вдруг поняла, что в ней не так. Вся левая сторона тела была расслаблена, плечо висело, нога явно отказывалась полноценно работать. А уголок рта и левое веко были страдальчески опущены. «Бог мой, да у неё прединсультное!***» — подумала Демидова. И быстро спросила, поддерживая соседку под локоть.:

— Тётя Аль, давно началось?

— Да минут пятнадцать назад, в автобусе как вступило! В затылок — бум! Аж в глазах потемнело. Ох, зря мы с Нинкой, подружкой моей, полезли грядки рыхлить. Настоялась вниз головой, уже тогда в голове колотунчик начался.

Таня помогла ей войти в квартиру. Алевтина Витальевна опустилась на банкетку, тяжело отдуваясь. Её лицо было красным — наверное, давление зашкаливает.

— Тётя Аль, улыбнитесь, пожалуйста, — попросила Татьяна. Соседка посмотрела на неё с удивлением, но Таня повторила: — Ну-ка, улыбочку!

Рот соседки скривился — улыбки не вышло, правый уголок рта дернулся вверх, а левый остался неподвижным. «Точно прединсультное», — поняла Демидова.

— Давайте-ка в комнату, — распорядилась она. — И не снимайте обувь, я потом подотру!

Уложив соседку на диван и подсунув подушки под её голову и плечи, Таня расстегнула ей плащ и верхние пуговицы кофты. Набрала на смартфоне номер «скорой» и одной рукой открыла форточку. Когда диспетчер взял трубку, быстро продиктовала адрес и симптомы. Вернулась к тётю Але: та лежала тихо, будто лишившись последних сил.

Демидова сняла с неё плащ и, достав из тумбочки тонометр, измерила давление. Двести десять на сто шестьдесят! Каптоприл стоял здесь же, на тумбочке — Татьяна вытащила одну таблетку и просунула меж губ соседки. Магнезию вколоть побоялась — сейчас не следовало слишком быстро снижать давление.

— Что, Танюша, совсем плохо? — вяло спросила соседка.

— Не совсем! — она погладила тётю Алю по плечу. — Но грядки были лишними. У вас же давление и сердце!

— А... — Алевтина Витальевна хотела отмахнуться, но вместо этого случайно шлёпнула себя по животу. — И что, не жить теперь? А знаешь Танюша, как хочется в земле покопаться? Весна ведь, скучаю я по грядкам. Всю жизнь с огородом прожила!

— Да я понимаю... Но побережись бы надо. Ладно, сейчас доктор приедет, и вам сразу лучше станет! — сказала Татьяна, но уверенности в этом у неё не было.

— А Наташа где? — спросила тётя Аля.

— В магазин отлучилась, — соврала Демидова. Не хватало ещё, чтобы Алевтина Витальевна узнала, что сегодня устроила её дочь.

— А Викулычка?

— Спит. Хотите, я её принесу? — оживилась Таня. — Мы с ней покушали, поиграли, даже на свежем воздухе побыли. А знаете, у неё ведь зубки режутся!

— Раненько, — улыбнулась тётя Аля. И сказала озабоченно: — Надо ей такую соску

большую твёрдую купить, я у Нинкиной внучки видала, специальная для зубок.

— Да мы купили уже! — успокоила её Таня. И услышала стук в дверь.

Врач скорой — пожилой дядька с роскошными черными усами и карими глазами навывкат — осмотрел тётю Алю быстро, но грамотно.

— Сейчас в больницу поедем, — весело сказал он, распутывая капельницу. И начал спрашивать у Тани, что принимала больная, каким было давление, пульс. Она отвечала, одновременно собирая в пакет самое необходимое. Последним сунула халат Алевтины Витальевны. Та выглядела сонной, заторможенной. И почти не владела левой стороной тела.

«Симптомы слишком быстро нарастают. Успеть бы... — думала Таня, чувствуя, как тоскливо сжимается сердце. — Надо собрать всё для Вики и напроситься в больницу на той же машине. Хотя бы за руку тётю Алю подержать, ей и то будет легче».

С врачом удалось договориться быстро — узнав, что они коллеги, он начал разговаривать с Таней по-свойски. Погрузились в «скорую», поехали. Демидова сидела на трясухой скамейке, держа на руках Вику. Смотрела то на капельницу, то в осунувшееся, изуродованное асимметрией, лицо тёти Али. Но так и не смогла дождаться ответного взгляда — к тому моменту Алевтина Витальевна уже потеряла сознание. А из приёмного покоя её подняли прямо в реанимацию.

Татьяна маялась у массивной железной двери с кодовым замком, прижимала к себе Викульку. Ждала, пока выйдет хоть кто-нибудь из медперсонала. Дико жалела тётю Алю и пыталась не думать о будущем. Не загадывать ничего. Даже на полчаса вперёд.

Дверь запищала, открываясь, и в больничным коридор вышел высокий молодой доктор в синем медицинском костюме. Его узкое лицо с яркими голубыми глазами выглядело озабоченным. Таня торопливо шагнула к нему:

— Вы реаниматолог?

— Да, что вы хотели, — монотонно сказал он, скользнув усталым взглядом поверх её головы.

— К вам сейчас поступила Куницына, Алевтина Витальевна...

— Я понял, — кивнул врач. — У неё гемморагический инсульт, нужно удалять гематому. Состояние очень тяжелое. Уже готовим к операции, надеемся что удастся спасти.

Он с сомнением посмотрел на Вику и сказал:

— Вы бы отвезли ребенка домой, мама. Что толку здесь сидеть? Операция будет долгой, начинайте звонить часа через четыре.

Татьяна замялась. Этот срок казался не таким уж долгим, а у неё в сумке было всё необходимое для Вики. И можно позвонить Нестеренко прямо отсюда, отменить психоанализ. «А вдруг операция продлится дольше? — подумала Таня. — Тогда всё-таки придётся уехать домой».

— А куда звонить? — спросила она.

— В наше отделение, бабушку к нам переведут. Если выживет, сами понимаете.

*здравствуй, девочка

** съем тебя

*** прединсультное состояние — нарушение работы центральной нервной системы, предвещающее возможное наступление инсульта.

Телефон звонил в сумочке, брошенной возле стены. Трезвонил и трезвонил, рассыпая хрустальные горошины звука — но они впивались в барабанные перепонки, как колотый лёд.

— Да-а-а бл...! — еле разлепив веки, Наталья запустила в него попавшейся под руку подушкой. Взгляд скользнул по противоположной стене: она почему-то была полукруглой, а на ней, почти под самым потолком — цепочка обитых железом окон, маленьких, забранных толстым стеклом. Куницына приподнялась, соображая, где находится. Разгоряченную кожу защипало, раздался тихий треск — и Наталья осознала, что прилипла от жары к белому дивану, обитому чем-то скользким.

Этот диван слегка покачивался — так же, как стены и пол.

Она посмотрела на себя через плечо: из одежды только лифчик от купальника, на одной ноге — босоножка с огромным каблуком. Нахмурилась, пытаюсь вспомнить вчерашний вечер. Но он казался тёмной водой, в которой плавают обломки: какой-то зал — то ли бар, то ли клубешник, она танцевала там... блестящая от дождя улица, свет фар, машина притормаживает рядом... странные ступеньки под ногами — дырявые, будто сваренные из железных труб... И ничего больше. Во рту зудела липкая сушь — такая, что язык и щеки приросли к зубам. Надо найти воду, а ещё плавки и вторую босоножку. И добраться до туалета.

Превозмогая тошноту, Наталья села, прикрыв руками низ живота и хмуро обводя взглядом пространство. Белые стены, в углу — дизайнерский столик в форме капли, сделанный из красного пластика. Красный трёхногий стул. Узкий шкаф — блестящий и тоже красный. Правый подлокотник дивана упирается в высокую белую перегородку — пока непонятно, что за ней. И всё привинчено к полу. А за закрытой дверью глухая тишина.

— Э-эй! — крикнула Куницына. Голос сорвался на хрип, и она закашлялась. С отвращением сплюнула прямо на пол, покрытый чёрно-белым ковром. И снова крикнула: — Эй, есть тут кто?

— Чего орёшь? — из-за перегородки показалась всклокоченная голова Ритки Патрикеевой, единственной подруги, оставшейся со школьных времён. Скользнув взглядом по телу Куницыной, она хрюкнула, губы расползлись в улыбке: — Николашу зовешь? Ну вы вчера и отжигали тут, аж стол покраснел.

Ритка повозилась за перегородкой, и встала, завязывая на талии лёгкий полупрозрачный халатик. Её темные волосы сбились в колтун на затылке, на одной из круглых цыганских серёжек болтался пластмассовый значок с надписью «Canada's Cup 2012».

— Мы где? — тупо спросила Наталья.

— У Нептуна на бороде, — тёмные, с косинкой, глаза Ритки раздраженно блеснули. — В море. Сейчас спросим, скоро ли Сочи.

Нагнувшись, она вытащила из-под дивана вторую босоножку Натальи, и изо всех сил заколотила подошвой по потолку:

— Мальчики! А когда уже берег? — она склонила голову, прислушиваясь. Недовольно нахмурилась: — Молчат, уроды. Надеюсь, они там не заснули...

В сумочке Натальи вновь зазвонил телефон.

— Возьми уже, всё утро надрывается! — сказала Ритка, и бросила её Куницыной.

— Да ну, надоели все, — отмахнулась та. И попросила: — лучше дай попить.

Открыв красный шкаф, оказавшийся холодильником, подруга протянула ей бутылку минералки. Наталья жадно отхлебнула, вытерла рот рукой.

— Ф-фууу, чуть не сдохла. А серьёзно, где мы?

— Ты чего, не помнишь? На яхте. Сама ж вчера орала: «Погнали в море, я буду голая нырять!» Правда, вы с Николашей дальше каюты не занырнули.

— С каким Николашей? — Куницына растерянно потеряла висок.

— Ну, с которым в клубе познакомились.

— Не помню.

— Эх, мать, ты даёшь! — хохотнула Ритка. — Ты ко мне вчера приехала, пьяная уже, жаловалась, что твой лысый хочет ребенка забрать. Орала, что поедешь в клуб, а потом в Турцию во всё включено. И меня с собой звала, говорила, всё оплатишь. Мы сначала двинули в «Семь скай», сперва в кабинке караоке пели, потом пошли в общий зал. Там Николаша с Яриком подкатили. А когда Ярик сказал, что можно яхту арендовать, и на ней доплыть до Сочи, чтобы попасть на самолёт в Турцию, ты тут же бабло вытащила и начала ему под майку пихать — типа это ему на спасжилет, и пусть подгоняет яхту.

— Зашибись... — поджала губы Наталья. — То есть я её оплатила? А сколько они с меня содрали?

— Вроде штуку баксов. Или две, я не помню, — беззаботно сказала Ритка. И снова постучала в полоток каблуком босоножки: — Э-эй, вы хоть в Сочи нас везёте?

Замок клацнул, и тёмном прямоугольнике двери возник высокий смуглый парень лет двадцати: шальная улыбка, мелированные волосы, поджарое, гибкое тело циркача. Загорелая кожа казалась скользкой от покрывавшего кожу масла — его слащавый запах тут же пропитал каюту. Парень был абсолютно голый, если не считать трусов от купальника Натальи, натянутых на голову.

— Девки, кому шипучки? — хихикнул он, показывая открытую бутылку шампанского.

— Плавки отдай, — поморщилась Наталья, припоминая что-то такое... какую-то любопытную подробность... кажется, это на его заднице была татуировка в виде одноглазого миньона с огромными причиндалами. И, кажется, над этим парнем она хохотала, требуя доказать, что его болт — не меньше. Да, он доказал: между ног такое ощущение, будто натрахалась на год вперёд.

— Нафига тебе трусы? — гыгыкнул Николаша. — У нас на яхте зона ню!

— Тогда пойду окунусь, — она стянула лифчик и сняла босоножку. Тряся ступнёй, протянула руку к парню:.. — Давай свою шипучку.

Шампанское освежило рот приятным холодком. Она сделала ещё глоток, и тут телефон затрезвонил снова.

— Да кто там без меня жить не может? — она недовольно открыла сумочку, достала трубку и рявкнула: — Да!

— Наташа, это Татьяна, няня Вики, — встревоженный голос звучал напряженно. — Алевтина Витальевна в больнице! Ты скоро приедешь?

Поморщившись, Куницына поднялась, глянула в иллюминатор: сине-зелёная гладь воды до самого горизонта.

— Не знаю, — буркнула она. — А что с ней?

— В коме сейчас, в реанимации. Было кровоизлияние в мозг, взяли на операцию, но неудачно.

— В коме? — тупо переспросила Наталья. Слово таило в себе опасность, тревогу, суету

— всё то, чего сейчас совершенно не хотелось. Она недовольно скривила губы: ну что за жизнь, как будто спазил кто-то! Всё на неё валится: сначала капризы Волегова, теперь это... Будто она всем должна!

— И что мне делать? — угрюмо спросила Куницына.

— Но как же... — растерялась Татьяна. — Меня к ней не пускают, потому что не родственница. Вот я и подумала, что ты сможешь к ней поехать.

— А что, там сиделок нет? Я не умею ничего такого, — Наталья почувствовала, как в глубине души заворочался стыд. Сказала, желая побыстрее закончить разговор: — Ты найми кого-нибудь, я оплачу. Просто у меня никак не получится сейчас приехать.

— Но я думаю... Всё-таки ты родной человек... Это ведь важно для больных! — сбивчиво заговорила Татьяна. — Мне обещали позвонить, когда она очнётся...

— Ну, вот и ты мне потом позвони, — ласково сказала Наталья. — Я же ей ничем сейчас не помогу, правда? А как с делами разберусь, сразу приеду.

— Наташ, ты не понимаешь, — с надрывом сказала Таня. — Она может умереть в любой момент!

— Ну а я что сделаю? — с вызовом спросила Наталья. «Умереть!» Бред какой-то, нянька явно преувеличивает. Матери не сто лет. И медицина сейчас космическая, всё может. Вот и пусть врачи работают.

В трубке потрескивало, будто кто-то перебирал радиочастоты, пытаясь поймать нужную волну. А потом Татьяна сказала — совсем другим, бесцветным голосом:

— Понятно.

И в телефоне раздались гудки.

Наталья положила его обратно в сумочку, раздраженно уставилась в пол. На душе стало погано. «А вдруг мать действительно умрёт?» — подумала она. Но эта мысль показалась нелепой.

— Что там? — спросила Ритка.

— Мать в коме, — буркнула Наталья.

— Ого, как в сериалах! — хохотнул Николаша.

— Ты дурак, что ли? — возмутилась Ритка. С тревогой глянула на подругу: — И что теперь?

— Фиг знает, — пожала плечами Куницына. — Я сказала, чтобы сиделку нашли.

— Вот правильно, хороший уход ей теперь нужен! — кивнула Ритка. — Да ты не расстраивайся. Можешь из Сочи такси взять, или на поезд сесть, махом доедешь. Мы уж скоро приплывем, поди.

— Плавает говно, а яхтсмены ходят! — выпендрился Николаша.

— Ты бы оделся, а? — посоветовала ему Ритка. И пробурчала под нос: — Поплыл бы отсюда...

— Пойдём, искупаемся? — предложила ей Наталья. — Башка трещит, думать ни о чем не могу.

И уже болтаясь в морской воде, глядя снизу на исчерченный красными полосами борт прогулочной яхты и бессильно обвисший парус, она подумала, будто оправдываясь перед самой собой: «Ну как бы я сейчас вернулась? Даже ветра нет...» А потом пришла ещё одна спасительная мысль: «Кома — это же надолго. И Волегов сказал, что вернётся через неделю. Так что успею съездить, хоть развеюсь. В последнее время всё нервы, нервы... Имею право отдохнуть! Думают, я железная...»

...Татьяна сидела за кухонным столом в квартире Куницыных — обессилено сникнув, положив голову на руки. Часы на стене с глухим клацаньем отсчитывали секунды: одну за другой, непрерывно, бесконечно.

После разговора с Натальей она разозлилась так, что едва не грохнула смартфон о стену. А сейчас ощущала странное: будто во всём мире не было никого. Будто шум машин за окном, далёкий лай собаки, взрывы натужного сериального смеха в квартире за стеной стали чем-то нереальным: как радиоспектакль, который дают призраки. И только ребёнок, спящий в люльке, оставался живым — и то как будто ненастоящим в своём глубоком, спокойном сне. Но и он был — пока. Пока не вернётся его бездушная мать, и не отнесёт его другим людям — словно в комиссионку.

А сейчас — некого ждать. Никто сюда не придёт. Никто не поможет. И если телефон зазвонит, будет очень трудно взять трубку. Потому что шансов на то, что тётя Аля выйдет из комы, катастрофически мало.

Татьяна сцепила пальцы — крепко, до боли, пытаясь хоть ею встряхнуть себя. Но тело было — кашня, и мысли — кисель, и собраться никак не удавалось. Но что-то нужно делать. Вот только — что?

Ехать в больницу? Глупо, в реанимацию пускают только родственников. Звонить?... Нет смысла, она опять услышит сухое: «Без изменений», а лишний раз отвлекать персонал реанимации — значит, ставить под угрозу чью-то жизнь. Позвонить Юре? Но он всегда набирает её с новых сим-карт, боится, что Василенко отслеживает его номер — так что звонить на него он запретил категорически. Да и чем поможет Залесский? Только станет волноваться за неё ещё больше.

Пустота. Тупик. И дико страшно. Ведь если тётя Аля умрёт — что делать? Ведь ей даже тело не выдадут, чтобы похоронить — не родная. Из родных только Вика. И как быть с ней, если тётя Аля придёт в себя? Невозможно ведь одновременно находиться в больнице и заботиться о ребенке. А подыскать няню, чтобы оставлять девочку с ней, тоже не вариант. Наталья может явиться в любой момент, и с ней нужно поговорить ещё раз. Попросить, чтобы не отдавала малышку. Попытаться убедить, что Вике будет лучше с отцом, чем с кем-то чужим...

Стоп.

Таня подняла голову и ошарашено уставилась в стену. Как она сразу не подумала? Ведь есть же Волегов!

Она схватила смартфон, быстро набрала в поисковике «Сергей Ольгердович Волегов Минтранс Москва». И облегченно выдохнула: по одной из ссылок нашелся телефон его приёмной.

Позвонила, не медля. Голос секретарши был официально-приветливым.

— Добрый день, могу я услышать Сергея Ольгердовича? — спросила Татьяна. И добавила: — Мне очень срочно, я по личному вопросу.

— Он в отпуске, — сообщила секретарша. — Выйдет на работу через десять дней.

— Но мне очень нужно с ним связаться! Может быть, вы дадите мне его личный номер? — взмолилась Таня.

— К сожалению, у меня нет таких полномочий. Оставьте для него информацию, я передам.

Татьяна задумалась. Сказать, что она звонит насчет его ребёнка? Но Волегов скрывает Вику от всех. Как бы не сделать хуже.

— Я по поводу семьи Куницыных, — наконец, сказала она. — Пусть он позвонит, я расскажу подробнее.

— Хорошо, я всё передам, — пообещала секретарша, записав номер её телефона.

Этот разговор ещё больше расстроил Татьяну. Ощущение было таким, будто она наткнулась на толстую бетонную стену, которую не пробить и не обойти. Она с жалостью посмотрела на Викульку. И перед глазами вдруг снова встала пьянущая Наталья.

«Вот тварь! — опять разозлилась Татьяна. — Мать в больнице, при смерти — а ей плевать! Ребёнка родного решила чужим людям сбавить, лишь бы отомстить мужику! Да что она за человек такой? Мразь, чёрная душа, а ведь такая делает, что задумала — и глазом не моргнёт! Нет, я не допущу. Нужно где-то спрятать ребенка, пока не объявится Волегов. Но где?...»

И она вдруг подумала: а что, если взять малышку и уехать в Ляпуново? Ведь это не так далеко, чуть меньше суток, если на машине. Можно взять автомобиль в прокате, деньги есть. Всё равно тёте Але пока ничем не помочь, какой смысл оставаться в городе? А так можно убить двух зайцев: и Вику спрятать, и узнать что-то новое о Пандоре.

«Ага, и снова загреметь в тюрьму, — мрачно сказал внутренний голос. — За то, что украла чужого ребенка. Только теперь ты не выкрутишься».

Это отрезвило, как оплеуха.

Противная дрожь побежала по телу, сразу вспомнилось всё: грубые руки полицейских, не гаснущая всю ночь лампа — как бельмо на потолке камеры. Грязные стены, лязг железных дверей, ледяные глаза следователя... Испуганно прижав ладонь к губам, Татьяна невольно замотала головой: «Нет, только не это!» И её смелость, такая сильная минуту назад, поползла куда-то вниз и свернулась змеей, пытаясь стать невидимой. А на её место пришли страх и вина, огромный страх и чудовищная вина, почти парализовавшие Таню. Вспомнился Залесский — небритый, в своей пропахшей дымом телогрейке: как он обнимал её в камере, как рычал на следователя и тщательно проверял каждую бумажку из тех, что ей давали подписать... А ведь если она заберет Викульку, он уже не поможет. Ничем не поможет. Она только сердце ему разобьет.

Ломая руки, Татьяна посмотрела на спящую Вику — и не сумела сдержать слёз. Кроха посапывала, черные реснички трепетали над розовыми щечками, круглый животик поднимался в такт дыханию. Такая маленькая... Такая беззащитная.

«Прости меня, — прошептала Таня, ощущая, как чёрная тоска затапливает душу. Слёзы делали мир вокруг расплывчатым, тусклым — будто свет исчезал, и уходило тепло. — Прости. Я не могу забрать тебя с собой».

Эти слова будто поставили точку — и лишили Татьяну остатков самоуважения. Она поникла, обречённо глядя в одну точку.

Часы на стене тикали — холодно, равнодушно.

А девочка спала в своей люльке — спокойно и безмятежно, не подозревая о том, что кто-то сейчас решил её судьбу.

Всё будет просто и страшно. Наталья отдаст девочку. Волегов потеряет дочь. Тётя Аля — внучку. А Вика будет расти у чужих людей. Которые, может быть, никогда её не полюбят. И она даже не узнает, что переломной точкой в её жизни была вот эта минута. И что был рядом взрослый человек, который мог всё предотвратить. Мог. Но струсил. Только сказал: «Прости».

«А я-то себя за это прощу? — тоскливо подумала Таня. — Ведь я-то всегда буду

помнить, что эта минута — была! Потому что когда надеешься забыть, вспоминаешь всё до мелочей. Вот и я — буду прокручивать это в голове бесчисленное количество раз, и буду стыдиться себя, и жалеть того, что сделала. А главное — того, что не сделала...»

Она закрыла мокрое лицо ладонями, но стыд прожигал кожу, пламенел на щеках, будто пятна проказы. «Я не могу, не могу так рисковать! — прошептала Таня, будто оправдываясь. — Я всегда уважала закон. Да, я немного нарушала его, когда вела бизнес: занижала прибыль, чтобы платить меньше налогов, хитрила, ведь иначе было не выжить. Но когда речь шла о людях — всегда была законопослушной, правильной. И знала, что нельзя просто взять и забрать себе чужого ребенка. А Вика — чужая. Чужая!»

Она решительно тряхнула головой и утёрла глаза — резкими, рваными движениями. Решение принято. Всё. Надо успокоиться. Её долг — дождаться. Звонка из больницы. И возвращения Натальи.

Жутко захотелось выпить, и она поднялась, зашарила по шкафам. Нашла открытую бутылку виски, отвернула пробку, поднесла ко рту — плевать, что не из стакана, на всё плевать, когда чувствуешь себя подлой, никчёмной, мерзкой! Вжалась губами в холодное горьковатое стекло...

И поставила бутылку на стол, не сделав глотка.

Ледяная, клокочущая ярость поднялась внутри. Да как она вообще могла раздумывать, забирать ли Вику? Для неё ведь нет чужих детей! Бросила бы она своего? Конечно, нет! Так почему бросает этого? Малыша, которому больше некому помочь?

«Плевать на всё, как-нибудь выкручусь, — решила она, и пошла в детскую, чтобы собрать Викины вещи. — Ну не могу я оставить Вику! Мы уедем, дождемся Волегова — пусть он забирает дочь. Он же любит её, и человек неплохой — уж в этом-то я успела убедиться. И умный. Надеюсь, он сможет понять, что я не украла её, а просто пыталась уберечь. А не поймёт — что ж, значит, и у меня есть судьба, которую не изменишь».

*Canada's Cup 2012 — парусная регата, проводится среди экипажей яхт-клубов, расположенных на Великих Озёрах.

Сидя в скромном гостиничном номере, больше похожем на комнату в общежитии — две кровати возле стен, небольшой стол между ними, допотопный телевизор на тумбочке — Залесский и Андрей Кузьменко играли в шахматы. Шла восьмая партия, когда позвонила Алёна.

— Да, это Егор, — сказал Кузьменко, подмигнув Залесскому. — Отлично! Конечно, я вас жду, и книга с собой. Подъезжайте к гостинице «Кубанская казачка», адрес я вам сейчас эсэмэской сброшу. Здесь кафе в соседнем здании, я буду ждать вас там. Нет, это не в центре, это Кировский район. А, вы в Советском? Значит, примерно через час с учетом пробок. Хорошо, я скоро туда спущусь и буду вас ждать.

— А чего ты не сказал ей «*Respice finem*», что означает «Подумай, чем это может кончиться»? — усмехнулся Залесский, когда Андрей повесил трубку.

— Я по легенде латыни не знаю, — улыбнулся Кузьменко. — Звони давай операм, пусть потягиваются.

— Нет, я всё переиграл, — покачал головой Залесский. — Решил нарушить правила этикета. Мы не будем представляться этой благородной даме. Лучше пусть она примет нас за бандитов. Как я понял, с ними она сталкивалась не раз. И знает, что такая встреча может кончиться хуже, чем свидание с полицией, и тем более — с частными адвокатами. Надеюсь, Леднёва перепугается и всё расскажет. Но если заартачится, я её по гражданскому аресту возьму.

— А если сразу сдаст Демидова?

— Как только найду его, мы отпустим Леднёву, — ответил адвокат. — Она же, в общем-то, ничего плохого не делала. Может, даже не знает о том, что он натворил. А вот к Демидову я обязательно вызову оперов. Позабочусь, чтобы посадили его, и надолго.

— *Dura lex, sed lex*, — прокомментировал Кузьма, поглаживая живот, — что означает: «Закон суров, но это закон».

— Забудь латынь! — улыбнулся Юрий. — И давай уже, вживайся в роль строителя-кладоискателя.

Через полчаса Кузьменко сидел за столиком кафе. Это место они выбрали специально: одна стена полностью стеклянная, можно спокойно наблюдать из машины за тем, что происходит внутри. Залесский сидел напротив кафе во взятой напрокат серой «десятке» — старенькой, неприметной, но имеющей одно важное достоинство: тонировку на стёклах. Смотрел, как к Кузьме подошел официант, как Андрей отрицательно помотал головой, отказываясь от заказа, как в ожидании встречи вертел в руках красную пластиковую салфетницу. На столе перед ним лежал большой сверток: завёрнутое в пакет издание «Русские передвижники. Шедевры живописи» — книга почти того же размера, что и Библия Гуттенберга: тридцать сантиметров в ширину и сорок пять в высоту. А разворачивать её Кузьма не будет — незачем.

Алёна подъехала минут через двадцать, остановила машину почти у входа в кафе. Поднялась по ступенькам, шикарные волосы плеснули золотистой волной под светом солнца — величаво, как мёд, густо стекающий с ложки. Гордая посадка головы, прямая спина, царская походка. «Что ж, красивая, надо признать, — подумал Залесский. — Но ум односторонний». Он знал таких — начитанных, сыплющих цитатами, со знанием дела

рассуждающих о живописи, музыке, политике... но непоправимо тупых в реальной жизни, неспособных устроить её так, чтобы прокормиться самостоятельно. Да ещё и не нарушать закон.

Он увидел, как она прошла через зал и села за столик Кузьменко. Что-то сказала ему, улыбнулась. Андрей подался к ней, и похлопал рукой по свёртку. Залесский вышел из машины и направился к кафе.

Они специально устроили так, чтобы Леднёва оказалась спиной ко входу и не увидела Юрия. Он быстро окинул помещение взглядом: официант принимает заказ у пожилого мужчины, расположившегося за столиком в углу, пара юнцов в центре зала смотрят в экраны смартфонов, жуя пиццу, женщина за соседним столиком утирает рот ребенку лет пяти. Кассир за стойкой пишет в журнале. А Кузьменко что-то рассказывает Алёне, и она настолько увлечена разговором, что даже не смотрит по сторонам.

Залесский подошёл к ней осторожно, ступая, как кот. Нащупал в кармане наручники.

— Извините, не подскажете, который час? — спросил он, обходя её справа.

Она подняла руку — машинальный жест: сейчас посмотрит на часы, а если их нет, вытащит сотовый. Адвокат качнулся к ней, железное кольцо легко замкнулось на её запястье. Быстро потянув её руку вниз, он защелкнул второе вокруг одного из металлических штырей, державших спинку стула. Всё просто и элегантно.

— Не шумите. Это в ваших интересах, — сказал Залесский, предупреждая её возмущенный возглас. Кузьменко тут же пересел на соседний стул, подвинулся так, чтобы закрыть её руку от любопытных глаз. Алёна прерывисто вздохнула, на тонкой шее часто-часто забила жила. Серые глаза наполнились страхом, казалось — ещё чуть-чуть, и он прольётся слезами.

— Вы от Макса? Или вы те, кто его ищет? — пролепетала она. — Не надо, я отдам деньги.

— Отдадите, конечно, — усевшись напротив, согласился Залесский. Он сохранил непроницаемый вид, но втайне обрадовался — если это те деньги, что украл Демидов, задача упрощалась в разы.

— И вы меня отпустите? — нервно сглотнула Алёна.

— Как только вы расскажете нам, где Максим, — кивнул Залесский.

— Или покажете, — добавил Кузьма.

Алёна мелко закивала. Залесский наклонился, сказал, улыбаясь, словно разговаривал со старой знакомой — так должно было казаться со стороны:

— Сейчас мой напарник отстегнёт ваш браслет и наденет его себе на руку. Мы встанем и пройдем в вашу машину, поговорим там. И прошу вас быть благоразумной, у меня под пиджаком пистолет.

Леднёва скользнула взглядом по его груди, и он чуть приподнял полу пиджака, чтобы она увидела кобуру. Вскинув на него взгляд, она подавленно кивнула.

Кузьменко пристегнул её к себе быстро, как фокусник. Взял её ладонь, чтобы казалось, будто они идут, держась за руки. И они покинули кафе. Подойдя к машине, Залесский спросил, где ключи. Вытащив их из кармана её джинсов, он сел за руль, а Кузьменко с пленницей поместились сзади.

— Ну что, Алёна Николаевна, рассказывайте, — велел Залесский, отъехав в дальний конец стоянки.

— Я ничего не знала, — быстро заговорила она. — Максим нашел меня в соцсети пару

месяцев назад, сказал, что хочет вернуться. Что денег привезёт, мы дом купим, будем жить, как раньше. Мы же расстались четырнадцать лет назад! И если бы я знала, что он опять куда-то вляпался, ни за что бы не согласилась! Пожалуйста, поверьте. Я не знала о том, что он украл деньги! Он мне совсем недавно признался!

— Не волнуйтесь, — сказал Залесский. — Я понимаю, переживательно всё это очень. Не стоит оно того. И если будете нам помогать, ничего страшного с вами не случится. Так деньги где?

Она мотнула головой в сторону объемистой сумки, лежащей на сидении справа от неё. Залесский вышел из машины, подошел к задней дверце и, открыв её, расстегнул молнию сумки. Металлический угол чемоданчика выглядывал из-под одежды. Отодвинув её, Юрий открыл блестящую крышку — и удовлетворённо сказал:

— Я вижу, почти всё цело.

— Какая вы богатая невеста, — подначил Кузьменко. — А жених где прячется? Я так понимаю, бывший.

— Он в отеле «Прибрежный», — она назвала адрес, — номер триста четыре. Остановился под именем Синицына, Александра Викторовича.

— Хорошо, — кивнул Залесский. — Я сейчас поеду туда, проверю. А вы, уж будьте любезны, поднимитесь в номер вместе с моим напарником. Он просто составит вам компанию до тех пор, пока я не сообщу, что нашел Демидова.

— Но потом-то вы меня отпустите?

— Если он там — да. Если нет — уж не обессудьте, вам придётся проехать с нами в полицию.

...До «Прибрежного» он добрался быстро. Притормозил у шлагбаума, сообщил, к кому приехал. Покурил у машины, дожидаясь, пока охранник запишет его паспортные данные, и двинулся дальше. Миновав аллею, обсаженную аккуратно подстриженными кустами, Юрий заглушил мотор и несколько секунд любовался на высокие голубые ели, росшие у входа. И направился в гостиницу.

Портье не остановил его, и Залесский взбежал на третий этаж. Коротко стукнул в дверь номера, прислушался — тишина. И нажал на латунную ручку.

В номере всё было перевёрнуто, словно по нему прошел тайфун. Вспоротый матрас поблескивал пружинами. Ящики комода были вывернуты, шкаф гостеприимно распахнул объятья. Открытая дверца сейфа торчала из стены, как орлиное крыло.

Залесский поддел носком ботинка мужскую рубашку, комом лежащую на полу, и разочарованно вздохнул. Явно не Демидов устроил этот бардак. И Алёна не стала бы пускать их по ложному следу — она себе не враг. Значит, это Василенко учинил обыск. И он же забрал Демидова.

В открытую форточку влетел воробей, приземлился на раме, замер, нахохлено глядя на Залесского.

— Пойду-ка я отсюда, — сказал ему Юрий. — Горничную позову. А то подумают, что это я здесь веселился.

Он спустился на ресепшн. Молодой портье что-то печатал в компьютере — виднелась лишь прилизанная макушка, облепленная редкими пшеничными волосами. Залесский кашлянул в кулак, и портье поднял на него вопросительный взгляд.

— Я поднимался в триста четвертый, искал одного вашего постояльца, — сказал юрист, раскрывая удостоверение частного адвоката. — А его нет, и в номере как будто обыск

прошел, всё разрушено. Вы не в курсе, что произошло?

Портье стал белее мела, дернул за воротник рубашки так, что отлетела верхняя пуговица. И ответил:

— Его друзья увели, сказали, в баню поедут, протрезвят... Я думал, он пьяный...

— ...а он был без сознания, — закончил вместо него Залесский.

— Висел, как боксёрская груша, — признал портье.

— Ну, хорошо, а как его друзья выглядели?

— Один такой невысокий, рыжий... худой очень.

— И лицо острое? Как у крысы? — Залесский поднял руку к носу и сделал пальцами такое движение, будто вытягивал его вперёд.

— Да-а, что-то есть, — протянул портье. — Он был. И два мужика с ним, здоровых, в кожанках. Мордастые, волосы ёжиком. Они этого Синицына несли. А рыжий впереди шел, и было видно, что сильно злится. Я подумал, из-за того, что их приятель в дрова.

— Я понял, спасибо, — кивнул Залесский. — И запишите время, в которое я к вам подошел. Не хочу, чтобы убытки от разгрома в номере отнесли на мой счет.

Он вышел из отеля и направился к машине. Сев за руль, набрал на смартфоне номер Василенко. Гудки, гудки... Может, перезвонит?

Подождав минут двадцать, Залесский завёл двигатель и мелено покатыл по аллее в обратную сторону. Он не знал, что делать дальше. И просто ехал по дороге, пока не увидел приземистое строение с надписью «Кафе» и стоявшие перед ним длинномеры. Желудок жалобно сжался: Залесский сегодня даже не завтракал, не было аппетита. Он остановил машину, вошел в кафе. Обычная придорожная забегаловка: стены, отделанные дешёвыми пластиковыми панелями, засиженные мухами окна, пара дальнобойщиков за столиком у окна. Отодвинув лёгкий пластиковый стул, адвокат уселся и кивнул девушке за стойкой. Когда она подошла, заказал шашлык, жареный картофель, и стан томатного сока.

Дальнобойщики о чем-то спорили, на экране телевизора, висящего под потолком, кривлялся какой-то певец. Залесский достал смартфон и набрал эсэмэску: «Деньги у меня. Готов выкупить Вашего друга». Отправил Василенко. И приготовился ждать.

Василенко пнул бесчувственное тело Макса, лежащее на заднем сидении черного «мерса», и смачно выругался. Сидеть рядом с Демидовым было противно: от него воняло, как от свиньи. Обделался, будто младенец — когда они вошли в номер, в нос сразушибанул этот запах. Макс лежал на кровати вниз лицом, джинсы и трусы были приспущены, будто собирался снять, да так и заснул. Браткам, которых Василенко нанял для поимки Демидова, пришлось натягивать их обратно и застёгивать, чтобы не свалились по дороге. Надо было уже тогда заставить их вытереть Максуд зад и поменять одежду.

Василенко закурил, но табачный дым в сочетании с навозным амбре показался на редкость противным. Он закашлялся и швырнул сигарету в окно.

— Откройте всё, вонища же, неужели не чувствуете! — визгливо сказал Василенко, и стекла в дверях машины тут же поехали вниз.

— Под клофелином он, зуб даю. Это после него организм все шлюзы открывает, — хмыкнув, обернулся с переднего сидения Леший, один из бугаев, помогавших вытаскивать Макса из гостиницы. Его брат Володя, которого почему-то называли Лёва, сидел за рулём.

— Ну так приведите его в чувство! — недовольно бросил Олег. — Или я вам плачу, чтобы тут ржали?

Эти самарские дурни порядком раздражали его. Но они единственные, с кем он не побоялся иметь дело: проверенные были, нашел по старым связям.

— Капельницу надо, — сказал Лёва. — Можно к Перепелу поехать, он много кого без больнички выходил.

— Так езжай! — прикрикнул Василенко.

У знака с надписью «Багры 14» машина свернула на грунтовку, затряслась на ухабах. Олег хмуро смотрел на проплывающие мимо поля, покрытые зелёной порослью. Вдалеке виднелась кромка леса.

Миновав обгоревший комбайн, стоящий на обочине, «Мерс» в очередной раз подпрыгнул на колдобине, и из салона пахнуло свежей порцией говна. «Жук навозный, — подумал Василенко, с ненавистью косясь на Макса. — Столько сил потрачено, чтобы найти эту свинью — но бабла всё равно нет. А ведь все сроки прошли, нужно было давно вернуть деньги, которые давал Максуд для обналички! Теперь придётся возвращать с процентами, а счетчик тикает, каждый день наматывая приличную сумму... А тут ещё новые расходы: врачу, ведь нужно любой ценой привести в себя этот полутруп и вытрясти, наконец, из него деньги. Но он может и не прийти в себя, клофелин дело такое».

— Долго ещё? — нервно спросил он у Лёвы.

— Да минут десять, — откликнулся тот.

Вскоре они въехали в деревню, медленно покатали по улице, распугивая стаи кур и гусей. Двинулись к стоящему на отшибе кирпичному дому, обнесённому глухим забором. С его шиферной крыши густо свисали серые плети девичьего винограда, покрытые едва вылупившимися листочками. Лёва посигналил, и через несколько минут лязгнул засов калитки. К «мерсу» подскочил суетливый мужичок лет сорока: низенький, с небритым лицом и маленькими обезьяньими глазками, плутовато блеснувшими из-под низких надбровных дуг. Красная майка с Че Геварой, закатанное по колено черное трико, и взгляд, шнырявший по сторонам с показным простодушием, делали его похожим на ветерана

партизанского движения.

— Здоров, Перепел! — сказал Лёва, пожимая ему руку. — Пациента примешь?

Мужик глянул в сторону деревни. Дорога была пуста, никто из местных не наблюдал за ними.

— К пристрою подгоняй, — кивнул он и пошел открывать ворота.

Василенко с облегчением выбрался из машины и, вдохнув свежий воздух, встал, с любопытством рассматривая двор. Он оказался просторным и ухоженным: тротуарная плитка, выстилавшая его, была чисто выметена, справа стоял добротный сарай, обитый бордовым сайдингом. Рядом желтел бок поленницы — будто гигантская мозаика, неумело собранная ребенком. На широкой берёзовой колоде, в которой застрял клюв топора, алела полоса свежей крови.

— Сын курицу рубил, в первый раз, — сказал Перепел, проследив за взглядом Василенко. — Накосячил мальчика. Оно ж бегаёт.

— Может, нашему тоже башку отрубить, чтоб забегал? — криво улыбнулся Олег.

Перепел блеснул зубами и поинтересовался:

— А чего приключилось?

— Коктейль с клофелином выпил.

— Не полезно, — с сочувствием кивнул Перепел. И крикнул бугаям: — В пристрой заноси! Да не вперёд ногами!

Василенко направился за ними — по бетонному трёхступенчатому крыльцу, мимо толстой железной двери, явно сваренной вручную. Пристрой состоял из крохотной прихожей и двух комнат: маленькой, с застеклённой дверью, из-за которой пробивался синий свет кварцевой лампы, и побольше — та была открыта. Посредине стояла кушетка, застеленная клеёнкой — почему-то цветастой, такую кладут на дачные столы. Вверх от кушетки уходил железный штатив для капельницы. Вдоль стен расположилась пара узких застеклённых шкафчиков, в которых теснились батареи пузатых медицинских склянок, коробки с лекарствами, пачки ваты. Здесь же стояла покрытая той же цветастой клеёнкой деревянная тумбочка, на которой стояла двухконфорочная электроплитка. Рядом железными горками высились разнокалиберные стерилизаторы, лотки, и прочая дребедень.

Демидова уложили на кушетку. Перепел нацепил мятый чепчик и облачился в замызганный белый халат; голые ноги, заросшие тёмными волосками, нелепо торчали из-под подола. Шаркая тапочками, он деловито суетился: измерил Максу давление, посветил в глаза фонариком, раздвинув пальцами веки. Открыл стеклянный шкафчик с лекарствами — тот, потревоженный, мелко затрясся, зазвенел, недовольно блеснул открытой дверцей. Перепел достал пару пузатых бутылок с круглыми алюминиевыми крышками, и зашуршал, распаковывая капельницу. Поймав напряженный взгляд Василенко, беззаботно бросил:

— Не парься, жить будет.

Василенко почувствовал себя так, будто долго тащил на хребте бревно — и, наконец, его бросил. Он распрямил плечи, втянул носом колючий озонированный воздух. В горле сразу запершило. Он недовольно сглотнул и спросил у братьев:

— Выпить есть?

— Так в машине, в бардачке — фляга, — отозвался Леший.

Василенко вышел на улицу, закурил, подходя к «мерсу». В бардачке действительно нашелся коньяк. Олег отхлебнул, и пошел прогуливаться по участку, то и дело прикладываясь к фляжке.

За домом оказалось г-образное пространство, полностью отведённое под сад и огород — только в дальнем конце стояла кирпичная баня и два деревянных сарая: в сетчатом загоне возле них бродили белые и рыжие куры. А рядом спал трактор «Беларусь», выкрашенный весёленькой голубой краской. Но решётка радиатора была тёмной, как чёртовы рёбра, сбоку капота выпирали черные железные внутренности. Будто доктор-садист вспорол пациенту брюхо, и не удосужился зашить.

В голове у Василенко заворочалась какая-то хищная мысль — ещё не оформившаяся, призрачная. Он покусал губы, вспоминая всю эпопею с Демидовым. Гадёныш, столько времени и бабок на него извёл!

...Он вышел на след Макса, когда просматривал видео с камер ГИБДД — жопой чувствовал, что тот поедет в родную Самару. И не ошибся: знакомый автомобиль несколько раз мелькнул на трассе и свернул по направлению к Коломне. Василенко пришлось ехать туда самому. Он гулял по авторынкам, шерстил с помощью знакомых гаишников автосервисы и конторы такси. Потратил немало времени и денег, но, в конце концов, повезло: один из таксистов узнал Демидова по фотографии, вспомнив, что отвозил его из дома отдыха «Аврора» в третьесортную автомастерскую. Ну а дальше было просто: взяли хозяина мастерской за жабры, он и раскололся. Сказал, какую машину Макс забрал вместо своей, дал номер мобильного, с помощью которого они держали связь. Василенко пробил его — оказалось, что уже с неделю эта сим-карта не в сети, но в последний раз её пеленговала вышка при въезде в Самару.

Олег поехал туда, снял номер в шикарном отеле, походил лошком, спрашивая с невинным видом, где найти компанию для игры в покер. Тем же вечером к нему подсел в баре тучный мужик, завел разговор о картах — прощупывал. А когда понял, что Василенко свой, пригласил его на партию. Потом они играли в других местах, он знакомился с новыми людьми, и каждому из них показывал фотографию Макса. Один партнёр его вспомнил, порассказывал кое-что о девяностых: о Максовом карьерном взлёте от простого водилы до рэкетира и замдиректора банка. Обмолвился и про Алёну, но в тот момент Олег не придавал этому значения — и, как выяснилось, зря. Ну а сегодня утром к нему подошел один из партнёров, с которым играли на прошлой неделе. И сказал, что накануне видел Демидова в отеле «Прибрежный» — мол, он приятель хозяина, познакомились вчера за покером...

Он вернулся к дому, отдал фляжку с коньяком стоявшим на улице Лёве и Лешему. И снова пошел в пристрой. Перепел сидел возле Макса, чинно сложив руки на коленях, и наблюдал за капельницей.

— Ну как он? — спросил Олег.

— Лучше уже, — мотнул головой Перепел. — Минут через сорок пробудится. Вы куда его потом?

— Да тут поговорим. А если не скажет, что хочу услышать, придётся силу применить.

Перепел почесал переносицу и глянул с опаской:

— Ну, насчет силы я вот что скажу: если здесь прессовать будете, то тариф тройной.

— Деньги не проблема, — повёл бровью Василенко. И, подойдя к окну, снова посмотрел на огород. Синяя «Белорусь» по прежнему стояла там.

— Рабочий? — хмуро спросил Василенко.

Доктор Перепел подошел к окну, хмыкнул:

— Куда ж без него.

Повисла пауза.

— А твои — дома? — искоса глянул Олег.

— На базар поехали. Я ж говорю — сын курятины нарубил. А жена зеленуху повезла. У нас с ней уговор: что продаст — то её, тратит, куда хочет. А я вот... лечу. И язык за зубами держу, — с намёком сказал Перепел.

— Я тоже держать буду. И заплачу хорошо. Если дашь на тракторе прокатиться, — Василенко сжал кулак и показал большим пальцем через плечо — туда, где лежал Демидов. — Память вот этому вернуть, если отшибло.

— Только со двора потом его увезите, — кивнул Перепел. — Я огород-то вспахал уже и засеял, закапывать негде.

Василенко молчал, обдумывая, шутит он, или последняя фраза была сказана на полном серьёзе.

— Умммбэээ... — застонал Демидов. Его голова прерывисто задвигалась, изо рта толчками вырывался воздух — будто лопались невидимые пузыри.

— Это он блевать хочет, а нечем, — деловито прокомментировал Перепел. — Видать, не жрал ничего с утра. Сейчас ещё в туалет запросится, я ему мочегонку вколочу. Ну и всякое прочее, чтобы в себя пришел быстрее.

Он вернулся к кушетке, начал натягивать на руку Макса манжету тонометра. Демидов приоткрыл глаз, посмотрел, не узнавая. Василенко ослабил и помахал ему рукой.

— Ровнее лежи! — гаркнул на Демидова доктор. Тот снова уронил голову на кушетку. Тонometr порычал, накачивая воздух, а потом будто выплюнул его. Пискнул, выдавая результаты.

— Ну вот, сто десять на семьдесят, — удовлетворённо сказал Перепел, и похлопал Демидова по щекам: — Алё! Ал-лё! Ссать хочешь?

Макс вяло кивнул.

— Щас утку дам, — пообещал доктор. И пояснил Василенко, натягивая резиновые перчатки: — А то свалится, кумпол расшибёт.

Олег брезгливо отвернулся, пока врач помогал Демидову облегчиться. Когда журчание за спиной прекратилось, он выждал ещё пару минут и снова повернулся к Максy. Взгляд Демидова заметался — узнал, собака! Макс поднял руку, потёр лоб.

— Чё, башка болит? — хмыкнул Перепел. — Так нефиг пить, что попало! Кто тебя опоил-то?

— Чем? — Демидов растерянно потёр лоб. — Я не помню...

— Э, ты бы не включал здесь кинофильм, — угрожающе сказал Василенко. — Не помнит он.

— А, может, и не помнит, — неожиданно вступился врач. — Клофелин кукушку отшибает. Что было перед тем, как он коктейль выпил, точно не скажет. Пока.

— И надолго это? — нахмурился Василенко.

— Как пойдёт.

— Но недавние события он помнит же? — допытывался Олег. — Что неделю назад было, и раньше?

— Должен, — кивнул Перепел.

— Слышь, Олежа, браток, — просипел Макс, — я тебе объясню. Я ж всё сделал по-правильному: доверенность от Таньки настоящая была, цену на аптеки скинул, как ты просил. А что я те бабосики взял, которые лишними были — так я верну.

— Вот только ты мне забыл рассказать, как доверенность получил, — мрачно сказал

Василенко. — Ты хоть в курсе, что жена твоя в тот же день из ивээса вышла? Адвокат у неё нашелся, бучу поднял. Так что обломался я с аптеками. Остался и без бабла, и без прачечной. Да ещё и важным людям денег должен. Ты же их спёр!

— Я всё верну! — остатки хмеля понемногу слетали с Макса, но язык ещё ворочался с трудом. — А что потратил — отработаю.

— А как вернёшь-то? — вкрадчиво спросил Василенко. — Денег в номере не было. Только сейф пустой.

— Как — не было? — обескуражено уставился на него Демидов.

— А вот так. Может, ты бабе своей код сказал?

Макс вскинул на Василенко враз потемневший взгляд, в котором проступили злоба и ревность.

— Не говорил я ей!.. — и тут же осёкся. Сморщил лоб, будто от резкой головной боли. В глазах появилась обиженная растерянность, уголки губ скорбно опустились. Он сцепил пальцы, и Василенко увидел, что его руки дрожат.

— Баба, значит, взяла, — резюмировал Олег. — Развела тебя, как лоха. Про любовь, поди, говорила? А сама — клофелинчику в коньячок...

— Она ни при чем, — упрямо буркнул Макс. — Это я чемодан перепрятал. А куда — не помню.

— А что перепрятывал — помнишь? — уточнил Василенко.

— Ну да.

Олег смотрел на него, прищурившись, зло покусывая губы. Демидов сидел, опустив голову — с поникшими плечами, будто побитый. Его лицо казалось морщинистым и дряблым, будто он постарел сразу на двадцать лет.

— Ничего личного, Макс, — сказал, наконец, Василенко, — но сейчас я верну тебе память.

Он повернулся к Перепелу:

— Верёвка есть? — тот кивнул. — Тащи. И подгоняй трактор.

Он вышел во двор. Братья сидели в «мерсе», лузгая семечки. Василенко объяснил им задачу, и через минуту они вытащили из подсобки Демидова — тот повис у них на руках, почти не сопротивляясь. Казалось, ему было всё равно, что с ним станет.

Следом показался Перепел, который нёс в руках внушительный моток толстой верёвки. Бросил её Василенко, а сам скрылся в направлении огорода.

Олег отмотал длинный кусок, и, положив верёвку на колоду, рубанул топором. Потом отрубил второй кусок. Лёва и Леший уже прижали Макса к земле посреди двора. Василенко бросил им куски верёвки и вытащил сигарету, глядя, как они вяжут узлы вокруг запястий Макса. Закурил, прислушиваясь: на огороде утробно запыхтел трактор.

— Давай веревку! — скомандовал он Лёве, и тот послушно протянул ему конец своего куска. Василенко протиснулся за поленницу, и обвернул верёвку вокруг заборного столба. Протравил, пока привязанная рука Макса не вытянулась к забору. Натянул веревку, как струну, и завязал узел.

— Теперь твою, — сказал он Лешему, обходя лежащего на земле Демидова. Забрал верёвочный хвост, и проделал то же самое — но закрепив его на противоположной стороне, где стоял бетонный столб под электросеть. Братки отошли от Демидова. А он, распятый за земле, услышал приближение трактора и беспокойно завошкался, озираясь. Сказал угрожающе:

— Э-э, не беспредельничайте! Вы что задумали?

Но в голосе проскальзывал страх.

— Атракцион! — сделав лицо мрачного шута, возвестил Василенко. — Возвращение памяти со скоростью пять километров в час.

Демидов попытался сесть, но растянутые руки не давали даже оторвать плечи от тротуарной плитки.

— Вы, уроды, я ж вас уничтожу! — заорал он, пытаясь оборвать верёвки. Его лицо покраснело, на лбу выступил пот.

А во двор вырвался трактор, и остановился, угрожающе ворча.

Демидов запрокинул голову и уставился на него, испуганно выкатив глаза. Василенко встал над ним, держа в руке тонкий пруттик.

— Так где же мои деньги? Припоминаешь?

— Да не помню я! — извиваясь, выкрикнул Макс. — Бля буду, не помню!

— А так? — Василенко провёл прутиком по его лицу, чувствуя, как внутри нарастает злость. Пощекотал под подбородком; Демидов втянул его, и тот ушел в складки шеи, как черепашня голова. Хлестнув Макса по губам, Олег залез кончиком прута ему в нос. Демидов дёрнулся, как укушенный, и оглушительно чихнул. Братки дружно заржали.

— Лучше сейчас скажи, — вкрадчиво сказал Василенко. — Так где мои бабосики?

И он пощекотал в другой ноздре. Демидов отпрянул, но вновь не сдержался — чихнул. Из его носа вылетела сопля и легла в угол рта.

— Какой-то ты жадный в последнее время стал, Максимушка, — посетовал Василенко. — Сначала жену свою обобрал до нитки. В тюрягу чуть не отправил, ни за что. Потом мне решил накозлить. Тоже ни за что. Думал, всё тебе с рук сойдет?

Макс смотрел на него молча, но в глазах всё ярче разгорался страх.

— Значит, думал, что сойдет... — вздохнул Василенко. — Придётся тебя переубедить. Чтобы ты руками своими загребущими не лазил, куда не надо. Но ты, если память вернётся, скажи. Только быстро говори, чтобы я успел притормозить.

Отбросив пруттик, Олег направился к трактору. Злость и неутоленная жажда мести кипели в душе. Он вспомнил всё. Как чувствовал себя последним лохом, поняв, что Демидов его кинул. Как оправдывался перед людьми, которые доверили ему деньги. И как его прессанули через неделю после бегства Макса, в оконцове сказав, что ставят на счётчик. Как бегал по Коломне и Самаре, унижался, пытаясь выведать хоть что-то. Сколько бабла слил в покере, пока удалось найти этого урода. Всё, он всё помнил!

Василенко забрался в кабину и посмотрел через лобовое стекло на привязанного Демидова. А потом утопил педаль сцепления, сдвинул рычаг переключения передач, и отпустил педаль. Трактор дрогнул и медленно пошёл вперёд, а Олег, злорадно сжав губы, вывернул руль вправо.

Глаза Демидова выкатились и он заорал, быстро дёргая ногами — танец обезумевшего паяца, так дрыгаются ноги у кукол над ширмой, когда кукловод заставляет их злиться или трусить. Василенко остановил трактор и высунулся из кабины.

— Ты что-то хотел сказать? — спросил он.

— Я правда не помню, где они! Не помню!!! — скулил Демидов. — Подожди, Олежа, братан, дай в себя прийти!

— Может, баба твоя подскажет? — уточнил Василенко.

— Ни при чем она! — Макс набычился, в голосе зазвенело упрямство.

...Конечно же, он знал — деньги взяла Алёна. Понял это в ту самую минуту, когда Василенко сказал про открытый сейф. Знал — но сначала не мог поверить. Это был удар такой силы, что махом отправил в нокаут. Будто протаранил душу, разбив стену иллюзий. И оставил на её месте огромную дыру, в которую заглядывать-то страшно. Алёна!.. Он ведь в лепёшку ради неё, а она почему-то... Почему? Подпоила его, забрала всё и сбежала. «Я же люблю тебя, а ты снова ушла, — думал он, чувствуя, как в душу возвращается неизбывная тоска, мучившая его последние четырнадцать лет. — И ты ведь тоже любишь меня. Тогда почему так?... Зачем?... Ведь у нас всё было. Да я бы ещё заработал, да купили бы мы дом и всё, что ты хотела...»

И потом, когда его вытащили во двор и повалили на землю, думал: будут пинать, почки, печень отобьют — но он ничего про неё не скажет. Когда привязали к столбам, думал: будут издеваться, унижать — ну и пусть, он всё стерпит ради неё. Потом найдет, вернёт как-нибудь... Бросит пить, играть, бросит делать всё, что её бесило. Перестанет обращать внимание на её шрам, примет, какой есть. Лишь бы рядом была. Лишь бы была рядом...

Даже когда он увидел трактор, решил: если будут убивать, я всё равно ничего про неё не скажу. Просто умру молча. Ведь это даже хорошо — умереть, потому что уж лучше так, чем тосковать по ней до скончания века.

А потом трактор пошёл на него. Остановился, давая последний шанс — и снова пошёл. Черное ребристое колесо — тяжеленное даже на вид — надвигалось на него, роняя комья грязи: будто бешеный зверь, изо рта которого капает слюна. И этот зверь рычал, а колесо с каждой секундой становилось всё больше — и всё ближе к его правой руке.

Макс замер от ужаса, поняв, что задумал Василенко. И заорал, когда колесо медленно надавило на руку и расплющило её. Кости захрустели, как раздавленные горошины. Выгибаясь и сумасшедшее дёргая ногами, Демидов завизжал:

— Стой! Я скажу!.. Алёна, с-с-сука!..

И трактор тут же смолк, выпустив из твердых чёрных зубов его руку.

Вспышка боли пронзила его — ещё сильнее, оглушительнее, ярче. Он снова заорал, почти теряя сознание. Всё тело мелко тряслось, затылок дёргался, поднимая и опуская голову странными механическими движениями. Руку словно накачали жидким металлом, она болталась, как резиновая. Демидов часто моргал, разгоняя белёсую мусть, застлавшую глаза. А когда проморгался, увидел над собой перевернутое лицо Василенко.

— Так, всё-таки, Алёна? — полуутвердительно спросил он.

— Да, я всё расскажу, только не дави больше! — зарыдал Демидов. — Алёна Леднёва, телефон у меня в сотовом, пробей сам, потому что я правда не знаю, где она живет. Кроме неё, некому было взять. Она это!

— Давно бы так, — сказал Василенко.

Презрительно сплюнув, он отошел в сторону и закурил.

— Руку! Руку мне залатайте! — умолял Макс, мотая головой, чтобы стряхнуть слёзы. — Я отработаю! Я помогу найти бабло, живцом буду!

Василенко вопросительно посмотрел на Перепела.

— Не-е, — протянул тот. — Тут рентген нужен. И нейрохирург.

— Тогда в больницу отвезите, пожалуйста! — всхлипнул Демидов.

— Так ты же там расскажешь всё, — развёл руками Василенко. — Как тебя трактором давили, как деньги вернуть убеждали... Хотя нет, ты же не скажешь! Ведь тогда придётся объяснить, что за деньги, и почему они были у тебя.

Он явно издевался.

— Да понял я, понял! — всхлипнул Макс. — Отвяжите! Я сам доберусь, скажу, что несчастный случай, ДТП... отоврусь как-нибудь!

Что-то звякнуло. Василенко вынул из кармана смартфон, провел по экрану пальцем и обрадовано вздёрнул брови. Пропущенный от Залесского, а он за рёвом трактора и не слышал. А теперь СМС. С хорошими новостями.

— Отвязывайте! — махнул он браткам, а сам пошел за угол дома, перезвонить.

«Спрошу, где он взял деньги, — решил Олег. — Если будут совпадения с тем, что сказал Макс — значит, это не ловушка».

— Демидов у вас? — спросил Залесский, не здороваясь.

— Да. А у вас, как я понимаю, мои деньги, — ответил Василенко. — Просто чтобы убедиться... Скажите, где вы их взяли?

— У любовницы Демидова. Некая Алёна Леднёва.

— Тогда это действительно мои, — улыбнулся Василенко. — Где обменяемся?

— Где вам угодно.

— Тогда давайте у поворота на деревню Багры. Там ещё табличка есть — Багры, четырнадцать.

— Буду через полчаса, — холодно сказал Залесский.

Василенко почесал нос, раздумывая. Всё-таки будет лучше, если Макс заговорит, когда они уже будут далеко.

— Слушай, а можешь ему вколоть что-нибудь посильнее? — тихо спросил он, подойдя к Перепелу. — Чтобы проспался, как следует.

Тот оценивающе глянул на Демидова, который сидел на земле, баюкая больную руку. И кивнул:

— Проспится. Оно ведь ещё и обезболивает.

...Макс был в полной отключке, когда Лёва и Леший перетащили его на заднее сидение машины Залесского. Василенко открыл чемоданчик, поворошил пачки с деньгами.

— Вроде бы, почти всё на месте, — сказал он.

— А вы думали — я вам кукол* напихаю? — Залесский посмотрел на него, как на идиота. — Надеюсь, ваши претензии по поводу аптек отпали?

— Это были его претензии, — Василенко кивнул в сторону Макса и пошел к "мерседесу".

Закурив, Залесский достал вторую пару наручников и пристегнул к дверце машины здоровую руку Макса. Набрал номер Кузьмы:

— Андрюха, отпуская барышню. И накрывай на стол, есть, что отметить.

— Поймал? — радостно хохотнул Кузьменко.

— Да. Только он какой-то потрепанный весь, — Залесский перегнулся через спинку сидения и оглядел лицо Макса. Тот дышал еле слышно, и — будто через раз. Озадаченно сдвинув брови, адвокат отогнул край заляпанного кровью полотенца, намотанного на правую руку Демидова. На месте пальцев багровело и пухло кровоточащее месиво, и желтоватая пластинка ногтя свисала с указательного пальца на тонкой кожистой сопле. Залесский присвистнул и сказал Кузьменко: — Слушай, я его сперва в больницу сдам. Сдаётся мне, его дружки пытали. А это, как мы знаем, статья.

И, уже отъезжая, он пробормотал себе под нос:

— М-да, жизнь... Придётся спасти того, кого удушить бы...

*кукла (здесь) — фальшивая пачка денег

Макс не сразу разлепил ресницы, будто смазанные канцелярским клеем — наркоз, перетёкший в тяжёлую черноту провального сна, высушил глаза и губы. Демидов поморщился, пытаясь проморгаться: сонная крупа, застывшая на ресницах мутными кристаллами, колола веки. В расплывчатом болезненном мареве, качавшемся в такт каждому вдоху, Максим всё же разглядел вертикальную поверхность: тускло блестящую, скользкую на вид, покрытую светло-зелёной масляной краской — того самого скучного оттенка, который прилипает к стенам казенных домов. Демидов вгляделся, преодолевая боль. Да, это была стена, к которой, будто плот, прибилась застеленный простыней матрас. Он лежал на этом плоту, повернувшись на левый бок. Край грубого одеяла упирался в мочку правого уха, и она отчаянно чесалась. Максим дернул плечом, выпростал руку — унять, наконец, этот зуд, откинуть душную войлочную попону. И увидел краем глаза, как вместо согнутого локтя мелькнуло белое, а за ним — непривычная, страшная пустота.

Он резко поднял голову — боль бухнула в голове, зазвенела басом, словно язык Царь-колокола. Вместо правой руки из плеча торчала короткая и злая, как оскорбительный смешок, культя.

Демидов уставился на неё с ужасом: почему она здесь, и где рука?... «Отняли», — прозвучало внутри. С безнадёгой, с тяжелой скорбью. Эта скорбь навалилась на него — не продохнуть. И вчерашний день — украденные деньги, верёвочные узлы на запястьях, мстительный взгляд Василенко из кабины рычащего трактора — всплыл в памяти, как белёсая туша мёртвого кита.

«Хоть до больнички довели, уроды, — тоскливо думал Макс. — И толку? Калека я теперь. Калека».

В туалет хотелось дико — казалось, ещё секунда, и переполненный мочевой пузырь лопнет. Максим попытался встать и почувствовал, что левую ногу что-то держит. В щиколотку впилось твёрдое, холодное, узкое. Садясь на кровати, Демидов едва не завалился, потеряв равновесие — здоровая рука тянула вниз. Он сдернул ею одеяло, и увидел темные кольца наручников: одно замыкалось на щиколотке, второе — на спинке кровати.

«Какого черта? — похолодел он. — Неужели врачи вызвали ментов? Если Танька вышла, она наверняка подала меня в розыск. Значит, посадят теперь?»

Тюрьма. Он помнил, каково там. Восемь месяцев хватило, чтобы наесться ей досыта. И неужели теперь снова — в вонючую камеру, но уже лет на десять, как минимум? Жизнь по часам, грубая роба, упыри-сокамерники. Круглосуточное унижение, и так — все эти годы. Нет, он больше не сможет! Он не выдержит...

«Но ты же не побоялся этого, когда решил запихать туда Танюху, — мысль была брезгливой, будто какая-то часть внутри презирала его самого. — И ради кого? Ради бабы, которая предала тебя при первой возможности? Ради неё ты слил свою жизнь, а ведь у тебя было всё: деньги, шикарная жизнь, хорошая семья. А ты... Ты всех предал. И даже свою любимую Алёну. Предал, чуть твою задницу прижало».

И он вспомнил, как прокричал её имя — там, распятый верёвками, обдирающий лопатками жесткую плитку, давившую на затылок, будто его поставили к стенке и приготовились расстрелять. Вспомнил, как вдруг исчезла из сердца его горячая, всеильная любовь — вспорхнула, обратившись чёрной вороной. А на её месте зазияла равнодушная,

гулкая пустота, быстро наполнявшаяся страхом. Он трясся за свою жизнь, уже понимая, что один, никого не любит, и — Максим вдруг понял это очень ясно — никого никогда не любил. Плевать ему было, что Алёну выследят, а, может быть, даже убьют. Плевать на всё — лишь бы отпустили.

Кровь прилила к щекам, и Демидов затрясся, как в лихорадке. Оказывается, он трус... и дурак. Обычный дурак, который столько лет гонялся за химерой. Придумал себе, что есть у него смысл жизни, и этот смысл — любовь. Нелепая в своей наивности ложь, которой он утешал себя столько лет. Но Алена была лишь поводом, лишь красивой ширмой, за которой он прятал свои грехи так надёжно, что сам перестал их видеть. А теперь — Таня в камере, полураздетый ребенок на ночной дороге, пьяные кутежи, карты, воровство: вот тот след, который он оставил в жизни, когда полз по ней, как слизняк. Мокрый, скользкий и грязный след. И обрубок вместо руки — непригодный даже для того, чтобы хоть как-то отмыться.

Он закрыл глаза, чувствуя, как стучит в висках. Всё так глупо и стыдно. Всё — без толку. Кому он нужен теперь, обгадившийся со всех сторон? Алёне? Она не будет возиться с калекой. Таньке? Она пожалеет — он точно знал, но сможет ли простить? Ведь то, что он сделал, идет в разрез с её порядочностью. А ведь эту порядочность он когда-то считал лоховством... К родителям вернуться нельзя, они давно поставили на нём крест, посчитав изгоем и позором семьи ещё в те времена, когда он связался с самарским криминалом. И друзей нет. Не сложилось. Потому что дружба не терпит расчетливости и притворства, и живет до тех пор, пока ты питаешь её лучшими порывами души.

Эти мысли обожгли — будто пучок крапивы, которым его в детстве хлестал отец. Вспомнились его глаза: карие, как у Макса. Презрительно искривлённый рот. И слова: «Не смей воровать, гадёныш! Возьмёшь эти часы и вернёшь Саньке так, чтобы все видели. И только посмей не признаться ему, что украл! Я те эту руку сам отгрызу, чтобы к чужому не тянулась!» Демидов вздрогнул. Получается, предупреждал его отец. А Макс ведь совсем забыл тот день. И те часы, ставшие первым, что он украл. У своего единственного друга. Который после этого навсегда повернулся к нему спиной.

Да. Теперь он один. И нахер никому не нужен.

Макс застонал, понунив голову. И не увидел, как открылась дверь палаты, как шагнул через порог высокий темноволосый мужик. Только когда тот кашлянул, Демидов поднял голову и поймал на себе взгляд его глаз: полупрозрачных, как тёмный янтарь, торжествующих и чуть насмешливых.

— Я так понимаю, вы уже всё поняли, — сказал он. — Руку спасти не удалось — кости были раздроблены, да и ваше состояние... Врачи предпочли сохранить жизнь, чем рисковать ей, проводя многочасовую операцию. Ампутация делается быстрее. Ну а теперь — за дверью полицейский, вас подержат здесь до выздоровления. Потом не обессудьте. Как говорил один известный следователь, «вор должен сидеть в тюрьме».

Макс, наконец, вспомнил, где ему доводилось видеть этот внимательный кошачий взгляд: ведь этот мужик был в тот день у здания опеки! Это его Танька представила, как юриста. Но почему он здесь?...

— Меня зовут Юрий Борисович Залесский, я адвокат вашей жены, — сказал тот, усаживаясь на стул возле кровати. — Бывшей жены — ведь вы же понимаете, что натворили достаточно, чтобы навсегда лишиться этой женщины?

— Я могу всё объяснить... — начал Макс, пытаясь хоть что-то придумать. Но вдруг почувствовал, как устал. «Что толку извиваться, врать, пытаться его запутать? — думал

Демидов. — Опять быть слизняком, который боится ответственности. А, может, хватит? Есть ведь во мне что-то от мужика? Хоть что-то осталось?»

Он распрямился, чувствуя, как заныла культя. Глянул на Залесского: хмуро, с печальной тоской:

— Не хочу больше врать. Да, это я во всём виноват. Это я заплатил сожителю Фирзиной, чтобы Таню уpekли в тюрьму. Это я воровал её деньги. Уводил из бизнеса всё, что можно — прекрасно зная, что подставляю её. Теперь там проверки, да? Налоговая, наверное... Обэповцы... Вот только она не виновата.

Залесский смотрел на него молча.

— Танька — хорошая баба. Порядочная. А я... — Демидов махнул рукой, по привычке, но в воздухе мелькнула лишь белая повязка на культя. Он взглянул на неё и горько усмехнулся: — Если бы можно было всё вернуть, я бы вернул. Но у меня больше нет денег. Я всего-то и могу, что выступить на суде в её защиту. Всё возьму на себя. Вы заполняйте бумажки. Я подпишу. И торговаться не буду.

— Подпишите, конечно, — кивнул адвокат. — Когда научитесь делать это левой рукой. Макс бросил взгляд на культю, скривился:

— Ну, кто ж знал, что так будет...

— Кто-то же знал, — возразил Залесский. — Тот, кто сделал это с вами.

Демидов отвёл взгляд. Сдавать Василенко не хотелось — если теперь на зону, лучше молчать. Тогда можно не бояться, что бывший подельник пришлёт кого-то отомстить. Но адвокат сказал:

— Слушайте, я же в курсе всего. Мне вас, между прочим, с рук на руки передали. Ваш дружок, которому вы пытались продать аптеки. У нас с ним была договорённость: ему — украденные деньги, мне — вашу голову. Если бы всё так и произошло, у меня не было бы к нему претензий. Но то, что он вас искалечил, нельзя спускать на тормозах.

Макс угрюмо молчал. Залесский положил ногу на ногу

— Вы же понимаете, что всё зло в этом мире — от иллюзии безнаказанности? Людям почему-то кажется, что можно сделать что-то вразрез закона или морали. И уйти от ответственности. Некоторые уходят, да. Но знаете, как правило, продолжают идти по той же дорожке. Редко кто сворачивает с неё по собственной воле.

Залесский встал, прошелся по палате. Повернулся к Демидову, встал, опершись спиной на стену возле белой фаянсовой раковины. И продолжил:

— Говорят, что зверь, который попробовал человеческую кровь, хочет ещё и ещё. Не знаю, насколько это правда в отношении животных, но люди — они начинают жить именно так. Порок, видите ли, сладок. А человек — слаб. Я не буду сейчас говорить о карме, о Боге. Немного не тот случай. Но я вам скажу абсолютно точно — ваш приятель Василенко, если сейчас его не остановить, натворит ещё немало бед. И вы не знаете, кто будет следующей жертвой. Может быть, женщина. Ребенок. Старик. А может — такой же, как вы. Провинившийся перед ним — но всё же не заслуживший того, чтобы стать калекой. Поэтому я советую вам: расскажите всё честно. А уж я позабочусь о том, чтобы упечь его в тюрьму.

Он снова сел на стул и посмотрел прямо в глаза Демидову.

— Я, знаете ли, всегда хотел стать законником. И не для того, чтобы получить престижную профессию или власть над людьми. Просто у меня обострённое чувство справедливости. Плюс ненависть к тем, кто плюёт на других. И, несмотря на то, что лично вы мне глубоко антипатичны, я готов защищать вас в суде. Кончено, речь идет только о том

процессе, который можно инициировать по факту причинения тяжких телесных повреждений. Вы готовы?

Демидов колебался, глядя в пол.

А, может быть, это шанс — сделать в жизни хоть что-то хорошее? Не испугаться, рискнуть — а он всегда любил риск. Тот казался настоящим: ведь в покере или бизнесе, если рискнуть, можно потерять всё. Вот только... настоящим ли он был? Ведь речь никогда не шла о жизни.

За Василенко стоят другие люди. Большие, обладающие властью и силой. Если потянуть за ниточку, можно распутать весь клубок. «Но если я открою рот, есть риск, что однажды, даже в тюремной камере, меня найдут с заточкой в боку», — думал Демидов.

Он вздохнул, попытался почесать в затылке — но правая рука лишь дёрнулась вверх в нелепом, беспомощном приветствии. Он покачал головой — никак не привыкнет...

В конце концов, каждый должен отвечать за своё. А Василенко... Да, он потерял несколько миллионов. Но сколько стоит рука? И есть ли вообще цена у здоровья? Ведь его не вернёшь — в отличие от денег.

И он сказал, решительно глянув на Залесского:

— Да, я дам показания. Можете записывать прямо сейчас.

Дорога змеилась меж полей серой лентой. Впереди шёл грозовой фронт: дождь висел вдалеке, будто шторы из органзы, и небо было темным, клубилось тучами, словно кто-то взбил их миксером. Татьяна с тревогой глянула на Вику: та, чувствуя перемену погоды, капризно похныкивала. Нужно найти придорожный отель — и как можно быстрее.

— Потерпи, моя хорошая, — сказала Демидова, нажимая на кнопку проигрывателя. — Давай ещё послушаем сказку.

Они были в пути уже восемь часов, дважды останавливались — Татьяна кормила и перепелёвывала Викульку. Всё оставшееся время она или вела машину в тишине, боясь разбудить малышку, или включала диск с русскими народными сказками — попался на глаза, когда собирала Викины вещички.

«Жили-были дед да баба!» — напевно сказал женский голос, сопровождаемый жизнерадостным треньканьем балалайки. Татьяна терпеливо сжала зубы: на диске было записано всего десять сказок, и за это время они, повторяясь, успели надоесть хуже горькой редьки — но девочку успокаивали, а это сейчас было главным. Вот и теперь она притихла, сосредоточенно глядя на что-то, видимое только младенцам.

Они догоняли грозу. И видя впереди серо-чёрное месиво облаков, Татьяна всё больше сомневалась в успехе своего предприятия. Куда она едет, к кому? Ведь даже не знает точного адреса, по которому жила бабушка. Не помнит ни одного лица. А если найдет родственников, что спросит? «Скажите, пожалуйста, кто такая Пандора? Из-за неё мне поставили шизофрению!»

Она недовольно мотнула головой. Да, бредовая затея — разум говорил только об этом. А вот сердце... Оно будто тянуло Татьяну на северо-восток: там, в маленьком посёлке за пару сотен километров от Волгограда, была её малая родина. Там когда-то родился отец, познакомились и поженились родители. И там же случилось что-то, из-за чего они уехали навсегда, напроць рассорившись со всей роднёй. И как сейчас там примут её, Таню?

— А ты не думай об этом! — подбодрила она себя. — Ведь пока что всё хорошо.

И, будто в насмешку, зазвонил смартфон. Татьяна тут же свернула на обочину — негоже вести машину, в которой лежит ребенок, и в то же время болтать по телефону. Заглушила двигатель. И застыла на мгновение, борясь со страхом: а вдруг это из реанимации, вдруг с тётей Алей беда?... Но пересилила себя, взглянула на экран смартфона — и ощутила, как расслабляется скованное тревогой лицо. Залесский! Почему-то со своего постоянного номера. Таня торопливо поднесла трубку к уху.

— Юрочка, здравствуй! — она покосилась на Вику: та, прикрыв глаза, сосала пластиковый край пустышки — явно собиралась уснуть. Но для этого требовалась тишина, и Таня сказала: — Подожди, я из машины выйду.

— Из машины? — в голосе Залесского послышались тревожные нотки. Но он спросил, стараясь сохранять спокойствие: — Танюша, а ты где?

Она набрала в грудь побольше воздуха — чтобы выпалить всё сразу, не останавливаясь, не давая себе возможности струсить. И, стыдливо морщась от собственной наглости, принялась рассказывать о том, как ослушалась его. Говорила о тёте Але и её тупой, корыстной дочери. О Волегове, Викульке и съёмной машине. А ещё о том, что до Ляпуново осталось каких-то триста километров, но их они преодолеют завтра, потому что на ночь

остановятся в гостинице.

Когда она закончила, Залесский всё еще молчал.

— Юра, ты здесь? Ты слышишь? — она дунула в трубку.

— Слышу, — ответил Залесский, и от его голоса Таня поёжилась — таким холодным он был.

— Не сердись, пожалуйста, — встревожилась она. — Я убедилась, что за мной никто не гонится.

Юрий помолчал еще несколько секунд — будто собираясь с мыслями. И спросил:

— Таня, скажи, пожалуйста, ты понимаешь, во что влипла? На тебе уже было подозрение в киднеппинге. В тот раз всё обошлось — но теперь ты наступаешь на те же грабли. Добровольно. Взвешенно. Тань, ты с ума сошла?

«А гроза пришла не с той стороны, — поняла Татьяна. — Он ведь еле сдерживается сейчас. И да, он прав, тысячу раз — прав, но...».

— Юра, прости, я всё понимаю, — сказала она. — И мне очень стыдно, что заставляю тебя нервничать. Но пойми — я не видела другого выхода.

Залесский тяжело вздохнул:

— Думаю, тебе нужно вернуться. И дай Бог, чтобы за это время мать девочки не хватилась её.

— Да этой матери плевать! — в сердцах сказала Татьяна. — Она только и думает, как избавиться от ребёнка!

— Но это её ребёнок, — жестко ответил Залесский. — У тебя нет прав забирать его.

— А у неё? Какие у неё права — рушить малышке жизнь, делать её предметом торга или орудием мести? — возмутилась Демидова. — Получается, ей всё можно: захотела — родила, надоел ребёнок — бросила. Так нельзя, Юра! Какой-то дурацкий закон!

— И всё-таки это закон, — непреклонно сказал он. — Поворачивай обратно.

Она вспыхнула, обижено поджала губы. И ответила с горечью:

— Говорят, мир нельзя делить на черное и белое. А детей, значит, можно — на чужих и своих? Знаешь, я уже однажды послушала тебя, когда речь шла о Марине. Ты говорил — оставь Павлика с матерью, она изменится ради него, нужно просто помочь этой семье. Я помогла. Все помогали. И что в итоге? Да ведь Паша чуть не погиб, помнишь? И ведь у меня было предчувствие, было! Хотя я ничего не знала наверняка. А тут — знаю! Наталья сама сказала мне, что откажется от дочки, отдаст её практически первому встречному — лишь бы насолить любовнику. И ты хочешь, чтобы я повернула? Ты серьезно этого хочешь?

Он молчал. Татьяна почувствовала, как рыдания подкатывают к горлу и колют его изнутри. Да, может, она поступила опрометчиво — но правильно! Да, виновата, потому что невольно добавила ему хлопот — но бывают же случаи, когда приходится принимать сложные решения! Неужели он не поймет? Неужели — неспособен понять?...

— Таня, мне очень не нравится эта ситуация, — наконец, заговорил он. — Но по поводу Пашки — ты права, признаю. Я жалею, что не дождал тогда этого сожителя. И не сделал так, чтобы опека больше контролировала Марину. Вот только сейчас речь не об этом. Пойми, если мама Вики напишет на тебя заявление, никто и слушать не захочет о твоих благородных намерениях. Тебя просто посадят — и всё. Я ничем не смогу помочь. Прости. И постарайся меня понять.

«Он что, отступает? Отказывается от меня?» — широко раскрыв глаза, Таня напряженно сглотнула. Потерять его было равносильно катастрофе, но... Он имеет право

передумать. Зачем ему женщина, которая то и дело попадает в беду? Причем по собственной воле.

— Юра, я поняла тебя, — еле выдавила она, — и пойму, если перестанешь звонить. Спасибо, что ты помогал мне. Вообще за всё спасибо... Но я не могу вернуться. Прости.

Залесский ничего не ответил. Татьяна ждала, прислушиваясь к его дыханию. Пыталась подобрать какие-то аргументы, но в голову ничего не приходило. И ей становилось всё хуже. Всё больше.

— Танька, ну почему ты такая упрямая? — спросил он совсем другим, по-мальчишески обиженным голосом. — Знаешь ведь, добра тебе хочу. И всё равно идёшь поперёк...

Она заулыбалась — глупо, как юная девица, получившая первый комплимент. Холодный булыжник, давивший на сердце, оказался ледышкой, которая быстро растаяла — стоило лишь услышать голос любимого, ощутить наполнявшее его тепло. Татьяна ответила:

— Юрочка, ну вот такая, понимаешь? Да, упрямая. Упёртая даже. Думаешь, мне с собой легко? Но просто... Вот у тебя — нормы закона. Но есть же и нравственные постулаты! Да, сейчас они противоречат друг другу. Я знаю, что по закону красть чужих детей нельзя, а мой поступок выглядит как самая настоящая кража. Но бездействовать в ситуации, когда ребенку что-то угрожает, тоже нельзя!

Залесский вздохнул — тяжело, будто человек, попавший в безвыходное положение. И буркнул:

— Ладно, езжай в своё Ляпуново.

Потом заговорил уже привычным голосом, в котором вновь зазвучали властные нотки:

— Доберёшься — позвони. И скинь мне номер этой Натальи. Хотя бы пробью, где она — тогда будем знать, скоро ли начинать сушить сухари.

— Ты на меня уже не сердишься? — робко спросила Таня, заглядывая в машину через стекло. Викулька спала, повернув головку на бок. — Ты больше не будешь сердиться?

— А что толку? — ответил он вопросом на вопрос. — Мне, конечно, всё это сильно не нравится. Но я понимаю, почему ты так поступила. А, значит, говорить тут не о чем.

— Спасибо. Спасибо, что понял, — почти прошептала она. — Я столько хлопот тебе доставила...

— Кстати, о хлопотах! — перебил он. — А я ведь нашел твоего бывшего мужа и вернул деньги Василенко. Правда, с ним будет ещё разговор... Но ты можешь не бояться. Злодей наказан, а царство возвращено законной владелице — Василенко снимает претензии по аптекам.

— Ох, Юра, ничего себе! — воскликнула Татьяна. — Но как тебе удалось?

— Потом расскажу. Ты езжай, найди гостиницу. Попробуй выспаться перед последним рывком. У меня тут еще дела на пару-тройку дней, а потом я к тебе в Ляпуново приеду. Примешь?...

— Конечно! — она едва не подпрыгнула от восторга. И, усевшись в машину, решительно нажала на газ.

...Было уже девять утра, когда Татьяна вывела машину с гостиничного двора. Деревья стояли умытые, в траве густо блестел дождевые капли — гроза всё-таки заглянула сюда ночью. Демидова остановилась, подключая навигатор.

— Ну что, лягушки-путешественницы отправляются в путь? — подмигнула она Викульке и та радостно заулыбалась в ответ. На верхней десне мелькнула белая полоска. Татьяна, склонившись, пригляделась — точно, первый зубик!

— Ты моя красавица, — с умилением сказала она. — Вот бы сейчас бабушка твоя обрадовалась! А давай-ка мы ей в больницу позвоним? Вдруг нас тётя медсестра чем-нибудь порадует?

Но трубку снял мужчина. Выслушав Татьяну, он зашуршал бумагами и сообщил:

— Есть небольшая положительная динамика. Очень небольшая. Это увеличивает шанс пациентки, хотя о выходе из кризисного состояния говорить очень рано.

— Доктор, спасибо вам огромное! — обрадовалась Таня.

— Делаем, что можем. — В его голосе мелькнула улыбка.

Положив смартфон на соседнее сидение, Татьяна повернулась к малышке, и весело сказала, щекоча ей животик:

— Ну вот, котёнок! Молодец твоя бабушка, борется!

Вика заливисто рассмеялась, задёрнула ножками. Таня дала ей соску и завела машину. Глянула на экран навигатора, подвешенного к лобовому стеклу: длинная синяя линия маршрута была извилистой, будто кто-то провел её нетвердой рукой. До Ляпуново оставалось меньше трёхсот километров. Солнце снова спряталось, зябкий ветер налетел предвестником дождя. Тучи поползли друг к другу, как пыльный старый занавес, разрезанный на неровные куски. Татьяна закрыла окно машины и невольно поёжилась: даже жаль, что юг остался позади.

На оставшуюся дорогу она потратила почти четыре часа — боялась ехать быстрее из-за Викульки. Вообще она стала ловить себя на странном ощущении: будто боится рисковать, считая опасным привычные вещи — например, езду со скоростью выше сотни. Неужели на неё так повлияло появление малышки? «Ну а что, я ведь теперь ей — вроде мамы, — подумала Татьяна. — Поэтому берегу себя, чтобы она тоже выжила. Материнский инстинкт, всё заложено на генном уровне».

Интересно, поможет ли какой-то другой инстинкт найти её родню?

И мысли, которые она отгоняла всю дорогу, вновь завладели ей. Вот явится, как снег на голову — а, может, ей не будут рады. Может, даже в дом не пустят. Если он вообще найдётся — тот дом.

Навигатор показал последний поворот и расстояние до посёлка — семьсот метров. Татьяна послушно вывернула руль, и сразу же увидела рыжую от глины грунтовую дорогу, разномастные крыши домов, окруженных цветущими деревьями, троицу пятнистых коров, лениво улёгшихся в придорожной траве. А дальше — ртутную гладь озера, отражающего серые тучи.

Она сжала руль крепче — так, что пальцы почти онемели, но хотя бы перестали трястись. Подъезжая к первому дому, замешкалась: может, остановиться прямо здесь? Посёлок небольшой, пешком обойти можно.

Припарковав машину, Татьяна взглянула на люльку с малышкой. «Пока оставлю её здесь. Постучу в ворота, если не откроют, заберу Викульку и пойду дальше с ней». Решительно двинувшись к дому, постучала кулаком по рифлёному профнастилу. И тут же испуганно отпрыгнула — из-за забора раздался хриплый, захлёбывающийся лай.

«Да, здесь надо поосторожнее», — подумала Татьяна. И вернулась в машину, решив объехать посёлок — может, повезёт встретить местных.

Оказалось, что она заехала в Ляпуново с задов, а главная дорога шла по берегу озера. И вдоль неё, как вагоны поезда, вытянулись двory. Островерхие дома поблескивали стёклами, за штакетинами палисадников бодро торчали нарциссы, глухие ворота и калитки надежно

скрывали жизнь сельчан от посторонних глаз. Возле одного дома паслась толстая белая коза, проводившая взглядом машину Татьяны. А навстречу, по той же дороге, шли две бабульки с цветастыми сумками: одна сухощавая, в длинной кацавейке поверх синего платья, вторая — дородная, в наглухо застёгнутом плаще и клетчатой косынке. Таня припарковала машину, вытащила люльку с Викой и пошла им навстречу. Бабульки воззрились на неё с нескрываемым любопытством.

— Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста... — Татьяна замешкалась, подбирая слова. — Я ищу дом Демидовых, у них еще сын был, Евгений. А у него жена Лена и маленькая дочка.

Бабульки переглянулись. Та, что в платке, участливо спросила:

— А ты им кто будешь, девонька?

— Да я... Понимаете, я как раз та самая дочка Евгения. Просто точный адрес не знаю...

Она осеклась, увидев, как бабулька прижала уголок платка ко рту. А вторая ахнула:

— Танечка, что ли? Так мы соседи ваши, я тётя Катя! Да ты ж не помнишь, где тебе...

Увезли-то совсем малая была. А это — твой, что ль?

— Нет, это дочка подруги, — сказала Таня.

— Получается, внучка к Аксинье приехала? — всплеснула руками тётя Катя. — Вот и радость ей на старости лет!

Татьяна поняла: «Жива бабушка!», и задохнулась от радости и нетерпения. По телу поползла мелкая зудящая дрожь, и Таня подумала: «Соседка сказала — внучка в радость. Значит, примет нас бабуля! Ох, а матери бы язык укоротить: ведь говорила, что у нас здесь никого не осталось...»

— Пойдём, девонька, проводим тебя, — сказала та, что в платке. — Меня тётей Валей зови, я тоже соседка, только из дальнего дома.

— Расскажи хоть, как живёте? Папа твой как? А сама что, замужем? Детки-то есть? — вопросы сыпались, будто спелые яблоки в ветреный день. Таня отвечала: хорошо, замужем, своих пока нету. И всё ждала вопроса о матери — но о ней почему-то никто не спросил.

Они остановились у тех самых ворот, возле которых паслась белая коза. Рядом с ними стоял добротный двухэтажный сруб, потемневший от времени. Евроокна на его фасаде казались чем-то чужеродным. В палисаднике, обнесённом зелёным штакетником, гордо торчали рыжие головки бархатцев. К стене дома притулилась длинная скамейка.

— Ну что, Фрося, зови хозяйку, — задорно сказала тётя Валя. И, к удивлению Тани, коза протяжно заблеяла, задрав безрогую голову.

— Да это уж я так, — рассмеялась тётя Валя. — Стучать надо.

И, подойдя к калитке, несколько раз долбанула по ней кулаком — с неожиданной для её сухощавой фигуры силой. На ближайшем окне дёрнулась белая шторка с вышивкой ришелье, за ней мелькнуло круглое лицо женщины — и тут же пропало. Татьяна крепче прижала к себе люльку и застыла, несмело глядя на ворота. Былые страхи снова навалились на неё.

Калитку открыла та самая женщина, что выглядывала из окна. На вид ей было лет пятьдесят пять, широкое лицо светилось доброжелательностью. Серое шерстяное платье уютно облегло фигуру. Невысокая, кряжистая, с русыми волосами и внимательным взглядом серых глаз, она почему-то показалась Татьяне знакомой. И вдруг она осознала: да ведь это я! Это на меня она похожа!

— Здравствуй, Лидуша. А смотри, кого мы тебе привели-то! — радостно воскликнула тётя Катя, беря Татьяну за плечи и подталкивая её к родственнице. Та удивленно посмотрела

на неё, повела бровью: мол, извините, что-то не припомню.

— Танюшка это! Племяшка к тебе приехала!

Лицо женщины дрогнуло, она всплеснула руками и закрыла ладонями лицо — так, что остались видны лишь серые глаза, стремительно наливавшиеся влагой. Вновь взмахнув руками, она шагнула к Татьяне и обняла её — крепко, будто боясь, что уйдёт из рук. Отстранила от себя, оглядев, смахнула слезу, и снова прижала, бормоча:

— Ну, наконец-то, наконец-то... дождались...

Таня обняла её — и вдруг тоже заплакала, растрогавшись, как странник, проделавший долгий путь, и всё-таки сумевший вернуться туда, где его по-прежнему любят.

— Вот и ладненько, — почти пропела тётя Валя и довольно улыбнулась. — Экий-то подарок тебе, Лидуш! Ну, веди её к Аксинье, делись подарком-то! А мы уж по домам.

— Пойдём, пойдём к бабушке! — всхлипнула тётя Лида. И наклонилась к люльке, посветлев лицом: — А это у нас кто? Как тебя зовут?

— Вика. Викуля, — смущенно ответила Татьяна. Ей не хотелось лгать этой женщине, но и правду рассказывать нельзя — обязательно разволнуется, начнет переживать. И она остановилась на полуправде: — Подруга в больнице, попросила с дочкой посидеть. А у меня отпуск, вот я и решила к вам навеститься.

— Ой, Танюшка, да какая же ты молодец! — сказала тётя Лида и, ухватив за рукав, потащила её в дом, крича: — Мама! Ты у себя? Выходи скорее, глянь, кто к нам приехал!

Татьяна огляделась. Просторная изба — судя по всему, пятистенок, но так сразу и не скажешь из-за перегородок, обитых вагонкой. Из сеней они вошли прямо в кухню-гостиную, где белой королевой стояла русская печь. Рядом длинный стол в хороводе стульев. В углу расположился набитый хрусталём сервант и трёхстворчатый шифоньер с высоким зеркалом, отражающий дощатый пол и толстый угол цветастого ковра. Напротив — диван и пара кресел-компаньонов, разваливших подлокотники в удивлённом жесте. За ними виднелась закрытая дверь. Ещё две двери светлели по бокам от печи. На стене висела большая репродукция Брюллова в простенькой деревянной раме — кажется, «Итальянский полдень». Таня невольно залюбовалась: тёмноглазая и темнобровая крестьянка — какой контраст с мраморной белизной округлых плеч и полных, но изящных, рук! — вечно тянется за виноградной кистью, и никогда её не сорвёт.

Она поставила люльку в кресло и присела на его краешек, дожидаясь хозяев. Тётя Лида, скрывшись за одной из дверей, оставила за собой тишину. Почему не идёт так долго? Может быть, решила морально подготовить бабушку — она ведь старенькая, наверное... если отцу уже под шестьдесят, ей сколько? К восьмидесяти? Или больше?

Дверь скрипнула, и из-за неё вышла улыбающаяся тётя Лида. А за ней — тоненькая, в длинном фланелевом халате и вязаных тапочках, с белым платком, обнимавшим плечи — пожилая женщина с седыми волосами, перехваченными металлическим ободком. В её глазах была такая пронзительная, влажная синь — будто небо отразилось в них и застыло навеки. И эти глаза смотрели на Таню с неожиданной робостью. Так, будто какая-то давняя, неотмоленная вина лежала в их глубине.

— Здравствуй, внучка. Не забыла нас, — она мелко затрясла головой, смуглые руки с буграми вен затеребили край халата. А Таня прильнула к ней, чувствуя тонкий запах жасмина — смутно знакомый, и очень, очень родной.

Выйдя из воды, Наталья раздраженно смахнула с купальника налипшие песчинки. Высокая волна плюнула ей вслед, зашипела, откатываясь в море. Ветер донёс слабый запах мазута и гниющих водорослей. «Хорош отдых! — подумала Куницына. — Будто из дома не уезжала. И погода отвратительная, за четыре дня в Турции только сегодня без дождей, и штормит постоянно». Она устало доплелась до лежака и только-только взяла из Риткиных рук коктейль, из которого торчал оранжевый зонтик, как позвонил Волегов.

— Я прилетаю завтра, — сообщил он. — Ты подумала насчет Вики?

Злость вспыхнула в ней мгновенно, будто кто-то резко дунул на угли, покрытые серым слоем пепла — и они тут же выпустили жаркие коготки огня. Но Наталья пригасила его. Надо быть хитрее и сделать вид, что согласна на его предложение.

— Да, подумала, — промурлыкала она. — Наверное, ты был прав, Серёжа.

— Сколько ты хочешь? — холодно спросил он.

— Ну, вот приедешь — и обсудим.

Нажав отбой, она сдернула с лежака халат. Тюбик солнцезащитного крема вылетел из его складок и боком зарылся в песок.

— Мне срочно нужно домой, Волегов приезжает завтра.

Ритка приподнялась на локте, глянула поверх тёмных очков:

— За ребёнком?

— Ага. Только он обломится. Я Вику заберу, няньку вышвырну, а сама в Екатеринбург поеду. Там Женька Савельева живет, помнишь, училась с нами до седьмого класса? Вышла за богатого, а детей родить не могут. И усыновлять боятся непонятно от кого. А тут ребенок с хорошей генетикой, ни алкашей, ни наркоманов в семье нет. Мы уже договорились. Я до суда у них поживу.

— До какого суда?

— Ну, чтобы отказаться от ребенка, надо заявление написать, потом её суд рассматривать будет. Но у Женькиного мужа там подвязки, всё быстро должны сделать. — Она отпила из бокала и, облизнув губы, хихикнула: — Я-то, дура, переживала, что Волегов не захотел себя в свидетельстве о рождении вписывать. А сейчас думаю — вот и поплатится он за это. И за всё остальное: за то, что от своей родной дочери при всех отказался, что вышвырнул нас из Москвы, что инвалидку свою не бросил — а ведь я предлагала! Да и хер на него! Пусть теперь локти кусает!

— Не боишься, что он тебя приберёт? — округлила глаза Ритка.

— Неа. Пусть найдёт сначала. Мне Савельев обещал новые документы и за границу меня отправить. А денег у меня хватит, буду там, как сыр в масле кататься.

— А мама?

— А что я, всю жизнь должна быть к ней привязана? — раздраженно сказала Куницына. — Вон, учреждения всякие есть, дома престарелых. И, между прочим, дорогие! Но там уход, медобслуживание.

Ритка пожалала плечами:

— Смотри, не пожалей.

— Себя надо жалеть, Риточка! — огрызнулась Наталья. — Мне свою жизнь устраивать нужно. Так что я поехала, только вещи из номера заберу, зря, что ли, шопились? А ты

оставайся, отель еще на три ночи оплачен.

Через двадцать минут она уже садилась в такси. По дороге вышла в интернет, заказала билет на ближайший рейс до Адлера: он вылетал через два с половиной часа. Когда они доехали до аэропорта, бутылка вина, которую Куницына прихватила в отеле, почти опустела.

Бросив таксисту несколько купюр, Наталья пошла искать стойку регистрации. Посадку уже объявили, сдавать багаж было не нужно — небольшую сумку с летними вещами, купленными в Турции, без проблем признали ручной кладью. Миновав зону паспортного контроля, Куницына послонялась по залу ожидания, заглянула в пару магазинчиков дьюти-фри, а потом присмотрела уютный бар и подседа к стойке. Заказала шоколадное пирожное и бокал вина. Сейчас, когда она осталась в одиночестве, злость в ней поутихла. В голову полезли трусливые мысли. А что, если Волегов её найдет? А вдруг Женьке и её мужу не понравится Вика? Вдруг что-нибудь ещё нарушит план?

Бармен — черноглазый турок с хипстерской бородкой — указал на её бокал и что-то спросил по-английски.

— Наливай, — махнула рукой Наталья. Она уже порядком набралась, и уже не ощущала вкуса спиртного. Но выпить хотелось ещё сильнее, чем раньше. Так что за этим бокалом последовал ещё один, а потом ещё...

Только когда к ней подошел служащий аэропорта и взял за локоть, что-то говоря и активно жестикулируя свободной рукой, она поняла, что пора идти к самолёту. Спускаясь с барного стула, Наталья зацепилась за рейку снизу высоким каблуком босоножки, и едва не упала. Служащий удержал её. Поддерживал и потом, когда вёл по коридору к выходу, у которого стоял автобус. А она шла, заметно качаясь, и раздраженно пыталась выдернуть локоть — но служащий держал крепко.

В автобусе ей на ногу наступил какой-то мужик, и она, ругаясь, оттолкнула его. Возле трапа, стоя в хвосте очереди, раздраженно сказала молодой женщине с грудным ребенком:

— Слышь, я спать хочу, и если твой уродец будет орать, я тя засужу!

Женщина отпрянула, посмотрела на неё с негодованием и повернулась спиной. За ней влез какой-то мужик, так что Наталье пришлось подниматься по трапу последней.

Ступеньки подрагивали под ногами. Идти по ним на каблуках было неудобно, и Наталья материлась сквозь зубы, когда чувствовала, что нога вот-вот подвернётся. На верхней площадке трапа она встала, недовольно глядя, как мужик, который шел впереди, заигрывает со стюардессой. И оперев руки в боки, хрипло выкрикнула:

— Эй, а побыстрее нельзя?

Мужик обернулся, смерил её взглядом.

— Чего смотришь? Она тебе всё равно не даст. Такому никто не даст! — захихикала Куницына.

Мужик что-то сказал стюардессе, и та внимательно посмотрела на Наталью.

— А ты чего вылупилась? — с вызовом спросила та.

— Вы пьяны? — спросила стюардесса по-русски.

— А то вы пьяных не пускаете! — огрызнулась Куницына.

— Я прошу вас сойти на землю, — твёрдо сказала стюардесса.

— Губу закатай! Я за билет заплатила.

— Я не имею права пускать вас в самолёт в таком виде, — стюардесса загородила проход.

Наталья набрала воздуха, чтобы ответить, и краем глаза увидела, что к ней поднимается

стюард. Повернувшись, она прижалась спиной к стенке трапа, чувствуя, как в поясницу упёрся нагретый солнцем металл.

— Не уйду я никуда. Руки убери! — крикнула она стюарду, который хотел взять её за локоть. Но он только крепче сжал пальцы.

— Я сказала, руки убери! — завизжала она, стукнула его сумкой, и он от неожиданности разжал пальцы. Сумка упала, покатила вниз по ступенькам. Наталья хотела толкнуть стюарда, чтобы ткнулся в них мордой, встал на карачки — и в зубах бы принёс её сумку, и не смел бы больше даже рта открывать, и тянуть к ней свои ручищи!.. Замахнувшись, она качнулась и потеряла равновесие. Каблук скользнул по резине трапа, и она, вдруг ощутив холод и пустоту вокруг, полетела вниз. Грохнулась на бетонную плиту; что-то хрустнуло, яркая вспышка боли прошла по телу, как удар тока. И она потеряла сознание.

Перед смертью она всего на минуту пришла в себя. Над ней в растерянности стоял водитель автобуса, стюард пытался нащупать её пульс, искаженное страхом лицо стюардессы белело над трапом. Наталья попыталась выдернуть руку из пальцев стюарда — но не смогла. Попыталась пошевелить другой рукой, ногами — ничего не вышло. Она больше не чувствовала своего тела и не владела им.

— Инвалидка! — просипела она, кривя губы в улыбке. И задёргалась, проталкивая смех через шедшую горлом кровь.

Каштан, стоявший на земле гигантской перевернутой люстрой о тысячу зелёных подсвечников, всё-таки зацвёл — кипенно-белым. Анята караулила его каждый день, смотрела в окно германской клиники на его семипалые листья и зелёные ёршики будущих соцветий, всё ждала: вот-вот, и его свечи вспыхнут — может быть, розовым, или молочным, а ещё, говорят, бывает сиреневый. Ей почему-то казалось, что если каштан зацветёт, пока она здесь, всё будет хорошо, даже прекрасно будет. Поэтому и расстраивалась накануне вечером, знала, что назавтра возвращаться в Россию — а благословения, знака, который она сама себе придумала, так и нет.

Но с утра, стоило Элине привычным рывком раздвинуть шторы, Анята увидела: цветёт. Белый. Всё-таки показал ей это, будто душу раскрыл, признался. И настроение сразу взмыло, и фисташковые стены палаты — ох уж этот цвет, призванный внушать безнадежно больным чувство безопасности и веселья! — перестали казаться ей нарочито-бодрыми, как в детском саду. Вот и сейчас она всё поглядывала на каштан — вытянув шею, смотрела поверх плеча склонившегося к ней доктора Штайнера. Тот уже битых полчаса терзал её тело: ощупывал мышцы, сгибал колени, заставлял вставать, приседать, поворачиваться, колот пальцы ног и проводил по ступням заостренной железкой. А теперь, снова усадив её в инвалидное кресло, поочередно стучал молоточком то по одному, то по другому колену. И ноги Аняты послушно вздрагивали, а он всё стучал — с заметным удовольствием, будто не мог наиграться.

— Рефлексы восстановились полностью, моя методика сработала, — одобрительно поцокав, сказал он по-немецки: — Но и Вы совершили подвиг, фрау Волегова. За такой короткий срок вам удалось привести в форму мышцы — это чудо, и достойно уважения! Я поздравляю вас!

— Что он говорит? — глядя на дочь, с надеждой спросила Элина Совка. Она невольно сжала руку Сергея, сидевшего рядом с ней на кровати, и зять успокаивающе пожал её пальцы — зная немецкий на уровне туриста, он больше почувствовал, чем понял: Анята здорова.

— Мама, всё замечательно! — воскликнула она. Блеснула улыбка, в тёмных глазах заискрилась радость. — Доктор Штайнер поздравляет меня, а я вас — ведь в одиночку я бы не справилась! Спасибо, мои дорогие! Vielen danke, doktor Steiner!*

Молодой врач зарделся, крутя в руках молоточек, начал что-то отвечать: о том, что с Анятиной волей к жизни она встанет на ноги в кратчайший срок, что этот опыт очень важен для дальнейшей популяризации его метода, что случай фрау Волеговой даст надежду тысячам пациентов... Она слушала его вполуха, с нетерпением поглядывая на прислонённые к стене костыли: так хотелось встать, оторваться от этого кресла, которое — она суеверно боялась — может снова «прирасти» к ней в любую минуту. Это слово вдруг вынырнуло из детства, из случая, когда она, десятилетняя, нетерпеливо дожидалась в приёмном покое больницы своей очереди — её тогда направили на обследование после пары приступов желудочных колик — и, чуть отец отвернулся, уселась в кресло-каталку. Двинула руками колёса, покатила по коридору, чувствуя, как набухает в груди шальная радость, а шедшая навстречу санитарочка, испуганно перегородив ей дорогу, выдернула её из кресла за руку и встревожено зашипела: «Ты что, нельзя, прирастёт!» Накликала-таки. И через годы кресло добралось до неё, выследило, заключило в объятия и пробаюкало так несколько лет, будто

пытаясь внушить: сиди смиренно, не дергайся — и даже не мечтай освободиться.

Никто не знает, чего ей стоило послушаться его.

Да, Сергей и родители видели, как она борется. Как начинает день, разминая исхудавшие бёдра и голени, крутя суставы, массируя кожу игольчатым валиком. Как глотает таблетки, послушно укладывается под руки массажистов, выдерживает сеансы физлечения. Как перед сном освобождает ноги от компрессионных чулок и втирает мазь. Всё это — не теряя надежды. Упрямо. Фанатично. Без продыху.

Даже балет был для неё одним из способов поддержать форму, найти силы для дальнейшей борьбы. Ведь так важно чувствовать, что ты живая и можешь хоть что-то, когда другие вычеркнули тебя из списка равных. Так важно суметь сделать больше, чем от тебя ждали. И услышать потом: «Ну надо же, она смогла!»

Да, смогла. И сможет ещё больше. Теперь осталось совсем немного — и она избавится от костылей. А потом можно будет всерьёз подумать о ребёнке. «Хотя Серёжа не очень рад этой идее, я смогу убедить его, — подумала она. — Мне кажется, я вообще теперь всё смогу!»

— Доктор Штайнер, мы можем ехать? — спросила она. — Мне не терпится вернуться в Россию. У вас замечательная клиника, но мы, русские, говорим «дома и стены лечат».

Он добродушно хмыкнул и опустил молоточек в нагрудный карман рукояткой вниз:

— Да, только я прошу вас — поберегитесь, хотя бы первое время. Не стоит давать слишком большую нагрузку на ноги и поясницу. Ну а через две недели жду вас на заключительный курс лечения.

— Спасибо вам, я обязательно приеду, — сказала она, протягивая руку к костылям. С облегчением поднялась, и как бы невзначай оттолкнула кресло — пусть катится к чёртовой матери, и забудет обратную дорогу!

Сергей тут же подскочил, завёл руку её за спину, страхуя. Элина пыталась всучить врачу пакет с русским презентом — банкой чёрной икры, бутылкой «Абрау-дюрсо» и тульским пряником размером с поднос. Штайнер смущался и краснел, пятясь к двери... Радостная, и такая долгожданная суматоха.

А потом была дорога в Берлин, и аэропорт, и привычная зона паспортного контроля — только теперь Аня впервые вошла в неё, а не въехала в кресле. Затем маленький частный самолёт, в салоне которого Сергей уложил её на диванчик, а Элина устроилась в кресле, достав вязание, будто дома. После — пустота небесной тиши, посадка на дозаправку в Минске, и вот уже топографическая карта Москвы под крылом, и мягкий толчок шасси о бетон, и всё замедляющееся мелькание за окном.

В аэропорту пришлось задержаться — отец Аняты, обещавший их встретить, опаздывал из-за пробок (Элина вяло возмущалась в трубку: «Сашка, твоим черепашьям ходом только плохие новости возить!»). Его ожидали в общем зале, с трудом отыскав свободные места. Сергей и Анята уселись рядышком, Элина — в кресле напротив. Анята смотрела на маму со смесью нежности, жалости и стыда: уставшее лицо Совки было бледным, она то и дело тёрла глаза: с той поры, как началась эта эпопея с Германией — решающая, стержневая — Элина почти перестала спать.

— Серёжка, принеси нам кофе, пожалуйста, — попросила Анята. Вытянув ноги, она пошевелила пальцами, будто желая в тысячный раз убедиться: они слушаются, чувствуют её волю. Ступни послушно дрогнули, будто кивнули. Казалось бы, такое простое, обыденное движение — а сколько удовольствия может подарить! Анята удовлетворённо улыбнулась. И,

снова взглянув на Элину, подумала: «Ничего, скоро будем дома. Мама выспится, наконец, вымоталась совершенно. Да и нам с Серёжей нужно отдохнуть. Всё самое страшное уже позади».

...Совка смотрела, как Волегов возвращается к ним, неся в согнутых руках две коричневые пластиковые чашки с кофе. Как его взгляд — привычно спокойный, уверенный — запинается обо что-то в соседнем ряду. Как меняется лицо: серый цвет тревоги проступает на загорелой коже, глаза становятся блекло-чумными, тревожно сходятся, ломаясь, брови. Как Волегов делает широкий и торопливый шаг в сторону пожилого мужчины с развёрнутой газетой — и кофе, плеснув из чашек, течёт по рукам, но он, будто не чувствуя, вдруг приседает на корточки. А потом встаёт, что-то говоря, и мужчина, удивлённо отстранившись, отдаёт ему газету. Чашек уже нет — видимо, поставил на пол — а вот на газету смотрит испуганно, будто не веря.

Элина нахмурилась, нехорошее предчувствие царапнуло душу. Что могло так сильно напугать зятя? Сергей принялся разворачивать газету — явно искал какую-то статью. Совка взгляделась, впервые возблагодарив судьбу за обрётённую с годами дальнорукость. Волегов поднял газету, невольно показав первую полосу, и застыл, погруженный в чтение. Совка озадаченно повела бровью: обычная желтая газетёнка-сплетница, что в ней такого? И тут же увидела то, что и её заставило перемениться в лице: фотографию рыжей коротко стриженной женщины, с которой Сергей приходил в больницу. И крупные черные буквы: «Смертельный нырок из самолёта. Русскую туристку некому похоронить».

Она невольно закрыла рот ладонью, но тут же убрала её от лица, искоса глянув на Анюту — дочь беззаботно разглядывала свои матерчатые кеды. Перевела взгляд на Сергея, но увидела лишь его спину: зять почти бегом направлялся к кабинетам администрации. Пытаясь выглядеть беспечно, Элина встала:

— Я в туалет. Тебе не нужно?

— Нет, мамуль, — смущенно улыбнулась Анюта. На смуглом лице проступил румянец. — Я Серёжку дождусь, а то потеряет нас.

«Боже, как она его любит — будто вчера поженились! — с горечью думала Элина, ища глазами газетный киоск. — Грешно, конечно, но я даже рада, что эта женщина погибла. Судя по реакции Сергея, она ему дорога. Значит, я не ошиблась, когда посчитала их любовниками. Но... У неё же был ребёнок!»

Совка сморщилась, будто от боли — перед глазами встал больничный холл, журналисты, женщина с младенцем на руках, которая говорила, что их с Сергеем связывают только вопросы благотворительности. И последующий разговор с Волеговым, когда он кричал: «Это не моя дочь!» Так кричал, что она не поверила ни на секунду.

С тех пор и пошло: бессонные ночи, тревожные дни, жизнь на пороховой бочке. И постоянно — игра, игра, чтобы Анюта ничего не заметила. Благо, всё случилось одновременно: и этот предвыборный скандал, и Анютино лечение. Можно спокойно врать дочери, что все переживания — из-за её здоровья. И всё крутить в голове то ли зёрна, то ли всходы другой беды, пытаясь перемолоть их в муку. Из которой может выйти хоть что-то полезное — какая-то идея, вариант, компромисс. То, что можно предложить зятю, дабы ему и в голову не пришло сказать: прости, Анюта, у меня другая семья, там растёт дочь, и ей я нужнее.

Элина подошла к киоску, пробежала глазами по логотипам выложенных на прилавок газет. Та, жёлтая, лежала на самом видном месте. Протянув продавщице деньги, Совка взяла

её и отошла в сторону. Руки дрожали, и она открыла нужную страницу лишь с третьего раза. Поскакала взглядом по строчкам, как мяч по лестнице. «Русская туристка Наталья Куницына... рейс в Москву из аэропорта Ататюрк... в пьяном виде скандалила на трапе самолёта... падение вызвало травмы, несовместимые с жизнью... мать Натальи находится в реанимации и не может забрать тело... из прочих родственников лишь малолетняя дочь, которая, скорее всего, сейчас у отца — но и он не спешит заявлять права на тело... никто не знает, как долго труп россиянки будет находиться в Стамбуле».

Смяв газету, Элина запихала её в сумочку. Взгляд растерянно заметался по залу ожидания: Сергея нигде не было видно. Совка на секунду прикрыла глаза, борясь с головокружением. Что теперь будет? И почему в статье написано, что девочка находится с отцом? «Может, я всё-таки ошиблась, и малышка не от Серёжи? — подумала Элина. И тут же возразила себе: — Я помню, как он на неё смотрел. В этом взгляде была любовь — и ничто иное. Точно так же он смотрит на Анюту, уж мне ли не знать!»

Она бесцельно пошла вдоль высоких окон, выходящих на лётное поле. Красавцы-самолёты на нём казались игрушками, забытыми избалованным ребёнком. Откуда-то потянуло запахом свежих огурцов, и, взглянув на киоск с фастфудом, Совка вспомнила: Анюта просила кофе.

Открыв сумочку, она вытащила газету и сложила ее в несколько раз. Запихнула поглубже — на всякий случай. Вынув тёмные очки, спрятала за ними глаза, и, глубоко вздохнув, пошла к автомату с кофе.

Макушка Анюты темнела над спинкой кресла. Элина подошла к дочери, протянула ей исходящую паром чашку.

— Серёжа передал, — сказала она. — Он в администрации, видимо, что-то по работе.

— Он же в отпуске! — досадливо всплеснула руками Анюта. — Вечно не дают отдохнуть... Мама, а ты почему в очках?

— Глаза побаливают, — пригубив из чашки, отмахнулась Совка. — Ничего, посплю — и всё наладится.

«Ох, или разладится, — с грустью подумала она. — Как бы молодые глупостей не натворили...»

*Большое спасибо, доктор Штайнер!

Волегов сидел в детской, тупо уставившись на пустую кроватку Вики.

Квартира Куницыных вторила его мыслям, отзываясь гулкой тишиной. Он даже не знал до этого, что бывает такая пустота — горькая, лютая, бесконечная. И в этой пустоте был он, разбитый на миллионы осколков, будто плавающих теперь в какой-то странной, густой невесомости, и неспособных собраться воедино. И была его дочь — он отчаянно надеялся, что живая.

Волегов моргнул, и первая слеза скатилась вниз, оставив на щеке горячий след, тут же подёрнувшийся влажным холодом. Как его назвал старик-креол, встретившийся в холле сейшельской больницы? «Дандотиа». Не человек — машина, слепо исполняющая чью-то волю. «Дед словно с будущее сумел заглянуть: туда, где я стану лишь инструментом в политической игре — и, не понимая этого, буду считать себя главным. Пойду, куда скажут, и сделаю, что велют. А я-то — взорлил, расправил крылья, чёртов пингвин! — Сергей скривился от этой мысли, бессильно сжимая в руках резинового зайчика, которого когда-то привез Вике из Англии. — Мне так хотелось стать кем-то большим, непобедимым, заполучить ещё больше власти, денег, известности... И ради этого я отдал своего ребёнка, отдал, не торгуясь — ведь торгуются за то, что ценно. А я, как оказалось, совершенно её не ценил».

Он вздохнул и закрыл глаза, опершись лбом на спинку кровати.

Всё было неправильно с самого начала. Скрыв от Анюты рождение дочери, оставив Наталью без контроля, не вписав себя в документы Вики, он сделал себя никем. Как сейчас искать Викульку? Как доказывать, что она — его, родная, любимая? Если он подаст заявление и дочку найдёт полиция, её поместят в детдом — потому что у него, Сергея Ольгердовича Волегова, при всех его деньгах и связях, нет прав на этого ребёнка. Зато есть статьи и видео, где он публично заявляет: это девочка — не моя дочь.

Он бессильно потёр виски и провёл ладонями по лицу. Щеки были мокрыми, непривычно мокрыми — в последний раз он позволял себе слёзы, когда с Анютой случилась беда.

И да, Анюта. Теперь придётся объяснять ей, откуда взялся ребенок. И на коленях стоять, землю жрать — может, тогда не бросит, и даже разрешит удочерить. «Если будет кого удочерять», — подумал он, вздрогнув. Слёзы полились безудержно, он прижал руки к лицу, словно пытаясь остановить их — и завыл, как зверь, вернувшийся домой с охоты, и обнаруживший, что логово пусто, детёнышей нет, а есть чужой, незнакомый след, и смрадный запах горя.

Дандотиа. Решил, что в игре с судьбой он ведёт эту партию — и просчитался, только к концу поняв, что был не ферзём, а пешкой. Вспомнилось старое: «Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах». Рассмешил. Вот уж ухочешься.

Сергей встал, прошелся по детской, перебирая крохотные вещички: голубые ползунки в горошек, кружевной чепчик, носочки длиной с его большой палец. Взял со стула зелёный комбинезончик с вышитым слонёнком, прижал к лицу — тот сладко пах младенческой доверчивостью, присыпкой и молоком. Такой родной, такой мучительный запах...

Сергей глубоко вздохнул, вытер глаза ладонями. Что толку реветь? Нужно собраться, делать что-то. Хотя бы попытаться понять, где может быть Викулька.

В газете писали, что родственников у Куницыных нет, и Наталья говорила то же самое. Кто же забрал девочку? Соседи? Он обошел всех, многие и знать не знали Наталью и её мать — ведь те недавно переехали. В больницах и органах опеки тоже было пусто: Волегов ещё из Москвы связался со своим юристом и попросил, чтобы его люди обзвонили все инстанции. В администрации аэропорта ему сказали, что Наталья летела в Турцию без ребёнка, и на обратный рейс, конечно же, тоже регистрировалась без дочери. А ещё выяснилось, что мама Натальи попала в реанимацию накануне её отлёта в Стамбул. Значит, эта идиотка отдала Вику кому-то чужому.

Волегов сжал кулаки. Да он сам бы убил её за такое! И плевать, что она мертва — вообще не жаль, будто таракана раздавили.

Он вышел из детской, готовясь обшарить каждый угол, каждый сантиметр этой квартиры в надежде найти хоть что-то, хоть какую-то зацепку. Начал с гостиной. Пустой стол, в стенке — постельное бельё, посуда, женские вещи: видимо, мама Натальи жила здесь. На диване — брошенный тонометр и журнал «Садоводство» — сам не зная, зачем, Волегов поднял его за обложку и встряхнул, будто ждал, что оттуда выпадет ключ. Бросив журнал, нагнулся к тумбочке возле дивана: только россыпь лекарств и всякие медицинские штуки.

На кухне он тоже не нашел ничего стоящего. В ванной, совмещённой с туалетом, даже искать было негде: на стеклянных полках лишь бутылки с моющими средствами, стиральная машина зияет пустым люком. Ещё одна комната, самая маленькая: здесь даже не доделан ремонт, на бетонном полу лежат склеенные пирамидкой рулоны обоев.

Оставалась четвёртая — та, где Наталья устроила свою спальню.

Сергей методично обшаривал шкафы: тряпки, тряпки, тряпки... Коробки с обувью, норковая шуба в пол, два полушубка — лисий и песцовый. Какие-то блузки, платья — сколько одежды нужно одному человеку?! На полочках — косметика, банки с кремами. И пачка презервативов. Начатая. Волегов брезгливо усмехнулся: м-да, не скучная жизнь была у Натальи.

Задвинув последний ящик, он огляделся. Взгляд упал на прикроватную тумбочку, и Волегов шагнул к ней — почти без надежды. Открыл дверцу. И сразу увидел тонкую пачку бумаги, скреплённую степлером. Потაცил к себе, чувствуя, как нарастает волнение.

Договор на оказание услуг по уходу за ребёнком. Сергей застыл, взгляделся в верхние строчки: данные няни были вписаны от руки. «Татьяна Евгеньевна Демидова, паспорт №...» дальше шли цифры, дата рождения, место прописки. Волегов вытащил смартфон, набрал своего юриста:

— Костя, пробей мне одну женщину, — он продиктовал данные Татьяны. — Мне нужна любая информация. Любая! Кто она, чем занимается, где находится. Проверь всё... и на всякий случай пробей её по базе полиции. Это очень, очень срочно!

Дав отбой, он замер, глядя на договор. Охотничий зуд жёг его изнутри, и надежда, вспыхнув, засияла ярким маячком. Может быть, эта женщина забрала Вику на время? Может быть, уже сегодня она отдаст её?

Он поднял голову, решительно глядя перед собой. Если Викульку удастся вернуть, он заберёт её и поедет прямо к Анюте. Покается, добьется, чтобы выслушала и простила. А потом... Как-нибудь всё уладится.

...То, что не уладится, он понял через час — когда ему отзвонился юрист и вывалил всё, что удалось узнать. Демидова — детский врач, владелица городской сети аптек. Была на

хорошем счету, но недавно уволилась с работы. Судя по всему, сейчас скрывается — даже родители не знают, где она. Замужем, но муж под арестом — она написала заявление, что он обокрал её, осуществляя мошеннические схемы через аптечную сеть. А сама она недавно вышла из ИВС — там какая-то мутная история с украденным ребёнком, но дело заводить не стали из-за недостатка улик. «И ещё у нее какой-то особый вид шизофрении, выдала приступ прямо в камере, — сказал юрист. — Вроде как из-за этого и уволилась потом. Ты бы, Сергей, держался от неё подальше».

С каждым его словом Волегов чувствовал, как вскипает бессильная злость — Наталья дрянь, как она могла довериться этой женщине их ребёнка? Страх за Вику ширился и рос, словно уродливая опухоль, вытесняющая всё остальное, делающая его больным, старым, смертным...

Накатила слабость, дрогнувшие пальцы выронили смартфон. А перед глазами почему-то встал Горе Горович — с недобрый взглядом, с вечно лживой маской на добродушно улыбающемся лице. «Да плевать на тебя! — с яростью подумал Сергей. — Лишит он меня чего-то... Да я уже сам себя лишил!»

Решено: он соберет СМИ. Расскажет всё, признается в том, что врал. Объявит награду за поимку Демидовой... Путь ко всем чертям летит политическая карьера — спасибо, наелся досыта! И Анюта — ей нужно все объяснить, ей первой. «Но она только начинает выздоравливать! И этот удар — не подкосит ли он её?» — испугался Волегов. И сильно, сжатыми кулаками ударил себя по лбу: что ж ты натворил, идиот, как теперь разгребать всё это?...

Он до крови закусил губу. Там, в аэропорту, узнав о смерти Натальи, он буквально сбежал — что-то наврал о срочном вызове с работы, юлил, почти не глядя в удивлённые глаза Анюты. Думал, найдёт дочку и спрячет её, чтобы успеть поговорить с женой, как-то подготовить её... Оставил Анюту с Элиной...

Он замер. Элина! Он вцепился в её образ, как в спасительную ниточку. Она ведь почти догадалась тогда, в больнице, почти раскрыла его постыдную ложь — но ничего не сказала дочери! Он попросит прощения за враньё, объяснит ей, на коленях будет умолять стать его союзницей — лишь бы она помогла всё объяснить Анюте...

А если тёща откажется, выступит против него, возненавидит за враньё и подлость? Вдруг Анюта уйдёт? Ведь она уже не зависит от него. Она почти здорова, у нее есть деньги, а, главное — принципы. Его жена презирает мужчин, которые так обходятся со своими родными.

«Если уйдёт — что ж, так мне и надо, — горько подумал Сергей, чувствуя, как нарастает внутри тягостная, гнетущая печаль. — Она теперь имеет полное право отказаться от меня так же, как я отказался от Вики. Но я не могу бросить дочку. Я больше никогда, никогда её не брошу — чего бы мне это не стоило».

По дороге из аэропорта Совки заехали в бывший «Дом пионеров», где в этот день репетировала балетная труппа Анюты — его зал был наиболее удобен для артистов с ограничениями по здоровью, потому что там была большая сцена, оборудованная пандусами.

— Я с вами пойду, — заявил Александр Ильич, приглаживая седые волосы. — Тебя, доча, всё-таки подстрахую. Устала же. Не дай Бог, упадёшь.

— Пап, да я отлично себя чувствую! — Анюта чмокнула отца в щёку и озорно глянула на Элину: — Мама, мы же ненадолго, да? Я только своим объявлю, что театр расформировывать не буду. Мне Пётр Тимофеевич звонил, беспокоился. Говорит, слухи разные ходят, наши волнуются.

— Пойдём, — кивнула Элина. И обеспокоено глянула на мужа: — Саша, надень куртку, я тебя умоляю! Недавно ведь твой радикулит лечили!

— А я на Анечку посмотрел — и полностью излечился! — он дурашливо округлил тёмно-карие, как у Анюты, глаза. — Но, если заклинит, тоже сдамся в плен к фрицам.

Они поднялись по широкой лестнице, прошли мимо белых колонн, украшенных по верху лепниной, и проследовали в зал. Анюта давно взяла его в аренду на дневные часы, вклинившись в расписание между бальниками и народным танцем. Репетиции проходили четыре раза в неделю, но пока длилась её германская эпопея, Анюту замещала подруга по балетному училищу — Ольга Чубарь. Вот и сейчас она была на сцене, взволнованно взмахивала тонкими руками и сгибалась то вправо, то влево свой тонкий, обтянутый чёрной майкой, стан. Объясняла что-то Петру Тимофеевичу, который сидел в своей инвалидной коляске, держа на коленях блестящий круглый щит. На головах других участников театра блестели острроверхие шлемы: шел генеральный прогон переложения «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях», которое написала Анюта.

— Всем привет! — она махнула рукой, и пошла к сцене, чувствуя, как костыли врезаются под мышцы при спуске на очередную ступеньку. Со сцены раздались радостные возгласы:

— Анна Александровна, с возвращением! Ничего себе, на своих двоих! А мы и не сомневались.

Она поднялась на сцену, чувствуя, как отец поддерживает её сзади. Обняла Ольгу, потянулась губами к щеке слепой пианистки Кати, погладила по голове её собаку Лесси, которая радостно ёрзала рядом с хозяйкой, но не делала даже шагу в сторону от неё.

— А меня, старика? — с деланной обидой сказал Пётр Тимофеевич, протягивая руки. Анюта, отдав один костыль матери, нагнулась к нему, неловко обняв одной рукой, потом к подъехавшим на своих колясках Володе, Таисье Павловне, и Дарье — самой юной участнице их балета. «Её тоже отправлю к Штайнеру, — подумала Анюта. — И вообще, предложу им всем откладывать часть концертных гонораров на лечение в Германии. Спонсоров постараюсь найти, свои гонорары со счета сниму — тогда, может быть, кого-нибудь и удастся на ноги поставить». И, словно в ответ на её мысли, подала голос Олеся Григорьевна, полная дама лет тридцати пяти, у которой тоже были парализованы ноги:

— Что, выздоровели, Анна Александровна? — будто бы в шутку сказала она. — Теперь мы-то, сырые и убогие, не нужны поди?

Насмешка в её глазах скрывала затаённую зависть — душную и гиблую, как болото.

Анюта невольно поёжилась под этим взглядом, еще больше сникла, увидев, как Таисья Павловна и Пётр Тимофеевич отвели глаза. Но тут же выпрямила плечи и твёрдо сказала:

— Я знаю, что в нашем коллективе — я подчеркиваю, в нашем! — ходят слухи о расформировании труппы. Спешу заверить: этого даже в планах нет. Административные вопросы по-прежнему решает Элина Викторовна Совка, а хореографией до моего возвращения будет заниматься Ольга. Пожалуйста, не волнуйтесь, помните о графике выступлений и гастролей. А я после восстановления, может быть, вернусь в труппу. И ещё...

Она заговорила о клинике Штайнера и о том, что доходы от концертов можно пустить на лечение.

— А наша-то — молодец, не растерялась перед этой крыской, — шепнул Элине Александр Ильич. Та хмуро кивнула: что ж, не от всех людей можно ждать благородства. В сумочке запищал телефон, и Совка, смущенно извинившись, сошла со сцены в зал. Вытащила трубку и замерла, глядя на экран с тревожным предчувствием. Звонил Сергей.

— Мама, скажите, Анюта рядом? — у него был совсем чужой голос, какой-то надтреснутый, непривычно виноватый. — Не надо, чтобы она слышала. Мне очень нужна ваша помощь. Именно ваша.

Совка невольно оглянулась:

— Серёжа, Анюта на сцене, — вздохнула она. — Мы заехали в театр. Что у тебя случилось? Только в этот раз говори честно, пожалуйста. Я знаю, почему ты сбежал от нас в аэропорту. И знаю, что в этой газете. Всё-таки эта Наталья была твоей любовницей?

— Всё не так! — запальчиво выкрикнул он. — У нас только один раз... Я имени-то её потом не помнил... Просто понимаете — после этого родилась Вика.

Элина скривилась, как от боли. Он вёл себя сейчас, как напуганный мальчишка — и каким контрастом это было с тем, надменным и обозлённым Волеговым, который твердил ей в больнице: «Это не мой ребёнок!» А ведь она просила: признайся, не надо обманывать. Заврался. Запутался ещё тогда — только не сумел этого понять.

— Что ты от меня хочешь? — грустно спросила она.

— Моя дочь пропала, — торопливо ответил Волегов, — я хочу найти её и забрать, признаться во всём Анюте. Но боюсь, что ей станет хуже, она ведь только после лечения. Я очень её люблю, вы же знаете! И дочку люблю очень, но она... она в опасности, понимаете? Думаю, её забрала женщина, которую однажды уже обвиняли в киднеппинге. И у этой женщины... она психически нездорова.

Сергей частил, глотая окончания слов, и Элина вдруг поняла — да он же болен от страха. Он в панике. И значит... он не такой уж подлец, если так сильно переживает за дочь? Так же сильно, как она всё это время переживала за Анюту.

— Серёжа, я рада, что ты хотя бы сейчас подумал о жене, — выдохнула Элина, чувствуя, как камень, давящий на грудь, становится чуть легче. — Я, если честно, очень боялась, что ты её бросишь.

— Я? Анюту? — он был настолько обескуражен, что Совка даже устыдилась: как вообще могла подумать, что он предаст жену? «Да потому что изменил, а это — уже предательство! — ответила она себе. — Хотя... Анюта столько лет была в инвалидном кресле. А он молодой здоровый мужик, ну что с него взять?»

— Я никогда не брошу её, — печально сказал Волегов. — Никогда — если только она сама не велит мне уйти.

И Элине стало жаль его. Так жаль — как родного сына: заблудшего, искалечившего

свою судьбу, но всё-таки любимого несмотря не на что.

— Так, Серёжа, соберись! — сказала она. И невольно отметила, что говорит с ним тем же тоном, как когда-то говорила с дочерью в редкие моменты её слабости: когда убеждала не сдаваться, идти дальше к своей цели. Подумав, она продолжила: — Серёжа, всё поправимо. Очень надеюсь, что твоя дочка найдётся. Я не знаю, как мы это всё объясним Анюте и Саше — с ним, я думаю, у тебя будет отдельный разговор. Но ты, пожалуйста, не опускай рук. Возвращайся домой. Я попытаюсь подготовить семью, но объяснить тебе придётся. А потом, надеюсь, мы вместе что-нибудь придумаем. В конце концов, ребёнок ни в чём не виноват.

Положив трубку в сумочку, Совка потёрла висок: головная боль клевала в него изнутри. Глянула на сцену: Анюта с отцом уже спускались вниз, сопровождаемые хореографом Ольгой Чубарь. Элина двинулась им навстречу.

— Оль, я не знаю, когда смогу вернуться. Не раньше, чем через месяц, наверное, — говорила Анюта. — И потом, скорее всего, уже не смогу столько времени уделять балету. Так что ты подумай, пожалуйста, о том, чтобы перейти к нам на постоянную работу. Зарплата будет больше, чем в твоём училище — это я гарантирую.

— Ань, я подумаю, — улыбнулась Ольга. — Ты, главное, не волнуйся, вредно тебе. Как выздоровеешь окончательно — приходи. Ты же видишь, наши тебе рады. В основном.

Анюта усмехнулась:

— Да Бог с ними. Их тоже можно понять.

...Когда Совки садились в машину, Элина, уложив костыли Анюты на пол, села рядом с дочерью. На удивлённый взгляд мужа, привыкшего, что она всегда ездит на переднем пассажирском сидении, лишь махнула рукой:

— Сашка, поезжай! Дай женщинам посекретничать.

«Может, вы как-то подготовите её?» — слова Волегова, всплывшие в памяти, казались сейчас самым важным. Но она спросила о другом:

— Нютка, ты хоть не сильно расстроилась? Из-за этой Олеси Григорьевны?

— Мам, не только ей было неприятно, что я встала с кресла, — помедлив, ответила Анюта. — Но я в какой-то мере понимаю их.

— И всё-таки как-то мерзко... — покачала головой Элина. — Могли бы порадоваться за тебя.

Анюта пожала плечами:

— Мама, мы сами определяем, как относиться к чужой удаче. И то, как относимся в итоге — лучшее мерило того, достойны ли мы своей.

Элина кивнула и замаялась, подбирая слова. Наконец, несмело спросила:

— А как ты считаешь: рождение ребенка — это удача, или закономерность?

Брови Анюты удивлённо дрогнули. Она посмотрела на Совку, и ответила, едва заметно вздохнув:

— Это чудо, мама. Всегда чудо. Запланированное, или нет — не важно. Я бы очень хотела, чтобы и со мной такое случилось.

— Давай мы сейчас заедем к нам на пару-тройку часиков, пообедаем, отдохнём, — предложила Элина. — А ближе к вечеру мы с папой отвезём тебя домой, и сегодня останемся у тебя? Тем более, что Серёжа через несколько часов приедет. Он только что мне звонил.

— Тебе? — удивилась Анюта. Но тут же обрадовано сказала: — Оставайтесь, конечно!

Я буду очень рада! Сможем отпраздновать наше возвращение из Германии.

— Да-да, — рассеянно сказала Элина, обдумывая, как лучше рассказать ей о дочке Волегова. «Не сейчас, — решила она. — Сашка за рулём и всё слышит. Не дай Бог разволнуется. Да и Анюта... Нужно поговорить с ней с глазу на глаз, по-женски».

В коттедж Волеговых они добрались только к семи вечера. После того, как был выпит чай и располовинен купленный по дороге торт, Александр Ильич, тяжело вздыхая, переполз на диван и, включив телевизор, положил пульт на округлившийся животик.

— Дамы, я в анабиоз, минут на тридцать, — оповестил он. — Боевому танку нужно восстановить силы.

— Сейчас этот танк захрапит, будто танковая дивизия, идущая на вражескую крепость, — склонившись к матери, хихикнула Анюта.

— Я всё слышу, — лениво пробормотал Александр Ильич. — Но несколько не возражаю и заранее прошу прощения. Наденьте наушники, господа танкисты.

— Анютка, пойдём, — поднялась из-за стола Элина. — Пусть папа отдыхает. А я хочу с тобой поговорить.

В тёмных глазах Анюты мелькнул интерес, и она потянула к себе костыли. Совка помогла дочери встать. Вдвоём они пошли на кухню. Анюта устроилась на диванчике, служившим продолжением подоконника. А Элина, плотно закрыв дверь, взяла стул и села напротив.

— Что-то случилось, мам?

Совка дёрнула уголком рта, и ответила — потому что скрывать это дальше не было никакого смысла:

— Да, дочка. Случилось. Но ты не волнуйся, пожалуйста. По крайней мере, все живы-здоровы.

— Уже легче, — Анюта смотрела на неё настороженно, но спокойно.

— Я по поводу ребенка хотела поговорить, — вздохнула Совка. — Ты в машине сказала, что его рождение — запланированное, или нет — это чудо. А ещё до нашей последней поездки в Германию ты говорила, что хочешь найти суррогатную мать для ребенка Сергея, которого вы смогли бы вместе воспитывать?

— Да, я же уже ищу! — кивнула Анюта. — Обращалась в пару центров, там подобрали кандидатов, одна даже похожа на меня, представляешь? Я Серёжке фотографии показывала, но он... Знаешь, как-то без энтузиазма. Я так и не поняла, поддерживает ли он мою идею.

— Ну а ты сама — не пожалеешь потом? — спросила Элина, пытливо глядя на дочь. — Ведь ребенок будет от другой женщины?

— Я же не могу родить, — пожала плечами Анюта. — Сама знаешь, у меня после этой травмы все трубы в спайках, и один яичник лопнул. Шансы забеременеть почти нулевые. А ребенок — ну и что ж, что в нём не моя кровь. Мне кажется, все-таки более родной тот, кто воспитал, чем тот, кто родил.

И Элина решила:

— Нютка, а если бы у Серёжи уже был такой ребёнок?

Анюта недоуменно улыбнулась:

— Мама, что ты имеешь в виду?

— Дочка, послушай. Прости, что я касаюсь этой темы, но вы как муж с женой... пока ты была в кресле... вы же не могли заниматься сексом, так? — с трудом подбирала слова Элина. — А он молодой мужчина, у него свои потребности...

— Мама! Ты что-то говорила о ребенке! — настороженно перебила Аня. — При чем здесь потребности! Или ты... Ты имеешь в виду...

Она уставилась на Элину так, словно всё поняла, но ещё не осознала до конца. Её лицо — испуганное, словно отразившее горечь и позор чужой вины — побледнело до прозрачности.

— Нюта, у Серёжи появился ребенок, четыре месяца назад, — с трудом проговорила Элина. — Та женщина... Он клянётся, что между ними ничего нет, что она ему чужая. Но ребенка бросить не смог. Заметь, это всё-таки поступок.

Аня уставилась в сторону. Черты её лица заострились, кожа посерела, губы сжались в упрямую, злую черту. Совка попыталась взять её за руку, но дочь отдернула ладонь, будто обожглась.

— Девочка моя, послушай! Пожалуйста, не руби с плеча! — взмолилась Элина. — Серёжа любит тебя. Только тебя, понимаешь? И скрывал всё это, потому что пытался уберечь. Ты сама сказала: ребенок — чудо, даже незапланированный...

— Как он мог? — уронила Аня. Её плечи сжались, спина согнулась, будто на неё свалился непосильный груз. Тёмные волосы скрыли опущенное лицо, и тонкая линия пробора светлела меж прядей, приподнятых на затылке. Только вот Элина помнила, что под ними — две макушки. Знак, замеченный ею ещё в Анином детстве. Тогда она думала, что это к счастью — по крайней мере, так говорила примета. И что в итоге? Много ли счастья выпало на долю её дочери? И выпадет ли ещё когда-нибудь?

— Мама, почему он сказал тебе? — с горечью спросила Аня, подняв голову. В её глазах блестели злые слёзы. — Почему мне не признался?

— Я узнала только сегодня, — покачала головой Элина. — Понимаешь, мать этой девочки умерла на днях. А ребенок — исчез. Только поэтому Серёжа признался, у него выхода другого не было!

— Умерла?... Ребенок исчез?... — Аня, всхлипывая, сжала руками голову. — Не понимаю... Но, мама, почему он сказал тебе? Эта измена — она ведь между ним и мной!

Совка хоть как-то постаралась защитить зятя:

— Он очень переживал, что тебе станет хуже, когда узнаешь. Ты ведь только после лечения, ещё не восстановилась, — ответила она. А потом призналась, вздохнув: — И ещё потому, что я догадывалась. Но не говорила тебе, пока не было полной уверенности. Боялась, что это разобьёт вашу семью.

— Надо было сказать! — взвизгнула Аня. Слёзы переполнили её глаза, сорвались с ресниц, и Элина потянулась к ней, как в детстве — вытереть их, обнять дочку, утешать до тех пор, пока улыбка не пробьётся сквозь горе. Пересев к дочери, притянула её к себе, забормотала:

— Девочка моя, ты поплачь, от этого легче... И постарайся его простить. Да и меня тоже. Я ведь берегла тебя. Когда ты сама станешь матерью, поймешь, как это важно — оберегать своего ребенка.

— Мама, я не могу, мне так обидно! — всхлипывала Аня, пряча лицо у неё на плече. — И Серёжа... Как мы теперь?... Что будет?... Ведь это... это подло, мама! Это всё так грязно и подло! Так же нельзя! С чужими-то нельзя — а уж со своими, родными...

Элина гладила её по спине, что-то приговаривая, утешая. И невольно вздрогнула, услышав, как хлопнула входная дверь.

Сергей открыл дверь кухни рывком — глаза бешеные, больные от отчаяния. Увидел их

— и тут же всё понял.

— Анята, я объясню! Послушай, пожалуйста! — он бросился к ним, сгребая бедром стулья.

— Не подходи ко мне! — взвизгнула Анята, хватаясь за костыли. Встала, покачнувшись, уставилась на него в упор: — Как ты мог! Я же верила...

— Прости, совёнок! Я урод, гад последний, — он упал на колени, пополз к ней. — Но позволь мне... я объясню...

— Не верю! Ничему больше не верю! И видеть тебя не хочу! — закричала Анята, кривя заплаканное лицо. Она резко развернулась на костылях, чтобы уйти — но наткнулась на Элину. Та перегородила ей дорогу, встала стеной.

— Нютка, стой. Не уходи сейчас, ты ведь знаешь — легче всего уйти, — горячо заговорила она, схватив дочь за плечи. Анята дернулась, пытаясь освободиться от её рук, но Элина лишь сжала её крепче и сказала уже спокойнее, твёрже: — Ты обязана его выслушать! Вы столько лет вместе, вы такое пережили — вспомни. А значит, это переживёте тоже.

— Нет, мама! Я не смогу! — выкрикнула Анята. — Это подло! Подло! И ты, Серёжа: да если бы у тебя отказали ноги, а я развлекалась на стороне — как бы ты к этому отнёсся? Сказал бы: «Да ладно, с кем не бывает, пойдёмте пить чай»? Мне было так тяжело, но я всегда думала: мой муж не бросает меня, он рядом, ему не нужен никто другой! А ты? Что сделал ты?!

— А что он сделал? — в дверях кухни стоял Александр Ильич, разбуженный их криками. Седые волосы были всклокочены после сна, тёмно-карие глаза смотрели сурово.

— Он?... — выкрикнула Анята — так, будто Волегова здесь не было. — Он завёл на стороне ребёнка!

Отец хлестнул Сергея взглядом, и тот, собираясь что-то сказать, поднялся с колен. Совка двинулся на зятя:

— Это правда? — гаркнул он.

— Да! Но я... — Волегов не успел договорить. Хрусткий удар — кулаком в лицо. Сергей невольно качнулся, прижимая ладонь к носу, чувствуя, как меж пальцами мощной струей бежит тёплое, солоноватое на вкус. Услышал перепуганный визг Аняты:

— Папа, не трогай его!

А потом — как в замедленной съемке — Волегов увидел, как она шагнула в нему, как конец костыля скользнул по гладкому наливному полу, как она начала заваливаться на спину: неловко искривившись, взмахнув руками, устремив на него ошарашенный взгляд. И он бросился вниз, ловя её в прыжке, как вратарь ловит мяч. И уже падая, прижал к себе её тело, и грохнулся на спину — вместо неё. В затылке гулко стукнуло, боль расколола голову, вспыхнула в его закрытых глазах. Но Анята зашевелилась на нём — по-прежнему здоровая, бережённная им от удара о твердый пол. Перевернулась, плаксиво ойкнула и затрясла его за грудки, вцепившись в рубашку:

— Серёжка, Серёжа, ты жив? Скажи хоть что-нибудь!

— Прости меня, пожалуйста. Я очень тебя люблю, — хрипло проговорил он, открывая глаза. Сложил ладонь, и, зацепив пальцами конец рукава, вытер им кровь. Анята смотрела на него сверху — обиженно, неловко размазывая кулачками остатки туши, смешавшейся со слезами. Она скривила губы, словно запирая какие-то горькие, жалящие слова. И сказала, всхлипнув:

— Мне нужно побыть одной.

Свет фар скользнул по окну, проник в щель между штор, и на секунду осветил лицо Анюты, переживающей ночь в мягком широком кресле. Машина, деловито урча, пронеслась мимо дома, и взвизгнула тормозами где-то вдалеке, разом включив по всему посёлку многоголосое собачье буханье. Анюта плотнее закуталась в шаль и подогнула под себя ноги.

Волегов ворочался в соседней комнате. Тоже не спал — она то и дело слышала тоскливый скрип его дивана, покаянное сопение и виноватые шаги: то до кухни, к крану с холодной водой, то до бара — пару раз прошелся, плеснуть из бутылки в стакан. Она взглянула на зелёные цифры электронных часов, казавшиеся повисшими посреди темноты: четыре утра. А они оба не могут заснуть. Так всегда бывало после их ссор: редких, и оттого вдвойне болезненных.

Анюта вздохнула, бесцельно теребя в руках край халата. Может ли она судить Серёжку? В конце концов, не очутись она в инвалидном кресле, всё могло бы сложиться по-другому. Ведь до её травмы у них был великолепный секс — горячий, раскрепощённый, но всегда наполненный чуткой нежностью. А потом... В первый год она постоянно задумывалась: каково Серёже, с его-то темпераментом? Но потом бросила эти мысли, потому что они ранили, впиваясь в неё, как иглы инквизиторского кресла, и болело от них ещё хуже, чем от нудящих в непогоду переломов.

Она всегда думала: любовь равно верность. Простой постулат. Общепринятый. Но оказалось, что даже сейчас, бесконечно злясь на него, чувствуя дикую, разъедающую обиду, она всё ещё любит. И будет любить его, даже если уедет, разорвёт все нити, выйдет замуж за другого. Не сможет вырвать его из сердца и памяти. Потому что, несмотря на всю свою целостность, на всю самодостаточность, которая всегда являлась стержнем её характера, в любви она — половинка. Его половинка. И ей не под силу это изменить.

Анюта осторожно встала, опираясь на подлокотник кресла. Ноги всё ещё были недостаточно сильными, тревожно подрагивали, болезненно отзывались похрустывающей суставной болью на каждый шаг. Но главное — она боялась упасть. Страх засел в ней с того самого дня, как она поняла — ноги зашевелились. И теперь носила себя, как хрустальную вазу, боясь, что если уронит — разобьёт в куски. А сегодня ожил еще и другой страх: что кто-то разрушит их семью, смахнёт её неосторожным движением.

Она ведь подозревала, что у него бывают другие женщины. Чувяла это нутром. Каждый раз, когда её касался привезённый им из очередной «командировки» непривычный запах. Или прорывалась в разговоре чуждая ему, слишком фривольная фраза. Или становилась чересчур нарочитой его забота, фоном которой была виноватая предупредительность. Каждый раз она чувствовала мимолетный укол интуиции — и каждый раз специально переключала мысли на что-то другое. Но однажды, когда подозрения стали совсем уж нестерпимыми, честно спросила себя: а если действительно изменяет? И поразила тогдашней своей реакцией: смиренному пониманию и тёплой грусти, расцветшим в груди. И наполненной любовью мысли «Если ему от этого хорошо — пусть так и будет». Знала, что душой и сердцем — он только с ней.

Так почему же сегодня, узнав о его измене, она почувствовала другое? Бесконечную, страшную боль. Потому что ревность была не к какой-то неизвестной женщине — ревность была ещё и к ребенку. А это оказалось намного серьезнее.

«Нет, это не из-за малышки, я не чувствую к ней ничего плохого, — поправила себя Аня. И стыдливо признала: — Это потому, что мать его дочери — не я».

Но что же теперь — обидой перечеркнуть всё? Разве обида — весомый повод расстаться? Забыть, как муж заботился о ней, не бросал в беде, поддерживал всеми силами... Аня вздохнула, понимая: так нельзя. Ведь, обижаясь, важно понять и мотив того, кто обидел. Если этот мотив любовь — а Серёжа, по-видимому, очень любит дочку — можно простить даже самое страшное. Но и простить можно только когда есть любовь... или когда тебе что-то нужно от человека. Так и прощают любовницы, заикливающие на деньгах. А она — жена, и в горе, и в радости. И, кроме любимого мужа, ей ничего не нужно.

«Я ведь вышла за него, когда он был никем, — вспомнила Аня. — Вчерашним студентом с койко-местом в общежитии. Да, в итоге он много чего добился. Но мне не так важны его деньги и положение — мне всегда был важен именно он. Это просто любовь, в чистом виде. А умение прощать — одна из проверок, через которую она проходит. И если душа желает простить, так и нужно сделать — несмотря на любые обиды».

Она взяла костыли и раздвинула шторы, желая выйти на балкон — так хотелось остудить голову, вдохнуть свежего воздуха. Невидимая в темноте книга, нечаянно задетая Аней, соскользнула со стола и тяжело шлёпнулась об пол. И тут же открылась дверь — будто Вологов сидел под ней, как пёс. Его лицо в светлом проёме казалась беспомощно-слепым. Он вглядывался в темноту её комнаты с мучительной тревогой — секунду, две — а потом позвал:

— Совёнок! Милая, ты не ударилась?

Она протянула руку, нащупывая кнопку настольной лампы. Включила и сощурилась от света. На лице Вологова проступило облегчение, взгляд снова стал виноватым, потерянным. Аня обиженно отвернулась, но пересилила себя:

— Входи, Серёжа. И расскажи мне правду, наконец.

И тут же поняла: да он и не мог сейчас ничего другого — самому хотелось высказаться, используя это право быть откровенным там, где раньше приходилось только лгать. Сергей шагнул вперед, сутулясь от неловкости. Пластырь на сломанном носу, отекшая переносица, тёмные «очки» вокруг глаз. «Да, от души его приложил папа...» — мельком подумала Аня. Глаза Сергея запали, морщины на лбу и возле рта выглядели глубже, неаккуратная щетина, затянувшая щеки островками, как ряска, делала Вологова постаревшим, больным. И Аня почувствовала, как внутри поднимается жалость. Она снова опустилась в кресло, посмотрела на мужа молчаливо, но требовательно. А он сел на край стола, чтобы оказаться напротив неё, и заговорил — смущенно, виновато:

— Прости. Но лгать больше не буду. Эти женщины... их было несколько. Не хочу врать, что одна, потому что тогда не буду до конца честным. Но поверь, я даже их лиц не помню. Это было... как напиться воды. Вроде, жажду утолил, а вкуса не почувствовал. И только один раз с каждой. Специально. Не хотел привязываться. Мне казалось, тогда я сохраню тебе верность.

Аня мрачно усмехнулась, неприязненно повела плечами.

— Да, теперь я понял, что это самообман, — вскинулся Вологов. — Но они и вправду были лишь тела, поверь! Ничего больше. Я всегда любил только тебя, пойми, Совёнок! А эта Наталья — она сказала, что беременна. И я... — он потёр рукой лоб, будто решаясь, — я сам попросил оставить ребенка. Мне казалось, если она его убьёт — а она хотела! — я никогда себе не прощу. Будет вот такое, — он широко развел руки, — пятно на совести. И жизнь,

загубленная ни за что. Просто так. А ведь у меня было всё, чтобы вырастить этого ребенка, я мог оплатить его воспитание, образование. Ну, я и оплатил.

— В каком смысле? — сухо спросила Аня.

— Я предложил этой женщине контракт. Сделку. Она рождает ребенка, и я выплачиваю ей определённую сумму. Потом она воспитывает его, получая за это деньги. Она согласилась, не раздумывая. Она вообще такая была... Только и думала, как побольше с меня содрать. И, как оказалось, гульнуть любила, выпить. Бросала дочку на няню, сама в разгул. И Вику не любила — это чувствовалось.

— Не любила свою дочь? — нахмурилась Аня. — Как это может быть?

— Оказывается, может, — презрительно скривился Вологов. — И когда я это понял, решил забрать Викульку. Думал, предложу тебе удочерить её. Скажу, что она сиротой осталась.

— Обмануть хотел? — в тёмных глазах Аня снова плеснула боль.

— Да, — потупился Вологов. — Хотел, как лучше. Только потом понял, что ложь именно так и растёт — один раз обманешь, и придётся делать это ещё и ещё.

Он покачал головой и поднял на неё глаза.

— Прости меня, пожалуйста. Если бы я знал, что всё так сложится, даже не начинал бы. Не было бы ни одной женщины! Сел бы на таблетки какие-нибудь, как-то бы справился...

— Не говори мне больше об этом! — Аня передёрнуло, будто перед ней пролетела летучая мышь. — Давай забудем, пожалуйста. Я понимаю, у тебя тот ещё темперамент — а я была в коляске. С одной стороны, измена в этом случае — предательство, с другой — просто жизнь, природа. Хотя на то мы и люди, чтобы уметь сдерживать животные порывы!

Она задумалась, и продолжила:

— Просто знай: если теперь, когда у нас всё наладится с интимной жизнью, я узнаю, что у тебя кто-то есть — уйду. Ты никак меня не удержишь. Потому что оправданий у тебя больше не будет. А сейчас — всё, забыли об изменах! Рассказывай про ребенка. Она согласилась отдать девочку? Вику, правильно?

— Да, Викульку. Вроде бы согласилась. За деньги, естественно.

Аня возмущенно свела брови, но ничего не сказала.

— Мы с тобой были в Германии, я звонил ей оттуда, сказал, что приеду. А она, оказывается, уже неделю как отдыхала в Турции. Ребёнка, как я понял, оставила с няней, потому что её мама попала с инсультом в реанимацию.

— Как это? Мама в реанимации, а эта на отдых улетела? — недоверчиво спросила Аня.

— А вот так, — развёл руками Вологов. И жалобно сказал: — Но самое главное, она доверила мою дочь женщине, у которой проблемы с головой. У этой Татьяны уже был привод в полицию из-за того, что она украла чужого ребенка. А сейчас её нет, понимаешь? Нигде! И Вики тоже!

Не сдержавшись, он с яростью треснул кулаком по столу. Аня, вздрогнув, испуганно прижала ладонь к груди:

— Но как же... Надо найти её, забрать девочку!

— Я ей никто! — с усилием сказал он. — Меня нет в документах Викульки. Я сам не дал вписать своё имя. Осторожничал, думал, для неё это значения не имеет — а я чистеньким останусь. У меня же семья, карьера, выборы... Дурак! Я могу пойти в полицию и подать заявление о пропаже, но если дочку найдут, её сразу определяют в детдом. У нас

система так работает. А пока докажу, что я отец Викульки, её могут забрать другие усыновители. Поэтому я пока подключил своего юриста, а он — частных детективов. Они ищут. Но пока безуспешно. И знаешь, я думаю — плевать мне на всё. На депутатство это, на карьеру. В конце концов, и без этого проживем. Так что если к завтрашнему дню не будет хоть какой-то информации, я выступлю в СМИ. Соберу журналистов, признаюсь во всём, объявлю эту Татьяну в розыск. Награду пообещаю — лишь бы нашли ребенка. Пусть крутят её фотографию по всем каналам, в интернете, везде! Думаю, это будет эффективней, чем обращаться в полицию.

— Да, это точно, — кивнула Аня. — А насчет выборов — я согласна с тобой, ребёнок важнее.

Волегов глянул на неё — робко, с надеждой:

— А ты... Примешь мою Вику?

— Конечно, Серёжка! — Аня посмотрела так, будто он сошел с ума. — Ведь ребёнок не виноват, что родился при таких обстоятельствах! И хорошо, что она маленькая, будет мамой меня считать.

— Совёнок, ты такая!.. Ты самая лучшая! — он опустился на пол, ткнулся лицом в её колени — и тут же зашипел от боли, повернув голову на бок.

— Нос!.. — простонал он. — У твоего папы отличный удар... уважаю...

Аня, поколебавшись, протянула руку и погладила его по голове. А потом наклонилась, обняла — горячо, сильно, с любовью — и невольно вспомнила слова матери: «Вы и это переживёте».

Татьяна вынесла люльку с Викой во двор ранним утром, ещё пяти не было. Небо — розовопёрое, с сиреневыми заводями теней и пушистыми серыми облаками — висело над посёлком в ожидании солнца.

Викулька капризничала всю ночь — видимо, резался второй зубик. Татьяна носила её на руках, пытаясь успокоить. Пару раз за ночь к ним в комнату заглядывала тётя Лида, предлагала посидеть с ребёнком: «Танюшка, ты бледная вся, отдохнула бы — а мне в радость». Но Татьяна отказывалась — ей и без того было немного стыдно перед тёткой и бабушкой за то, что нарушила покой их дома. И в то же время она понимала: эти люди, которых она не знала еще пару дней назад, предлагают помощь от чистого сердца. Потому что — родные. И любят её.

Она вышла за калитку и села на скамейку возле дома, поставив люльку рядом с собой. Вика сонно щурила глазки и широко зевала — свежий воздух всегда действовал на неё, как снотворное.

— Спи, котёнок, — ласково сказала Таня, глядя её по животику. — Спи, я с тобой посижу.

Укрыв девочку одеялом, она плотнее запахнув кофту, и тихо запела колыбельную. А думала о своём: вспоминала тот первый разговор с тётей и бабушкой.

...Они пили чай за столом возле русской печки. На нём, в золотистых гнездах конфетных коробок, торжественно лежали привезенные Таней лакомства: птичье молоко, ассорти, испанский шоколад с ликёром. Открытые пакеты с печеньем и пряниками топорщили прозрачные уши. Но центральное место занимали банки с вареньем, которые по команде бабушки достала тётя Лида («земляничное, ты, Танюшка, уж очень любила, да и крыжовенное попробуй, по-царски делали»).

— Женька-то где работает? — спросила бабушка, дуя на блюдечко с чаем, и Татьяна снова заметила тень вины в её взгляде.

— На водоочистных, инженером, — ответила она.

— А сам-то поля любил — ух!.. Комбайны... — с грустью заметила тётя Лида. — В детстве ищешь его, бывало — а он убёг к дядь Грише комбайнёру. Тот, как урожай собирать, садит Женьку в кабину — и ну давай катать, с утра до вечера.

Таня поставила чашку на блюдце и смущенно спросила:

— Почему они уехали?

— Моя вина, — сказала бабушка, отодвигая чай. Затеребила в руках кончики лежащего на плечах белого платка. — Не простил мне ни Милку, ни Ленку.

Таня непонимающе прищурилась. Тётя Лида поспешила объяснить:

— Так любовь была у него, Людмила. Милкой мы её. Ох, бегал за ней! А как Ленка приехала, мама твоя, так и закрутилось у них...

— Не закрутилось, Ленка его закрутила — Милке назло, — возразила бабушка. — А я и рада была. Дурища.

— Почему, бабуль? — растерянно спросила Татьяна. В голове не укладывалось, что у отца была другая женщина.

— С образованием мать-то твоя. И городская! — бабушка поджала губы. — Я думала, ему под стать. Женька-то инженерский кончал. А Милка что? Училище за спиной, да родня

запойная.

— Мама, ты ж ему лучшей жизни хотела, — тётя Лида погладила её по спине. И посмотрела на Таню: — У Ленки с Милкой прям соревнование за него было! Ленка-то — ты уж прости, что я так о матери твоей, только правда это! — лучше всех жить мечтала. Чтобы всё ей: и на работе, значится, уважение, и жених видный, с перспективами. Вот и начала с ним шашни водить за подружкиной спиной. Они ж с Милкой сдружились, как Ленка на фабрику пришла. Но Милка простодырая, не разглядела, что та змеюка...

Осекшись, она смущённо потупилась:

— Прости, Танюшка.

Татьяна горько усмехнулась:

— Да ничего. Сама знаю, что у матери характер — не сахар.

— А вы-то с ней — ладно? — спросила бабушка.

— Да какой там ладно! — в сердцах отмахнулась Таня. — Всю жизнь как-то странно она ко мне относится, будто не любит.

Бабушка покивала, задумчиво глядя перед собой.

— Так и здесь было. Нельзя детей назло рожать.

Татьяна подобралась, спросила напряженно:

— Назло? Кому назло?

— Милке и назло, — вздохнув, бабушка потёрла рукой грудь, будто разгоняя тяжесть на сердце. — По-другому не отбила бы жениха-то. Ленка с Женькой за её спиной крутила, пока живот не появился. А потом уж к нам пришла: принимайте в семью, внука я вашего ношу. А я и рада, дурища. На Женьку напустилась: женись. И ребёнку отец будет, и тебе жена хорошая.

Татьяна отвела взгляд. Печаль подступила к горлу, окутала плечи холодом. «Всё-таки я была для отца нежеланным ребёнком, — думала Таня. — Да и для матери... Она с моей помощью заполучила мужа — а когда достигла цели, оказалось, что ребенка обратно не засунешь. Вот и терпела меня, а не любила».

— А что потом? — спросила она, глядя в пол.

— Свадьба. Да горче горького, — ответила бабушка. — Женька сычом сидел. А ближе к ночи вообще к Милке удрал.

— А та его веником, прям по улице гнала, да кричала как! — всплеснула руками тётя Лида. — Тут он понял: обратно не пустит. Решил уж быть с женой, честь по чести. Тут Ленка свой характер — бац, на стол! И проявила. Ох, и пожалели мы, значится, что она в дом вошла! То ей не так, это не этак. Королевна...

Она уставилась на белёную стену печки, будто видела там что-то, давно прошедшее — и теперь смотрела на это с сожалением, с желанием изменить.

— А Женька-то, не любивши, быстро терпёж потерял, — добавила бабушка. — Видеть Ленку не мог. С утра до ночи на работе. Всё лишь бы не домой.

— Нет, мам, когда она поласковой становилась, он, вроде, оттаивал, — возразила тётя Лида. — Интересовался ей, как ни крути. Только у неё тех перепадов было — по семь раз на дню. То улыбается, то волком смотрит.

— Ну а чего, беременная! — отмахнулась бабушка. — А мы терпели. И Женьку я — ох, ругала, что жену одну бросает! Да только мы все её бросали. Не рады ей стали, как характер свой показала. Вот и получилась: семья в одном ведре — а Ленка в другом, как на коромысле.

— Поэтому они с папой и уехали? — спросила Таня.

— Ага, — покивала бабушка. — Ленка-то Женьку давно настраивала. А потом уж он и сам обозлился: всё, говорит, вам не так! То Милка плохая была, теперь Ленка.

— Никто, говорит, с вами не уживётся, — подхватила тётя Лида. — Собрал семью, да — бац, уехал, в один день. Сперва-то звонил, у нас в соседях председатель колхоза жил, к его телефону и бегали. И мы ему звонили. Только Ленка мне однажды говорит, значит: хватит, не лезьте к нам! Он вас видеть не хочет. Из вежливости звонит. А самому это — поперёк горла.

Татьяна кивнула, понимая: мать могла так поступить. Соврать, что угодно, лишь бы рассорить отца с родными.

— Ты уж прости, Танюшка, — покаянно сказала бабушка. — Все мы тебя по взрослой своей дурасти без семьи оставили.

— Бабуль, ну я же здесь, — смущённо ответила Таня, не чувствуя ни обиды, ни злости — только тихую печаль и сожаление о том, что так случилось...

Сейчас, сидя у ворот дома под утренним небом, она почувствовала то же самое. Посмотрела на Викульку: та мирно сопела, смежив полукружья ресниц.

— Умница моя, — прошептала Таня. — Дай тебе Бог, чтобы твоя судьба оказалась лучше моей.

Она выпрямилась, взглянула на алеющую дорожку, расстеленную по озерной глади. В её начале огненной аркой круглилось наполовину взошедшее солнце. Тёмная глыба острова медленно меняла цвет под его лучами, превращаясь из серой в изумрудно-травяную. Первые петушинные возгласы взлетали над посёлком.

Задать в том разговоре свой главный вопрос Татьяна так и не решилась. Видела, что бабушке и без того трудно говорить о её родителях, не хотела расстраивать ещё больше. Тогда они попили чай и пошли «смотреть хозяйство». Ухоженный огород, где пахло навозом, и жирными комьями лежала земля — а на нескольких грядках уже зеленел укроп, топорщил светлые зубчатые листья салат, и молодой лук выставил стрелки из желтых луковиц. Дощатый курятник, рядом с которым бродили, высоко поднимая узловатые лапы, рыжие и белые курицы — а их предводитель, которого бабушка уважительно звала Петром Петровичем, сидел на перевёрнутом ведре, склонив на бок увенчанную лихим гребнем голову. Ещё один сарайчик, где в сухой перине из сена копошились два ушастых беленьких козлёнка. В большой бревенчатой бане, задом приросшей к дому, влажно пахло берёзовыми листьями, мятой и пихтой. У поленницы напротив неё стояла большая старая колода для рубки дров.

Посмотрели и сам дом: он оказался двухэтажным, на шесть комнат. Бабушка сказала: в одной из них — той, что была на первом этаже, и выходила окнами во двор, как раз на ту самую поленницу — когда-то жили Танины родители, сюда же и привезли Таню после её рождения. Узнав об этом, она попросила разрешения разместиться там вместе с Викой. Думала, может вспомнит хоть что-то о Пандоре. Но нет. Ничего такого не произошло.

«Спрошу, обязательно спрошу — только выберу время», — подумала Татьяна, поправляя Викино одеяльце. И достала телефон: надо позвонить в реанимацию.

Она справлялась о здоровье тёти Али каждый день. И каждый день получала почти одинаковые ответы: состояние стабильно, улучшений нет. Вот и сейчас, набрав номер, услышала то же самое. Привычно порадовалась хотя бы тому, что ухудшений нет — это давало хоть какую-то надежду.

Калитка за её спиной скрипнула, и Таня, обернувшись, увидела в проёме белую козью морду.

— Иди, Фроська, иди! — повинуясь голосу хозяйки, коза сделала несколько шагов вперёд. А за ней вышла тётя Лида — заспанная, в просторной ночной рубашке и наброшенной сверху ватной кацавейке. Удивленно глянув на Татьяну, она заметила люльку с Викой и понимающе шепнула:

— Что, Танюша, на воздухе-то спит? Ох, беспокойная девка! Но хорошая, хорошая, — умиленно заулыбалась она, глядя на девочку. Снова зашептала Татьяне, привязывая козу к шпакетнику: — Я щас, быстро — чайку тебе. Голодная, поди, всю ночь с дитём провозимшись?

— Спасибо, тёть Лид! — откликнулась Татьяна, благодарно глянув на женщину. Та, довольно кивнув, снова скрылась за калиткой. Коза тихонько мекнула и, склонившись к земле, с хрустом вырвала пучок травы. Подняв голову, задвигала челюстями, глядя на Таню желтым глазом со странным горизонтальным зрачком.

— Ну, вот и чаёк! — тётка вынесла две кружки, зажатый в кулаке пакет с пряниками болтался под её правой рукой. Поставила всё на скамейку, вынула из оттопыренного кармана кацавейки шуршащий пакет с разнокалиберными конфетами. Уселась, похлопала по скамье: — Садись, разговор есть.

Татьяна села рядом с ней, взяла кружку с золотисто-коричневым чаем.

— Я вот чего подумала. Давай Видульку устроим хорошо, — сказала тётка. — А то всё в люльке этой, смотреть жалко. В бане, на чердаке, твоя кроватка лежит. Игрушки всякие. Ты бы слазила, достала. Отмоем, значит, игрушки прокипятим, как положено. Наверняка в пылуке всё, сто лет туда не лазили.

— Давайте, тёть Лид! — охотно согласилась Татьяна. — Правда, я не знаю, долго ли мы у вас проживём. Как подругу выпишут, надо будет домой ехать.

— Но ты ж вернёшься? — забеспокоилась тётка.

— Конечно! Я и папу постараюсь привезти. Мне почему-то кажется, он тоже по вам скучает. А ещё... может, жених мой приедет, — смутилась Татьяна. — Вы не против?

Тётя Лида всплеснула руками:

— Танюшка, ты что! Пусть едет! Хоть насовсем оставайтесь!

Таня благодарно улыбнулась.

— А как на чердак залезть? Давайте я сделаю, пока Вика спит. Посидите с ней?

— Конечно! Я б слазила — высоты боюсь. А лестница сбоку. Да я покажу! Вместе пойдём, подашь мне сверху, что надо — а я, значит, приму.

Они допили чай. Распихав по карманам пакеты со сладостями, тётка схватила люльку и пошла вперед, показывая Тане дорогу. Остановились возле бани. Татьяна задрала голову, и увидела наверху, под самой крышей, дощатую дверь чердака. Подойдя к лестнице, подергала её руками: вроде держится крепко.

— Да выдержит! — махнула рукой тётя Лида, шепча, чтобы не разбудить Вику. — Женька из лиственницы делал. Та с годами только крепче становится.

Таня кивнула и полезла наверх, чувствуя, как подрагивают под ногами ступеньки. Взявшись за ручку двери, потянула её на себя. Из серого чердачного нутра пахнуло пылью и затхлостью. Неуверенные лучи молодого солнца, с трудом пробившиеся через прорезанное в крыше узкое окошко, путались в паутине. Татьяна неуклюже пролезла в дверной проём и встала, почти касаясь макушкой крыши. Огляделась, привыкая к полумраку.

Плетёные корзины, старая прялка, чумазая железная печка на тонких ногах. В углу куча хлама. Из-под потолка свисают старые берёзовые веники. Вдоль ската крыши — мешки, набитые чем-то непонятным. Татьяна принялась заглядывать в них: какие-то тряпки, керамзит, стеклянные банки. Наконец, в одном обнаружили игрушки. Татьяна подняла его и потащила к выходу. Поставила возле двери и огляделась в поисках кровати.

Её решетчатую стенку она увидела в той, дальней куче: детали из светлого дерева торчали из-под свернутого рулоном ковра, небрежно откинувшего треугольное зелёное ухо. Стащив его, Татьяна взялась за деревянную спинку кровати с колёсиками на ногах. Дёрнула на себя. Спинка поехала вниз вместе с кучей тряпья, обнажив угол длинного широкого ящика, на котором чернели крупные иностранные буквы, словно выжженные в дереве. Таня смахнула с него остатки тряпья...

И попятилась в ужасе, закрыв рукой рот.

Сердце тяжело бухнуло, крик застыл в груди, распирая её до боли. Слёзы вскипели в глазах горячей мутью. Но она видела, видела это.

Чёрные буквы. «Pandora».

Ящик лежал перед ней, как затаившаяся бомба. На его углах и фанерных стенках тускло блестели полоски жести, пробитые клёпками.

Татьяна выдохнула, пытаясь унять дрожь в руках. Мир вокруг начал обретать чёткость, и ужас, овладевший ею, стал чуть меньше. Она напряженно сглотнула, положила на пол спинку детской кровати. И шагнула к ящику. Постояла над ним, не решаясь дотронуться.

«Как будто на гроб смотрю! — разозлилась она на себя. — Это ящик, просто ящик! Может, мать сказала правду, и там действительно какая-то кукла?»

Собравшись с силами, она потянула крышку вверх — и, глянув внутрь, выронила её. Та с глухим стуком упала на пол. А внутри...

Ужас скользнул по телу, будто ее, присасываясь щупальцами, оплёл огромный, покрытый холодной слизью, осьминог. Татьяна попятилась, и, зацепившись ногой за спинку кровати, неуклюже упала на ягодицы. Поползла назад, отталкиваясь ногами — всё быстрее, быстрее. И завизжала, пронзая криком пыльную толщу застоялого чердачного воздуха.

В ящике, разрубленная на куски, тарача в потолок мёртвые пластиковые глаза, лежала её мать.

Уже потом, вернувшись в сознание, увидев над собой насмерть перепуганное лицо тёти Лиды, уже спустившись с чердака, добравшись до своей комнаты и попросив оставить её одну, она дала волю слезам. Там, в одиночестве, выкашливая в подушку перепуганные, скулящие рыдания, Таня смогла до дна погрузиться в вернувшиеся к ней воспоминания — в самые ужасные моменты детства, в которых самые близкие люди не видели ничего пугающего. Потому что дети воспринимают мир совсем не так, как взрослые.

...Иногда я видела, как мать стоит в комнате, неподвижно, как статуя. Иногда — что она выплывает из своей задумчивости и поворачивает ко мне своё лицо, холодное и бесчувственное, как слепок. А иногда двое матерей были вместе.

Одна сидела за швейной машинкой в кругу света от торшера. Вторая стояла рядом, устремив взгляд перед собой — те же волосы, тот же подъем скулы под тёмным глазом, те же тонкие руки и прямота спины. И обе были равнодушны ко мне, как автоматы. Та, что сидела за машинкой, механически двигала конечностями — её локти и колени шевелились, и стук машинки монотонным клацаньем вплетался в чёрную ткань ночи. А та, вторая, часто стояла голышом. Или на ней было платье, которое потом носила мать — я особенно четко помню одно такое, зеленое, с крупными белыми лилиями по подолу-колоколу.

Потом кто-то из них — я никогда не видела, кто — выключал свет и плотно зашторивал окно. Мама уходила — и мама оставалась. В ночной темноте она стояла над моей кроватью — безмолвно, каменно, будто с отлетевшей душой. Я звала — но мама не говорила со мной. И смотрела в стену, в точку, не видя ничего — и меня тоже.

Я думала, это какая-то игра. Игра в сон. В тишину. В холод.

Мне не хотелось играть, но я знала — стоит мне только пикнуть, придёт вторая она, и станет говорить громким злым шёпотом, и её руки будут колючими и нервными, а пальцы жесткими, тычущими в одеяло, и в меня через одеяло. Я тоже вставала и смотрела в стену. А потом слышала шевеление за спиной. И мне казалось — она медленно движется ко мне, скользит, не поднимая ног, всё ближе, неотвратно, давяще. Я вдруг осознавала, что мамы там нет — а есть кто-то другой, не из этого мира, будто что-то сырое, темное выползло из угла. Но, обернувшись, я видела мамин силуэт — её узкие плечи, тонкую шею и треугольник каре. И как она спит, широко раскрыв глаза. И совсем-совсем не дышит.

Я леглась с открытыми глазами и тоже старалась не дышать. Но ужас, росший в ночи, не давал мне выдержать это. Я начинала кричать — громко и долго, и кричала, пока та, другая мама не показывалась в дверном проёме, не зажигала свет и не склонялась ко мне, тянущей к ней руки:

— Что ты орёшь?!? — сердилась она. — Это просто кукла, кукла!

— Мама! — визжала я. — Мама, мама-мама-ма-мма-ммаа-мммммаааммммааааа.

А потом в комнату заглядывал отец, и они ругались злым шепотом, и мать недовольно шипела: «Жень, да не испугалась она, чего тут пугаться, манекена? Она давно привыкла, а мне он по работе нужен! Приснилось что-то, наверное». И отец уходил, а я успокоено замирала, вцепившись в халат матери. И засыпала у неё на руках, чувствуя человеческое тепло...

Татьяна села на кровати, прижав к животу мокрую подушку. Больше не было сил плакать, ни на что не было сил. Слезы вымыли из неё весь страх — а вместе с ним всё остальное. И она ощущала себя пустой, гулкой. Но перед глазами всё ещё стоял ящик с разрубленным на куски манекеном, так похожим на мать.

Звук за окном изменился — дождь шуршал по листьям. За дверью было тихо, будто дом виновато сжался и ждёт. Таня встала, чувствуя слабость во всём теле. И вышла в большую комнату.

Бабушка и тётя Лида сидели рядом, одинаково сложив руки на коленях — скорбные, виноватые, с тревогой на лицах. Увидев Таню, бабушка поднялась, потянулась к ней и спросила:

— Напугалась, Танюша? Забыли мы про этого идола...

Татьяна обняла её — без вины виноватую. Погладила по тощей спине, чувствуя под её халатом кулачки позвонков. Тётка подошла сбоку, положила руки на плечи Тани:

— Прости, — забормотала она. — Кто ж знал, что ты до сих пор помнишь!

— Всё нормально, — сказала Татьяна. — Я понимаю — вы не виноваты. И не помнила я, что это за Пандора, только имя в голове вертелось... И кошмары мучили. До сих пор.

Тётка с сочувствием покачала головой.

— Вы мне расскажите, почему она в куски?

— Так Женька и порубил, — ответила бабушка. — Во двор пойдём. Расскажем, что помним.

— Всё началось с парика, — сказала тётя Лида.

Они сидели на скамейке возле дома: здесь пахло цветами яблони, над которыми — низкой и протяжной виолончельной нотой — звенели пчёлы. К невысокому штакетнику, выкрашенному в зелёный, тётка привязала козу. Та отгоняла мух хвостом и с хрустом выщипывала траву.

Бабушка в выцветшем сарафане и белой хлопковой рубашке села слева от Тани, и теперь пристраивала на волосах белую же отглаженную косынку, снуя под подбородком тёмными узловатыми пальцами. Тётя Лида села справа, так, чтобы люлька со спящей Викторией оказалась как можно ближе.

Татьяна молчала, дожидаясь — не хотела торопить тётю Лиду. Чувствовалось, что разговор предстоит тяжёлый, потому что придётся вспомнить то, о чем очень долго пытались забыть. Как и ей теперь, наверное, нужно попытаться вычеркнуть из памяти то, что она увидела на чердаке: тусклый, будто застывший, свет, серые, неприятные до дрожи, клочья пыли, длинный ящик-гроб с чёрной надписью «Pandora» и тем, разрубленным, лежащим внутри...

— Так вот, всё началось с парика, — наконец, заговорила тётка. — Женька его вместе с этой Пандорой из Чехословакии привёз. Первый раз командировка за границу, все деньги ему собрали... А он, кроме сапог да косметики, и это чудище приволок. Увидел в витрине и купил ради хохмы — она ж похожа на Ленку, что сестра родная. Правда, лысая стояла, но лицо один в один, только поярче. А парик в комплекте. Ну, Ленка ругалась сначала: я, говорит, другое заказывала. Портновский манекен — это который без головы и рук. А он приволок, который для показов.

— А чего с мужика взять, он разве разбирается? — поджала губы бабушка.

— Да он и сапоги тогда привез белые, на шпильке — ну куда по нашей грязи? — махнула рукой тётя Лида. — А про Пандору там спросил, сгодится ли швее-то. Но чехи эти — ну не бельмеса же сказать не могут, все талдычат: Франция, Франция... Вроде как французская фирма эта Пандора. Только Ленка-то сразу сказала, что Пандорами кукол для модной одежды называли. Были они и маленькие — трусишки и лифчики показывать, и в человеческий рост — для платьев да корсетов. Когда модных журналов ещё не печатали, Пандоры эти к царицам да боярам возили, показывали. И при каждой — чемоданчик, а в нём одежда, обувь, парики, которые в моду входят. Даже драгоценности натуральные. Чтоб, значит, видно было, как на человеке сидит. Когда этих Пандор везли, а по дороге война случалась, французские и английские генералы пушкам отбой давали. Чтобы, значит,

модных кукол не переубивать. А потом, когда обычные манекены появились, журналы, да телевидение, и позабыли о них. Потом-то уж без надобности они стали, как журналы да телевидение появились. И эту Пандору фирма французская сделала, уже в наше время — обычный манекен, просто фирму так по старой памяти назвали. А настоящие Пандоры теперь только по музеям стоят. Ленка-то грамотная, историю моды учила в техникуме, потому и знала всё.

— Грамотная, да не туды, — попеняла бабушка, оглаживая на коленях сарафан. — Жизни не знает.

— Ой, да кто её знает, по молодости-то... — вздохнула тётя Лида. — А тут еще Женька с этим париком, вот дёрнул его нечистый! Кружит вокруг Ленки: померь, да померь! Подначивал, дурак: мол, на французенку похожа будешь. Они ж, мужики, привыкли к простым бабам — а на заграничных в журналах облизывались, да в кино. У каждого в тракторе или комбайне фотографии висели, у кого даже и манекенщицы в купальниках! Вот и наш туда же: французенку, мол, мне надо, померь парик. А как Ленка его надела, мы чуть в обморок не упали — так на ту Пандору заграничную похожа! Как с Ленкиного лица эту куклу делали, только Пандора-то поярче, конечно: глаза-губы раскрашены, бровь с изломом... И фигурой похожа: мать твоя тоненькая была, как манекенщица. Шея длинная, ноги. Ну, вот...

Она отпила воды из литровой эмалированной кружки, которую захватила из дома. Передала её Тане, та — бабушке. Но она помотала головой и чуть наклонилась вперёд, положив натруженные руки на край скамьи. А тётя Лида продолжила:

— Ну, утащила она эту Пандору на чердак. Пусть, говорит, лежит, пока из декрета не выйду — а там на фабрику снесу. Ты ж, Танюшка, грудная ещё была. Ну и Ленке шить некогда было, за ребенком-то глаз да глаз. Так и забыли про эту куклу чёртову.

Когда тебе полтора года исполнилась, Ленка на швейку вернулась. А там как раз соревнование: надо новые модели одежды, и кто лучше придумает, того завпроизводства назначат. Ну а Милка-то уже отшивает! Победить хотела. Ленке это, конечно, поперёк горла. Мало, что мужика у Милки увела — так и работу надо. Жадная потому что, и злая, прости Господи. Вот она и решила вечерами дома шить свои модели. А чтобы сподручнее, вытащила эту Пандору и в комнате поставила, где машинка. Вы-то в другой спали.

Ну и пошло: Женька — то на работе, то из командировки в командировку, а она шьёт. И всё строчит, строчит, да весёлая такая стала! С Пандорой этой разговаривает, будто в шутку: помоги, мол, подружка, давай всех за пояс заткнем. Ну и одёжки на неё примеряет, раз больше не на кого.

— А я где была? — спросила Таня.

— Так с нами. Ленка попросила, чтобы сидели с тобой, не давали под ногами путаться. Да мы и рады были, больно уж она строгая мать была. Не мать — кость сухая.

— И тебя грызла, как собака — кость, — поддакнула бабуля. Таня поёжилась: больно уж точным получилось сравнение.

— Потом Ленка соревнование выиграла, — рассказывала тётка. — И началось: нос задрала, слова сквозь зубы цедить стала... Оно, конечно, сидело в ней. Вот только важничать особой причины не было — а тут появилась. Людей, конечно, это отталкивало. И так не больно кто к ней тянулся... ну а с Милкой они ещё до свадьбы вконец переругались. И вот сидит она у себя в комнате, как сыч. Только ужинать выходит, да тебя купать-спать. А потом говорит: переезжать будем, в рабочую комнату. Мне, мол, так удобнее — шить буду, и за

Танькой смотреть. А нам с Женькой отдельная комната, чтобы ребенок чего лишнего не увидел. И стала ты засыпать в той самой комнате, где эта Пандора стояла. Ленка тебя самолично укладывала, никого не пускала, даже Женьку. Я потом только поняла, почему. А сначала и не догадывалась. Да никто из наших не догадывался.

Она помедлила, закусив губу — будто не знала, рассказывать ли дальше.

— Не тяни, тянуха, — заворчала бабушка. — Чего девку мучишь?

— Да я не мучаю, думаю, как сказать, — попыталась оправдаться тётя Лида.

— А так и говори, что мать с ума сошла, — буркнула бабушка.

Татьяна насторожилась. Что значит — с ума сошла? Неужели бабушка говорит серьёзно?

— Да, странное началось, — кивнула тётка, смущённо глядя на Таню. — Я однажды по коридору шла, слышу — Ленка в комнате разговаривает с кем-то. Душевно так. А потом засмеялась, будто кто пошутил. Я сперва мимо прошла, а потом думаю: так нет же там никого, ты с бабушкой, так неужели Ленка сама с собой?... Ну, я вернулась, постучала — мне, говорю, надо вещи из шкафа взять. В комнату зашла — а там и вправду нет никого. Ну разве что Пандора эта. Вот только не стоит, как обычно. А в кресле сидит — Ленка, значит, усадила. И кресло к столу придвинуто. А на нём, Танечка, чайник и две чашки. Две.

Вот тогда у меня впервые мороз по хребтине пробежал.

Я потом ещё её ловила. По коридору иду — прислушиваюсь специально. Бывало, и замру под дверь, прости Господи. Слушаю. Ленка вроде замолкнет, а потом, как подумает, что я прошла, снова болтать начинает. И всё рассказывает, рассказывает про свою жизнь: как в школе училась, что за собака у нее в детстве была, и какую ткань на фабрику завезли, и что с Женькой у них не ладится. Знаешь, поди, как одинокие люди с кошками разговаривают? Вот и она так с этой куклой чертовой. Потому что кошка живая, а Ленке живой души не надо было. Живые-то свое мнение имеют, и поперек сказать могут, и осудить, если придётся. А эта Пандора — мертвяк мертвяком, улыбается только. Но красивая.

— И ничего красивого, идолище и есть, — возразила бабуля.

— Ну, мам, это мы сейчас так. А тогда весь посёлок на эту Пандору глядеть бегал. Потому-то, я думаю, у Ленки крыша и поехала — не на неё смотрели. Да ещё и Женька заблядовал. Опять начал к Милке бегать. Как с командировки приедет, всё боком-боком — и туда. Нам говорит: к мужикам пойду, в домино играть, или помочь кому по хозяйству. А потом узнаём, что не было его там. Ну, а что его судить? Женился бы по любви, так и жил бы по-другому. Ленка сама виновата — отбила жениха, на чужое позарилась.

— Чужую судьбу порушила — за свою бойся, — закивала бабушка. — А мужика приплодом не удержать.

Она махнула рукой и замолчала. Белая коза, привязанная у забора, перестала щипать траву и улеглась на землю, вздымая надувшиеся бока.

Татьяна прерывисто вздохнула, пытаясь унять обиду, вдруг ожившую в душе. Вот поэтому отец всегда был с ней холоден. А его порки?... Беспощадные, жестокие. Потому что для отца она нежеланный ребенок. Причина, по которой он женился — и, может быть, именно этим сломал свою жизнь. «Но неужели он до сих пор винит в этом меня?» — думала Таня. Ей вспомнилась Наталья — по сути, она тоже винила в своих несчастьях Вику. И относилась к ней так же холодно, беспощадно...

Татьяна скривила губы. Обидно. Придётся пережить, перерасти эту обиду. Но для этого нужно дать себе время, а пока — повариться в том, что чувствуешь.

— Наш грех, что Женьку не приструнили, — сказала бабушка, мерно покачиваясь взад-вперед. И положила свою руку поверх Таниной: — Ты вот теперь замаливаешь.

— Да, наш грех, — согласилась тётя. — И то, что с Ленкой стало — тоже. Не любили мы её, не хотели в семью принимать. Ну и не больно-то разговаривали, по хозяйству только. А у неё ни подружек, ни матери с отцом. Только и есть, что ребенок несмышлёный, да муж блядюга. А она ведь, как узнала, что он к Милке бегаёт, совсем с глузду двинулась. Вернуть хотела Женьку, чтоб только при ней, значится. Только вот не от любви, а чтобы сопернице нос утереть. Ну, а баба чего делает, когда мужика завлечь собирается? Наряды себе всякие заводит, перманент да маникюр. Так и она. Уехала как-то в город, целый день её не было. А вернулась — мы и сели! Волосы остригла под каре, покрасилась, брови и губы намазала — ни дать, ни взять, эта самая Пандора. А она и довольна: у меня, говорит, лицо европейское, могу себе позволить. Потом вырядилась в модное, что по журналам нашла. И пошла, значится, к автобусу, Женьку с работы встречать. Мужики-то наши, совхозные, так и встали, как суслики. Всё же захорошела-то сильно Ленка, совсем другая стала, будто заграничная. А нашим-то лаптям это в диковинку. Женька — тот тоже обалдел. Но возгордился: каждому приятно, что его жена лучше всех.

Вот и началась у них опять любовь. Ну как любовь — в спальне зашевелилось. То она в твоей комнате спала, а он там. Но смотрю — она к нему по ночам бегать стала, а он — пускать. Ну, мы-то не против были: всё ж таки муж с женой, дело житейское. Кто ж знал, что она вместо себя с тобой эту Пандору оставляет? Оденет в свой халат, поставит у кровати и свет потушит, чтоб ты подмены не поняла. А иногда лампу оставляла, когда ты беспокоилась. Но только Пандору эту в кресло сажала, от тебя подальше. И днём тоже: шторы задвинет, усадит куклу напротив, а ты спишь, спокойная, что при матери.

— Женька чуял, что неладно, — сказала бабушка. — Ругались они из-за идолища.

— Да как ругались, мам! И не ругались вовсе — так, скажет ей, чтоб убрала. Что ему в доме двух одинаковых баб не надо. А Ленка то окрысится, то лаской — мол, красавицей-то я после неё стала, и на работе должность заняла. Только крыша-то у неё не переставала ехать. Бывало, поставит эту Пандору перед зеркалом, сама рядом встанет, и любуется, вот ей Богу, любуется. А смотреть-то страшно! Роста одного, комплекции. Волосы опять же. И лицом похожи. Только та как колода, мёртвая. И Ленка такое же лицо делает. Будто с чёртом играет.

— А потом что случилось? — сдавленно спросила Татьяна. — Почему... разрубленная она?

— Да потому что ты её испугалась, — воскликнула тётка. — Так, что еле откачали!

Она снова взяла эмалированную кружку с водой, шумно хлебнула. Вытерла рот, крякнула. И продолжила:

— А было как: Женька во дворе возился — то ли кусты обрезал, то ли картошку перебирал для посадки. А Ленка пошла тебя укладывать. Окно открыла, чтобы, значится, комната проветривалась. И вот поставила она эту Пандору рядом с кроватью. А ведь ты большенькая уже была, умела выбирать — только Ленка, видать, не поняла ещё, чем это может кончиться. Тебя уложила, а сама к Женьке во двор, мы там же были. Вдруг слышим — ты зовёшь: «Мама, мама!» Ленка к тебе сразу-то не пошла. Сначала, говорит, мужу помогу, ничего с ребенком не будет. А тут из комнаты грохот, и ты как заорёшь! Да так орёшь, будто

тебя живьём через мясорубку крутят! Мы в дом, а ты на полу дугой выгибаешься, глазки закатила — ох, страшно! И Пандора эта тут же валяется, а башка-то у неё отлетела! Видать, ты проснулась, из кровати вылезла, и к ней — думала, мама. Схватила её — а она и упала. Напугала тебя до смерти. Ты же поорала — и обмякла вся, будто не дышишь. Женька тебя схватил, затряс: дочка, говорит, миленькая, очнись! Ну, ты в себя пришла. А он схватил эту Пандору, и во двор. Положил на колоду, где мясо рубим — и давай её топором! А Ленка на него кидается, орёт: «Не дам! Убийца!» А он в ответ орёт: «Ты чокнутая, и Танька из-за тебя чокнется! Не дам!» И топором — бам! бам! — только руки-ноги отлетают.

— Значит, он из-за меня разрубил любимую мамину вещь... — осознала Татьяна. И тут же поправила себя: «Не вещь, Пандора же как человек для неё была. Может, сестру заменяла, подругу — как бы это дико не звучало».

— И надо было рубить, коль идолище в демоницу превратилось, — сказала бабушка. — Оно ж всю Ленку всосало.

— Да. Это не из-за тебя, Таня, — согласилась с ней тётя. — А потому, что, когда вы на полу валялись, Ленка первым делом к ней кинулась, а не к тебе — и вот тут-то Женька всё понял. Куда годится — чёртова кукла дороже дочери?

— А я видела, как он рубил... — тихо сказала Таня.

— Да, ты у меня на руках сидела. Мы ж в окно глядели, к ним не шли. Женька страшный всегда, когда буйный. Голову теряет. И эту — рубил, рубил, потом притащил ящик и в него всё поскидывал. Так Ленка всё выла: Пандора, да Пандора! А потом, видать, совсем сдвинулась: притащила из дома искусственные цветы, у нас в зале букет стоял. Бросила на ящик, будто на гроб. И Женьке говорит: «Всю жизнь тебя ненавижу буду, что ты безвинное существо убил!» Да только он разговаривать не стал, просто утащил ящик.

— На небо... — пробормотала Таня. — Я всё думала — почему на небо? А оказалось — на чердак. Так просто...

Всё оказалось просто. И дико. И очень грязно.

Никакой шизофрении. Просто манекен. Обычный манекен... но с такой позорной, жуткой историей. Вот почему об этом молчала мать — стыдилась своего помешательства.

«И вот откуда куклы в моих кошмарах, — поняла Татьяна. — И это слово: Пандора. И этот злой ветер. Ведь он через открытое окно доносил крик матери, швырял его мне в лицо... Вот откуда это страшное чувство, будто мир становится пластиковым. Ведь, дотронувшись до матери, я нащупала холодный манекен. И когда эта «мать» упала — с грохотом, словно огромная кукла... Когда её голова отлетела в сторону... Когда мать не зашевелилась, не встала... Немудрено, что я перепугалась насмерть. Ведь думала, что она погибла. Из-за меня».

Татьяна снова почувствовала, как на неё накатывают волны дрожи — нервной, истерической дрожи. Такая же охватила её на чердаке: словно то, что случилось более тридцати лет назад, произошло с ней сию секунду. Рука бабушки снова легла на её запястье — успокаивающе, с любовью.

— Бабуль, ну почему так? — спросила Таня. — Она ведь мама моя. Родная. А относилась ко мне, как мачеха.

— А вон оно, глянь, — бабушка кивнула в сторону дороги — туда, где зеленел островок широких, чуть волнистых по краям, листьев, среди которых виднелись редкие жёлтые цветочки. — Мать-и-мачеха, отцветает уже. Принеси-ка листочек.

Татьяна подошла к цветам, сорвала лист, случайно задев цветок. На тыльную сторону

ладони просыпалась ярко-желтая пыльца. Татьяна машинально стёрла её, подав бабушке лист. И снова села рядом с ней.

— Смотри, сверху гладкий, холодный, потому мачехой кличут, — сказала бабуля, поглаживая его узловатыми пальцами. — А снизу пушок. Мягкий, как материны руки.

— Да, я слышала, почему это растение так называют, — кивнула Таня.

— А видишь, вместе они. На одном листе-то, — бабушка повертела его в руках. — Так и в каждой женщине: и то, и другое есть. А уж какой стороной к дитю повернётся...

Татьяна смотрела на лист. Вот так. И никаких психоаналитиков не нужно — с детства перед глазами. Мать и мачеха — они есть в каждой. И ты сама можешь выбрать, какой быть. Даже если не любишь ребенка — можешь быть мягче, сумеешь укрыть от дождя и солнца, если только захочешь. Если не будешь думать только о себе.

Она погладила руку бабушки, легонько сжала, будто говоря: «Спасибо!» И подумала: «Я столько лет считала, что у меня проблемы с головой. А оказалось — это мать какое-то время была помешанной. Создала свою тень из Пандоры, и меня втянула в эту игру. Поневоле искалечила мне психику, и даже не поняла, что сделала. Да, самые страшные преступления — те, что взрослые свершают с ребенком, не замечая этого. И чаще всего они случаются во внешне благополучных семьях, на которые никогда не подумаешь».

Думать об этом было больно. Но сквозь эту боль, как вода сквозь растаявший лёд, проступила жалость. Таня представила себе мать: одинокую, почти отверженную — даже в своей семье. Страстно хотевшую удержать мужа. Мечтавшую о подруге. Искавшую того, кто выслушает и поддержит. Обычные, в общем-то, стремления. И если очень-очень постараться, её можно понять.

Татьяна подняла голову, всмотрелась в далёкую озёрную гладь. Остров, вздыбивший китовую спину над поверхностью воды, выглядел отколовшимся от матери-земли — будто нежеланный ребенок, которого она оттолкнула. Но ведь и он зеленеет, и он живой.

«А ведь мать пыталась сказать мне, — вспомнила Таня. — Пыталась. Но всё-таки не смогла пересилить свою гордыню и страх. Даже когда узнала, что из-за этих приступов я потеряла всё».

Вот только сейчас Татьяна уже не чувствовала себя нищей, безумной и нелюбимой. Огромное, с гору, чувство вины перед родителями, довлевшее над ней всю жизнь, вдруг исчезло. Она вдохнула — так глубоко, как не вдыхала, наверное, никогда в жизни. И выдохнула — будто выпускающая боль, сидевшую в ней столько лет. Чужую боль. Которую ей навязали.

А на забор, захлопав крыльями, взлетел Пётр Петрович. И запел — раскатисто и звонко, выпятив позолоченную грудку и развернув во всю ширь свой радужный, полыхающий солнечными бликами, хвост. Повернулся, глянул на Таню блестящим чёрносморозинным глазом. И горделиво замер — будто точно знал, что разогнал всю нечисть на тысячи километров вокруг.

Волегов проснулся от толчка в бок, приподнялся в постели. Моргая, глянул на часы: почти десять утра. Они заснули едва час назад — все разговаривали, вспоминали, как шла их жизнь: и счастливые, и горькие моменты, и то, как шли через трудности и радовались успехам, но всегда, что бы ни случилось, хранили свою любовь. И теперь, в этом новом испытании, остались верны ей. Только уже другие... Волегов посмотрел на жену — благодарно, и всё ещё виновато. Уловил краем сознания: тонкое пиликанье наполняет спальню. Из-за того, что не выспался, оно казалось особенно раздражающим.

— Телефон... — пробормотала Анюта, пряча лицо в сгибе локтя.

Сергей потянулся к трубке, перегнувшись через жену, мимоходом поцеловал её в висок. Увидев на дисплее смартфона номер своего юриста, нервно поёжился. Остатки сна слетели мигом — будто пепел, сдутый одним выдохом.

— Сергей, есть новости, — пробасил юрист. — Детектив выяснил, что эта Демидова, прежде чем исчезнуть, взяла машину в прокате. А в автомобиле стоит маячок на случай угона.

«Она или законченная дура, или не планировала прятаться», — с удивлением подумал Волегов. А юрист продолжил:

— Машина сейчас под Волгоградом, в посёлке Ляпуново. Как действовать: отправить туда людей, или ты сам поедешь?

— Сам, — твердо сказал Волегов. — Я не могу доверить это кому-то ещё.

— Понадобится помощь — звони, — попрощался юрист.

Анюта подняла голову с подушки. Глаза встревоженные — и ясные, будто не спала.

— Нашли? — с надеждой спросила она.

— Да, под Волгоградом. Я поеду, — он схватил со стула спортивные брюки.

— Я с тобой, — Анюта решительно спустила ноги с кровати, и сказала в ответ на его протестующий взгляд: — Это не обсуждается. Мы едем вместе.

Сергей покачал головой:

— Совёнок, ты на костылях. Мало ли, что случится! Ты ведь даже машину вести не сможешь. А нам от аэропорта до того посёлка — только на прокатной машине, такси я брать не хочу, мало ли, что. Нужен свой транспорт.

Она потупилась, сознавая, что он прав. И подняла на него взгляд, исполненный упрямства:

— Давай возьмём маму или отца, даже лучше отца — вдруг мужская сила понадобится, — она осеклась, вспомнив, как отец накануне проявил эту силу. И пояснила: — Ты ведь говорил, что эта тётка не в себе. К тому же, у неё могут быть сообщники. Но я поеду с тобой, Серёжа. Я без тебя тут просто с ума сойду.

Волегов уже понял, что она не сдастся. И только развёл руками, не тратя слов. Натянув футболку, быстро прошел в ванную, по дороге забив в поиск расписание авиарейсов. Скривился от досады — ближайший рейс до Волгограда был только через семь часов. Не раздумывая, он набрал номер своей приемной.

— Ниночка Васильевна, доброе утро, — сказал он. — Посмотрите, пожалуйста, у нас есть свободный пилот? Мне нужно в Волгоград, это очень срочно, семейные дела. Передайте руководству, что я компенсирую все расходы. Или частный самолёт мне найдите — не в

службу, а в дружбу.

— Я перезвоню, — коротко ответила секретарша. Умница его Нина Васильевна, всё понимает с полуслова.

Он осторожно умылся, стараясь не мочить пластырь на переносице. За ночь его лицо умудрённого опытом шалтая-болтая стало похоже на морду енота. Тёмные «очки» вокруг глаз, следствие кровоизлияния от перелома, придавали ему устрашающий вид. Да и сами глаза были красными — сосуды полопались от удара, плюс недосып... Гладко выбритый обычно череп был серо-синим по бокам от пробившихся волосков. Хоть бы в самолёт пустили, такого красивого! Сергей достал из шкафчика пузырёк с «Визином», запрокинув голову, капнул под веки, моргнул. И услышал, как Анюта говорит по телефону:

— Мама, мы, кажется, поняли, где Серёжина дочка. Сейчас поедem в аэропорт, там в Волгоград самолётом. Спроси у папы, он сможет с нами?... — она помолчала. — Ну, хорошо, поедem все вместе. А то Серёжка не хочет меня одну брать, костыли ему мои не нравятся. Ну всё, мы скоро заедem, — сказала она и крикнула мужу: — Они нас ждут! Тебе завтрак сделать? Хоть бутерброд, по-быстрому?

— Лучше кофе, — сказал Сергей, выключая свет в ванной. «Всё равно ждать, пока Нина Васильевна позвонит, — подумал он. — Хоть время убью этим кофе».

Анюта, уже одетая, в джинсах и красной толстовке, резво поскакала на кухню, опираясь на костыли.

— Милая, сбавь скорость, оштрафую! — встревожено ответил Сергей, нагоняя жену. И с опаской глянул на пол: не дай Бог, поскользнётся, как было вчера. «Резиной с рубчиком всё зашью, когда вернёмся», — мрачно подумал он.

— Я пока в ванную схожу, ладно? — не стала спорить Анюта, нажимая на кнопку черной кофе-машины. Та загрохотала, перемалывая зёрна. — Серёжка, налей мне тоже, без молока.

Она развернулась, но, посмотрев на мужа — тот сидел за столом, неотрывно глядя на зажатый в руках смартфон — зашагала в его сторону. Отстранив один костыль, неловко обняла Сергея левой рукой, ткнулась губами в его макушку:

— Мы её найдём, слышишь? — прошептала она. — И всё будет хорошо.

Нина Васильевна позвонила, когда Анюта уже вернулась из ванной и сидела за столом, торопливо глотая горячий кофе.

— Сергей Ольгердович, нашла! Частный рейс, стоит в аэропорту, — она назвала номер борта, а Волегов перечислил ей имена пассажиров. — Чистого неба вам!

— Спасибо, Ниночка Васильевна, без вас бы я в этом небе потерялся, — ответил Волегов.

...И только через час после разговора Нина Васильевна вспомнила, что не сказала Волегову о звонке некой Татьяны Демидовой. «Надо же, забыла! — сокрушенно думала она. — На пенсию пора, старухе...»

Секретарша нерешительно протянула руку к телефону, но потом решила не перезванивать. Человек в отпуске, чего его дёргать лишний раз? И сколько того отпуска осталось... А эта Демидова, наверное, звонила по его депутатским делам. Сказала же, «по поводу семьи Куницыных». Наверное, очередные нуждающиеся: материальную помощь хотят, или по ЖКХ вопрос решить. Ничего, подождут. Много их, таких — а Сергей Ольгердович один.

До Волгограда они долетели быстро, и прокат автомобилей нашли прямо в аэропорту. Сергей с Александром Ильичом — тот почти не разговаривал с зятем, и был мрачен с тех самых пор, как дал Волегову по морде — двинулись к стойке. За ними, порядочно отстав, шла Анюта и Элина, зорко следившая, чтобы об дочкины костыли не запнулся какой-нибудь зазевавшийся пассажир.

— Нам нужен автомобиль, желательно внедорожник, — сказал Сергей, опираясь на стойку проката. Девушка в синей форме глянула на него с опаской. И, поколебавшись, попросила документы. Долго сравнивала фотографию в паспорте и лицо Волегова. Сказала, раздраженно цокнув языком:

— Извините, я не могу дать вам машину.

— Да у меня просто нос сломан, поэтому и выгляжу, как бандит, — попытался отшутиться он. Но девушка смерила его холодным взглядом.

— Тогда на меня оформляйте! — вдруг подал голос Александр Ильич, и шлепнул по стойке паспортом. — Мне вот всегда говорят, что у меня вид порядочного человека.

«А камешек в мой огород», — понял Волегов, но отвечать не стал — в конце концов, тесть имеет право сердиться. Девушка посмотрела документы Совки, кивнула — и начала вносить паспортные данные в компьютер.

— Спасибо, Александр Ильич, — искренне поблагодарил Волегов.

Совка бросил в его сторону хмурый взгляд:

— Дочери моей спасибо скажи, что тебя простила, — пробурчал он. — Сам знаешь, убую за неё.

— О чем спорите? — спросила Анюта, подходя к стойке. Элина, встав рядом с ней, принялась что-то искать в сумочке.

— Мы не спорим, Совёнок. Радуемся. Машину нашли, так что скоро будем на месте.

Она с подозрением глянула на отца, но Александр Ильич стоял с невозмутимым видом. Дождавшись, пока он получит документы и ключи, семья двинулась на стоянку и уселась в большой тёмно-синий «Шевроле Тахо»: Александр Ильич за руль, Сергей рядом с ним, сзади — Элина с Анютой. До посёлка Ляпуново рассчитывали добраться за два с половиной часа. Найти нужный дом по карте, которую юрист Волегова скинул через интернет. А дальше... Сергей не знал, что он будет делать дальше. Ворвётся в этот дом, а там — по обстоятельствам. «Но эту Демидову я... — он невольно сжал кулаки. — Она ответит за кражу моего ребенка. Шкурой своей ответит. Прямо оттуда вызову полицию и сдам её с рук на руки. До конца жизни сядет. Или в психушку определю, если попробует выкрутиться».

...Юрий Залесский свернул на заправку — до Ляпуново оставалось около сотни километров, а лампочка на панели тревожно подмигивала. Стоя у открытого бензобака, над которым выгибался дугой чёрный шланг, он следил за цифрами на мониторе. И заметил краем глаза, как на площадку зарулил тёмно-синий «Шевроле Тахо» и встал в конец очереди. Задняя дверь открылась, и из неё осторожно выбралась молодая брюнетка — тоненькая, с прямой спиной и длинными волосами. Встала, будто не решаясь отойти от машины. Багажник взмыл вверх, зависнув над крышей «шевроле», как широкий птичий хвост. А потом чья-то рука хлопнула его, и к брюнетке подошла женщина постарше, несущая в руках пару деревянных костылей. Молодая повисла на них, и, медленно

переставляя ноги, поковыляла к туалету. Вторая женщина сопровождала её.

Залесский наполнил бак и сел в машину. Отъехав от заправки, набрал номер Татьяны.

— Милая, как дела? — улыбнулся он. В груди потеплело от предвкушения скорой встречи.

— Юрочка, всё отлично! — голос Татьяны звучал взволнованно, но это было радостное волнение. — Представляешь, мне сейчас звонили из больницы! Алевтина Витальевна из комы вышла! Правда, она не может сама дышать, всё еще на аппарате. Но врач сказал, что шансы поправиться очень большие. Хотя двигательная активность еще очень слабая, и левосторонний гемипарез из-за кровоизлияния в кортико-сосудистом пути...

— Э-э, подожди... — замотал головой Залесский. — Вообще не понимаю, о чем ты.

— Прости, — засмеялась Таня. — Это я на радостях, совсем забыла, что ты не медик. В общем, левая сторона тела у нее обездвижена, но врачи считают, что это обратимо. Мне сказали, что поддержат её в реанимации как минимум неделю. Пока задышит сама, пока то, да сё... А уже потом её в неврологию переведут, и можно будет навестить.

— А девочка как? — спросил Залесский, объезжая выбоину на дороге.

— Всё хорошо у нас. И Юра... Я ведь узнала, что такое Пандора. Но это долгая история. Приедешь — расскажу.

— Значит, нет у тебя шизофрении? — усмехнулся Залесский. — А ведь я так и думал, Танюш. Доктора этого, Новицкого, за такие вещи посадить надо. Кстати, я почему в Самаре задержался. Полиции помогал Василенко выловить. Закрыли его. Долго сидеть будет.

— Сам виноват, — сухо сказала Татьяна. И добавила уже мягче, с просительной ноткой: — Юрочка, а когда ты приедешь?

— А я уже, — улыбнулся Залесский. — Через час у тебя буду.

Она ахнула, воскликнула радостно:

— Очень, очень тебя жду! Мы с Викулькой во дворе, я клумбу у крыльца вскопать решила. Тёть Лида хочет цветочки высадить. Я калитку открою, а ты заходи без стука. Просто я могу не услышать, а мои к соседке на День рождения уши.

Залесский нажал отбой и положил обе руки на руль. Машину трясло, дорога стала ощутимо хуже. Юрий хотел сбросил скорость, но внезапно почувствовал: ведёт, вниз и куда-то вбок. Услышал глухой шлепок справа, будто большая лягушка прыгнула. И резко ударил по тормозам.

Вышел из машины, обошел её сзади и сбоку, остановился, озадаченно глядя на переднее правое колесо. Оно, просев, словно зарылось в асфальт, резина оплыла на нём толстым валиком — будто устала и прилегла отдохнуть. Почесав переносицу, Залесский направился к багажнику. Установил позади машины оранжевый треугольник аварийного знака, вытащил домкрат, запаску. И увидел, как мимо проезжает тот самый «Шевроле Тахо», а красивая брюнетка, почему-то неспособная обходиться без костылей, бросает ему через окно сочувствующий, понимающий взгляд.

...Татьяна вонзила лопату в землю, наступила ногой, нажала на черенок — и заросший травой ком плюхнулся в сторону, показав влажную черную изнанку с белыми нитями корней. Она присела, взяв его за зелёный чуб, потрянула несколько раз, с удовольствием наблюдая, как осыпается и ложится мягким пухом спелая, богатая земля. Бросила дернину в железное ведро, поднялась и ещё раз копнула, отступив на полшага назад.

На улице было тепло, и она расстегнула верхнюю пуговицу клетчатой рубашки. Джинсы, заправленные в резиновые сапоги, слегка запылились, но отряхивать их Таня не

стала — не хотелось снимать вымазанные землёй и травой матерчатые перчатки. Копнув еще раз, она только-только взялась за траву, как услышала со стороны калитки жалобное козье блеяние. Пришлось отвлечься, чтобы впустить Фроську. Коза вошла во двор, и снова заблеяла, глядя на Таню. Набухшее вымя болталось между задних ног, почти доставая до земли.

«Она же Викульку разбудит! — подумала Татьяна, бросая испуганный взгляд на спящую девочку — та сопела в люльке, поставленной на низенький столик напротив двери дома. — Нужно подоить Фроську, а то не успокоится. Да и Вике свежее молочко будет».

Тётя Лида научила её доить козу еще в первый день. «Чего ты химией ребенка кормишь, когда у нас животина молочная! — попеняла она. — Фроська с прививками, не бойся. Сами пьём». Это был отличный вариант — как врач, Таня хорошо знала о пользе козьего молока. И каждый день сама доила Фроську, а Вика на её молоке стала гораздо лучше спать.

Татьяна вошла в дом, остановилась у рукомойника. «Сейчас воды наберу, вымя обтереть», — думала она, поддевая ладонью длинный металлический язычок. Из-за журчания воды Таня не услышала, как за воротами остановилась машина, как кто-то осторожно открыл калитку и вошел во двор. И только случайно взглянув в окно, заметила большой тёмный джип.

Сердце радостно ёкнуло, и она, торопливо вытирая руки о рубашку, побежала к двери, думая, что приехал Залесский. Но, выйдя на крыльцо, увидела, что высокий мужик бандитского вида склонился над люлькой, и уже протянул руки к ребёнку.

— Не трожь! — грозно прикрикнула Татьяна, делая шаг к нему.

Он обернулся. Налитые кровью глаза, пластырь, сигналы с двух сторон, явно после перелома носа. Щетина, хищный оскал, злость в глазах. Но лицо показалось смутно знакомым.

— Я её забираю! — прорычал он. — А с тобой сейчас продолжим.

Он снова повернулся боком и потянул руки к люльке. Татьяна часто задышала, мысли понеслись испуганным галопом: «Дружок Натальи? Всё-таки нашли нас! Заберут Викульку!...» И тут же внутри вскипела ярость: «Ну уж нет, я не отдам!» Сама не понимая, что делает, она схватила лопату, и, подскочив к мужику сзади, изо всех сил ударила его по плохо выбритому черепу. И уже глядя, как он валится на колени, а потом падает ничком, с ужасом осознала: «Теперь точно посадят». И, схватив люльку с заплакавшей Викой, заметалась по двору: куда, куда бежать?...

Порскнула через огород, пробежала мимо бани, засуетилась у забора, отыскивая секретную штакетину — ту самую, которую можно было отогнуть и пролезть на соседский участок: её специально не забивали, потому что соседка тётя Катя любила так сокращать путь. Татьяна нашла её, отодвинула в сторону, и, пригнувшись, пролезла в щель вместе с люлькой. «Тише, тише», — приговаривала она, пытаясь успокоить Викульку. Боялась, что детский плач их выдаст.

Бежать с тёти Катиного участка было некуда — если только через соседские заборы перелазить, но для женщины с ребёнком на руках они были почти непреодолимым препятствием. Татьяна забилась за сарайчик, стоявший в дальнем углу огорода. Вынула Вику из люльки, прижала к себе, пытаясь хоть как-то приглушить её крик. Девочка вдруг успокоилась, тоже прижалась к ней, будто почувствовала что-то. А Таня, целуя её в лобик, быстро посмотрела по сторонам. И увидела на земле длинный брусок с торчащими из него заржавевшими гвоздями. Потянула его к себе. «Если нас найдут, буду отбиваться до

последнего, но Викульку не отдам», — решила она, стиснув зубы. Напряженно прислушалась. Только воробьи чирикают в кустах.

Она попыталась успокоить дыхание, обдумывая, что делать дальше. Позвонить бы Залесскому, но телефон остался в доме! Она едва не застонала, коря себя за безалаберность. Обрадовалась, что он приедет, потеряла бдительность! А ведь до этого даже в баню с телефоном ходила, боялась пропустить звонок — его или Волегова.

Что-то мелькнуло в памяти, какая-то важная мысль. Татьяна нахмурилась, боясь упустить её. Волегов. Высокий, лысый, спортивный... Карие глаза смотрят властно, такой делает, что считает нужным...

Татьяна замерла, осознав: это и был он — там, во дворе. Просто она не узнала его. Да и как узнать — видела всего один раз, он был выбрит, и выглядел прилично, не как избитый уголовник. Облегченный вздох вырвался из её груди, радость наполнила душу: «Всё обойдётся, всё кончилось!» Она повесила люльку на локоть, и крепче обхватила Вику — хотела вернуться к дому. Но вспомнила его рык, не предвещающий ничего хорошего. И лопату в своих руках. И тот, как он падал.

Озноб пробежал по спине, и она виновато сникла. Непонятно, почему он настроен против неё — может, Наталья устроила истерику, и теперь он готов убить няню, без спроса забравшую его дочь. «Но я всё объясню, он должен понять! — подумала она, торопливо шагая к забору. — Извинюсь за удар... В конце концов, я защищала его дочь».

Она отодвинула штакетину и пролезла на свой участок. Прошла через огород и, едва подойдя к дому, услышала женский крик. Прибавив ходу, почти выбежала за угол.

Волегов сидел на земле, потирая затылок, и растерянно смотрел куда-то вверх. Рядом с ним, касаясь рукой его плеча, стояла стройная брюнетка на костылях, за спиной которой виднелось бледное лицо другой женщины. А у стены дома, вытянув руку, стоял разъярённый Залесский. И в этой его руке тускло поблескивал пистолет.

Сидя на диване в гостиной дома Демидовых, Анюта нервно переплетала пальцы, думала. И, наконец, спросила:

— Таня, но как она могла? У меня в голове не укладывается!

— А у меня не укладывается, что её больше нет, — ответила Татьяна, машинально помешивая ложечкой чай. — Но сама по себе смерть Натальи мало меня волнует. Я больше переживаю за живых.

Теперь, когда они во всём разобрались, и Татьяна пригласила всех в горницу, нашлось время для спокойных разговоров. Мужчины сидели за накрытым столом возле русской печи, Залесский и Волегов с перемазанным зелёной затылком рассматривали разобранный пистолет, и обсуждали что-то. Александр Ильич невозмутимо поглощал пряники, запивая их чаем, и лишь иногда вставлял реплики в разговор Сергея и Юры. А маленькая Вика лежала на диване между Элиной и Анютой, привыкая к новой семье.

— Но вот тётю Алё жалко, — вздохнула Татьяна. — Представляешь, она только что инсульт перенесла, из комы вышла. И в таком состоянии узнать, что у тебя погибла дочь...

— Не говорите ей, — посоветовала Элина Совка, сидевшая рядом с Анютой. — Успеете ещё сказать.

— А тело? Ведь нужно как-то вытребовать его, похоронами заняться.

— Мы с Серёжей найдем ритуальное агентство, они всё сделают, — пообещала Анюта. И спросила, понизив голос: — А какая она была? Я просто никогда не встречала женщин, которые бы так наплевательски относились к своим детям. Вообще, если честно, поняла за последние сутки, что толком жизни не знаю. Многого не видела. И вот не пойму теперь — повезло мне, или наоборот.

— Думаю, повезло, — с улыбкой ответила Татьяна. И тут же посерьезнела: — А Наталья... Понимаешь, я всегда думала, что она странная. Неприятная какая-то, и странная. Бросает ребенка, скрывает Викиного отца даже от собственной матери...

— И она вот так вот прямо сказала, что Вика ей в тягость, но она отдаст её чужим людям, лишь бы она Серёжке не досталась? — недоверчиво округлила глаза Анюта.

— Она пьяная была, — махнула рукой Татьяна. — Молола, что в голову придёт. Я думала, поговорю с ней, попытаюсь образумить. Но когда узнала, что она ради больной матери не хочет с отдыха вернуться, тогда и поставила на ней крест. Поняла, что объяснить ничего не получится. Слишком разные у нас ценности. Поэтому я Вику и забрала. И попыталась дозвониться Сергею

— Ох, бедная Нина Васильевна! — всплеснула руками Элина. — Ну и кричал он на неё! Козу твою напугал, она, бедная, аж в угол забилась.

Татьяна вспомнила этот момент — когда сидевший на земле Волегов зло бросал ей обвинения: «Ты украла Вику! Ты воровка, больная, и это уже не первый ребенок!» Как Залесский рявкал на него, требуя выбирать выражения. И как, в двух словах рассказав историю Павлика, Таня сказала: «Да позвоните своей секретарше! Я пыталась вас найти через неё, оставляла свой номер. Стала бы я так делать, если бы хотела сбежать с ребенком?» И ведь он позвонил, и она видела, какими растерянными сначала стали его глаза, и какими бешеными потом. Да, орал он от души. Пока не расплакалась, испугавшись, Вика, а Таня не цыкнула на него так, что он сразу умолк и виновато опустил смартфон.

— Кстати, козу подоить нужно! — вспомнила она. — Молоко прокипятим, и Викульку покормим, пора уже.

— А можно я с тобой? — смущенно попросила Анята. — Никогда не видела, как доят коз.

— Пойдём, — улыбнулась Таня. Ей нравилась эта женщина, с которой они так легко перешли на ты. И которая там, во дворе, первая поняла, что Татьяна ни в чем не виновата. А потом ещё и прикрикнула на своего мужа: «Цени, что она твою дочку спасла! И правильно тебе лопатой досталось, я бы на её месте так же сделала!»

Совки ей тоже понравились, да и Волегов — она не ошиблась, посчитав, что в конце концов он поймет всё правильно. И какое же счастье, что они с Анятой решили удочерить Викульку! Жалко, конечно, будет с ней расставаться. Но у неё, Тани, своя судьба. И, может быть, ещё будут дети.

Когда они встали, Татьяна поймала на себе взгляд Залесского.

— Ты куда, милая? — спросил он, подняв бровь. — За очередным ребенком?

— А что, Таня прекрасно смотрится с младенцем на руках, — улыбнулся Александр Ильич, глядя на неё с уважением.

— Мы скоро, — пообещала Анята. И повернулась к Элине: — мам, посидишь с Викулькой?

— Ну вот, начинается, — притворно охнула Совка. — Не успели ребенка заиметь, уже на бабушку спихиваете? Да, иди, конечно. Посижу с удовольствием. Отчего с такой красавицей не поводитьсь?

Она наклонилась к внучке, вложила пальцы в её ладошки — и Вика ухватилась, сжала крепко, а Элина потянула её к себе. Девчушка засмеялась — ей всегда нравилась эта игра. И Татьяна пошла во двор со спокойной душой, по пути захватив ведёрки, чистую тряпочку и бутылку с водой.

Фроська ждала у двери. Татьяна вытащила из сеней низенькую скамеечку и уселась прямо во дворе. Коза покорно встала рядом. Глядя, как Татьяна обмывает ей вымя и вытирает его тряпицей — мягкими, нежными движениями — Анята сказала, помявшись:

— Тань, можно спросить? Тебя ведь чуть не посадили из-за того мальчика... Как же ты не побоялась забрать Вику? Ведь в этот раз тебя могли обвинить в похищении, и действительно посадить. Наталья могла бы вернуться, обнаружить, что Вика пропала — и пойти в полицию.

— А... — отмахнулась Татьяна. И, не подобрав слов, процитировала: — Делай что должно — и будь, что будет.

Она подставила под Фроськино вымя другое ведёрко, и сжала её соски. Первые струйки молока, как горох, ударили в пластмассовое дно. И зажурчали, взбивая на быстро прибывающем молоке облачко пены. Анята заморожено смотрела.

Дверь дома открылась, и на крыльцо вышли Залесский и Волегов. Юрий взглянул на Таню и, улыбнувшись, поднял бровь:

— Знаешь, я не перестаю тебе удивляться.

Волегов лукаво хмыкнул и хлопнул его по плечу:

— Тогда ты пропал, дружище. Если ты постоянно открываешь в своей женщине что-то новое, у вас будет очень долгий и крепкий брак.

— А мне другого и не надо, — Залесский посмотрел на Таню долгим взглядом. Она зарделась, и опустила глаза, сосредоточенно массируя Фроськино вымя. Снова принялась

дойти. «Тётя Лида говорила, нужно выщедить всё, до последней капли, — твердила она про себя, пытаясь отвлечься. — Иначе молоко может пропасть. А половину того, что надоено, отнести козлятам». Но, подняв глаза, снова встретила взглядом с Залесским. И в этом взгляде было так много всего — затаённая нежность, гордость, одобрение... и любовь. Несомненно — любовь.

— Предлагаю решить вопрос, не терпящий отлагательств, — заявил Волегов. — Давайте все в дом, поговорим, как лучше всё устроить с Викой.

— Я сейчас, — Татьяна взяла ведёрко с молоком и пошла в козлятник. Отлила половину ушастикам, которые сразу начали нетерпеливо совать мордочки в чашку. И вернулась в дом. Села рядом с Анютой, на руках которой лежала Викулька.

— У меня предложение, — сказал Сергей. — Тань, ты уже какое-то время с Викторией, а нас она не знает. Боюсь, если мы её сейчас заберём, девочке будет трудно. Стресс и всё такое... В общем, я предлагаю — точнее, прошу — поехать к нам всем вместе. Викулька привыкнет к Анюте, к новым бабушке и дедушке, ну и ко мне заново. А потом вы с Юрой вернётесь домой.

— Таня, Юра, соглашайтесь! — взмолилась Анюта. — Это действительно будет самый лучший вариант!

Татьяна замаялась.

— А как же Алевтина Витальевна? — спросила она. — У неё ведь никого не осталось. А ей сейчас уход будет нужен, внимание. Я хотела вернуться в Новороссийск, когда её переведут из реанимации...

— Мы заберём её в Москву, — быстро сказала Анюта. — Правда, Серёжа? Устроим её в хорошую больницу. Может, там она быстрее выздоровеет. А ты сможешь её навещать.

Татьяна нерешительно посмотрела на Залесского.

— Это хороший вариант, — сказал он в ответ на её немой вопрос. — Думаю, стоит согласиться. А когда Вика попривыкнет, мы с тобой вернемся домой, нас Петровна уже ждалась. От нашего города до Москвы три часа езды, ты сможешь навещать Алевтину Витальевну. По крайней мере, это удобнее, чем летать в Новороссийск.

Таня задумалась. Конечно, и в этот раз Юра был прав. Но что потом?

— А когда она выздоровеет? Она же Викульку очень любит, родная внучка, всё-таки. И кроме неё у тёти Али никого не осталось.

— Решим мы и этот вопрос, не волнуйся, — успокоил её Залесский. — Ребята же не против, чтобы она с Викторией общалась. Да?

— Нет, конечно, — ответила Анюта. И Волегов тоже кивнул, вполне уверенно — к матери Натальи у него не было никаких претензий.

— Юра, а для тебя не будет проблемой пожить с нами в Москве? — робко спросила Татьяна. — Ты из-за меня и так, наверное, работу забросил.

— Буду ездить туда, когда потребуется, — пожал плечами Залесский. — Не волнуйся, я всё решу. В конце концов...

Скрип открывающейся двери прервал его. В дом, тяжело переваливаясь, вошла тётя Лида, за ней семенила бабушка.

— Ой, да у нас гости! — воскликнула тётка, обмахивая платком покрасневшее лицо. И Татьяна поняла, что она немного навеселе.

— Бабуль, тёть Лид, знакомьтесь, это друзья мои, — сказала Таня, представляя каждого по имени. — А это мой Юра.

— Хороший! — от души похвалила тётка, пристально глянув на Залесского. Тот на мгновение смутился, но затем подошел и поцеловал ей руку.

— Танюшку береги! — строго сказала ему бабушка, сверкнув синими глазами. Маленькая старушка выглядела такой грозной, что все украдкой заулыбались. Но Залесский склонился и к её руке, а потом серьезно сказал:

— Обещаю вам.

И разом стало понятно, что он не шутит.

— Ох, а мы-то — как хорошо сходили! — довольно сказала тётка. — Бабушка твоя в гостях и вздремнуть успела. А чего стесняться. Свои же. А вы чего? Чаю-то попили?

— Да, спасибо! — откликнулась Элина. — Очень вкусное у вас варенье!

— Это вы какое, крыжовенное ели? Так я в него орехи добавляю, — начала рассказывать тётя. А Таня шепнула Анюте: «Пойду молоко прокипячу, нужно Викульку перед дорогой накормить».

Включив маленькую электрическую плитку, которая стояла в закутке за печкой, Таня перелила молоко в кастрюльку и задумалась, помешивая его. Вроде бы, всё устроилось. И скоро придётся уехать. Только жалко, что так мало погостила у бабули с тётей Лидой. Они ведь ждали её больше тридцати лет — а она меньше недели у них побыла.

И Татьяна вдруг поняла, что ей ещё нужно сделать.

Молоко зашипело, тоненькие цепочки пузырьков появились у краёв кастрюльки. Когда белая пена начала подниматься вверх, Татьяна ловко сняла посудину с плиты и перелила молоко в бутылочку. Поставила её в ковшик с холодной водой — так быстрее остынет. А сама взяла телефон и вышла во двор. Обогнула дом — хотелось найти уголок, где её бы никто не потревожил. И набрала знакомый номер.

Отец сразу снял трубку, будто ждал звонка.

— Папа, привет! — тепло сказала она. — А я у бабушки сейчас, в Ляпуново. Они с тётей Лидой тебе привет передают. И очень ждут тебя в гости.

Отец помолчал. Крякнул, прочищая горло.

— И им привет передай, — смущенно сказал он. — А ты как там оказалась?

— Это долгая история, папа. Но я теперь знаю про Пандору. Пап, ты правильно её тогда... уничтожил. Я ведь действительно очень боялась её в детстве.

— Надо было сразу её... — буркнул отец. Но в этом бурчании чувствовалась затаённая вина.

— Да ладно, пап. Всё в прошлом.

— А я говорил матери, чтоб рассказала, — через силу проговорил он. — Но Лена и сама не решилась, и мне не дала. И, Тань... Ты меня прости, что мало тобой занимался. За то, что лупил, прости. Не понимал, что делаю. Но мать как насядет — воспитывай, да воспитывай... Сама ведь знаешь!

Таня почти увидела, как он махнул рукой.

— А тут мать к Янке ходила, домой вернулась — белая вся, трясётся, — продолжил отец. — И рассказала мне, что ты уволилась. Что, оказывается, так сильно переживала из-за того, что было в детстве. Что из-за диагноза тебя к работе не допускали. Но я того психиатра нашел, поговорили с ним. Только не понимает он по-человечески.

— Ой, пап, плевать на него, — презрительно фыркнула Татьяна.

— Ну, плевать — не плевать, а он своё получит, — жестко сказал отец. — Я уже жалобу на него написал, пусть теперь повертится, как уж на сковородке. И ты напиши, как

вернёшься. Нельзя таким в медицине работать.

— Хорошо, я напишу, — посерьезнела Таня. — А ты пообещай, что в ближайшее время к бабуле съездишь. Старенькая она у нас уже.

— А вот завтра и поеду, — решительно сказал отец. — Возьму неделю в счет отпуска. А на пенсии, может, и навсегда туда переберусь. Ты уж прости, но с матерью твоей жить невозможно стало.

Татьяна помолчала — такое было больно слышать, она не представляла родителей порознь.

Но, с другой стороны, у отца есть право решать. Особенно учитывая их историю. Ведь если в жизни всё складывается так, что выхода нет — надо искать вход. В новую жизнь. Отнестись по-новому к тому, что было, поступать по-новому, по-новому строить свою судьбу — твердо зная, что жизнь не закончена. Но на это нужны силы.

— Пап, ты держись, — только и сказала она, прежде чем нажать кнопку отбоя.

И пошла назад: нужно собираться в дорогу.

В аэропорту, когда уже были куплены билеты, и рейс должен был улететь через три часа, Татьяна заметила, что Залесский куда-то исчез. Стараясь не выдать волнения, она вертела головой, даже встала — будто бы размяться. Прошла по залу ожидания. И вернулась на свое место, так и не найдя Юру. «Куда ушел? Может, что-то случилось?» — думала она, вымученно улыбаясь Анюте, рассказывавшей что-то про свой балет. И вздрогнула, когда рука Залесского легла на её плечо.

— Можно украсть у вас даму? — спросил он.

— Только верни, я ей ещё не дорассказала! — лукаво улыбнулась Анюта. А Таня, поднявшись, пошла за ним, встревожено гадая, что же всё-таки случилось.

Они остановились у высокого окна, за которым лежало лётное поле. Солнце садилось, и замершие внизу самолёты отбрасывали длинные хвостатые тени. Кроны деревьев, стоявших за заграждением, тонули в розоватой предзакатной дымке.

Она подняла глаза на Залесского, а он смотрел на неё сверху, и в янтарных глазах читалась уверенность.

— Я думал, как-нибудь потом это скажу, но всё так необычно сложилось... В общем, Танюша, — он протянул к ней руку, разжал ладонь. Бордовая коробочка. В таких обычно продают серьги, кольца...

Татьяна поняла. И задохнулась от радости. А он открыл коробочку — в ней, покоясь на бархатном ложе, блестело кольцо. Платиновое, как её серьги. И с бриллиантами — такими же, как поблескивали в её ушах.

— Я подумал, что оно подойдёт тебе для комплекта, — серьёзно сказал он. — А к свадьбе купим другое. Я очень тебя люблю, и, если ты согласна, хочу на тебе жениться. Обещаю, что всегда буду заботиться о тебе, защищать и оберегать, как лучшее, что есть в моей жизни. Позволь мне делать это. Ты не пожалеешь.

На глазах Татьяны блеснули слёзы.

— Знаю, что не пожалею, — тихо сказала она.

И протянула руку с оттопыренным безымянным пальцем:

— Я хочу, чтобы ты сам мне его надел.

Он взял кольцо и осторожно, будто боясь причинить ей боль, надел его ей на палец. Склонился, поцеловал её руку. И, выпрямившись, благодарно сказал:

— Спасибо, что согласилась. Я очень на это надеялся.

— А я ведь думала о нас... так... Что мы семья, что у нас дом и дети... — призналась она. — Потому что тоже люблю тебя.

Она потупилась, погладила кольцо. И сказала:

— Только, Юра, ты ж помнишь — мне ещё нужно диагноз снять. Но я теперь точно знаю, что это формальность.

— А я всегда знал, — он пожал плечами. — Поверь, ты нормальнее многих. В тебе есть искренность, доброта, душевная щедрость, и ты умеешь любить. А еще ты упрямая, иногда забываешь смотреть вокруг, цепляясь за свои идеалы — но даже ошибаешься ты искренне, и не оправдываешься потом, а признаешь.

Он задумался, глядя за окно. В один из самолётов садились пассажиры, все они летели в одном направлении — но у каждого был свой путь.

— Может быть, в силу профессии я редко встречаю таких людей, — продолжил Залесский, — но ты меня удивила в первый же день — и не перестаешь удивлять до сих пор. Я открываю в тебе что-то, вижу и плюсы, и минусы — но не разочаровываюсь. Просто примеряю, как буду с этим жить, и понимаю: хорошо. Конечно, притираться нам придется, мы оба зрелые личности. Но, знаешь, я верю в любовь, ее сила — как океан, любой камень обтешет, все неровности сгладит. А ты? Как думаешь, мы справимся?

— После того, что было? — рассмеялась она. — По-моему, это будет самое простое из того, что мы пережили! И самое желанное... Но моё упрямство, поступки, идеи, которые могут показаться сумасшедшими — ты не устанешь от них?

В янтарных глазах Залесского блеснула лукавая усмешка:

— Я люблю животных, вон скольких взял — и собак, и кошек... Так что и твоих тараканов готов принять. Только объясни, как за ними ухаживать.

Она шутливо толкнула его в плечо, и вдруг почему-то вспомнила о Максе. Он бы никогда так не сказал. Он никогда не хотел принимать её такой, как есть — а, значит, и не любил. Но оставил после себя важное: теперь ей есть, с чем сравнивать. И Залесский глобально выигрывает в этом сравнении.

Татьяна снова улыбнулась, и прижалась к нему, легко вздохнув.

— Значит, ты не бросишь меня, что бы ни случилось? — спросила она, чувствуя, как нежно и бережно ложатся ей на плечи его руки.

— Ради чего? — засмеялся он. Но тут же посерьёзnel: — Чтобы остаться один на один со своей любовью, жить в пустом доме, и вместо детей держать на коленях Тимошу и Мусю?

Он отстранил Таню, внимательно посмотрел ей в глаза. И добавил — очень серьёзно, уверенно:

— Думай о нашем будущем. Думай, чего ты хочешь. А я сделаю всё, чтобы это сбылось.

Пять лет спустя

Две машины — темно-красный «рено», кряхтящий и чихающий, будто от простуды, и золотистый «ниссан», маленький и юркий, как ящерка — встретились на подъезде к большому двухэтажному коттеджу, сложенному из белого кирпича. И одновременно повернули к его воротам. Те — массивные, кованые, висящие на белых кирпичных столбах, один из которых служил опорой для калитки — были заперты. Но за ними шумела и торопилась жизнь: басовито лаяли собаки, слышались детские голоса, белые клубы дыма поднимались из трубы небольшого кирпичного строения, стоящего неподалёку от дома. А над забором из бордового профнастила, посеребрённые ярким июльским солнцем, топорщили ветви вишнёвые деревья, сплошь усыпанные крупными багровыми ягодами. Пахло дымком, цветами и свежескошенной травой.

— Мы первые, первые! — открыв заднюю дверь «ниссана», завопили мальчишка и девчонка, погодки лет восьми-девяти. Толкаясь, выбрались из машины и заплясали-запрыгали перед «рено», высоко задирая загорелые ноги в джинсовых шортах, выбивая озорную дробь подошвами сандалет. Водитель «рено» — смуглый полнотелый мужчина, похожий на Лосяша из «Смешариков» — что-то достал из-под козырька над водительским сиденьем, сделал им большие глаза, и поднял руки в шутливом жесте «сдаюсь». Симпатичная женщина, нетерпеливо ерзавшая на соседнем сидении, рассмеялась, потрянув рыжими волосами. За её спиной сидел светленький мальчик лет пятнадцати, а по бокам от него моложавая дама с пшеничными волосами, уложенными в «бабетту», и мужчина чуть старше неё, смуглый, с армейской выправкой и деревянной тростью в руках. Рыжая что-то сказала им, и приехавшие начали выгружаться из машины, вытаскивая пакеты и сумки с подарочными коробками.

— Костик, Дашка, ведите себя прилично! — выйдя из-за руля «ниссана», крикнула высокая женщина, сверкнув из-под иссиня-черной кукольной чёлки точно такими же глазами-маслинами, как у скакавших на площадке детей. Лёгкий цветастый сарафан открывал её плечи и ноги, покрытые южным загаром. Схватившись за голову, она умоляюще сказала Лосяшу и его спутнице: — Купченко, дорогие мои, надерите им уши, а то я не достаю! Здравьете, Инесса Львовна, Иван Сергеич! Павлик, привет, ты опять вырос!

— Яночка, а если бы ты вышла замуж за меня, наши дети были бы толстыми и неповоротливыми, как я, — заявил Купченко, выкатившись из машины и одергивая рубашку-поло, складками собравшуюся на его солидном пузике. — И не скакали бы, будто две лягушки.

— Лягушка, лягушка! — захохотал Костик, тыча пальцем в сестру.

— Сам лягушка! — завопила она, шутливо толкая брата в плечо. — Абаж!

— Тихо! — гаркнула Яна, выволакивая с заднего сиденья громадный пакет, сквозь полупрозрачные стенки которого виднелась коробка с кухонным комбайном. — А то скажу тёте Тане, что вы мечтаете прополоть две грядки с морковкой! Вы же знаете, она ни в чем не может вам отказать.

— Тётя Яна, не надо, мы будем играть в «монополию», я привез из дома, — показывая плоскую коробку, сказал Павлик, поправляя белую рубашку, заправленную в парусиновые

брюки. Дашка и Костик бросились к нему, завертелись рядом.

— Ох, Павлик, какой ты молодец! — с облегчением сказала Яна, и повернулась к рыжеволосой женщине. Окинула профессиональным взглядом её животик, выпирающий из-под лёгких складок ярко-синего платья, и спросила с улыбкой: — Как наша девочка? Шевелится уже?

— Прыгает, бегает и танцует — по крайней мере, у меня именно такое ощущение, — улыбнувшись в ответ, призналась Тamarочка, поглаживая живот. — Вся в меня, такой же живчик. Может, хоть умом пойдет в Витьку? Кстати, можешь его поздравить, защитился.

— Да, я теперь кандидат медицинских наук! — подхватил Купченко. — Спасибо Ивану Сергеевичу, помог.

Пожилой мужчина с тростью пожал плечами:

— Вам, Виктор, сам Бог велел педиатрией заниматься. Я уж так, чтобы скучно не было.

— Не скромничай, Ваня, — сказала Инесса Львовна, придирчиво оглядывая его светлый костюм. Стряхнув с лацкана что-то, незаметное чужому взгляду, она огладила на себе льняное платье канареечного цвета, с белой отделкой на рукавах. Поправила на шее янтарный кулон, и обратилась к присутствующим: — Ну что, все готовы?

— Да! — хором крикнули дети, первыми понеслись к калитке, и, распахнув её, влетели внутрь. Остальные вошли следом.

Во дворе, под крышей белой кованой беседки, уже топорщил белоснежные оборки скатерти длинный стол, уставленный тарелками и блюдами. Рядом, в длинном кованом мангале, высоко полыхали дрова. Вокруг раскинулся зелёный газон — аккуратно подстриженный, с пёстрыми куртинами петуний и цветущими кустами гортензии, клонящей к земле белоснежные шапки. Чуть поодаль стоял большой надувной бассейн, а рядом с ним — игровая площадка: яркий квадрат песочницы, высокая горка, стилизованная под ушастую голову слонёнка, столб с баскетбольной корзиной, и сложное переплетение турников и лесенок. Двор был непривычно пустым, лишь у тропинки, выложенной желтым плитняком, лежал позабытый мяч. Никого не было и на дорожке, ведущей к дому — только за открытой дверью слышалось треньканье пианино. А на пороге сидел одноглазый кот — коричневый и здоровый, как бобёр.

— Хозяева-а! — крикнула Яна, и пошла на звук голосов, доносящихся со стороны сада — судя по всему, именно туда уже удрали её дети и Павлик Купченко. Остальные гости двинулись за ней. А из-за угла дома, явно встречая их, вышла девочка лет четырнадцати — высокая, тонконогая, в синих туфельках и нарядном бирюзовом платье, подпоясанном белым ремешком. Её русые волосы, уложенные в затейливую причёску, короной поднимались над высоким лбом, голубые глаза смотрели приветливо и немного смущенно.

— Катюша, здравствуй! — сказала Яна. — А где родители?

— Здравствуйте, проходите, пожалуйста, — чинно сказала девочка. — Мама в дом пошла, Василька переодеть. И Юля с Серёжей там, к ним учительница музыки приехала, но они уже заканчивают заниматься. Папа с Игорьком и Мишкой в бане, учит их дрова подбрасывать. А мы с девочками решили Алле Петровне помочь.

— Ну вот, говорила я, что мы рано приехали, — покачала головой Инесса Львовна.

— И ничего не рано! — воскликнула девочка. — Мы все вас очень ждали, с утра готовились!

— Ой, Инесса Львовна, ну мы же здесь, как дома, — махнула рукой Яна. И сказала девочке: — А где Петровна-то, на огороде?

— Ага. Поливает.

Миновав роскошные кусты бордовых и желтых шток-роз, они вошли в калитку белого дощатого заборчика, отделявшего двор от огорода. Тот был большим и роскошным: обильно зеленели высокие грядки с зеленью, кабачки и тыквы раскинули лопушистые листья, на кустах смородины краснели гроздья ягод. А две огромные теплицы, стоящие рядом, были окружены картофельными зарослями. По периметру огорода росли деревья: груши, яблони, сливы, из зелёной листвы выглядывали крепкие плоды: желтые, сизые, красные. Алла Петровна стояла над свекольной грядкой с синим шлангом в руках, и водила искрящейся водяной метлой по мощной, зелёной с рубиновыми прожилками, листве. Серый пёс, похожий на кавказца, лежал у её ног, вывалив розовый язык. Другой — остромордый, рыжеватой масти — сидел возле летней детской коляски, в которой мирно спала, посасывая пустышку, годовалая девочка в розовом костюмчике. Пышный белый бант в её коротких волосиках был чуть поменьше головы. При виде гостей кавказец тихо гавкнул и поднялся на ноги, едва не сбив двинувшуюся вдоль грядки Петровну.

— Да что ж тебе не лежит, оглоеду! — в сердцах сказала та, и, обернувшись, увидела гостей. Тут же бросила шланг и заспешила навстречу, радушно улыбаясь: — Приехали уже? Ой, как хорошо! У меня как раз пирог поспеть должен! А Юра с мальчишками шашлык сейчас будут ставить, угли наверняка готовы.

И закричала, обернувшись к двум теплицам — в одной тянулись вверх огуречные плети, за стеклом другой виднелись помидорные заросли с красными пятнами плодов:

— Девочки! Пойдёмте к столу!

Из тепличных джунглей вышли четверо: смуглые кареглазые близняшки в белых футболках и летних джинсовых комбинезонах тащили белое ведро, доверху наполненное огурцами, а рыженькая девочка-подросток в пышной красной юбке и белой блузке несла в одной руке прозрачный пакет с помидорами, а другой вела шестилетнюю сестру, одетую в зелёный сарафанчик. На лице малышки блестели очки, одно стёкло было залеплено лейкопластырем.

Подойдя к гостям, девочки поздоровались. Купченко присел перед малышкой, шутливо нажал на носик-кнопку, и она, засмеявшись, обхватила его за плечи. Он обнял её в ответ, но потом отстранился и спросил, осторожно снимая с неё очки:

— Ну что, Люсенька, как твой глазик поживает? — И удовлетворённо сказал, глядя, что косинка в её левом глазу стала почти незаметной: — Очень хорошо! Иван Сергеевич, гляньте!

Пожилой мужчина склонился к девочке, присмотрелся.

— Татьяна была права, когда решила отказаться от этой операции, — кивнул он. — Глазодвигательные мышцы окрепли, ребенка не пришлось травмировать. И Люся молодец, послушно носила очки.

— Она и упражнения делала! — похвасталась рыженькая девочка. — Мы с ней трижды в день по полчаса занимались!

— Умница, Оля. Считай, спасла сестрёнку, — похвалила Тamarочка.

— А мы урожай собрали, мама научит нас солить, — сказали смуглолицые близняшки.

— Лиза и Саша, ведите гостей к столу, негоже некармлимыми держать, — заторопила их Алла Петровна. — А я сейчас, только Настю заберу.

И она засемила к коляске, повезла её вслед за гостями — плавно и осторожно, чтобы не разбудить спящую в ней девочку. Рыжий и серый псы плелись следом, вяло помахивая

хвостами — было жарко.

У беседки, возле мангала, виднелась высокая фигура Залесского, одетого в джинсы и свободную рубашку светло-бежевого цвета. Он раздался, раздобрел, в тёмной шевелюре поблескивали серебряные нити, только взгляд был таким же внимательным, цепким. Но лицо будто стало моложе: может быть, таким его делало выражение умиротворённости, как у человека, получившего от жизни всё, что хотел. Или еле заметная улыбка, которая то и дело мелькала в глазах, когда он посматривал на двух мальчишек, нанизывавших куски мяса на шампуры. Один был сероглазым, с выгоревшими русыми волосами, лет десяти на вид, второй помладше, чернявый и цыганистый, с быстрым внимательным взглядом. Что-то говоря им — по-видимому, советуя — Залесский деловито ворошил кочергой угли, разбивая прогоревшие поленья её острым концом.

— Юрка, ты, никак, мамонта задрал? — ахнула Яна, глядя на огромный таз, полный маринованного мяса.

Обернувшись, Юрий улыбнулся — широко, радостно.

— Считай, что двух! Семья-то большая, — ответил он, обмениваясь рукопожатиями с Купченко и Иваном Сергеевичем. Галантно поцеловал руки Яне, Тamarочке и Инессе Львовне, пригласил: — Прошу за стол, отведать наших разносолов!

И подмигнул девчонкам:

— Тащите с кухни всё, что наготовили, и зовите всех. А я за мамой схожу.

— Игорь, Миша, мы к вам, помогать! — сказал подошедший Павлик Купченко, а Янины дети тут же схватили шампуры и, хихикая и пихаясь, начали нанизывать мясо. На дорожке, ведущей от дома, показались девочки, несущие блюда. Близняшки поставили на стол молодую картошку, малосольные огурчики и запеченные овощи, рыженькая Оля — селёдочницу с «шубой», Катя — большое блюдо с оливье, и даже маленькая Люся тащила поднос с нарезанным хлебом. За ними, неся тарелки с овощной и мясной нарезкой, шла полненькая розовощекая Юля и высокий, стриженный под ёжик, Серёжа — те самые, чью игру на пианино гости слышали, когда только вошли во двор.

Расставив тарелки, дети уселись за стол. Возня у мангала тоже кончилась — длинный ряд шампуров теперь лежал над углями, исходя жарким мясным паром, а мальчишки и Янина Дашка унесли к летнему душу, мыть перепачканные маринадом руки. Зато место ребятни заняли четвероногие — собаки уселись рядом с мангалом, а одноглазый кот Микрик вместе с черно-белой Мусей запрыгнули на перила беседки и оттуда стерегли шашлыки.

— Ну, расскажите, как вам живется? — спросила Инесса Львовна, и дети начали говорить, наперебой хвалясь достижениями этого большого семейства. Оказалось, что Катя увлеклась вышиванием, когда мама купила несколько специальных наборов — и первая вышивка уже готова. Юля решила, что с сентября будет играть на скрипке, а не на пианино. А Серёжа наоборот, делает успехи на фано, и уже решил после школы поступать в консерваторию. Люся готовится идти в первый класс, и старшие поочередно занимаются с ней, так что она хорошо читает и считает. Оля увлеклась кулинарией, уже самостоятельно запекала курицу, всем очень понравилось. Игорь с Мишкой записались в секцию футбола, участвовали в двух матчах, причем Мишка прекрасно стоит на воротах, а из Игоря выйдет отличный бомбардир — удар у него пушечный. И это все видели, потому что на матчи ездили сообща, поболеть за своих. Близняшки Лиза и Саша занимаются на станции юннатов: Лиза увлеклась селекцией гладиолусов — хочет вывести новый сорт, а Саша ухаживает за лошадьми и понемногу обучается верховой езде. Правда, станция далековато, но папа сказал,

будет возить хоть каждый день, лишь бы занимались. А ещё они все семьей недавно ездили на рыбалку, брали палатки и стояли на реке три дня — ох и здорово было! Готовили на костре, сидели у огня до ночи, так же, как в прошлом и позапрошлом году. Правда, в этот раз погода не такая хорошая была, но всё равно им понравилось. А ещё Настя начала ходить и лезет во все шкафы, сейчас за ней глаз да глаз. Вот сегодня с утра мама с папой смеялись, какой она порядок в постельном белье навела — всё на пол повыкидывала! А ещё Васильку подарили трёхколёсный велосипед, и теперь он с него слезать не хочет, даже в ванную на нём ездит, когда надо готовиться ко сну. А ещё они сделали дома выставку поделок, а ещё Алла Петровна учила их печь пряники и раскрашивать их глазурью, а ещё у Муси родились котята, но их уже раздали, а ещё...

Ребятня галдела, гости еле успевали вставлять восхищенные реплики, вернувшиеся после мытья рук Игорь, Миша и Янины дети возились с шашлыками: хором считали до двухсот, а потом поворачивали мясо другой стороной к углям — так научил Залесский. Иногда сбивались, и, поспорив, и похихикав друг над другом, начинали сначала. От мангала плыл одуряющий мясной запах, и заискивающее собачье повизгивание. Коты ждали молча, с недовольными минами: уж очень сильно эти двуногие затянули с обедом. Но внимания на них никто не обращал.

Наконец, из двери дома выплыла Алла Петровна, гордо держа перед собой гигантский рыбный пирог, распластавшийся на огромном подносе. Залесский шел за ней, нёс на сгибе локтя заспанного мальчугана лет четырёх — взъерошенного, в шортах и рубашонке с распахнутым воротом. Он невероятно походил на Юрия: та же линия рта, те же тёмные бровки и янтарные глаза. В другой руке Залесский нёс ярко-оранжевый трёхколёсный велосипед — легко, будто игрушку. За хозяином, распушив задранный хвост, шествовал белый кот Тимоша. А за ним появилась пожилая женщина — голубоглазая, с каштановыми волосами, завивающимися в тугие спиральки, в начищенных до блеска туфлях и отглаженном серо-голубом платье с белым кружевным воротничком. Она шла медленно, приволакивая левую ногу и опираясь на деревянную трость.

— Алевтина Витальевна, садитесь, пожалуйста, — Залесский отодвинул для неё стул. И сказал уже громче: — Прошу прощения, наша мама задерживается, кормит маленькую. Она просила начать без неё, тем более, что детям давно пора обедать.

И потянулись к тарелкам руки, засверкали вилки, вспенилось шампанское, а Серёжа с Катюшей, надев фартуки, разливали по кружкам вишнёвый компот. Яна встала, держа в руке наполненный фужер:

— Дорогие мои! Я хочу сказать первый тост, — заявила она, обводя глазами притихшее собрание. — Но сначала — подарок... Вить, давай!

Купченко кивнул и вынул из пакета нечто плоское, прямоугольное, завернутое в дизайнерскую бумагу. Протянул Залесскому:

— Открывай, глава семьи!

Передав сына рыжеволосой Оле, сидевшей рядом, Юрий взял подарок в руки и удивлённо поднял брови — в свёртке было что-то тяжелое. Он разорвал бумагу, и дети, привставшие с мест от нетерпения, увидели, как блеснули позолоченные буквы на тёмном металлическом фоне.

— Спасибо! — искренне сказал Залесский, и, улыбнувшись, поднял подарок над головой. Это оказалась табличка в красивом кованом обрамлении. Крупная надпись на ней гласила: «Семейный детский дом «Созвездие». Нас много, но мы — одна семья!» И ниже,

буквами поменьше: «Победитель конкурса «Лучший семейный детдом Московской области»».

— Уррраааа! — завопили дети, и захлопали — даже маленький Василёк зашлепал ладошками, улыбаясь и показывая всем дырку на месте верхнего зуба.

— Ну вот, собственно говоря, — продолжила довольная Яна, — мы поздравляем вас с победой в конкурсе, зная, что она досталась вам абсолютно заслуженно. И мы гордимся тем, что дружим с такой большой и крепкой семьей! Желаем вашему дому и дальше оставаться таким же теплым, светлым, наполненным счастьем и любовью. Ура!

Она отсалютовала фужером, и над столом снова понеслось «Уррраааа!», и сдвинулись бокалы с компотом, звякнули фужеры с шампанским, и даже собаки залаяли радостно, хотя вряд ли понимали, в чем дело. А Яна, залпом проглотив шампанское, под шумок выскользнула из-за стола и пошла в дом — туда, где её лучшая подруга кормила свою маленькую дочку.

Она застала Таню на кухне — та пристроилась у стола, дуя на ложку с куриным супом, и пытаясь накормить девчущку в розовом костюмчике, ту самую, что спала в коляске, когда приехали гости. Сейчас она сидела на высоком детском стульчике, и, запустив пятерню в бант, сосредоточенно стягивала его с головы. Татьяна изменилась: похудела, черты лица заострились, тени под глазами стали гуще. Но эти глаза сияли, и было в них что-то — спокойствие, мудрость, счастье?... — то, что делало её повзрослевшей, по-настоящему зрелой. Оттянув широкий ворот синей блузки, обмахиваясь им — на кухне было душно, жар шел и от плиты, и из открытого окна — она приговаривала:

— Вот Настюша супчик съест — и вырастет большая-пребольшая! А потом за маму съест, и за папу, и за бабу Аллу, и за Олю, и за Серёжу...

Она обернулась, услышав шаги подруги, и сказала с улыбкой:

— Знаешь, Янка, так хорошо, когда много детей — пока всех перечислишь, тарелка опустеет!

Яна нагнулась, поцеловала её в щёку, ощутив аромат духов. Устроилась на стуле напротив, и сказала, кивнув на девочку:

— Наконец-то могу познакомиться с твоей принцессой! Столько времени прошло с тех пор, как мы вот так вот могли сесть и поболтать.

— Ну, я надеюсь, ты счастлива в своём Краснодаре? — в глазах Татьяны зажглись лукавые огоньки. — А ведь не хотела уезжать.

— Да, не хотела. Дура была, — легко согласилась Яна. — И да, счастлива. Дети при мне, работа... И, знаешь, может быть, я скоро снова выйду замуж!

— Серьёзно? — обрадовалась Таня. — Это же здорово! Надеюсь, за Виталия?

— За него. А если бы не переехала, не встретились бы... Ну да ладно, мне и так стыдно, что я тебе о нём все уши по скайпу прожужжала. А ведь болтали всё это время урывками. Но я понимаю — дети, времени нет... Ты давай, расскажи, как сама? Как в роли многодетной мамы?

— Янка, да конечно, непросто, — ответила Таня, скармливая дочке очередную ложку супа. — Пока продали свои дома, пока нашли этот. Опять же, перестроить кое-что было нужно, территорию для детей переделать, микроавтобус купить. Ладно хоть аптеки удалось продать за хорошую цену, а недвижимость я оставила, теперь и с аренды деньги идут. Всё же очень дорого, а ребят обуоть-одеть надо, образование дать, на отдых свозить... Так вот, стали семейный детдом организовывать — и начались эти мытарства с бумажками, а тут и я

забеременела, сложнее стало. Потом стали детей брать, все эти суды, усыновления... Плюс к тому, у каждого ребенка свой характер, привычки, к каждому нужно свой подход найти. И судьбы ведь непростые.

Татьяна помолчала, взгляд затуманился от воспоминаний:

— Катюшка, первая наша девочка, с семи лет по детдомам, а пока родителей прав не лишили, успела насмотреться и на пьянки, и на драки... Ей десять было, когда мы её взяли. Так она всё боялась, что обратно отдадим, жалась ко мне, старалась угодить. Я уж, как могла, объясняла, что она полноправный член семьи, учила своё мнение отстаивать, желания выражать.

— А ведь это она нас встретила, — заметила Яна. — Красивая девочка.

— После неё мы Юлечку забрали, — кивнула Таня. — Видела её? Полненькая такая, пианистка наша. Ей было семь, когда родители погибли. Юля полгода у тётки родной пожила, у той дом на параллельной улице, почти соседка наша. Но она как поняла, что дотация на ребенка небольшая, так и пришла к нам: заберите, мол, а не то в детдом оформлю. А Юля девочка творческая, и очень ранимая, чуть что не по ней — сразу в слёзы, даже убежать пыталась. Мы с Юрой очень старались, чтобы она себя у нас хорошо почувствовала, чтобы не думала, будто мы тоже детей из-за денег берём, а строгость наша от нелюбви — поняла в итоге, что мы стараемся ко всем одинаково относиться.

— Баба! — сказала Настя, и потянулась к банке яблочного пюре, стоящей на краю стола. — Ба-ба-ба-ба-ба!

— А вот супчик доедим, потом пюре твоё любимое скушаем и пойдём к бабе, — ответила ей Татьяна, и промокнула слюнявчиком дочкины губки. Сказала Яне, довольно хохотнув: — Аллу Петровну любит до безумия, всё баба, да баба... И та Настюшку с рук не спускает. Я уж протестовать пыталась, тяжелая ведь — а у Петровны спина больная. Но та и слышать не хочет.

— А тётя Аля, я смотрю, тоже с вами живёт?

Татьяна кивнула, сунула дочке в рот ещё одну ложку супа. Принялась объяснять:

— Понимаешь, изначально не заладилось у них с Волеговым. Никак не могла простить ему смерть Натальи. Его винила почему-то. Она, если честно, странноватая — но с годами помягче стала. С детьми возится по мере возможности — здоровье-то до конца не восстановилось. Общаться стала нормально, а то ведь после больницы всё молчала, переживала своё горе. Мне кажется, Петровна хорошо на неё влияет. Она же постарше тётки Али, и характер другой — бойкий, мудрости в ней больше. И вот Петровна всё внушает ей, что грех на Волегова обижаться. Ну и прогресс налицо: тётя Аля уже два раза к Сергею с Анютой ездила, жила у них по несколько месяцев. А теперь вот тоже их ждет, хочет уехать уже навсегда. Всё-таки там Вика, подросла она, скучает по бабушке. А здесь Петровна будет по ней скучать... Они же постоянно вдвоем, всегда находили, о чем поговорить. Но если выбирать между ней и детьми, Петровна всегда с малышами.

— Ты говоришь, она Настюшку очень любит. А к другим детям как? — поколебавшись, спросила Яна.

— Ты знаешь, она молодец, — с любовью сказала Татьяна. — Ко всем, будто к родным внукам, относится. А ведь дети непростые у нас. Мишку мать била и в тёмном чулане запирала, вот до сих пор расхлёбываем, энурез лечим. У Игорька тоже судьба не из лёгких — отец на его глазах погиб, со скалы сорвался, когда они в горы ходили. А мать через несколько месяцев с собой покончила, Игорь из школы вернулся — а она висит... Нервный

мальчишка, вспыльчивый очень. Мы сначала думали, не справимся. Но ничего, притёрлись. Помогло ещё и то, что они с Мишкой очень сдружились, вот прям не разлей вода. Нет, иногда и подраться могут, и пошуметь, но Юра с ними разговаривает, занимается постоянно. В футбол записал, чтобы энергию в мирное русло направить.

Она вытерла вспотевший лоб тыльной стороной ладони:

— Ох, жарница... Ну так вот. Лиза и Саша, близняшки наши, тоже девочки непростые: их мать-алкоголичка заставляла деньги зарабатывать, и они с её сожителем по электричкам попрошайничали. Ни в детский сад, ни в школу не ходили, пока их полиция не забрала. Им тогда по девять лет было. Так они даже читать не умели, представляешь? Я с ними школьную программу за первый-второй класс сама прошла, так они умнички такие, всё на лету схватывают. Прошлым летом сдали экзамен и сразу пошли в третий класс. Ты не представляешь, как мы с Юрой радовались! Да и для них это, как победа. Но ленятся. К тому же, нет привычки учиться, усидчивости не хватает. И в середине третьего класса съехали обе, особенно по английскому. Но мы репетитора наняли, справились. Кстати, с этим репетитором и Серёжка занимается, и Катюшка. Просто у них склонности к языкам есть, вот мы и стараемся развивать. Других детей не заставляем.

— Серёжа — это старший?

— Да, Моцарт наш, — улыбнулась Татьяна, открывая банку пюре. Увидев это, Настя оживилась, забарабанила ручками по деревянным перилам детского стульчика. Таня сунула ей в рот полную ложку, и на личике девочки появилось такое искреннее выражение блаженства, что Таня и Яна рассмеялись в голос. И Татьяна продолжила рассказывать: — У Серёжи сильный музыкальный дар, он уже сейчас очень сложные произведения играет. Абсолютный слух, может подобрать любую мелодию. Судьба — не приведи Господь. Представляешь, родился в семье сектантов. Те жили где-то в Сибири, в тайге, у них там община своя была, никаких благ цивилизации, всё по старинке. Я не знаю, что там за вера, но когда у этих сектантов ребенок рождается, его отдают в общий дом. И воспитывают сообща, так что он даже не знает, кто его родные мама и папа. Учат только молитвам и домашнему труду: дрова колоть, за скотиной ходить и так далее. А за любую провинность лупят до полусмерти.

— Кошмар какой! — воскликнула Яна.

— Вот-вот, — кивнула Таня. — Но это ещё не самое страшное. В десять лет у них что-то типа обряда посвящения во взрослость: отвозят детей за несколько километров от дома, кто вернётся — тот молодец, кто в тайге сгинет — о том и не плачут. И Серёжу так увезли. Он до общины не дошел, заблудился, несколько дней бродил по лесу, вот благо, лето было — не замерз, и на подножном корме смог продержаться. А потом каким-то чудом вышел к реке, по которой туристы сплавлялись. Они его и подобрали. Среди туристов был Юрин напарник по адвокатской конторе, ну ты помнишь его, наверное? Андрей Кузьменко. Серёжу в приёмник-распределитель сдали, а Андрей нам позвонил, рассказал про него. Вот мы и забрали.

— Жуть какая! А секта эта? Нашли их?

— Даже не знаю. Но я рада, что Серёжка к нам попал. Знаешь, если бы он раньше начал заниматься, сейчас уже, наверное, с концертами бы гастролировал. А так его почти с нуля социализировать пришлось, учить всему — он ведь даже автомобилями боялся. Но ему Оля, рыжик наш, здорово помогла. Она-то к нам чуть пораньше переехала. И хоть младше Серёжки, а опекала его, как старшая сестра. Но и он на неё здорово повлиял. Она ведь

подворовывала раньше, голодное детство сказывалось. Мать с отцом так пили, что в доме даже хлеба не было. Вот она сначала у них из карманов мелочь таскала, потом, как в школу пошла, стала в раздевалке шарить, и в сумках у одноклассников. Поймали, когда сотовый телефон украла. Поставили на учет, семью на контроль взяли — а толку! Пока родителей прав не лишили, она привыкла воровать. Даже когда к нам попала, и досыта стала есть, одетая-обутая — все равно деньги таскала: на жвачку, мелочи всякие. Мы года два боролись с этим делом, говорили — попроси, не откажем. К психологу с ней ходили. Он поработал с ней, конечно, но больше всего помог Серёжа. Представляешь, сказал, что воров не уважает, что у них всегда руки грязные — потому чужое и липнет. И всё, Ольгу как подменили, тьфу-тьфу-тьфу...

Татьяна сплюнула через левое плечо и усмехнулась:

— Знаешь, их уже одиннадцать у нас, мы с Юрой даже не думали, что столько будет. Казалось — ну четверо, пятеро, справиться бы... А выяснилось, что когда детей много, с ними даже проще. Конечно, ещё и потому, что они не малышами к нам попали. Кроме Люси — ей было четыре годика. Вот её вообще полиция на улице нашла: ни документов, ни каких-то следов, кто родители... Думали, найдутся родственники — но никому эта девочка не нужна, как оказалось. Похоже, просто бросили ей. Вот как так можно? А у неё со здоровьем неладно, глазик косит, зрение плохое, головные боли... До судорог бывало, знаешь, как мы за нее переживали? Сейчас уже лучше, конечно. Боремся. Она ведь наша дочка.

— Танюш, ты обо всех рассказала, кроме своих, — напомнила Яна.

— Да просто не дошла до них ещё, — развела руками Таня. — И потом, они все мои, понимаешь? И то, что я Василька с Настюшей выносила и родила, особо ничего не изменило. Ты же помнишь, я Васей сразу после свадьбы забеременела, ему уже четыре сейчас. Имя своё вполне оправдывает — Юра говорит, весь в прадеда-генерала. Уже сейчас командовать любит, но послушный, понимает, что такое дисциплина. И соображает хорошо, жадный до знаний — я бы так сказала. В общем, порода Залесских во всей красе. А Настюшка — сама видишь, вон какая растет: светленькая, в меня. Я её, конечно, люблю безумно — но и безумно боюсь, что её избалуют. Дети ведь с ней все по очереди нянчатся, и гуляют, и играют. Я не заставляю, они по доброй воле. Настя же забавная, как все малыши... Но упрямая, в мою породу пошла.

— Степановна-то Настю и Васю видела? — осторожно спросила Яна. — Родные внуки, всё-таки. Она же против приёмных была...

— Нет, Яна, — спокойно ответила Таня. — Ни мы к ней, ни она к нам. Понимаешь, её ведь не устраивает, как я живу. А меня не устраивает другая жизнь. Так что... мы все имеем право выбирать.

Яна молчала, подперев рукой щеку. Невольно вспомнилось, как Елена Степановна приходила к ней, когда Таня была в Новороссийске. Как умоляла найти дочь, выглядела по-настоящему взволнованной... И всё равно: когда Таня сделала по-своему, открыв этот детдом, мать от неё, по сути, отказалась. Так что же тогда стояло за этим волнением, просьбами — едва ли не слезными, показавшимися такими искренними? Неужели пришла по настроению, как говорится, туда, куда флюгер повернулся? А сейчас будто наказывает дочь за непослушание — своим молчанием, отстранённостью, показным равнодушием. Или действительно настолько равнодушна к своему ребенку, появившемуся на свет вопреки материнской воле?

— Слушай, а мне мама говорила, что объявление в газете видела, — вспомнила Яна. —

«Шью на дому», и телефон Степановны. Видать, опять работать пошла.

— Ну, она привыкла к определенному уровню жизни, — пожалала плечами Татьяна. — А с тех пор, как я аптеки продала и мы этот семейный детский дом открыли, я ей уже не могу перечислять те же суммы, как раньше. Сейчас я оплачиваю ей коммуналку и кладу по десять тысяч ежемесячно на карту, с пенсией получается неплохая сумма. Но по заграницам, конечно, не наездишься, и по бутикам не находишься. Только и без этого люди живут.

— А отец?

— Он так и не вернулся к ней. Живёт в Ляпуново. Там ведь бабушка старенькая уже, — помрачнела Татьяна. — Хотя, конечно, обе они с тётёй Лидой нарадоваться не могут, что он к ним переехал.

— Но всё-таки странные у тебя родители, — покачала головой Яна.

— Мои родители — просто люди, — усмехнулась Таня, и в этой усмешке не было горечи — только лишь понимание. — Со своими плюсами и минусами. Они, в общем-то, неплохие, и я всегда буду благодарна им за то, что родили и вырастили. А ведь могли поступить по-другому.

Она задумалась, выскребая ложкой остатки пюре со дна банки. Сказала, будто размышляя:

— Янка, многие матери, которые рожают нежеланных детей, просто отказываются от них в роддоме. И непонятно, что было бы, если бы и от меня отказались. И если бы относились по-другому — любили, баловали — тоже непонятно, какой бы я выросла. Может, я была бы избалованной, слабой, не способной ничего добиться. Может, не мечтала бы так о любящей семье, и у меня не случилось бы всего этого, — она обвела вокруг себя рукой.

— Но ты бы не мучилась, не страдала бы так... От той же Пандоры.

— Если бы не Пандора, я никогда не поняла бы, как сильно поступки родителей могут повлиять на судьбу ребенка. И сейчас, скорее всего, относилась бы к своим детям по-другому. Совсем не думала бы о последствиях своих слов, действий. Потому что не понимала бы, какой болью они могут отозваться в будущем. Что могут сломать жизнь, сделать из ребенка неуверенного, травмированного человека — или избалованного, капризного лжеца... Мать и отец поневоле сберегли меня от этих ошибок. Я не святая, конечно, и не безгрешная. Как любая мама я, наверное, в чем-то поступаю неправильно. Но я, по крайней мере, тщательно обдумываю свои поступки. И если чувствую, что поступила дурно, несправедливо, никогда не стесняюсь извиниться.

— Но твоя мать так и не извинилась? — уточнила Яна.

— Да, но это не важно, — отмахнулась Таня. — Важно, что я её простила. И отца тоже. Перестала держать в себе обиду, приняла их такими, какие они есть, со всеми минусами и плюсами. И потом... мне жалко мою мать. Ведь женщина, которая поступает со своим ребенком, как мачеха, обкрадывает себя. Крадёт главное — счастье материнства. А если этого счастья нет, даже ангел будет в тягость.

Поднявшись, она осторожно взяла на руки осоловелую Настюшку, прижала её к себе, покачивая. И сказала, понизив голос, чтобы не беспокоить засыпающую девочку:

— Понимаешь, я уже сама мама. И знаю — материнское счастье порой не видно из-за хлопот, волнений, нехватки времени и сил. Но тем острее оно чувствуется, когда ребенок начинает отдавать. Возвращает тебе улыбку. Гулит в ответ. Тянется к тебе, прижимаясь со всей возможной любовью — с той же, которую ты ему дарила. Сам несет тебе книжку,

которой ты вчера пыталась его увлечь. Помогает убрать игрушки. А потом вдруг наступает момент, когда этот маленький, но самостоятельный и серьезный человек укрывает тебя, уставшую, одеялом, и шепчет кошке: «Не шуми, мама жашнула!» И ты улыбаешься, чувствуя, как слезы невольно подкатывают к горлу. И понимаешь: я так устала, но он — подросток. И, значит, всё не зря.

Каждый период младенчества, детства, отрочества — как переход на новый уровень вложения и отдачи. Что посеешь, то и пожнешь. А что пожинала мать? Мой страх? Наши ссоры?

— Твоё стремление угодить, — переплетя руки на груди, сказала Яна. — Признание того, что она руководит твоей жизнью.

— Но это закончилось, — спокойно возразила Таня. — Теперь ей осталась только пустота. Она сама это выбрала. И что-то мне подсказывает, что она так и будет стоять на своём.

— А если...

— Если решит что-то изменить, я не стану её отталкивать. Всё-таки она моя мать. А отец... я ведь благодарна ему за то, что пытался защитить меня от Пандоры. А это его «воспитание»... — Татьяна скривилась. — Они с матерью оба не ведали, что творили.

— Как и многие родители, — покивала Яна. — Мы ведь хотим, как лучше для детей — но понять бы, добро ли делаем...

— Я думаю, об этом можно узнать, только когда ребенок станет взрослым. Когда можно будет поговорить с ним на равных. А до тех пор — следить за собой, за своими словами и поступками. Анализировать, что тобой движет: собственные страхи и нереализованные мечты, или же понимание, любовь, материнская мудрость.

— Наверное... — задумчиво сказала Яна. И предложила: — Послушай, может, ты положишь Настюшку спать, а сама пойдёшь к гостям? А я её покараулю.

— Я возьму радионяню, так что вместе пойдём, — сказала Татьяна.

Она прошла через большую, светлую гостиную, выдержанную в морских тонах. Мимо огромного углового дивана, на котором по вечерам умещалась вся семья — здесь они смотрели фильмы, играли с детьми в настольные игры, и почти каждый месяц отмечали чей-нибудь День рождения. Миновала стену, увешанную семейными фотографиями, маленькую финиковую пальму — девочки вырастили её из семечка. Прошла мимо фортепиано, на котором стояли ноты. Мельком глянула на шкафы, полные игрушек и книг. И, открыв дверь в угол, попала в маленькую уютную комнатку. Здесь стояла детская кроватка Настюшки, доставшаяся ей от брата, двухъярусная кровать в виде лондонского автобуса — для Люси и Василька. И широкая, родительская — здесь спали Татьяна и Юрий, чтобы всегда быть на подхвате у малышей. Светлые обои с забавными котятами, полки с мягкими игрушками, пеленальный столик, ярко раскрашенный шкаф, на котором близняшки Лиза и Саша нарисовали весёлых гномиков. Висящие под потолком модели самолётов и парусников, собранных старшими мальчишками, лоскутные шторы, сшитые Петровной и старшими девочками — всё напоминало Тане о том, что теперь она не одна, что есть те, кто любит, и кого любить. А что ещё нужно? Ей — ничего.

Она уложила Настюшку — та заворочалась, закряхтела во сне, и тут же расслабилась, задышала глубже. Прикрыв дочку лёгким одеяльцем, Татьяна включила радионяню и поставила в угол кроватки. И, забрав вторую с собой, тихонько вышла из комнаты.

— Тань, к вам ещё кто-то приехал! — сказала Яна, оборачиваясь к ней от окна.

— Здорово! Значит, всё-таки смогли?... — воскликнула Татьяна, направляясь к входной двери. Сгорая от любопытства, Яна поспешила за ней.

Едва ступив на крыльцо, Таня только и успела кивнуть высокому, выбритому налысо, мужчине в светлом костюме, и его стройной, обаятельной жене — яркой брюнетке в шелковом комбинезоне и широкополой алой шляпе. На Татьяну налетел маленький улыбчивый вихрь, запрыгал возле, трясая пышными бантами. Присев, она поймала в объятия маленькую вёрткую девочку — темноволосую, с ярко-синими глазами, в пышном платье и цветочной корзинкой в руках.

— Тётя Таня, тётя Таня, это тебе! — заверещала девочка, протягивая корзинку, полную мелких цветов — сиреневых, белых, синих. И, забавно сморщив нос, доверительно сказала: — Только ты не нюхай, они воняют.

— Вика! — брюнетка попыталась сделать строгий голос, но, не выдержав, рассмеялась — звонко, от всей души. — Таня, ты прости, это не цветы так пахнут, их просто удобрили, чтобы стояли дольше.

— Анюта, ну о чем ты говоришь, какое прости! — Татьяна обняла жену Волегова, протянула руку Сергею. — Ребята, я так рада, что вы смогли выбраться!

— Тётя Таня, тётя Таня, а где ваши детки? — Викулька требовательно дергала её за брюки.

— Вон туда беги, к беседке — все там, — ответила Таня. И сказала, взяв Яну под локоть: — Познакомьтесь, пожалуйста. Это моя лучшая подруга, Яна Костромина. А это Сергей и Анна Волеговы, их дочку Вику я когда-то нянчила.

— Ох, знаю. Интересная история у вас вышла, — сказала Яна, и протянула руку Волегову: — Спасибо, что всё правильно тогда поняли. А то бы опять загремела наша Таньча...

— Ну что вы, я бы не дала, — возразила Анюта. — Мы, женщины, договорились бы друг с другом. А Тане я всегда буду благодарна за нашу Викульку.

— Ладно, пойдемте за стол, — покраснела Татьяна. — Нас уже заждались.

Когда она привела новых гостей, дети уже скакали по игровой площадке, висели вниз головами на турниках, кто-то, визжа, лез в бассейн, кто-то играл с собаками. Маленький Василёк сосредоточенно колесил по лужайке на своём велосипеде, Викулька скакала перед ним, кривляясь и крича: «Не догонишь, не догонишь!» Алла Петровна, удобно устроившись на качелях, вязала, поглядывая на детей. Рядом с ней сидела тётя Аля. А в беседке вместе со взрослыми остались лишь самые старшие: Серёжа и Катя. Залесский, держа на руках белого кота, радостно хохотнул, вставая навстречу Волегову:

— Серёга! Выбрал-таки время в плотном рабочем графике!

— Конечно, ведь такой повод! — ответил тот, пожимая руку Юрия. — Поздравляем вас от всей души! И подарок от нашей семьи — годовой абонемент в развивающий центр, для всей вашей.

Он протянул Залескому синий конверт с золочеными буквами.

— Анюта, Серёжа, но это же очень дорого... — всплеснула руками Татьяна.

— Нормально! — отмахнулся Волегов. А Анюта добавила: — Там и спорт, и развивалки всякие, и кружки по интересам. Для каждого ребенка что-то интересное можно найти, и не придётся скакать по разным кружкам, чтобы везде успеть! Всю семью привели — и занимайтесь!

— Так выпьем же, друзья, за эту семью! — провозгласил Купченко, поднимая коньячный

бокал. — Счастья вам, и пусть жизнь радует вас каждый день!

Иван Сергеевич протянул Татьяне бокал шампанского. Залесский тем временем налил Анюте вина, а Волегову — рюмку коньяка. Протянул ему вилку с наколотой лимонной долькой. Взяв свой бокал, Татьяна опустилась на скамейку рядом с мужем. И, ощутив на плече крепкую руку Залесского, подняла на него глаза. Юрий смотрел на неё с той глубокой, неизбывной любовью, отголоски которой она видела теперь во всём. В том, как он возится с детьми. Как готовит вместе с ними сюрпризы для неё, Тани. Как звонит ей после работы, спрашивая, не нужно ли чего-то в магазине. Как срывается ночью и едет в аптеку, если кто-то заболел. Как ремонтирует их дом, строит баню, меняет перегоревшие лампочки... Даже во время редких ссор, когда спорит с ней, и сердится, пытаясь перебороть её упрямство — и тогда в его глазах не угасает то, жаркое и незыблемое. Эти моменты, в которых забота и ответственность так тесно переплетались с любовью, почти срастаясь с ней, а, может, вырастая из неё, случались каждый день. И ей уже не нужно было слов. Он мог бы не говорить, что любит и ценит — его поступки кричали об этом. Но всё равно, оставаясь с ней в ночи, или пробуждая её утром своим щекочущим, небритым поцелуем, или сидя рядом с ней за ужином, или наблюдая вместе с ней за детскими играми, или проверяя вместе с ней уроки, и даже примостившись напротив неё возле грядки, чтобы вместе выдергивать сорняки, он говорил: «Я люблю тебя». И он не уставал это повторять — как другие, не менее нужные и важные слова: моя, всегда, я рядом...

Фужеры и рюмки звякнули, Таня сделала первый глоток шампанского, но тут же ожила радионяня — выдала недовольное хныканье.

— Настёнка проснулась, — Татьяна поставила фужер, собираясь встать.

— Мама, я сбегаяю, отдыхай! — вскочил Серёжа.

Она благодарно кивнула, сжав его запястье. И, провожая глазами старшего сына, почувствовала, как Юрий крепче прижал её к себе, и, опустив голову, нежно и горделиво шепнул ей:

— Мама...

И, вслушавшись в это простое слово, которое так похоже звучит на разных языках, она вдруг осознала: в нем столько счастья, любви, терпения и поддержки... Всего, что, как воздух, нужно любому ребенку.

Может быть, потому оно и становится одним из первых?

Как просьба о том, без чего невозможна жизнь.

Конец.

Больше книг на сайте - Knigoed.net